М. РОЛЬНИКАЙТЕ



Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ

И. РОЛЬНИКАЙТЕ

Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ

М. РОЛЬНИКАЙТЕ

Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1976

Р 2
Р 68

В книгу Марии Рольникайте вошли три повести: «Я должна рассказать», «Три встречи» и «Привыкни к свету».

«Я должна рассказать» — документальная повесть. Это дневниковые записи, которые автор, тогда еще подросток, вела в застенках гитлеровского гетто и концентрационных лагерях. Эта книга получила широкую известность, она переведена на восемнадцать языков мира.

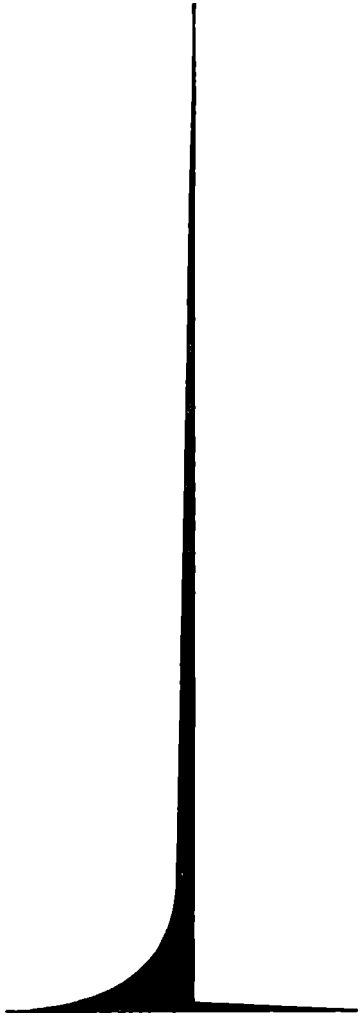
Повесть «Три встречи» рассказывает о растлении человеческих душ и моральной гибели, которые фашизм несет людям.

«Привыкни к свету» — повесть о тех, кто в годы гитлеровского нашествия выстоял, не сломился. Это те, кто, рискуя жизнью, укрывал и спасал героиню повести, это и сама героиня. После освобождения Советской Армией медленно, нелегко она возвращается к жизни и свету.

Антифашистская направленность повестей Марии Рольникайте связана с глубинной человечностью ее героев, чистотой, подлинностью и несомненностью тех человеческих ценностей, которые они защищают и отстаивают в смертельной схватке с фашизмом.

© Издательство «Советский писатель», 1976 г.

Р $\frac{70302-182}{083(02)-76}$ 109—76



Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ



«МЫ ТЕБЯ В ОБИДУ НЕ ДАДИМ...

(Предисловие к первому изданию)

В то самое время, когда Анна Франк вела свой ставший потом широко известным дневник, в оккупированном фашистами Вильнюсе другая девочка, Маша Рольникайте, почти однолетка Анны, тоже записывала свои наблюдения, мысли, переживания.

У нас в Литве до войны дневники у школьников были «в моде». Я помню, что у большинства девочек — моих одноклассниц — были дневники. Тетрадям, тщательно скрываемым от глаз домашних и от друзей, девочки поверяли «тайны» первой любви, едва зарождавшиеся воззрения на мир, свою «исповедь».

Тексты девичьих записей нередко пестрели наивными рисуночками: цветы, пушистые веточки распустившихся деревьев, птички, головки подруг... Это были невинные романтические мечты и красивые, еще полудетские душевные порывы. И чаще всего обложки тетрадок были раскрашены веселыми цветными красками...

Маша не составляла исключения. Вести дневник она начала за школьной партой, как и ее подруги. Радость жизни, надежды и мечты о будущем, любовь к матери, отцу, братишке, сестренкам... У нее был хороший учитель — Г. Йонайтис, который привил ей любовь к науке, к литературе. В девочке проснулись литературные способности. Но первые попытки творчества она доверила только дневнику. На его страницах девочка светлыми, мягкими, пастельными красками описывала несложные события своей жизни. Тогда она не могла предвидеть, что будет продолжать эти записи собственной кровью...

Вильнюс сотрясался от взрывов бомб, сброшенных немецкими самолетами. Разразилась война. Город оккупировала немецко-фашистская армия. Начались убийства. Тюрьмы не могли вместить арестованных. Вся жизнь была перечеркнута колючей проволокой заграждений.

Для евреев немцы ввели особый режим. Старинные, прекрасные уголки Вильнюса, в неприкосновенности хранившие памятники средневековой готики и барокко, оккупанты оцепили колючей проволокой, узкие кривые улочки замуровали кирпичом, забили досками. Так образовалось гетто. Здесь, вырвав из жизни, изолировав от нее, поселили людей «не арийской расы», «низшего сорта». В гетто

действовали средневековые «порядки» и обычаи: погромы, цинизм, разнузданное кулачное право...

И в этом настоящем аду, который превосходил все легендарные и мифологические вымыслы, маленькая Маша по-прежнему поверяла дневнику свою детскую исповедь.

Анна Франк жила в заточении, не выходя из своего убежища. Поэтому в ее дневнике мало событий, больше личных переживаний. Много обид, боли, философских раздумий рано созревшего ребенка.

Дневник Маши Рольникайте обширнее по охвату событий. Здесь больше портретов людей. Она несколькими штрихами, общими контурами обрисовала «остров мертвых», который к несмываемому стыду XX века сохранил средневековое название «гетто»...

Маленькая Маша оказалась на этом «острове мертвых». Вместе со школьными книжками она принесла сюда тетради дневника. И продолжала записывать свои впечатления и переживания. Но с этих страниц навсегда ушло ясное, радостное настроение. Его затмило облако печали, горя, страданий. И каждое слово теперь истекало кровью... Ребенок, который мог писать это, внутри, в своем сердце, должен был уже ощущать себя зрелым, поседевшим человеком...

Великий немецкий поэт Гете устами Фауста провозгласил: «Остановись, мгновенье: ты прекрасно!..» Великий поэт-гуманист хотел в каждом мгновении почерпнуть счастье для человека.

А те соотечественники Гете, что надели коричневую фашистскую форму, хотели каждое мгновение человеческого существования насытить муками, страданиями, унижением. По вильнюсскому гетто, обвешанный гранатами и пистолетами, расхаживал его полновластный хозяин — уполномоченный кровавого гиммлеровского гестапо, садист и циник Франц Мурер. Ему помогали предатели литовского народа, убийцы, выродки и грабители из банды палача Импулявичюса.

В гетто начались так называемые «акции»... Людей терзали голодом, преследовали за мельчайшее нарушение бесчеловечных, драконовских «правил», обрекали на рабский труд. А потом произошло самое ужасное. Детей отрывали от родителей, жен от мужей... Вблизи Вильнюса, в Панеряй (Понары), загремели выстрелы. Росли огромные массовые могилы. Людей, еще живых, закапывали в землю...

В Машином дневнике мы читаем мысли «поседевшего ребенка», которые странным, зловещим образом перекликаются с восклицанием Гете: «Ночь тянется очень медленно. И пусть. Если бы время сейчас совсем остановилось, не наступило бы утро и не надо было бы умереть...»

Но время не остановилось...

Автоматные очереди в Панеряй поминутно разрывали тишину...

Росли новые и новые могилы ни в чем не повинных людей...

В Панеряй было убито сто тысяч человек...

Со страниц Машиного дневника рвется потрясающий душу крик чистого детского сердца:

«За что убивают невинных детей, женщин, мужчин, стариков? За что?»

Маша не нашла ответа на этот вопрос. Ответа не находил ни один честный и здравомыслящий человек.

Фашизм, опираясь на расистскую теорию, будил в человеке звериные инстинкты. Двуногие звери, охваченные страстью уничтожения, опьянев от людской крови, танцевали безумный «танец смерти».

В панораме XX века кровавым смерчем пронеслись ослепленные безумные орды, оставляя за собой развалины, трупы и могилы...

Маленькая мученица гетто, девочка Маша, описала кровавую вакханалию этого «танца смерти» в своем дневнике. Сначала она писала в тетради. Потом бумаги не стало. Гетто было разрушено. Девочку вывезли на каторжные работы в концентрационный лагерь. Она продолжала свои записки на обрывках мешков из-под цемента. Когда и их не стало, она вела свои записи мысленно. Смертельный туман заволакивал глаза, а Маша, потухшая и бессильная, лежа на нарах, все еще в воображении конструировала фразы, шлифовала каждое слово, каждое выражение.

Она хотела вынести из этого ада правду об озверении и обесчеловечении человека и рассказать ее всем, всем, всем... Чтобы это больше не повторилось... Чтобы это стало горьким уроком для будущих поколений... Поэтому она писала дневник. И еще потому, что не хотела утерять все человеческие ценности, страстно желала остаться человеком, воспротивиться звериной силе. Писала, побуждаемая человеческим инстинктом самосохранения.

Ее руки должны были подчиниться, должны были выполнять тяжелую, рабскую работу. Но душа ее не покорилась. Как и у большинства жителей гетто. Как у коммуниста Витенберга. Как у многих героев, которые здесь, в гетто, организовали подполье и вступили в неравную партизанскую борьбу с врагом.

Душа девочки не сломилась. Ее дневник — это ее непокоренная душа. Ее дневник — одна из ужасных страниц истории XX века, написанная кровью. Это не беллетристика. Это подлинный документ, где конспективно изложены муки человека и его великое упорство, трагизм и героизм. И наконец, это документальное обвинение тех, кто ответствен за убийство невинных людей, за зверства.

Нельзя не волноваться, когда читаешь эту книгу. Хотелось бы, чтобы этот дневник прочли те люди в Австрии, которые выпустили из тюрьмы бывшего хозяина вильнюсского гетто палача Франца Мурера. Да, он уже свободен и служит в каком-то банке. Он, должно быть, умеет считать. Пусть он сосчитает и представит счет невинных жертв... Все честные люди Австрии вздрогнули бы от ужаса...

Хотелось бы, чтобы этот дневник прочли в Соединенных Штатах Америки, прочли те люди, которые выдали паспорт, а значит, права американского гражданства предателю литовского народа палачу Импулявичюсу...

А может быть, этим людям нужны такие скромные банковские служащие и подобные «граждане США»?.. Может, и в самом деле? В наших сердцах для таких «служащих» и «граждан» не найдется ни капли сожаления. Они должны ответить за свои преступления. Этого требует гуманизм.

...Маша Рольникайте вернулась в освобожденный Вильнюс. Ее спасли от смерти советские воины. Советский солдат сказал ей: «Не плачь, сестренка, мы тебя больше не дадим в обиду». И никогда больше не даст.

Э. Межелайтис

Воскресенье. 22 июня 1941 года. Раннее утро. Солнце светит весело. Наверно, от гордости, что оно разбудило весь город, привело все в движение. Я стою в воротах нашего дома. Дежурю. Конечно, не одна — вместе с соседом из восьмой квартиры. В последнее время дежурят все. Даже мы, школьники. При объявлении воздушной тревоги дежурные обязаны созывать прохожих в подворотню, чтобы улица опустела.

Я думала, что дежурить будет интересно, а на самом деле — очень скучно. Сосед, очевидно, не считает меня подходящей собеседницей и читает журнал. Я книжку не взяла: начиталась во время экзаменов.

Глазею на прохожих. Гадаю, куда спешат, о чем думают. И все посматриваю на часы — скоро уже кончится мое дежурство, побегу к Нийоле. Мы договорились идти купаться.

Вдруг завыла сирена. Вторая, третья — каждая своим голосом, и так странно, неприятно. Смотрю — сосед вышел на улицу. Выбежала и я. Зову всех во двор, но меня почти никто не слушает. Еще хорошо, что хоть не задерживаются, а спешат дальше. Наконец улица опустела.

Стою во дворе и жду отбоя. Осматриваю своих «гостей», прислушиваюсь к их разговорам. Боже мой, да ведь они говорят о войне! Оказывается, тревога вовсе не учебная, а самая настоящая! Уже бомбили Каунас.

Мчусь наверх, домой. Все уже знают...

Война... Как надо жить во время войны? Можно ли будет ходить в школу?

Тревога длилась долго. Еле дождались отбоя.

Вскоре сирены снова завыли. Послышалось несколько глухих ударов. Папа говорит, что это уже бомбят город, но бомбы, по-видимому, падают еще где-то далеко. Однако оставаться дома опасно — третий этаж; надо спуститься во двор.

Во дворе уже собрались почти все жильцы нашего дома. Некоторые даже с чемоданами и свертками. Куда они в такой день поедут? Мама объясняет, что они никуда не едут; просто взяли самые необходимые вещи, чтобы, если разбомбят дом, не оставаться без всего. А почему мы ничего не взяли?

Вот и вражеские самолеты.

Мне очень страшно: боюсь бомб. Услышав свист приближающейся бомбы, перестаю дышать: кажется, будто она упадет прямо на нашу крышу. Оглушительный удар, и я сразу начинаю бояться следующей бомбы.

Наконец самолеты улетели. Мы поднялись домой позавтракать. Ем и еле сдерживаю слезы: может быть, это уже последний завтрак. Если даже не убьют, все равно нечего будет есть — ведь магазины закрыты.

Снова завыли сирены. Мы спустились во двор. На этот раз не бомбили.

Какой длинный день!..

Под вечер фашистские самолеты еще больше обнаглели. Не обращая внимания на наши зенитные орудия, летали над городом и бомбили. Один раз я все-таки осмелилась высунуть голову на улицу и взглянуть на небо. Самолеты пролетели, высыпав, словно горсть орехов, маленькие бомбы.

Вдруг так грохнуло, что даже стекла посыпались. Наш сосед, инженер, сказал, что бомба упала близко, наверно на Большой улице.

Стемнело. Настала ночь, но никто не собирается идти спать.

Изредка темноту рассекают перекрестные полосы прожекторов. Скользят по небу, словно обыскивая его. Одни обшаривают медленно, обстоятельно, другие просто мельтешат — слева направо, справа налево. Папа говорит, что они ищут вражеские самолеты. Я крепко зажмуриваю глаза и не смотрю на небо. Тогда совсем не чувствую, что война. Тепло. Как в обычную летнюю ночь. Правда, обычно я бы в такое время уже давно спала.

Тихий гул самолетов. Длинный пронзительный свист. Он близится, близится — внезапно все озаряется и... удар! Снова свист! Удар! Свист! Удар! Еще один! Трещат зенитки, свистят бомбы, сыплются стекла. Адский шум.

Наконец стало тихо: самолеты улетели.

Начинает светать. Война войной, а солнце всходит. Все решили, что здесь недостаточно безопасно, надо укрыться в доме напротив: там есть подвал.

Улицу надо перебегать по одному. Я прошусь с мамой, но она побежит с Раечкой, а папа — с Рувиком. Мы с Мирой уже большие и должны бежать одни. Съежившись, мчусь.

В подвале на самом деле не так страшно: не слышно ни свиста, ни грохота. Но грязно, пыльно и душно. Сидящие поближе к дверям часто выходят наверх, посмотреть, что там происходит.

Наконец они сообщили, что стихло. Взрослые выходят, бегут домой и приносят своим поесть. Будто нельзя в такое время обойтись без завтрака!

Мама с папой тоже пошли домой.

Вскоре мама вернулась заплаканная. Сказала, что мы можем отсюда выйти: больше, видимо, бомбить не будут. Советские войска отступают, город вот-вот займут гитлеровцы. Это большое несчастье, потому что они страшные звери и яростно ненавидят евреев. Кроме того, папа активно работал при Советской власти. Он адвокат. Ему еще в сметоновское время не раз угрожали местью за то, что он защищал в судах подпольщиков-коммунистов, за то, что принадлежал к МОПРу.

Что же с ним сделают оккупанты?

Мама приводит нас домой. Успокаивает, говорит, что фашисты не смогут с ним ничего сделать, потому что мы уедем в глубь страны, куда они не доберутся. Папа уйдет в армию, а когда кончится война, мы все вернемся домой.

Мама отбирает каждому по небольшому свертку белья; выложив из портфелей книги и тетрадки, кладет туда ботинки. Для себя и папы собирает по большому чемодану; к ним привязывает наши зимние пальто.

Ждем папу. Он пошел за билетами.

По улице, по направлению к Святым воротам, мчатся советские танки, автомашины, орудия.

Уже прошло несколько часов, а папы все еще нет. Очевидно, трудно достать билеты: все хотят уехать. А может, с ним что-нибудь случилось? Странно, перед войной я никогда не думала, что с человеком может что-то случиться. А сейчас война и все иначе...

Уже меньше машин проезжает. Слышна стрельба. Нельзя больше ждать, надо пробираться на вокзал, к папе.

Берем по свертку и выходим. Перебегая от одной подворотни к другой, мы в конце концов добираемся до вокзала. Но здесь нас ничего хорошего не ждет: множество куда-то спешащих, громко разговаривающих людей и — грустная весть, что последний поезд ушел несколько часов тому назад. Кто-то добавляет, что и его разбомбили сразу же за городом. Больше поездов не будет.

Мы обошли все уголки вокзала, но папы нигде не нашли. Только незнакомые люди, толпами набрасывающиеся на каждого, одетого в форму железнодорожника. Они требуют поезда, а железнодорожники утверждают, что поездов нет.

Одни все же надеются дождаться поезда, другие собираются идти пешком: может, по пути подберет какая-нибудь машина. Мама вспоминает, что и папа говорил о машине. Пойдем.

Мы тронулись вместе с другими. Солнце палит. Хочется пить и очень трудно идти. А отошли так мало — даже город еще виден.

Рувик просит остановиться, отдохнуть. Мама забирает у него сверток, но это не помогает — он все равно хнычет. А на руки пятилетнего мальчика не возьмешь. И Раечка, хоть на два года старше, ненамного умнее — тоже ноет. И мне очень хочется отдохнуть, но я молчу.

Мы сели. Другие, более сильные, обгоняют нас.

Когда мы немного отдохнули, мама уговорила малышей встать. Тащимся дальше. Но недолго: они опять просят отдохнуть.

Сидим. На этот раз уже не одни: невдалеке отдыхает еще несколько семей.

Собираемся вместе и идем дальше. Нас обгоняют переполненные машины. Взять нас не могут, но советуют торопиться, так как гитлеровцы уже совсем близко от города. А как торопиться?

Что делать? Одни считают, что надо идти: лучше умереть от усталости или голода, чем от руки фашиста. Другие уверяют, что немцы не так уж страшны...

Дети просятся домой. Мира говорит, что надо идти дальше. Я молчу. Дети плачут. Мама видит, что многие возвращаются, и тоже поворачивает назад.

Дворник рассказывает, что приходил папа. Передал, что ищет машину.

Мы снова дома. Комнаты кажутся чужими. В сердце пусто. Слоняемся из угла в угол, стоим у окон. Все мертво, словно в городе остались только пустые дома. Даже кошка не перебегает улицы. Может, мы на самом деле одни?

На тротуарах стоят пустые автобусы. Их здесь поставили во время первой тревоги. Как странно, что с того времени прошло всего полтора дня.

Глухая тишина. Только изредка в нее врываются несколько одиночных выстрелов, и снова тихо... По улице, гонясь за красноармейцем, пробегают несколько юнцов с белыми повязками. Один продолжает преследовать, а остальные выбивают окно магазина рядом с кинотеатром «Казино» и тащат оттуда большие ящики. Жутко стучат в тишине шаги грабителей.

Стемнело. Мама запирает дверь, но лечь мы боимся. Даже не хочется. Только Рувика с Раечкой мама, нераздетых, укладывает в кабинете на диван. Мы с Мирой стоим у окна, глядя на темные стены домов.

Что будет? Мне кажется, что я боюсь больше всех. Хотя и мама какая-то другая, растерянная. Только Мира кажется прежней.

Около полуночи по улице проносятся мотоциклисты. Гитлеровцы!

Рассветает. Едут танки! Чужие! На многих полотнища с грозно чернеющим пауком — фашистской свастикой.

Всю улицу уже заполнили машины гитлеровцев, их мотоциклы, зеленая форма и гортанная речь. Как странно и жутко смотреть на этих пришельцев, по-хозяйски шагающих по нашему Вильнюсу...

Не надо было возвращаться...

А папы все нет.

Гитлеровцы приказали открыть рестораны и кафе, но обязательно с надписью: «Für Juden Eintritt verboten». «Juden» — это мы, и оккупанты считают нас хуже всех других: «Евреям вход воспрещен». Надо подойти, выбить стекло и разорвать эту ничтожную бумажонку!

Выйти из дому страшно. Очевидно, не нам одним. На улице одни только гитлеровцы да юнцы с белыми повязками.

Мира уверяет, что надо пойти в школу за ее аттестатом и остальными нашими документами — там их могут уничтожить. Идти должна я: меня, маленькую, никто не тронет. А я боюсь и вообще не понимаю, зачем это нужно. Но мама поддерживает Миру. Документы нужны. А Мире уже семнадцатый год; ее могут остановить, спросить паспорт. Придется идти мне. Для большей безопасности мама велит надеть школьную форму и даже форменную шапочку.

У ворот оглядываюсь. Сколько фашистов! А если кому-нибудь из них придет в голову остановить меня? Но, к счастью, они меня даже не замечают.

С дрожащим сердцем иду по улице. Стараюсь ни на кого не смотреть и считать шаги. В форменном шерстяном платье жарко.

Пересекая улицу Гедиминаса, незаметно оглядываюсь. Уйма машин и военных. Зеленая, коричневая и черная форма. Один прошел перед самым носом. На рукаве повязка со свастикой.

Наконец — школа. В ней беспорядок, грязь. На лестнице мне преграждает путь девятиклассник Каукорюс.

— Чего пришла? Марш отсюда!

Прошу, чтобы пропустил. Но он срывает у меня с головы форменную шапочку.

— Вон! И не смерди тут в нашей школе!

Поворачиваю назад и сталкиваюсь с учителем Йонайтисом. Боюсь, чтобы и он меня не обругал, спешу мимо. Но учитель меня останавливает, подает руку и справляется, зачем пришла. Идет со мной в канцелярию, помогает разыскать аттестат и метрики. Провожает назад, чтобы Каукорюс снова не прицепился. Обещает вечером прийти.

Свое слово он сдержал. Мама даже удивляется: малознакомый человек, только учитель, а разговаривает как близкий родственник, даже предлагает свою помощь.

В Шнипишках был погром. Бандиты зажгли костер, пригнали раввина и еще несколько бородатых стариков, приказали им собственноручно бросить в огонь Пятикнижие, которое вытащили из синагоги. Заставили стариков раздеться и, взявшись за руки, плясать вокруг костра и петь «Катюшу». Затем им палили и выщипывали бороды, избивали и снова заставляли плясать.

Неужели это правда? Неужели можно так издеваться над человеком?

На улице Наугардуко тоже был погром.

Кроме того, оккупанты повесили за ноги несколько человек. Кто-то донес, что они пытались эвакуироваться в глубь Советского Союза, но не смогли и поэтому вернулись.

А если дворник и на нас донесет? Ведь, наверно, догадывается, куда мы уходили из дому.

На улицах вывесили приказ: коммунисты и комсомольцы обязаны зарегистрироваться. Те, кто знают коммунистов, комсомольцев и членов МОПРа, избегающих регистрации, должны немедленно сообщить в гестапо.

Я пионерка. Но о пионерах в приказе ничего не сказано. Мама говорит, что все равно не стала бы меня регистрировать. Но пионерский галстук надо куда-то деть. Может, вымазать в саже? Ни за что! Мне его в школе так торжественно повязали, я дала клятву, и вдруг — в саже! Нет! Договорились вшить его в папин пиджак, под подкладку. Пока мама шила, я играла с детьми: пусть не видят. Маленькие еще, могут выболтать.

Папин мопровский значок мама спрятала на чердаке. Нам велела просмотреть все папины дела, особенно подзащитных коммунистов. Если эти папки найдут, нас расстреляют.

Между прочим, эти дела очень разные, иные даже интереснее книг. Такие откладываю в сторону, тщательно прячу: потом прочту еще раз.

На улицах висит еще один приказ: в городе должны быть порядок и спокойствие. В качестве заложников взято сто человек. В случае малейшего беспорядка или непослушания все заложники будут расстреляны.

Оккупанты ведут себя так, словно собираются надолго обосноваться. Вводят свои деньги — марки. Милостиво оставляют временно в обращении и советские рубли, зато приравнивают рубль только к десяти пфеннигам. Выходит, десять рублей — это всего одна марка.

Вывесили новый приказ: все, кроме немцев и «фольксдойче», обязаны сдать радиоприемники. За попытку спрятать их и слушать советские или заграничные передачи — смерть!

Мама с Мирой завернули приемник в скатерть и унесли.

На освободившийся столик из-под радио я положила свой альбомчик стихов, дневник, карандаши, поставила чернильницу. Теперь и у меня, как у взрослых, будет свой письменный стол.

Уже несколько дней гитлеровцы ходят по квартирам и проверяют, как этот приказ выполняется. Вчера были и у нас. Не найдя радиоприемника, забрали папину пишущую машинку и телефон. У соседей тоже забрали телефоны, велосипеды и машинки.

Сегодня приходила Гаубене. Рассказала, что Саломея Нерис «убежала к русским». А могла, говорит она, спокойно жить, если бы только писала стихи и не вмешивалась в политику. Как она, Гаубене, уговаривала поэтессу не высказываться за вступление Литвы в Советский Союз, не ездить с делегацией в Москву!

Я всегда думала, что Гаубене — необыкновенный человек, раз она знакома с такой поэтессой, как Саломея Нерис. А теперь вижу, что ошиблась. Гаубене, наверно, любит дружить со всеми, кто известен. С какой гордостью она рассказывает, что у нее живет немецкий офицер!

Между прочим, он хотел бы купить натуральный кофе. В Германии такого кофе уже давно нет. Хотел бы купить и сборник стихов Гейне. В Германии Гейне запрещен (оказывается, он тоже «Jude»). А жилец Гаубене считает его лучшим поэтом и хотел бы иметь сборник его стихов.

Мама отдала и кофе, и Гейне. Гаубене обещала принести за это деньги.

Фашисты снова ходят по еврейским квартирам. Иногда одни, иногда «законности ради» пригоняют и дворников. Описывают мебель. Уходя, строго предупреждают, чтобы все стояло на месте, нельзя ни вывозить, ни продавать. Если исчезнет хоть один стул, расстреляют всю семью.

Но если где-нибудь видят особенно красивую мебель, то вывозят, даже не описав. Грабители!

Еще и двух недель не прошло со дня оккупации, а как все изменилось!

В городе снова вывешены приказы: все «Juden», взрослые и дети, обязаны носить знаки: десятисантиметровый квадрат из белого материала, на нем желтый круг, а в нем буква «J». Эти знаки надо пришить к верхней одежде, на груди и спине.

Оккупанты нас даже не считают людьми, клеймят, как скот. С этим ни в коем случае нельзя согласиться! Неужели никто не осмелится воспротивиться?

Мама велит меньше рассуждать и помогать шить эти знаки. Она разрезает желтую подкладку старого покрывала, и мы беремся за работу. Приходят несколько соседок, у которых нет желтого материала.

Работа не ладится: то слишком широко, то криво. Никто не разговаривает.

Уходя, одна соседка заявляет, что эти знаки надо носить с гордостью. Нашла чем гордиться... Клеймом. По крайней мере я с ними на улицу не выйду: стыдно встретить учителя или даже подругу.

Есть и другое распоряжение гитлеровцев: все «Juden» обязаны сдать свои деньги, украшения, золотые изделия

и прочие драгоценности. Можно оставить себе только тридцать марок, то есть триста рублей.

Пиявки! Очевидно, в их проклятом гестапо сидит какой-то дьявол, который специально придумывает для нас новые беды.

Знаки и конфискация денег — это еще самые маленькие беды. Они убивают безвинных! Вооруженные патрули задерживают на улицах мужчин и гонят в Лукишкскую тюрьму.

Мужчины боятся выходить на улицу. Но это не спасает: бандиты ночью врываются в дома и забирают даже подростков.

Сначала все верили, что из тюрьмы арестованных везут в Понары, в рабочий лагерь. Но теперь мы уже знаем: никакого лагеря в Понарах нет. Там расстреливают! Там только цементированные ямы, куда сбрасывают трупы.

Не может быть! Ведь это ужасно!!! За что, за что убивают?!

«Хапуны» — так их прозвали — не перестают свирепствовать. В каждой квартире сделаны укрытия, в которых мужчины прячутся днем и ночью.

Может, и неплохо, что нет папы. Может, он там... Воюет на фронте и освободит нас. Когда учитель Йонайтис рассказывает новости Московского радио (он свой приемник не сдал, а спрятал в дровяном сарайчике), мне все кажется, что он сообщит что-нибудь и о папе. А мама этого как раз очень боится. Она, конечно, тоже хочет узнать о папе, но не по радио, потому что тогда нас расстреляют как семью красноармейца.

А может, и не расстреляют? Ведь живут же семьи советских офицеров. Заперли их в двух домах по улице Субачяус и держат. Правда, неизвестно, что с ними будет дальше. Фашистов вообще не поймешь: во всем мире военнопленных не убивают, а они в Понарах расстреляли четыре тысячи.

Расстреляли... Это значит, что людей согнали к ямам. На каждого наводили дуло винтовки, из которой вылетали маленькие пули, врезались в сердце, и люди падали мертвыми. Нет, не каждому попадали сразу в сердце или

в голову, многих только ранили, и они погибали в страшных муках. Оборвали тысячи жизней, не стало стольких молодых веселых парней, а названо все это одним словом: «расстрел». Раньше я никогда не представляла себе смысла этого слова. Да и «фашизм», «война», «оккупация» казались только словами в учебнике истории.

И теперь, наверно, люди других городов и стран, где нет войны и фашизма, тоже не понимают, не представляют себе настоящего смысла этих слов. Поэтому надо записывать в дневник все, что здесь творится. Если останусь жива, сама расскажу, если нет — другие прочтут. Но пусть знают! Обязательно!

Опять новость: для нас вводятся новые знаки: не квадрат, а белая повязка, в центре которой шестиконечная звезда. Повязку надо носить на левой руке.

Мне все время хочется есть. Мы с Мирой об этом говорим только между собой, чтобы не огорчать маму, а малыши постоянно жалуются. Мама переживает и, деля хлеб на порции, часто вздыхает. Себе, конечно, берет меньше всех. Это потому, что по карточкам дают очень мало, и только в нескольких, специально для нас отведенных магазинчиках. Очереди громадные. Иногда, простояв целый день, приходится возвращаться с пустыми руками. Едим то, что маме удается выменять у крестьян. Я очень соскучилась по молоку.

На днях учитель Йонайтис принес кусочек сала. Конфузясь, он долго объяснял, что получил по карточке, а ему не нужно: взрослый человек может обойтись без жиров, а у нас дети; растущему организму жиры необходимы. Мама растрогалась, а мне было стыдно, что нам приносят подаяние. Но учитель настоял на своем. Малыши получили к ужину по ломтику сала, а нам достались вкусные шкварки к картошке.

Но хорошее настроение от вкусного ужина омрачила грустная весть: в школе вывешен приказ, что все комсомольцы (Ю. Титлюс, А. Титлюте и другие) и все евреи из школы исключены.

Значит, я больше не ученица... Что же буду делать зимой? Неужели я останусь недоучкой?

Мы договорились с Мирой поочередно спать на балкончике, выходящем во двор. Это потому, что наша квартира, особенно спальня, находится в стороне от ворот, и мы никогда не слышим, как стучатся «ночные гости». Просыпаемся, когда они уже во дворе. Если спать на балконе, можно услышать сразу.

Начинаю «лагерный ночлег» я. Ночь теплая. В небе бесконечно много звездочек. И все мерцают. Теперь всегда буду спать здесь: очень уж хорошо. А описать все это я бы могла? Нийоле и Бируте хвалят мои стихи, но ведь они сами понимают не больше меня. И Люда хвалит. Но как она сама пишет?

О-го-го,
Там, у Лимпопо,
Жил старый донжуан —
Крокодил из Нила.

А если все же описать эту ночь?..

Маленькие звездочки мерцают,
Удивленно смотрят с вышины.
Видят ли, как люди тут страдают
И как ночи эти им страшны?

Плохо. Завтра сяду и хорошенько подумаю, чтобы стихотворение получилось настоящим. В нем должно слышаться дыхание этой ночи. Только хорошо бы без войны. Уместны ли в стихах ужасы? Гораздо лучше писать о весне, о веселом ручейке...

Стучат! В наши ворота!!!

Бегу в спальню, бужу маму. Вместе с Мирой помогаем одевать детей. Рувик пробует хныкать, но сразу перестает: он тоже понимает, что нельзя.

Уже стучат кулаками в нашу дверь! Мама идет открывать. Мы выходим за нею.

В переднюю вваливаются вооруженные гестаповцы. Расходятся по комнатам. Один остается сторожить нас. Приказывает не шевелиться, иначе будет стрелять.

Они роются в шкафах, копаются в ящиках. Допытываются, где папа. Мама говорит, что его забрали в первые дни, сразу же после заложников. «Неправда! — зарычал самый злой, очевидно начальник. — Он, наверно, удрал с большевиками! Все вы большевики, и скоро вам будет капут!»

И снова ищут, кидают, разбрасывают. Мама дрожит и тихо велит нам следить, чтобы они не подсунули оружие или прокламации. Сделают вид, будто нашли, и расстреляют. А как следить, если запрещено даже шевельнуться?

Ничего не найдя, еще раз пригрозив, что скоро нам будет «капут», гестаповцы убираются.

Мы уже не ложимся. У мамы не выходят из головы слова гитлеровца, что папа, наверно, удрал с большевиками. Может, они что-нибудь знают? Может, папа и вправду там, жив, воюет!

На балконе я больше спать не буду. А о стихотворении и звездах никому даже не расскажу...

В «гебитскомиссариат» вызвали членов «юденрата», то есть «совета евреев». (Этот совет создан совсем недавно из еврейской городской знати. Очевидно, ее представителям гитлеровцы доверяют. Никто этот совет не выбирал, ненастоящий он. Только называется «советом».) Так вот, «юденрату» сообщили, что на евреев города Вильнюса налагается контрибуция — пять миллионов рублей. Эта сумма должна быть внесена до девяти часов следующего дня. В противном случае уже в половине десятого начнется уничтожение всех евреев города. Указанную сумму можно внести не только наличными, но и золотом, серебром, драгоценностями.

Мама собрала все деньги, взяла кольца, цепочку и пошла.

Я стою на кухне у окна и плачу: страшно подумать, что завтра надо будет умереть. Еще так недавно училась, бегала по коридорам, отвечала уроки, и вдруг — умереть! А я не хочу! Ведь еще так мало жила!.. И ни с кем не попрощалась. Даже с папой. В последний раз видела его выходящим из убежища, из подвала противоположного дома. Больше не увижу. Вообще ничего не буду видеть и чувствовать. Меня не будет. А все остальное останется — и улицы, и луга, даже уроки... Только меня там не будет — ни дома, ни на улице, ни в школе... не ищите — нигде не найдете... А может, никто и не станет искать? Забудут. Ведь это для себя, для своих близких я «личность». А вообще, среди тысяч людей я песчинка,

одна из многих. Обо мне, всех моих стремлениях и мечтах, может, кто-нибудь когда-нибудь упомянет одним словом — «была». Была и погибла одним летним днем, когда люди не смогли собрать требуемой оккупантами контрибуции. А может, эти обстоятельства тоже забудут. Ведь живые не слишком часто вспоминают об умерших. Неужели этой умершей буду я?..

Кто-то идет по коридору... Учитель Йонайтис. А я и не слышала, когда он зашел. Встал рядом, положил руку на плечо и молчит. А я не могу успокоиться.

Вернулась мама. Предупредила, что будет во дворе «юденрата» ждать результатов подсчета денег. Там очень много народу.

Йонайтис опустошил свой бумажник и попросил маму отнести и его деньги. А мама не берет: четыреста рублей, наверно вся зарплата. Но Йонайтис машет рукой: он как-нибудь обойдется, а эти деньги, может, спасут хоть одну человеческую жизнь.

Вскоре мама вернулась. Все разошлись, ничего не узнав: деньги еще не сосчитали, а ходить можно только до восьми. (Между прочим, мы и в этом являемся исключением, потому что остальным жителям города можно ходить до десяти.) Члены «юденрата» будут считать всю ночь. Похоже на то, что пяти миллионов нет...

Настала последняя ночь... Йонайтис остается у нас ночевать. Мама стелет ему в кабинете, а мы, как обычно, ложимся в спальне.

Малыши уснули. Как хорошо, что они ничего не понимают. Ночь тянется очень медленно. И пусть. Если бы время сейчас совсем остановилось, не наступило бы утро и не надо было бы умереть.

Но рассвело...

Мама бежит в «юденрат». До начальства, конечно, не дошла. Но люди рассказали, что собрано всего три с половиной миллиона, которые только что унесли в «гебитскомиссариат».

Продлят ли срок? Может, вчера еще не все знали и принесут сегодня?

Мама дала каждому по свертку с бельем.

Ждем...

На лестнице послышались шаги инженера Фрида (он живет в соседней квартире и является членом «юденра-

та»). Мама постучалась к ним. Вернулась радостная: оккупанты приняли контрибуцию даже не считая.

Значит, будем жить!

Все прячут у знакомых литовцев или поляков свои вещи: фашисты могут их тоже описать, как описали мебель. Тогда не на что будет жить.

Мама увезла к учителю Йонайтису почти все папины книги, пальто, костюмы, туфли и два новых шелковых одеяла. Больше не решилась: учитель холост, и, если найдут у него женскую или детскую одежду, это покажется подозрительным. Между книгами я сунула и первую тетрадку своего дневника.

Люди ищут работу, потому что работающие получат удостоверение с немецким орлом, и «хапуны» их не тронут.

Многие уже работают на ремонте дорог, на аэродроме и еще где-то. Но оказывается, что это почти не помогает. Бандиты разрывают предъявляемое им удостоверение и все равно уводят.

Как они самовольничают! А пожаловаться некому. И сопротивляться нельзя. Одна женщина не давала увести мужа. Ее застрелили на месте, у него на глазах...

Сегодня 21 июля. Месяц с начала войны и мой день рождения. Мне четырнадцать лет. Поздравляя и желая долгих лет, мама расплакалась. Сколько раз я слышала это обычное пожелание и ни разу не обратила внимания, какое оно значительное...

По случаю дня рождения мама предложила надеть голубое шелковое платье. Оно без знаков. Какой у меня непривычно красивый вид! Только жаль, что волосы слишком длинные.

Вдруг в голову пришла замечательная мысль.

Я попросилась к соседке, тете Берте, чтобы показать ей платье. А сама — руку в шкаф (там под бельем лежат деньги) и — шмыг в дверь. Будто предчувствуя, мама кричит вдогонку, чтобы я не смела без знаков выходить на улицу.

А именно это я и собираюсь сделать. Вприпрыжку сбежав с лестницы, выскакиваю за ворота и смело, не оглядываясь, поворачиваю на Большую улицу. Захожу в парикмахерскую. Только теперь вздрагиваю: что я сделала?

Мне предлагают сесть. Стараюсь казаться спокойной и не смотреть на парикмахера. А он, повязывая белую салфетку, улыбается мне в зеркале. Узнал! Смотрю на него, вытаращив глаза, и не знаю, как сделать вид, что не понимаю этого. Опускаю голову, чтобы не видно было лица. Сердце тревожно бьется, а парикмахер, как назло, копается. Может, убежать? Нельзя... Только бы не зашел гитлеровец!

Наконец постриг! Расплачиваюсь и выбегаю.

Шагаю назад. Сейчас я совершенно спокойна, даже не понимаю, почему я в парикмахерской так дрожала. Никто и не смотрит на меня.

От мамы досталось. Пришлось пообещать больше не повторять таких глупых проделок.

Мама пришила знаки ко всем платьям...

Нам запрещено ходить по тротуарам. Мы обязаны ходить по мостовой, придерживаясь правой стороны. Между прочим, нам также нельзя пользоваться автомашинами, автобусами и т. п. Даже извозчики должны на видном месте повесить табличку, что евреев не обслуживают.

Опять ввели другие знаки. Та же звезда, но уже не на повязке, а на квадрате из белого материала, который должен быть пришит к верхней одежде, спереди и сзади.

Можно подумать, что какой-то фашист не хочет идти на фронт и своими бесконечными выдумками старается доказать, что он и здесь очень нужен.

Гестапо снова вызвало членов «юденрата». Что теперь придумают? Неужели еще одна контрибуция?

В большой тревоге ждем соседа.

Вернулся он под вечер.

Оказывается, его и еще одного члена «юденрата» отпустили, а остальных арестовали. Почему? Чем те не угодили и почему выпустили этих?

Жаркое августовское воскресенье.

Около полудня мы услышали шум.

Подбежали к окну. Пьяные гитлеровцы избивают черноволосого парня. Гонят его к ратуше, там ставят лицом к стене и бьют. А он, наверно, ждет выстрела, потому что странно вздрагивает.

Собралась толпа. Один фашист объясняет, что этот «Jude» только что на улице Гедиминаса выстрелил в солдата благородного вермахта. За это ответят все «Juden». Один солдат великого рейха дороже тысячи таких, как этот. Пусть каждый, кто только хочет, бьет преступника и этим присоединится к истреблению врагов немецкого народа.

Одни ухмыляются довольные, другие проходят мимо, почти не скрывая возмущения.

Гитлеровцы останавливают проезжающую машину, вталкивают свою окровавленную жертву и уезжают.

Пораженные, окаменели мы у окна.

Ночь...

Прогремел выстрел. Кто-то вскрикнул. Бегут. Кричат: «Хальт!»

Будим малышей. Сердце странно болит. Трясусь как в лихорадке. Снова гремит выстрел. Крики, топот. Людей много, очень много.

Открываем форточку. Ничего не видно. Прохладная звездная ночь. Тихо. Где-то в стороне вокзала гудит паровоз. И снова ни звука... Словно ничего не было.

Мама укладывает детей. Мы сидим...

Вдруг в тишину врывается страшный крик. Неужели снова начинается? Голоса где-то рядом, совсем близко. Но подойти к окну мама не разрешает: могут заметить. А меня тянет: неизвестность еще страшнее. Спрятавшись за портьеру, подглядываю. Внизу, на улице, гитлеровцы выстраивают людей, которых гонят с улицы Месиню.

Плачущие женщины с полуголыми, завернутыми в одеяла детьми... Мужчины, сгорбившиеся под тяжестью узлов и чемоданов... Дети, вцепившиеся в одежду взрослых... Их толкают, бьют, гонят. Вспыхивает карманный фонарик и освещает испуганные лица. Фонарик гаснет, и снова двигаются только силуэты...

В наши ворота они еще, кажется, не стучатся, хоть моментами мерещится, будто они уже поднимаются по лестнице.

Угнали... Снова тихо.

Начинает светать.

Оказывается, этой ночью угнали всех жителей улиц Месиню, Ашменос, Диснос, Шяулю, Страшуно и некоторых других.

Люди говорят, что с этих улочек выселяют и литовцев, и поляков. Для нас там будет гетто.

Что такое гетто? Как там живут?

В пятницу вечером город запрудили патрули.

Снова что-то придумали... Как назло, и Йонайтиса сегодня не было. Мама попросила бы его остаться у нас ночевать.

Я вызвалась пойти и позвать его. Мама махнула рукой — уже больше восьми. Говорю — пойду без знаков. Но она и слышать не хочет. А все же другого выхода нет. Пойду.

Мне совсем не страшно: кому взбредет в голову, что в такое время, без знаков, по тротуару может шагать еврейка?

Улица Гележинкелю. Оглядываюсь, не следит ли кто за мной. Вхожу. Стучусь. Тишина. Стучу сильней. Никакого ответа. Его нет! Что делать?

Надо ждать.

Забираюсь в угол, за дверь. Ловлю каждый доносящийся с улицы звук. От стука сапог цепенею, а от спокойного скрипа ботинок веселее бьется сердце. Но шаги, приблизившись, удаляются, а Йонайтиса все нет. Как простоять целую ночь? Могут заметить. И мама будет волноваться...

Вдруг появляется Йонайтис!

Узнав, зачем я пришла, очень огорчается: к сожалению, уже без пяти десять. Идти нельзя...

Он стелет мне на софе, закрывает ставни и велит спать. Но я не могу уснуть: очень волнуюсь, что мама не знает, где я.

Разбуженная, я не сразу поняла, где нахожусь. Йонайтис нагнулся ко мне:

— Я пойду, узнаю, что у вас слышно, а ты закройся и поспи еще.

Он вернулся очень скоро. У нас не был. Не пропускают. На улице Руднинку строят забор. Там будет гетто. Уже гонят людей.

— Что будешь делать? — спрашивает он меня.

— Не знаю. А как вы считаете?

Он тоже не знает.

— Если не хочешь идти — оставайся у меня.

А как я здесь буду жить одна, без мамы? Нет. Пойду.

Йонайтис освобождает свой портфель и кладет туда все, что есть в буфете, — полбуханки хлеба, кусок сала, сушеный сырок и баночку варенья. Опустошает бумажник и говорит: «Спрячь хорошенько». Из желтой бумаги вырезаем знаки, пришиваю: сейчас уже нельзя без них.

Выходим. Йонайтис тоже идет по мостовой: не хочет, чтобы я себя чувствовала униженной... Если закрыть глаза и представить себе, что иду в школу? Ведь похоже: портфель, ученическая форма, рядом идет учитель... Нет, не надо закрывать глаза...

На улице Руднинку, возле костела, сколачивают забор. Через оставленный проход солдаты гонят людей. Подходим. Йонайтис подбадривающе пожимает руку, и я ухожу за забор.

Куда идти? Может, еще попытаться попасть домой? Не выпускают. Кругом строят заборы.

Гонят все новых и новых людей. Растерянные, усталые, они сбрасывают с себя узлы и садятся тут же, на улицах, во дворах. Везде полно народу. Верчусь там и я, захожу во дворы, но мамы нигде нет. И знакомых не видно.

Стою у входа, чтобы видеть всех вновь пригоняемых. Спрашиваю, с каких улиц. Со всех есть, только не с нашей. Какая-то женщина уверяет, что с Немецкой улицы всех угнали на Лидскую. Бегу. Но там строят новый забор: эта улица остается за пределами гетто. Людей много, но моих и среди них нет.

Снова блуждаю, расспрашиваю. Кто-то предполагает, что они могут быть во втором гетто, где-то в районе улочек Стиклю и Гаоно.

Иду к воротам и прошу часового выпустить. Уверяю, что не убегу, только перейду во второе гетто, где находится моя мама. Но часовой даже не слушает. Повторяю свою просьбу, а он с размаху так ударяет меня, что еле удерживаюсь на ногах. Неожиданно замечаю одного девятиклассника из нашей школы. С винтовкой; наверно, тоже «трудится». Как можно почтительнее прошу помочь мне перейти во второе гетто. «Пошли!» — кричит он.

Выхожу. Он ведет меня, почти уперев штык в спину, как арестованную. Пусть. Подходим к улице Стиклю. Забор уже довольно высокий. «Полезешь?» — «Да, да!» — спешу заверить. Он мне помогает взобраться на забор, и я лечу вниз.

Здесь толчея еще больше. Улочки уже, дворы меньше и темнее. Людей масса, но с нашей улицы — опять ни одного, словно все жители Немецкой улицы сквозь землю провалились.

В одном дворе я неожиданно увидела тетю Пране. Что она здесь делает? Оказывается, она тут жила, а теперь переезжает на другую квартиру, потому что здесь будет гетто. На телегу уже погружен весь скарб. Я ее попросила сходить к нам и, если мама еще дома, передать, где я.

Тетя Пране предложила остаться в ее квартире. А зачем мне квартира? Ах да, ведь я теперь буду здесь жить. Но как жить без кровати и вещей? Тетя Пране оставила мне одну табуретку. Села и сижу в пустых, чужих комнатах...

Вскоре зашел какой-то мужчина. Осмотрелся и позвал своих. Вошла большущая семья — с детьми, узлами, даже с детской коляской, нагруженной подушечками и кухонной утварью. Ничего не сказав, они заняли одну комнату.

Пришли и другие. Заняли первую, «мою» комнату. Чем ближе вечер, тем чаще разные люди отворяют дверь. В ту комнату уже втиснулись три семьи, в эту — две. Мне велели выйти на кухню: я одна, а на этом месте может лечь целая семья. Я вышла. Оказывается, кухня уже тоже занята. Села у дверей...

Стемнело. Очень душно. Но выйти во двор боюсь: останусь совсем без места.

Люди собираются лечь спать. Пальто и подушки от-

дают детям, а сами ложатся прямо на пол. Какой-то старик ворчит, что в могиле, наверно, просторнее.

Мне не хочется испачкать форму, поэтому не ложусь. Холодно. Ноги затекают. Спящие в комнатах часто выходят во двор и каждый раз задевают меня. А ночь такая длинная...

Наконец рассвело.

Снова брожу в поисках мамы. Одни полагают, что мои все-таки в первом гетто, другие уверяют, что с нашей улицы всех угнали в тюрьму. Не может быть, чтобы я осталась одна. Они найдутся!

И снова ищу.

Уже стемнело. Захожу в какой-то дом, поднимаюсь на второй этаж и сажусь в темной передней на пол. Никто на меня не обращает внимания, никто не гонит.

Кладу под голову портфель и ложусь. Нос щекочет приятный и очень знакомый запах. Оказывается, он идет из портфеля. Как я сразу не догадалась, что это пахнет варенье! А я со вчерашнего утра ничего не ела!

Сую руку. Осколки! Баночка разбилась. Весь портфель внутри облеплен клубникой. И сало липкое. Все равно очень вкусно. Только надо есть осторожно, чтобы не проглотить осколок стекла. Сижу в темноте и пихаю в рот все вместе — хлеб, сало, варенье, сыр. Когда ничего не осталось, я снова ложусь.

Проснувшись, вышла на улицу. Здесь вывешены рукописные объявления: организуется геттовская полиция. Желающие регистрируются и т. д.

Оказывается, желающие нашлись. Какие-то крикуны, получив повязки, снуют, изображая больших начальников.

Своих все не нахожу, хотя уже обошла все дворы и даже по нескольку раз... Люди советуют перейти в первое гетто — может, они все-таки там. «Начальство» как раз собирается обменяться с первым гетто такими, как я, заблудившимися.

Нас немало. Новоиспеченные полицейские всех выстраивают, считают и велят не расходиться. Сами куда-то исчезают и долго не появляются. Вернувшись, снова считают. Наконец ведут. Кроме них нас сопровождает вооруженная охрана.

У первого гетто долго не открывают ворот. Стоим и

дрожим в страхе, что угонят в тюрьму. А бежать обратно охранники не разрешают.

Наконец ворота раскрываются, и за ними вижу живую, улыбающуюся маму! И Миру! И детей! Оказывается, тетя Пране сдержала слово и передала, где я. А об обмене потерявшимися мама тоже знала.

Радости и разговорам нет конца. Теперь даже эти дни одиночества и поисков уже не кажутся такими страшными.

Мама тоже пережила немало.

В тот вечер, не дождавшись ни меня, ни Йонайтиса, она решила, что меня узнали и арестовали. Всю ночь проплакала. А утром, увидев строящийся невдалеке забор, совсем пришла в отчаяние.

Неожиданно пришла Пране, и мама решила добровольно идти в гетто. Как раз в это время в переднюю ввалились солдаты. Приказали за пять минут собраться и взять с собой лишь столько вещей, сколько смогут нести. Мама набросала в детскую ванночку наши платья и пальто, а из наволочек сделала себе и Мире рюкзаки и напихала в них белье. Даже детям дала по маленькому рюкзаку, узелку и портфелю с привязанными к нему ботинками.

Труднее всего было уйти... А солдат ее медлительность бесила. Увидев, что угрозы не помогают, один вытолкнул на лестницу Раечку с Рувиком. Мама выбежала за ними. Только в дверях еще раз оглянулась.

Во дворе уже стояли соседи, тоже нагруженные узлами и зимними пальто. Кто-то сказал, что пальто не надо брать: до зимы война кончится.

Погнали на улицу Руднинку. А мама так рвалась в то гетто! Но хорошо, что она здесь: тех, кого с нашей улицы собирались вести во второе гетто, угнали в Лукишкскую тюрьму: оба гетто были уже переполнены. И согнанных на Лидскую улицу «во исправление ошибки» тоже повели в тюрьму. А там было около шести тысяч человек. Выпустили всего несколько семей хороших специалистов, за которыми пришли их работодатели — оккупанты. Освобожденные из тюрьмы рассказывают жуткие вещи: в камерах так тесно, что даже негде сесть; люди все время стояли прижатые друг к другу. О том, чтобы выйти по нужде, и речи быть не могло.

Мы живем в первом доме от ворот. Руднинку, 16. В нашей квартире стоят несколько кроватей ее бывших хозяев. Они достались старикам и детям. Мы впятером спим на полу в промежутке между двумя окнами. На день постели убираются, иначе не будет прохода. Но и ночью не все помещаются на полу. Одна девушка спит на столе, а другая — прямо в ванне. Одна семья приютилась на кухне. В нашей квартире живут целых восемь семей.

Понемногу исчезает чувство временности. Гетто становится уже знакомым, почти своим. Оно больше второго. Здесь больше улочек: Руднинку, Месиню, Страшуно, Шяулю, Диснос и Лигонинес. А там, кажется, только Гаоно, Жиду, Стиклю.

Ворота нашего гетто с внешней стороны «украшает» большая надпись: «Внимание! Еврейский квартал. Опасность заражения. Посторонним вход воспрещен».

И в нашем гетто с первых же дней образовалась «власть»: полиция и новый «юденрат» (председатель — член первого «юденрата» А. Фрид). На улицах Руднинку, Лигонинес и Страшуно открылись полицейские участки. На Руднинку, 6, в бывшем реальном училище, вместе с «юденратом» обосновалась и комендатура во главе с шефом геттовской полиции Яковом Генсасом. Говорят, что он офицер сметоновской армии, работал в Каунасской тюрьме.

Геттовская полиция, наверно, нужна для того, чтобы передавать нам приказы господ властителей и рьяно следить за их выполнением. А эти приказы сыплются один за другим. Во-первых, нужно сдать все деньги и ценности (в который уж раз!), себе можно оставить только триста рублей. Во-вторых, в гетто можно ходить только до девятнадцати часов; затем наступает «полицейский час», то есть запрещенное время. В-третьих, все обязаны продолжать работать там, где работали до переселения в гетто. Однако выходить в город по одному запрещается. Работающие в одном месте идут организованно, всей бригадой. В-четвертых, категорически запрещается ходить без знаков — как в самом гетто, так и за его пределами. (Теперь этот знак — сплошная желтая звезда. Все углы звезды должны быть крепко пришиты к одежде — одна звезда спереди, другая сзади.) В-пятых, запрещено обращаться непосредственно в городские учрежде-

ния; все дела решаются через комендатуру геттовской полиции. И так далее и тому подобное.

По приказу оккупантов в гетто открыт «арбейтсамт» — «отдел труда», который обязан зарегистрировать всех трудоспособных жителей. Теперь, если кому-нибудь в городе нужны рабочие из гетто, работодатели обращаются в гитлеровский «арбейтсамт», тот передает требование геттовскому «арбейтсамту»; последний комплектует бригады.

Начальником геттовского «арбейтсамта» Яков Генсас назначил своего брата Соломона Генсаса, а связным между городским и геттовским отделами труда — какого-то Браудо.

Работающие получают удостоверения — «аусвайс». В них написано, что «der Jude» такой-то (оставлено место для фамилии и имени) работает там-то (оставлено место для названия учреждения). Тут же сказано, что без разрешения «арбейтсамта» нельзя брать еврея на другую работу.

Мама тоже получила работу — в швейной мастерской. Как хорошо, что у нее золотые руки и она умеет шить!

Нам дали хлебные карточки. Но получаем по ним невероятно мало. Как говорится, с голоду не умрешь, но и жить вряд ли будешь. Хлеба — 125 граммов в день; на остальные продукты недельная норма: 80 граммов крупы, 50 граммов сахару, 50 граммов подсолнечного масла и 30 граммов соли. Но ни подсолнечного масла, ни сахару не получаем. Дают только хлеб и черный горох вместо крупы.

Оккупанты нам жалеют не только еду, но и бумагу: ввели разноцветные карточки. Желтая карточка — на одного человека, красная — на двух, розовая — на трех, зеленая — на четырех.

Получаемых продуктов, конечно, не хватает, поэтому каждый старается что-нибудь принести, возвращаясь с работы (выменивают на одежду или просто получают от друзей). Но Ф. Мурер из «гебитскомиссариата» это пронюхал и вывесил у ворот новый приказ, гласящий, что вносить в гетто продукты питания и дрова строго запрещается. Охрана ворот, состоящая из одного городского полицейского и нескольких геттовских полицейских, обязана обыскивать каждого входящего в гетто.

Найденное конфискуется, а нарушитель передается гитлеровским властям.

Значит, за то, что хочешь внести в гетто кусок хлеба, можешь поплатиться жизнью.

Сегодня в школе первый день учебы... Хотя с двухнедельным опозданием, но занятия все же начинаются. А я здесь.

Наверно, уже был звонок... Все вошли в класс. За моей партой пустое место... И место А. Р. пустует. А почему? Почему нам запрещено прийти в школу и сидеть на уроках? За что нас закрыли здесь и не разрешают выйти в город?

Мы на днях говорили об этом с А. Р. Вспоминали школу, наш класс. Здесь А. Р. выглядит совсем другим. Одежда в пятнах, под ногтями грязно (правда, он работает, но где — не сказал, наверно стесняется). И волосы непривычно короткие. Даже глаза какие-то не такие, тусклые.

Генсас нам преподнес новую выдумку Мурера: ремесленники должны жить в первом, то есть нашем, гетто, а все остальные — во втором. На рабочих удостоверениях ремесленников ставится специальный штампик. У кого штампика нет, обязан переселиться во второе гетто, а живущие в том гетто ремесленники будут переведены сюда.

К счастью, на мамино удостоверение этот штампик поставили: она считается портнихой, шьет что-то из меха.

В нашей квартире один мужчина не является ремесленником. Комендант велит ему спуститься с семьей во двор. Взять с собою вещи.

Там собралось немало людей, все какие-то грустные, вялые. Мне их очень жаль: не успели, бедняги, привыкнуть к одному месту, уже гонят на другое.

Открывают ворота гетто. Там ждут городские полицейские. Они всех уводят...

Увод из нашего гетто неремесленников длится уже несколько дней. Геттовские полицейские вечерами ходят по квартирам и проверяют удостоверения. Не имеющих нужного штампика выпроваживают во второе гетто.

Точных вестей о переведенных нет. Лишь несколько

человек получили через кого-то записки, и то очень непонятные. А переведенные сюда из второго гетто (между прочим, их очень мало) уверяют, что к ним за последние дни не привели ни одного человека.

На фронте пока ничего радостного. Правда, из гитлеровской «молниеносной войны» ничего не вышло. Хвастали, что за две недели дойдут до Москвы. Потом так же хвастливо переносили этот срок, даже говорили, что уже находятся в предместьях Москвы. Но все это вранье. Их остановили. И Москвы им, конечно, не видать. Но наступление они возобновили. И Ленинград окружен. Только все равно их побьют!

Йом-кипур. Сегодня этот праздник особенно грустен. Старики постятся, молятся, просят божьей милости. Напрасный труд: если бы был бог, он не потерпел бы таких ужасов.

Полдень. Внезапно в гетто врываются пьяные солдаты. Люди разбегаются, улочки пустеют. Гитлеровцы по-хозяйски разгуливают, заглядывают во дворы, угрожают, стреляют в воздух. Мама, Мира и другие взрослые нашей квартиры на работе... Что делать? Неужели нас уведут? Возможно. Ведь мы не работаем, не нужны им. Дети смотрят на меня такими глазами, будто я что-нибудь знаю или могу их спасти... А что я могу? Мне самой страшно. Только не подаю вида, успокаиваю их, чтобы не разревелись. Хоть бы скорее пришла мама!

Наконец солдаты убрались. Вскоре вернулась мама. Стемнело, и мы легли.

Сквозь сон я услышала какой-то шум. Как будто подъехала машина. Я вскочила и, шагая через спящих, подошла к окну. Хотя оно, как и все выходящие на свободные улицы, забито, через маленькую щелочку виден угол улицы у ворот.

Из подъехавшего грузовика выпрыгивают солдаты. Строятся... Будить или нет? Может, не пугать, ведь они пока никуда не идут, застыли в строю.

Тихо. Город спит. И солдаты окаменели, не шевелятся. Может, всегда на ночь усиливают охрану? Ведь ночи темные — осень.

Снова гудят машины. Сколько в них солдат!

В испуге бужу всех. Поднимается страшная паника. Дети плачут, матери охают, никто не находит своей одежды. И я верчусь полуодетая, дрожа от страха и холода. А солдаты уже стучатся в наши ворота... Они уже во дворе!.. Поднимаются по лестнице... Стучат!.. Никто не открывает. Они барабанят кулаками. Колотят. Сейчас выломают дверь.

Сосед подкрадывается к двери и говорит, что из этой квартиры всех угнали во второе гетто. Остался только он один, ремесленник с фабрики «Кайлис». Ему, конечно, не верят и велят показать удостоверение. Сосед просовывает его сквозь щелочку в дверях. Солдаты рассматривают, вертят в руках и со смехом разрывают на клочки. Но сами уходят стучаться в соседнюю квартиру.

Снова пробираюсь к окну. Ворота открыты. Из гетто гонят людей. Выстраивают. Все с детьми и с узлами. Какой-то мужчина бежит назад. Гремит выстрел...

Всю толпу угоняют по улице Пилимо, а из гетто ведут других. Опять выстраивают...

Мама просит не смотреть в окно, но я не могу. Что из того, что страшно, может, скоро и сама там буду стоять. Мама успокаивает: нас не найдут — сын соседки выходил на лестницу и с той стороны забил дверь досками, а сам влез через окно обратно. Убийцы подумают, что здесь никто не живет.

Но они все равно стучатся! Видно, не поверили... Сейчас выломают. Нет. Смеются: вместо того чтобы искать евреев для Понар, ломятся в какую-то забитую мышиную нору...

Ушли.

От ворот уводят еще одну большую толпу. Солдаты залезают в машины и уезжают.

Тихо, улочка снова дремлет. Высоко, куда мои глаза сквозь щелочку не достигают, светит луна. Она освещает землю. Наверно, и тех, что сейчас плетутся согбенные, угрюмые, грустные. Думают ли о побеге? Наверно. Но это невозможно: охранников много, улицы пусты, ворота заперты.

Тюрьма. Раскрываются большущие тяжелые ворота. Они скрипят: недовольны, что и ночью нет покоя. Бедняг загнали, словно стадо, и закрыли.

Рассветает. Мама собирается на работу. Нам велит ложиться и спать. Но как заснуть, если ясно представляю себе, как там, в тюрьме, сейчас страшно. Люди живут последний день своей жизни. Их много. В камерах, коридорах, даже во дворе. Дождь. А они сидят на своих узлах, прижимая к груди плачущих детей.

Мама вернулась с работы.

...А те в тюрьме все еще сидят.

Ночь. Скоро их выведут.

Уже, наверно, велят строиться. Толкают, бьют.

Широко раскрываются ворота. Они выпускают в последний путь. Подгоняемые плетками, люди идут, идут, не видно конца. Их много. Солдатам уже надоело избивать.

Наконец все. Ворота смыкаются. Надсмотрщики обшаривают все углы, не остался ли кто. Странно — оставаться в тюрьме тоже запрещается.

Накрапывает дождь. А люди идут. Медленно, еле волоча ноги. Большое похоронное шествие. Люди хоронят сами себя. Но, наверно, не все это понимают.

В одном окне появляется заспанный человек. Его разбудили шаги на пустынной улице. Увидев толпу, человек исчезает. Может, снова ложится, укутывается в мягкое одеяло, зарывается в теплую подушку и засыпает... Потревожит ли его сон мысль, что вот сейчас, когда он сладко дремлет, там, в Понарах, тысячи людей падают в мокрые от дождя и крови глинистые ямы?.. Друг на друга, с закинутыми назад руками, перекошенными от страха и боли лицами; мужчины валятся на маленьких детей; молодые женщины, подростки, старики — все вместе, все в одну яму...

Подумает ли этот сонный человек (почему я так ясно представляю его себе?), подумает ли он, что всего полгода, даже четыре месяца назад все эти угнанные на смерть были учителями, рабочими, просто родителями и детьми! Они были людьми!

А может, этот показавшийся в окне человек скрылся не из равнодушия, а от боли? Может быть, он так же, как и я, очень страдает, хотел бы помочь, но... Может ли один человек разогнать такую вооруженную охрану и спрятать всю эту большую толпу? Не может. И поэтому страдает вдвойне.

Оказывается, этой ночью учитель Йонайтис был возле гетто. Он слышал об ужасах прошлой ночи и побоялся, что гитлеровцы продолжат свою кровавую акцию. Вместе со знакомым, которому удалось на одну ночь получить ночные пропуска, он простоял недалеко от ворот — если нас погонят, может удастся как-нибудь спасти.

Я записалась в библиотеку. Это бывшая библиотека имени Страшуна, только сильно опустевшая. Гестаповцы вывезли все более или менее ценные книги, а произведения советских авторов просто сожгли. Пригрозили, что часто будут проверять библиотеку. Если найдут «книгу коммунистического содержания», расстреляют не только персонал, но еще столько людей, сколько в этой книге страниц.

Геттовская власть запретила держать в квартирах книги. Все обязаны сдать имеющиеся книги в библиотеку. А работники библиотеки следят, чтобы книги не пропадали; от читателей их требуют даже через геттовскую полицию.

Есть и читальня. Тесная, крохотная, но когда в одной комнате живут несколько семей, дома читать почти немыслимо. А читать хочется! Хоть ненадолго забыть, где находишься.

В библиотеке пристроилось и адресное бюро. В отделе прописки (мы даже прописаны, как в настоящем городе) записали все адреса, посадили девушку, и сидит она, бедная, зевая. В первые дни еще, бывало, кто-нибудь забредет на всякий случай спросить о пропавшем родственнике, а теперь... кто жив, встретился в этой тесноте, а кого нет, того и адресное бюро не разыщет.

А. Р. узнал от кого-то последние известия: Москва держится! Защищают ее героически, притом не только войска, но и население. Даже ученики помогают — роют окопы. И мы бы с удовольствием помогали, рыли, чтобы только скорее пришел Гитлеру конец.

Нам делали прививку от каких-то инфекционных заболеваний. Вообще здесь, насколько позволяют возможности, геттовские врачи заботятся о здоровье людей.

В доме № 11 по улице Руднинку есть амбулатория, а на улице Лигонинес — даже больница. Несколько палат предназначено для больных инфекционными заболева-

ниями; во дворе в маленьком сарайчике держат умалишенных. (А ведь еще совсем недавно они были вполне нормальными людьми!)

У ворот больницы находится морг, а напротив — аптека. Конечно, совсем не похожая на настоящую, в ней даже не пахнет лекарствами; получить там можно только самые простые порошки.

Там же, в аптеке, принимают передачи и записки для больных, а рядом в каморочке выписывают пропуска для посещения. Без пропуска даже не пытайся сунуть нос: у ворот сидит очень злой старик. Словом, все как в настоящей больнице, только ужасно убого.

Ночью нас снова разбудил топот тяжелых солдатских сапог. Смотрим, у ворот большой отряд гитлеровцев. Кинулись одеваться. Но вдруг послышалась команда повернуться. Старший крикнул, чтобы солдаты шли во второе гетто.

Представляю себе, что там будет сегодня твориться.

...В какой-нибудь квартире разбуженные шумом люди пытаются спрятаться. Откидывают дверцу в полу, ведущую в подвал. Но в этот момент в комнату врываются убийцы.

...На столе догорает огарок свечи. Смятые постели, перевернутый стул. Палачи грабят — сняв шинели, напяливают костюмы, за пазуху заталкивают рубашки. Когда пихать некуда, открывают подвал. Спрыгивают. Фонариками освещают сырые стены и застывшие в ужасе лица. Приказывают стать перед ними, завоевателями Европы, на колени. Ходят между вставшими на колени, издеваются, стегают по спинам, ржут. Насытившись этим зрелищем, выгоняют.

...На улице кто-то пытается вырваться. Бандиты заламывают ему руки и тащат к толпе, уверяя, что не надо сопротивляться — ведь только переводят в рабочий лагерь. Но он лягается, кусается и в конце концов, вырвавшись, бежит. Его догоняет пуля...

Кто-то в толпе сетует — не надо было бежать. Может, на самом деле везут в лагерь?

Темная октябрьская ночь провожает их, идущих из города...

Второе гетто этой ночью совсем ликвидировали. Там было около девяти тысяч человек.

Под утро недалеко от ворот нашего гетто нашли ползшую из того гетто роженицу. Не доползла, умерла, рожая на мостовой. А новорожденную, здоровую и кричащую, внесли в гетто. Ее назвали Геттой.

Работающих на фабрике «Кайлис» выселяют из гетто. В городе, недалеко от фабрики, для них создают отдельный блок. Его огородят, но люди предполагают, что акций там, наверно, не будет. Директор фабрики «Кайлис» будто бы выхлопотал распоряжение не трогать тех, кто у него работает.

Пока что туда переселяют не всех: не умещаются. Но скоро директор получит еще один дом, рядом.

Хотя Генсас объявил, что жителям нашего гетто, то есть ремесленникам, больше ничто не угрожает (в этом его как будто заверили немецкие власти), никто ему не верит. Люди уже несколько дней говорят о каких-то желтых удостоверениях. Наш кайлисовец уже получил. Удостоверение такое же, как и белое, но желтого цвета и называется не «аусвайс», а «фахарбайтер аусвайс». Его получат только хорошие ремесленники и то не все, потому что удостоверений только три тысячи, а рабочих десять тысяч. Для служащих «юденрата» и геттовской полиции принесли четыреста удостоверений. Выходит, они, хоть и не ремесленники, получат почти все, а из работающих получит только четверть.

Мама получила! Из двухсот тридцати работающих на швейной фабрике эти удостоверения получили только восемьдесят.

В гетто неспокойно. Ничего определенного, но все говорят, что сегодня ночью не надо ложиться.

Поздно вечером мы узнали, что все имеющие желтые удостоверения обязаны зарегистрироваться в «юденрате». Регистрировать будут всю ночь, до четырех часов

утра. Надо явиться с членами семьи — мужем или женой и детьми до шестнадцати лет. Детей старше шестнадцати, родителей, братьев и сестер к удостоверениям не приписывают. Исключение составляют только геттовская полиция и работающие в мастерских, принадлежащих гестапо.

Какое счастье, что Мира тоже получила удостоверение. Ведь ей уже семнадцать лет.

Завтра рано утром все, кто имеет желтые удостоверения, обязаны выйти на работу вместе с приписанными к удостоверению членами семьи. В гетто можно вернуться только вечером следующего дня. Не получившие удостоверений и их семьи остаются в гетто...

Очень страшно. Настроение тяжелое. Люди злые, нервные; все лихорадочно спешат зарегистрироваться. У кого нет удостоверений, ищут, к кому бы приписаться или хотя бы приписать и спасти своих детей. Имеющие удостоверения набирают новых «родственников», особенно детей. Братья будут регистрировать сестер как жен, дочери запишут мужьями отцов...

Мы тоже идем регистрироваться. По темным улочкам плетутся люди. Все двигаются в одном направлении. В руках у одних прикрываемые ладонями огарки свеч, другие иногда зажигают спички. Темно, как в мешке. Кто-то потерял ребенка. Бежит назад, в испуге зовет его.

«Юденрат». Широкая лестница бывшей гимназии запружена людьми. Все стремятся наверх, к спасительным столам. Спускающиеся вниз локтями пробиваются через толпу. Большинство плачет: одному не приписали мать, другому — семнадцатилетнего сына. Геттовские полицейские пытаются навести порядок, но на них не обращают внимания: кто так близко ощущает смерть, не чувствует ударов.

Шум, столпотворение, даже не верится, что всего полгода назад по этой лестнице носились ученики. В бывшем классе, где сейчас люди борются со смертью, стоит, словно наблюдая за нами, скелет. Отдыхают карты, доска. В углу валяются какие-то декорации, балетные костюмчики. Но никто их, кажется, не замечает. Да и я сама уже совсем забыла, что такие вещи существуют. Странно, человеку кажется, будто вместе с его жизнью изменился весь мир...

Уже видны регистрационные столы. С мамой заговаривает какой-то мужчина. Просит приписать его как мужа. Мама пугается. Но он горячо убеждает, что нам это не повредит, а ему спасет жизнь. Умоляет не отказать. Расспрашивает, как нас зовут, кто какого года рождения, как он сам должен именоваться, сообщает, где он работает.

Мама подает регистраторше удостоверение. Та нас осматривает, записывает и подает маме маленькие синие номерки.

Как жадно блестят глаза этого мужчины, когда он смотрит на спасительный номерок! Он пробивает нам дорогу и все твердит о своей благодарности. Даже неловко слушать такие торжественные слова. Что это стало с людьми? За самый нормальный человеческий поступок благодарят так, словно для них совершили что-то необыкновенное, героическое.

Мы вернулись домой. В нашей квартире семнадцать человек не имеют удостоверений и номерков. Они останутся здесь. Но некоторые приписали своих детей к чужим людям. Теперь родители прощаются... Дети плачут, не хотят идти без матерей, а те сквозь слезы жадно целуют родное личико, ручки и с болью шепчут: «Иди с дядей и тетей, слушайся их... Они тебя спасли». Кто знает, так ли это?..

Светает. Мы уже во дворе и ждем маминого приписанного «мужа» (без желтого удостоверения недействительны синие номерки).

Выходим со двора. У барьера толчея. Мурер и другие офицеры тщательно проверяют удостоверения, осматривают каждого члена семьи. «Забракованных» (то есть подозрительного возраста) угоняют в подворотню соседнего дома.

К выходу приближается девушка. Она ведет за руки стариков родителей. Мурер берет ее удостоверение, велит пройти, а родителей толкает к «забракованным». Но девушка тащит их обратно. Мурер не пускает. Она вырывает из его рук удостоверение и все-таки ведет родителей. Мурер швыряет ее к стене, достает пистолет...

Когда я открываю глаза, она уже лежит... А Мурер спокойно возвращается на место и снова принимается за проверку.

Наконец выходим и мы. Вместе с большой группой людей идем в блок «Кайлиса». Но нас не хотят впускать: уже переполнено. Мужчины кое-как упрашивают впустить нас хотя бы в сарай. Садимся на свои узлы у дверей. А работающие расходятся по предприятиям.

Моросит дождь.

...И там, в гетто, тот же дождь. Людей избивают, гонят.

Уже вечер. Ноги затекли. Так хочется их вытянуть и хоть на минутку где-нибудь приклонить голову.

Стемнело. Все еще идет дождь. Наверно, уже скоро полночь. Как невыносимо тяжело! Когда все это кончится?

Набожные люди уверяют, что земля не хочет принимать невинные жертвы и выбрасывает их назад. Поэтому из земли торчат руки... Но, как объяснила мама, все гораздо проще: большинство расстрелянных валится в яму ранеными. Они задыхаются и распухают. Их очень много — слой земли, которым засыпаны ямы, лопается. Вот в щелях и виднеются руки, ноги, головы...

Поэтому теперь ямы не наваливают доверху, а тела заливают негашеной известью.

Страшные мысли копошатся в голове, не дают даже вздремнуть, хотя уже вторая ночь без сна и глаза сами слипаются.

Еле дождались рассвета. Мама и другие работающие снова ушли.

Теперь ждем вечера, когда сможем вернуться домой.

Осенние дни коротки, скоро начнет темнеть. Но никто не торопится: страшно. Может, там еще не кончилась акция?

Наконец мы решились.

В гетто жуткая пустота. На улицах валяются брошенные узлы. Зияют чернотой раскрытые двери. Под ногами хрустят осколки битого стекла.

Наша квартира пуста. Тех семнадцати человек нет. Вещи, словно заснеженные, покрыты белым пухом: бандиты вспороли подушки.

А дальше что?..

Оккупанты еще больше бесятся. Очевидно, потому, что им не везет на фронте.

А убежать из гетто становится все труднее. Население напугано, боится прятать. В газетах напечатан приказ Мурера: если у кого-нибудь найдут спрятанных евреев, будут строжайше наказаны все жильцы квартиры. «Строжайше наказаны» — это значит повешены. Я слышала, что «для острастки» нескольких городских жителей уже повесили на Кафедральной, Ратушской и Лукишкской площадях.

Кто может, пытается хотя бы уехать в окрестные местечки. Говорят, там спокойнее.

Люди продают последние тряпки и нанимают грузовики. Детей выносят в рюкзаках или выводят, переодев в одежду взрослых. После работы уже не возвращаются в гетто и с наступлением темноты ждут в условленном месте.

Но пока еще очень немногие достигли цели путешествия: задерживают по дороге.

Неужели нет спасения?

Еще живыми кажутся люди, угнанные во время акции на прошлой неделе, а уже снова...

На этот раз обладатели желтых удостоверений обязаны выйти с семьями не на одни сутки, а на трое.

Одна наша знакомая, тетя Роза, решила не прятаться. Говорит, что за три дня все равно найдут. А если на этот раз даже удастся каким-то чудом уцелеть, то возьмут в следующий раз, все равно истребят всех. Такова их программа...

Мне жутко ее слушать. А мама даже сердится на нее. Как можно самой согласиться умереть? Сидеть и ждать, пока придут за ней!

Зато в соседней квартире лихорадочная суета: готовят убежище. В маленькую комнатку вносят узелки с бельем, краюхи хлеба, кастрюльки отварного черного гороха. Входят и люди. Все с опаской поглядывают на соседку с маленьким ребенком: не расплачется ли он? Уже не раз плач ребенка выдавал тайник.

Молодой парень с сестрой, которая приписана к его удостоверению как жена, прячут в убежище своих родителей. Двери комнаты маскируют огромным старинным буфетом. Прибивают его к стене. На полки складывают

посуду всей квартиры и специально для такого случая хранимую бутылку водки.

Если палачи нагрянут, водка отвлечет их внимание.

Прошли и эти трое суток.

Мы снова в гетто. Первым делом я забежала в соседнюю квартиру. Как тайник? Он разрушен... Буфет отодвинут. Значит, ребенок все-таки расплакался. Обычная причина провала тайника. Случилось так, как со многими другими...

...Первый день. В комнатке тихо, темно. Ребенок спит. Солдаты входят в квартиру, недолго ищут и выходят. С улицы доносятся далекие крики, одиночные выстрелы. Но в комнатке кажется, что здесь безопасно.

Ночь. Мать будит ребенка, тихо играет, кормит — чтобы только не спал: пусть спит днем. Но как нарочно, его глазки слипаются. Засыпает. Что будет днем?

Утро. Снова приходят солдаты. Сегодня они, очевидно, ищут более тщательно. А ребенок не спит. Привык к темноте и уже не хочет лежать спокойно — лопочет, играя пальчиками ножек, смеется. За стеной, в большой комнате, — солдаты. Ищут, роются, стучат в стену! Открывают буфет!.. Смеются. Нашли водку. Пьют, орут, гогочут. И все это так долго! Хоть бы ребенок не расплакался! Мать крепко прижимает его к себе, своим ртом закрывает его ротик.

Наконец бандиты убираются. Прошел и второй день. Продержаться бы еще один!..

Третий, последний день. В квартиру снова вваливаются солдаты. Сегодня они особенно свирепые, шумные. Словно злые собаки, рыщут в каждом углу. Вот и сейчас слышны их шаги. А ребенок сегодня невыносимо капризен. Заболел, что ли? Хоть бы не заплакал. Плачет! А они уже поднимаются по лестнице. Опять заходят в квартиру... Кто-то из соседей набрасывает на ребенка подушку. Мать хочет откинуть. Но все напрасно: бандиты уже слышали... Отталкивают буфет и входят в комнату.

И вот все, кто был в тайнике, бредут в Понары...

Генсас опять уверяет, что будет спокойно. Он созвал собрание и объявил, будто немецкие власти его уверили, что теперь, когда в гетто остались только хорошие, очень нужные немцам ремесленники, ничего плохого больше не

случится. Только надо хорошо и добросовестно работать, быть послушными. Если мы своим трудом принесем пользу и будем усердно выполнять все приказы, они нас не расстреляют.

Я сама видела, как один человек на эти слова махнул рукой и сплюнул, назвав Генсаса фашистским попугаем.

На этом же собрании Генсас объявил и о новых порядках: в каждой бригаде должен быть ответственный бригадир — «колоненфюрер». Он отвечает за всю бригаду и должен следить, чтобы при выходе на работу к ним не примазался посторонний человек, желающий таким образом выйти в город. Бригадир отвечает и за порядок, когда идут по улицам города. Он обязан иметь список рабочих своей бригады и проверять, все ли пришли на работу; от неявившихся требовать справку врача. О не работавших без уважительной причины он обязан сообщить в геттовский «арбейтсамт». Тот имеет своих исполнителей — полицию труда, которая сажает «саботирующего» на ночь в тюрьму, а утром выпускает при условии, что он пойдет прямо на работу.

Между прочим, работа «платная». Мужчины получают по одной марке и двадцать пфеннигов в день, женщины — по одной марке, а подростки до шестнадцати лет — по восемьдесят пфеннигов. Столько выплачивают рабочему. Ровно такую же сумму организация должна внести в «гебитскомиссариат».

Но пусть никто не думает, что этот жалкий заработок достается работающему. Нет. Теперь на него свою лапу накладывает геттовская власть. Десять процентов забирает налоговый отдел. Даже специально отпечатаны налоговые карточки. Если не отмечено, что налог уплачен, не выдают хлебных карточек. Знают, как без особого труда вытребовать налог.

Еще десять процентов надо внести для комитета «зимней помощи». Тут уж ничего не поделаешь — чем ближе зима, тем больше нужна эта помощь.

Из гетто уже вышли и остальные рабочие «Кайлиса»: их директор получил второй дом для блока. К сожалению, мы не смогли выйти вместе с ними. А там пока спокойно. И во время прошлых акций, когда здесь лилась кровь и в Понары угнали около семи тысяч человек, там была только поверхностная проверка.

Теперь и в самом гетто будут блоки. Все работающие в одном месте жить тоже будут вместе, в одном доме. Люди говорят, что это плохой признак. Теперь, если кого-нибудь уволят, сразу придется идти в Понары. Уже не спрячешься... Кое-кто успокаивает, что, может, это всего лишь немецкий педантизм, любовь к порядку или, в худшем случае, новый способ выявлять людей, у которых нет желтых удостоверений.

Но если они действительно только к этому стремятся, то напрасно. Не имеющие удостоверений остались на своих местах. Люди еще больше потеснились и живут. О «нелегальных» ничего не знают не только гитлеровцы, но и геттовские полицейские.

Снова мрачные вести: в Понары увезли семьи советских офицеров, которые до сих пор держали в двух домах на улице Сабачяус.

И вот сегодня их увезли. Проезжая, одна женщина крикнула возвращающейся в гетто бригаде: «Где рабочий поселок Понары? Нас туда везут на работу».

Обычный обман...

Получен приказ «гебитскомиссариата»: евреям запрещено рожать детей. Народ, обреченный на истребление, не должен рожать новое поколение.

Сегодня запрещают рожать детей, а завтра могут уничтожить тех, которые уже есть.

Хоть бы один день прожить без страха смерти!

Прошлой ночью снова была акция. Таинственная, непривычно тихая, поэтому мы узнали о ней только сегодня.

В этот раз смерть ворвалась в семьи рабочих из мастерских, подведомственных гестапо. Хотя работать в самой берлоге зверя еще страшнее, но в этом было и одно преимущество: бригадиру удалось вымолить разрешение приписывать к их удостоверениям не только жен и детей, но и родителей, сестер, братьев. Стремясь спасти как можно больше людей, они набрали множество «родственников». А теперь господа, очевидно, спохватились: рабочих слишком много, а членов семей еще больше.

Около полуночи в гетто тихонько вошла небольшая группа солдат и направилась к блокам, где жили рабо-

чие гестаповских мастерских (улица Страшуно, 3, и половина дома № 15). Так же тихо разбудили людей и передали приказ шефа гестапо Нойгебоера выйти из гетто. Их вежливость и нормальный тон заставили думать, что они пришли вывести нужных им рабочих из гетто, которому, наверно, опять грозит опасность.

В этих блоках жило несколько посторонних семей, которые еще не успели переселиться в свой блок. Теперь они посчитали себя счастливцами и присоединились к уходящим.

Всех увели в Лукишкскую тюрьму. Но это их не испугало: во время первой акции желтых удостоверений, когда надо было сутки пробыть с семьей на месте работы, их тоже закрыли на ночь в одном из отделений тюрьмы.

Утром туда пришел начальник тюрьмы Вайс с несколькими гестаповцами и объявил, что большинство рабочих уволено. Оставленных он вызовет по списку. Их отведут назад, в гетто. Однако и на них прежние привилегии не распространяются: с ними могут выйти только жены и дети до шестнадцати лет. Родители, братья и все уволенные остаются здесь.

Горсточка выпущенных вернулась в гетто.

Остальных, наверно, угнали в Понары...

Снова неспокойно. Обладателям желтых удостоверений велят заполнить анкеты. Мама уже заполнила. Вопросы обыкновенные: фамилия, имя, год рождения, ремесло, место работы, имена членов семьи, степень родства, их возраст. Говорят, что перечисленным в анкетах членам семьи (в анкеты можно вписать только тех, кто имеет синие номерки) выдадут розовые удостоверения.

Всем дадут или опять что-нибудь придумают?

Розовые удостоверения дают всем, но не сразу — каждый день получает определенное количество людей.

Мама уже получила для нас. Теперь я тоже имею собственный документ. Правда, он, очевидно, не очень важный, потому что действителен всего лишь в гетто и подписал его только Генсас. Даже печать местная — все та же шестиконечная звезда с надписью по-немецки: «Полицейская комендатура. Гетто. Вильнюс».

Люди было успокоились: раз розовые удостоверения выдают всем, по очереди, волноваться нет оснований.

Но вчера вечером неожиданно поднялась паника: Мурер приказал до утра закончить эту работу.

Ранним утром в гетто вошли отряды солдат. Выстроились на улицах. Наверно, ждут, пока все работающие выйдут в город. Но люди не хотят идти. Генсас со своими полицейскими гонят силой. Кричат, что здесь будет только проверка. А если найдут кого-нибудь с желтым удостоверением, не вышедшего на работу, удостоверение аннулируют, а его самого и семью заберут.

Мама все равно не хочет идти. Соседи почти насильно уводят ее.

А что будет с нами? Может, хоть на этот раз не обманут и действительно только проверят? Все равно плохо: живущие в нашей квартире соседи не имеют удостоверений. Ребенка они приписали к удостоверению товарища, а сами в прошлые две акции уцелели в убежище своих знакомых; теперь это убежище собираются усовершенствовать и временно разрушили. Им некуда деваться, поэтому решили спрятаться хотя бы в кровати. Легли, а мы накрыли их одеялами и подушками всей квартиры, сверху набросали одежду.

Тихое зимнее утро. В воздухе кружатся редкие снежинки. Они ложатся прозрачным покровом на землю. Но тут же их вдавливают в грязь кованые сапоги. Сверху снова ложатся снежинки, как бы желая собою прикрыть и грязь, и след сапога. Но напрасны старания: теперь их топчет много ног — увели большую группу людей. Уцелев после таких двух страшных акций, они все равно погибнут. Трудно избежать Понар...

Вдруг мы услышали шаги. Солдаты уже во дворе!.. Поднимаются по лестнице... Стучатся в соседнюю квартиру. Никто не открывает — ломают дверь. Она трещит. Женский плач. Солдатский смех. Шаги. Топот. Кого-то уводят...

Уже стучатся в нашу дверь! Бросаемся к кровати, закрываем, выравниваем. С перепугу сажусь на кровать. Подо мною зашевелились, очевидно я больно придавила.

Гитлеровцы долго осматривают каждое удостоверение. Выстукивают стены, отодвигают шкаф, рыщут в передней. Вваливаются в соседнюю комнату. Я осторожно приподнимаю угол подушки, чтобы к беднягам проникла хоть капелька воздуха.

Бандиты уходят. Сбрасываем подушки. Обмахиваем, поим холодной водой; люди еле приходят в себя. Но вылезти из кровати не решаются, потому что гестаповцы могут вернуться.

У ворот гетто стоят крытые грузовики. На этот раз палачи не гонят свои жертвы пешком: по дороге люди пытаются бежать. Хотя чаще всего смельчака все равно догоняет пуля, но, если везти, и ее не потребуется...

Привезут в лес. Там долго будут греметь выстрелы. Затем снова станет тихо. И только деревья, как бы окаменев в трауре, почтут память расстрелянных...

Сосед тоже получил розовое удостоверение. Оказывается, после выдачи членам семей еще остались бланки. Нужны рабочие, и розовые удостоверения выдают всем, кому во время этих страшных акций удалось уцелеть.

Значит, больше их не будут трогать. Вот как не права была тетя Роза, сразу потеряв надежду. Спряталась бы — может, и жила бы теперь, как все мы. Правда, долго ли? Во всяком случае, мы еще хоть можем надеяться, потому что мы живы, а она...

Удостоверение соседа такое же, как и наше, только возле номера стоит буква «S» (это удостоверение не члена семьи, а защитное, «schutz»). Туда вписано и ремесло его обладателя. А жена соседа получила обыкновенное, как и у нас всех, удостоверение члена семьи.

Да, теперь приказали работать не только получившим эти удостоверения, но вообще всем жителям гетто: женщинам, старикам, подросткам. Работающие получают еще и синие удостоверения, то есть свидетельства о работе, дополнительно к розовым удостоверениям.

Я тоже хочу работать в городе. Но мама не пускает. Говорит — замерзну. Да и как детей оставлять одних? Но я чувствую, что она скоро сдастся: уж очень мало ее и Мириного заработка. Все-таки было бы еще немножечко денег, а главное, может, я бы тоже смогла что-нибудь приносить из города.

Ура! Фашистов бьют! Их гонят от Москвы! Красная Армия уже освободила Калинин.

Им худо! Они мерзнут!

Жаль только, что они хотят потеплее одеться за наш счет. Приказали сдать все шубы, даже воротники, мехо-

вые шапки и манжеты. Все меховые изделия необходимо до пяти часов вечера отнести в «юденрат». За невыполнение приказа — смертная казнь!

Придется отдавать. А ведь большинство людей работает на улице. Если до сих пор мерзли только те, кто надеялся, что до зимы война кончится, и поэтому не принесли в гетто зимних пальто, то теперь будут мерзнуть все. И как назло, ужасно холодно, никто не помнит такой суровой зимы. А оккупанты с этим не считаются — каждый день приходят в гетто, ловят женщин, даже подростков и гонят чистить снег. Работа временная, поэтому не дают ни удостоверений, ни даже той жалкой платы. Просто выгоняют, и работай.

Мама отпорола наши воротники и отнесла. Рассказала, что у «юденрата» стоят грузовики, в которые целыми охапками грузят теплые шапки, воротники, пальто.

Я побежала посмотреть. Да. Нагруженные машины выезжают из гетто, а на их место становятся пустые, чтобы вскоре выехать отсюда, медленно покачивая в кузове гору разноцветных меховых лоскутов.

Сегодня я слышала анекдот: красноармейцы думали, что взяли в плен женский батальон, — на шинелях гитлеровцев болтались хвосты чернобурок.

Что бы мы делали без учителя Йонайтиса? Наверно, еще больше голодали бы. На прошлой неделе он передал для нас глиняный горшочек с жиром. Его мать прислала ему из деревни — сверху под бумагой лежала ее записка. А он записки и не заметил. Значит, не открывал. Как получил, так прямо переслал нам. Он очень неосторожен — вчера принес к самым воротам гетто папино осеннее пальто и передал Мире. А сам ходит в рваных ботинках. Мама уже несколько раз просила носить оставленные у него папины ботинки. В конце концов он обещал, но при условии, если мама возьмет за них деньги.

Еще чего!

Уже несколько дней тихо. Попытаюсь подробнее написать о нашей жизни.

Здесь люди тоже неодинаково живут. Одни, придя в гетто, принесли с собой больше вещей, другим помогают живущие в городе друзья, а третьи не имеют ни того, ни

другого. Им изредка оказывает помощь отдел социального обеспечения при «юденрате»: выдает пособие для внесения квартплаты (не заплатишь — не получишь хлебных карточек), хлопочет о льготах при оплате налогов, дает бесплатные билеты в баню или талончики на суп. Конечно, получить все это нелегко: нуждающихся больше, чем возможностей.

Недавно «социальное обеспечение» и «зимняя помощь» провели сбор одежды, призывая людей поделиться последним с теми, кто ничего не имеет. И люди делятся...

Эту одежду получают сироты и те, кто ходит в лохмотьях, а чистит снег на улицах города, работает на железной дороге и аэродроме.

Между прочим, работать на аэродроме — настоящее несчастье. Там есть страшный гитлеровец, для которого самое большое удовольствие — целиться кому-нибудь в шапку или заставлять усталых и замерзших людей после работы до самой ночи ползать на животе по аэродрому.

Опять была акция. Небольшая, тихая, но все-таки акция.

Ночью в гетто бесшумно вошел небольшой отряд солдат. Трезвые, спокойные, они велели геттовским полицейским оставаться на своих местах, а сами разошлись по имеющимся адресам.

Они будили людей довольно вежливо, советовали взять с собою теплую одежду и терпеливо ждали, пока те оденутся и соберутся.

Только за воротами гетто, когда стали загонять в машины, люди осознали свое положение...

Оказывается, накануне Мурер потребовал от Я. Генсаса новых жертв. Генсас составил список нежелательных ему или надоевших геттовской полиции лиц, дал палачам адреса, и ночью в Понарах снова гремели выстрелы.

Я не знала, что в гетто действует нелегальная организация коммунистов и комсомольцев. Их фамилий никто не называет, потому что это может им повредить. Но факт, что они есть. Лучшее доказательство — новогодние воззвания. Настоящие, напечатанные (может

быть, даже в самом гетто?). В них очень горячо призывают сопротивляться, не давать, подобно овцам, вести себя на бойню. Пишут, что в Понарах уже лежат наши матери, братья, сестры. Хватит жертв! Надо воевать!

Настроение приподнятое, все повторяют слова воззвания.

Вот и наступил новый, 1942 год. Люди даже не поздравляют, как обычно, друг друга. Потому что этот год может быть нашим последним. Рассказывают, что Гитлер в своей новогодней речи по радио заявил, что в канун следующего, то есть 1943-го, нового года, еврея уже можно будет увидеть только в музее, в виде чучела.

Если Гитлера не разобьют на фронте, он свои угрозы осуществит...

Прошлую ночь наш сосед ночевал в геттовской тюрьме: его поймали при попытке внести в гетто несколько картофелин.

Эта тюрьма находится во дворе библиотеки, по улице Страшуно, 6. Фактически это уже Лидская улица, но с той стороны все наглухо забито, а вход через двор с улицы Страшуно.

В тюрьме есть несколько камер. В них сидят «мелкие преступники», наказываемые за невыход на работу, попытку что-нибудь внести в гетто или оскорбление геттовского полицейского. Эти камеры всегда битком набиты.

Вначале люди смеялись над этой тюрьмой, а сейчас боятся: она часто бывает кануном Понар. Когда Мурер требует людей для расстрела, Генсас в первую очередь «очищает» тюрьму.

Опишу наше «государственное устройство».

Учреждений у нас — как в настоящем государстве. Только там министерства, департаменты и комитеты, а здесь «юденрат», его отделы и полиция.

Кроме «арбейтсамта», отдела социального обеспечения, библиотеки и больницы, о которых я уже писала, есть множество других.

Отдел питания выдает через комендантов домов хлебные карточки, распределяет по магазинам привозимые продукты и проверяет их выдачу.

Квартирный отдел занимается вопросом комнат, точнее, углов в комнатах. Если после акции где-то стало «просторнее», туда переселяют (конечно, по ордеру) людей, живущих в еще большей тесноте. Квартирный отдел имеет ремонтные бригады, которые изредка белят комнаты. Но такое счастье, к сожалению, выпадает только на долю полицейских и других привилегированных.

Есть в гетто и другие учреждения: технический и финансовый отделы, отдел мастерских, регистрационное бюро и даже похоронный отдел. Ничего не поделаешь, он нужен. Люди умирают не только от пуль. Городская власть выделила в распоряжение гетто закрытый черный катафалк и дохлую клячу. Почти каждое утро на рассвете по гетто движется печальная процессия — черный катафалк и горсточка провожающих. Если вывозят сразу два-три гроба, провожающих больше.

Доходят до геттовских ворот. Родные прощаются.

Кто тихо плачет, кто кричит. Ворота приоткрываются, проглатывают катафалк и снова смыкаются. Минуту-другую еще слышно цоканье подков о сонную мостовую, и все... Теперь покойника быстро мчат по улицам к кладбищу. Надо успеть, пока город еще не проснулся: даже мертвому «Jude» не все можно...

О детях заботится специальный отдел присмотра за детьми. Для сирот есть интернаты. Дети разделены на группы, по возрасту. Меньшие учатся, а старшие работают в геттовских мастерских или в специальной транспортной бригаде. Если подросток, хоть и сирота, работает в городе, его в интернат не принимают. Считается, что он уже самостоятельный человек. А этому человеку еще так мало лет...

Есть и две школы — на улицах Страшуно и Шяулю. Их специально поместили подальше от ворот: если какой-нибудь гитлеровец неожиданно нагрянет в гетто, пусть не знает, сколько здесь еще детей, пусть не видит, что они под каким-то присмотром. Сами учителя притащили столы, парты, даже доску нашли. Учат. Без учебников. Химию без лабораторных работ, биологию без единого растения, но учат.

Ежедневно в двенадцать часов детей ведут на кухню за супом. Они приходят, постукивая деревянными, обтянутыми материалом, башмачками, и ждут, чтобы их впу-

стили. Об этой минуте они мечтали вчера весь вечер и сегодня все утро.

Жадно выхлебав свою порцию, вылизав мисочку, выходят и снова начинают ждать завтрашнего дня, когда их опять приведут сюда...

Дети. Бледные личики, натертые деревянными башмаками ножки. Они тоже враги фюрера. От них тоже надо «очистить Европу».

Для старших есть и гимназия. Но она полупуста. Не потому, что детей этого возраста меньше, а потому, что они уже работают. Ни сами себя, ни другие их уже не считают детьми. Ведь и я забываю, что мне лишь пятнадцатый год. Лучше об этом не думать, потому что охватывает такое желание учиться, читать стихи, хоть плачь!.. Теперь я бы полюбила и теоремы, даже физику. Но мама и Мира работают, надо присматривать за детьми, стоять в очередях...

Завидовать очень нехорошо, но я иногда завидую малышам, которые ничего не понимают. В грязном, узком дворе, под мрачными, гнетущими сводами они ведут хоровод, поют. Глазенки блестят...

На днях утром появились объявления о том, что второй полицейский участок вместе с артистами готовит представление. Рядом с этим объявлением вскоре появились другие: «На кладбище не поют!», «Полицейские спокойны за свою жизнь, они сыты и одеты — им не хватает только концертов!», «Люди, не ходите на концерты!», «Вместо того чтобы сидеть на концертах, лучше думайте, как вредить немцам!»

Но концерт состоялся, хотя и очень мало было зрителей.

Теперь отдел культуры «юденрата» собирается создавать театр.

Вчера ночью бомбили.

Мы уже лежали, когда вдруг от страшного взрыва задребезжали стекла. Мы соскочили в испуге — думали, что взрывают гетто. Снова грохнуло. Кто-то крикнул: «Бомбы!»

Ура! Нас освобождают! Но мама уверяет, что одна бомбежка еще ничего не изменит. Так что ж, получат больше бомб! Этого им никто не пожалеет!

Генсас с полицейскими совсем взбесились. Заметив в окне даже огонек от папиросы, швыряют камень. Взрываются бомбы, сыплются стекла, свистят полицейские — настоящее светопреставление. А мне совсем нестрашно. Наоборот.

Внезапно стихло. Самолеты улетели, и мы снова остались одни, взаперти, в лапах врага.

Самолеты вернулись еще раз, где-то далеко несколько раз глухо грохнуло, и опять наступила цепенящая тишина...

Оказывается, одна бомба упала недалеко от гетто.

Около полудня примчался рассвирепевший Нойгебоер. Кто-то ему сообщил, что ночью из гетто были выпущены белые ракеты. Значит, здесь знали о прилете самолетов и ждали их: евреи подали большевикам знак, помогли им сориентироваться, осветили город. Виновных он искать не станет. За такую измену ответят все. Он сам, собственноручно подожжет гетто: «Пусть евреи, сгорая, светят своим друзьям-коммунистам».

Я уже давно ничего не записывала. Жизнь однообразна: если не говорим о Понарах, то говорим о еде. Несколько раз видела А. Р. Но о чем с ним говорить? О школе? Сколько можно жить воспоминаниями? А больше не о чем: он работает, у меня свои заботы. О них можно говорить с мамой, но не с ним.

Уже март. Скоро весна...

Опять очень неспокойно: истекает срок действия желтых удостоверений.

Осенью, когда получали эти удостоверения, пять месяцев их действия казались долгим сроком. 30 марта представлялось очень далеким. Еще столько можно будет жить! Надеялись, что до этого дня гитлеровцев могут прогнать. Теперь этот день приближается, а они все еще здесь.

Каждый, как может, старается выведать, что с нами будет дальше. Однако ничего не слышно. Неужели какой-нибудь гестаповец или служащий «гебитскомиссариата» никому не проговорился? Таинственность сулит только плохое...

Теперь я точно знаю: в гетто нелегально действует организация, которая готовится к борьбе с оккупантами. Это FPO — объединенная партизанская организация. Члены этой организации уже изготовили своими руками мину, которую сами подложили под железнодорожный путь около Новой Вильни.

Ура!

Однако говорить об этом нельзя. Мама запретила даже в дневник вписывать. Но как я могу пропустить такую новость?

Последние три ночи до истечения срока действия желтых удостоверений мужчины нашей квартиры по очереди дежурили. Если будет акция, пусть хотя бы не застигнут врасплох.

Сегодня, в последнюю ночь, уже никто не ложится.

Ночь почти весенняя, но какая-то застывшая, неподвижная — все темно да темно.

Наконец стало светать. Мы выходим на улицу. Надо идти на работу или не надо? Геттовские полицейские, конечно, орут, чтобы мы не поднимали паники и шли, как обычно, на работу. Но кто-то пустил слух, что гестаповцы будут гнать в Понары прямо с работы, а гетто будут «чистить» днем.

Бригады распались: все бегут домой прятаться, спасаться, сопротивляться. Геттовские полицейские ловят и силой гонят на работу.

И маму увели почти насильно. Я спряталась во дворе, чтобы не надо было прощаться.

День прошел в напряженном ожидании. Но ничего не было. Неужели ночью?

Дремали нераздетые. Ночь тоже прошла спокойно. Может, фашисты вообще забыли, что истек срок?

Удостоверения продлевают. Опять не всем сразу, чтобы не было паники.

Маме уже продлили. Просто перечеркнули дату «1942.III.30» и поставили штампик «IV.30». Только на месяц... Оптимисты уверяют, что за это время отпечатают трудовые книжки, которые будут давать вместо желтых удостоверений.

На этот раз слухи подтвердились: желтые удостоверения действительно меняют на трудовые книжки. Я уже видела. Они сделаны из твердой розовой бумаги. На первой странице (точнее, обложке) — фамилия, имя, дата и место рождения, место жительства (здесь сразу же напечатан и ответ: «Вильна. Гетто»), специальность, семейное положение. Затем две странички предназначены для отметок о работе: где и кем работает, когда принят, уволен. В конце — место для записей геттовских властей.

Когда трудовые книжки получат все имеющие желтые удостоверения, их начнут выдавать и обладателям синих удостоверений.

Между прочим, название «синие» уже не совсем точно, потому что теперь их печатают на зеленой и белой бумаге, очевидно, синей не хватило.

Мы с мамой уже давно договорились, что весной я тоже пойду работать. И вот я работаю. Таскаю воду.

В первое утро, выйдя из гетто, я испугалась: на улицах столько гитлеровцев! Я тащилась вместе со всей бригадой и боялась поднять глаза. А улицы такие широкие, чистые. Здесь и светлее, чем в гетто.

Увидела учителя французского языка Бакайтиса. Может, не надо было на него глазеть, не кивнул бы. Ведь ему это повредит, если кто заметит...

Работаю на огородах старого богача Палевича. Они довольно далеко, примерно в районе Кальварийского рынка. Хозяин — злой старик. В первый же день предупредил, чтобы мы не смели выносить отсюда ни одной морковины. Если при прополке съедим морковку или огурец, он простит, но, если поймает при попытке унести с собой, сообщит в гестапо.

Пока еще нечего ни полоть, ни есть. Носим воду для поливки. Первые ведра показались ужасно тяжелыми, тем более что нести приходится далеко, до конечных грядок. В гетто такое расстояние — две улицы.

Я таскала полные ведра и торопилась с пустыми назад. Время еле ползло. Когда настал час обеда, работавшие недалеко польские женщины сели перекусить. Хотя очень хотелось посмотреть, как они едят, я заставила себя отвернуться. А то еще подумают, что прошу. Конечно, если бы угостили, я бы не отказалась.

Посидев, я с трудом встала: очень заболело все тело. Руки от напряжения тряслись, ведра казались еще более тяжелыми. Трудно было заставить себя носить.

Солнце садилось очень медленно.

Вечером мама не могла упросить меня поесть: тошнило, болела голова. Мама уверяла, что я опьянела от свежего воздуха. А мне совершенно неважно, отчего мне плохо.

Утром я не могла подняться. Мама упрашивала, объясняла: если работаю, нельзя пропустить ни одного дня, иначе сочтут за саботажницу. Она мне, словно маленькой, помогла одеться, а я ревела от обиды, что даже мама меня не понимает, что не представляет себе, как мне трудно. А мама меня одевала и успокаивала, что так всегда бывает после первого дня тяжелого труда, а потом проходит.

Вчера на самом деле было легче, а сегодня даже сносно.

Чтобы не было скучно работать и скорее проходило время, я считаю ведра. Сегодня их было девяносто шесть. Я сорок восемь раз принесла по два полных ведра.

Советский Союз подписал договор с Англией и Америкой. Договорились, что они будут вместе воевать против Гитлера и его сообщников.

Сведения о заключенном между тремя государствами союзе точные. И все сообщения о фронте достоверные. Нелегально действующие в гетто коммунисты распространяют среди населения сообщения Совинформбюро.

Давно не было новых распоряжений — так появились. Господин бургомистр приказал, чтобы каждый житель гетто уплатил «поголовный налог» за второе полугодие 1941 года. А вскоре надо будет платить за первое полугодие этого года.

Моя голова «оценена» в восемь марок. Может, и недорого, если бы были деньги. Но их нет. И продавать уже почти нечего. Даже дети это понимают. На днях соседка спросила Рувика, что он ест. А он, даже не моргнув, ответил: «Рукав маминой ночной сорочки».

Счастье, что на свете есть учитель Йонайтис...

Мы уже год под оккупацией. Как изменилась жизнь, сколько погибло людей! Как непохож этот год на все

прежние. Только теперешние дни, в гетто, если нет акций, похожи друг на друга.

...Раннее утро. Сонные люди сходятся на улице Руднинку, собираются бригадами. Мальчики с висящими на шее деревянными лоточками шныряют между ними, предлагая свой товар: «Сахарин! Папиросы! Кому папиросы, камушки для зажигалок!» Женщины тихо предлагают ржаные лепешки.

Из города возвращаются несколько трубочистов. Это самые богатые люди гетто. В детстве я трубочистов боялась, повзрослев, жалела, что они всегда грязные, в саже, а теперь завидую: они всегда сыты. Дело в том, что в городе не хватает трубочистов и городское управление вынуждено было обратиться в гестапо, чтобы оно разрешило брать трубочистов из гетто, а главное, выдало бы им удостоверения на право одним ходить по городу и заходить в дома. У трубочистов на обороте их удостоверений написано, что этот «Jude» может один, без сопровождения, ходить по улицам. За чистку дымохода добрые люди их кормят, иногда еще дают что-нибудь для семьи. А искать в их грязных ящиках охрана ворот брезгует. Мурер в руки они не попадаются: дымоходы чистят рано утром и возвращаются в гетто, когда все остальные еще только собираются выйти.

...Понемногу гетто пустеет: бригады выходят на работу. На улицах появляются одиночные прохожие. Это господа — служащие «юденрата». Они чище одеты, зато очень бледные, какие-то хрупкие.

Завывает мотор пилы. Гетто как бы снова оживает: везде слышен визг электрической пилы.

Вечером возвращаются усталые рабочие.

Наступает ночь. Все замирает до следующего утра.

Когда я сегодня возвращалась с работы, у ворот еще было тихо. Внезапно поднялся переполох. Смотрю, геттовские полицейские гонят от барьера встречающих и останавливают движение. У ворот Мурер! Он стоит у входа и наблюдает, как полицейские из охраны ворот обыскивают входящих. Иногда сам проверяет. У одной женщины находит двадцать пфеннигов (разрешается иметь при себе только десять). Приказывает отвести ее в помещение охраны ворот, раздеть и наказать двадцатью пятью палочными ударами. Бьют ее пять полицейских,

каждый по пять раз. Но Мурeру этого мало, и он сам берет палку...

Оставив полуживую женщину, Мурер возвращается к воротам. Зрелище избиения его раздразнило, он ищет новых жертв.

Замечает, что у одного пожилого человека что-то торчит под пиджаком. Это котелок с супом. Мурер приказывает немедленно тут же съесть весь суп. Раз ему мало получаемого по карточке пайка, пусть наестся. Человек начинает есть. Но даётся это нелегко: жалостливый благодетель его уже накормил, а этот суп предназначался только семье. Но Мурeру этого не объяснишь. Он издевается, пугает: если тот не вылижет котелка, придется идти в Понары. Человек глотает давясь...

В конце концов Мурeру надоело возиться. Найдя что-нибудь, он просто говорит: «Налево». Его помощники выстраивают «нарушителей» и угоняют в тюрьму. Люди умрут за то, что хотели принести детям ломоть хлеба.

Второго фронта еще нет, гитлеровцы, по-видимому, спешат этим воспользоваться, наступают. В Крыму кровавые бои. Геройски защищается Севастополь.

В гетто невесело. Ужасная жара. Трудно работать. Даже есть не так хочется. А скорого освобождения все еще не видно. Правда, земля под оккупантами горит. Создаются партизанские отряды. Я слышала, что и наши в гетто вооружаются. Словом, люди зашевелились. Но все делается очень таинственно.

Снова была паника. Днем к воротам подъехало несколько телег. В каждой сидело по два солдата. Их старший зашел в гетто и попросил, чтобы Генсас дал пожилых и ослабевших людей «для отдыха на даче».

Стариков в гетто очень мало: трудно было уцелеть при таких акциях. Но есть новые, успевшие здесь преждевременно состариться. Одни живут с семьями, другие, одинокие, в приюте. Приют — это несколько темных, вонючих комнатушек, густо заставленных кроватями. Очень слабые старики даже не встают, да и ходячие больше похожи на тени, нежели на людей.

И вот по приказу Генсаса геттовские полицейские стали собирать стариков, повторяя, словно попугаи,

слова гитлеровцев, что бояться нечего: везут в Поспешки на дачу. Но кто им верит?

Начали, конечно, с приюта. Чтобы взять тех, кто уже не в состоянии подняться, телеги въехали в гетто. Полицейские выносили эти беспомощные скелеты и укладывали на телеги.

Других приводили прямо из дому. Акция началась так внезапно, что никто не успел спрятаться.

Гитлеровцы старались казаться вежливыми, не издевались, не орали. Даже велели, чтобы стариков сопровождали медицинская сестра и несколько полицейских. Предупредили, что телеги скоро вернутся обратно за поваром, хлебным пайком на один день, котлами и прочей кухонной утварью.

Что это значит?

Сопровождавшие стариков полицейские уверяют, что они действительно были в Поспешках, где все подготовлено для отдыха. Врут, конечно.

Что за чудеса? Старики на самом деле отдыхают. Их неплохо кормят, не бьют, фотографируют. И все же оставшиеся в гетто родные умоляют Генсаса вернуть стариков. Но он и слушать не хочет, твердит, что старикам ничто не угрожает, после двухнедельного отдыха они вернутся в гетто.

Конечно, обманули...

Сегодня утром гитлеровцы снова потребовали от Генсаса его полицейских: стариков надо везти в гетто. По техническим причинам их не могут там держать столько, сколько было намечено.

Полицейские поехали, усадили всех в машины. Машины поехали в город, но повернули не в гетто...

Чем дальше, тем яснее становилось, куда везут.

На этот раз дрожали и геттовские полицейские: им сопровождать к месту смерти! А ведь убийцы не любят живых свидетелей.

Но они вернулись. Одни. А больше ста седых стариков свалили в ямы...

Для чего нужна была эта трагикомедия с «домом отдыха», мы так и не узнали. Во всяком случае ясно, что фашисты кому-то хотят втереть очки.

Скоро осень. Оккупанты решили запастись топливом. Для рубки леса, конечно, требуют людей из гетто. Как ни странно, обещают половину заготовленных дров отдать для гетто. Наверно, боятся, что наши не очень усердно будут заботиться об их тепле. Поэтому хотят заинтересовать: чем больше будет нарублено, тем больше получит и гетто.

Генсас объявил, что должны будут ехать все неработающие в настоящий момент и зарегистрированные в «арбейтсамте» мужчины. А они не верят, что повезут на работу, очень испуганы и ищут способы, как избежать этого. Но ничто не помогает. Говорят, даже служащим привилегированного «юденрата» придется отработать в лесу определенное количество дней. И хорошо, пусть почувствуют, что значит физический труд.

Но гитлеровцы почему-то медлят, пока не посылают. Говорят, все потому, что в лесах полно партизан, которые взрывают мосты, пускают под откос поезда. Гитлеровцы боятся, что люди из гетто присоединятся к партизанам.

Все-таки фашисты везут в лес людей из гетто. Правда, приказали Генсасу послать с ними и геттовских полицейских, которые следили бы, чтобы лесорубы не связывались с партизанами. В противном случае всему гетто будет «капут».

Вчера геттовская полиция трудилась до позднего вечера, разносила всем, кто должен ехать в лес, вызовы.

Поднялась паника. Люди бегут прятаться. Но геттовские полицейские их ловят и приводят насильно. Повторяют слова Генсаса, что нечего бояться, действительно везут в лес на работу, иначе зачем понадобились бы геттовские полицейские и даже динстлейтер? Однако такой аргумент никого не успокаивает: желая обмануть, гитлеровцы не пожалеют нескольких геттовских полицейских.

Кто-то пустил слух, что везут не на лесные работы, а разминировать поля.

Собирающиеся у «арбейтсамта» скорее похожи на похоронщиков, чем на лесорубов. Одни взяли с собой какие-то свертки, а другие пришли с пустыми руками: на самом деле, зачем брать одежду, пусть лучше останется для семьи — продадут.

Двенадцать часов. В гетто въезжают первые десять телег. На каждой — гитлеровец. Женщины громко рыдают, геттовские полицейские их гонят.

Ворота раскрываются и снова закрываются, выпустив людей в неизвестность...

Вывезенные действительно работают в лесу. Некоторые женщины получили от своих мужей записки (какой-то крестьянин сунул в городе проходившей мимо бригаде).

Все бегут к счастливицам читать эти записки.

Гита (я работаю с ней вместе на огородах) уже давно уговаривает меня записаться в хор. Говорит, там очень интересно, а главное, хоть временно забываешь про все беды.

На днях она меня повела. Руководитель хора Дурмашкин проверил голос, слух, память и велел сразу остаться на репетиции. Но хор, оказывается, поет на древнееврейском языке, а я ничего не понимаю.

Хористы рассказывают, что сначала было очень трудно. После каждой акции часть хористов выбывала. Приходилось привлекать новых. Но это нелегко: одни объясняют, что очень устают, другим родители не разрешают, у многих траур. Кроме того, часто, особенно после акций, в окна летели камни — чтобы не пели. Хору даже негде было репетировать, каждый раз собирались в другом месте. И все-таки репетировали каждый вторник и пятницу. Теперь хор уже имеет две комнаты (на улице Страшуно, 12), пианино и даже форму.

Между прочим, хор Дурмашкина не единственный. Есть и хор под руководством Слепа. Там поют по-еврейски. Тот хор имеет прекрасную солистку — Любу Левицкую, которая была солисткой радио.

Дурмашкин создал и симфонический оркестр. Это, конечно, было еще труднее. Музыкантов уцелело очень немного: кто не догадался назвать себя столяром, стекольщиком или хотя бы сапожником и гордо остался музыкантом, тот уже давно в Понарах... А другие, «приобретя» новое ремесло, старались как можно скорее им овладеть, чтобы не выгнали с работы. Пальцы огрубели, стали непослушными. Кроме того, после двенадцати

часов тяжелого труда трудно удержать скрипку в руках, да и не очень хочется. А кто и хотел бы — не имеет инструмента: либо, идя в гетто, не взял с собой, либо давно выменял на хлеб.

Но, очевидно, чем больше трудностей, тем больше энтузиазма. Оркестр все-таки кое-как собрали. Ноты Дурмашкин получает через добрых людей из филармонии. Сейчас оркестр готовит вместе с хором Девятую симфонию Бетховена. Оказывается, текст четвертой части симфонии — ода Шиллера «К радости». Мне перевели ее содержание. Там говорится, что все люди — братья. Конечно... Только жаль, что гитлеровцы так не считают...

Сегодняшний день мог быть последним в моей жизни. А утром я ничего не подозревала, вышла на работу как обычно. И днем ничего не предчувствовала. Наоборот, даже была в хорошем настроении, что удалось обменять на муку мамину блузку.

Насыпав муку в специальный, простеганный «корсет», ждала вечера, когда надену его под платье, затянусь пояском, чтобы не выглядеть слишком полной, и так, «поправившись», вернусь в гетто.

Когда мы шли с работы, какой-то прохожий буркнул, чтобы мы дальше не шли — возле гетто неспокойно.

Мы растерялись. Что делать? Куда деваться? И что происходит в гетто? Неужели акция? Бригадир велит идти, потому что наше замешательство может вызвать подозрение.

Мы еле-еле двигаемся вперед. Одни советуют вернуться обратно на работу. Другие уверяют, что это равносильно самоубийству — вечер, а мы идем в обратном направлении.

Еще один прохожий предупредил, чтобы мы не шли: у ворот усиленно обыскивают.

Значит, Мурер. Те, кто ничего не несет, успокоились. Другие стараются тут же, на ходу, незаметно выбросить из карманов по одной картофелине. А куда мне деть свою муку? Я ее даже снять не могу.

Гетто уже совсем близко... Надо немедленно что-то предпринять, иначе уже будет слишком поздно... Когда повезут в Понары, буду мучительно жалеть, что упустила этот момент.

Гита попросила сорвать с ее спины звезду, она не пойдет в гетто. Я тоже не пойду... Вслед за нею шагнула на тротуар. Страшно... Гита взяла меня под руку и ускорила шаг. Прошли совсем немного — и уже Каунасская улица. Там опасно: много прохожих. Вернулись назад. Через какой-то проход повернули на Большую Стефановскую улицу. Но она такая же короткая — мы опять у Каунасской. Поворачиваем назад. Издали видно гетто. У ворот все еще очередь...

Снова сделали тот же круг. Но сколько можно так ходить? Если кто-нибудь заметит, сразу поймет. Мы пересекли Каунасскую улицу и пошли по каким-то незнакомым улочкам.

Стемнело. Скоро уже, наверно, вообще не будут впускать в гетто. Может, все бригады уже вернулись и мы не сможем пробраться? Надо идти...

Насколько расстояние позволяет видеть, у ворот все еще много народа, но, кажется, уже спокойнее. Приближаемся и мы. Хотим юркнуть в проходящую мимо бригаду, но нас не пускают, не хотят ради нас рисковать жизнью. Пока объясняемся, шагая рядом, одной ногой по тротуару, другой по мостовой, совсем приближаемся к гетто. Гита дергает меня за рукав, заходит на тротуар, и мы как ни в чем не бывало шагаем мимо гетто.

Снова плетемся по темным улочкам. Окна замаскированы, идем почти ощупью. Покружившись, выходим на улицу Пилимо. Издали по мостовой приближается толпа. Наверно, какая-нибудь бригада наших. Гита шепчет, что теперь уж во что бы то ни стало надо войти в гетто. Иначе рискуем остаться здесь на всю ночь, а это значит — попасть в Лукишкскую тюрьму.

Как только бригада приблизилась, мы юркнули. Здесь люди оказались более дружелюбными. Некоторые позлились, поворчали, что мы «отчаянные девчонки», но, узнав причину такого нашего злоключения, спрятали нас в самую середину и обещали заслонить от геттовских полицейских. Один у ворот даже положил мне на плечо руку, чтобы не видно было, что я без звезды.

Мурера у ворот действительно нет. Зато трудятся полицейские. Забрали спасенную с таким трудом муку...

Мама не очень переживает: «Хорошо, Маша, что ты хоть жива осталась». Она думала, что я уже не вернусь.

Только теперь я узнала, что тут творилось. Оказы-

вается, под вечер, как раз в самую пору возвращения с работы, к воротам неожиданно подъехал Мурер. Влетел прямо в угловой магазинчик, куда складываются отбираемые продукты. Взглянув, что конфисковано, вылетел назад и избил нескольких геттовских полицейских. Кричал, что они плохо ищут.

В гетто поднялась страшная паника. Все испуганы, растеряны. Одну за другой в геттовскую тюрьму отводят группы «нарушителей». Женщины, увидев среди задержанных своих мужей и братьев, рыдают, кричат, проклинают. Всех испугала угроза Мурера, что он не потерпит игнорирования своих приказов. Он запретил вносить в гетто продукты, а «verdammte Juden» («проклятые евреи») его не слушаются. Чтобы проучить всех, будет расстреляно сто спекулянтов!

Оказывается, ночью часть задержанных все-таки выпустили. Расстреляли десять женщин, работавших в Новой Вильне и попавших в руки самого Мурера. Их увезли. Старший конвоир даже расписался, что принял их от начальника геттовской тюрьмы и отвечает за их доставку в Понары...

Вот и ноябрь. Холодно. Скоро зима. Выдержим ли мы, если даже не будет акций?

Одно утешение — этой зимой гитлеровцам уже наверняка будет конец. Их крепко бьют. Сколько времени уже идут бои под Сталинградом, а занять город им не удается. Красноармейцы геройски защищают каждый клочок земли, каждый дом.

Гитлеровцам худо не только на фронтах, но и тут, на оккупированных землях. Один человек мне по большому секрету сказал, что и геттовские партизаны — члены FPO — вооружаются. Притом оружие, конечно, не вносят через ворота, а доставляют тайно, самыми неожиданными способами: через канализационные трубы, под дровами и даже в гробах.

Тот же человек мне сказал, что этих геттовских партизан еще очень немного, но в этом виноват Генсас. Он постоянно твердит, что только послушанием и хорошей работой можно избежать Понар. Но если, мол, власти узнают, что в гетто есть хоть один партизан, немедленно взорвут все гетто.

Позавчера в гетто привезли тяжело раненного в живот динстлейтера геттовской полиции Шлёсберга. (Вернувшись из лагеря лесорубов, он, кажется, был назначен начальником Решского торфяного лагеря.) Сразу же в больницу прибыл и Генсас. Во время их беседы в палате никого не было, поэтому неизвестно, что рассказывал раненый. Но говорят, что в него стреляли свои. Шлёсберг все время грозился сообщить Генсасу о том, что они поддерживают связь с действующими в окрестных лесах партизанами и сами собираются туда уйти. Поэтому его и «успокоили».

Генсас уже официальный «владыка» гетто. До сих пор считалось, что есть два начальника: председатель «юденрата» А. Фрид и шеф геттовской полиции Я. Генсас (хотя фактически и до сих пор управлял один Генсас). Теперь официально объявлено, что Генсас имеет право и уполномочен управлять гетто по своему усмотрению. Словом, он «фюрер» гетто.

Шефом полиции будет Деслер (бывший комендант второго участка). А. Фрид назначается заместителем Генсаса по административным делам.

Гита мне рассказала много интересного об одной комсомолке — Соне Мадейскер. С фальшивым паспортом, как полька, она должна была перейти линию фронта и добраться до Великих Лук. Но ее поймали. На допросе она молчала. Ее приговорили к смертной казни. В последний вечер ей удалось вырваться из фашистских когтей.

Соня Мадейскер вновь вернулась в Вильнюс. Нелегально живет в городе и, не страшась никаких опасностей, продолжает действовать, помогает доставлять оружие, приходит в гетто, поддерживает связь с работающими в подполье городскими коммунистами.

Опять невеселые новости: Мурер ни с того ни с сего стал проверять квартиры.

На прошлой неделе он неожиданно зашел в гетто и завернул в первый попавшийся двор. Ударом ноги отворил ближайшую дверь и устремился прямо к полке для продуктов. Найдя только корочку хлеба, велел по-

казать, что варится в кастрюле. Убедившись, что там вода с горсточкой крупы, бросился к шкафу. Осмотрел, нет ли одежды без звезд. Разозленный неудачей, зашел в другую квартиру. К счастью, и там ничего запрещенного не оказалось.

Несколько дней назад он снова сделал налет. В одной квартире случайно заметил завалявшуюся на подоконнике уже высохшую губную помаду. Избил попавшуюся под руку женщину.

Сразу на улицах был вывешен приказ Генсаса (кажется, уже второй такой), запрещающий женщинам носить украшения (интересно, у кого они еще есть?) и употреблять косметику.

Теперь геттовская полиция и сама тщательно проверяет в квартирах полки, кастрюли и шкафы.

До сих пор тайники были необходимы для людей, теперь они нужны и для пищи.

Свои записки и стихи я тоже спрятала. Не дай бог, найдут — всех заберут. Мама говорит, что надо записывать не все. Советует выучить самое важное наизусть, потому что, возможно, записи придется уничтожить. Если Мурер и дальше будет обыскивать квартиры, она не намерена ради моих записей рисковать жизнью детей и нас самих. Да я и так помню все почти наизусть. Пока на этой проклятой работе найдешь кусок бумаги, «пишешь» в уме и зубришь, чтобы не забыть.

Немного расширили гетто. Отдали несколько домов по улице Месиню до улицы Страшуно. Таким образом, гетто досталась и улочка Ашменос. Кроме того, нам «подарили» участки нескольких дворов в домах, тыльная часть которых граничит с гетто, но фасад уже выходит на свободную улицу, за пределами гетто, по Немецкой улице — с 21 по 31 номер. Вход в эти дворы — через дыры в стенах домов по улицам Месиню и Ашменос. Туда переселили всех, чьи квартиры граничили с мастерскими или другими нужными помещениями.

Мы теперь живем на Немецкой улице, в доме № 31. Нашу половину двора отделяет высоченная толстая стена. Кирпичи плотно сцементированы, нет ни малейшей щелочки, сквозь которую мы могли бы хоть взглянуть на тот, запрещенный двор. Даже балкон пересекает глухая стена. Нам оставлены только квадрат мощеного двора и

кусок неба между стенами. Мы словно в большом четырехугольном сухом колодце, из которого невозможно вылезти. Гитлеровцы очень придирчиво проверяли, чтобы подвалы и чердаки делимых домов тоже были наглухо замурованы, чтобы не осталось ни малейшего отверстия, даже для кошки.

В наш двор перевели слесарные мастерские. На Руднинку, 6 расширены столярные мастерские, открыты швейная и вязальная. Грузовики привозят в гетто кипы рваных и окровавленных шинелей, перчаток, носков, белья, а вывозят чистые, заштопанные и залатанные.

Расширены и сапожные мастерские, особенно отдел «манильских» туфель. Здесь из манильской пеньки делаются женские туфли. Они разноцветные и очень красивые. Сопровождая гитлеровцев по гетто, Генсас никогда не проходит мимо этого отдела. Здесь всегда стоит несколько десятков пар самых красивых туфель для подарков. Приведя сюда немцев, Генсас заискивающе-вежливо справляется, какая пара господину начальнику больше всего понравилась и куда бы он приказал ее доставить, как маленький сувенир из гетто. Из кожи лезет вон, чтобы только угодить гестаповцам.

Но «манильские» туфли еще не все.

Есть и химические лаборатории, где изготовляется крем для обуви, зубная паста, пудра и даже мыло из конины. Всю эту продукцию забирает городское управление.

Есть в гетто и часовая мастерская. Конечно, не для нас, а для гитлеровцев. Мы уже почти забыли, как выглядят часы. Но ремонтировать старые нашим мастерам, наверно, не так интересно, как делать новые. По проекту одного инженера группа специалистов изготовила для гетто сюрприз — электрические часы, которые повесили посреди улицы, на углу улиц Руднинку и Диснос.

Часы подключены к городской сети, потому что гетто получает электрический ток всего несколько часов в день.

Я, кажется, забыла записать, что уже не работаю у Палевича — уволили. Зимой мы не нужны.

Работаю в казармах на Большой улице. Должна убирать весь этаж — солдатские спальни, комнаты офицеров, канцелярию, столовую, коридор и лестницу. Иногда еще велят идти на кухню чистить картошку.

Работа очень тяжелая, зато «прибыльная». Иногда от солдат остается немного супу. Сливаю в котелок, забинтовываю руку, подвязываю ее косынкой, а локтем прижимаю к себе дорогой суп. Если у ворот гетто полицейский начинает обыскивать, я делаю страдальческую мину: болит рука. Каждый раз стараюсь попасть к другому полицейскому, чтобы моя рука не примелькалась. Я уже трижды пронесла так котелок.

Сегодня я узнала очень грустную весть. Даже маме еще не рассказала.

На работе, когда мы чистили картошку, на повара напал очередной «приступ» издевательства. Одну из нас поколотил за то, что она обратилась к нему не так, как было нам приказано, — не «уважаемый господин повар», а как-то иначе; другой велел поднять большущий котел картошки, который обычно поднимают два солдата. Она, конечно, не осилила, и он ее тоже избил. Больше ничего не придумав, начал «допрос»: кто где родился, где жил, что делал до войны. Услышав, что я жила в Плунге, повеселел. Он служил вместе с одним плунгенским — Беньямином Шерасом. В субботу, в канун войны, Беньямина прислали с полигона в Вильнюс за какой-то проволокой (он электромонтер). Но тут началась война, пришли немцы. Узнав, что он комсомолец, они его убили и зарыли во дворе казармы. Глубокую яму копать поленились, на голову навалили камень.

Беньямин — папин двоюродный брат...

Вчера был очень грустный вечер: мама долго не возвращалась с работы. Мы уже собирались бежать к кому-нибудь из ее бригады узнать, что случилось, когда она сама пришла. Оказывается, она, сорвав желтые звезды, рискнула пойти на нашу старую квартиру, в город. Может, принесет что-нибудь из старых вещей — уже совсем нечего менять на хлеб... Не предупредила, чтобы мы не волновались.

Ходила напрасно — ничего не принесла...

Думала, что не выдержим здесь вторую зиму, а ведь живем. Еще более голодные, совсем оборванные, зато не такие напуганные, не такие пришибленные. Не то чтобы

меньше боялись всяких акций, нет, но говорят теперь уже не только об этом. Особенно мужчины. Говорят о поражениях гитлеровцев на фронте, о партизанах в лесах и о FPO в самом гетто.

Я очень люблю слушать эти разговоры. Тогда свобода начинает казаться ближе, ощутимее. Начинаю фантазировать, как все произойдет, как нас освободят, как вернемся домой, встретимся с папой.

Ох, скорее бы!..

Расстреляли певицу Любу Левицкую. Так приказал Мурер. Она умерла из-за полутора килограммов гороха, которые хотела внести в гетто.

Проезжая мимо, Мурер увидел Любу Левицкую и Ступеля, идущих по улице Этмону. Мурер остановил их и велел показать, что они несут. У Левицкой нашел горох, а у Ступеля еще и картошку. Он приказал увести их в Лукишкскую тюрьму.

Арест этот переживали все.

Рассказывают, что Люба в тюрьме пела. Даже бездушные надзиратели не запрещали. Она все надеялась, что ее спасут. Но дни уходили, силы иссякали, стала иссякать и надежда.

В тюрьме Левицкая мучилась недолго — неполные две недели. Собрав небольшую группу таких же «преступников», фашисты всех увезли в Понары.

Везли на открытом грузовике. Люба всю дорогу пела. Когда везли по улицам города, конвоир ее избивал, чтобы она умолкла, но потом махнул рукой: никакая сила не могла заставить умолкнуть внезапно окрепший голос. Она пела! Одну песню кончала, другую начинала — и так всю дорогу. Даже у ямы она затянула свою любимую песню «Два голубка». Кончить ее не успела...

Гитлеровцы объявили траур! Три дня должны быть закрыты театры, кино, рестораны и другие увеселительные заведения.

Ура!!! Они скорбят по своим дивизиям, разбитым под Сталинградом. Если бы только было где, мы бы организовали танцы. Впервые за все время я бы танцевала! Веселилась бы от всего сердца — наконец дождалась того, что у оккупантов траур.

И ленинградская блокада уже, оказывается, прорвана! Теперь как начнут их гнать, как начнут! А ведь только февраль. Они еще и намерзнутся!

Из казармы меня уволили. Теперь работаю на мебельной фабрике «Вильнюс» полировщицей. С утра до вечера полирую лыжи. Политуры дают мало, а лыжи должны блестеть. Вот и натираю их целый день.

На днях на все столы, верстаки и подоконники разложили листовки. В них оккупанты агитируют молодежь ехать в Германию на работу. На листовках фотографии красивых комнат с белыми кроватями и шелковыми занавесками. Под снимками надпись, что так живут все приезжие. Но никто из рабочих не спешит зарегистрироваться. Мастер рассказывал, что назавтра после этих листовок здесь появились и другие, тайные листовки. Там было написано, что все фашистские обещания — чистая ложь, приманка, что молодежь Литвы не должна им верить; нужно оставаться на месте и бороться против угнетателей, за свободу.

Гитлеровцев гонят! Уже освобождены Воронеж, Харьков, Ростов и многие другие города.

Март. Первый месяц весны. Но здесь это не чувствуется — холодно, грязно. Да и грустно, хотя радуют их поражения. Но как подумаю, что мы еще так далеко от фронта, а каждый день может принести роковое несчастье, так и надежды гаснут. Наверно, нужно быть очень сильной, чтобы постоянно верить. Не только тогда, когда есть хорошие вести с фронта, а всегда, даже теперь, когда нас так унизили, приравняли к собакам, подвесили на шею номерок.

В гестапо, наверно, решили, что мы слишком мало мечены, что звезд и удостоверений для таких «опасных элементов» мало. Приказали бюро регистрации провести перерегистрацию (по имевшимся ранее данным) и выдать «паспорта» и жестяные номерки.

«Паспорт» — обыкновенная желтая, сложенная пополам твердая бумага. На ней — фамилия, имя, отчество, год и место рождения, семейное положение, цвет глаз и волос, овал лица, рост. Здесь же и отпечатки пальцев.

А ведь отпечатки, по-моему, берут только у преступников.

Номерок — круглый, из простой жести. Края плохо обрезаны. В жести выдавлена шестиконечная звезда, в трех углах которой буквы «WG» (Вильнюсское гетто) и «W» или «M» (женщина или мужчина). Наверху — дырочка для веревки.

Мужчин и женщин регистрировали отдельно. И номера «паспортов» одних и других начинаются от единицы. Женщин на несколько тысяч больше, чем мужчин.

Так называемый паспорт всегда надо иметь при себе, а номерок вообще нельзя снимать с шеи — ни днем ни ночью. Полицейские из охраны ворот обязаны строго проверять, у всех ли есть номерки при выходе на работу и при возвращении в гетто.

Мне эта проклятая жесть в первый же день расцарапала кожу. Кроме того, она начала чернеть. Мама научила из тряпочки сшить футлярчик. Оказывается, не мы одни такие умные. Но какой-то гитлеровец это заметил и рассвирепел: нахальные «Juden» — они еще берегут кожу!

Но что делать, если эта жесть так больно царапает тело? Кто-то изобрел новый фасон футлярчика: сверху незашитый. Если кто требует показать номерок, надо потянуть его за веревочку, и он вынимается, а футлярчик остается за пазухой.

Я была на очень интересном вечере ритмической пластики. Маленькие девочки выполняли разные упражнения, а девочки постарше — танцевали. Мне очень понравился танец «Обиженная невеста». Но самое сильное впечатление оставил созданный и поставленный балетмейстером Ниной Герштейн танец «Желтая звезда». Не могу его забыть, он все время перед глазами.

...На сцену выбегает маленькая девочка. Она танцует весело, беззаботно, словно красивый мотылек. Внезапно темнеет. Сверху сползает большущая шестиконечная желтая звезда. Музыка грозная, мрачная. Девочка пугается. На фоне черного занавеса звезда действительно кажется очень страшной — словно большой притаившийся паук. Девочка хочет убежать, вырваться. Она

мечется, умоляет, грозит, но все напрасно — она падает словно подкошенная... Было бы точнее, если бы показали паучью свастику, но все и так понимают смысл: ведь именно свастика заставила нас носить эту желтую звезду.

В окрестных местечках (Ашмене, Михалишках и других) были акции. Расстреляно около трех тысяч человек.

Еще три тысячи... Убитых уже десятки, сотни тысяч!

В этих местечках совсем ликвидируют гетто. Гитлеровцы считают, что теперь, когда в окрестных лесах кишмя кишат партизаны, евреи, живя недалеко от лесов, в маленьких местечках, безусловно, свяжутся с партизанами. Поэтому евреев переселяют в Вильнюсское и Каунасское гетто.

Похоже, что на этот раз действительно переселят — туда послали геттовских полицейских, которые должны будут провести регистрацию.

Вчера послали еще несколько отрядов геттовской полиции, они перевезут людей.

Сегодня появились первые переселенцы. Их привезли на телегах. На каждой второй телеге — вооруженный гитлеровец.

При въезде в гетто считают. Кроме того, впускают не всех сразу, а группами. Держат недалеко от гетто, на улице Арклю.

Обманули...

Из всех увезенных в Каунас спаслось всего несколько мужчин. Они тайком пробрались в гетто и рассказали жуткую правду. Сначала все шло нормально. Их везли поездом. Вагоны мчались длинной грохочущей змеей. Пробегали поля, леса, станции и полустанки.

Все были спокойны. Только гадали: как будет в Каунасе? Когда будущее неизвестно, оно кажется похожим на прошлое. А это прошлое в воспоминаниях всегда выглядит чуть лучше, чем оно было на самом деле.

Вдруг поезд стал замедлять ход. Лес! Ямы. И гитлеровцы...

Одни бросились ломать оконные решетки. Другие кричали как одержимые, кулаками стучали в стены. Из тех вагонов, где охранники сидели в дверях, мужчины их сталкивали и прыгали. Бежали врассыпную, во все стороны — одни прямо в лес, другие вдоль путей, третьи — через поле. Охранники начали стрелять. Прибежали и палачи, ожидавшие у ям. А люди все равно прыгали из вагонов и бежали. Молодые, старые, женщины, дети — никто не оставался в вагонах. Раненые падали, здоровые набрасывались на солдат, вырывали из их рук винтовки, душили, но падали, скошенные пулями. Раненые корчились в муках, звали на помощь. Другие, обезумевшие от страха и боли, просили, чтобы их прикончили. Солдаты ругались, перевязывали друг другу искусанные руки, гонялись за несчастными по путям, полям, канавам; спотыкались о раненых и убитых, вонзали в стонущих штыки. И все равно не могли справиться: из вагонов все еще бежали. Один солдат помчался к машинисту — велел ехать. Но людей ничто не удерживало. Одни, прыгая из маневрирующего поезда, попадали под колеса, другие, падая, ломали ноги, а новые все равно прыгали...

Покончив со всеми бежавшими, солдаты вытаскивали из вагонов горсточки забившихся в углы стариков и беспомощных женщин. Гнали к ямам. В лесу снова гремели выстрелы...

Пути были усеяны трупами. И в канавах полно. Даже на лугу, далеко-далеко, где только видит глаз, чернели трупы. Еще недавно это были жизнерадостные мужчины, красивые женщины, дети... Между телами ходили палачи. Пинали ногами, били прикладами, переворачивали. Заподозрив, что жертва еще жива, втыкали в живот штык. Рылись в карманах, в брошенных свертках. Найдя что-нибудь подходящее, пихали за пазуху.

Потом они уехали. Осталась только охрана. Она будет стеречь трупы...

Ночь... Земля тяжело дышит: ее давят трупы невинных людей.

С самого утра гитлеровцы приказали Генсасу выслать двадцать пять геттовских полицейских, которые должны будут собрать трупы и сбросить их в яму. С рельсов их скинули (и так поезд опоздал почти на час), но надо собрать и снести в ямы.

Задание геттовской полиции сообщено совершенно открыто. Это чтоб мы знали: сопротивляться или бежать не имеет смысла...

Геттовских полицейских увозят под усиленной охраной. Они подавлены и расстроены: носить трупы не только неприятно, но и страшно — фашисты не любят оставлять свидетелей своих преступлений...

Под вечер в гетто въехало несколько телег с одеждой расстрелянных.

Все знаем, что расстреливают голыми. Не новость и то, что одежду из Понар вывозят. Но ее никогда не привозили в гетто, мы ее не видели. А то, чего не видят глаза, не так гнетет.

Телега движется по узкой мостовой. Одежда шевелится, будто живая... Свисающий рукав. Вчера утром человек, одеваясь, засунул в него руку. А теперь эта рука уже застыла... Детское пальтишко... Сколько лет было ребенку, который его носил? Шапка. Кажется, будто она прикрывает срубленную голову. Шапка скользит... Под нею торчит ботинок...

Хочется плакать, выть, кусаться, кричать: ведь вчера, еще только вчера под этой одеждой бились сердца, дышали теплые тела! Еще вчера это были люди! А сегодня их уже нет! Убили! Вы слышите — убили!

Геттовские полицейские вернулись поздно. Вид у них ужасный. Одного привезли без сознания: в изуродованном трупе с раздробленной головой он узнал свою мать...

Они почти ничего не рассказывают. Только сообщили, что трупов очень много, собрать их не успели и завтра снова надо будет ехать.

Собирать остальные трупы выслали других геттовских полицейских.

Гетто погружено в траур...

Переводят Мурера. Все ему желают по дороге на новое место свернуть шею. Кого назначат на его место, пока неизвестно.

На место Мурера назначен Китель, уже прославившийся своими зверствами, уничтоживший несколько гетто и рабочих лагерей. Говорят, что он был артистом кино. Променял свою профессию на ремесло палача...

Выходит, что акции и жестокости Мурера были ничто по сравнению с тем, что нас еще ждет...

Гетто зашевелилось: одни собираются уйти к партизанам, другие разыскивают своих друзей в городе (может, спрячут?), третьи готовят убежища в самом гетто.

Мурера здесь уже нет. Перед отъездом он был в гетто. Мы боялись, чтобы он свое прощание не «ознаменовал» кровавой акцией, но, к счастью, он был спокоен. Даже неизвестно, зачем приходил.

Настроение кошмарное: Китель собирается начать свое властвование с кастрации мужчин.

Оптимисты пытаются вдохнуть надежду, что сам, по своему усмотрению, он за это не возьмется, запросит Берлин, а пока получит ответ, еще все может измениться.

Никто не верит утешителям, и все ходят страшно подавленные...

Давно ничего не записывала. То ли жара виновата, то ли настроение. Правда, и особых новостей не было. А теперь пишу на рассвете после очень неспокойной и бессонной ночи. Да и неизвестно, что ждет нас днем. Может, эта запись будет последней. Китель грозится ликвидировать гетто. Но опишу все по порядку.

Ночь началась очень неспокойно. Определенного мы ничего не знали, но уже тот факт, что все ночные пропуска отменены и никто, за исключением геттовской полиции, не имеет права появиться на улице, ничего хорошего не предвещал.

Сосед все же осмелился выйти — надо ведь знать.

Прильнув к окнам, мы тоже старались что-нибудь увидеть, услышать, понять. Но слышали только то далекие, то близкие свистки полицейских, топот ног, ругань. Грянуло несколько выстрелов. Кто-то крикнул. Побежали. Шаги отдалились.

Наконец сосед вернулся. Принес очень грустную весть. В городе выслежен подпольный городской комитет Коммунистической партии. Следы ведут и в гетто. Гестапо приказало Генсасу арестовать члена городского комитета Коммунистической партии И. Витенберга (он, оказывается, руководитель FPO).

Генсас вызвал Витенберга к себе, а тот, еще не зная,

зачем зовут, пошел. Генсас его арестовал и передал уже ожидавшим городским полицейским. Но когда Витенберга вели через гетто, товарищи-партизаны напали на полицейских с оружием в руках, освободили своего командира и спрятали. Среди освобождавших был один усач,[1] которого я знаю в лицо. Значит, он член FPO!

Генсаса такая неудача взбесила. Вместе со своими полицейскими он бегает, ищет. Дело в том, что гестапо предъявило ультиматум: если не получит Витенберга, ликвидирует гетто. Тогда придет конец и самому Генсасу, и всей его полиции. Поэтому они из кожи лезут вон.

Скоро утро. Кончаю писать. Выпустят на работу или нет?

Я только что вернулась с работы. Вести грустные: Витенберг в гестапо.

Теперь я подробнее узнала о событиях ночи и дня.

Оказывается, узнав об аресте Витенберга, геттовские партизаны стали по цепочке передавать свой пароль «Лиза зовет»,[2] что означало немедленную мобилизацию и боевую готовность всех членов FPO.

Напрасными были попытки Генсаса снова найти Витенберга. Вооруженные геттовские партизаны отбили несколько попыток геттовских полицейских приблизиться к дому, в котором они забаррикадировались.

Генсас решил изменить тактику. Приказал передать Витенбергу ультиматум гестапо: или Витенберг — или все гетто.

Вскоре «парламентарий» Генсаса вернулся с ответом: партийная организация не считает, что выдачей Витенберга можно спасти гетто. Если Китель уже заговорил о ликвидации, значит, ликвидирует. Но партизаны окажут сопротивление, будут бороться против фашистов. И Витенберг, их командир, будет руководить.

Словом, Витенберга гестапо не получит.

А время безжалостно двигалось вперед. Генсас снова послал связного.

---

[1] Это был С. Каплинский, впоследствии командир партизанского отряда «За победу».

[2] Одну девушку, члена FPO, по имени Лиза (ее фамилию мне так и не удалось выяснить), перед этим задержали при попытке внести в гетто оружие. Ее расстреляли. Имя Лизы стало символом борьбы.

И вдруг Витенберг объявил, что пойдет сам: он не хочет быть причиной смерти двадцати тысяч человек. Он попрощался с товарищами, попросил продолжать борьбу и решительно пошел к Генсасу, куда вскоре должны были приехать гестаповцы.

С той стороны гетто, у ворот дома, где жил Генсас, остановилась крытая машина гестапо.[1] Когда Генсас вывел Витенберга, вооруженные охранники его сразу схватили и втолкнули в машину. Она тронулась...

Витенберга, наверно, будут мучить, а потом убьют.

Не знаю, сколько я сама буду жить, но за это я должна быть благодарна Витенбергу. Сегодня он меня спас. Не только меня — маму, Миру, детей, тысячи матерей и детей...

Оказывается, у Витенберга был при себе яд, и в гестапо он отравился.

Сосед предполагает, что, очевидно, выследили не весь подпольный городской комитет. Наверно, из гетто в состав горкома входил не один Витенберг. Раз других не требуют, значит о них ничего не знают.[2] Но партизан, конечно, будут искать.

В лес партизанить ушел большой отряд членов геттовской FPO. В основном те, кого во время поисков Витенберга видели с оружием в руках. Им здесь оставаться вдвойне опасно.[3]

---

[1] Генсас жил во дворе комендатуры геттовской полиции. Этот дом граничил с улицей Арклю, находившейся уже вне гетто. Ворота на улицу Арклю, конечно, были наглухо замурованы, но калитка в них, по просьбе Генсаса, была ему оставлена. Ключ от этой калитки находился у Генсаса, и пользоваться этим выходом мог только он один. Не желая вести Витенберга через все гетто, чтобы опять чего-нибудь не случилось, Генсас вывел его тайно, через свою калитку.

[2] Членами подпольного городского комитета партии были и секретарь геттовской партийной организации Б. Шершневский и Х. Боровская, которая при ликвидации гетто вместе с большим отрядом вышла через канализационные трубы, пробралась в лес и стала комиссаром партизанского отряда «За победу».

[3] Это были Б. Шершневский, Р. Бурокиская (секретарь геттовской комсомольской организации), братья Л. и Г. Гордоны, И. Дубчанский, Р. Шершневская, И. Мацкевич и другие.

Что ни день, то новость. В связи с тем что люди уходят к партизанам, Генсас приказал всем бригадирам представить охране ворот список своей бригады и ежедневно, утром и вечером, сообщать, сколько человек выходят из гетто на работу и сколько возвращаются назад.

Недавно в городе поймали одного члена FPO — Свирского, нашли у него оружие, увели в Лукишкскую тюрьму. Из гетто туда привезли и двух его дочек. Когда солдаты пришли в камеру за отцом, младшая бросилась к нему, обвила руками шею и не отпускала. Солдат выстрелил, и девочка мертвая упала на пол камеры. Свирского со старшей дочерью увели в Понары.

А сегодня утром один геттовский полицейский из охраны ворот задержал парня, пытавшегося внести в гетто оружие. Парень просил отпустить его, объяснял, что это оружие для борьбы с гитлеровцами. Уверял, что в этой борьбе должны быть заинтересованы все: ведь в конце концов гитлеровцы и геттовскую полицию не пощадят. Но полицейский ничего не хотел слушать. Он стал кричать, что из-за таких вот горячих голов может пострадать все гетто. А если жить спокойно, работать и не сопротивляться, немцы, дескать, ничего плохого не сделают: «А с револьвером против автоматов и танков все равно не пойдешь. За этот револьвер могут истребить все гетто...»

Потеряв надежду по-хорошему договориться с упрямым полицейским, парень выстрелил в него и, воспользовавшись суматохой, исчез.

Раненого полицейского отнесли в больницу. Вскоре туда прибыла геттовская власть. Приказали врачам принять все меры для спасения раненого. Но ничто не помогло — рана была смертельная, и полицейскому пришлось проститься с жизнью.

Грустные вести: вышедшую на днях в лес группу у Мицкунского моста ждала засада. Завязалась борьба. К сожалению, силы были слишком неравные. Из всего отряда в живых осталось только несколько человек...

Но это не отпугнуло других: снова вышли два отряда. В большинстве холостяки. Семейным труднее двинуться.

Прошлой ночью в нашу квартиру тихо постучали. Это были двое геттовских полицейских. Извинившись за

беспокойство, они велели нашему соседу Кауфману прийти с семьей к Генсасу. Кауфман с женой ушли, а ребенка оставили с бабушкой. Но вскоре полицейские вернулись и передали просьбу родителей принести ребенка. Старушка его тепло укутала и понесла.

Мы забеспокоились: раз ночью прислали за ребенком, значит, над гетто нависла опасность, а своих людей Генсас хочет спасти. Кауфман был знакомым Генсаса, бригадиром рабочих в «Хересбаустеле», членом учрежденного Генсасом «совета бригадиров».

Бабушка вернулась, но ничего не смогла рассказать. Ребенка отдала матери. Сидят они в помещении уголовной полиции, там еще есть несколько бригадиров с семьями. Зачем их вызвали, никто не знает.

Мы еле дождались утра. На улицах совершенно спокойно, люди собираются на работу, а бригады, чьи бригадиры вызваны к Генсасу, пойдут без них. Кто-нибудь заменит на один день.

Вечером, вернувшись с работы, я узнала все...

Оказывается, ночью в помещении уголовной полиции, где собрали целую группу бригадиров с семьями, Генсаса, от имени которого их здесь собрал комендант рабочей полиции Товбин, так и не дождались.

Под утро Товбин передал просьбу Генсаса перейти в геттовскую тюрьму. Люди заволновались. Что это означает? Но, видя, что в гетто тихо, успокоились. Кроме того, комендант тюрьмы Бейгель тоже уверял, что им ничто не грозит.

Бригадиры поверили и успокоились.

Но вскоре они услышали, что со стороны города, по Лидской улице, подъезжает машина.[1] На лестнице послышался топот солдатских сапог и голоса геттовских полицейских — они кого-то гнали из соседней камеры. Те не хотели идти, что-то объясняли, но никто их не слушал. Во дворе слышался и голос Генсаса. Бригадиры сидели перепуганные, затаив дыхание.

Когда машина отъехала, к ним в камеру зашел улыбающийся Бейгель. Он сообщил, что опасность миновала. Скоро они уже смогут идти домой.

[1] Тюрьма, как и двор, в котором жил Генсас, имела запасную калитку в город. Ключ от этой калитки был у коменданта тюрьмы. Пользовались калиткой редко, только в тех случаях, когда сидевших в тюрьме хотели передать оккупантам тайно от жителей гетто.

Но что все-таки было?

Оказывается, Китель потребовал расстрелять всех бригадиров, из чьих бригад хоть один человек ушел к партизанам.

Но поскольку эти бригадиры были приближенными Генсаса, он вместо них отдал других людей. Бригадиры скоро пойдут домой.

Вдруг снова послышался шум подъезжающей машины. Остановилась. Солдаты стучат в калитку!

Перепуганный Бейгель открыл. Мимо него пронесся разъяренный Китель. Приказал вызвать Генсаса.

Китель накричал на него, выругал, пригрозил, что не потерпит такого обмана, и потребовал настоящих бригадиров.

В камере слышно каждое слово... Генсас велит открыть дверь...

Жена Кауфмана подбегает к окну. Второй этаж. Решетка. Внизу с самого утра стоит бабушка. Мать осторожно просовывает ребенка между прутьями и, крикнув: «Пусть хоть он живет!» — отпускает. Прижимая к сердцу плачущего внука, старушка провожает сына и невестку на смерть...

Их уже нет. Об этом сообщил сам Китель. Под вечер он пришел в гетто, велел всех созвать на собрание и объявил, что несколько часов назад в Понарах расстреляны тридцать два человека — одиннадцать бригадиров и их семьи. Им пришлось умереть за то, что плохо следили за членами своих бригад. Пусть все знают, что с сегодняшнего дня за каждого ушедшего в лес к партизанам будет расстреляна вся его семья, бригадир и другие «Juden» этой бригады. Властям прекрасно известно, кто уходит к партизанам, потому что по дороге их все равно вылавливают. Пусть расстрел тридцати двух человек будет уроком для всех. Пусть «Juden» никого не обвиняют: если бы они сами таким путем не навлекли на себя смерть, могли бы работать, а значит — жить. И еще: он, Китель, не потерпит обмана, подобного сегодняшнему, когда вместо настоящих бригадиров ему подсунули каких-то стариков.

По гетто ходят мальчишки с плакатами. На них написано, что завтра, в воскресенье, в зал театра созываются все бригадиры и рабочие. Генсас произнесет важную речь.

В своей речи Генсас рассказал о бригадирах — то, что все уже слышали. Приказал следить друг за другом: если еще кто-нибудь уйдет к партизанам — расстреляют не только семью ушедшего и бригадира, но и всю бригаду. Чтобы легче было следить друг за другом, бригада теперь должна быть разделена на группы по десять человек. В каждой десятке будет один старший, который отвечает за всю группу. Сами люди тоже должны быть бдительны: узнав или хотя бы заподозрив, что кто-то собирается уходить к партизанам, они обязаны об этом немедленно сообщить.

«Этим, — говорил Генсас, — они спасут не только себя, но и всю бригаду».

В нашей бригаде уже есть группы. Слава богу, что я слишком молода и меня никто даже не предлагал старшей. Все отказывались, никто не хотел брать на себя такую ответственность.

Август начинается с добрых вестей: освобождены Орел и Белгород! В Москве по этому поводу был салют.

Сколько уже освобожденных городов! Но все они далеко от Вильнюса. Взрослые говорят, что здесь Красная Армия может быть только через полгода, не раньше. Еще целых шесть месяцев... А может, даже больше. Нет, нет, не думать об этом! Верить, только верить!

Китель — не человек! Человек не может быть таким чудовищно жестоким!

В Кенский торфяной лагерь он приехал в очень хорошем настроении, с целой свитой и с подарками — папиросами, табаком и мармеладом. Курево велел раздать лучшим рабочим, а мармелад — их детям. Осмотрел лагерь, рабочие места. Спросил, есть ли в лагере парикмахер, и велел побрить себя.

Старший лагеря и сами рабочие никак не могли понять, что это значит. Кто-то пытался шутить, что гитлеровцам, наверно, уж очень туго, если едут к евреям в гости, да еще с гостинцами. Но большинство, прекрасно помня, что и в гетто перед акциями давали по карточкам лучшие продукты, смотрели на все это недоверчиво. Может, мармелад отравлен?

А Китель на этот раз пустился в разговоры и очень обнадеживающе ответил на несколько несмелых вопросов о будущем лагеря.

Походив, побрившись, велел всем рабочим собраться в сарай — он произнесет речь.

В своей речи он велел хорошо работать и, главное, не связываться с партизанами. Немецкая власть вовсе не собирается истребить евреев: ей нужна рабочая сила. Будут работать — будут жить! А немецкая власть со своей стороны постарается улучшить им условия работы, питание.

Хоть и невероятными казались такие слова, легковерным они улучшили настроение.

Кончив говорить, Китель направился к двери. Свистнул — и словно из-под земли выросли солдаты. Пропустив его, они закрыли дверь. Люди забеспокоились, стали кричать, стучать в стены и дверь. Но никто не отвечал. Поднялась паника.

Каждый рвется к двери, словно надеясь, что он там сможет что-нибудь сделать. Все кричат, толкаются. Одни пытаются успокаивать, просят не поднимать панику и не выдавать свой страх: может, их только временно изолировали, может, в лагере будут делать обыск, проверят, нет ли оружия. Других пугает, что Китель, наверное, хочет вывезти семьи и оставить в лагере одних только работающих. Поднялись еще больший шум, крик, стоны, угрозы, мольба. Люди пытаются высадить огромные двери сарая, пробить стены. Но напрасно. Стены крепки и глухи. Глухи и хохочущие снаружи немцы...

Вдруг сквозь щели стал проникать дым. Пожар!!! Крики превращаются в дикие вопли. Кулаки стучат с еще большим остервенением. Люди карабкаются по балкам, ищут выхода через крышу.

А дым густеет. Какой-то парень достает револьвер. В другое время ему не позволили бы им воспользоваться, а теперь даже велят. Он стреляет в воздух. Раз. Другой. Еще несколько раз. Но никакого ответа. А он выпустил все пули, даже последней не оставил для себя...

Показывается пламя. Оно ширится, близится. Борясь с удушающим дымом, люди кричат, зовут на помощь: может, оставшиеся в бараках женщины услышат и прибегут спасать.

А пламя наглеет, подбирается ближе. Крайние пятятся от его языков, проталкиваются поближе к середине. Но тесно, все очень плотно прижаты друг к другу, некуда двигаться. У нескольких уже загорается одежда, волосы. Обезумев от боли, они рвутся в середину, где пламени еще нет. От них загораются другие. Те тоже хотят вырваться, бежать. Но куда?.. Только зря толкаются, зря пытаются сбить друг с друга огонь, кричат от боли. Несколько человек уже упало без сознания. На них наваливаются другие. Пламя еще больше свирепеет, спешит обнять всех, поглотить, спрятать в красной жаре.

Вдруг со стороны бараков послышались дикие вопли женщин, крики о помощи. Они тоже горят! И дети, маленькие дети!!! Гаснущее сознание живых пронзает ужас...

Проваливается крыша, падают стены. Горит большой костер из людей и бревен...

А Китель со своими приятелями стоит невдалеке на горке и любуется зрелищем...

Когда ему надоело смотреть, он сел в машину и умчался. Солдатам приказал следить, чтобы пламя не перекинулось на ближайшие деревья, и не уходить отсюда до тех пор, пока костер не кончит гореть. Затем хорошенько размешать пепел. Когда пожар будет окончательно ликвидирован, они также могут вернуться в Вильнюс.

Костер горел долго... Потом солдаты долго размешивали пепел с кусками обгоревших костей...

Когда солдаты убрались, здесь остался хозяйничать ветер. Он теребил пепел, гонял, поднимал...

Спаслись только два человека. Заметив приготовления гитлеровцев, они убежали, спрятались в канаве, под мостиком, лежали там, пока все гитлеровцы не уехали. Потом пробрались в гетто и все рассказали.

Китель ликвидировал и Решский торфяной лагерь.

Говорят, что после одного столкновения с партизанами фашисты в лесу нашли шапку, под подкладку которой было засунуто удостоверение на имя рабочего Решского торфяного лагеря.

Этот лагерь Китель ликвидировал проще. Расстрелял людей и там же закопал...

Я слышала, что убили одного члена FPO — Тиктина. Из находящегося в Бурбишках гитлеровского склада он сумел как-то достать оружие. Заметив, что его обнаружили, пытался бежать, но его догнала вражеская пуля.

Что будет? Ведь ясно, что долго так продолжаться не может. Гитлеровцы прекрасно видят, что в гетто уже не те послушные, запуганные люди, которых можно всячески обманывать, делать с ними что угодно. Теперь все, как могут, сопротивляются. Витенберг, FPO, массовый уход к партизанам, «каунасская акция», во время которой люди даже голыми руками оказывали сопротивление, бросались на охранников...

Ведь фашисты этого не потерпят. Кое-кто уверяет, будто они не имеют права по своему усмотрению, без согласия высших властей, ликвидировать большие гетто. Но ведь высшие власти это разрешение, безусловно, дадут. Для них что Кенский лагерь, что Решский, что Вильнюсское гетто — все равно.

Что будет?

Пока что они все больше сжимают оковы. Всем нанимателям разослана подписанная гебитскомиссаром инструкция, как обращаться с работающими у них «Juden». Необходимо следить, чтобы они не ходили без звезд или даже с плохо пришитыми звездами. Нельзя разбивать на мелкие группы, а тем более посылать работать по одному. Запрещается выпускать «Juden» за пределы места работы, даже с провожатым. Необходимо изолировать их от рабочих других национальностей. Если замечается малейшая непокорность и недовольство, надо немедленно сообщить немецкой власти. Запрещаются любые льготы. Если на работе есть столовая, «Juden» не только запрещается там кормить, но даже впускать. За невыполнение этих указаний руководители предприятий будут привлекаться к ответственности.

И все равно молодежь уходит к партизанам.

Вчера вместе с возвращающимися с работы в гетто прибежал страшно испуганный, в перепачканной и рваной одежде человек. Он юркнул во двор Руднинку, 7 (там живут все работающие на аэродроме).

Он рассказал, что днем их внезапно окружил большой отряд солдат. Приказали бросить работу и выстроиться. Людей охватил страх. Однако бежать было не-

мыслимо: охранники их окружили крепкой цепью. Какой-то гитлеровец сказал, что их увезут в Эстонию на работу.

В это уже давно никто не верит...

Не вернулось с работы еще несколько крупных бригад. Гетто похоже на кладбище.

Чем дальше, тем хуже. Пошли слухи, что евреев отовсюду уволят. Оставят только в нескольких местах, и то немногих.

Неисправимые оптимисты пытаются уверять, что это невозможно: пока гетто существует, оккупанты будут стараться использовать как можно больше рабочей силы. Ликвидировать же гетто они сразу не могут: нужно разрешение. А фронт стремительно приближается, и, пока они получат это разрешение, Красная Армия уже может быть так близко, что фашисты будут думать не о гетто, а о собственной шкуре.

Если бы так было!

«Арбейтсамт» уже получил список предприятий, откуда увольняются все евреи.

Мы с мамой тоже уволены...

Сегодня очень странный день. Утром все по привычке собирались на улице, на своих местах. Мы с завистью смотрели на те немногие бригады, которые все-таки выходят на работу.

Оставшихся больше, чем ушедших. Непривычно в такое время дня видеть здесь столько людей, особенно мужчин. Некуда идти, нечего делать. Есть тоже нечего.

Оказывается, несчастья не имеют границ. Нам казалось, что хуже уже быть не может. Вот и может...

Завтра уже никто не выйдет на работу: уволили и последних. Гетто будет закрытым, изолированным от всего мира.

Ночью было спокойно.

Сегодня утром я слышала, будто Генсас уверял, что все, кто работал и хочет работать, получат работу, только не в городе, а в самом гетто. Увольнения произведены будто бы только для того, чтобы не было возможности

уходить к партизанам. Расширяются мастерские, особенно швейная и вязальная. Будут работать в три смены. Получено много шинелей и белья, которые надо срочно выстирать и починить. В мастерские принимают новых рабочих.

Работаю в вязальной. Она очень большая — на весь зал «юденрата». Сидим по двадцать человек за столом. Старшая приносит кипу рваных перчаток, мы довязываем пальцы или половины пальцев и возвращаем. Работаем в три смены.

Есть нечего. Правда, по карточкам сейчас выдают более аккуратно, но это ведь так мало! Чем дальше, тем труднее переносить голод.

Мне почему-то кажется, что гетто теперь похоже на старую машину, из которой вывинчены все винты. Пока никто ее не трогает, она еще держится, но если кто-нибудь хоть пальцем тронет — рассыплется.

Утром, едва мы начали работу (на этой неделе я работаю в утренней смене), пронесся слух, что гетто окружено. Мы бросили работу и хотели бежать домой, но старший смены не выпустил. Закрыл дверь и велел оставаться на местах. Он сам выйдет на улицу проверить.

Ждем. Работать, конечно, уже не можем. Волнуемся, гадаем и все поглядываем на дверь.

Наконец он вернулся. Взглянув на него, мы поняли, что слухи подтвердились. Побежали домой.

Что делать? Куда деваться? Спрячешься в одном месте — может, как раз там найдут. А спрятался бы в другом — уцелел бы.

Ничего не успели — солдаты уже в гетто. Мы бросились в подвал. Здесь сыро, пахнет плесенью. В каждой стене лаз, проход в другой такой же подвал, а оттуда — в третий. Этот подвал, наверно, разветвлен под всем домом.

Прибежали и из других квартир. Нас тут, очевидно, очень много. Тесно, темно, двигаемся на ощупь. Дети плачут. Нас гонят в глубь подвала, у лестницы останутся несколько мужчин. Они будут прислушиваться к тому, что творится наверху.

В темноте я потеряла маму и Рувика. Они, наверно, в другом конце. Раечку держу крепко за руку, чтобы

хоть ее не потерять. А Мира осталась на работе, в своей мастерской.

Мы устали стоять. Сели. Холодно, сыро, но хоть ноги отдохнут. Раечку я посадила к себе на колени.

Что наверху? Окончательная ликвидация или только очередная акция?

Время тянется. Тихо.

Начали говорить, что надо бы одному вылезти наверх и узнать, что творится.

Оказывается, в подвале есть и геттовский полицейский. Утром, поддавшись общей панике, он тоже прибежал в подвал. Ему, конечно, наименее опасно вылезть наверх.

Старательно почистившись и пообещав скоро вернуться, он вылез.

Уже прошло много времени, а его нет. Если хватают и полицейских, значит, ликвидация. Конец...

Вдруг слышится стук. Никто не отвечает. Стук повторяется. Это возвратился полицейский.

Ему открывают. Официальным, приказным тоном он велит всем выйти из подвала.

У выхода стоят еще двое геттовских полицейских. Женщин и детей пропускают, а мужчин задерживают. Кричат, чтобы не сопротивлялись, потому что повезут в Эстонию на работу.

Но кто им верит?

Поднимается страшный плач и крик. Мужчины бегут назад в подвал, полицейские гонятся за ними, ловят. Собрав, уводят.

Я выхожу на улицу. Солдат здесь совсем немного, зато суетятся геттовские полицейские. Оказывается, Генсасу поручено самому собрать нужные три тысячи мужчин. Вся FPO мобилизована и находится в нескольких дворах по улице Страшуно, готовая к бою. Геттовские полицейские это знают и, боясь столкновений, обходят эти дворы.

Однако выполнить приказ оккупантов Генсасу не так легко: мужчины попрятались. Генсас сам бегает по дворам с непокрытой головой, без пальто и орет, чтобы люди добровольно вышли из убежищ. Им ничто не угрожает, он ручается, что повезут в Эстонию на работу. Но если они не выйдут, то навлекут несчастье на все гетто.

Никто не выходит — ему давно уже не верят.

Скоро стемнеет, а еще нет даже тысячи. Генсас совсем взбесился. Пригрозил полицейским: если не соберут нужного количества — сами пойдут. Теперь рассвирепели и они.

Бегают, гонят, кричат, бьют. Вбежали в синагогу (бывшую квартиру в угловом доме, на углу улиц Шяулю и Месиню, верующие превратили в синагогу) и вытащили десяток испуганных стариков, бормочущих молитвы. Погнали их к воротам. Там, оказывается, был Китель. Увидев, какой «товар» ему дают, он обругал полицейских и велел гнать стариков назад в гетто.

Полицейские об этом рассказывают на каждом шагу. Мол, лучшее доказательство, что берут на работу.

До сумерек удалось поймать только тысячу триста человек. А нужны три тысячи...

Раздался свисток. Акция окончена. Измотавшихся полицейских отпустили домой. Но только до завтрашнего утра.

Гетто осталось окруженным.

Сегодня было то же самое. Ловля мужчин продолжалась. Многих увезли, а несколько сот погребены заживо.

Неизвестно, каким образом гитлеровцы узнали, что в подвале дома № 15 по улице Страшуно прячется много мужчин. Войдя вместе с Генсасом во двор, фашисты через рупор объявили, что все укрывающиеся в подвале этого дома обязаны немедленно выйти во двор. Если не выйдут — будут взорваны! Пусть женщины спасают своих мужей и братьев, пусть уговаривают их выйти. То же самое повторил и Генсас. Все напрасно. Потянулись минуты — одна, две, пять, но никто не появился. Старший из фашистов приказал всем женщинам в течение пяти минут покинуть дом. Солдаты начали подготавливать взрыв. Взрывчатку клали только под левую половину дома, там, где подвал.

Среди женщин поднялся страшный переполох. Одни спешили поскорее выбежать со двора, другие пытались помешать солдатам готовить взрыв, третьи бегали как обезумевшие к подвалу и назад — то кричали, чтобы мужчины выходили, то чтобы оставались. Некоторые, более спокойные, стояли у входа и отгоняли паникерш: подвал глубокий, бетонированный и взрыв ему не повредит.

Увидев, что солдаты уже сами бегут со двора, женщины тоже пустились бежать.

Страшно грохнуло. Я стояла поодаль и то чуть не оглохла. Каменная стена накренилась, как будто припала на колени, и распалась. Поднялось облако пыли. Когда оно немного рассеялось, показались развалины. Половины дома как будто и не было.

Женщины сразу же бросились во двор откапывать подвал. Каждая тащила что могла — кирпичи, доски, проволоку. Во двор спешили все новые помощницы. Я побежала домой предупредить маму, где нахожусь, и тут же вернулась помогать.

В одном месте мы нащупали тело. Стали разгребать дальше. Откопали бедро, руку и детскую ножку. Мне стало жутко, и я выбежала на улицу. Вернулась только тогда, когда тела матери и ребенка, завернутые в простыню, унесли в морг.

Внезапно за нашими спинами вырос немецкий солдат. Он запретил откапывать. Если люди не хотели подчиниться немецкому приказу, они должны умереть. Он будет стрелять в каждую, кто посмеет приблизиться или поднять хотя бы один кирпич.

А требуемых трех тысяч и к вечеру еще не собрали. Завтра акция будет продолжаться.

Сегодня гитлеровцы обнаружили геттовских партизан! (Во дворе дома № 12 по улице Страшуно). Те бросили в них несколько гранат. Тогда фашисты совсем озверели и тут же взорвали весь дом, похоронив под его руинами не только бойцов, но и находившихся там женщин и детей.

Но за их жизнь гитлеровцы тоже поплатились. Генсас не знал, как оправдаться. Он уверял, что в гетто нет партизан, есть только послушные и хорошие рабочие. А это всего несколько молокососов, с которыми он живо справится.

Генсас с еще большим остервенением стал ловить мужчин. Делал вид, будто не замечает, что вместе со своими мужьями выходят и одетые в мужскую одежду жены, не желавшие с ними расстаться. Неважно, лишь было бы количество! Из самых сильных мужчин и хулиганов он организовал «вспомогательную полицию», которая не только помогала полицейским ловить людей, но,

главное, охраняла спортивную площадку, где находились члены FPO, и никого оттуда не выпускала. Генсас приказал не давать им общаться с жителями гетто, чтобы они не могли агитировать восстать против немцев. Он боится восстания, настоящего вооруженного столкновения с убийцами.

Наконец эта четырехдневная акция кончилась. Гетто уже не окружено.

Сегодня, в последний день, попался приятель Генсаса, связной между геттовским и городским «арбейтсамтами», — Браудо.

Все эти дни он тоже бегал, приказывал, ловил, задерживал. Сегодня, заметив невдалеке группку фашистов, очевидно, хотел перед ними выслужиться. Вытянул из голенища сапога плетку и бросился за кем-то. Но, вытягивая плетку, он выронил какие-то бумаги. Гитлеровцы его остановили и велели показать бумаги. Браудо пытался отговориться, что-то объяснить, но гитлеровцы не хотели слушать. Пришлось показать. А это были документы на чужое имя и другую национальность. Фашисты его избили и втолкнули в грузовик, где уже сидели другие пойманные. Не помогли и старания Генсаса спасти его. Наоборот, гитлеровцы специально проверяли, не сбежал ли этот тип.

Акция кончилась. Охрана снята. Что будет дальше?

А ведь сентябрь. Начало учебного года. И снова без меня. В школе меня уже, наверно, забыли. Или считают погибшей.

Генсас выслал самых крепких полицейских и почти всю вспомогательную полицию на улицу Расу, где, как и в прошлый раз, держат пойманных для увоза в Эстонию. Полицейские должны были помочь посадить их в вагоны.

Но они вскоре вернулись: вагоны будут только завтра.

Весть, что все мужчины живы и ждут вагонов, немного расшевелила гетто. Но все равно оно какое-то оцепеневшее от отчаяния.

Геттовские полицейские снова были на улице Расу. Вернувшись, рассказывали, что всех посадили в эшелон, который уже сегодня ночью отбудет в Эстонию.

Но полицейские принесли и другую, худшую весть. Они слышали, что на вокзале вывешена (или в ближайшие дни будет вывешена) надпись: «Juden — frei». Это значит, что в городе больше нет евреев...

Вчера расстреляли Генсаса. Мы узнали об этом только сегодня, но и вчера около полудня почувствовали, что неспокойно. Кто-то рассказал, что приходил посланец от Нойгебоера и забрал у Генсаса и Деслера оружие — два револьвера и гранаты, которые они в свое время получили для «служебного пользования».

Генсаса вызвали в гестапо.

Стало темнеть. Он все не возвращался. Утром мы узнали, что его расстреляли.

Где и как его расстреляли, никто не знает. Но говорят, что не в Понарах. Никому его не жаль, может, только полицейским.

Хоть и был привилегированным, хоть усердно служил оккупантам, все равно не избежал общей участи.

Все повторяют одно и то же: гитлеровцы никогда не оставляют ни пособников, ни свидетелей своих злодеяний.

А то, что он был пособником, это факт. Иначе ему бы так не доверяли, он не пользовался бы разными привилегиями. Он имел право ходить по городу без звезд и по тротуару; мог не только бывать, но даже ночевать в своей старой квартире в городе, где остались жить жена и дочь. Жена, правда, литовка. Но дочь ведь обязана была жить в гетто. По гитлеровской расовой теории даже третье поколение от смешанного брака с евреем считается полуевреями.

Чем-то все-таки и Генсас не угодил фашистам...

Наш сосед из первой комнаты уверяет, что, если бы Генсас не дурачил так людей, уговаривая, что только послушанием можно избежать Понар и дождаться свободы, а сопротивлением все равно ничего не сделаем, жители гетто более активно включились бы в борьбу с оккупантами.

Из квартиры Генсаса увезли всю мебель и вещи.

Гетто без председателя. Наверно, назначат Деслера. Он все равно теперь самый старший.

К сожалению, будем иметь совсем нежелательного председателя — самого Кителя. Он приказал оборудовать кабинет. Сам выбирал мебель и велел ее срочно обновить.

На фронте гитлеровцев бьют. Красная Армия наступает у Смоленска. Так недолго осталось до свободы!

Мире удалось уйти из гетто. Надеется, что добрые люди ее спрячут или достанут фальшивые документы. Может, ей удастся и нас отсюда вызволить?

Снова...

Китель потребовал тысячу мужчин на работу в Эстонию. Все повторилось сначала: солдаты окружили гетто, а полицейские ловили.

Около полудня мы узнали, что удрал Деслер с женой, захватив всю геттовскую кассу. Исчез и комендант охраны ворот Левас.

Значит, уже совсем плохо...

Китель со своей свитой расхаживает по гетто. Улочки пусты. Мы сидим за закрытыми дверями и занавешенными окнами, только сквозь щелочки решаясь наблюдать за гестаповцами.

Днем Китель приказал подать ему обед. Он со своей свитой пьянствует, а полицейские ловят мужчин. Но теперь это еще труднее: никто не хочет им повиноваться.

Под вечер Китель вышел из кабинета. Несколько комендантов участков униженно попросили его продлить акцию еще на один день, потому что они не успели собрать нужное количество людей. Но Китель объявил, что он вообще отменяет акцию. Пойманных мужчин можно отпустить домой.

Приказав опечатать квартиру Деслера, Китель ушел. Отмаршировала и охрана, окружавшая гетто.

Над нами опустилась тяжкая, неспокойная ночь.

Тихо. В гетто ни одного гитлеровца. Очевидно, потому, что воскресенье. Ворота наглухо закрыты. Никто не входит, никто не выходит. Если бы дали так жить, пусть совсем без пищи! Кажется, вытерпели бы. Ведь уже совсем скоро здесь будет Красная Армия!

Китель снова в гетто. Вместо Деслера шефом полиции назначил Оберхарта.

Привезли десять грузовиков шинелей и перчаток. Говорят, что на станции стоят семь вагонов. Если бы собирались гетто ликвидировать, не стали бы привозить новую работу.

Поздний сентябрьский вечер. Нас снова сковал свинцовый страх. Еще ничего не случилось, в гетто нет ни одного гитлеровца, а люди волнуются.

Ночью в швейную мастерскую (где работала ночная смена) пришел Оберхарт и велел срочно сшить ему форменную повязку. Ждал, пока она будет готова, и ушел, надев ее на рукав. Он был неразговорчив. Но чувствовалось, что он сам не свой.

Рассвело. Серое утро. Гетто засуетилось: люди с детьми и узлами спешат в убежища. На этот раз и полицейские поддались общей панике. А это еще больше усилило страх.

Пришел Китель с несколькими гестаповцами. У ворот их встретил Оберхарт и проводил во двор «юденрата». По дороге приказал полицейским, еще не бросившим своих постов, созвать всех жителей гетто для важного сообщения.

Побежала и я.

Гитлеровцы поднялись на крыльцо деслеровской квартиры. Приказали принести рупор. Один прочел приказ шефа гестапо о том, что евреи Вильнюсского гетто, помещенные сюда два года назад, эвакуируются в рабочие лагеря: один в Эстонии, другой здесь же, в Литве, недалеко от Шяуляя. Эвакуироваться необходимо в течение одного дня. С собой можно взять столько вещей, сколько в состоянии нести.

От себя он прибавил, что советует взять ведро, кастрюлю и прочую хозяйственную утварь, потому что на новом месте этого не дадут. В течение четырех часов мы должны подготовиться.

Объяснив, еще раз прочел приказ. Потом Оберхарт дважды повторил его по-еврейски.

Все. Надо идти домой и в одиннадцать собраться на улице Руднинку.

Приношу маме грустную весть. Раечка поднимает на нас испуганный взгляд: «А может, они говорят неправду

и погонят в Понары?» Что ей ответить? Что и сама о том же думаю?

Мама велит детям освободить портфели — она вложит каждому немного белья.

— А мои книжки не возьмем? — испуганно спрашивает Рувик. — Там не разрешат читать?

— На свободе, детка, будешь читать, — утешает его мама. Но ее голос так дрожит, что Рувик очень недоверчиво смотрит на нее.

Мама укладывает вещи. Дети съежились на койке и боязливо следят за ней. Видя, что она плачет, они тоже моргают своими большими глазенками.

Пытаюсь убеждать, что не надо плакать — может, на самом деле повезут в лагерь. Если там даже будет хуже, все равно вытерпим: уже совсем недолго осталось ждать освобождения. Но и сама в этот лагерь не верю, и мои слова не утешают.

Стою у окна. Во дворе грязь. А весной здесь будет сухо. Не только здесь — везде. Будет белеть яблоневый цвет. От ветра лепестки будут шевелиться словно живые. И будут пахнуть. А небо будет голубое-голубое. И бесконечно большое. Как хорошо было бы на него смотреть! Или приколоть к волосам цветочек. Я-то уж умела бы радоваться, если бы осталась в живых!

Мама сказала, что пора идти.

На улочках полно людей. Молчаливые, угрюмые, они плетутся в одном направлении — к улице Руднинку. Одни тащат большие узлы, другие идут почти налегке. Может, это и разумно: зачем еще затруднять себя в последние часы?

Я несу чемодан, узел, а через плечо — папино осеннее пальто, которое учитель Йонайтис тогда принес к воротам гетто. Мама все не решалась его продать, приберегала «на самый черный день».

На улице Руднинку столпотворение. Наверно, идут все. Если ликвидация, нет смысла оставаться в убежище. Гитлеровцы, наверно, прибегнут к тем же методам, что и после ликвидации второго гетто: в том районе была отключена вода, всюду поставили охрану. Кто пытался, мучимый жаждой, выбраться из убежища, был пойман. А остальные погибли без воды.

Приближаемся к воротам. Здесь столько хожено за эти два года. Приду ли я сюда еще когда-нибудь? Увижу ли эти дома, окна, башню костела, торчащую по ту сторону ворот?

У выхода стоят Нойгебоер, Китель, Вайс и еще несколько гестаповцев. Они считают выходящих. Один тычет в нас палочкой, добавляет к общему числу нас четверых, и мы выходим.

По обеим сторонам улицы, на тротуарах стоят солдаты с собаками. Не проскользнешь.

Плетемся по Этманской улице, пересекаем Большую и поворачиваем на Субачаус. Филармония. Здесь наш школьный хор выступал на олимпиаде.

Идем по улице Субачаус. Уже совсем нет сил тащить вещи. Папино пальто не держится, соскальзывает с плеча. Очевидно, не мне одной тяжело: в грязи валяются брошенные узлы. Из-за них еще труднее идти, надо перешагивать или обходить. А сил совсем нет. Мама велит бросить пальто, но я не могу. Кажется, будто брошу самого папу.

Пальто все же соскальзывает. Хочу поднять, но кто-то наступил на рукав. Пытаюсь вытянуть, но на меня орут, что теперь уже нечего трястись над тряпкой. Мама просит не отставать, чтобы не потеряться.

Пальто осталось. Его безжалостно топчут...

Недалеко от улицы Расу останавливаемся. Давка. Передние почти не двигаются, а задние наступают.

Что случилось? Ведь не может быть, чтобы расстреливали тут же, в городе. Может, сажают в машины?

Оказывается, гонят в какие-то ворота, за костелом. Мужчин оставляют здесь, на улице, только уводят немного вперед, а женщин и детей — во двор.

Жены, прощаясь, плачут, желают своим мужьям долго жить (их, наверно, повезут на работу). Идущая рядом с нами пара прощается необычайно спокойно — пожимают друг другу руки и расходятся, словно скоро снова должны встретиться. Молодая женщина пробирается назад. В ее руках мужская одежда. Очевидно, хочет здесь же, в толпе, переодеться и идти вместе с мужем.

Двор большой. В нем полно солдат. Тут же, на траву, кладут больных, привезенных из больницы. Одни лежат

прямо на земле, других оставили на носилках. Наверно, после операции или парализованные, если сами не могут идти. Между нами вертятся, не зная куда приткнуться, посиневшие от холода сироты из детдома. Бедняжки с бритыми головками дрожат в своей жалкой одежонке.

Нас гонят дальше, в овраг. Его тоже окружают солдаты. Даже далеко, где за оврагом проходит узенькая улочка, около каждого дома и на крышах стоят солдаты с пулеметами...

Значит, здесь... В самом городе...

Ноги вязнут, еле вытаскиваем. Шлепая по грязи, приближаемся к солдатам. Один уже поднял автомат... Нет, это он только показывает, чтобы мы шли дальше. Наверно, будет стрелять в спину. Оглянуться страшно. Хоть бы попал прямо в сердце!..

Все-таки оглянулась. Солдаты стоят, как стояли, — равнодушно-злые.

В овраг гонят все больше людей. Мы уже устали стоять. Я опустила чемодан в грязь. Мама ничего не сказала. Мы с нею сели на чемодан. Детей посадили к себе на колени.

Из гетто тянется нескончаемый поток. Надоедливый дождь не перестает ни на минуту. Мы уже совсем промокли. Течет с волос, с носа, с рукавов. Мама велит детям выше поднять ноги, чтобы не промокли. Рядом с нами другая мать устраивает для своих детей тент: воткнула в землю несколько веток и накрыла пальто. Как странно в такое время бояться насморка...

Мама плачет. Упрашиваю, хотя бы ради детей, успокоиться. Но она не может. Только взглянет на нас и еще горше плачет.

А люди все идут и идут... В гетто мы думали, что нас меньше. Скоро стемнеет. В овраге уже стало тесно. Одни сидят на месте, другие почему-то ходят, бродят, перешагивая через людей и узлы. Очевидно, потеряли своих.

Темнеет. Пока еще видно, буду смотреть на деревья, птичьи гнездышки, ветви, на далекие дома, на каждое их окно. Ведь, наверно, всего этого больше не увижу. Все живет: каждый листочек, капелька дождя, даже малюсенькая мушка. Она и завтра будет жить, а нас уже

не будет... Нет! Я не пойду в Понары! Я останусь здесь! Зароюсь в землю, но никуда не пойду! Я не хочу умирать!

Но ведь и те, ранее расстрелянные, тоже не хотели...

Стемнело. Все еще идет дождь. Охранники время от времени освещают нас ракетами. Стерегут, чтобы мы не убежали. А как убежать, если их так много?

Рувик вздрагивает во сне. Он задремал, уткнувшись в мое плечо. Его теплое дыхание щекочет мне шею. Последний сон. И я ничего не могу сделать, чтобы это теплое, дышащее тельце завтра не лежало бы в тесной и скользкой от крови яме. На него навалятся другие. Может, это даже буду я сама...

Опять выпустили ракету. Она разбудила Рувика. Широко раскрыв глазки, он испуганно огляделся. Глубоко, совсем не по-детски, вздохнул.

Раечка не спит. Она уже совсем замучила маму вопросами: погонят ли в Понары? А как — пешком или повезут на машинах? Может, все-таки повезут в лагерь? Куда мама хотела бы лучше — в Шяуляй или в Эстонию? А когда расстреливают — больно? Мама что-то отвечает сквозь слезы. Раечка гладит ее, успокаивает и, подумав, снова о чем-то спрашивает.

Еще одна ракета освещает овраг, соседние улочки, застывших солдат.

Мама все еще всхлипывает: «Таких детей отдать, таких детей!»

Ночь тянется очень медленно..,

Наконец темнота начинает еле заметно таять. Наверно, скоро поведут.

Уже почти светло. Кто-то осмелился спросить охранника, почему нас здесь держат. Удивительно, но тот все-таки ответил. Сказал, что вчера не успели «очистить» гетто, поэтому сначала всех приведут сюда.

Совсем близко от нас на ветку сел воробей. Повертел головкой, огляделся и упорхнул. Улетел в ту сторону, за охрану. Воробью можно.

Из гетто пригнали новых. Среди них и семьи полицейских. Самих полицейских задержали у ворот, как и всех мужчин. Все-таки не избежали общей участи.

К нам подсела одна из вновь пришедших. Она видела, что наверху, во дворе, повесили двух мужчин и одну девушку — геттовских партизан. Их задержали

в городе — не желая сдаваться, они отстреливались. Одного гитлеровца они уложили, нескольких ранили. Но фашистов было больше. Партизан окружили, выбили из рук оружие и связанными пригнали сюда, на казнь. Говорят, что убитый гитлеровец — следователь по делам партизан Гросс.

Все трое партизан встретили смерть геройски, высоко подняв головы, улыбаясь. Даже девушка, еще совсем ребенок, с презрением посмотрела палачу в глаза и плюнула ему в лицо. Повернулась к оврагу, — пусть все видят, что она улыбается!..

Сидевшие ближе узнали их. Это были Ася Биг, И. Каплан и А. Хвойник.

Охранники велят нам вставать и подниматься наверх, во двор. Вещи промокли, облеплены грязью. Но они и не нужны. Чемоданчик я все-таки еще взяла, а узел так и оставила торчащим в грязи.

Во дворе толкотня. Еле-еле продвигаемся к противоположным воротам. Чем ближе к ним, тем больше давка. Неужели не выпускают? Из оврага приходят все новые и новые. Разве задержишь такую массу? Нас уже совсем сдавили.

Что там творится у ворот? Избивают? Связывают? Или очень уж медленно сажают в машины?

Оказывается, ворота закрыты. Пропускают только через калитку. Приближаемся и мы. Выпускают по одному. Мама беспокоится, чтобы мы не потерялись, и велит мне идти первой. За мной пойдет Рувик, за ним Раечка, а последней — мама. Так она будет видеть всех нас.

Выхожу. Солдат хватает меня и толкает в сторону. Машин там не видно. Поворачиваюсь сказать об этом маме, но ее нет. Поперек улицы — цепочка солдат. За нею — еще одна, а дальше большая толпа. И мама там. Подбегаю к солдату и прошу пустить меня туда. Объясняю, что произошло недоразумение, меня разлучили с мамой. Вот она там стоит. Там моя мама, я хочу быть с нею.

Говорю, прошу, а солдат меня даже не слушает. Смотрит на выходящих из калитки женщин и время от времени толкает то одну, то другую в нашу сторону. Остальных гонит туда, к толпе.

Вдруг я услышала мамин голос. Она кричит, чтобы я не шла к ней! И солдата просит меня не пускать, потому что я еще молодая и умею хорошо работать...

Еще боясь понять правду, я кричу изо всех сил: «Тогда вы идите ко мне! Иди сюда, мама!» Но она мотает головой и странно охрипшим голосом кричит: «Живи, мое дитя! Хоть ты одна живи! Отомсти за детей!» Она нагибается к ним, что-то говорит и тяжело, по одному, поднимает, чтоб я их увидела. Рувик так странно смотрит... Машет ручкой...

Их оттолкнули. Я их больше не вижу.

Влезаю на камень у стены и оглядываюсь, но мамы нигде нет.

Где мама? В глазах рябит. Очевидно, от напряжения. В ушах звенит, гудит... Откуда на улице река? Это не река, это кровь. Ее много, она пенится. А Рувик машет ручкой и просится ко мне. Но я никак не могу протянуть ему свою руку... Почему-то качаюсь. Наверно, островок, на котором стою, тонет... Я тону...

Почему я лежу? Куда исчезла река?

Никакой реки нет. Лежу на тротуаре. Надо мной наклонилось несколько женщин. Одна держит мою голову, другая считает пульс.

Где мама? Я должна увидеть маму! Но женщины не разрешают вставать: у меня был обморок. А ведь раньше никогда не бывало.

Пришли Китель с Вайсом и еще какими-то гестаповцами. Женщины быстро подняли меня. Гитлеровцы осмотрели нас и велели строиться по десять в ряд.

Считают. Несколько раз. Очевидно, все ошибаются. Китель кричит стоящим у ворот солдатам, чтобы они добавили сюда еще семерых, и хватит. Всех остальных надо посылать налево.

Нас тысяча семьсот. Мы двинулись. Я поворачиваю голову туда, где остались мама и дети... Через калитку все еще идут...

Нас ведут по улице Расу. Приводят в большой двор, очевидно недалеко от станции, потому что здесь рельсы и товарные вагоны.

Отсчитывают по восемьдесят и расставляют у вагонов. Тронуться с места нельзя: будут стрелять.

Около вагонов вертятся железнодорожники. Одни проверяют, выстукивают колеса, другие просто глазеют

на нас. Девушки, которые посмелее, тихонько спрашивают, не знают ли они, куда нас повезут. Одни пожимают плечами, другие боязливо оглядываются, не заметил ли охранник, что мы с ними заговариваем, третьи успокаивают. Только один молодой дурень издевается, говорит, что нас повезут в Понары. Он сам будто бы поведет поезд.

Наконец отодвигают вагонные двери и приказывают влезать. Вагоны очень высокие, и мы с трудом карабкаемся, тянем друг друга за руки. А солдаты торопят, бьют, велят поскорее забираться. В вагоне уже битком набито, а все еще гонят. Солдаты сами берутся «наводить порядок» — бьют прикладами по головам, пинают ногами, чтобы мы сдвинулись плотнее.

Подошел гитлеровец, задвинул дверь и закрыл ее на засов.

Темно. Под самой крышей несколько окошек, и те с решетками. Какая-то женщина в углу вздыхает: «Даже лошадей в этих вагонах не в такой тесноте возили». И снова тишина... Гитлеровцы ходят вдоль эшелона, покрикивают, что-то приказывают. Надоедливо стучит дождь...

Где теперь мама? Что с ними со всеми сделают? Может, будут еще раз отбирать? Вряд ли... Тот железнодорожник говорил ведь, что и нас повезут в Понары. Так зачем отбирали? Наверно, не было вагонов, чтобы везти всех сразу, и решили «пошутить». А завтра, пьянствуя, будут хвастать друг перед другом, как остроумно нас одурачили. Отобрали самых здоровых, молодых, а мы, дуры, поверили, что везут на работу... Плачу. Что я сделала? Что сделала мама, другие люди? Разве можно убивать только за национальность? Откуда эта дикая ненависть к нам? За что?

Вагон дернулся. Едем... А мама? Где она? Почему нас разлучили? Ведь и умереть было бы не так страшно рядом с нею.

Отдаляемся от Вильнюса...

Женщины стали говорить, что поезд замедляет ход. Понары!!

Сидевшие ближе к окошку подняли одну девушку, и та подтвердила, что мы у леса. Конвоиры с площадок вагонов выпускают ракеты и освещают лес. Видно проволочное ограждение. Вдали, меж деревьев, что-то

желтеет. Может, песок у ям? Поезд еле-еле движется. Сейчас остановится... Вот и день моей смерти... 24 сентября 1943 года. Нет! Я не пойду! Пусть застрелят на месте, но туда я не пойду!

Дернуло... Остановился?.. Нет!.. Еще едет. Даже набирает скорость! Из Понар?!

Снова едем... Колеса стучат, увозят все дальше от Вильнюса, от мамы. Где она теперь?

Ночь. Все еще долгая темная ночь. Если бы я хоть на минуточку могла вытянуть затекшие ноги...

В окошках светлеет. Рассветает. Поезд останавливается. Нельзя ли попросить воды? Очень хочу пить.

Снова едем. Мне душно, жарко и очень, очень плохо. Если б колеса не стучали так громко, может, мы дозвались бы конвоира, попросили бы воды. Может, он хоть на минутку открыл бы дверь, впустил хоть капельку свежего воздуха. Ведь мы задыхаемся.

Поезд опять останавливается. Очевидно, большой город: слышно, что на вокзале много народу.

Мимо эшелона проходят люди. Стучим кулаками в стены, кричим, чтобы открыли. Никакого ответа. Поднятые к окошкам женщины просят у каждого проходящего мимо железнодорожника хоть капельку воды. Но те только пожимают плечами и показывают, что конвоиры не разрешают.

Неожиданно кто-то подходит к двери и отодвигает ее. Воздух!

Появляется конвоир. Рычит, чтобы мы не шумели; если он услышит еще хоть один звук — всех расстреляет!

Уже, наверно, далеко за полдень, а поезд все еще стоит. Единственное, что мы знаем, — мы в Шяуляе. Может, здесь на самом деле есть лагерь?

Одна женщина предлагает выбросить через окошко записку. Она дает клочок бумажки, я — карандаш и на четырех языках записываем, кто мы, откуда и когда нас вывезли. Может, кто-нибудь найдет, узнает о нас.

Темнеет, а мы все еще здесь. Ноги ужасно болят. Кажется, переломятся в коленях.

Под утро поезд тронулся. Опять едем. А куда?..

Вскоре снова остановились. Но уже не пытались выяснить, где мы. И вообще стояла странная тишина. Словно ни у кого больше нет сил ни плакать, ни разговаривать. Даже думать.

И так весь долгий день — поезд больше стоял, чем ехал.

Вечером остановился в каком-то лесу, но сразу опять поехал. Ночью мчался с бешеной скоростью.

Опять остановился. Сначала мы не обратили внимания. Но вдруг встрепенулись: говорят по-немецки! И собаки лают!

Кто-то отодвинул дверь и ослепил нас фонариком. Обвел стены, углы и крикнул: «Heraus!» — «Вон!» Первые еще не успели выпрыгнуть, а в вагон уже влезли солдаты и стали нас толкать, бить, гнать. А ноги после такого долгого сидения скрючившись — словно свинцовые.

Вытолкнули и меня. К счастью, я упала на руки. В спину больно ударил выброшенный мне вдогонку чемоданчик. Еле встала.

У каждого вагона та же картина.

Нас выстроили. Тут же, в лесу. Паровоз прогудел, дернул свои вагоны и потянул за собой. Умчался. Наверно, обратно в Вильнюс. А нас оставил здесь, в чужом лесу...

Погнали по протоптанной тропе. Она освещена. Фонари не замаскированы. Вдали видны еще огни, тоже незамаскированные. Они освещают колючую проволоку. Постовой открывает ворота.

Лагерь! Бараки. Они длинные, деревянные, одноэтажные. Окна слабо освещены. Кругом снуют люди. Все почему-то в полосатых пижамах. У одного барака происходит что-то странное: такие полосатые прыгают из окон. Выпрыгнут и бегут обратно в барак, снова появляются в окнах и опять прыгают. А гитлеровцы их бьют, торопят. Люди падают, но, поднятые новыми ударами, опять спешат прыгать. Что это? Сумасшедшие, над которыми фашисты так подло глумятся?

Нам велели все вещи сложить в одну кучу на площадке перед бараком. В бараки с вещами не пустят.

Площадку охраняют два солдата. Здесь же несмело вертятся несколько одетых в полосатую одежду мужчин. Они тихонько спрашивают, откуда мы. Мы тоже хотим узнать, куда попали. Оказывается, мы находимся недалеко от Риги, в концентрационном лагере «Кайзервальд». Но здесь нас, наверно, не оставят, а пошлют дальше. Сами они — заключенные «Кайзервальда». Если у нас

есть курево или продукты — лучше поделиться с ними, потому что гитлеровцы у нас все равно отберут. Прыгающие через окна не сумасшедшие, а самые нормальные люди, наказанные за какую-то ерунду. Здесь за все наказывают, да еще не так. Одеты они вовсе не в пижамы, а в полосатую арестантскую одежду. Убежать нет надежды, потому что через проволоку пропущен ток высокого напряжения. Еды дают очень мало — двести пятьдесят граммов хлеба и три четверти литра так называемого супа. Часто в наказание оставляют на несколько суток совсем без еды. Они голодают. Если мы им ничего не можем дать — они побегут назад, потому что за разговор с женщиной наказывают двадцатью пятью ударами плети.

Как страшно!

Наспех вытаскиваю из чемодана свои записки, сую за пазуху. Но все забрать не успеваю: постовой прогоняет.

Нас выстраивает немка, одетая в эсэсовскую форму. Неужели тоже эсэсовка? Наверно, да, потому что она орет и избивает нас... Сосчитав, дает команду бежать в барак и снова начинает бить, чтобы мы поторопились. У дверей давка. Каждая спешит шмыгнуть в барак, чтобы избежать плети. Другая эсэсовка стоит у дверей и проверяет, все ли мы отдали. Заметив в руках хоть малюсенький узелок или даже сумочку, гонит назад положить и это. При этом, конечно, тоже бьет.

Барак совершенно пустой — потолок, стены и пол. На полу сенники, а в углу — метла. Все.

Надзирательница кричит, чтобы мы легли. Кто не успевает в то же мгновение опуститься, того укладывает метла. Бьет по голове, плечам, рукам — куда попало. Когда мы все уже лежим, она приказывает не двигаться с места. При малейшем движении стоящие за окнами часовые будут стрелять. Выйти из барака нельзя. Разговаривать тоже запрещается.

Поставив метлу на место, злая эсэсовка уходит. Женщины называют ее Эльзой. Может, услышали, что кто-то ее так назвал, а может, сами прозвали.

Значит, я в концентрационном лагере. Арестантская одежда, прыганье через окно и какие-то еще более страшные наказания. Эльза с метлой, голод. Как здесь страшно! А я одна... Если бы мама была здесь... Где

она теперь? Может быть, именно сейчас, в эту минуту стоит в лесу у ямы? И тот же ветер, который здесь завывает под окнами, ломает в лесу ветви и пугает детей! Страшно! Невыносимо страшно!..

Под окнами кто-то ходит. Наверно, охранники. Может, смотрят на нас. Если бы сенник так не колол, я бы уткнулась в него, чтобы свет не резал глаза. Почему не могу уснуть? Ведь уже столько ночей не спала. Может, приснится мама...

Мама... Раечка, Рувик. Еще совсем недавно мы были вместе. Рувик хотел взять свои книжки. «На свободе будешь читать...»

Свисток! Длинный, протяжный. Смотрю — в дверях опять злая Эльза. Она кричит: «Appell!» — «Проверка!» А мы не понимаем, чего она хочет, и сидим. Эльза опять хватает метлу. Бежим из барака.

Во дворе темно, холодно. Из других бараков тоже бегут люди. Они выстраиваются. Избивая, ругаясь, Эльза и нас выстраивает. Ей помогает еще один эсэсовец. Вдруг он вытягивается перед подошедшим офицером. Рапортует, сколько нас, и сопровождает офицера, который нас сам пересчитывает.

Пересчитав, офицер идет к другим баракам.

Оглядываемся, ищем свои вещи, но их нигде не видно. Даже не узнаем того места, куда вчера их сложили. Везде чисто подметено, посыпано желтым песочком.

Нас загнали назад в барак и снова приказали сесть на сенники, не разговаривать и не шевелиться.

Сидим.

Вдруг я нащупала в кармане папину фотографию (как она сюда попала?). Посмотрела на папу, и стало так грустно, что я разрыдалась. Его нет, мамы тоже нет, а я тут должна одна мучиться в этом страшном лагере. Я здесь никогда не привыкну. И не смогу жить.

Сидевшая рядом женщина спросила, почему плачу. Я ей показала фотографию. А она только вздохнула: «Слезы не помогут»...

В дверях снова выросли эсэсовцы. Приказали строиться. Объявили, что мы обязаны отдать все деньги, часы, кольца — словом, все, что еще имеем. За попытку спрятать, зарыть или даже выбросить — смертная казнь!

Офицер с коробкой в руках ходит между рядами. Сбор, конечно, очень жалкий.

Уходя, гитлеровцы так и не сказали, можно ли сесть. Но грозная метла стоит у дверей, словно часовой. Стоим и мы.

Холодно. В открытую дверь дует ветер. Уже столько дней я ничего не ела...

В дверях снова Эльза. Ее очень рассмешило, что мы все еще стоим. Поиздевавшись, она велела строиться по двое. Отсчитала десятерых и увела. Стоявшие ближе к дверям сообщили, что женщин ввели в находящийся на том конце площади барак.

Вскоре Эльза вернулась, отсчитала еще десятерых и опять увела. А первые не вышли... Неужели там крематорий? Значит, нас сюда привезли специально для того, чтобы уничтожить без следа.

Несколько женщин, стоявших ближе к дверям, убежали в конец строя. Разве это поможет?

Я — в седьмом десятке. Передние ряды тают, их все меньше. Скоро будет и моя очередь...

Уже ведут...

Эльза открывает дверь страшного барака. Никакого запаха. Может, этот газ без запаха? Темноватые сени. У стен набросано много одежды. Рядом стоят надзирательницы. Нам тоже велят раздеться. Одежду держать в руках и по двое подходить к этим надзирательницам.

Руки трясутся, трудно раздеться... А что делать с записками? Сую под мышки и прижимаю к себе. Подхожу. Эсэсовка проверяет мою одежду. Забирает шерстяное платье, которое мама велела надеть на летнее. Прошу оставить теплое платье, а взять летнее. Но получаю пощечину и умолкаю. Теперь эсэсовка проверяет рукава и карманы — не спрятала ли я чего-нибудь. Находит папину фотографию. Протягиваю руку, чтобы надзирательница мне вернула, но она разрывает фотографию на мелкие куски и бросает на пол. На одном обрывке белеют волосы, с другого смотрит глаз. Отворачиваюсь...

Нам приказывают быстро надеть оставленную нам одежду и выйти через заднюю дверь. Оказывается, там стоят все ранее уведенные. А те в бараках еще терзаются, думая, что ведут в крематорий.

Пока всех обыскали, пришло время злосчастного «аппелля». Почему они нас так часто считают? Неужели отсюда возможно убежать?

Наконец впускают в барак. К большущей нашей радости и удивлению, там стоит котел супа и стопка мисочек. Велят построиться в один ряд. На ходу надо взять мисочку, в которую Эльза нальет суп. Его надо быстро выхлебать, а миску поставить назад на место. В те же, даже несполоснутые, наливают суп следующим. Ложек вообще нет.

Чем ближе к котлу, тем вкуснее пахнет идущий оттуда пар.

Дождалась и я своей очереди. Увы, суп удивительно жидкий. Просто черноватая горячая водичка, в которой величественно плавают и никак не хотят попасть в рот шесть крупинок. Но все равно очень вкусно. Главное — горячо. Только жаль, что еда так безжалостно убывает. Уже ничего не остается. А есть так хочется, даже больше, чем до этого супа.

Несу миску на место. Смотрю — гитлеровец подзывает пальцем. Неужели меня? Да, кажется, меня. Несмело подхожу и жду, что он скажет. А он ударяет меня по щеке, по другой, снова по той же. Бьет кулаками. Норовит по голове. Пытаюсь закрыться мисочкой, но он вырывает ее из моих рук и швыряет в угол. И снова бьет, колотит. Не удержавшись на ногах, падаю. Хочу встать, но не могу, — он пинает ногами. Как ни отворачиваюсь — все перед глазами блеск его сапог. Попал в рот!.. Еле перевожу дух. Губы сразу одеревенели, язык стал большим и тяжелым. А гитлеровец бьет, лягает, но теперь уже, кажется, не так больно. Только на пол капает кровь. Наверно, моя...

Наконец гитлеровцы ушли. Женщины подняли меня и помогли добраться до сенника. Они советуют закинуть голову, чтобы из носа перестала идти кровь. Они так добры, заботливы, что хочется плакать. Одна вздыхает: что он со мной, невинным ребенком, сделал! Другая проклинает его, а какая-то все старается угадать, за что он меня так избил... Может, неся на место мисочку, я слишком близко подошла к очереди, и он подумал, что хочу вторично получить суп?

Почему они так громко разговаривают? Ведь мне больно, все невыносимо болит! Хоть бы погасили свет! Не рассечена ли бровь? Она тоже болит. А передние зубы он выбил...

Еле дождалась утра.

Еще до рассвета выгнали во двор для проверки.[1] Я едва стою — голова гудит, губы и глаза опухли. Хоть бы один глоточек воды! Не дают... Велят идти обратно в барак.

Около полудня снова велели построиться. Отобрали шестьсот женщин, затем еще четыреста. Отобранных выстроили отдельно, а остальных погнали назад в барак.

Я — во второй группе.

Из первой группы отсчитали пятьдесят и повели в крайний барак. Кто-то из наших прочел надпись: «Entlausung» — «Баня»... Так они называют газовые камеры крематория...

Сколько пришлось пережить, и все-таки конец...

Надзирательница вернулась и отвела еще пятьдесят. И так каждые полчаса по пятьдесят... А первые не возвращаются...

Уже никого не осталось. Площадка пуста.

Теперь пришла очередь нашей группы. Скоро поведут и меня.

Неожиданно мы увидели всю первую группу. Они живы! Значит, и мы будем жить!

Женщины той группы влезают на грузовики. Машут нам. Стало очень, очень спокойно.

Нас вводят в предбанник. Здесь горы одежды. Велят раздеться и аккуратно сложить свою одежду. При себе можно оставить только обувь и, если кто имеет, мыло и расческу. Все это надо держать в руках. Сумочки или мешочки надо оставить. Несколько листков моего дневника удалось сунуть в носки ботинок и под стельки.

Голых нас гонят в другую комнату. Под потолком — несколько дырявых трубочек — наверно, душ. У дверей гитлеровец в белом халате проверяет, не спрятали ли мы чего-нибудь в ботинках или в руках. Я переворачиваю ботинки, показывая, что в них ничего нет. Теперь становлюсь в очередь к врачу. «Врач» проверяет через увеличительное стекло чистоту головы и велит раскрыть рот. Засовывает за щеку палец — не спрятано ли там что-нибудь.

---

[1] В концентрационных лагерях проверяли два раза в день — рано утром и вечером, когда все бригады возвращались с работы.

После него попадаем к парикмахеру. Ножницы большие, а он, наверно, никакой не парикмахер. Чем красивее волосы, тем уродливее он их кромсает. Отрезанные косы и локоны сует в мешок.

Наконец из трубок пустили тепловатую водичку. Она покапала несколько минут и перестала. Мы только успели стать мокрыми, и это еще хуже, потому что нечем вытереться.

Мокрых нас выгнали в еще более холодную пристройку. Дверь на улицу открыта, и сквозь щели в стенах тоже пронзительно дует злой ветер.

Вдоль стен лежат горки одежды. Возле каждой стоит надзирательница. Мы должны пройти мимо них. От каждой получаем по одной вещи — рубашку, штанишки, платье, пальто и платок. Дают подряд, невзирая на рост и полноту. Когда одна девушка попросила обменять платье, потому что оно ей мало, надзирательница стеганула просительницу тем же платьем по голове, швырнула обратно и еще поиздевалась: «Обтеши бока!»

Мне досталось вытянутое, не очень чистое, рваное белье и... бальное платье из черного шелка, с большим декольте и искусственным красным цветком. В пальтишко я еле влезла — оно детское. Чулок совсем не дали.

У дверей Эльза проверяет, не украли ли мы вторую пару белья или еще один платок.

Во дворе стоят другие наши женщины, но я ни одной не могу узнать. Когда человека мало знаешь, на первых порах отличаешь его по одежде, а теперь эти необычные «наряды» всех изменили.

Получаем по полотенцу. Смотрю — женщины наматывают их на шею. Следую и я их примеру.

Подходит незнакомая девушка и просит обменяться пальто, потому что она получила слишком большое. Я очень рада. Наконец могу свободно дышать, не боясь, что лопнут швы. Теперь вся беда — платье. Оно такое узкое, что я едва могу сделать шаг. Но женщины меня утешают — хоть не так холодно ногам. Зато спина голая.

Наша одежда меченая — на груди и спине масляной краской намазаны большие круги или кресты.

Когда все «выкупались», нас загнали на грузовики. На каждом — по два охранника. Повезли.

Стемнело. Мы выехали из лесу и повернули на шоссе.

На этот раз путь был недолгий. Мы въехали в какой-то большой двор. Он окружен высокой каменной стеной, над нею — несколько рядов колючей проволоки и лампы. Бараков нет. Есть только один большущий дом. В конце двора — навес с болтающимися по углам лампами. Оттуда доносятся очень приятные запахи. Неужели это кухня и нам дадут суп?

Нас выстраивает немец в штатском. Темный полувоенный костюм и шапочка, очень похожая на арестантскую. Сосчитал нас и велел не трогаться с места, а сам ушел. Боязливо оглядываясь, к нам приблизилось несколько мужчин. От них мы узнали, что лагерь называется «Штрасденгоф» и находится в предместье Риги Югле. Лагерь новый. Пока что здесь только сто шестьдесят мужчин из Рижского гетто. Женщин еще нет, мы первые. Будем жить в этом большом доме. Это бывшая фабрика. Мужской блок на первом этаже, наш будет на четвертом. Где нам придется работать — они не знают. Сами они работают на стройке. Работа очень тяжелая, тем более что работают голодные. Считавший нас немец, Ганс, — старший лагеря. Он тоже заключенный, уже восемь лет сидит в разных лагерях. За что — неизвестно. У него есть помощник — маленький Ганс. Комендант лагеря — эсэсовец, унтершарфюрер, ужасный садист.

Внезапно мужчины разбежались — заметили приближающегося унтершарфюрера. Тот нас еще раз сосчитал и ушел. Вскоре Ганс велел принести одеяла и стал их раздавать. Мне опять не повезло: вместо одеяла я получила большой деревенский платок. Разве он будет греть?

Потом «угостили» холодным супом и погнали на четвертый этаж. Здесь наш блок. Он очень похож на казармы. Из досок сбиты трехэтажные нары. Их пять отделений. На каждом этаже одного отделения должны спать тридцать шесть женщин — восемнадцать с одной стороны и восемнадцать — с другой. На нарах набросаны мешки для сенников и мешочки поменьше для подушек.

Ганс велел каждой занять место. Одно отделение должно остаться пустым — сюда привезут еще женщин. Сенники набьем завтра после работы. Сейчас мы должны ложиться. Утром, услышав сигнал, мгновенно встать и бежать во двор умываться.

Соседка посоветовала вытянуть из сенника несколько веревочек, сплести их и подпоясать платье. Иначе не смогу работать. Умная женщина!

— Встать! — Это кричит Ганс.

Почему? Ведь мы только что легли. И на дворе совершенно темно.

Ганс очень зол. Может, уже на самом деле утро? Хватаем полотенца и бросаемся по лестнице вниз. Ганса это почему-то бесит. Кричит, что мы проспали, поэтому должны немытыми бежать на проверку.

Мужчины уже стоят в строю, а мы еще суетимся. Наконец Ганс крикнул: «Stillstand!» — «Смирно!» — и поспешил с рапортом к унтершарфюреру. Тот сосчитал нас и ушел.

Теперь Ганс разорался. В лагере должен быть образцовый порядок и дисциплина. Кто нарушит — будет строго наказан. Он больше не будет бегать будить нас, мы сами должны следить за сигналом — ударами в железяку. Услышав первый сигнал, мы должны в одно мгновение вскочить, застелить нары и бежать мыться (пока к протекающему мимо лагеря ручейку). После второго сигнала надо моментально выстроиться для проверки.

Мыться он нас все же повел. Темно, дует пронизывающий ветер, льет дождь, от холодной воды коченеют руки, но мыться надо, иначе пропадем.

Начало светать. Нас снова выстроили. Пришел унтершарфюрер со своими помощниками и конвоирами. Нас разделили на группы и повели.

Первая группа ушла прямо, а мы вскоре повернули направо. Пришли на стройку. Здесь уже работали мужчины из нашего лагеря, которых увели на работу сразу после проверки.

Мне велели носить камни. Мужчины мостят дорогу между строящимися бараками. Другие женщины привозят камни из оврага в вагонетках, а мы должны подносить их каменщикам. Конвоиры и надзиратели ни на минуту не спускают с нас глаз. Вагонетки должны быть полные, толкать их надо бегом и только вчетвером; разносить камни мы должны тоже бегом; мужчины обязаны быстро их укладывать. Все нужно делать быстро и хорошо, иначе нас расстреляют.

Камни ужасно тяжелые. Нести один камень вдвоем не разрешается. Катать тоже нельзя. Разговаривать во время работы запрещается. По своим нуждам можно отпроситься только один раз в день, притом надо ждать, пока соберется несколько человек. По одной конвоир не водит.

Как нарочно, не перестает лить дождь.

Пальцы я разодрала до крови. Они посинели, опухли, страшно смотреть.

Наконец раздался свисток на обед. Нас быстро выстроили и повели в лагерь. Стоявшие первыми сразу получили суп, а мы должны были ждать, пока они его выпьют и освободят мисочки. Мы их торопили: боялись, что не успеем.

Так и вышло. Я только отпила несколько глотков, а конвоиры уже погнали строиться. Выбили у меня из рук мисочку, суп вылился, а я, еще более голодная, должна была стать в строй.

Опять таскаю камни. Теперь они кажутся еще более тяжелыми. И дождь более надоедлив. Один камень выскользнул из рук — и прямо на ногу.

Я еле дождалась вечера. Вернувшись в лагерь, мы получили по кусочку хлеба и мутной водички — «кофе». Я все это проглотила тут же, во дворе, — не было терпения ждать, пока поднимусь на четвертый этаж.

Я уже наловчилась носить камни, так теперь велели их дробить. Я, конечно, не умею. Стукну молотком — а камень целехонек. Ударю сильнее — но отскакивает только осколочек, и тот — прямо в лицо. Оно уже окровавлено, болит, я боюсь поранить глаза. А конвоир кричит, торопит. Один мужчина предложил научить меня, но конвоир не разрешил: я должна сама научиться. Закрываю глаза, плачу от боли и обиды и стучу...

Я всех прошу — кто найдет кусок карандаша — одолжить мне. Надо срочно восстановить утерянные геттовские записи. Как хорошо, что мама велела заучивать написанное наизусть. Но записей было много, боюсь, что могу забыть. Целый день, дробя камни, вспоминаю, повторяю. Но перестать нельзя — забуду, тем более что и здешнюю жизнь пока «описываю» в уме.

Есть карандаш! Кто-то из мужчин «переслал» мне (бросил, когда конвоир не видел). Бумага — не проблема. Здесь валяются пустые мешки из-под цемента, которыми мы обматываем ноги (чулок еще не дали). И ногам тепло, и можно таким образом без риска внести бумагу в лагерь.

Все еще дроблю камни. Лицо немного зажило — его уже не так часто дерут осколки: я научилась. Но работать все равно очень трудно — холодно, мокро. Мы не видим ни одного человека с воли; ничего не знаем о фронте, а по настроению гитлеровцев угадать трудно.

Я очень соскучилась по маме. Неужели ее действительно больше нет? Неужели детей тоже убили? Одна женщина мне рассказала, что фашисты проделывают ужасные опыты — сдирают кожу, отрезают здоровую ногу и пришивают собачью. А из детей высасывают кровь. Тянут из вен, пока ребенок не падает мертвым. Невероятно, ужасно, не может быть! Неужели и Рувика так замучили! Никак не могу избавиться от этого видения, все мерещится, что Рувик сидит в каком-то кабинете с вколотой в ручку большущей иглой и бледнеет, слабеет, гаснет...

Когда становится невыносимо тяжело, стараюсь вспоминать прошлое... В такую погоду я любила сидеть дома. Если у папы никого не было, я забиралась к нему в кабинет, сворачивалась в кресле и читала книгу. Как было хорошо!..

Слышу сердитый окрик конвоира. Исчезает кабинет, тепло. Остается только лагерь, камни, дождь.

Я снова на другой работе — толкаю вагонетки. Мы возим камни и песок. В гору надо толкать полные вагонетки, а под гору бежать с пустыми.

Толкать очень трудно. Но остановиться нельзя — вагонетка покатится под гору и убьет не только нас, но и тех, кто тащится сзади. С трудом взобравшись на гору, мы должны разгрузить вагонетку, переставить на другие рельсы и, придерживая, бежать под гору. Это еще труднее — пустая вагонетка мчится очень быстро, мы еле поспеваем за нею, а выпустить нельзя, она может когонибудь убить. Одного так придавило. Он был профессором Рижского университета. Был...

Уже ноябрь. С каждым днем становится все холоднее. Пальто и ботинки насквозь мокрые. Чулок все еще не дают. Не помогают и бумажные обмотки. Но самое плохое — по утрам надевать мокрую одежду; блок не отапливается, одежда за ночь не высыхает...

Работающим на фабрике намного лучше: там сухо и тепло. Кроме того, их обучают ткачихи-латышки, которые иногда приносят им хлеб.

Позавчера мне тоже улыбнулось счастье: я нашла иголку! Настоящую, целую иголку! Хотя от конвоира получила пинок за то, что в строю нагнулась, но ничего, за иголку стоит. По крайней мере приведу в порядок свое платье. Соседка научит. Между прочим, мы тезки, она тоже Маша. Они намного старше меня, очень умная и практичная, но суховатая — не признает плохих настроений или хандры. Терпеть не может, когда человек жалуется.

Я с ней не только сплю рядом, но и сижу за одним столом. Эти столы стоят вдоль стен, каждый — на двадцать женщин. Хлеб для всех получает старшая стола. Горбушки она дает по очереди (их хотят получить все, потому что они твердые и можно дольше жевать), а другие порции — по жребию.

Наконец мое платье на что-то похоже. Правда, оно снизу не очень ровное (ножниц нет, пришлось обрывать руками) и подшито белыми нитками, зато спина и даже шея закрыты.

Но у меня новая беда: совсем порвались ботинки, почти спадают с ног. Верх полопался, подошва отстала, пальцы торчат. Боюсь, что могу их просто потерять. Они еще в гетто еле держались, а теперь, вечно мокрые от дождя и изодранные камнями, они совсем развалились.

Маша работает на фабрике. Она мне приносит нитки, из которых плету веревочки и подвязываю подметки. Но нитки быстро намокают, рвутся, и ботинки снова раскрывают пасть. Что будет зимой? Не могу же я босиком ходить по снегу.

Маша советует попросить у Ганса. В камере одежды, наверно, есть и ботинки. Но я не осмеливаюсь, лучше еще потерплю.

Воскресенье. Мы работали только до трех часов и вернулись в лагерь еще засветло. Лагерь выглядит непривычно, совсем не так, как в темноте. Странно чернеет при дневном свете надпись: «Вы живете не для того, чтобы работать, а работаете для того, чтобы жить». И забор кажется намного выше, страшнее.

Но это неважно. Куда важнее новая выдумка Ганса. Вызвав к себе старшую блока и еще несколько девушек, он заявил, что каждое воскресенье, вечером, должен состояться концерт, иначе они станут его «speziell Freunde». А смысл этого выражения мы уже успели узнать. К своим «специальным друзьям» он намного придирчивее, чаще их наказывает, посылает на более тяжелые работы и оставляет без хлеба.

Маша велела мне написать стихотворение. О чем? В школе я сочиняла о весне, природе, луне и звездах. Однажды учитель принес пластинку — Шестую симфонию Бетховена. Прослушав ее на уроке, я описала свои впечатления в стихах. Чуть не целую тетрадь. Даже учителю понравилось, взял на память. А здесь о чем писать?

Маша велит написать о нас. Стихотворение? Не представляю себе. Одно дело записывать факты, события, а другое — стихи. Какая может быть поэзия при такой жизни?

Вчера после проверки Ганс спросил, подготовлена ли уже программа концерта. Старшая блока ответила солдатским «Jawohl!..» — «Так точно!..» (Если бы сказала правду, он бы ее избил.)

У меня даже ноги подкосились: завтра должен состояться концерт, а я не написала ни одной строчки. Целый день, толкая вагонетки, я старалась что-нибудь «выдавить» из себя. Но чем больше старалась, тем меньше получалось.

Вечером я призналась Маше, что ничего не написала. Как я ни стараюсь, в мыслях только одно: что мне грустно, хочу к маме, что невыносимо тяжело, холодно и очень хочется есть.

Маше мои объяснения не понравились. Зло ответила, что как раз об этом и надо было написать.

Нет, она меня не понимает. Это не мама, которая выслушала бы, посочувствовала и посоветовала, о чем

написать. Может, даже об этом жиденьком супе, о перевязанных нитками ботинках или посиневших от холода ногах...

В голове мелькнули какие-то мысли. Я побежала в туалет, где меньше людей, и там, в самом уголочке, на подоконнике, стала писать. Но все-таки не в стихах.

Сегодня во втором, пустом блоке сдвинули несколько столов. Это, мол, сцена. В «зале» с одной стороны стоят мужчины, с другой — женщины. Концерт уже начался, а я все еще правлю и чиркаю свое «творчество». Теперь Маша немного ласковее. Похвалила, у кого-то одолжила для меня целые ботинки и велела не волноваться.

Когда объявили мое выступление, я влезла на стол. Подумала, что надо сделать реверанс, как в школе, выйдя отвечать урок. Присела, но, кажется, очень неуклюже, и никто, наверно, не понял, что это должно было означать.

Не своим, осипшим голосом я начала читать «устную газету» — «Женский экспресс». Я читала, будто разные телеграфные агентства сообщают, что нам выслан транспорт шерстяных чулок. Ботинок пока еще нет, потому что они сюда шагают пешком. Картошка для нашего супа еще не выкопана: есть более важные дела. И так далее.

Сначала у меня дрожали ноги, но вскоре, когда я почувствовала, что люди одобрительно вздыхают и даже улыбаются, я успокоилась. Слезла я со стола уже совсем спокойная.

После меня группа женщин пела «Вечерний звон». Одна девушка из Риги сыграла на расческе «полечку», а другая спела очень грустный романс.

После концерта нам, участникам, дали по полпорции холодного супа. Маша велела воспользоваться хорошим настроением Ганса и попросить ботинки. Но я все равно не могла решиться. Она рассердилась, сказала, что с таким характером я здесь скоро пропаду, и пошла сама. Ганс ей заявил, что здесь концентрационный лагерь, поэтому носят не ботинки, а деревянные башмаки. Скоро их должны привезти для мужчин, тогда, может, и я смогу получить.

Вчерашний день, наверно, никогда не забуду.

Утром, когда мы после проверки выстроились по бригадам, Ганс из нашей бригады отсчитал пятьдесят женщин (в том числе и меня) и велел присоединиться к другой бригаде, идущей на фабрику «Юглас мануфактура».

Наконец кончились мои страдания! Не надо будет толкать эти страшные вагонетки и мокнуть под дождем.

Шагаем по незнакомой дороге. Странно быть новичком: все незнакомо, неизвестно, что ждет. А мне к тому же еще и боязно, потому что я совершенно не представляю себе, как надо ткать.

Привели на фабрику. Те, кто работает здесь с первого дня, разошлись к своим станкам. Смело двинулись по узким проходам, не боясь ни колес, ни колесиков. А мы, новенькие, жались в углу, стараясь никому не мешать.

Шум. Все крутится, стучит, гремит. Наша бригадирша с латышом (очевидно, мастером) разводит нас по одной к станкам и велит учиться у ткачих-латышек.

Смотрю и ничего не понимаю. Колеса вертятся, какие-то палки с ремнями гонят челнок, ряды ниток поднимаются, опускаются, снова поднимаются и опять опускаются. Приползают нитки, а уползает материал.

Поглядываю на других — что они делают. Одни, как и я, только смотрят, а другим уже объясняют. Наконец и моя учительница догадалась и показала, как связывать ткацкий узелок. Когда смотрю, как связывает она, все понятно, а когда сама беру нитку в свои огрубевшие пальцы, нитка ускользает, и мне никак не удается сделать узелок.

До самого вечера моя латышка мне больше ничего не показала: я должна была учиться быстро связывать узелок. Время здесь тянулось еще медленнее, чем на стройке (на новом месте всегда так бывает), но не беда — тепло. Зато вечером, когда я вышла на улицу, показалось еще холодней. Назад в лагерь я плелась обалдевшая — в голове все еще гудело, стучало, гремело. Даже есть не так сильно хотелось, хотя со вчерашнего дня у меня еще ничего не было во рту. Теперь мы вообще едим два раза в день — во время обеда суп, а вечером хлеб с так называемым кофе. Мало у кого хватает силы воли разделить этот маленький кусочек хлеба пополам

и оставить на утро. Все знаем, что это необходимо, и каждая из нас неоднократно пыталась оставлять, но ничего не выходит. Стоит мне оставить хоть малюсенький кусочек, я ночью обязательно просыпаюсь и не засыпаю до тех пор, пока не вытащу его из-под сенника и не съем. Утешаюсь только тем, что, может, скоро уже утро, и я бы его все равно съела...

Сегодня я тоже собиралась оставить, тем более что вечером мы получили все сразу — и успевший остыть от обеда суп и хлеб. Но было так вкусно, что я даже не заметила, как съела.

В голове все еще гудело. Я еле дождалась сигнала лечь.

Проснулась я оттого, что меня сильно трясли. Еще, наверно, ночь, но в блоке горит свет, а на нарах — ни живой души. Старшая нашего стола велит мне быстро встать. За ее спиной стоит Ганс.

Я вылезаю. Что случилось? Старшая набрасывает мне на плечи пальто и ведет к столу. Все уже сидят на своих местах. Когда я приблизилась, унтершарфюрер так ударяет меня по лицу, что даже в глазах рябит. Он совсем разошелся, вздохнуть не дает. Стараюсь хотя бы удержаться на ногах, чтобы тоже не стал пинать ногами.

Наконец он сам устал и отпустил, велев поставить меня на всю ночь на колени.

Ганс свистнул, чтобы все легли, а меня вывел на лестницу и приказал стать на колени у ног постового. Тому велел следить, чтобы я не пыталась встать и чтобы никто не подал мне ботинок.

Как вытерпеть? Холодно. Колени затекли и болят. Постовой не дает даже шевельнуться, а время тянется нестерпимо медленно.

Уже еле держусь. Моментами кажется, что вот-вот свалюсь. Но постовой ударяет меня прикладом, и я снова выпрямляюсь.

Сменили постового. Значит, еще только два часа. Как далеко до утра, наверно, все-таки не выдержу. А когда сплю, кажется, будто ночь бегом пробегает.

Утром меня подняли: сама уже не могла выпрямить ног. И на проверку вели: не могла идти, падала.

Теперь узнала, за что меня наказали. Оказывается, ночью в блок влетел взбешенный Ганс и засвистел. Велел мгновенно выстроиться в проходах между нарами.

Прибежал и унтершарфюрер. Оба стали лихорадочно считать построенных. Да, действительно одной не хватает. (Часовому у ворот померещилось, что с забора спрыгнул человек.) Еще раз сосчитали. Не хватает. Велели строиться по бригадам: надо установить, кто именно убежал. Но, к несчастью, как раз сегодня увеличилась фабричная бригада и бригадирша еще не всех знает. Тогда велели сесть к столам, по двадцать.

Оказалось, что не хватает меня... Старшая стола инстинктивно глянула на нары. В дальнем углу из-под платка торчала моя босая нога.

Ганс меня запомнил. Сразу же после утренней проверки крикнул: «Та, которая во время ночной проверки спала, — три шага вперед!» Я задрожала — неужели опять будет бить? И так еле стою.

Я вышла. Ганс меня осмотрел, поглумился и спросил, где работаю. Узнав, что на фабрике, велел вернуться назад на стройку.

Кончилась теплая жизнь, длившаяся всего один день. Даже пальто не успело высохнуть. Снова мокну под дождем, снова почти босиком топчу грязь.

Привезли новых. Они из Германии. Одну из них сразу назначили старшей нашего блока, а предшественницу погнали на стройку.

Часть новеньких поместили в нашем блоке, остальных — во втором.

Привезли еще один транспорт — из Рижского гетто. Тоже через «Кайзервальд», тоже полуголых. Но у них не забрали детей. Есть даже пожилые. Их не разлучили. Как им хорошо!

Расспрашиваю, не знал ли кто моей тети-рижанки. К сожалению, пока о ней ничего не знаю. Хоть бы она нашлась!

Выпал первый снег. Наконец нам выдали чулки. Правда, они не очень похожи на настоящие чулки. Это носки, большей частью мужские, разноцветные, к которым пришиты куски старых женских чулок или даже просто тряпки. Но когда на носу декабрь, приходится радоваться и таким.

Меня снова взяли на фабрику. Говорят, что Маша уговорила бригадиршу попросить за меня Ганса. Поставили к той же латышке. Пришлось снова начать с узелка.

Теперь уже умею останавливать и пускать станок и менять нитки — когда кончается один моток, вставить в челнок другой.

Уже не так мерзну, но еще больше мучает голод.

Привезли машину деревянных башмаков. Когда их сгружали, я осмелилась подойти к Гансу. Он велел показать ботинки. Потом приказал заведующей камерой одежды выдать мне пару башмаков, а ботинки забрать. Жаль было расставаться — последняя вещь из дому, но что поделаешь, если они так порвались.

В камере одежды даже не спросили, какой мне нужен размер. Схватил из груды первую попавшуюся пару и бросили мне. Эти башмаки очень большие, но просить другие бессмысленно — стукнут за «наглость». Засуну туда бумаги, чтобы нога не скользила, и буду носить. Это «богатство» — тяжелые куски дерева, обтянутые клеенкой, — тоже записывают, что, мол, «Häftling № 5007» получила одну пару деревянных башмаков. «Заключенная № 5007» — это я. Фамилий и имен здесь не существует, есть только номер. Я уже привыкла и отзываюсь. На фабрике им же отмечаю сотканный материал. (Я уже работаю самостоятельно.) На каждых пятидесяти метрах пряжи появляется синее пятно. На этом месте сотканный материал надо перерезать, с обоих концов написать свой номер и сдать. Сдавая, я, как и все, мысленно желаю, чтобы фашисты этот материал использовали на бинты.

Вначале, только научившись самостоятельно работать, я очень старалась и почти каждый день сдавала по пятьдесят метров. Теперь меня научили саботировать — отвинтить немножко какой-нибудь винтик или надрезать ремень, и станок портится. Зову мастера, он копается, чинит, а потом вписывает в карточку, сколько часов станок стоял.

Каждый день у кого-нибудь «портится» станок, и все по-разному.

Кажется, ничего другого в мире нет — только лагерь, работа, голод и холод.

Когда-то так часто бывали оттепели, а теперь, как нарочно, изо дня в день безжалостный мороз. А пальтишко летнее, платье шелковое, без рукавов. Мороз насквозь пронизывает, пока иду на работу и обратно. Колени синеют и больно горят. Не успеваем прийти в лагерь и забежать в блок — уже зовут на проверку. Костенеем — унтершарфюрер нарочно не спешит выйти, и мы должны стоять на таком морозе, даже не шевелясь.

А если ему при пересчете вдруг померещится, что кто-то шевельнулся, он в наказание оставляет стоять на морозе до полуночи.

На этой неделе я работаю в ночной смене. Ее единственное преимущество в том, что можно избежать этого страшного наказания — стоять на морозе. Но вообще-то ночная смена гораздо труднее: под утро мучительно хочется спать, свет режет глаза, а от голода урчит в животе. Утром, когда полуживые и замерзшие мы возвращаемся в лагерь, холод не дает заснуть: в пустом блоке сквозь щели заиндевевшего окна дует ветер, несет снег. Ночью, когда в блоке спит много людей, немного теплее. А накрыться одеялом соседки Ганс не разрешает: надо «закаляться». Нарочно приходит проверять, как мы спим. Найдя кого-нибудь под двумя одеялами — выгоняет голой во двор.

Мне в последнее время все чаще и чаще кажется, что больше не выдержу — разорвется сердце. Но оно не разрывается, боль притупляется, и снова все по-старому — встаю, ложусь, иду по свистку...

Я говорила с одной рижанкой, которая знала тетю и дядю, до войны живших в Риге. К сожалению, оба уже в земле. Дядю расстреляли в первые дни, а тетя с двумя детьми была в Рижском гетто. Очень голодала, потому что не могла выходить на работу: негде было оставить детей. Так с обоими мальчиками и увели на расстрел.

Вчерашний ужас и вспомнить страшно, и забыть не могу.

Вечером, когда работающие на стройке возвращались с работы, их у входа тщательно обыскали: конвоир сообщил, что видел, как прохожий сунул кому-то хлеб. Его

нашли у двух мужчин — у каждого по ломтю. Во время вечерней проверки об этом доложили унтершарфюреру.

И вот проверка окончена. Вместо команды разойтись унтершарфюрер велит обоим «преступникам» выйти вперед, встать перед строем и раздеться. Они медлят — снег, холодно. Но удары плетью заставляют подчиниться. Нам не разрешают отвернуться. Мы должны смотреть, чтобы извлечь урок на будущее.

Из кухни приносят два ведра теплой воды и выливают им на головы. Бедняги дрожат, стучат зубами, трут на себе белье, от которого идет пар, но напрасно — солдаты несут еще два ведра теплой воды. Их снова выливают несчастным на головы. Они начинают прыгать, а солдат и унтершарфюрера это только смешит.

Экзекуция повторяется каждые двадцать минут. Оба еле держатся на ногах. Они уже не похожи на людей — лысая голова старшего покрылась тоненькой коркой льда, а у младшего волосы, которые он, страдая, рвет и ерошит, торчат смерзшимися сосульками. Белье совсем заледенело, а ноги мертвенно белы. Охранники катаются со смеху. Радуются этому рождественскому «развлечению». Каждый советует, как лить воду. «В штаны!» — кричит один. «Голову окуни!» — орет другой.

Истязаемые пытаются отвернуться, отскочить, но их ловят, словно затравленных зверей, и возвращают на место. А если хоть немного воды проливается мимо, вместо вылитых «зря» нескольких капель приносят целое ведро. Несчастные только поднимают ноги, чтобы не примерзли к снегу.

Не выдержу! С ума сойду! Что они вытворяют!

Наконец гитлеровцам надоело. Велели разойтись. Гансу приказали завтра этих двух от работы не освобождать, даже если будет температура сорок градусов.

Старший сегодня умер. Упал возле вагонетки и больше не встал. Второй работал, хотя еле держался на ногах, бредил от жара. Когда конвоиры не видели, товарищи старались помочь ему как-нибудь продержаться до конца работы. Иначе ему не избежать расстрела.

Ганс придумал новый вид издевательства — «проветривание легких».

Фабрики по воскресеньям не работают, поэтому он работающих на фабриках посылает на стройку. Это

было бы справедливо, если бы они подменяли строителей, а тем разрешили бы в этот день погреться. Но как раз этого Ганс им не разрешает, а заставляет «проветривать легкие». С раннего утра они должны маршировать по лагерю и петь. Особенно Ганс любит одну, специально для нас переделанную песню: «Мы были господами мира, теперь мы вши мира».

Чем сильнее мороз, тем дольше Ганс заставляет маршировать.

Сегодня мне одна женщина сказала, чтобы я больше не писала своих шуток. Над чем я смеюсь? Над нашими бедами?

Я пожаловалась Маше. Но она меня отчитала: не надо стараться угодить каждому, потому что завтра кто-нибудь может сказать совершенно противоположное. Надо самой думать. А писать необходимо. Если мой «Штрасденгофский гимн» поет весь лагерь, значит, большинству эта песня нравится. А это главное.

Наверно, она права.

Эсэсовцы придумали новое наказание.

Может, это даже не наказание, а просто издевка, «развлечение». Скоро весна, и держать нас на морозе уже не так интересно.

После проверки Ганс велел перестроиться, чтобы между рядами оставался метровый промежуток. Затем приказал присесть на корточки и прыгать. Вначале мы не поняли, чего он от нас хочет, но Ганс так заорал, что, даже не поняв его, мы стали прыгать.

Не удерживаюсь на ногах. Еле дышу. А Ганс носится между рядами, стегает плеткой и кричит, чтобы мы не симулировали. Только приседать нельзя, надо прыгать, прыгать, как лягушки.

Сердце колотится, задыхаюсь! Хоть бы на минуточку отдышаться. Колет бок! Везде болит, больше не могу! А Ганс не спускает глаз.

Одна девушка упала в обморок. Скоро и со мной, наверно, будет то же самое. Подойти к лежащей в обмороке Ганс не разрешает. Все должны прыгать. Упала еще одна. Она просит о помощи, показывает, что не может говорить. Кто-то в ужасе крикнул: «Она онемела!»

Наконец Ганс тоже устал. Отпустил: Лежащих без

чувств не разрешил поднимать — «симулируют, сами встанут». А если на самом деле в обмороке, значит, они слабые и не могут работать, надо записать их номера. Женщины хватают несчастных и волокут подальше от Ганса. Сами не в состоянии выпрямиться, почти на четвереньках, мы тащим все еще не пришедших в сознание своих подруг. Но только до лестницы. По лестнице не можем подняться. Сидим на каменном полу и ртом хватаем воздух. Некоторые пытаются ползти, но, с трудом поднявшись на несколько ступенек, остаются сидеть. Я все еще задыхаюсь, не могу начать нормально дышать. Прошу одну женщину, чтобы помогла мне опереться о перила — может, придерживаясь, немного поднимусь. Но что это? Еле выдавливаю слово. Чем больше стараюсь, тем труднее что-нибудь сказать.

Больше не решаюсь заговорить.

Вползаю наверх. Я бы легла, но до сигнала нельзя. Валюсь на скамью у стола, кладу голову на руки и сижу. Но так еще труднее дышать, приходится выпрямиться. Вижу, как в дверь тащатся такие же полуживые, еще дышащие существа.

Вдруг в дверях вырос Ганс. Осмотрел нас, покрутился и как ни в чем не бывало спросил, почему здесь так тихо. Ведь сегодня воскресенье, праздник — надо петь.

Молчим.

«Песню! — заорал он со злостью. — Или будете прыгать!»

Одна затянула дрожащим голоском, другая запищала. Их несмело поддержало еще несколько хрипящих голосов. Пытаюсь и я.

Рот раскрывается, а в него текут соленые слезы...

Уже знаем, за что нас позавчера заставили прыгать — кто-то сообщает гитлеровцам о наших «бунтарских разговорах».

Кто это мог сделать? Кто старается им угодить? Все подозревают «тот угол» — привезенных из Германии. Но как узнать правду? Как найти предательницу?

Девушки будут проверять всех вновь прибывших. В присутствии одной скажут что-нибудь об унтершарфюрере или Гансе. Если нас за это не накажут, значит, та не доносчица. Перейдут к другой. Так проверят всех, пока не обнаружат настоящей предательницы.

Меня в проверяющие не берут: могу попасться, а я уже и так больше других пострадала — и зубы выбили, и на колени ставили на всю ночь. А после прыганья только сейчас начинаю нормально говорить.

Но я все равно об этом написала песню. Назвала «Спорт». Пусть не думают, что мы так ужасно переживаем их издевки. Мы просто подтруниваем над этим.

Сегодня утром во время проверки Ганс заявил, что в нашем блоке пропала пара ботинок. Одна женщина пришла просить у него башмаки, потому что босиком не может выйти на работу. Кто взял эти ботинки?

Тишина...

Ганс разозлился. Если до вечера ботинки не найдутся, он сумеет нас наказать. В лагере не должно быть краж!

При выходе на работу всех тщательно обыскали. Ботинок, конечно, не нашли.

Весь день эта кража не давала покоя. Кто мог взять? И с какой целью? Ведь ни самому надеть, ни спрятать (единственное место — сенник, и тот гитлеровцы часто проверяют), ни вынести, тем более что за такое старье и рванье ничего не получишь. Женщины уверяют, что эта кража или провокация, или просто та женщина сама куда-то засунула свои ботинки, чтобы получить башмаки.

Перед вечерней поверкой я предложила снять чулки: наверно, опять придется прыгать, а так называемые чулки еле держатся. Но никто не спешил последовать моему примеру — холодно.

После поверки Ганс пригрозил, что теперь он нам покажет, что значит воровать. Велел перестроиться для прыганья.

«Разве я не говорила?» — шепнула я Маше и усмехнулась. Ганс это заметил, велел подойти к нему.

Я обмерла. Он вытащил меня из строя и начал колотить — опять по голове. Потемнело в глазах. Словно издалека до меня дошло, что он приказывает «solieren» — прыгать «соло» перед всем строем.

Прыгаем — я против них, они — против меня. А Ганс, как обычно, бегает между рядами с пеной у рта и все оглядывается на меня: «Умеешь смеяться, умей и прыгать».

Я едва дышу. Силы совсем иссякли. Даже остановившись на секунду, не могу вдохнуть воздух. Кажется, что уже не прыгаю, а только ноги, онемевшие и болящие, механически приподнимают меня, словно пружины, и снова опускают, приподнимают от земли и опускают...

Почти не помню, когда нас отпустили и как Маша тащила меня, еле живую, по лестнице. Потом Ганс, кажется, велел петь, но все молчали. Уходя, он пригрозил, что завтра снова будем прыгать...

Маша написала стихотворение о лагере. Мне, конечно, нечего равняться. Я умею только посмеяться над своими бедами. А ее стихотворение — серьезное; в нем глубокая боль, но не безнадежность. В конце прямо так и сказано, что лед начнет лопаться, рухнут стены, и тогда люди подадут друг другу свободные от оков руки!

Вчера была акция... Начинается и здесь...

Во время вечерней проверки во двор ввалилось много охранников. Сначала мы на них не обратили внимания, но, увидев, что они нас окружают, а другие вошли в блоки, испугались.

Что будет?

Проверка идет как всегда. Ганс считает; из котельной и кухни прибегают истопники и повара (им можно прибежать в последний момент), приходит унтершарфюрер. Все как обычно.

И все-таки что-то происходит...

Что охранники делают в бараках? Обыск? А в моем сеннике дневник. Маша давно говорила, что надо бы закопать. Зачем я медлила? Теперь найдут...

Почему нас окружили? Чтобы мы не бросились туда, если что-нибудь спрятано в сенниках? Может быть. И все же это не только обыск: слишком большая охрана.

Унтершарфюрер уже пересчитал нас, а команды разойтись не дает. Отпускает только поваров и истопников.

Из второго блока солдаты выводят двух пожилых рижанок. Они больны и на проверку не выходили. (Ганс в рапорте сказал, что есть две больные.) Их ведут к черным закрытым машинам. Мы и не заметили, когда они въехали. Другие солдаты отнимают у стоящих в конце строя женщин их детей. В первое мгновение никто ничего не понял, но вдруг поднялся страшный крик. Матери

бросаются к машинам, не хотят отдавать детей, плачут, кричат, проклинают. Одна умоляет охранника, чтобы он и ей разрешил ехать вместе с сыном. Другая падает на землю и хватает солдата за ногу, чтобы он не смог унести ее ребенка. Но солдат пинает ее сапогом в лицо и уходит с надрывающимся от крика ребенком на руках. Молодая женщина старается силой вырвать своего ребенка, кусает солдата, но двое других хватают ее, заламывают руки и оттаскивают в сторону. Она беспомощно бьется в их руках, трясет головой, кричит, но вырваться не может.

Одна мать сама несет доченьку к машине. Гитлеровец хватает малютку, хочет бросить в машину, но девочка обнимает его за шею и прижимается. Мать хватается за голову и валится как подкошенная. Гитлеровец переступает через нее и вталкивает девочку в машину.

Ведут и пожилых. Матери бросаются к ним, просят присматривать за детьми, выкрикивают их имена, показывают, в какой они машине.

Зловеще сверкая черными боками, машины выезжают. Матери остаются здесь. Они плачут, рыдают, кричат, рвут на себе волосы. Упавшую в обморок все еще не можем привести в чувство. Она лежит, руками конвульсивно сжимая комок земли с пробивающимися травинками.

Ведь весна...

Девушки подсчитали, что в субботу, во время детской акции, увезли шестьдесят жертв — сорок одного ребенка и девятнадцать пожилых женщин и мужчин.

Мы снова прыгали. Маша меня все время шепотом учила дышать — вдохнуть, задержать воздух, выдохнуть и прыгать ритмично, подпрыгивая при выдохе. А когда унтершарфюрер отворачивается, только поднимать плечи, имитируя прыжки.

Когда стемнело, унтершарфюрер нас отпустил: в темноте уже не тот эффект. Приказал нашему блоку хлеба не давать. А нам, уходя, пригрозил: если еще хоть один раз будем неуважительно говорить о немецкой власти — расстреляет без предупреждения не только говорившую, но и тех, кто слушал и не заставил ее замолчать.

Так вот за что мы прыгали!

Оказывается, на нас донесла Роза. Девушки предлагают ее поколотить, а я говорю, что надо придумать другое наказание, но какое — не знаю. Может быть, игнорировать, не разговаривать. Девушки это не принимают: слишком интеллигентно. Только намять бока и ничего другого!

Я должна буду сторожить у двери: если постовой приблизится — подать знак.

Ночью, как было условлено, меня разбудили и босую (башмаки могут выдать) повели на «пост». Другие залезли на верхние нары, над тем местом, где внизу спит Роза. Одна девушка измененным голосом разбудила ее — подруга в обмороке (Роза до войны была медицинской сестрой). Как только Роза высунулась с нар, сверху начали падать одеяла. Девушки спрыгнули, схватили ее, барахтающуюся под одеялами, и стали бить. Били изо всех сил, но так тихо, что даже я почти ничего не слышала, хотя знала, что там делается.

Легла, но долго не могла уснуть, — что будет, если она пожалуется? Правда, она не знает кто, но это не имеет значения, накажут всех. Может, все-таки не надо было бить? Для первого раза хватило бы угрозы.

Сегодня Роза ходит угрюмая, с опухшими глазами, ни на кого не смотрит. Но жаловаться, очевидно, боится.

Несколько дней тому назад Маша мне сказала, что женщины нашего стола решили отпраздновать Первое мая. Получив хлеб, мы его не проглотим, как обычно, сразу, а сядем все вместе за стол. Кто-то обещал каким-то образом достать газету и рассказать, что там пишут. Конечно, из фашистской газеты не много правды почерпнешь, но хоть услышим, какие города они опять оставили по «стратегическим соображениям» или «выравнивая фронт».

И вот вчера мы сдвинули три стола (желающих оказалось много) и сели. Лиза рассказывает о фронте. Прикидываем, когда Красная Армия может быть здесь. Хлеб откусываю степенно, маленькими кусочками. От разговоров о свободе становится так хорошо, как еще никогда здесь не было.

Вдруг я обмерла — в дверях унтершарфюрер! А Лиза

почему-то вместо положенного «Achtung!»[1] затянула «Долгие лета!». Делает вид, что не замечает! Маша тоже поет и толкает меня в бок, чтобы и я поддержала. А я от страха потеряла голос. Хриплю: «Счастливых лет!» — и еле соображаю, что Маша поет по-польски: «Сто лят». Наконец, сделав вид, что только теперь заметила унтершарфюрера, Лиза кричит: «Achtung!» Вскакиваем, вытягиваемся и ждем. Что теперь будет?

Унтершарфюрер зло оглядывает нас и спрашивает, что здесь за собрание. Лиза не моргнув отвечает, что мы отмечаем день рождения старшей по столу. Унтершарфюрер с подозрением оглядывает нас и выходит.

А если бы Лиза не догадалась затянуть песню? Маша смеется над моей наивностью: ведь так было решено заранее.

В воскресенье мы, «фабричные», как всегда, работали на стройке. Как только конвоир отворачивался, я поднимала голову и смотрела на цветущую по ту сторону дороги сирень. Казалось, что ветер нарочно клонит ветки в нашу сторону, чтобы приблизить к нам их аромат.

Когда мы вернулись в лагерь, оставшиеся там еще «проветривали легкие» — маршировали с песней. Обычная воскресная картина. Но вдруг Ганс объявил, что после обеда никого не выпустят из блоков: приезжает врачебная комиссия проверять здоровье.

Это страшно. Мы очень худые, похожи на скелеты, и, что хуже всего, от плохой пищи и нервных потрясений на теле, особенно на руках и ногах, нарывы. Они гноятся, не заживают. Единственное «лечение» — по утрам и вечерам прикладываем намоченные в холодной воде тряпочки. Мы уже так привыкли к этим своим гнойникам, словно всю жизнь они у нас были. Но если гитлеровцы увидят...

Что делать? Куда деваться? Может, не показываться, все время сидеть в туалете? А если и там проверят? Прошу Машу посоветовать. Но она отвечает, что советовать в таких случаях нельзя, потому что каждый человек только сам может быть хозяином своей жизни. Нашла время философствовать! А как она сама посту-

[1] Внимание! (Так мы должны были встречать каждого начальника.)

пит? Она пойдет, хотя ноги тоже в нарывах. Но есть женщины, у которых все тело в гнойниках, им обязательно надо спрятаться.

За меня «решил» унтершарфюрер: он приказал солдатам обыскать все уголки и, пока не будет окончена проверка, никого не впускать в туалет.

Все.

Нам приказано раздеться догола и медленно, по одной, проходить мимо комиссии.

Первые уже прошли. Самых исхудалых, в сплошных нарывах, они останавливают, спрашивают номер и записывают в свои книжки.

Скоро будет моя очередь. Стою вместе со всеми, дрожу: холодно и страшно. Кожа посинела, стала «гусиной». Заболел затылок. Все время стою, неудобно задрав голову, чтобы волосы закрывали нарывы на шее. Болит рука, крепко прижатая к боку; она прячет раны под мышкой. Только бы не велели поднять руку!..

Очередь движется очень медленно...

Уже приближаюсь и я. Как совладать с ногами, чтобы они не подгибались?

Подзывают! Нет, не меня, следующую.

Я прохожу. Незаметно оглядываюсь. Шедшая за мной женщина стоит перед комиссией. Гитлеровец велит ей повернуться. Осматривает. Что-то говорит второму эсэсовцу. Она смотрит на них умоляющим взглядом. Но это не помогает. У нее спрашивают номер. Записывают...

Шеренга снова тронулась.

Проверив наш блок, комиссия спустилась во второй. К нам пришел Ганс с конвоирами, вызвал всех записанных и увел. А во дворе ждали черные машины...

Выходя, Ганс велел готовиться к концерту. Он должен начаться ровно через час. Иначе будем прыгать!

Мы решили: лучше прыгать, но не петь!

Со стройки убежали три женщины. Каким образом и куда — неизвестно. Им, наверно, кто-то помог, потому что одни, когда кругом такая охрана, а одежда меченая, они бы это не смогли сделать. Самое удивительное, что никто даже не заметил, когда они исчезли. Спохватились, когда надо было идти на обед. Конвоиры свистели, кричали, искали, но напрасно. А ведь за это унтершарфюрер может послать их на фронт!

Почему я не знала, что они собираются бежать? Я бы попросила, чтобы они и меня взяли с собой. Я бы им не была в тягость — ничего не просила бы, не жаловалась, даже обошлась бы без еды.

Теперь беглянки уже на воле. Пока, наверно, отсиживаются в каком-нибудь подвале. Они дождутся Красной Армии. Но Маша считает, что они ни в каком подвале не сидят: не было у них возможности с кем-нибудь договориться и никто им не помог. Просто подвернулся удобный момент, они удрали и будут пытаться по ночам идти по направлению к Вильнюсу. Но дороги теперь усиленно охраняются, и их все равно поймают.

Неужели она права?

После вечерней проверки нас не отпустили. Унтершарфюрер вызвал к себе Ганса и «провинившихся» конвоиров.

Примерно через час Ганс вернулся и стал придирчиво проверять наше равнение. Должен быть образцовый порядок, потому что сейчас приедет шеф всех концентрационных лагерей Латвии.

Что будет? Явно, что не только Ганс, но и сам унтершарфюрер очень волнуется.

Наконец этот шеф приехал. В сопровождении унтершарфюрера и своей свиты он величественно прошагал мимо нас, пересчитал и хмуро выслушал объяснения унтершарфюрера. Ганс с маленьким Гансиком даже не осмелились приблизиться. Они тоже стояли в строю. Дальше, отдельно от нас, но все же в строю.

Шеф подошел к нам. Плетью ткнул одну девушку и велел ей выйти вперед. Ткнул другую, третью... Так отобрал шестерых. Выстроил их против нас. Заявил, что забирает их в качестве заложниц. Если в течение двадцати четырех часов не найдут сбежавших — расстреляют этих! Если даже найдут — все равно расстреляют. Лишь потому, что данный случай в нашем лагере первый, он за каждую убежавшую берет только двоих. Но если что-нибудь подобное повторится, наказание будет значительно строже. Мы должны стеречь друг друга. Узнав, что кто-то собирается бежать, — сообщить. Тогда не придется умирать.

Обреченных увели...

Бои уже идут недалеко от Вильнюса! Сведения, безусловно, не очень точные, из фашистской газеты (ее часто находим на фабрике, в женском туалете под шкафом, — наверно, какая-нибудь латышка специально подсовывает туда для нас).

Где теперь фронт, трудно сказать. Но одно ясно: из России и с Украины фашисты уже убрались. Теперь бои, наверно, идут где-то в Белоруссии, уже совсем недалеко, может, даже ближе, чем мы думаем, — ведь оккупанты о своих неудачах сообщают с большим опозданием.

Но здесь пока еще не чувствуется, чтобы они собирались бежать. Они все еще такие же бесчеловечные и жестокие.

Мы нашли бутылку. Засунули в нее мои бумаги. Пришлось переписать на более тонкую оберточную бумагу и совсем крохотными буквами, чтобы больше вместилось.

Переписывая, нарочно старалась целые куски писать по памяти. А девушки потом проверяли. Хвалят. Говорят, хорошая память. А по-моему, я ее просто натренировала. Хотя и в школе она меня часто выручала. Если допоздна задерживалась на катке, а признаться маме, что убежала кататься, не подготовив всех уроков, боялась — уходила в школу, не заглянув в книгу. Если вызывали, по памяти повторяла объяснения учителя на прошлом уроке и получала пятерку. Зато теперь ничего не помню.

Бутылку постараемся закопать. Но где? Часовой увидит. Разве что за углом, у самой стены. И закупорить нечем.

Опять убежали! На этот раз из шелковой фабрики, и уже не трое, а девять человек — семь мужчин и две девушки.

В лагере паника. Снова должен приехать тот же главный шеф. Унтершарфюрер носится как бешеный. Орет на Ганса, что тот не умеет выстраивать «этих свиней». Нам грозит, что всех до одного расстреляет. Охранников пугает, что завтра же отправит их на фронт. Маленького Гансика ругает за то, что здесь много грязи. Увидев въезжающую машину шефа, умолкает. Бежит навстречу, вытягивается и рьяно кричит: «Хайль Гитлер!» Но шеф только зло выбрасывает вперед руку.

Мы окаменели.

На этот раз даже не считая, отбирает заложников, бежит вдоль строя и тыкает плеткой. Приближается к нам... Идет. Смотрит на меня... Поднимает руку... Плетка скользнула мимо самого лица. Ткнула Машу. Она сделала три шага вперед... Ее заберут!.. Расстреляют!..

Шеф подошел к мужчинам. Работающим на шелковой фабрике приказал выстроиться в один ряд. Двух отсчитывает, третьему велит выйти вперед, двух отсчитывает, третьему — вперед. И так весь ряд...

Отобранных выстроили перед нами. Маша тоже стоит среди них. Шеф произносит речь. Мол, виноваты мы сами. Он нас предупреждал: здесь все отвечают за одного. Нам вообще не следовало бы убегать. Ведь работой, крышей и едой мы обеспечены. Надо только хорошо работать, и мы могли бы жить. А за попытку бежать — смертная казнь. Не только тем, которых все равно поймают, но и нам.

Черные машины въехали во двор...

Вот еще одно 21 июля. Мне уже семнадцать лет. Первый день рождения без мамы и четвертый без папы. Неужели их уже нет? Не может быть! А что, если мама тоже где-нибудь в лагере?

Доживу ли я до следующего дня рождения? Где тогда буду? Фашистам уже наверняка будет конец, но дождусь ли я его? Оккупанты уже и сами не скрывают, что бои идут в окрестностях Вильнюса. А Лизе одна латышка на работе рассказала, что в Вильнюсе фашистов уже давно нет, только они еще не признаются.

Неужели это правда? Неужели ни на одной вильнюсской улице нет гитлеровцев и никто не задерживает, не гонит в Понары, можно идти куда хочешь, да еще без звезд, по тротуару? И в Понарах тихо... Если бы все встали из ям и вернулись в свои дома, могло бы показаться, что фашисты, гетто, Мурер, Китель, акции — все это было только долгим, очень страшным сном.

Нет, не сон. Это было. Из Понар уже никто не вернется...

Сегодня нас регистрировали. Ганс уверяет, что приводят в порядок картотеку, потому что в последнее время в лагере произошло много изменений (так цинично они называют увоз на расстрел!), а в картотеках это не отмечено. Неясно, кто в лагере есть и кого нет.

Так ли это?..

Предчувствие меня не обмануло.

Во время вечерней проверки унтершарфюрер стал вызывать по списку. В нем были записаны только пожилые люди. Вызванных выстроили, сосчитали, и конвоиры вывели их за ворота...

Они нетрудоспособны — им больше пятидесяти лет, поэтому они должны быть «переведены в другой лагерь».

Вот для чего «приводили в порядок» картотеку.

Истопники пытались спрятать в котельной Сурица (актера Рижского театра), но один конвоир заметил это и в наказание грозился вместе со стариками увести и самих истопников.

Нам велели заново выстроиться, заполнить промежутки и выровняться для проверки. Мне пришлось перейти в соседний ряд, где всего несколько минут назад стояла одна рижанка — невысокого роста, седеющая, очень интеллигентной внешности. Остались только ее следы на песке. Но я должна была встать точно на то же место, и не стало даже этого следа...

Убежала еще одна девушка из шелковой фабрики. Говорят, что в нее влюбился молодой латыш и исчез вместе с нею.

Ее не находят. На фабрику приводили собак, но они ничего не почуяли — всюду насыпан табак.

Унтершарфюрер совсем взбесился. Избивает каждого, кто попадает под руку. Ганс уже охрип от крика, а охранники, выслуживаясь, выливают на нас всю злость — толкают, бьют и угрожают, что застрелят тут же на месте.

Главный шеф не приезжает. Значит, заложников не возьмут. Заберут всех...

Хоть невероятно, но, может, ничего страшного не будет — только заново метят одежду и стригут волосы. Конечно, жаль, но пусть лучше берут волосы, чем голову.

Женщины уверяют, что немцам, наверно, очень нужна рабочая сила, поэтому не расстреливают.

С кругами, намазанными масляной краской на груди и спине, боясь прикоснуться друг к другу, чтобы не вымазаться, стоим в очереди к парикмахерам. Они наголо снимают волосы машинкой. Несколько девушек уже без волос. Выглядят жутко, просто трудно узнать. Лица кажутся совсем иными; головы какие-то странные, неправильной формы — у одной вытянутая макушка, у другой затылок плоский.

Несколько более смелых не хотели разрешить себя изуродовать. Но унтершарфюрер предупредил Ганса, что избегающие новой метки одежды или стрижки должны быть задержаны, потому что они, очевидно, собираются убежать.

Холодная машинка скользит по голове. На плечи, руки, колени падают клочки волос. Если бы было где хранить, я взяла бы несколько прядей на память. Голове становится непривычно холодно...

Я уже пострижена. Неужели выгляжу так же страшно, как другие? Они, наверно, думают то же самое, глядя на меня.

Над мужчинами, оказывается, глумятся иначе. Им оставляют прежнюю длину волос, но по самой середине головы, от лба до затылка, выстригают тропу. Мужчины выглядят еще страшнее — голова будто разделена пополам. Совсем сбрить волосы им запрещено...

Ведь даже овец и тех метят милосерднее...

В наш блок принесли «талесы» (белый в черную полоску материал, которым верующие евреи покрываются во время молитвы). Разорвали их на куски и роздали нам. Это будут платки. Ганс строжайшим образом приказал носить эти платки не только в лагере, но и на работе. Оголять головы запрещается!

Значит, фашисты не хотят, чтобы посторонние люди видели, как они прививают свою «культуру». Стараются, чтобы их, создателей «новой Европы», считали великодушными рыцарями, культурными освободителями, боятся показать свои черные дела. А я нарочно покажу! Мне совсем не стыдно ходить с голой головой. Пусть все видят, что фашисты вытворяют!

Я обязательно сниму платок! И еще буду других подговаривать!

Ну и дорого же обошлась моя воинственность!

Конвоиры донесли, что, как только мы вышли из лагеря, почти вся наша колонна сняла платки. Гансу только это и нужно было. После проверки он другие бригады отпустил, а нам велел прыгать. Бил больше, чем обычно. Затем стал гонять на четвертый этаж и обратно, вверх — вниз, вверх — вниз.

Еле двигаюсь. Сердце бешено колотится. Во рту пересохло. Горло сжимают спазмы, совсем задыхаюсь. Сейчас упаду...

И все же не падаю. А Гансу уже надоело гонять, и он снова велит прыгать. «Для отдыха» мы должны маршировать с песней и снова прыгать. А для того чтобы мы лучше «запомнили» этот урок, еще десять раз взбежать на четвертый этаж и обратно.

Когда нас отпустили, весь блок уже давно спал. Мы, конечно, остались и без хлеба.

Я написала для «Женского экспресса» два объявления. В одном говорится, что из Парижа получен новый журнал мод. Оказывается, теперь не в моде ни прически, ни шляпы — только бритые головы и полосатые платки. Женщины «Штрасденгофа» эту моду, разумеется, сразу подхватили. Во втором объявлении сообщается, что в нашем лагере открыта новая парикмахерская — мужской салон, в котором мужчин стригут по последней моде — с «вошкиными аллеями».

Вывезли много мужчин. Говорят, их погонят разминировать дороги и поля. Я спросила у своей соседки Рут, как это делается. Она только вздохнула и ничего не ответила. А Лиза мне объяснила, что несчастные должны будут просто идти по заминированному полю, пока не нарвутся на мину и не взлетят в воздух, разорванные на куски.

Уму непостижимо, как это чудовищно!

Ночью нас разбудили взрывы. Бомбят!

Лежим затаив дыхание и ждем новых взрывов. Но их нет. Тихо...

Зря обрадовались. Может, это немцы сами что-то взорвали или наши мужчины подорвались на минах...

Когда нас предупредили, что утренняя проверка будет на полчаса раньше, мы не обратили на это внимания. Но, увидев много солдат, забеспокоились. Что опять?

Солдаты запрудили все входы, даже влезли на крышу.

Помощник унтершарфюрера принес два ящика — один побольше, черный, второй поменьше, светлый. Поставил их, сам влез на табуретку и объявил всему строю, что неработоспособных, то есть старше тридцати лет и моложе восемнадцати, переводят в другой лагерь.

Что значит такой «перевод», мы знаем...

А мне только на прошлой неделе исполнилось семнадцать...

Помощник унтершарфюрера достает из черного ящика пачку карточек и начинает вызывать по номерам. Вызванный или вызванная должны ответить «Jawohl!» и перейти к стене. Эсэсовец выкрикивает номера, и обреченные люди переходят в указанное место. Несколько карточек он откладывает не вызывая: очевидно, люди подходящего возраста. И снова цифра, и снова «Jawohl!». Люди переходят один за другим — так без конца. Около меня уже вышло пятеро, а эсэсовец и не хрипнет, и не кончает. Берет новую пачку. Теперь уже, наверно, вызовет меня. Скажет: «Пять тысяч семь!» Я должна буду ответить «Jawohl!» и перейти... А оттуда...

Скоро... В его руках уже очень мало карточек. Там, наверно, и моя...

Уже!.. Нет... Пока я спохватилась, ответил кто-то другой. Видно, не меня вызывал. Я и не слышала всего номера. «Пять тысяч...» — и обмерла. А ведь много номеров начинается с этих цифр.

Эсэсовец берет уже третью пачку. В этой, наверно, лежит и моя карточка. Вызывает. Люди идут. Скоро пойду и я. Здесь, наверно, никого и не останется. Уж взяли бы сразу, без этого мучения...

Помощник унтершарфюрера спрыгнул с табуретки! Неужели кончил?

Ганс велел выстроиться — мы пойдем на работу. Стараюсь не попадаться ему на глаза, чтобы не заметил, что я слишком молода. Чувствую, что кто-то пожимает мне руку. Это мои соседки-двойняшки. Ведь мы однолетки, им тоже по семнадцать! Значит, не я одна осталась. Мо-

жет, нас вообще больше? Нет, всего пятеро... Случайность или ошибка?

Ганс нас трижды пересчитал и отрапортовал унтершарфюреру, что в лагере пятьсот двадцать заключенных. Тех уже не считает... А вчера таким же тоном рапортовал, что в лагере тысяча триста заключенных.

Бригады теперь очень маленькие, даже не представляю себе, как мы будем работать.

Нам дали команду идти на работу, а обреченных погнали в пустое помещение в крайнем флигеле.

Всю дорогу не дает покоя одна мысль: каким образом я осталась? Помощник унтершарфюрера сейчас пропустил или тогда, когда регистрировал, не расслышал, сколько мне лет, и записал на год старше? Если бы знала, легче было бы сориентироваться, что говорить в другой раз, когда они снова что-нибудь придумают.

Настроение жуткое. Больше половины станков стоит. Еще вчера возле них работали наши женщины, а сегодня...

Латышки смотрят на нас с сочувствием. Спрашивают о своих помощницах, жалеют. Даже станки и те, кажется, стучат тише...

В лагере нас встретила мертвая тишина. Раньше мы на проверку выстраивались вдоль всего здания, а сегодня нас хватило только до дверей...

После проверки снова дали работу. Мужчины носили воду, а мы мыли полы, лестницу, даже крышу — смывали пятна крови.

Оказывается, когда обреченных гнали к машинам, мужчины пытались бежать. Одни полезли через забор, другие бросились в блоки, котельную, туалеты. Конвоиры, стреляя, побежали за ними. В блоках и на лестнице убивали прямо на месте. Двое повисли мертвыми на заборе. Найденного в котельной хотели бросить живым в огонь вместе с прятавшими его истопниками. Но больше всего пришлось возиться с одним рижанином, спрятавшимся в трубе. Его никак не могли оттуда извлечь. Выстрелили разрывными пулями, раздробили голову. Тело потом сволокли по лестнице. Бросили в машину вместе с живыми. На лестнице в лужице застывшей крови остался комочек его мозга. Мы завернули это в бумажку и зарыли во дворе у стены. Вместо надгробья положили белые камушки...

Поздно вечером нас впустили в блок. Непривычно пусто. Разговариваем вполголоса, как будто здесь покойник. Спать ложимся все вместе, в одном углу.

Два дня прошли тихо.

Мы боялись, чтобы в воскресенье нас не заставили маршировать с песней мимо белеющей в углу маленькой могилки. На утреннюю проверку мы тащились с тяжелым сердцем.

Оказывается, не этого надо было бояться. После проверки унтершарфюрер объявил, что ночью получен приказ срочно эвакуировать лагерь. Мы прекрасно поняли, что на их языке значит «эвакуировать».

Нас согнали в то же помещение, где в четверг находились жертвы прошлой акции. На стенах написано много знакомых фамилий. Рядом даты, адреса, призывы отомстить. Когда люди это писали, они еще были живы... Теперь остался только этот зов...

Может, и мне оставить здесь след о себе? Пусть кто-нибудь когда-нибудь прочтет...

Вдруг все бросились к дверям... Но черных машин не видно. Стоят несколько грузовиков. Из них выгружают какие-то узлы. Оказывается, это одежда, полосатая одежда заключенных, какую мы видели в «Кайзервальде».

Нам велели раздеться донага, оставив только башмаки и платки. Может, на самом деле будут эвакуировать? Ведь только для того, чтобы нас обмануть, пожалели бы одежду. Женщины уверяют, что фашистам уже, наверно, на самом деле очень туго, если нас так срочно эвакуируют. Может, той ночью действительно бомбили наши? Если бы нас сейчас не вывезли, мы дождались бы здесь Красной Армии. А может быть, еще произойдет чудо, и вот сейчас, пока мы здесь стоим в очереди, через ворота ворвутся красноармейцы, обезоружат гитлеровцев — и мы свободны!..

Но... красноармейцев нет, а мы стоим голые в очереди за полосатой одеждой. Первый этаж, стекла окон не закрашены, а эсэсовцы нарочно заставляют нас проходить возле самых окон, за которыми выстроены мужчины. Те стоят опустив глаза. Солдаты их бьют, издеваются и заставляют смотреть...

Я получаю свою новую одежду — длинную и жесткую рубаху, такие же штаны и полосатое грубое платье не-

обычной величины. Осматриваюсь — может, найду какую-нибудь веревку. Я бы хоть подпоясалась, чтобы не запутаться в этом мешке.

Выгоняют во двор. Наше место занимают мужчины. Помощник унтершарфюрера и Ганс закрывают и запечатывают все двери. Солдаты грузят на машины свои вещи. Все уезжают. Лагерь ликвидируется.

Мужчины уже тоже переодеты. В ворота въезжают все те же страшные черные машины. Эсэсовцы торопят нас. Бьют, толкают, чтобы мы уплотнились. Машины без окон. Темно, душно, а солдаты вталкивают еще и еще — все должны вместиться.

Стою сдавленная, еле дышу. Кажется, ребра не выдержат. Неудобно подвернута рука.

Машина едет. То прямо, то куда-то сворачивая, мчится все дальше и дальше. Я уже задыхаюсь. Ноги не держат, упаду. Если бы хоть на минуточку остановились и открыли дверь!

Наконец приехали. Мы в порту. Нас опять выстраивают, еще раз считают и гонят к большому кораблю. Это, наверно, военное судно, потому что под чехлами торчат стволы орудий. На корабль грузят какие-то ящики. Женщины полагают, что это фашисты вывозят станки и другие ценные вещи.

Загоняют на корабль. Палуба почти как площадь. Конвоир открывает люк и велит нам лезть вниз. Лесенка очень крутая, внизу темно. Спускаюсь. Там еще лесенки, и конвоир гонит дальше.

Наконец мы в самом низу. Ощупью ищу место, куда сесть. Кое-как нахожу и сажусь. Оказывается, здесь уже много женщин. Есть и из других лагерей.

Куда нас повезут? Не будет ли еще хуже, чем было? А самое главное — мы опять отдаляемся от фронта.

Сидим. Там, за бортом корабля, время, может, и движется, но здесь оно застыло. Еще день или уже вечер?

Губы запеклись, очень хочется пить. Жарко, душно, рубаха больно натирает шею и под мышками, но снять боюсь: в темноте могу потерять. Хоть бы вытянуть ноги!..

Мы все еще не отчаливаем. Неужели так долго грузят? Что же такое они отсюда вывозят?

Сидящие ближе к выходу начали стучать в крышку люка, прося воды. Долго никто не отвечал, потом откры-

ли, и конвоир зло прокричал: «Кто будет шуметь, окажется за бортом! Там много воды!..»

Люк захлопнулся. Снова темно.

Наконец корабль отчалил. Плывем. Куда? Вернемся ли когда-нибудь?..

О том, что уже утро, рассказали вернувшиеся с палубы девушки. Оказывается, там стоит довольно сговорчивый часовой и разрешает выносить упавших в обморок.

Я бы тоже хотела попасть наверх, но меня опережают те, кто быстрее замечает, кому становится плохо. Есть и такие, которые нарочно разыгрывают обморок.

Соседка предложила мне создать с ней и с ее подругой тройку. Одна «упадет в обморок», а две ее вынесут. Я притвориться не сумею, лучше понесу.

Наконец воздух! Вдыхаю его глубоко-глубоко. Солнце слепит глаза, ветерок приятно освежает. Просторно, красиво — только солнце, небо и море. Вдали что-то виднеется, наверно город. Может, Клайпеда? Ведь я там родилась.

«Zurück!» — «Назад!» — орет немец. Так быстро... Наша «больная» слишком рано открыла глаза.

Ночью на палубу не пускали. Мы сидели вялые, потные.

Неожиданно сверху послышался голос гитлеровца: «Воздушная тревога! Не шевелиться — стрелять буду!» Как мы шевельнемся? Да и кто нас с самолета заметит? Смешно.

Вскоре тревога кончилась. Очевидно, самолеты только пролетели мимо.

Утром принесли хлеб. Раздавать поленились, просто бросили. Одни поймали по нескольку кусочков, другие (в том числе, конечно, и я) — ничего. Счастливцы делились с нами. Кто-то сунул мне в руку маленький кусочек — хватило, чтобы откусить только четыре раза.

Кончился невыносимо длинный день, прошла и трудная ночь.

Примерно около полудня мы почувствовали, что корабль замедляет ход. Остановился. Но нас не выпускают. Неужели повезут дальше? Тогда уж наверняка задохнемся.

В конце концов дождались спасительного «Heraus!».

Когда мы строились на берегу, я оглянулась: совсем непохоже на порт. Поле, дорога и небольшие домики.

Поглазеть на нас прибежало несколько подростков. Кто-то шепотом спросил их, где мы. Они ответили, что недалеко отсюда Данциг. А меня почему-то не интересует, где мы. Важно, что можно дышать.

Нас снова сосчитали и велели идти. Приплелись к реке. Уже темнело. Нас начали загонять в крытые черные баржи. Опять море. Первые влезли согнувшись, коекак сели, а конвоиры заталкивали новых. Пугали — тех, кто не вместится, бросят в воду. Сжатых, задыхающихся, нас повезли.

Ночью я была словно в кошмаре: моментами казалось, что уже умираю, а моментами я вообще ничего не чувствовала.

Солнце уже было высоко, когда нас наконец выгнали на берег. Мы едва отдышались, как нас уже погнали дальше.

На перекрестках — указатели с надписью «Штуттгоф». Значит, нас ведут туда.

Проходим через чистенькую деревню. По обеим сторонам улицы на солнцепеке дремлют домики. Каждый огорожен заборчиком, окружен цветами. Играют дети... Как здесь тихо! Будто нигде в мире нет ни войны, ни Гитлера, ни Понар...

Вдали показались длинные ряды бараков. Мы завернули направо, и бараки заслонил роскошный сад. Красивые аллеи, каменные домики, фонтан, качели, стол для пинг-понга — настоящий райский уголок. Но сад кончился, и перед нами открылась пустыня, ограждения из колючей проволоки и длинные ряды бараков. Они словно выстроились на песке, отделенные друг от друга поперечными рядами проволоки. Кажется, будто весь лагерь разделен на большущие прозрачные клетки. Над оградой, на высоких столбах, торчат будки постовых с окошками во все четыре стороны.

У ворот стоят офицеры. Они нас пересчитывают и впускают внутрь. У входа постовой монотонно предупреждает, что подходить к ограде запрещается — она под током.

Мы входим в первую клетку. Ворота за нами закрывают. Открывают следующие, в другую такую же клетку.

Снова закрывают. Пропускают в третью клетку. И так все дальше, все глубже в лагерь.

Когда проходим мимо бараков, заключенные с нами заговаривают, спрашивают, откуда мы. Хотя за разговоры охранники нас бьют, мы не удерживаемся и отвечаем. Из бараков к нам обращаются по-русски, по-польски, по-еврейски. У одного барака стоят ужасно худые женщины, очевидно больные. Они ни о чем не спрашивают, только советуют остерегаться какого-то Макса.

Справа от женских — мужские бараки. Ограда между ними двойная — два ряда колючей проволоки. Их разделяет широкий промежуток. Кроме того, с внутренней стороны ограды от столбов протянуты еще и наклонные ряды проволоки.

Мужчины тоже наблюдают за нами. Иногда кто-нибудь несмело выкрикивает, откуда мы. В одном месте какой-то пожилой человек, услышав, что мы из Вильнюса, спрашивает, давно ли мы оттуда. Мне его лицо кажется очень знакомым, но оглянуться опасно: конвоир совсем рядом.

Нас привели в самые последние — девятнадцатый и двадцатый бараки. Здесь уже стояло несколько эсэсовцев и один штатский, но с номером заключенного. Крикнув, чтобы мы выстроились для проверки, этот штатский сразу же начал нас бить и пинать. За что? Ведь мы равняемся, а он ничего другого не велел.

Я вытянулась, замерла. Но этот штатский подлетел, и я, даже не успев сообразить, в кого он метит, скрючилась от страшной боли.

А эсэсовцы стояли в стороне и гоготали.

Этот изверг избил всех — от одного конца строя до другого, причесался, поправил вылезшую рубашку и начал считать. Но тут один офицер заметил, что уже пора обедать, и они ушли, оставив нас стоять.

На другом конце строя стоят несколько десятков женщин. Они рассказывают о здешней жизни, и каждое их слово шепотом передается из уст в уста. Они из Польши. В этих блоках еще только неделю, раньше были в других. Здесь хуже, потому что старший этих блоков — Макс, тот самый, который сейчас избивал. Это дьявол в облике человека. Нескольких он уже забил насмерть. Сам он тоже заключенный, сидит одиннадцатый год

за убийство своей жены и детей. Эсэсовцы его любят за неслыханную жестокость.

Так вот что значит настоящий концентрационный лагерь! Выходит, в «Штрасденгофе» еще было сравнительно терпимо...

Эсэсовцы и Макс вернулись под вечер. Избивая и ругаясь, кое-как сосчитали нас и впустили в бараки. Нары здесь тоже трехэтажные, но без сенников и одеял — просто неотесанные доски.

Нас поднимает крик Макса. В открытое окно летят камни. Бросаемся к двери. Здесь давка, толчея. Неожиданно все начинают пятиться назад: Макс стоит у дверей и бьет каждую выбегающую по голове. Хотим выпрыгнуть в окно, но Макс, очевидно, угадал наши намерения и уже бежит туда — бить за «нарушение порядка». Неужели мы не знаем, что выходить надо через дверь?

Бегу обратно к двери и еле увертываюсь от удара Макса: он уже успел вернуться сюда.

В наказание за то, что мы недостаточно быстро выбежали на проверку, Макс оставляет нас стоять на жаре весь день. Предупреждает, что в случае малейшего движения постовые будут стрелять.

Солнце безжалостно печет и совершенно не двигается с места — все высоко да высоко. Хочу пить. Ноги дрожат и подкашиваются. Кажется, свалюсь тут же, в песок, в пыль, лишь бы минутку отдохнуть.

Нас регистрировали. Записать свой настоящий возраст я побоялась: ведь тех, кто моложе восемнадцати лет, они считают неработоспособными. Промямлила, что мне двадцать. А если эсэсовец не поверит? За попытку обмануть наверняка расстреляют. Но, к счастью, он даже не поднял на меня глаз.

Нам роздали напечатанные на тряпочках номерки и велели немедленно пришить к одежде (специально принесли иголки с нитками).

Я уже не «номер 5007», а «номер 60821».

После регистрации дали суп. Здесь он еще хуже, чем в «Штрасденгофе». Просто тепловатая мутная водичка без единой крупинки. Лишь нескольким девушкам повезло: они нашли по кусочку картофельной шелухи.

Мы в этом лагере уже девять дней. Здесь куда хуже, чем в «Штрасденгофе». Макс зверски избивает, мы все ходим в синяках. «Немеченых» лиц нет. Я эти синяки называю «автографами Макса», а некоторые женщины сердятся, что у меня все еще шутки на уме. Но я вовсе не думаю шутить, просто само собой так получается.

Весь день, от утренней проверки до вечерней, входить в бараки запрещается. Если Макс не заставляет стоять «смирно» или на коленях, мы сидим на земле, в пыли, на самом солнцепеке. Тени, куда спрятаться, нет. Пить не дают, если не считать утреннего «кофе» — маленькой мисочки на пятерых.

Эсэсовцы уже трижды отбирали из нашего блока жертвы для крематория. Выстраивают нас, осматривают и самых исхудалых уводят. Первые два раза забрали по тридцать человек, а несколько дней тому назад — шестьдесят. Где этот крематорий — никто не знает. Говорят, что где-то у входа.

Один разносчик супа передал, что виленчанкам шлет привет писатель Балис Сруога. Так вот чье лицо мне тогда показалось знакомым! Ничего удивительного, что я его не сразу вспомнила. Ведь я видела только его фотографии в учебниках, а там он, конечно, был не в арестантской одежде и не такой исхудавший.

Мне кажется, что я видела на мужской стороне А. Р. с отцом. Но больше, сколько ни смотрю, не вижу. Далеко. Трудно различить. Да, может, и тогда это был не он? Просто считаю живым, поэтому и мерещится.

Пришли одетые в черное эсэсовцы, велели выстроиться и по одной проходить мимо них, показывая ноги. У кого на ногах очень много нарывов, тех сразу прогоняли, а у кого нарывов относительно немного, у тех проверяли еще и мышцы рук.

Я попала в число более крепких. Нас выстроили, сосчитали. Двух крайних погнали назад, чтобы осталось ровное число — триста.

Охранник открыл ворота и вывел нас в соседнее отделение. Мы вздохнули с облегчением: будем хотя бы подальше от страшного Макса.

Теперь мы и от остальных своих отгорожены проволокой. Они, бедные, стоят у ограды и с завистью смотрят на нас: мы поедем на работу, а они останутся здесь.

Кто-то пустил слух, что нас пошлют в деревню, к крестьянам. Офицеры об этом говорили между собой. Хуже, очевидно, не будет.

Слух, кажется, подтвердился.

Приходил охранник. Взял десять женщин, спросил, умеют ли они доить коров. Все, конечно, поспешили заверить, что умеют.

А если меня спросят?.. Скажу правду — не возьмут. Совру, что умею, — это скоро выяснится, и меня вернут в лагерь. Что делать? Спрашиваю у других, что скажут они. Но женщины только смеются над моими сомнениями.

Охранник вывел тридцать шесть женщин, в том числе и меня. Каждой выдали по рваному солдатскому одеялу. У ворот ожидали какие-то люди. Они начали нас выбирать.

Осматривают, щупают мышцы, спрашивают, не лентяйки ли. Две девушки плачут — они сестры, а их хотят разлучить: одну выбрал один хозяин, другую — другой. Они просят, чтобы их послали вместе, потому что из всей семьи они остались только двое.

На меня никто не обращает внимания, все проходят мимо. Наверно, не возьмут и придется вернуться в этот ад. Может, самой напроситься? Другие так делают. Говорю: «Ich bin stark» — «Я сильная». Но никто не слышит. «Ich bin stark», — повторяю уже громче. «Was, was?» — спрашивает какой-то старик. Начинаю быстро объяснять, что хочу работать, что я не ленива. «Ja, gut!» — отвечает он и проходит... Но, очевидно, передумав, возвращается. Отводит меня в сторону, где уже стоят три отобранные им женщины.

Подходит конвоир, записывает наши номера и ведет вслед за хозяином.

Идем той же дорогой, которой пришли сюда. Домики так же уютно отдыхают под лучами солнца. Садимся в вагончик узкоколейки. Конвоир не спускает с нас глаз. У самого моего лица грозно блестит его штык.

Наш хозяин — невысокий, кривоногий, лысый старик; глаза — еле прорезанные щелочки, а голос — хриплый и

злой. Нами он, очевидно, недоволен. Жалуется конвоиру, что от такой падали не будет никакой пользы. У него уже было четверо таких, как мы, те были из Венгрии, но скоро ослабели, и пришлось увезти их прямо в крематорий.

Ну и попались! А я, дура, еще сама напросилась.

Поезд остановился, и мы слезли. Оказывается, за вокзалом хозяин оставил свою двуколку. Конвоир связал нам руки и еще привязал нас друг к другу. Сам уселся рядом с хозяином, и мы двинулись.

Отдохнувшая лошадь трусила рысцой. Мы должны были бежать, иначе веревки врезались бы в тело. Мы задыхались, еле дышали, но боялись это показать: хозяин скажет, что мы слабые, и сразу пошлет назад, в крематорий. А эти семь километров такие длинные...

Наконец свернули на узкую дорожку, проехали мимо пруда и оказались на большом дворе. Величественно красуется дом, зеленеет сад; поодаль стоят хлев, сарай, конюшни. Видно, крепкое хозяйство.

Хозяин еще раз проверил наши номера и расписался, что принял нас от конвоира. Развязывая руки, прочел проповедь: мы обязаны хорошо и добросовестно работать, не саботировать и не пытаться бежать. За саботаж он пошлет нас прямо в крематорий, а при попытке бежать — застрелит на месте. Так напугав, повел в предназначенную для нас каморку. Она в самом конце хлева, полутемная, потому что свет проникает через малюсенькое, засиженное мухами оконце. За стеной хрюкают свиньи... Сенников и подушек нет, только в углу набросано сено. Это будет наше ложе. Просить сенники бессмысленно — все равно не даст. Я осмелилась сказать, что мы очень голодны: сегодня еще ничего не ели. Хозяин скривился и велел мне следовать за ним. В сенях приказал снять башмаки: в кухню можно входить только босиком. В комнаты входить нам вообще запрещается. Это я должна передать и своим подругам.

Спросив у прислуги, осталось ли что-нибудь от обеда, хозяин стал ворчать, что она слишком много готовит. Затем велел спросить у своих сестер, можно ли отдать нам оставшуюся картошку. Пришла хозяйка, такая же подслеповатая и угрюмая, как и сам хозяин. Поохала: очевидно, одно только мы и умеем — объедать их. Но

все же, сунув нос в кастрюлю, разрешила отдать нам остатки.

Каждой досталось по три картофелины.

Ранним утром наш новый господин отпер дверь и выпустил нас мыться. А сам семенил сзади, чтобы мы не убежали.

Солнце еще только всходит. Холодно. А он торопит — начало пятого. В половине пятого мы должны начать работать — наносить дров, воды, подмести двор, вычистить дорожки в саду; в половине шестого завтрак и в шесть уже выйдем в поле.

Объяснив, выдал нам всю нашу недельную норму: буханочку хлеба и четверть пачки маргарина. Хозяин предупредил, что этого должно хватить до следующей пятницы; больше хлеба мы не получим, такая наша норма. В кухне по утрам будем получать кофе, а к обеду — суп. На ужин, если смогут, дадут картошки. Но не каждый вечер. В кухню имеет право входить только одна, она будет получать на всех четверых.

Мы решили есть по одному ломтику хлеба в день, и только к завтраку. Но как удержаться, когда впервые за столько времени имеешь целую буханочку! Может, сегодня поесть более сытно, подкрепиться, а потом уже есть поменьше? Отломили еще по кусочку. Потом еще по два. Хорошо, что хозяин пришел звать в поле, иначе ничего бы не осталось.

Хозяин едет верхом на лошади, а мы тащимся сзади пешком. Оказывается, мы здесь не одни. Есть украинец Иван с женой и тремя детьми (их оккупанты вывезли перед отступлением), французский военнопленный и полька Зося (эта наивная девушка поверила в обещанный гитлеровцами рай в Германии и добровольно завербовалась на работу; теперь она убивается, плачет, но назад ее, конечно, не пускают).

Поля по обеим сторонам дороги принадлежат нашему хозяину. Он, наверно, эсэсовец или просто какой-то «деятель», потому что часто по вечерам берет винтовку и выезжает на велосипеде на какие-то сходки или ночные дежурства. Он очень злой и скупой старый холостяк, а его сестры — старые девы — просто ведьмы. Бесятся, когда приходится дать тарелку супу детям Ивана, кото-

рые не работают. Впрочем, старшему, семилетнему мальчику, часто дают работу. И совсем не по детским силам.

Все это мы узнали от Ивана, пока шли на поле.

Как только пришли, хозяин сразу велел начать работать. Француз косит рожь, а мы идем следом и вяжем снопы.

Сначала казалось, что это нетрудно, только руки колет, но скоро исколотые руки заболели. Начала ныть поясница.

Когда можно будет отдохнуть? Оказывается, только в полдень, во время обеда. Долго ли еще ждать? Иван учит определять время по тени. Сейчас только около десяти. Как долго еще до вечера! Может, заговорить с французом? Он, наверно, очень обрадуется. Но что ему сказать, если все выученные в школе французские слова испарились из памяти? Разве что спросить, который час. Это помню.

Я собиралась-собиралась, пока не пришло время обеда. Суп привезли сюда, чтобы мы не тратили времени на ходьбу. Француз, не подозревая о моих намерениях, ушел со своей мисочкой в тень.

Мы еще не успели поесть, а хозяин уже снова гонит работать. Дал бы хоть передохнуть!

Как все-таки заговорить с французом? Я несколько раз начинала напевать «Frère Jaque» — ничего другого вспомнить не могла, но он не обращал внимания. Не слышал или делал вид, что не слышит.

Скоро боль заслонила все мысли. Исколотые руки опухли, покраснели — страшно смотреть. А поясница — будто ее кто-то штыком пронизывает. Очень хочется пить. От голода сосет под ложечкой, хотя я сегодня ела и хлеб и почти настоящий картофельный суп. Иван научил лущить колосья и есть зерна, но заниматься этим некогда — и так еле успеваем за косилкой. Иван жалуется: понимал бы француз по-русски, мы попросили бы не торопиться. А когда лишь на пальцах объясняемся, он и не знает, чего мы хотим. Я предложила себя в «переводчицы».

Француз очень обрадовался, услышав родную речь, и стал скороговоркой что-то мне рассказывать. Я еле собрала несколько слов, попросила говорить медленнее, потому что французский знаю очень слабо. Передала общую просьбу работать не в таком темпе.

Стало легче: француз работал посвистывая, а если видел, что мы отстаем, поджидал. Наша Рая боялась, что хозяин это заметит и обвинит в саботаже. Но француз и сам не глуп: завидев приближающегося хозяина, сразу прибавлял скорость.

Солнце уже спускалось к горизонту, а хозяин и не думал отпускать нас домой. Ничего удивительного, что наши предшественницы не выдержали. Мы тоже, наверно, не выдержим.

В конце концов хозяин объявил, что уже половина девятого и мы можем кончать работу. Медленно потащились в свой хлев...

Воскресенье для всех, кроме нас, день отдыха. Мы должны были не только наносить дров и воды, подмести двор и вычистить дорожки в саду, но еще дать корм скотине и тщательно вычистить праздничную коляску, в которой хозяева торжественно поехали в кирху.

После обеда француз ушел к своему приятелю, работающему невдалеке отсюда, жена Ивана стирала свое белье, а Зося прилегла: она опять всю ночь не спала, плакала. Нас хозяин запер и, забросив за плечо винтовку, куда-то укатил.

Тихий воскресный полдень. Даже листочки деревьев лениво дремлют на солнце. И птицы не летают. Все отдыхают.

Одолжив у жены Ивана ножницы и иголку с нитками, мы «прихорашиваемся» — укорачиваем и суживаем свою одежду. Таня умеет шить, поэтому помогает нам. Из отрезанных полосок все сшили себе бюстгальтеры. Мне не нужно: я слишком худа...

Если б не рижанка Рая, мы бы хоть в эту минуту могли забыться, не терзать сердце. Но она ни на минуту не умолкает. Уже в третий раз за эти несколько дней она все с новыми подробностями рассказывает о том, как потеряла своего ребенка.

В Рижском гетто она еще была с мужем и ребенком. Узнав, что детей заберут, они решили покончить с собой. Муж сделал укол ребенку, затем ей и себе...

К сожалению, они проснулись. Ребенка не было. Они даже не слышали, когда его забрали. Теперь ее мучает страх, что ребенок, может быть, проснулся раньше их и плакал в испуге, будил их, а они не слышали... Может,

палачи его били, выкручивали ручки. Ведь он, наверно, вырывался от них...

Муж почти лишился рассудка. Он никак не мог понять, почему яд не подействовал...

Как ее утешить? Мы говорим ей, что дозы, не достаточной для взрослого, наверно, хватило, чтобы убить ребенка. Утешаем мать, убеждая, что ее ребенок умер!..

Вечером хозяин погнал нас доить коров. Вот чего я все время боялась! Хоть бы корова была спокойной.

Притащились и обе хозяйки: стеречь, чтобы мы не выпили молока.

Тяну, тяну, а молока — ни капли. Корова злится, наверно сейчас лягнет. Потягиваю сильней. Брызнуло несколько капель, но потекли по моей руке до локтя. Вдруг я почувствовала пинок. Это хозяйка «угостила» меня ботинком в спину, да так, что я боднула корову в живот.

Смотрю на других — у них получается, особенно у Тани. Настоящие золотые руки у этой девушки, можно подумать, что она всю свою жизнь ничего другого не делала, только доила коров. Я присматриваюсь, как она держит пальцы, и тяну. Молоко двумя веселыми струйками стучится в дно ведра.

Мы выдоили всех коров — двадцать семь. К концу руки так начали дрожать, что совсем перестали повиноваться.

Ночью я не спала — клала руки и так и сяк — все равно болели.

Возим рожь. Мне, как всегда, «везет»: когда нагрузили первый воз, хозяин велел мне сесть верхом на лошадь (в воз их впряжено четыре) и везти домой. А как сесть, если я достаю лошади только до половины живота и никогда в жизни не ездила верхом? Француз это, наверно, понял, потому что поднял меня, как ребенка, усадил и стал что-то быстро объяснять. Если бы он так не торопился, я бы наверняка поняла вдвое больше. Наконец я сообразила, что он говорит о доме, заборе и лошади. Он учит слезать с лошади: советует доехать до забора, стать на забор и только потом спрыгнуть на землю. Что ж, мерси.

Убираем лен. Я и не представляла себе, что он такой вкусный! Таня велит жевать его побольше: он содержит жир, которого наш организм уже так давно не получал. Если будем довольствоваться тем, что нам дают, долго не выдержим, особенно при такой тяжелой работе.

Хозяин постоянно торопит, гонит, не дает ни минуты передохнуть. Хорошо, что Зося научила, как его провести. Оказывается, хозяин боится женской наготы, и, когда он приходит будить, Зося делает вид, что сбрасывает с себя одеяло. Старик вылетает пулей, а она еще может полежать.

Теперь и мы, когда хозяйское понукание становится невмоготу, пользуемся этим. Делаем вид, что очень жарко, снимаем платья и работаем в одних рубахах. Хозяин, ругаясь, бежит прочь и издали, стоя к нам спиной, кричит, чтобы мы оделись. А мы притворяемся, будто не слышим, или невинным голосом отвечаем, что очень жарко и раздетые будем быстрее работать. Старик сидит злой в канаве у дороги и плюется.

Бои с фашистской армией идут уже совсем недалеко. Об этом рассказали соседи хозяев. Между прочим, они очень человечны. Может, потому, что бедны. Своей земли не имеют, зарабатывают на жизнь у богатых соседей. Но этот «заработок» очень странный: за помощь во время уборки урожая наш хозяин разрешает им собирать на пустом поле упавшие при уборке или перевозке колосья. По целым дням бродят они, согнувшись, по жнивью, собирая в мешочки по колоску.

Когда вблизи нет хозяина, они с нами разговаривают, рассказывают новости о фронте. Однажды даже поделились своей семейной бедой: один сын коммунист и томится в концентрационном лагере (может, его уже и нет в живых), а второй сын — эсэсовец, надсмотрщик в том же лагере. От брата, конечно, публично отрекся. И у родителей не бывает, стыдится, что они такие бедные и что отец подрабатывает, делая деревянные башмаки.

Новости о приближении фронта расшевелили дремавшие надежды. Только бы скорее пришла Красная Армия!

Уже холодно. Особенно по утрам. Ничего удивительного — октябрь. Осень. Дрожим, лязгаем зубами, но хозяин этого даже не замечает. Мы попросили каких-ни-

будь старых сермяг, но он буркнул, что положенную нам одежду мы получили в лагере и этого нам должно быть достаточно.

Кутаемся в одеяла. Но все равно холодно: одеяла под дождем намокают, а ноги стынут от мокрой свекольной ботвы. Ночью накрываемся теми же промокшими одеялами. Мы просили хозяина дать больше сена, чтобы можно было в него зарыться, но вредный старик не дал. А сквозь щели дует холодный ветер... Лежим съежившись, дрожим, засыпаем с трудом.

Как хорошо хозяйским собакам! Спят в тепле и едят досыта. Вот тебе и «собачья жизнь»!

Что будет дальше? Работы подходят к концу. Картошка выкопана, свекла вывезена. Теперь мы щиплем перья, потом будем стирать белье и квасить капусту. А дальше? Ведь больше мы не нужны. А ненужных они посылают в крематорий...

Неужели мы его все равно не избежим?..

Стираем белье. Уже второй день стоим у большой бадьи и руками трем бесконечно много простыней, наволочек, полотенец. Уже кожу с пальцев стерли. Досок для стирки хозяйки не дают — разве им жаль наших рук!

Выпал первый снег. Ноги посинели от холода. Жена Ивана одолжила нам пару чулок (у самой только две пары). Будем носить поочередно, меняясь каждый день. Начали по старшинству. Я получу только послезавтра.

Нас возвращают в лагерь...

Зося слышала, как хозяин рассказывал, что есть приказ всех вернуть до пятнадцатого ноября.

Осталось два дня. Значит, снова в это пекло — и снова тает надежда.

Последнее утро.

Как быстро промчались эти три месяца! Очевидно, потому, что мы жили почти спокойно и смерть казалась не такой неизбежной. А теперь мы к ней снова приближаемся.

Иван рассказывает, что работавшие по соседству две девушки повесились, чтобы не вернуться в лагерь...

На дорогу нам дают по два ломтя хлеба. Хозяин берет винтовку и уводит нас. Жена Ивана плачет, а француз долго машет шапкой...

Идем мимо пруда. Вода в нем будто потускнела. Деревья на прощание сбрасывают нам под ноги свои последние листочки. Они грустно шуршат.

Все остается здесь. Деревья, дорога, пруд. Они здесь будут и в следующем году, и через десять лет. Природа долговечней человека. Особенно — нас...

На станции много наших. Хозяева передают всех конвоирам. Наш хозяин тоже получает расписку, что от него принято четверо заключенных. Говорит конвоиру «Хайль Гитлер» и уходит, даже не взглянув в нашу сторону.

Привезли и обеих повесившихся.

Уже темнело, когда мы прибыли в лагерь. Снова раскрылись и закрылись ворота. Мы опять в клетке.

Считают мучительно долго: не сходится. Проверяют каждый ряд, бьют, если вдруг покажется, что неровно стоим, снова считают и еще ожесточеннее ругаются. Они, наверно, забыли о покойницах. Но кто им об этом напомнит?

Совсем стемнело. Надзиратели уже бесятся. Наконец кто-то осмелился крикнуть: «Zwei sind tot!» — «Две мертвы!»

Офицер возмущен такой наглостью, требует выдать кричавшую. Ворвавшись в строй, избивает человек десять. Но напоминание все-таки помогло: вскоре нас впускают в барак.

При свете слабой лампочки мы увидели жуткую картину: в одной половине барака, прямо на полу, в четыре ряда, тесно прижавшись друг к другу, спят нераздетые женщины. Голова одной у ног другой. Ужасно душно, вонища. Кто-то крикнул: «Поворачиваемся!» И все, подталкивая друг друга, повернулись. Теперь они лежат лицом к нам. Некоторые проснулись, смотрят на нас. А мы стоим, растерянные и испуганные.

Влетела надсмотрщица и стала нас колотить. Это означало, что мы должны лечь и так плотно сжаться, чтобы поместились все.

Сон не идет. И по ту сторону прохода, кажется, тоже не спят. Мы с ними тихо заговариваем. Давно ли здесь? Одиннадцать месяцев. А на работу посылают? Несколько групп послали рыть окопы, но люди там работали по пояс

в воде, отморозили ноги, и с работы их вернули прямо в крематорий. На их место взяли новых...

Неужели это правда? А может, они преувеличивают? Ведь и у хозяина до нас работали другие девушки, которые не выдержали. А мы оказались выносливее.

На нас напали вши. Мы стали упрекать тех женщин, что они так опустились и развели насекомых. Оказывается, они не виноваты: здесь нет воды.

Вырваться! Обязательно вырваться отсюда! Хоть окопы рыть, хоть камни дробить, только не оставаться здесь!

Днем пришел одетый в черную форму эсэсовец. Начал отбирать более крепких. Поняв, что он отбирает для работы, все ринулись к нему с криком, что они здоровые и хотят работать. Сначала эсэсовец растерялся, но сразу опомнился, начал колотить направо и налево, отгоняя всех от себя. Но не мог справиться: жажда вырваться заглушила страх. Только вытащив револьвер, он разогнал нас.

Отобрав пятьсот женщин, он их увел. Я осталась тут.

В следующий раз я тоже попала в число отобранных и почувствовала себя почти счастливой — все-таки вырвусь!

Нас повели в баню, велели раздеться и впустили в большой предбанник. Войдя туда, мы обомлели: прямо на каменном полу сидели и даже лежали страшно изможденные и высохшие женщины, почти скелеты с безумными от страха глазами. Увидев за нашими спинами надзирательниц, женщины стали испуганно лепетать, что они здоровые, могут работать и просят их пожалеть. Тянули к нам руки, чтобы мы помогли им встать, тогда надзирательницы сами убедятся, что они еще могут работать...

Я шагнула, чтобы помочь сидящей вблизи женщине, но надзирательница отшвырнула меня назад.

Властно чеканя слова, она велит не поднимать паники — всех помоют и вернут в лагерь. Когда поправятся — смогут вернуться на работу. Мыться должны все без исключения: грязных в лагерь не пустят.

Нам она приказывает этих женщин раздеть и вести в соседнее помещение, под душ.

От страшного запаха меня мутит. Хочу снять с одной женщины платье, но она не может встать: ноги не держат. Пытаюсь поднять, но она так вскрикивает от боли, что я замираю. Что делать? Поглядываю на других. Оказывается, они мучаются не меньше меня. Надзирательницы дают нам ножницы: если нельзя снять одежду, надо разрезать.

Ножницы переходят из рук в руки. Получаю и я. Разрезаю платье. Под ним такая худоба, что даже страшно дотронуться. Кости прикрывает только высохшая морщинистая кожа.

Снять башмаки женщина вообще не позволяет — будет больно. Я обещаю верх разрезать, но она не дает дотронуться. Уже две недели не снимает башмаков, потому что отмороженные, гноящиеся ступни приклеились к материалу.

Что делать? Другие уже раздели нескольких, а я все еще не могу справиться с одной. Надзирательница это, видно, заметила. Подбежала, стукнула меня по голове и схватила несчастную за ноги. Та душераздирающе закричала. Смотрю: в руке надзирательницы башмаки с прилипшими к материалу кусками гниющего мяса. Меня затошнило. Надзирательница раскричалась, но я плохо понимала ее. Кажется, она кричала, что у меня слабые нервы, что я ничуть не лучше этих больных женщин...

Я бросилась раздевать следующую.

Тех, кто ходит, вводим, а лежащих вносим и кладем под душ. Немного обмыв их, выносим назад, в холодный предбанник, и снова кладем на каменный пол. Полотенец нет. Несчастные стучат зубами. Мы тоже дрожим: бегаем мокрые из предбанника под душ и обратно.

Когда надзирательница отвернулась, я спросила у одной женщины, откуда она. Из Чехословакии. Врач. Привезли в «Штуттгоф», а затем, как и нас, увезли на работу. Они рыли окопы. Работали, стоя по пояс в воде. Спали на земле. Когда обмороженные руки и ноги начали гноиться, вернули в лагерь. Рыть окопы повезли других. Их ждет та же участь.

Так вот куда на днях увезли партию женщин! А мы им завидовали...

Когда мы всех «выкупали», нас выгнали оттуда, дали продезинфицированные платья и повели назад, в барак.

Уходя, мы слышали крики несчастных. Их, наверно, уже тащили. И конечно, не в лагерь...

Зачем же надо было издеваться, мыть?

Всю ночь я не сомкнула глаз. Передо мной все время стояло это страшное видение.

Время тянется очень медленно.

Жутко холодно. Какая мука по утрам и вечерам стоять на проверках! Бушует вьюга, дует холодный, насквозь пронизывающий ветер. А надо стоять в одних платьях и ждать, пока эсэсовцы соизволят прийти пересчитать нас. Каждое утро и вечер падает несколько женщин.

На днях одна не выдержала и бросилась на проволочную ограду. Это единственный способ покончить жизнь самоубийством. Но женщину только сильно тряхнуло. Девушки предполагают, что постовой заметил и успел выключить ток. Узнав об этом, надзирательница сильно избила несчастную. Орала, что никто не имеет права так поступать: «Жизнь принадлежит господу богу!» А ведь осенью, когда мы работали в деревне, эта же надзирательница придумала такое воскресное «развлечение»: приходила после обеда вместе с другими надзирательницами, выбирала какую-нибудь слабую женщину и толкала ее на ограду. Между собой они бились об заклад — с которого раза заключенная повиснет на проволоке мертвой (иногда от тока только начинало трясти и отбрасывало).

Ужасно грязно. Воды не дают. Умывальни закрыты. Не перестает мучить страшная жажда. Так называемый суп, в котором лишь изредка попадается кусок гнилого листка капусты или шелухи сладковатой, мерзлой картошки, странно острый, будто в него всыпали перец. Он сушит, жжет рот; мы сосем грязный, вытоптанный снег. А ведь тут же, у барака, вырыта яма, заменяющая туалет. Досок, чтобы ее накрыть, не дают. Край скользкий. Одна женщина недавно упала в яму. Мы ее еле вытащили.

О наступлении Красной Армии ничего не слышно.

Пришло несколько офицеров. Стали нас осматривать. Мы обрадовались: наверно, возьмут на работу!

Началась страшная сумятица — каждая старается,

чтобы ее выбрали. А эсэсовцы недовольно морщатся — все одинаково «дохлые». И хотя не очень придирчиво отбирали, все же взяли немногих.

Я оказалась среди отобранных. Может, на этот раз уже не поведут раздевать других и на самом деле повезут на работу?

Нас присоединили к большой группе, пригнанной из других бараков, сосчитали (всего тысяча) и повели в ту же баню, где мы недавно раздевали несчастных женщин. Может, скоро и нас привезут сюда в таком же состоянии?..

Померзнув под холодным душем, мы получили чистые рубахи, полосатые платья и такие же полосатые куртки. Записали наши номера и повели в какой-то недостроенный барак. Дверей нет, окна еще тоже не вставлены, ветер дует, заносит снег.

Когда стемнело, принесли рваные солдатские одеяла и платки. Объявили, что ночевать будем здесь же, в бараке. На работу повезут только завтра.

Пола нет, земля промерзшая, валяются куски досок, гвозди, но все равно надо лечь: стоять запрещается.

Ночь очень длинная. Холод сковал все суставы, заснуть нет никакой надежды. Хоть бы скорее утро! Пытаюсь представить себе, как будет выглядеть новый лагерь, что мы там будем делать. Если будем рыть окопы, надо будет стараться как-нибудь сохранить ноги. Может, найду там старую бумагу и оберну их? И обязательно каждый день буду снимать башмаки. Может, там суп будет лучше? Возможно, и воды дадут, наконец помоемся. Хуже, чем здесь, наверно не будет.

Как я могла здесь выдержать почти месяц? (Когда регистрировали, я видела, что на листе написано: «11 декабря».)

Послышалась обычная команда: «Aufstehen!» — «Встать!»

Тот же надзиратель проверил нас по списку и, убедившись, что все на месте, повел. Но странно, не к воротам, а назад, к камере одежды. Велел отдать одеяла, куртки и платки. Кто медлил или осмеливался задать вопрос, получал по голове.

Нас привели обратно в тот же вонючий барак, из которого мы вчера вышли с такими надеждами...

Оказывается, нас не вывезли на работу потому, что в лагере началась эпидемия тифа. Карантин. Лагерь закрыт.

Эпидемия! Она схватит всех, невзирая ни на возраст, ни на вид. Тиф не разбирает... К тому же нас, конечно, не будут лечить. Может, даже нарочно заразили, чтобы мы вымерли. Не заболевают ли от этого страшного супа? Может, он такой острый не от перца?

Как уберечься? Как найти в себе силы не есть этот суп, нашу единственную пищу? Как научиться совсем-совсем ничего не есть, даже не сосать этот грязный снег?

Но поможет ли это?

Кажется, я заболеваю. Голова тяжелая и гудит. Во время проверок меня поддерживают под руки, чтобы я не упала. Неужели это тиф?!.

Я болела...

Женщины рассказывают, что в бреду я напевала какие-то песенки и страшно ругала гитлеровцев. Они даже не подозревали, что я знаю столько ругательных слов. Хорошо, что голос слабенький, да и гитлеровцы сюда больше не заходят — боятся заразиться. За такие слова пристрелили бы на месте.

А мне неловко, что я ругалась. Объясняю, что у нас в семье никто никогда.. Папа адвокат. Женщины улыбаются моим объяснениям...

Говорят, что я выкарабкалась. Переболела. А мне кажется, что они ошибаются. Это, наверно, было что-нибудь другое, еще не тиф. Ведь тиф — страшная болезнь! Я бы так просто, без лекарств, не выздоровела, ведь умирают более крепкие, чем я. Но женщины объясняют, что тиф как раз сокрушает крепкие, никогда не болевшие и поэтому не привыкшие бороться с болезнью организмы.

Знала бы мама, как спасли ее мучения со скарлатинами, желтухами и плевритами моего детства!..

Во двор умыться снегом ползу на четвереньках. Встать не могу — перед глазами расплываются зеленые круги.

Здесь настоящий лагерь смерти. Гитлеровцы уже не следят за порядком. Проверок нет: они боятся войти. Есть не дают. Даже так называемый суп получаем раз

в два-три дня. Иногда вместо него приносят по две мерзлые картофелинки. Хлеба мы уже давно не видели. А есть ужасно хочется: я начинаю выздоравливать.

Донимают вши. Уже не стесняясь, давим. Но, к сожалению, их не становится меньше.

Умерла красавица Рут. Начали гноиться ноги, потом руки. И вот она умерла... В последнее время уже не вставала. А ведь еще в «Штрасденгофе» она была такая красивая! Всегда бодрая, не поддающаяся плохому настроению. Как она верила, что мы дождемся свободы и что она встретится с мужем! Теперь ее, страшно распухшую, сунут в печь крематория. Все. Молодость, красота, жизнелюбие превратятся в пепел...

Кто-то уверяет, что уже Новый год. Слышал, как один постовой поздравлял с Новым годом надзирателя.

Значит, уже 1945-й... В этом году война наверняка кончится. Ведь гитлеровцев уже добивают. Но... Не зря говорят, что смертельно раненный зверь страшен вдвойне. Неужели мы будем его предсмертными жертвами? Не может быть! Зачем думать, что, отступая, обязательно уничтожат нас? А может, не успеют? И тогда мы будем свободны! Может, и мама с детьми в каком-нибудь лагере? Их тоже освободят. И папа вернется. А Мира уже будет ждать нас в Вильнюсе. Мы все встретимся в старой квартире. Я по утрам снова буду спешить в школу, Мира — в университет. Раечка с Рувиком тоже потопают в школу — ведь уже подросли...

Но когда это будет? И будет ли вообще?

Рая, с которой мы вместе работали у помещика, рассказывает, что слышала от разносчиков супа, будто ночью в крематории был пожар. Сгорела газовая камера. Предполагают, что кто-то поджег.

Нас это все равно не спасет.

Жуть! Я спала, уткнувшись в труп. Ночью я этого, конечно, не чувствовала. Было очень холодно, и я уткнулась в спину соседки. Руки подсунула ей под мышки. Кажется, она зашевелилась, прижимая их. А утром оказалось, что она мертва...

Пришла надзирательница. Велела всем, кто уже переболел, выстроиться. Думая, что будут отправлять на работу, пытались встать и больные. Но она сразу заметила обман.

Нас очень немного. Надзирательница отобрала восьмерых (в том числе и меня) и заявила, что мы будем «похоронной командой». До сих пор был большой беспорядок, умершие по нескольку дней лежали в бараках. Теперь мы обязаны умерших сразу раздеть, вырвать золотые зубы, вчетвером вынести и положить у дверей барака. По утрам и вечерам мимо будет проезжать лагерная похоронная команда и увозить трупы.

Не знаю, как я понесу других, если сама еле двигаюсь. В глазах рябит, ноги подкашиваются. Передвигаюсь, только держась за стену.

Подходим к одной женщине, которая умерла сегодня утром. Беру ее холодную ногу, но поднять не могу, хотя тело умершей совершенно высохшее; остальные три уже поднимают, а я не в состоянии. Надзирательница дает мне пощечину и сует в руки ножницы и плоскогубцы: я должна буду раздевать и вырывать золотые зубы. Но если осмелюсь хоть один присвоить — отправлюсь вместе со своими пациентками к праотцам.

Покойную кладут к моим ногам. Смотрю — она, кажется, жива! Глаза открыты и как будто шевелятся! Но надзирательница торопит раздевать. Несмело дотрагиваюсь пальцем — холодная. Так почему такие глаза? Наконец догадываюсь, что в них отражается висящая под потолком лампочка, которую раскачивает ветер. Дрожащей рукой разрезаю платье. Приподнимаю, хочу раздеть, но тело не держится и валится назад, глухо ударяясь головой об пол. Я должна поддержать, прижать к себе. А тело такое холодное. Словно насмехаясь надо мной, покойница сверкает золотыми зубами. Что делать? Не могу же я их вырвать! Оглянувшись, не видит ли надзирательница, быстро зажимаю плоскогубцами рот. Не станет же она проверять.

Но надзирательница все-таки заметила. Она так ударяет меня, что я падаю на труп. Вскакиваю. А она только этого и ждала — начинает колотить какой-то очень тяжелой палкой. И все метит в голову. Кажется, что голова треснет пополам, а надзирательница не перестает. На полу кровь...

Она избивала долго, пока сама не задохнулась:

Весь проход завален мертвецами. Их надо раздеть. Но я не могу, совсем не могу! Лучше буду носить, ползать из последних сил, но только не раздевать! Пусть кто-нибудь сжалится надо мной. Я не могу... Мне плохо... Очень плохо...

Раздевать стала другая.

Уходя, надзирательница открыла нам умывальню. Сказала, что можем помыться и здесь же спать. Но, к сожалению, воды нет. Только называется умывальней.

Пол каменный, холодно, но, по крайней мере, не так воняет. Женщины легли. Я бы тоже легла, но очень болит разбитая голова, не могу ее положить. Подперла лоб пальцами и сижу...

Очевидно, я все-таки задремала, потому что проснулась, дрожа от холода. Оказывается, мы насквозь мокрые: прямо на нас из так называемого душа льется ледяная вода.

Мы вбежали в барак. Узнав, что идет вода, все проснулись и бросились в умывальню. Но вода, словно заколдованная, перестала литься. Несколько женщин напились из лужиц, образовавшихся на полу, а другим и того не досталось.

В нашем бараке ежедневно умирают по сорок — шестьдесят женщин. У дверей постоянно лежат горы окаменевших, посиневших трупов. Приезжает телега, в которую впряжены заключенные. Двое мужчин берут за руки и за ноги высохшее, замерзшее тело, раскачивают его и забрасывают на груду таких же голых трупов.

Крематорий работает круглые сутки, около него навалены большие горы трупов: в лагере ежедневно умирает около тысячи человек.

Похоронщики привезли хорошую новость: фронт приближается!

Мужчин эвакуируют. Мы видели, как увели три группы. И эсэсовцев становится меньше. Очевидно, лагерь ликвидируют. Работоспособных выводят, а нас, наверно, сожгут вместе с бараками.

Женщин тоже будут эвакуировать.

Рано утром пришел надзиратель и заявил, что те, кто в состоянии идти пешком, должны быть готовы к уходу отсюда.

Я идти пешком не смогу...

Вот и конец. Когда свобода уже совсем близко, я окончательно выдохлась. Если бы у меня было хоть немножечко сил! Хоть капелька надежды, что поплетусь!

Под вечер тот же гитлеровец снова пришел и велел строиться. Все, кто только мог, покинули барак. Я оглянулась. В бараке остаются только трупы и те, кто не в силах даже сесть... Нет, я не останусь! Ни за что не останусь! Я пойду! Пусть будет что будет, но только не здесь! Только не лежать и не ждать, пока подожгут.

Пошатываясь, выхожу. В бараке остается одна относительно здоровая женщина: она не хочет оставить умирающую подругу в ее последний час.

Нас выводят. Какой большой толпой мы сюда пришли и какой жалкой кучкой уходим... И все равно еще не на свободу.

Ночуем в том же бараке без окон, где однажды уже пришлось дрожать от холода.

Утром мы получили хлеб — треть буханочки. Предупредили, что этого должно хватить на три дня. Значит, столько будем в пути. Но неужели все время пешком? Только бы выдержать!

Вначале, когда я немного разошлась, я поверила было, что смогу идти, но вскоре ноги стали подгибаться. Казалось, что больше не смогу сделать ни одного шага. Но все-таки заставляла ноги делать этот шаг, потом еще один и снова несколько... Уговаривала себя, что, может, скоро уже разрешат отдохнуть. Обязательно надо выдержать до отдыха! Потом будет легче.

Я уже почти совсем падала, когда конвоиры наконец засвистели и велели сесть по обеим сторонам дороги, у рва. Я свалилась, закрыла глаза, но перед ними все равно мерцал грязный дорожный снег. Еле переводила дух. Не помогли ни снег, ни сосульки, которые я все время сосала.

Встать было еще труднее. Но женщины мне помогли.

Я не представляла себе, что выдержу до вечера.

Когда стало смеркаться, нас пригнали в какую-то

усадьбу. Одних закрыли в сарай, других загнали в хлев. Какое это счастье — лежать всю ночь, до самого утра! Я отломила кусок хлеба и, жуя, всплакнула: как хорошо, что я не осталась в лагере. Теперь меня уже, наверно, не было бы. А здесь я все-таки живая.

Осталось еще два дня...

Зря мы надеялись, что будем в дороге три дня. Дни прошли, а конца пути не видно. Идем и идем. Наверно, будут гнать до тех пор, пока не свалятся последние. Ежедневно в пути падает несколько женщин. Падают, и даже с помощью других не в состоянии подняться. Конвоир пускает очередь в голову, пинает ногой, и очередной труп скатывается в ров. Проходя мимо ближайшего села, конвоиры сообщают, что за несколько километров отсюда лежит труп, который надо закопать. Скоро потеплеет, может начаться эпидемия.

Сегодня мимо нас провели колонну советских военнопленных. Выглядят они ужасно — изголодавшиеся, желтые, высохшие. С каким сочувствием смотрели они на нас.

Я старалась не пропустить ни одного лица: может, среди них мой папа?

Меня уже ведут. Сама идти не в состоянии. Из последних сил стараюсь слишком не наваливаться на ведущих меня женщин, стараюсь сама переставлять ноги. Но это невероятно трудно. Кроме всего прочего, затрудняет ходьбу прилипающий к деревянным подошвам снег.

Мы страшно голодаем: есть совсем не дают. Иногда какой-нибудь из хозяев, в сарай которого нас закрывают на ночь, дает для нас котел картошки. Получаем по одной или по две малюсенькие картофелинки и здесь же, в сарае, их проглатываем. А это так мало...

Мы научились распознавать заснеженные бункера, в которых зарыта на зиму картошка или свекла. Ни удары, ни даже выстрелы конвоиров не могут остановить голодных женщин — они набрасываются, окоченевшими руками разгребают снег, разрывают землю и расхватывают свеклу. Когда мы уходим, на вытоптанном снегу остается несколько убитых. В стынущих руках крепко зажата столь желанная свеколка.

Иногда и нам, кто не может бежать вместе со всеми, приносят свеколку или картофелинку. Но, к сожалению, бункера попадаются далеко не каждый день. Чтобы не так мучил голод, сосу снег и сосульки.

Я начала опухать. Та сторона, на которой ночью лежу (лежать на спине не удается: нет места), отекает, заплывает глаз, до полудня не могу его открыть. А на ноги даже смотреть страшно: они так распухли, что еле влезают в те большие мужские башмаки, в которые я когда-то напихивала столько бумаги. Боюсь, что в какое-нибудь утро я их совсем не всуну в башмаки. Но не идти же босиком по снегу! А не снимать не рискую. Будет как с теми, которых мы тогда мыли...

Конвоиры чем дальше, тем становятся злее. Очевидно, им уже тоже надоело тащиться, хотя они не устают: каждые несколько часов меняются — садятся на телеги, которые следуют сзади со всеми их вещами, и отдыхают. Нам же разрешают присесть всего один раз в день, на получасовом привале.

Ночью иногда слышны очень далекие глухие взрывы. Очевидно, там фронт. Но днем нас снова гонят дальше, и взрывов почти не слышно. А остаться здесь немыслимо. В пустом сарае не спрячешься, а если просто будешь лежать, значит, ослабла, и тебе всадят пулю в голову.

По шоссе тащимся не мы одни. Здесь растянулись длиннющие вереницы телег. Навалив свои вещи, посадив семьи, привязав коров и овец, немцы спешат на запад, подальше от фронта. Как странно, что мы, которые так ждем фронта, должны двигаться в одном направлении с ними. Но в противоположную сторону не повернешь: конвоиров много, они вооружены, их собаки свирепы, а мы — опухшие, еле живые, безоружные.

Мы уже целую неделю в Стрелентине. Это бывшее поместье. Хозяин на войне, хозяйка с детьми удрала в Берлин, а все добро разграбили соседи.

Нас держат запертыми в хлевах, а унтершарфюрер с нашей охраной живет в замке, запущенном, пустом и оскудевшем, белеющем одиноко на холме.

Есть почти не дают, только пол-литра так называемого супа — мутной водицы без соли.

Из хлевов нас выпускают только два раза в день. А чтобы не окоченеть, мы должны заниматься «спортом». По утрам и вечерам надзирательницы заставляют делать упражнения, а сами катаются со смеху от этого «спорта скелетов», как они прозвали наши жалкие попытки повторить за ними движения. Придравшись к какой-нибудь женщине, они вытаскивают ее перед строем и приказывают делать упражнение соло, а нас заставляют хохотать. Кто недостаточно искренне смеется — получает по голове.

Я уже еле переставляю ноги. На «спорт» меня поднимают и ведут. Надзирательницы не должны знать, что я уже в таком состоянии.

К сожалению, я не одна такая.

Всю вторую половину дня землю сотрясали взрывы.

Когда стемнело, конвоиры неожиданно велели строиться. Пойдем дальше. Ночью?! Значит, на расстрел.., Так мы и не убежали от смерти.

Не пойду! Останусь. Чтобы гитлеровцы не заметили, притаюсь в уголке, пока не услышу, что кругом уже ходят наши. А если заметят... Что ж, все равно смерть, так пусть часом раньше.

Женщины уговаривают меня идти. Может, не на расстрел ведут, может, погонят дальше. Меня это уже не спасет — не дойду.

Все-таки меня вытащили. Не хотят оставить такую молодую на явную смерть. В темноте не видно будет, что они меня тащат, и, может, как-нибудь доплетусь.

Идти приказано очень тихо. Даже конвоирам запрещено разговаривать и курить. Собак они держат за ошейники и следят, чтобы те не лаяли. Почему такая таинственность?

Жуткая тишина. Взрывы, только что казавшиеся близкими, не слышны. К башмакам снова прилипло много снега. А ноги не слушаются, заплетаются. Я уже несколько раз падала, но женщины меня поднимают и тащат дальше. Неужели они не понимают, что это уже не поможет, что я уже совсем без сил и даже с их помощью не в состоянии двигаться? Я уже даже не дышу, а только хватаю воздух. Им и самим, видно, на этот раз намного труднее меня тащить: они очень часто меняются.

Просят меня держаться, не выскальзывать из их рук. Но я падаю. Ничего не могу поделать...

Все...

Лежу. Меня поднимают, но ноги уже больше не слушаются, я никак не могу побороть слабость. Женщины вынуждены отпустить мои руки: их гонят...

Они уходят... Все идут мимо меня...

Я закрываю глаза, чтобы не видеть, как конвоир выстрелит...

Кажется, я жива, только болит бок. Может, ранили? Выстрела не слышно было, и не очень болело. Но почему я лежу в кювете? Дорога пуста. Значит, все ушли... Да, еще слышны удаляющиеся шаги. Что тут произошло? Неужели промахнулся? Может быть. Раны нет. А может, не стрелял? Ведь не слышно было. Ну да! Как я сразу не догадалась, что конвоир только спихнул меня в канаву.

Как здесь красиво! Лес молчаливый, словно окаменевший. И снега много. Мягко... Хорошо и тихо...

Чей там голос? Неужели мне мерещится? Нет, шепчет... Женский голос. Спрашивает, жива ли я. Но мне трудно шевельнуть языком...

Голос снова спрашивает, жива ли я. Открываю один глаз: наверху, на шоссе, стоит женщина. Она велит вылезти. Лежать нельзя, потому что замерзну. Надо двигаться.

А если у меня больше нет сил двигаться, если даже разговаривать не могу?..

Оставила... По крайней мере будет спокойно.

Нет, вернулась назад. Принесла палку. Чего она хочет?

Чтобы я не уснула.

А я как раз хочу спать.

Она просит не валять дурака. Как раз теперь, когда свобода уже так близко, надо из последних сил стараться продержаться.

А у меня и этих последних больше нет.

Все равно надо держаться. Она до тех пор не отстанет от меня, пока я не вылезу из канавы. Хоть на четвереньках, хоть до самого утра карабкаться, но я должна выбраться. Она мне поможет. Принесет еще одну палку.

За лесом снова загремели взрывы. Может, наши на самом деле близко? Надо во что бы то ни стало встать!

Моя спасительница легла на живот и тащит меня за руки. Скольжу, падаю обратно и снова пробую вылезти. Вконец замучившись, я кое-как выкарабкалась. Но стоять, оказывается, очень трудно. Пока я лежала, казалось, что набралась сил, но на самом деле слабость не прошла. Ноги не держат. Моя новая подруга подала мне палку и все-таки вытащила меня. Велела вцепиться ей в руку и хоть помаленьку двигаться, чтобы не замерзнуть.

Так и тащимся, взявшись за руки, опираясь на палки.

Мы одни на длинном пустом шоссе. С обеих сторон нас обступает лес. Кажется, будто из-за каждого дерева кто-то смотрит на нас, следит.

Моей спутнице, очевидно, тоже страшно, поэтому она беспрестанно говорит. Она из Венгрии, учительница. Всю семью расстреляли — сначала родителей, потом мужа. Он был очень хороший. И родители были хорошие. Теперь она осталась одна. Совершенно одинокая. Даже не представляет себе, как сможет жить. А умирать не хочет. Поэтому она сейчас сделала вид, что ослабела: решила отстать и дождаться Красной Армии. Она слышала, как один конвоир передал другому приказ унтершарфюрера не стрелять, даже если кто упадет, — выстрел может их выдать.

Вдруг: «Hände hoch!» Поднимаем трясущиеся руки. Из лесу выбегает вооруженный гитлеровец с собакой. Он велит отдать оружие. Не поверив, что у нас его нет, обыскивает. Требует документы. Отвечаем, что у нас их нет, потому что мы из концентрационного лагеря, узников которого недавно провели по этой дороге. Нам стало плохо, и мы отстали, но теперь уже чувствуем себя совсем хорошо и догоняем.

Но гитлеровец ничего не хочет знать. Твердит, что мы русские шпионки, которых надо расстрелять. Уверяем, что мы действительно из лагеря, — разве шпионки стали бы ходить в такой одежде. А он свое: мы предательницы и ждем здесь русских.

Откуда-то появляется еще один гитлеровец. Оказывается, он знает о нашем лагере, который здесь действительно прошел и как будто остановился в деревне Хина.

Первый гитлеровец выводит из-за дерева спрятанный там велосипед, садится на него и велит нам следовать

сзади. Предупреждает, чтобы мы не пытались бежать, потому что он отпустит собаку, которая нам перегрызет глотки.

Он едет, а мы стараемся не отстать. Мне опять не хватает дыхания, падаю... Но, услышав злое рычание собаки, заставляю себя двигаться. Подруга меня поддерживает.

Наконец мы подходим к маленькому домику. Приказав собаке сторожить нас, гитлеровец входит в домик. Собака не спускает с нас глаз. Так и ждет, чтобы мы шевельнулись. И все, проклятая, смотрит на шею. Наверно, не одного человека загрызла насмерть...

Уже совсем рассвело. Неожиданно мы увидели подъезжающего на телеге конвоира нашего лагеря. Он избил нас и велел залезть на телегу. Я еле вскарабкалась.

Нас повезли через какую-то деревню. Пусто. Ни одной живой души. Ставни закрыты, двери заперты. Тишина. А может, люди еще спят?

За деревней открылись поля. Вдали возле большущего сарая много телег. Наверно, здесь и есть наш лагерь. Все начинается снова...

Страшно загремело. Один за другим послышались глухие взрывы. Сидевшая рядом с нами собака конвоира насторожилась. И видневшиеся у сарая гитлеровцы засуетились. Одни смотрят в небо, другие спорят между собой.

Подъезжаем. Что это? Конвоиры подкатывают к сараю бочки! Подожгут! Мы будем живыми гореть!..

Нас впускают в сарай. Там много женщин, не только из нашего лагеря. Тут же, прямо на земле, в смеси отрубей, сена и навоза, лежат умирающие и умершие. Им уже все равно...

Сказать или нет? Промолчу. Пусть не знают, будут спокойнее.

Нет, скажу. Хоть одной.

Шепчу эту страшную весть соседке слева. Но она меня, кажется, не поняла. Или не слышала — кругом гремят взрывы. Говорю другой. Та с криком бросается к щелке, смотрит. Но через щель ничего не видно — ни гитлеровцев, ни дыма. Ужас охватывает и многих других. Все начинают стучать, метаться. Но никто ничего не видит. Охранников нет.

Гудит... Приближается! Самолеты?

Меня трясут за плечи. Кто? Снова эта венгерка. Спрашивает, понимаю ли я по-польски. Говорит, что кто-то стучит в стену и говорит по-польски. Что он кричит?

Он кричит, что в деревне уже Красная Армия, а гитлеровцы удрали.

Может, провокация? Не надо отвечать.

Он кричит, стучит, а мы молчим.

Еще раз повторив, уходит.

Тихо... А может, гитлеровцы на самом деле испугались этих взрывов и удрали, оставив нас здесь одних?

Снова гудит. Что-то приближается!

Почему такой шум? Почему все плачут? Куда они бегут? Ведь растопчут меня! Помогите встать, не оставляйте меня одну!

Никто не обращает на меня внимания. Хватаясь за голову, протягивая вперед руки, женщины бегут, что-то крича. Спотыкаются об умерших, падают, но тут же встают и бегут из сарая. А я не могу встать.

Рядом девушка не встает. Она мертва. Сейчас и я умру, если меня не поднимут.

За сараем слышны мужские голоса. Красноармейцы?! Неужели они?! Я хочу туда! К ним! Как встать?

В сарай вбегают красноармейцы. Они спешат к нам, ищут живых, помогают встать. Перед теми, кому их помощь уже не нужна, снимают шапки.

— Помочь, сестрица?

Меня поднимают, ставят, но я не могу двинуться, ноги дрожат. Два красноармейца сплетают руки, делают «стульчик» и, усадив меня, несут.

Из деревни к сараю мчатся санитарные машины, бегут красноармейцы. Один предлагает помочь нести, другой протягивает мне хлеб, третий отдает свои перчатки. А мне от их доброты так хорошо, что сами собой льются слезы. Бойцы утешают, успокаивают, а один вытаскивает носовой платок и, словно маленькой, утирает слезы.

— Не плачь, сестрица, мы тебя больше в обиду не дадим!

А на шапке блестит красная звездочка. Как давно я ее не видела!..

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Со дня освобождения прошло более тридцати лет. Дневника я больше не вела. Но память по привычке фиксировала и вбирала в себя все наиболее значительное. Поэтому многие из прошедших за эти годы дней кажутся близкими, стоящими где-то рядом. Надо только позвать, и они возникнут...

Солнечное майское утро. Вместо знакомого вокзала с надписью «Вильнюс» — деревянное некрашеное строение. Но все равно это Вильнюс! И улицы те же. Только вид у них непривычный: то дом, то груда кирпичей с торчащими железными балками. А вот гетто. Бывшее гетто! Ни ограды, ни ворот. Но очень много руин.

Наш дом — наш геттовский дом — уцелел. На окнах занавески, цветы. Ребенок играет с кошкой. Женщина развешивает белье. Все так обычно, спокойно. Будто здесь никогда и не было никакой трагедии. Может быть, подняться по лестнице и там — о чудо! — мама, дети. Нет... Женщина отвечает, что такие здесь не проживают. Конечно. Если они и живы, то, наверно, ждут меня на нашей настоящей, довоенной квартире. Пойду туда.

Увы... Ничего. Даже дома нет... Мамы тоже нет. Неужели я ее больше никогда...

Пойти в школу? Пожалуй. Может, встречу учителя Йонайтиса?

Странно. На улицах все почти так же, как было тогда, перед самой войной. Солнце светит, прохожие спешат. Только я не та. Плетусь медленно.

Ой, кто там впереди? Папа? Да... Его белая голова, затылок... Его походка. А форма военная. Это он! Папа! Добежать бы, догнать, чтобы не ушел!

— Па-па! Папочка!

— Машенька?!

Я иду рядом с папой! Он такой же, как был, только голос дрожит. Наверно, от волнения. Он не надеялся, что я жива. Ему сказали, что мы погибли все — мама, малыши, я...

Значит, мамы и малышей действительно нет.. А Мира?

Мира здесь. Учится на юридическом факультете и работает. И Йонайтис жив. Мою тетрадку сохранил, отдал папе.

А я привезла остальные записи: небольшую часть удалось уберечь, другие восстановила по памяти, пока лежала в карантине. Хочу поскорее увидеть Йонайтиса и Миру.

Мира как раз вчера уехала в Каунас. На три дня. Еще три дня ждать. Долго. Но ничего, ведь не одна буду ждать, с папой. У меня опять есть папа!..

1 сентября. День школьников. Я тоже иду в школу. Смешно. Взрослая, уже с паспортом! Служащая и... школьница.

Класс полон людей. Учителя это или ученики? Многие гораздо старше меня. Смущенно улыбаясь, они протискиваются за парты.

Звонок. Входит учитель. Раскрывает журнал и вызывает по алфавиту. Совсем как в настоящей школе. Так ведь это и есть настоящая школа, только вечерняя, для взрослых.

Хоть бы не вызвал!.. Слава богу, берет мел. На доске выстраиваются давно забытые иксы, игреки, уравнения...

Москва. Тверской бульвар. В плотном строю стоят дома. Только один, выставив вместо себя решетку и деревья, сам отодвинулся вглубь, подальше от уличного шума. Но вывеской манит: «Литературный институт имени А. М. Горького при Союзе писателей СССР».

Каждый раз, когда я приезжала на экзамены, эта вывеска вызывала трепет. Особенно в первые дни. Потом становилась «своей», привычной. До следующего приезда.

Теперь я прохожу мимо нее в последний раз. По крайней мере как студентка. Даже жаль, что она своим блеском не вопрошает строго: «Подготовилась? Написала что-нибудь новое?» И Горький с портрета над лестницей смотрит, кажется, не так требовательно, как всегда. Даже наоборот, одобряет: «За дипломом? Ну, иди, иди!»

Зал. Летом, во время экзаменов, здесь была выставка наших опубликованных работ. Среди других стояли за

стеклом и мои: журнал с первым рассказом и литовское издание романа Виссариона Саянова «Небо и земля» в моем переводе.

Теперь в зале академическая строгость. Тишина. На сцене президиум — маститые писатели. Хоть бы не споткнуться, когда вызовут.

Всеволод Иванов подает твердую книжицу и, улыбаясь сквозь очки, чуть шепелявя, поздравляет. А я ничего путного не могу сказать в ответ. Только киваю головой: спасибо, большое спасибо!

В свободной от пожатия руке чувствую диплом. Мой диплом!

По календарю обычный зимний день. И за окном все обычно — кружатся снежинки, мчатся машины, спешат люди.

Передо мной лежат принесенные из типографии гранки — страницы дневника. Теперь они уже не просто мои записи, они сами как будто стали рассказчиками. Уйдут они от меня, войдут в дома — в тысячи домов — и поведают людям то, что я должна была им рассказать...



ТРИ ВСТРЕЧИ



1

Альгису неловко. Все, словно сговорившись, допытываются, почему у него сегодня такое хорошее настроение.

— Альгис, может, ты нашел тысячу остмарок?

Он не отвечает.

— Чего размечтался? Пила пальцы обкромсает.

Альгис торопливо подталкивает доску: когда пила завизжит, они умолкнут. В крайнем случае подмигнут — все, мол, ясно.

— Может, наш Альгис приглянулся дочери директора?

— Не дразните парня! Гроши получил, вот и радуется.

Это дядя Пятрас. Папин товарищ. Он единственный на фабрике знает Альгиса давно. Тогда еще не было ни войны, ни немцев. Альгис не таскал этих досок. Он учился в гимназии. Отец был дома, и вообще все было совсем иначе... Дядя Пятрас тогда приходил к ним слушать радио. Потом они с отцом долго обсуждали новости. Альгису, конечно, было запрещено прислушиваться к разговорам взрослых: отец все еще считал его маленьким. Но эти разговоры он и сам старался не слушать — невелик интерес.

Он только не совсем понимал, почему отец с дядей Пятрасом так волнуются, когда из Берлина передают речи Гитлера. И чего он так надрывается? Мать возмущалась, что этот крикун не дает Эленуте спать, а отец отвечал, что это еще не самое большое зло, какое можно ожидать от этого выскочки. Но Альгис на эти слова не обращал внимания — отец всегда пугает. Привык. Судья.

Но когда Гитлер занял Клайпеду и через их местечко

заспешили автомашины с привязанными на крыше чемоданами, двуколки, телеги с перепуганными людьми, запыленные велосипедисты, Альгису стало не по себе. В то утро, когда захватили Клайпеду, он в страхе слушал радио. Мужской голос объявил, что Клайпеда и Клайпедский край передаются немецким властям... Потом грустно прозвучал литовский гимн, и на последнем его звуке грянуло: «Deutschland, Deutschland über alles». Отец резко крутанул ручку радиоприемника. Исчез отрубленный звук. Смолкла Клайпеда — далекая, отчужденная.

И в гимназии в этот день было необычно. Учителя не вызывали к доске, не задавали уроков, только рассказывали о Клайпеде. Историк — о ее прошлом, географ — о крае. А на переменах все шумели. Юргис собрал вокруг себя семиклассников и рассказывал: брат предупредил, что именно теперь нельзя поддаваться влиянию немцев, иначе Литве будет конец. А Йонкелис, сын командира полка, высмеял и Юргиса и его брата — худо придется только голодранцам и евреям.

Вечером, лежа в кровати, Альгис долго думал о тех, кто проехал через местечко. Теперь они, наверно, сидят сгорбившись на своих чемоданах в огромном поле. Темно. Моросит дождь. Спрятаться некуда, потому что у них больше нет дома... Альгис уютно укутался в одеяло. Как хорошо быть дома!

И так каждый вечер. Стоило Альгису лечь в кровать, перед глазами возникала одна и та же картина — поле, дождь и сгорбившиеся люди.

Что с ними дальше будет? Отец, наверно, знает, но с дядей Пятрасом об этом не говорит. А если Альгис спросит, отец либо отмахнется: «Это политика. Тебе еще рано», либо отрежет: «Откуда ты знаешь, что они там сидят?»

Вскоре Альгис перестал вспоминать о них. Потом и совсем забыл.

В гимназии все реже говорили о клайпедских беженцах, которые, уходя, разрубали мебель и бросали из окон радиоприемники. Правда, еще прокатилась по местечку волна слухов о пришедших в порт гитлеровских кораблях, о сложенном матросами костре из книг, о пьяных криках: «Евреи и литваки, убирайтесь!», о приезде Гитлера и его речи с балкона театра. Но Альгиса это уже

не пугало — мало ли что творится там. Важно, что здесь все по-прежнему.

Но вскоре началось и здесь...

В то лето (как теперь говорят: последнее спокойное лето) они с мамой и Эленуте отдыхали в деревне. Эленуте тогда была совсем маленькая, еще не очень хорошо умела говорить. Отец приезжал к ним по воскресеньям. Однажды он сказал, что собирается в Палангу и возьмет с собою Альгиса. Покажет ему море.

Вот это был денек! Балтийское море, на карте выглядевшее как окрашенный в голубой цвет баклажан, ожило. Огромное, оно колыхалось и сверкало на солнце. Волны, кувыркаясь и пенясь, бежали друг за другом к берегу, заливали его и поспешно откатывались назад. А песок! Как смешно он сыпался, когда Альгис, зарыв в него ногу, шевелил большим пальцем. Из прибрежного ресторана слышалась музыка. И отец здесь был не такой, как дома. Купаться разрешал столько, сколько купался сам. И был более разговорчив, все Альгису показывал, объяснял. А от его заботливости становилось даже не по себе — каждые полчаса спрашивал, не голоден ли Альгис.

Вечером они пошли к молу «топить солнце». Альгис следил, как солнце медленно погружается, тонет, а красная дорожка на затихшем, отдыхающем море становится короче, блекнет. Все глубже и глубже окунаясь, солнце в конце концов совсем исчезло. Лишь порозовевшее небо еще указывало то место, откуда солнце ушло в море. Альгис ждал, пока и этот розовый отблеск потускнеет. Внезапно вдоль и поперек неба протянулись длинные белые полосы. Они зашевелились, словно живые, и стали раскачиваться — влево, вправо, влево, вправо. Альгис испугался.

— Что это?

— Немецкие прожектора, — неохотно ответил отец.

— Откуда они?

— Из Клайпеды. И еще ближе, из Нимерзата.

Так почему здесь никто не обращает на это внимания? Гуляют как ни в чем не бывало. А в конце мола, у киоска, даже сидят себе спокойно за столиками. Но Альгису уже неохота ни ходить, ни смотреть на море. Он ждет, чтобы отец скорее увел его отсюда.

На следующее утро, по дороге на пляж, они заметили группу людей, читающих какое-то объявление. Подошли.

Прочесть Альгису не удалось — взрослые заслоняли. Но он уловил некоторые слова. «...Военных отзывают из отпуска», «...Мобилизация...», «...Военное положение...»

Наконец отец выбрался из толпы.

— Поедем домой.

— Но ведь вы, папа, не военный.

— Мама одна.

Только теперь Альгис спохватился, что вчера за весь день ни разу не вспомнил о матери, о доме, будто ничего, кроме моря, и не было.

Отец куда-то ушел и долго не возвращался. Ожидая его, Альгис смотрел в окно.

Дорога на пляж пуста. Только изредка, и то не к морю, а в город, спешат группки людей. С детьми. Мужчины несут большие чемоданы или следуют за груженными ручными тележками. Их катят, согнувшись в три погибели, босые полуголые мальчишки. Видно, из местных. Зарабатывают себе на учебники.

Отец все не возвращался. Может, забыл, что Альгис здесь? Ведь привык ездить один.

Альгис пойдет пешком. Сорок километров. Туфли, конечно, разорвутся. Солнце будет палить. Он захочет пить, но должен будет идти, идти. А ночью?

Отец вернулся с двумя билетами на автобус. Сложил веши.

— Пойдем еще искупаемся.

Альгису совсем не хотелось, но он пошел. Немного поплавал, раза два нырнул и вылез на берег.

Грустно покоились пустые дюны. Пустовал пляж. А еще вчера здесь было так много людей. Теперь остались только вмятины в песке.

По дороге из Паланги Альгис вдруг вспомнил ту уже совсем забытую картину — бездомные люди ночью мокнут под дождем. Неужели теперь и он будет так же? Решился спросить отца:

— Что теперь будет?

— Наверно, война.

— Что мы будем делать?

Отец не ответил. Он всегда так поступает, если считает, что вопрос глупый.

Первого сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу. Альгис ушел в школу встревоженный. Мать целый день

сокрушалась, что нечего будет есть, поэтому надо сделать запасы продуктов. Все ее знакомые запасаются. По радио, прерывая музыку, раздавались пугающие слова: «Увага, увага, надходзи!» Это Варшава предупреждала о приближении немецких бомбардировщиков.

Но здесь в тот день ничего нового не произошло. И назавтра, и в последующие дни. Альгис ходил в гимназию, готовил уроки. Отец так же отправлялся по утрам в суд. Мать реже вздыхала, что подорожали продукты. «Увага, надходзи!» стали почти привычными словами, и Альгис больше не обращал на них внимания.

И все-таки, когда однажды во время урока физкультуры учитель объявил, что Польша капитулировала и война окончена, Альгис обрадовался. Даже почему-то ляпнул: «Я так и знал!» Сразу зарделся, но уже постеснялся отрицать, тем более что никто не спрашивал, откуда он знал. Во время перемены мальчики его класса хвастали перед классом «б»: «Наш Альгис узнал самый первый!» А идя домой, уже орали: «Все мы давно знали!»

Вскоре Литве был возвращен Вильнюс. Два десятилетия на школьных картах писали: «Временно окккупированный Польшей Вильнюсский край». А вот теперь он наконец возвращен. Какая была радость!

В школе их собрали в зал. Директор произнес речь. После него говорил математик. Объяснил, что за возвращение Вильнюса следует благодарить Советский Союз. Потом все пели «Многая лета!».

Зимой отец ездил с экскурсией в Вильнюс. Ожидая его возвращения, Альгис представлял себе, как отец ходит по развалинам замка Гедиминаса. Может, там встретит какого-нибудь потомка старых князей? Расскажет ему, как все ждали освобождения Вильнюса из-под господства польских панов, как Альгис горячо пел: «О мир, мы без Вильнюса не успокоимся!». И как в день годовщины оккупации Вильнюса — 9 октября — ему бывало грустно смотреть на перевязанные траурными лентами флаги.

Да, было бы интересно, если бы отец там познакомился с каким-нибудь князем или знаменитым воеводой.

Но, вернувшись, отец ничего о таком знакомстве не рассказывал. Конечно, жаль. Если бы Альгис поехал, обязательно встретил бы там кого-нибудь. Или хоть

встал бы лицом к городу и про себя прочел бы Майрониса:

Вот посмотри, это дворцы Вильнюса
Широко раскинулись между горами!

Весной 1940 года Сметона удрал за границу. В гимназии рассказывали, что президент, словно какой-то лавочник, сторговал Литву Гитлеру. Но коммунисты и рабочие ему помешали. Тогда он драпанул за границу. В газете даже была карикатура: Сметона с женой хотят пролезть под пограничный шлагбаум, но застряли — слишком толстые.

Из тюрьмы выпустили коммунистов. Их встречали со знаменами и музыкой. Мама опять беспокоилась: что будет дальше? А отец радовался. Коммунистам он всегда симпатизировал. Даже мог за это пострадать. Кроме того, он тайно давал деньги на МОПР. И коммунисты об этом знают.

Вскоре в местечко прибыли русские военные. На машинах и верхом на лошадях. В парке по вечерам стали показывать кино. Бесплатно. Иногда русские солдаты пели и плясали. В школе ребята старались им подражать. Конечно, не получалось. Как только, присев на корточки, выбрасывали вперед ногу, падали. А петь, даже еще не зная языка, научились быстро. Особенно нравилась песня «Полюшко, поле!».

Хорошее это было лето, веселое. Митинги, парады, концерты. То во время выборов, то в честь восстановления советской власти, то когда Литву приняли в состав Советского Союза. Казалось, все люди стали другими — веселыми, радостными.

В сентябре отца перевели в Вильнюс. Сначала он уехал один. Вскоре вызвал их с мамой и Эленуте. Ехали долго, двумя поездами. Ночью, пересаживаясь с одного на другой, чуть не заблудились. Хорошо, что дядя Пятрас ехал вместе с ними. Он тоже перебирался в Вильнюс.

Вначале Альгис жалел, что они сюда переехали. Не с кем было дружить, не к кому ходить в гости. Да и родители никуда не пускали. Только в школу и обратно. «Ты не привык к большому городу, заблудишься». Разве их убедишь? А ему так хотелось ходить по улицам, влезть на гору Гедиминаса. Но отец и слышать не хотел: «Будет у меня время — поведу».

Повел. И что за удовольствие? Ни походить по развалинам, ни полазить по горе. Ходи сзади и выслушивай рассказы. А этих рассказов он наслушался на уроках истории.

Товарищам он, конечно, писал обо всем иначе. Похвалился, что был и стоял, быть может, на том самом месте, где создателю города князю Гедиминасу приснился железный волк. Даже прибавил, что был и в кафедральном соборе, где похоронены великие князья, хотя мать еще только обещала туда свести.

Зато когда школа организовала экскурсию в Тракай, он смог написать правду: катался на лодке по тракайским озерам, видел замок, те самые окна, у которых когда-то стоял князь Витаутас.

И так в каждом письме он чем-нибудь хвалился. А про себя уже удивлялся — как он мог раньше так скучно жить? Весь городок был — от реки до костела. И то идешь по шатким доскам деревянного тротуара. Лишь на главной улице настоящий тротуар. Прохожих мало. Разве что на свадьбу или похороны собираются поглазеть. И еще в базарный день съезжаются деревенские. Но к вечеру улицы снова пустеют — подвыпившие крестьяне катят на своих телегах назад, стараясь переорать стук колес. На мостовой остается смешанная с пылью сенная труха да лошадиный помет. А единственное развлечение — пойти на вокзал. Когда были маленькими, глупо махали пассажирам проходящего поезда. Потом уж только глазели. Но что за интерес?

Теперь он в столице, Вильнюсе. Единственный из всей школы. Раньше Йонкелис, сын командира полка, задирал нос, что жил в Каунасе. Что такое Каунас? Бывшая временная столица. А Вильнюс — настоящая. Иные мечтают хоть несколько дней побыть, приезжают с экскурсиями, а он здесь все время живет.

Да. Приятно было чувствовать, что живешь в большом городе, в самой столице. И интересно...

Теперь Альгис ни о чем таком не думает. Война. Немцы. И жизнь совсем не похожа на ту, бывшую. Он даже не ходит в школу. Работает. Но что он мог сделать? Отца арестовали на третий день.

Дядя Пятрас ему сказал, что он уже не ребенок, ему шестнадцать лет, он взрослый и должен помогать матери. Она работать не может — не с кем оставлять Эле-

нуте. Поэтому пусть Альгис поработает вместе с ним на мебельной фабрике. Только во время каникул. Ведь отец взят как заложник. Может, до осени вернется. Сам дядя Пятрас бросил свою адвокатуру («Не хочу иметь с ними дел») и пошел работать на фабрику кладовщиком. Альгиса это очень удивляло. А дядя Пятрас ничуть не чувствовал себя униженным. Даже наоборот — шутил. Альгиса он устроил подсобником — носить, грузить.

Да, летом им казалось, что все это временно. Но вот уже зима, а отца нет. Сначала мать ходила куда-то, хлопотала. Каждый раз ее уверяли, что немецкая власть очень уважает литовских интеллигентов, что отец, безусловно, взят по недоразумению и скоро вернется домой. Спрашивали — может, мадам хочет пожаловаться на какого-нибудь коммуниста? Может, во время большевистской власти кто-нибудь обидел ее? Пусть скажет, немедленно будет наведен порядок.

И мама перестала к ним ходить. Дядя Пятрас тоже по утрам больше не встречает его вопрошающим взглядом — не вернулся ли отец? А сколько Альгис ни старается представить себе, где отец, — ничего не выходит. Все видится ему одно и то же: отец, вернувшись, сидит за столом, а мать ему рассказывает, что Альгис все это время тяжело работал. Отец его хвалит. А Альгис молча достает из кармана получку и кладет ее на стол.

Да, обязательно надо, чтобы отец вернулся в день получки. Например, сегодня. Хотя сегодня Альгис придет позже, наверно около десяти. Потому что после работы... после работы он встретится с Ирено́й.

С фабрики пойдет напрямик, через огороды. Потому что если Ирена придет раньше и не найдет его в условленном месте, она убежит. Он и так еле уговорил ее прийти. Стеснялась, что свидание, как у взрослых. Но ведь они уже тоже не маленькие.

— Эй, мужики, шабаш! — Дядя Пятрас собирается запереть склад. — Хватит на сегодня работать для рейха.

Альгис и не заметил, как пролетело время.

2

Пришел он рано. Ирены еще не видно.

Куда ее повести? Лучше всего было бы на каток, но он не взял коньков. И ее не предупредил. Да и уговари-

вая прийти, обещал показать интересные места. А какие — так и не придумал. Гору Гедиминаса? Скажет — сто раз была. В садик Ожешкене? Ничего интересного. Может, в Каролинки? Не успеть — рано темнеет. Пока дойдут, уже надо будет возвращаться — комендантский час. Что еще можно предложить? Пойти в кино? Без разрешения классного руководителя она побоится. Лучше всего, конечно, было бы спросить у мужчин. Но они потом задразнят. И дядя Пятрас узнает, матери расскажет.

Куда идут все эти люди? Ведь деваются же они куда-нибудь. Надо просто проследить. Хотя бы за этим долговязым парнем с барышней. Как смело он держит ее под руку. Идут... Идут. Дальше...

Остановились. Куда теперь? Входят в дверь. Отлично. Остается выяснить, что там.

Кафе...

Не стоило следить.

А что, если пригласить Ирену сюда? Другие парни уже в прошлом году ходили в кафе. Только ему отец все запрещал.

Но там, наверно, надо много платить.

А ведь больше пойти некуда... И может же он хоть раз часть заработанных денег истратить на себя? Что мама стала бы делать, если бы он вообще не работал? Жалуется, жалуется, а все-таки каждый день что-нибудь варит. Да он много и не истратит, закажет только по пирожному и кофе. Ирена будет довольна, девчонки любят сладости.

Может, она уже пришла, а он, стоя здесь, прозевал?

Побежал обратно.

Хорошо, что она еще только идет.

Красивая!

— Добрый вечер.

— Здравствуй. Ты что, бежал?

— Ага. Прямо с работы.

— Хорошо, что успел. Я бы ни за что не стала ждать.

...Сейчас спросит, куда пойдем.

— Что сегодня творилось в классе! Математик вывел в семестре четыре двойки. Милде тоже. Она так плакала! А Ричка сказал, что завтра придет его отец и потребует

исправить отметку. Иначе донесет, что у математика при советской власти жил русский офицер. Представляешь?

...Что придумать?

— А химичке удалили зуб, и у нее распухла щека. Объяснять не может, весь урок спрашивала.

...Приглашу в кино.

— Знаешь как мы прозвали нового физика? Гирькой.

...Пусть сама предложит. Так даже вежливее.

— Альгис, а почему ты молчишь?

— Слушаю.

— Холодно, правда?

— Ага. Знаешь что? Может... зайдем?

— Куда?

— Куда-нибудь... Например, сюда...

Ирена поднимает глаза на вывеску.

— В кафе?

— А что? Согреемся, съедим по пирожному.

— Больше ничего тебе не хочется?

— А разве ты не съела бы пирожное?

Вдруг Ирена хватает его за рукав.

— Ой, учитель!

— Бежим! — И он толкает ее в дверь.

Столики. За ними — люди. Одни, склонившись, сосредоточенно едят, другие, откинувшись, курят, беседуют. В воздухе под лампами висят полосы дыма. Из невидимого угла слышится песня: «Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren». Альгис шепчет:

— «Я в Гейдельберге потеряла свое сердце».

— Что?

— Она поет, что потеряла свое сердце.

— Сердце потерять нельзя.

— Но ведь «verlieren» — потерять?

Ирена не отвечает. Она, кажется, дрожит. То ли от волнения, то ли, как мать говорит, потому, что мороз из тела выходит. А как раз надо разговаривать, чтобы не казаться новичками.

— Знаешь, чем здесь пахнет?

— Котлетами. Все равно — пошли отсюда.

Вдруг около них появляется седой человек.

— Битте, прашау, проше, панове. — И он кланяется.

Они тоже кивают. Седовласый приглашает их к столику и отодвигает Ирене стул. Опустив глаза, Ирена несмело садится и отворачивается к стене. Официант улы-

бается. Альгису неловко за нее. Стараясь казаться бывалым парнем, он одной рукой отодвигает свой стул, садится. Еще закладывает ногу на ногу и откидывается.

Седовласый официант подает Ирене продолговатую коричневую обложку с тиснеными буквами «Меню». Не раскрывая, Ирена кладет меню на стол.

— Я иду домой.

Официант улыбается:

— У барышни нет аппетита. — И, подавая меню Альгису, предлагает: — В таком случае, может, вы закажете?

У Альгиса даже под ложечкой екнуло от этого «вы». Так еще никто к нему не обращался. Стараясь басить, он просит:

— Котлет можно? По две порции! — И уже тише уточняет: — Но... без карточек?

— Наше кафе не государственное, поэтому все без карточек. Только за деньги.

— Конечно, конечно. Я как раз сегодня получил зарплату.

— А что будете пить?

Ирена даже вскрикивает:

— Что вы!

Но официант и головой не повел в ее сторону. Угодливо склонившись, предлагает Альгису:

— Может, пильзенского пива? Как раз сегодня получили.

Альгис нерешительно кивает, и официант уходит.

— Альгис, я иду. Ты... ешь сам... Альгис!

В углу сидит и долговязый со своей барышней, за которыми он раньше следил. Интересно, что они едят?

— Альгис... Слышишь?

— Ты что, маленькая? Поедим и уйдем.

— Какой ты... Право, я иду.

Но она сидит... Неудобно одной идти через зал, все будут смотреть. А котлеты, наверно, очень вкусные. Такие, как мама жарила до войны. Нет, не нужны никакие котлеты, лучше она пойдет домой. Только еще немного понюхает.

...Еще самую малость посидит. Пока Альгис впишет ей в альбомчик что-нибудь на память. Потом убежит. А во время исповеди расскажет ксендзу, что была здесь.

Она вытаскивает из портфеля альбомчик.

— Альгис, впиши что-нибудь.

Он медленно листает страницу за страницей.

...Глупая девчоночья выдумка. Потом, наверно, хвастают друг перед дружкой, кто что вписал. Но сейчас, здесь, хорошо почитать. Выглядишь занятым.

Оказывается, Ричка себя тут уже увековечил. Что ж, Альгис тоже впишет. И что-нибудь поинтереснее.

На чистой странице он каллиграфически выводит: «Когда ты будешь старушкой и у тебя будет старичок, надев очки, эту запись прочти».

Возвращая альбомчик, Альгис замечает, что у Ирены испуганный вид. К чему-то прислушивается. Он тоже слушает. Какой-то охмелевший человек у окна тянет: «„Deutschland, Deutschland über alles", — воет Гитлер, замерзая». Альгис оглядывается. Никто не останавливает поющего. Одни улыбаются в усы, другие преспокойно жуют, будто и не слышат. А ведь за такие слова могут взгреть всех!

Официант приносит котлеты и пиво. Альгис хочет спросить, почему тому человеку позволяют петь такую песню, но каменеет с раскрытым ртом — в дверь входит немецкий патруль.

— Всем оставаться на местах! Проверка документов!

...Для отвода глаз. За этим типом пришли.

Оркестр умолкает. Ирена сидит съежившись. Вонзила вилку в котлету и смотрит на нее, словно не зная, что делать. А «певец», конечно, умолк. И вовсе не кажется пьяным.

Немцы не идут прямо к нему, а останавливаются у первого столика.

...Чтобы не спугнуть.

Сидящие за столиком мужчины протягивают свои паспорта. Солдат передает их офицеру. Тот читает, вертит в руках, рассматривая со всех сторон, и возвращает.

Ирена робко взглядывает на дверь. Там стоит солдат...

Немцы приближаются. Крамольник все еще на месте. А сидевшую за соседним столиком женщину солдат отводит к двери и передает охраннику.

— Ваши документы!

Ирена, не поднимая головы, бормочет:

— У меня нет.

Альгис достает из отцовского бумажника свой «аусвайс».

— Жена? — спрашивает офицер, показывая на Ирену.

Альгису даже жарко стало. А Ирена так низко склоняет голову, будто хочет подбородок втолкнуть в грудь. И еле слышно говорит:

— У меня нет паспорта. Несовершеннолетняя.

— О! Это прекрасно! — Офицер внимательно смотрит на нее. Улыбается. И бросает солдату: — Бери ее!

Ирена вскакивает. Взять ее?! За что? Но солдат больно сжимает локоть и подталкивает к той женщине у дверей. Ирена остается стоять в углу, опустив голову, лицом к стене, словно наказанная учителем первоклассница.

Солдат подводит туда и барышню долговязого. А «певец» все еще сидит. Даже жует свою сосиску. Делает вид, что не боится? И немцы обходят его. Для отвода глаз даже берут женщин.

Вдруг взвизгивает сидящий рядом старик с блестящей макушкой:

— Это моя жена! Эльзите, покажи паспорт. Покажи, родная, пусть убедятся, что ты жена.

Офицер ухмыляется:

— Может, дочь?

Но, проверив паспорт, возвращает. И оставляет ее в покое.

Подходят к «певцу». Тот салфеткой вытирает рот. Неторопливо достает бумажник. Подает паспорт... Офицер смотрит и возвращает!

Что тут происходит? Куда уводят девушек?

Офицер тоже выходит. У дверей внезапно поворачивается к залу. Выбрасывает руку: «Хайль!» Снова поворачивается, приостанавливается, словно желая, чтобы все запомнили его спину, и выходит, хлопнув дверью. Надуваются портьеры. Недолго колышутся и снова повисают неподвижно.

Куда их повели?

Вдруг снова грянул оркестр. Солистка опять запела о том, как она в Гейдельберге потеряла свое сердце.

Долговязый вскакивает. Зовет официанта.

Портфель! Ирена оставила портфель. Наверно, там

школьное удостоверение. Почему она его не показала? Может, не увели бы.

Надо догнать!

— Молодой человек, куда вы? — Официант больно хватает его за руку. — Надо заплатить.

— Ведь мы не ели!

— Так ешьте!

Альгис шлепается на стул. Пихает в рот котлеты, запивает пивом. Никогда не представлял себе, что пиво такое невкусное. А официант не спускает с него глаз. Чуть не пятясь идет к долговязому. Тот очень торопится.

— Счет!

Официант с готовностью выдергивает из блокнота листок, кладет на столик и спрашивает:

— Желаете узнать, куда их увели?

Долговязый быстро отсчитывает деньги и встает.

Альгис тоже хочет знать! Он выхватывает из бумажника несколько банкнот и, сунув их официанту, выбегает, оставив того кланяющимся. (Словно фарфоровый китайский божок на полке в отцовском кабинете. Только пошевели — и кивает.)

Альгис догоняет долговязого:

— Извините, мне можно с вами?

— Пожалуйста.

— Мне надо отдать портфель. Вот этот.

Но долговязый на портфель даже не смотрит. И ничего не отвечает. Только снег скрипит под его метровыми шагами.

— В портфеле удостоверение. Постеснялась показать, и задержали.

— Не поэтому.

— А почему?

Долговязый не отвечает.

— Может, им надо украсить какой-нибудь зал? Или сплести много венков? В школе у нас всегда этим занимаются девочки.

Долговязый опять не отвечает. Мрачный какой-то. А у Альгиса слова сами вырываются:

— Где мы их будем искать?

— В особом отделе.

Альгис даже приостанавливается.

— Может... Может, они вовсе не там?

Долговязый пожимает плечами. Пренебрежительно. Как отец. Тоже считает его молокососом?

— Я уже работаю! На мебельной фабрике. — И, как дядя Пятрас, вздыхает: — Ничего не попишешь. Такие времена.

— Да. Времена неважные.

Все-таки согласился!

— И мой велосипед выменяли на муку.

Эта новость долговязого почему-то не удивила. Он только глубоко втягивает в себя воздух. И продолжает молчать.

Гршт-гршт, гршт-гршт-гршт. Два шага долговязого — три Альгиса, два долговязого — три Альгиса. А рядом по земле двигаются их тени. Исчезли, когда луна заплыла за высокий дом, и опять появились, как только она вынырнула. И дальше спешат вместе — темные, вытянутые. Задев торчащие у тротуара снежные сугробы, выгибаются, уменьшаясь, потом снова вытягиваются.

Альгису надоело смотреть на тени.

— Может, их уже отпустили?

— Вряд ли...

Но Альгис почти уверен, что девушек отпустили. И они уже, наверно, возвращаются. Надо только не разминуться. Он будет смотреть на ноги прохожих. Так в темноте легче отличить мужчину от женщины.

Двое мужчин. Женщина с ребенком. Немцы... Если бы не они, все было бы как прежде.

Девушки! Эх, чуть-чуть рановато отпустили. Еще бы немножечко подержали, пока они с долговязым придут.

Нет, не они...

Гршт-гршт, гршт-гршт-гршт...

Идут! Увы... Две женщины тащат елку. Послезавтра рождество, а дома ни елки, ни подарков.

— Пришли, — говорит долговязый.

Здесь?

— Мне идти с вами или подождать?

— Как хочешь.

Тоже мне совет. Как хочешь... А сам и подумать не дает, уже поднимается по лестнице. Не оставаться же одному. В конце концов, подождать можно будет и наверху. Но если кто-нибудь спросит, чего он ждет?

А долговязый, оказывается, смелый. Сразу стучится. Никто не отвечает. Но он все равно входит.

Полицейский! Только почему-то сидит за столом. И сразу уставился на Альгиса. Кажется, даже не слушает рассказа долговязого. И словно не ему, а Альгису отвечает:

— Я ничего не знаю.

— А кто знает?

Полицейский лениво пожимает плечами. Но долговязый не отстает:

— Кто бы мог мне сказать?

— Может, заместитель начальника. Зайди в двенадцатый «а».

Долговязый почему-то зол. Хлопает дверью и сразу начинает смотреть на номера комнат. Альгис следует сзади. Одиннадцатая комната, двенадцатая, двенадцатая «а», четырнадцатая.

— Людей хватать не боятся, а чертовой дюжины испугались, — ворчит долговязый.

Вдруг Альгис прислушивается. Замирают, не постучав, и костяшки пальцев долговязого. За дверью кто-то кричит:

— В Лукишки веди!

...За что девушек поведут в тюрьму?

— Ты что, оглох? Говорю, веди в Лукишки. Сколько их? Четверо мужчин и трое мальчишек? Маловато.

...Слава богу, не девушек.

Пальцы долговязого ожили, постучали. Но там, очевидно, не услышали. Не повторив стука, долговязый открывает дверь.

...Покойник! По телефону разговаривает покойник!

Лишь опомнившись, Альгис соображает, что это настольная лампа, светя снизу, провалила глаза и мертвецки выбелила щеки. Когда-то Альгис сам так пугал богомолок. Бывало, вместе с другими мальчишками накроются простынями, приставят к подбородку карманные фонарики и стоят под окнами — аукают, плачут, хохочут. Или просят помолиться за их грешные души...

Альгис чуть не рассмеялся, вспомнив старые проделки, но вовремя удержался — долговязый рассказывал о кафе и проверке документов.

— Ничего не знаю! — буркнул мертвец.

— А кто знает? — еще злее, чем первого полицейского, спрашивает долговязый.

— Не морочьте мне голову! — «Покойник» даже не смотрит в их сторону и обмакивает перо в чернильницу.

— Прошу мне сказать, за что задержана и куда помещена моя невеста?

...Невеста?

«Покойник» откидывается, оживает и оглядывает их с ног до головы.

— Вон!

Но долговязый, видно, и не собирается выходить.

— Я требую ответа!

— Требуешь?! — «Покойник» поднимается со стула и... руку в карман. Застрелит!

Альгис выскакивает в коридор. Но долговязый не выходит следом. Остается там и кричит:

— Вы не имеете права задерживать невинных людей! И еще скрывать, куда их дели. Это самоуправство!

А тот как заорет:

— Стонкус!

Видно, кого-то вызывает.

Но долговязый не отстает:

— Вы обязаны мне сказать! Я не уйду отсюда, пока...

— Стонкус, где тебя черти носят?

Кто-то туда вбегает. Видно, из смежной комнаты.

А долговязый не успокаивается:

— Мало того, что немцы своевольничают, так еще и вы, свои, литовцы...

— Какой я тебе свой, большевик проклятый! Стонкус, в тюрьму его! Будет знать, как бунтовать!

Долговязый, видно, не дается. Слышен какой-то шум, падает стул.

— Руки заламывай!

— Мальчик... беги!.. — слышит Альгис голос долговязого.

Альгис бежит по коридору. По лестнице. Наверху хлопает дверь. Может, это за ним посылают погоню? Перепрыгивая через несколько ступенек, чуть не падая, Альгис мчится по лестнице. Двор. Еще его надо перебежать! Рядом залаяла собака. Это за ним гонятся с собаками?

Альгис вылетает на улицу. Мотнув головой влево, вправо, пускается бежать.

...Он должен убежать! Быстрее! Портфель мешает. Где преследователи? Он выбегает на середину дороги, там просторнее. Проклятье, скользко! Если растянется, его наверняка настигнут.

Может, броситься во двор? Там, за углом. Его не успеют заметить и промчатся мимо. А если двор проходной...

Внимание... Подворотня!

Двор маленький. И глухой...

Где полицейские? Сердце так громко колотится, что мешает слушать. Он прижимает к груди портфель. Все равно ничего не слышит — стучит в висках.

Надо подождать, пока полицейские пробегут мимо.

Никто не бежит. Тихо. Может, они притаились?

Скрипит снег. Приближаются...

Шлепает старуха. Тоже, не может посидеть дома. Только людей пугает.

Холодно. Еще схватит воспаление легких. Объясняй потом матери, где простыл. Надо шевелиться. Раскачиваться, не поднимая ног. Раз, два. Раз, два. А может, тихо подкрасться к воротам и выглянуть? Нет, страшно. Раз, два. Но не стоять же так всю ночь. Снег, ты только не скрипи.

Улочка пустая. Неужели за ним не гнались?

Надо бежать домой. Наверно, скоро комендантский час. Он нахлобучит шапку и поднимет воротник, чтобы никто не узнал.

Надо шагать спокойно. Не выдавать себя. Ведь никто не следит. Скоро он будет дома. Там мать, Эленуте.

Мать, конечно, начнет расспрашивать, откуда портфель. Не надо было его брать. Официант спрятал бы, а завтра Ирена сама забрала бы. Или он.

Зря долговязый с ними так зло разговаривал. Ведь полиция. Почти как немцы. Что хотят, то и делают. Вот, арестовали...

Ну и жизнь. Хотят — арестовывают. Хотят — высылают. Или... еще хуже. И ничего не сделаешь...

Бьют часы. Раз. Два. Три. Это на Кафедральной башне. Три четверти. Девятого или десятого? Неважно. Теперь он уже почти дома.

На лестнице замедляет шаг.

...Свет он в передней не зажжет, сперва засунет за шкафчик портфель. А что придумать насчет получки?

Скажет, одолжил кому-нибудь. Нет, мать будет ругаться. «Самим не хватает, а ты одалживаешь». Лучше что-нибудь придумать. Придумать... Что тетя его товарища поехала в деревню за продуктами и Альгис дал ей денег, чтобы привезла для них сала. Идея! Только надо сосчитать, сколько он «дал». Эх, черт! Не зря этот седой дьявол так благодарил. Не мог вернуть, видя, что человек половину заработка сунул.

Предательски скрипит дверь. Не захлопывая ее, чтобы мать не услышала, Альгис пихает портфель за шкафчик. Промежуток узкий, портфель раздутый. (Вечно эти девчонки таскают всякий хлам!) Наконец затолкнул.

Тихо притягивает дверь и поворачивает выключатель.

...Немецкая шинель! На их вешалке... Возле шубки Эленуте...

Вот где его поджидали...

— Альгутис, ты?.. Почему так поздно? Я уже очень волновалась.

...Сейчас мать скажет, что в столовой его ждут.

— Не ходи в столовую, там немецкий офицер.

— ?!

— Он теперь будет здесь жить. Сегодня вселили.

— Вселили?

— Я ничего не могла сделать. Принесли приказ. К Буткусам тоже вселили... А твой ужин на кухне. Еще теплый.

— Спасибо.

— Поешь один. Я посижу возле Эленуте. Она еще не спит. Снова кашляет. Меду бы ей...

Альгис входит на кухню. Садится.

...Здесь, рядом, за стеной, настоящий немец. Лежит на их диване. Будет мыться в их ванне. Словно это его дом...

А мать странная. Хочет, чтобы все выглядело как прежде. Даже стол накрывает, как когда-то. Белая скатерть, тарелки, вилка, нож, ложка. И все это для одной только ржаной каши. Лучше подсластила бы ее сахарином... Все равно, надо проглотить.

Скорее лечь.

Спать. Уснуть...

Снова бьют часы. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Комендантский час. Хорошо, что он уже дома.

Но в доме немец. Наверно, уже спит. Голова на подушке, накрыт одеялом. Как все...

«...Когда ты будешь старушкой и у тебя будет старичок, надев очки, эту запись прочти...»

Где Ирена? Может, тоже дома и спит. Конечно, будет сердиться, что так вышло. Но он же не виноват.

Куда все-таки их повели? В особом отделе не знали, значит, ничего плохого. Может, действительно плетут венки? Сидят все кружком, плетут и поют:

Литва, дорогая, родина моя,
страна, где в могилах спят богатыри.
Ты голубизною неба хороша,
ты дорога потому, что много горя испытала...

«...В тюрьму этого большевика!..»

«...Мальчик, беги! Беги!..»

Уснуть. Надо уснуть.

«...Эльзите, покажи паспорт, пусть убедятся...»

«...В тюрьму веди!..»

Спать. Только спать.

«...Литва, дорогая, родина моя...»

3

Раньше Альгис очень любил так вот сидеть возле топящейся печи. Бывало, погасит свет, садится на низенький стульчик, открывает дверцы и начинает «гонять огонь». Дует и смотрит, как пламя вздрагивает, бросается в сторону. Лижет стенку, ищет выход. Альгис перестает дуть. Пламя вмиг выпрямляется. Он снова дует, и пламя опять начинает метаться. А как смешно капать на раскаленные дверцы водой! Капелька шипит, злится и — исчезает.

Мать сердилась, что, глядя на огонь, он портит глаза. Тогда Альгис отворачивался к стене. Какие тени показывал огонь! То чертенята прыгают, то буря деревья гнет, то спотыкается всадник без головы. Настоящий театр теней.

Конечно, интересно. Но тогда других дел не было. Ни тебе голодному мерзнуть на фабрике. Ни тебе доски таскать. Да еще беспрестанно бояться облав, арестов...

На прошлой неделе чуть не попался. Пошел к Ирене. Узнать, что с ней, и вернуть портфель.

Дверь открыл полицейский. К счастью, пьяный. Только буркнул: «Теперь я здесь живу!» — и захлопнул дверь. А если бы он был трезвый? Сразу пристал бы — кто такой? Зачем она тебе? Почему не едешь на работы в Германию?

Какая-то женщина, видно, соседка, спускавшаяся по лестнице, шепнула мимоходом: «Нет их. Обеих. Забрали». — «За что?» — вырвалось у Альгиса. Но она не ответила. Только пожала плечами.

— Альгутис..

Это мать.

— Что?

— Где живет тетя твоего знакомого? Я схожу к ней. Ведь уже почти две недели, как ты дал ей деньги. Если ничего не привезла, пусть вернет.

...Надо молчать.

— Почему ты молчишь?

— Я вам, мама, уже сказал, что не знаю, где они живут.

— Завтра спроси. Хорошо?

— Завтра... не смогу. Этот товарищ не работает. Болен.

— А может, ее, бедняжку, задержали? Подумали, что это для продажи.

...Вот! Так и надо будет сказать. Что все забрали, денег не будет. А сейчас лучше смыться.

— Мама, господин Гросс дома?

— Ты опять к нему? Не надо, сынок.

— Неудобно. Он приглашал.

— Все равно не надо.

— А что мне еще делать?

— Не знаю.

— Видите? А у него я хоть послушаю радио. И что в этом плохого?

— Если бы его дружки не забрали нашего приемника...

— Он тут ни при чем. Он не такой. (...Сказать или нет?) Он даже обещал выяснить, где отец.

— Откуда он знает?

— Вы, мама, так часто ходите с заплаканными глазами, что он понял. И еще меня спросил. Вот, опять плачете...

— Страшно мне... Очень страшно. За отца и за вас...

— Пока господин Гросс живет здесь, нам нечего бояться.

— А может, как раз наоборот...

— Хорошо, не пойду. Только перестаньте.

Он выходит в спальню. Одному спокойнее.

И чего она так взъелась на Гросса? Будь он плохим, это было бы видно. А он не такой. Даже не разозлился, когда Альгис нафантазировал насчет ареста отца. Но ведь нельзя было сказать: «Ваши забрали». Вот и свалил вину на русских. Мол, в первый день войны отца на улице задержал патруль. А в портфеле лежал диплом. Отец его взял с собой, чтобы не остаться без документов, если разбомбят дом. Диплом на латинском языке. Патрульные, конечно, латыни не знали, подумали, что секретная бумага, и арестовали отца.

Сначала Гросс поверил. А потом откуда-то узнал правду. Но не ругался. (Отец за такое дело накричал бы, а потом и разговаривать не стал.) Только велел впредь всегда говорить правду.

Альгис и не собирается больше ничего придумывать. Нет надобности. Тем более, что немцы все равно все знают. То ли им сообщают, то ли они сами следят. Альгису иногда кажется, что каждый его шаг известен. Он даже обдумывает, как будет отвечать, если спросят, зачем куда-то заходил или о чем с кем-то говорил.

Но никто у него ни о чем не спрашивает. А Гросс вообще любит больше сам рассказывать. О Германии, о тамошней жизни... Что в этом плохого? Наоборот. Альгис узнает много интересного и языку учится. А мать этого не понимает. Интересно, что она скажет, когда Гросс найдет ему лучшую работу? Сам вызвался.

Конечно. Пускай теперь другие потаскают эти доски. Альгис тоже хочет сидеть в теплом кабинете и только в окно поглядывать, как другие мокнут под дождем. И денег станет получать больше. Смогут досыта есть. Но мать должна будет ему сшить хороший костюм. Черный, как у директора. И дать настоящий галстук.

Интересно, что тогда скажут ребята? Жалели его, что должен работать. А какой интерес учиться? Сиди, как маленький, за партой, решай всякие уравнения. Ломай голову, чему равен икс. А какая от него польза?

Нет, Альгис лучше будет сидеть за письменным столом и, как директор, подписывать бумаги. Надоест сидеть — походит, руки за спину, по фабрике. Завидев его, все кинутся проворнее работать. А он сделает вид, что не замечает. Может, и его, как директора, пошлют в Берлин? Он покатается, насмотрится, а вернувшись, велит всем собраться в столовой и тоже расскажет, где был, что видел.

— Альгутис!

Опять мать зовет.

— Альгис!

Не дает человеку спокойно посидеть.

— Иду.

Что она делает в передней?

Нашла Иренин портфель!

— Альгутис, откуда здесь портфель?

— Какой? А, этот... Одного человека.

— Почему ты его спрятал?

— Я не прятал.

— Но он был засунут за шкафчик. Я отодвинула, хотела вытереть пыль. Смотрю — лежит портфель.

— Ну и что? Я положил, чтобы не валялся под ногами. Вы же, мама, ругаете за беспорядок.

— Ты его на самом деле не прятал?

— Если все равно не верите, зачем спрашиваете?

— С отцом ты бы так не разговаривал...

— Дайте, верну.

Он надевает пальто.

— Куда ты, сынок? Скоро комендантский час. Завтра отнесешь.

— Спокойной ночи.

...Пусть поволнуется.

Уже и принести ничего нельзя. Обязательно все объясняй, проси разрешения.

Ну и мороз! Тоже будто нарочно.

Все люди теперь сидят дома, в тепле. А тут носись по улицам с этим злосчастным портфелем и еще ломай себе голову, куда его деть. Бросить к чертям — и все!

А что? Ирена не просила поберечь, не знает, что он взял. Скажет — остался в кафе. Ведь так и было.

Но куда его деть? Зарыть в снег? В оттепель вылезет. Как он тут оказался? Чей он? Откроют. На тетрадях Иренина фамилия. А на портфеле оттиски его пальцев.

Может, в реку? Пойдет ко дну — и прощай. Так ведь река замерзла. Разве что у электростанции, там нет льда.

Бьют часы.

Десять! Комендантский час. Догулялся.

Скорее домой! Хоть бы не встретить немца. Хоть бы шли они все по другим улицам.

Зря погорячился. Надо было что-нибудь придумать, и мать успокоилась бы.

Когда дойдет до памятника Монюшко, будет половина дороги.

Кто-то бежит! Догоняет?! Нет. Спешит такой же запоздалый пешеход. Тоже боится. Ну и жизнь! С утра до вечера волнуешься, боишься. Хорошо немцам — им некого бояться.

А может, спрятать у Гросса? Сказать, что это портфель приятеля. Получил телеграмму, что бабушка умерла, и срочно уехал, прямо из школы.

Нет, Гросс знает, что Альгис не ходит в школу. Да и может увидеть, что тетради не приятеля...

Еще шагов сто — и их дом. Два, четыре, шесть...

Ну и затемнение! Ни за что не скажешь, что за этими черными квадратами горит свет, что там живут люди. Вот окна их спальни. Мать, наверно, укладывает Эленуте спать. Дальше окна столовой. Там Гросс. Видно, сидит в кресле, курит и листает журнал. Или с закрытыми глазами слушает музыку.

Раньше, когда еще не было этих затемнений, окна манили Альгиса. Что за каждым из них делается? Летом, когда окна открыты, он иногда даже заглядывал. Интересно наблюдать за людьми, когда они этого не подозревают. И смешно. Словно в немом кино. Видишь, что разговаривают, иногда даже ругаются, а не слышишь. И сам начинаешь придумывать, о чем они...

Ладно. Отдышался от бега, надо подняться домой. Мать, конечно, волнуется. Будет повод поворчать: «Я же сказала, чтобы ты не ходил. Совсем не слушаешься. Был бы отец...» Но вообще-то она теперь не очень строгая. Не такая, как при отце. Она и тогда не была строгой. Видно, сама боялась отца и делала все так, как он велит. А теперь она вообще другая. Растерянная. Даже выглядит иначе. И носит только старые платья. Те, что поновее, бережет, чтобы обменять на продукты.

Ну вот, мать, разумеется, уже стоит в передней, поджидает его.

— Я ж тебе, Альгутис, говорила...

— Господин Гросс не ушел?

— Нет... — Вздыхает. — Приворожил он тебя.

Альгис стучится в дверь.

— Herein!

— Добрый вечер.

— А, Альгис, заходи, заходи. Что скажешь?

— Ничего.

— Тогда посиди, пока я кончу писать. Там есть журналы, почитай.

— Спасибо...

...Сразу сказать о портфеле или подождать, пока он сам заметит? Только надо поставить так, чтобы был виден.

А куда его девать потом, когда разрешит? Под стол? Некрасиво. В диван? Скажет — негигиенично, там постель... И как не надоедает так следить за чистотой? Хотя и везет ему — одежда почему-то не пачкается, не мнется.

— Нравится журнал?

— А?.. Да.

— Ты ведь не читаешь. Мечтаешь? А ты полистай. Там о вашем бывшем президенте написано.

...О Сметоне? Где? А... «В Америке... во время пожара... в своей квартире... сгорел бывший президент Литвы...»

— Он жил в обыкновенной квартире?

— А где ж?

— Не знаю... Я в Паланге видел его виллу. У калиток стояли часовые, по двое, друг против друга. Словно окаменевшие. Даже не моргают.

— Это называется «стоять под ружьем». Понравилось?

— Не знаю. Я ждал, что́ они будут делать, если муха сядет на нос.

— Ничего. Должны были бы терпеть. Но это, конечно, ерунда. Иногда солдату действительно бывает трудно. И все же быть военным прекрасно! Чувствуешь свою силу, власть! Неужели ты не хочешь быть военным?

— Не знаю...

— Ради бога, отвыкай от таких неопределенных ответов. Они — явный признак неполноценности. Ответь так мой сын — я просто отлупил бы его.

— А он... будет военным?

— Конечно! Теперь будущее за военными.

— А что будет с остальными?

— Но хватит разговаривать. Я должен кончить письмо жене. Полистай журнал. Там есть интересные картинки.

Девушка! Голая! Если б она еще убрала руку... Может, посмотреть против света? Тогда будет видно насквозь. Но Гросс заметит.

— Ну, Альгис, интересно?

— Ничего...

— Не стесняйся, ведь ты уже не маленький. Настоящие мужчины любят такие картинки. Только при этом не краснеют. Ну ладно, включи радио и поищи хорошую музыку.

О донна Клара,
я видел в танце тебя...

— Нет, нет, ищи что-нибудь другое.

Я тебя целовал так сладко...

— Тоже нет. Послушай, что передает Берлин. О, Бетховен! Прекрасно, оставь.

...Он и в музыке разбирается.

— Наш директор тоже был в Берлине. Две недели. Сегодня в обед созвал всех в столовую и рассказывал.

— Он, конечно, в восторге?

— Да.

— Ничего удивительного. А ты, наверно, завидовал ему. Думал, что и самому неплохо бы съездить. А?..

— Да...

— Тоже вполне естественно. Берлин — одна из красивейших столиц мира.

— А как вы угадали, о чем я думал?

— О, это совсем нетрудно. Могу тебе даже сказать, о чем теперь думаешь. Сказать?

— Не надо...

— Значит, я угадал. А живую такую, как эта в журнале, хотел бы иметь? Опять покраснел. Ради бога, из-

бавься от этой детской привычки. Ведь у тебя есть девушка?

— Нет... Да... То есть, была. Мы вместе учились. — (Надо сказать!) — Недавно мы пошли в кафе. А там проверяли документы. И ее увели.

— Да, кстати. Я узнал о твоем отце.

— Где он?

— Передай матери, что он цел и невредим. Пусть не волнуется. И, главное, больше верит в наш гуманизм.

— Конечно. Она вам будет очень благодарна. Я ей скажу. Сейчас вернусь...

— Уже и бежишь? Тебе только это нужно было? А я думал, что тебе просто интересно заходить ко мне. Так сказать, бескорыстно.

— Да, конечно...

— Так что случилось с твоей девушкой? Не комсомолка?

— Нет. Просто проверили документы и увели. Всех. Только одну оставили. Она была с таким стариком, своим мужем.

— А...

— Вы знаете, где она?

— Думаю, что да.

— Она оставила свой портфель. Я хотел вернуть.

— Можешь не волноваться. Полагаю, он ей теперь не очень нужен.

— Все равно. Не хочу его держать дома. Мать...

— Понятно. Значит, хотел бы отнести? Что ж... Это было бы даже интересно...

— Она здесь? В городе? ..

— Да.

...Почему Гросс улыбается?

4

Ирену трясет мелкая дрожь. Она идет, понурив голову. Лицо спрятала в воротник. Но все равно кажется, что все смотрят на нее, знают, откуда ее ведут.

Другим, может, ничего — они взрослые. А о ней сообщат в школу. Все узнают. И маме скажут. Мама начнет плакать, упрекать. «Тому ли я тебя учу? Для того ли мучаюсь одна, без отца? Какой позор! С мальчишками по кафе... Сейчас же марш на исповедь!»

— Хальт!

Ирена цепенеет. И другие девушки останавливаются. Даже прохожие замирают словно вкопанные.

Оказывается, одна девушка, в белой шапочке, хотела убежать. Бросилась в подворотню. Но немец ее догнал, схватил за плечо и, ткнув в бок автомат, гонит назад. Она зло извивается, стремясь сбросить руку немца, но его пальцы так крепко вцепились в ее плечо, что девушка морщится от боли.

— Vorwärts! Вперед!

Группа трогается. Оживают, будто их внезапно толкнули, и прохожие. Они спешат мимо, не поднимая глаз. Каждый боится, чтобы немец не обратил на него внимание, не присоединил к тем, кого ведут.

Передний немец поворачивает вправо.

— Слава богу, не в тюрьму, — вздыхает женщина у самого Иреininого плеча.

...А за что их в тюрьму?

Костел святого Йонаса. Надо перекреститься. Но ни одна не поднимает руку. Может, и ее засмеют? «Боже, не гневайся, что прохожу мимо храма твоего без крестного знамения. Не наказывай за это».

По мостовой плетется колонна евреев. Наверно, с работы, в гетто.

— Какие измученные, — снова вздыхает та же попутчица. — Не приведи господь никому... А на днях ихних опять гнали в Понары на расстрел.

Неужели там на самом деле расстреливают?.. Может, ночью приводят назад, но люди не видят и поэтому так думают?

Что с Рахилью? С тех пор как ее вычеркнули из списков учеников, а потом еще увели в гетто, Ирена ее ни разу не видела. Хотя приглядывается ко всем колоннам людей с желтыми звездами.

Раньше мама не любила Рахиль. Евреи Христа распяли. Они некрещеные. А теперь жалеет. Потому что им сейчас хуже, чем другим.

— Хальт!

Что опять? Ничего. Просто останавливают. Видно, дальше не поведут.

Обыкновенный дом. На окнах белые занавески. Над воротами вывеска: «Nur für deutsche Wehrmàcht» — «Только для немецкого вермахта».

Что за переполох? Несколько девушек бросились бежать. Часовые кидаются за ними. Появившиеся откуда-то солдаты преграждают девушкам путь. Поймали. Гонят обратно. Там и та, в белой шапочке, которая уже раз пыталась бежать.

— Зачем они бегут? — взволнованно шепчет Ирене соседка. — И так опустят. Силой сюда никого не берут. А сопротивление только озлобляет. Надо по-хорошему. Только по-хорошему.

Их вводят через ворота, велят повернуть влево.

Коридор. Много дверей. Одну открывают и впускают их в большую комнату. Видно, приемная, потому что вдоль стен стоят стулья. Белые, как в больнице.

Конвоиры остаются у двери. Один велит снять пальто и повесить в углу. Садиться нельзя. И плакать запрещено.

Входит немец в белом халате. Видно, врач. Значит, здесь на самом деле больница? Он велит всем выстроиться в один ряд. Подойти к нему, отдать паспорт. Если его нет при себе, то назвать свою фамилию, имя, год рождения и адрес. После этого можно сесть.

— Строиться!

Все почему-то толкутся в конце. Ирена вторая. Но стоявшая перед нею вдруг тоже убегает в конец. Теперь Ирена первая.

— Вайнаките... Ирена. Родилась в 1926 году. Месяц нужно назвать?

— Неважно. Адрес?

— Пилимо, 22, квартира 6.

— Следующая!

— Жалдокайте...

Ирена садится.

Который теперь час? Мама уже, наверно, волнуется. И уроки еще не сделаны. Портфель! Оставила... Альгис, конечно, отнесет маме. И скажет, где они были. А Ирена ей говорила, что идет к Милде... Что теперь будет?..

Почему так тихо? Кончили регистрировать? Нет, просто та, дважды бежавшая, не называет свою фамилию. А врач сердится.

— Фамилия?

Молчит.

— Фамилия?

— Ах ты, проклятая литовская свинья! — конвоир ударяет ее.

За что? Может, она немая?

— Не останусь я здесь! В окно выпрыгну, повешусь! Но не возьмете вы меня! Не возьмете!

Конвоир убьет ее!

— Оставь. Будут синяки, — говорит врач. — Запишу, что ее фамилия Швайне. А адрес этот — Субачаус, три. Следующая!

— Сам ты свинья!

...Зачем она ершится? Ведь та женщина говорила, что силой здесь никого не оставят.

— Ахтунг! — рявкает конвоир и вытягивается. Врач тоже вскакивает.

Входит офицер. С ним женщина. Но ее он в очередь не ставит, а проводит в кабинет с надписью «Arzt». Она тоже врач?

Регистрация окончена. Список уносят в кабинет. Вскоре оттуда выходит офицер.

— Сейчас вас по одной будут вызывать к фрау доктор. Она проверит ваше здоровье. Кто окажет сопротивление, сегодня будет ночевать в тюрьме! И это будет последняя ночь! — Он выходит, хлопнув дверью. Регистрировавший врач и конвоиры еле успели вытянуться.

Зачем так угрожать? Пусть проверяют.

Если будут вызывать по списку, она первая. Попросит, чтобы сразу отпустили домой.

Хорошо, что врач — женщина. Но белье... Подумает, что грязное. А оно такое сероватое потому, что стирано без мыла, в щелочи из золы.

Доктор долго не вызывает.

Врач-регистратор волнуется. Наконец приказывает Ирене войти в кабинет, но она не решается. Тогда он сам открывает дверь и почти вталкивает ее.

— Добрый вечер, фрау доктор.

Не отвечает. Смотрит в окно и даже не поворачивает головы. В стеклянном шкафу рядами лежат какие-то щипцы, гнутые ножницы, шприцы. Все это для них? И ключик, как назло, торчит в дверцах.

Доктор все еще смотрит в окно.

Шесть пар ножниц... Одиннадцать пар щипцов. Только бы доктор отсюда ничего не взяла для нее.

Наконец поворачивается. Ирена еще раз здоровается:

— Добрый вечер.

Она смотрит очень удивленно.

— Ученица?!

— Да.

— И уже здесь?

...Почему фрау доктор хватается за голову?

— Gott! Mein Gott!

...Видно, не очень строгая. Может, из шкафа ничего не возьмет?

— Извините... Можно... после того, как вы проверите, сразу пойти домой?

— Домой?

— Да. Мама будет волноваться. И я еще не приготовила уроки.

Фрау доктор, видно, не понимает.

— Так почему ты здесь?

— Привели. Проверяли документы. Мне паспорт еще не нужен. Но все равно велели идти... Так я смогу после проверки пойти домой?

Фрау доктор молчит. Наконец тихо произносит:

— Я тебе ничем не могу помочь...

Ирена не понимает.

— Напишите, пожалуйста, что я здорова, и я пойду.

Доктор отрицательно качает головой.

— Почему?

— Неужели ты не понимаешь, что тебя отсюда не выпустят?

Ирена ошеломлена.

— Но ведь я здорова! И никогда не болею.

— Боже мой, какой ты еще ребенок! — Фрау доктор почти застонала. — Неужели ты не знала, что такое «Субачаус, три»? Тебе нельзя здесь оставаться!

— Но там конвоиры. Выпустите меня!

— Не могу.

— Так что мне делать?

Доктор пожимает плечами.

— Беги.

— А как?

— Не знаю. В дверь, в окно, только не оставайся здесь.

— В окно?

Она выглядывает на улицу. Невысоко. Но там прохожие...

— Поторопись. Скоро вернется офицер.

— На улице люди.

— Тогда во двор. Ну чего ты стоишь? Беги туда, — фрау доктор показала ей на вторую дверь. — Там, кажется, туалет. А уж оттуда... Скорее!

— Спасибо.

— Погоди. Если поймают — скажи, выходила в туалет, я ничего не знала. Понимаешь? Не знала. Ты сама. И сразу беги домой. Нет... — Она опять останавливает Ирену. — Домой тебе нельзя, здесь записан адрес.

— А куда?

— Не знаю.

Ирена тоже не знает...

Фрау доктор выхватывает из сумочки ключи.

— Вот. Я живу напротив. В том доме. Второй этаж, налево. Mein Gott, не дрожи так. Скорее! Беги!

5

Ирена ощупью находит замочную скважину. Тычет ключом. Не лезет. Может, не тот?

А если кто-нибудь в темноте следит за нею? Подумает, что воровка.

Наконец замок щелкает. Она осторожно отворяет дверь и проскальзывает в квартиру. В спешке слишком громко хлопает дверью.

В передней темно. Только из комнаты сквозь неплотно закрытую дверь виднеется полоска света. Наверно, там муж этой врачихи. Офицер. Ведь она немка.

«Во имя отца и сына и святого духа, аминь. Помоги мне, господи. Я тебе свято обещаю больше из дому ногой не ступать. А с мальчишками даже разговаривать не буду. Только защити меня. Спаси...»

Нехорошо, что она здесь стоит. В самом деле, словно воровка. Надо войти, отдать ключи и попросить разрешения дождаться фрау доктор.

Ирена тихо ступает. Скрипнул пол. Она останавливается.

Нет, ее не услышали. Стучит в дверь.

Никто не отвечает.

Ждет. Снова стучит.

Молчание.

Она заглядывает в щелку.

В комнате сумрак. Горит только настольная лампа. А плед на диване торчит так, словно из-под него только что вылезли. Но никого не видно. Одни тени — большие, мрачные.

Хозяин, наверно, в другой комнате. Она подождет.

Холодно. Форма мокрая. Выбежав, Ирена спряталась за сугроб — во дворе кто-то был. Даже легла в снег. Теперь он тает. Наверно, и на пол накапала. Она извинится. И вымоет пол.

Перед мамой тоже извинится. Расскажет всю правду, как на исповеди. Пусть простит. Пусть не шьет теплого пальто. Ирена будет носить летнее. Только пусть не ругается. Она больше никуда не будет ходить. Даже к подругам.

И зачем она дала Альгису уговорить себя? Сидела бы теперь дома. Уроки уже приготовлены. Мать штопает, она вышивает. Хорошо, спокойно.

А теперь.., Кафе... По городу под охраной. И здесь... «Неужели не знала, что такое «Субачаус, 3»?»

Господи!

Ирена чуть не вскрикивает от ужаса. Даже не сразу соображает, что это звонят в дверь.

Боже, что делать?

Опять звонят...

Сердце так сильно колотится, что там, за дверью, могут услышать.

— Девочка, открой. Это я.

Фрау доктор! Слава богу.

Ирена ощупью находит замок и отворяет дверь. Фрау доктор входит, не зажигая света, вешает пальто. Идет в комнату. Ирену не приглашает, хотя дверь оставляет открытой.

Может, самой зайти? Неудобно. Лучше она здесь подождет.

Все же надо поблагодарить и идти домой. Ирена нерешительно стучит.

Тихо.

Она заглядывает в комнату. Фрау доктор лежит поперек дивана, уткнувшись в подушечку. Плачет? Неужели они тоже плачут?..

Никто не приходит успокоить. Только свет настольной лампы словно обнимает плечи.

Ирена переступает порог. Хочет попрощаться, но не

может произнести ни слова. Будто что-то застряло в горле и не пропускает голос.

Наконец она выдавливает:

— Я пойду...

Не поднимая головы, фрау доктор бормочет в подушку:

— Уже поздно. Комендантский час.

— Мама будет волноваться.

Не отвечает. А Ирена стоит, ожидая все же разрешения уйти.

Наконец фрау доктор начинает реже всхлипывать. Садится. Устало отводит со лба прядь промокших волос. Поднимает глаза на Ирену, повторяет:

— Уже поздно. Комендантский час.

И снова смотрит в одну точку. А на улице скрежещет деревянная лопата. Это дворник чистит снег. За ночь снова выпадет, и завтра он опять будет чистить.

— Я им помогла... Помогла... Но что мне было делать? Меня заставили. Их врач заболел, а я живу рядом. Да еще немка. Я не знала, куда меня ведут...

Она умолкает. Но тут же снова начинает говорить:

— Неправда. Я представляла себе...

Внизу стукнула дверь. Фрау доктор внезапно выпрямляется, прислушивается. Но, не услышав шагов на лестнице, снова сникает:

— Жду своего мужа. Мне обещали его выпустить.

...Выпустить? Разве немцев тоже забирают?

— А все-таки я им помогла... Но ты пойми... Альберт, мой муж, всегда говорил, что человека надо понять. Не осуждать. Видеть в нем хорошее...— Помолчала.— Если бы я отказалась, девушек осмотрел бы другой врач. От этого их судьба не изменилась бы. А моя?.. Альберта бы наверняка не выпустили.

— А теперь... выпустят?

Не отвечает. Что все-таки делать?

— Фрау доктор...

— Меня зовут Гертрудой.

— Фрау... Гертруда, что мне делать?

— До утра оставайся здесь.

— Но мама подумает, что меня забрали.

— А если пойдешь, на самом деле заберут. Комендантский час.

Заберут. Заберут...

6

Скоро вечер, фрау Гертруда вернется с работы, а Ирена опять не вытопила печь. Фрау Гертруда, конечно, ничего не скажет, но ведь нехорошо. Спасла ее, приютила, кормит, а она даже не может заставить себя что-нибудь делать.

Но ведь и жить она себя еле заставляет! Ждет, только бы скорее прошел день, настал вечер, когда можно будет лечь спать и хоть во сне ничего не чувствовать.

А какая мука — просыпаться. Еще, кажется, спишь, а сознание пронзает: мама в тюрьме! Словно кто-то рядом произнес вслух. Ирена открывает глаза. Никого нет.

Хочется плакать — зачем проснулась? Опять надо будет прожить такой невыносимо длинный день.

Хоть бы минутку не думать! Но мысли не дают забыться.

Мама в тюрьме...

Тогда, в первое утро, фрау Гертруда пошла успокоить маму. Ирену не пустила — может, там подстерегают немцы.

Вернувшись, еще не сразу рассказала. Шагала по комнате. Садилась. Снова ходила. А Ирена не решалась спросить, хотя очень хотелось узнать, что сказала мама.

Потом фрау Гертруда почему-то вторично умылась. Отрезала Ирене ломтик хлеба и тоненько посыпала сахаром. Сама не ела. Но присела рядом. Неловко положила ей на плечо руку.

— Я была...

— Мама очень сердится?

— Нет... Ее не было...

— Может, надо было подождать. Она, наверно, пошла меня искать.

— Нет... — Фрау Гертруда произнесла это так удрученно, что Ирену охватил страх.

— Где мама?

— Ее увели. Пришли за тобой... Взяли ее.

Ирена вскочила:

— Я пойду!

— Куда?

— Искать маму!

— Ее... увели в тюрьму...
— Маму?! В тюрьму?!
— Ваша соседка сказала...

Мама в тюрьме! В тюрьме... Эти слова так и застряли в голове.

Как легко было жить раньше. С легким сердцем, ни о чем не думая, идешь в школу. Потом готовишь уроки. И на каток спешишь, и в кино. Все интересно, все радует. И что девочкам нравятся ее косы, и что завидуют ее длинным ресницам. И вообще... Учительница ее однажды даже подвела к окну — посмотреть, не напудрилась ли. И тоже удивилась: «Редкий цвет лица».

Господи, какие это все глупости! Она теперь ничего не хочет: ни школы, ни кино, ни подруг. Даже есть. Лишь по принуждению фрау Гертруды что-нибудь проглатывает. И то со слезами... Как странно, что другие могут целый день что-то делать. Она ничего не может. И не хочет.

Стоит вот так весь день у окна и смотрит на тот дом.

Утром он кажется нежилым. Никто не входит, никто не выходит. Только дворник чистит снег. Останавливается покурить, поговорить с их дворничихой.

Когда фрау Гертруды нет дома, Ирена открывает форточку, прислушивается к их разговору. И уже знает многое.

Если оттуда выводят днем одну девушку, значит, на расстрел. Заболела плохой болезнью. Но если выводят вечером, хоть и одну, то к какому-нибудь генералу. Конвоир ждет, а потом приводит обратно...

Однажды днем повели целую группу. Ирена испугалась. Но вскоре всех вернули назад. Оказывается, их водили в магазин за новой одеждой.

Ирена все хочет увидеть своих тогдашних попутчиц. Кажется, узнала бы. Но не видит. Может, они тоже убежали? Нет, фрау Гертруда говорила, что больше никто не смог. Из-за Ирены было много шума. Офицер злился, кричал. Фрау Гертруда оправдывалась, что ничего не знала. Офицер поставил часового, и он не выпускал даже в туалет. Девушек пришлось осматривать при нем...

А теперь тем более никто не может убежать. Меченые. Дворник рассказывал, что у каждой на голени несмывающейся краской выколот номер.

При мысли об этом Ирену охватывает ужас. Она спешит снова убедиться, что не меченая. Спускает чулок. Кожа чистая. Но страх все равно не оставляет. Он подсовывает другую мысль: может, узнают, что она здесь? Придут за ней...

Она прячется за портьеру. Но от окна все равно не отходит.

Около полудня дом начинает просыпаться. Темные шторы уползают от окон, и дом словно прозревает. То тут, то там за стеклом начинают мелькать лица. Ирена старается их разглядеть. Но своих попутчиц все не видит.

Однажды, когда там вдруг открылось окно, Ирена вздрогнула: они? Нет, незнакомые. Уродливо накрашенные. Видно, из таких, которые пришли сюда добровольно. Фрау Гертруда говорит, что есть и такие. Открыв окно, они зазывали прохожих, грубо шутили. Некоторые мужчины проходили, не поднимая глаз, другие отшучивались, указывая на вывеску — ведь только для немцев.

А вот теперь, под вечер, дом окончательно оживает. Девушки причесываются, наряжаются. На первом этаже, в зале, накрывают столики. А за окном, где кабинет врача, появляется мужчина в белом халате. Не тот, который регистрировал. Видно, настоящий врач.

У ворот начинают собираться немцы. Эти четверо, наверно, ждут своих друзей, чтобы вместе войти. А тот, с длинной шеей, только подошел — и прямо в дверь. Строгий, серьезный. Даже с портфелем, будто на службу. Этот долго не задержится. Первым и выйдет. Такой же угрюмый и злой.

Один ковыляет на костылях. За ним идут еще двое. И еще один, тоже отведавший фронта — черная повязка вместо глаза. Подъезжают извозчичьи сани. Выпрыгивают два офицера. Стаскивают третьего. Он безногий! Друзья его вносят на руках. И этот сюда...

В кабинете врача начинается прием. Входит первый посетитель. Выбрасывает руку — «хайль Гитлер» — и начинает отстегивать ремень. Врач зажигает свет и опускает штору.

Окна зала еще не затемнены. Кельнеры сервируют столики. Начинают собираться девушки.

Опять незнакомые... Слоняются из угла в угол, скучают. Одна включает радио.

По окну сползает черная штора. Медленно укорачивается прямоугольник света на снегу. Уже остается только полоска. И она исчезает. То же у второго окна, у третьего. На улице становится темнее. Чернеют глазницы окон. А из дома несется фокстрот. Шумный, требовательный. Он велит веселиться.

И они веселятся. Днем забирали людей. Гнали, расстреливали. Или вешали. Как повесили мужа фрау Гертруды...

Вначале фрау Гертруда верила, что мужа выпустят. В гебитскомиссариате ей обещали. Каждое утро, уходя на работу, говорила Ирене, чем его накормить, когда придет. Вечером торопилась домой. Не найдя, грустнела. Но снова начинала верить, что завтра он уж наверняка вернется. И весь вечер рассказывала о нем. Как они познакомились. Это было дома, в Мюнхене. Они работали в одной больнице. Родители не разрешали ей выйти за него — еврей. Не понимали, что она человека любит. И ей все равно, какой он национальности.

Они поженились, и родители от нее отказались.

Когда Гитлер пришел к власти, она еще не сразу поняла, что это значит. А муж, Альберт, скрывал — не хотел ее волновать. Но когда в день его рождения почти никто из друзей не пришел, она и сама поняла... Как раз в этот вечер Альберт сказал, что придется уехать.

Она позвонила матери. Несмотря на проклятье, хотела попрощаться. Альберт ушел из дому, чтобы не мешать. Мать, конечно, пришла. Забыв всю свою гордость, ходила за нею среди беспорядка раскрытых чемоданов и беспрестанно говорила. Доказывала. Просила. Умоляла. Зачем бежать с родины? Что ждет на чужбине? Здесь теперь начинается такая жизнь!..

Фрау Гертруда не спорила. Терпеливо слушала, но ответила, что все равно уедет. Мать бросилась к телефону звонить отцу. Но он ответил, что будет разговаривать со своей бывшей дочерью только тогда, когда она перестанет позорить немецкую расу, то есть разведется с этим человеком и вернет себе свою немецкую фамилию.

Мать ушла не попрощавшись. И Альберт в этот вечер вернулся поздно. А придя, очень медленно открывал дверь. Словно не решаясь. Увидев, что она здесь, кинулся к ней, обнял и долго не мог ничего сказать. А потом

повторял все одно и то же: «Как хорошо... Как хорошо, что ты есть...» Значит, боялся, что мать уговорит ее.

Они приехали в Вильнюс. И ничуть не жалели об этом. Но Гитлер догнал их и здесь...

Альберт не хотел идти в гетто. Прятался в кладовке за кухней, где теперь спит Ирена. Но очень страдал. «Словно в большом гробу, — невесело шутил он. — Поднимаешь руку — потолок. Протягиваешь — стена. И темно». Но это, конечно, ерунда. Главное — страх, что каждую ночь могут прийти, забрать... Начал уговаривать жену пойти в гебитскомиссариат и просить для него официального разрешения жить дома. Пусть даже не выходя на улицу... Наивный. Надеялся, что такое разрешение дадут. Не может быть, что Гитлер заразил своей расовой теорией всех. Да и жена сама немка, дочь известного профессора. (О том, что родители от нее отказались, она ведь не сообщит.) А когда она получит это разрешение и Альберту больше не надо будет прятаться, в этой кладовке можно будет спрятать его товарища Якова с женой, которые, увы, в гетто.

Фрау Гертруда пошла. Ее вежливо выслушали, успокоили и обещали прислать по почте письменное разрешение. Но в ту же ночь Альберта арестовали.

Она снова пошла в гебитскомиссариат. И ей снова обещали — освободить, вернуть.

Она верила, ждала. И беспрестанно говорила о нем с Иреной.

А однажды вечером, вернувшись с работы, фрау Гертруда вынула из почтового ящика письмо. Там было удостоверение, что она разведена и ей возвращена девичья фамилия. К удостоверению были приложены два снимка: Альберт на виселице. Анфас и профиль...

Фрау Гертруда будто окаменела с этими снимками в руках. А потом...

Она не умерла, но стала совсем другой. Мало разговаривает, реже о нем вспоминает. И совсем не улыбается. Словно никогда и не умела...

А теперь здесь, совсем близко, всего через дорогу, те же, которые его повесили, веселятся. Отгородились от всех черными шторами и танцуют.

Как они могут? Ведь в ушах должен звенеть предсмертный крик убиваемых. И беспрестанно должна

мучить совесть: я убил человека! Он мог и теперь быть живым, ходить, разговаривать.

Почему бог их не наказывает? Почему в этот дом не ударяет молния? Теперь, когда они здесь. Когда веселятся, смеются и заставляют женщин, согнанных насильно, терпеть их поцелуи...

И обманывают даже своих. Ведь многие, приходящие сюда, носят обручальные кольца. И, наверно, пишут женам, что соскучились, любят. А эти жены верят. Не понимают, что нет никакой любви, есть только это...

Господи, какая страшная жизнь. Обман. Убийства. И все это делают люди!

— Добрый вечер, Ирена.

Ирена вздрагивает — не слышала, как фрау Гертруда вошла. Спохватилась:

— Я... еще не вытопила печь.

— Что ж, будем топить вместе. — Раздевшись, фрау Гертруда начинает укладывать в печь дрова.

Нехорошо. Очень нехорошо. Завтра Ирена уж обязательно вытопит. Но фрау Гертруда, кажется, не сердится. Говорит:

— И картошки начистим.

Зажигает спичку. От нее — лучинки. Подкладывает под дрова. Но поленья влажно блестят и остаются спокойно-равнодушными к стараниям огня. Фрау Гертруда дует, пламя увеличивается, но только скользит по сырым поленьям.

— Не горит, — жалуется фрау Гертруда, переводя дыхание. — Не умею я топить.

— Дрова сырые. Дайте я попробую.

Фрау Гертруда уступает Ирене свое место.

— Перед войной у нас была женщина, которая помогала. А в последнее время топил Альберт, он...

...Звонок!

— Mein Gott, кто там?

Ирена вскакивает, на цыпочках бежит в кухню, а оттуда — в кладовку. Фрау Гертруда пододвигает к двери шкафчик и торопится в переднюю.

— Кто там?

— Это я, Варнене, дворничиха.

Фрау Гертруда впускает ее.

— Добрый вечер, пани доктор.

— Здравствуйте.

— Может, не вовремя? — очень громко говорит дворничиха. — Но я ненадолго. Дай, думаю, зайду к пани доктор, может, не откажется помочь. Кашель замучил, будь он неладен. Уж что я ни делала — и горячий песок к ногам клала, и алоэ пила. Не помогает. Может, потому что без меда пила, а?

— Не знаю. Надо проверить легкие.

— А пани доктор могли бы? Я уж в долгу не останусь. Пол вымою или, может, постирать что-нибудь надо?

— Спасибо, ничего не надо. Только... это не совсем по моей специальности. Но я прослушаю. Проходите, раздевайтесь.

— Спасибо, пани доктор. Я уж завтра. Вымоюсь, белье сменю. Нельзя же к доктору в каждодневном. Я только зашла спросить. Может, пани доктор не сможете или устанете после ночного дежурства.

— Нет, нет, ничего. Приходите.

— А то ведь хуже нет — ночью не спать. По себе знаю. Сегодня вот тоже не буду спать. Знакомый полицейский предупредил. «Не ложись, Варнене, — говорит, — все равно поднимем. Документы проверять будем. Коммунистов и евреев искать будем. Или просто кто не прописан, а живет». — «Ищите, — говорю, — мне-то что?» — «А то, — отвечает, — что будем наказывать не только хозяев квартиры, но и дворников». — «А дворников, — спрашиваю, — за что?» — «А чтобы лучше следили». Да... Но ничего не поделаешь, раз такой приказ... Значит, пани доктор, завтра мне можно прийти? Спасибо, большое спасибо. Дай бог пани доктор здоровья. Извините, что заболталась.

— Ничего, ничего. Всего хорошего.

Выпустив дворничиху, фрау Гертруда на кухню не возвращается. Уходит в комнату.

Тихо. Что она там делает?

Она, конечно, не сможет ее больше держать... А куда пойти? К Милде? Руте? Но ведь надо будет все рассказать... А их мамы могут не поверить, что Ирена убежала о т т у д а сразу. Или просто побоятся. Не захотят ради нее рисковать.

Такой большой город, столько домов. Неужели ни в одном нельзя найти местечко? Хоть на полу, хоть на кухне...

Фрау Гертруда возвращается. Отодвигает шкафчик, выпускает ее.

— Ты слышала?

— Да...

...Наверно, надо самой сказать, что уйдет. Но она не может.

— Дворничиха, видно, знает, что ты здесь...

...Может, броситься на колени? Просить, умолять, чтобы разрешила остаться? Полицейские могут не найти. А она теперь будет все делать — убирать, топить, готовить.

Но губы почему-то не произносят этих слов. А взгляд уперся в лежащую на стуле незаконченную вышивку — гном в поварском колпаке со сковородкой. Сковородка вышита, а гном не весь. Лица еще нет, только колпак и один глаз. И смотрит этот глаз на Ирену, как бы удивляясь.

— Здесь тебе оставаться опасно. Идти совсем некуда?

— Нет...

— Я уже повесила на окно полотенце. Это условный знак нашему другу Якову. Я тебе рассказывала о нем, он живет в гетто. Когда удается, он забегает к нам. Скоро их поведут с работы. Мимо нас. Если он сможет незаметно отстать и сорвать свои желтые звезды, то забежит. Может, что-нибудь посоветует...

...Если бы фрау Гертруда оставила ее у себя, она обязательно кончила бы вышивать этого гнома. И печку топила бы, и пол бы мыла каждый день, и...

Звонок!

...Так скоро?

Еще один. Два коротких.

— Он! — Фрау Гертруда бежит открывать.

Они идут в комнату. Ее не зовут.

...Надо самой войти. Попросить, объяснить, что ей некуда идти...

А ноги словно приклеились к полу.

— Ирена!

Зовут, но она все равно не может двинуться.

— Ирена, зайди, пожалуйста, сюда.

С трудом передвигаясь, она входит в комнату.

— Добрый вечер.

— Здравствуй.

— Познакомься, это дядя Яков.

Он подает ей руку. Фрау Гертруда вздыхает:

— К сожалению, мы ничего хорошего не придумали. ...Все...

— Дядя Яков думает, может... пока, временно... в гетто.

...В гетто?!

А дядя Яков пытается ей улыбнуться:

— Понимаю. Действительно очень странно прятаться там, откуда уводят... Но ведь не каждую ночь... Может, тебе повезет. А здесь наверняка заберут. Да и в гетто у нас есть убежище. Пока, если понадобится, спрячешься с нами там. А потом видно будет. Придумаем что-нибудь. И для тебя, и для себя...

— А другое... нельзя?

— К сожалению, я ничего другого предложить не могу.

...Гетто... Гетто. Там одни евреи. Оттуда берут на расстрел. Она не пойдет в гетто... Но сюда ночью придут полицейские...

— Так что ты решила? Пойдешь со мной или...

...Или куда? Некуда...

— С вами...

И все-таки она не могла решиться выйти. Казалось, что внизу стоит офицер, проверявший тогда документы. Он ее узнает...

Фрау Гертруда шагала по комнате. Садилась на диван, взбивала подушечки, снова вставала и опять ходила. От дивана к буфету и обратно к дивану.

А Ирена стояла, будто прикованная. Смотрела на дверь, через которую надо выйти, но не могла шагнуть.

Фрау Гертруда подошла к ней.

— Пойми, здесь оставаться нельзя.

У Ирены потекли слезы.

Дядя Яков погладил ее волосы. Стал уговаривать. Ласково, словно прося. Это ее еще больше расстроило.

— Не могу... не могу...

— Понимаю. Но надо...

И снова стал объяснять. Но чем больше он говорил, тем труднее ей было произнести: «Иду».

— Пойми, если пропустим последнюю проходящую мимо бригаду, нас могут задержать по дороге в гетто. Нам запрещено ходить по улицам в одиночку.

— Но ведь я не... — Она осеклась, спохватившись. Опустила голову от стыда, что обидела его.

Чтобы загладить свою вину, Ирена подошла к двери. Но шагнуть через порог все равно не могла.

Фрау Гертруда сказала:

— Пойду вниз. Если тихо и увижу приближающуюся бригаду, хлопну дверью. Вы спуститесь.

Как они нырнули в бригаду, Ирена не помнила. Кажется, дядя Яков ее просто втолкнул туда.

Шедший рядом пожилой человек о чем-то спросил ее. Она извинилась, что не понимает. Он удивился. Но дядя Яков что-то объяснил, и больше никто с нею не заговаривал.

Подошли к воротам гетто. Ирена удивилась, что каждого входящего полицейские хлопают по груди, карманам, ногам. Приблизившись, поняла — обыскивают. У одного нашли луковицы. Избили и куда-то погнали. В гетто не впустили. Дядя Яков незаметно выбросил из карманов несколько картофелин. Он носит картошку в карманах!

У самой калитки все начали толкаться, напирать друг на друга. Потом дядя Яков ей объяснил, что это нарочно, чтобы сбить полицейских со счета.

Вот какое оно, гетто...

Та же довоенная, знакомая улочка, только странно непохожая на тогдашнюю. Куцая, словно отрубленная поперечной стеной. Войдя в гетто, Ирена испугалась этой стены. Стоит высокая, угрюмая, будто предупреждает: я отсюда не выпускаю.

Дядя Яков повел Ирену на боковую улочку. Но и там невдалеке чернела стена. Прошли проходным двором, вышли на другую. Опять стена...

Ирене стало страшно. Словно кружат они в темноте по большому лабиринту и не могут найти выхода. Заблудились.

Но дядя Яков спокоен. Оставил ее вот у этого дома, а сам вошел во двор. Обещал сразу вернуться, но задержался. А ей холодно стоять. Да и страшно — если кто-нибудь заговорит, спросит, почему она здесь?

Как много людей! Видно, возвращаются с работы. Где они все умещаются? Ведь домов здесь совсем немного.

Если прищуриться и смотреть только на спины, то между людьми нет никакого просвета. Сплошная чернота. И кажется, будто желтые звезды на их спинах сами движутся по воздуху. Плывут, колышутся.

Странно. Здесь совсем не чувствуется, что там, за этой каменной оградой, целый город. А когда Ирена сама жила в городе, не думала о том, как живут в гетто. Знала, что туда согнали всех евреев, что их берут на тяжелые работы, гонят на расстрел. Но как это гетто выглядит, не представляла себе.

Теперь сама в гетто. Она — в гетто!

А там, в городе, никому, наверно, и в голову не приходит, что вот сейчас у одного дома в гетто стоит католичка. И тут люди, которые проходят мимо, не представляют себе, кто она. Погруженные в свои заботы, не обращают на нее внимания. Думают — своя. Ведь на пальто у нее, как и у всех, желтые звезды.

Она никак не может к ним привыкнуть. Все кажется, что испачкалась, и хочет стереть. Да и пальто неуютное, длинное. Это старое пальто фрау Гертруды.

— Ирена!

Слава богу, дядя Яков вернулся.

— Я.

— Заждалась? Пошли.

Дядя Яков ведет ее во двор. По лестнице.

— Осторожно. Дай руку. — Он в темноте протягивает ей свою. — Света нам тоже не дают. Только днем, чтобы мастерские могли работать.

Они, очевидно, подошли к двери, потому что послышалось много голосов, плач ребенка.

Дядя Яков открывает дверь, и они входят.

Освещенные маленькой коптилкой, в комнате двигаются люди. Седая женщина прямо на полу стелет постель. Рядом другие едят, сидя на узлах. Мисочки держат на коленях. В углу мать моет девочке голову. А рядом другая женщина, еле прикрыв грудь, кормит ребенка. Но он отворачивается и кричит, заходясь до синевы. Мать тоже тихо всхлипывает. Кто-то подает ей кружку теплой воды. С полными слез глазами она благодарит и сразу выпивает воду. Остатком мочит сосок. Обманутый ребенок берет его в рот.

Ирена чувствует, что со всех сторон смотрят на нее. Кивнув сразу всем, она, смутившись, опускает глаза.

— Садись. — Дядя Яков указывает ей место на полу рядом с какой-то девушкой. Та немного подвигается.

— Спасибо, постою...

— Всю ночь? — Дядя Яков старается улыбнуться. — Скоро спать пора.

— Спать?! Здесь?..

Дядя Яков кивает. Еще минуту постояв в растерянности, Ирена опускается на пол. Только не знает, куда девать ноги. Вытянуть — будут мешать людям проходить. Подвернуть под себя — неудобно. Наконец кое-как устраивается. Сидящая рядом девушка следит за нею.

— Ну, Майя, поухаживай за своей новой подругой, — говорит ей дядя Яков и ободряюще улыбается Ирене. — Доброй ночи. Спокойной ночи, — добавляет он очень значительно и выходит.

...Почему он не сказал, что делать завтра? Когда ей вернуться к фрау Гертруде?

— Из какой ты школы? — спрашивает Майя.

— Из первой средней.

— А я училась во второй.

Рядом с Майей сидит ее мама и штопает чулок. Возле нее — девочка. Наверно, Майина сестричка. На шее подвешен маленький мешочек. Девочка украдкой, отвернувшись, сует руку в мешочек, ковыряется и, вытащив отщипанную крошку хлеба, старается незаметно сунуть в рот. Но мать замечает.

— Лизочка, сколько раз тебе надо говорить? Если сейчас съешь весь хлеб, завтра животик будет совсем пустой и будет болеть. Не послушаешься и будешь есть, я заберу у тебя мешочек.

— Это мой хлеб! Мой! — Лизочка обеими ладошками сжимает мешочек.

...А что она будет есть? Так хочется хлеба. Хоть черствого. Ведь хлеб такой вкусный!.. Как это она у фрау Гертруды совсем не хотела есть? Теперь не может оторвать глаз от этой торбочки, в которой еле заметен кусочек хлеба.

— Тебе стыдно носить эти желтые звезды? — спрашивает Майя.

— Д-да.

— Мне тоже. Знаешь, что я делаю, когда нас ведут на работу? Переднюю звезду прикрываю косой. А задняя ведь не так заметна, правда?

...Надо было тоже так сделать.

— Ты любишь жареную картошку? — снова спрашивает Майя.

— Очень.

...Коричневые блестящие ломтики картофеля со шкварками.

— И ты всегда все съедала?

— Да.

— А я — нет. Школьный завтрак почти всегда выбрасывала. Только уж если что-нибудь особенно вкусное... А что ты больше всего любила?

— Все. Огурцы с медом.

— А я — омлет с вареньем. И, конечно, конфеты. — Она вдруг нагибается к Ирене и продолжает шепотом: — Знаешь? Мне кажется, что здесь где-то могут быть завалявшиеся конфеты. Может, под шкафом или на печке. Ведь если до войны тут жили дети, которые их не любили, то могли забросить. Верно? Под шкафом я уже смотрела — нет. Хорошо поискать не удается — все кто-то вертится в комнате.

А Ирена совсем забыла, что любила конфеты.

Майя все говорит:

— Раньше здесь, где ты сидишь, спала другая женщина. С двумя детьми. Но их угнали в Понары — у этой женщины не было удостоверения, она не работала... Поэтому тут есть место для тебя. А там, где живет дядя Яков, еще теснее.

— Он твой дядя?

— Да. Мамин брат.

— Добрый.

— Ага... Знаешь, почему он сначала зашел сюда один, без тебя? Попросил, чтобы тебя ни о чем не спрашивали и не удивлялись. И еще... чтобы... Ну, завтра ты будешь есть с нами, послезавтра — с другими...

...Она послезавтра тоже будет здесь? В этой комнате?

Оглядывается.

Семья седой женщины, которая раньше стелила постель, уже спит. Тесно прижавшись друг к другу, все на одном боку. Их соседи тоже укладываются. И так же на полу. Накрытый пальто, спит младенец. А Майина мама помогает Лизочке аккуратно сложить на ночь одежду. Ирену тоже предупреждает:

— Платье и ботинки положи под руку, чтобы сразу найти.

Ирена кивает.

— Когда врываются немцы, — поясняет ей Майя, — надо быстро одеться и бежать в убежище. Оно там, за кухней.

— Ну, девочки, ложитесь, — велит Майина мать. — Только бы ночь прошла спокойно, — горько вздыхает она.

Ирена стесняется раздеваться при всех. Может, тот мужчина в углу еще не спит? Она только вытягивает ноги и удобнее прислоняется к стене.

— Ложись. — Майя пододвигает ей край своей подушечки. — Накройся пальто.

— Ничего, еще посижу.

И Майя не ложится. Но молчит. Тоже смотрит на коптилку, на ее тоненький дымок, устремленный вверх. Кажется, будто этот дымок спешит вырваться отсюда, убежать. Но, лишь немного поднявшись, словно кем-то вспугнутый, начинает дрожать и пропадает.

Майя опять спрашивает:

— Уроки готовить любишь?

— Не все.

— А я — никакие. Отец меня вечно ругал. Он был очень строгий. И с мальчишками дружить запрещал. Если увидит, что кто-нибудь провожает, или узнает, что без его ведома была в кино, потом в наказание из дому не выпускает. Но я научилась в кино входить, когда в зале уже гасили свет. А мальчишки провожали только до угла. — Майя улыбается. — А ты была в кого-нибудь влюблена?

Ирена качает головой.

— Ни в учителя, ни в артиста?

— Нет...

— И ни один мальчик тебе не нравился?

Ирена опускает голову.

— Нравился! Вижу, что нравился! — чуть не вслух радуется Майя. — Он тебе записки писал?

— Нет...

— А мне писал. Даже в стихах. И такие мечтательные. Правда, когда пришли немцы, он ни разу не появлялся. Со страху и любовь прошла... — Она умолкает. — Бог с ним. Здесь есть такой Алик. Хочешь, познакомлю?

— Нет...

— Зря. Он собирается удрать отсюда. И меня обещает взять. Перед войной он тоже однажды пытался бежать. Но тогда, дурак, из дому. Хотел в Африку или к пиратам. Теперь хочет просто в деревню. Чтобы спастись. Купит у какого-нибудь ксендза фальшивую метрику...

— Что, что?

— Метрику купит. У ксендза. Фальшивую. Ну, умершего человека или вообще...

— Нельзя так о ксендзах! Они — как святые.

— Теперь нет святых.

...Что она говорит! Ведь она не знает ксендзов!

Сердце колотится, а нужных слов нет.

А Майя после таких богохульных слов совершенно спокойна. Медленно раздевается. Ложится.

...Не надо больше с нею разговаривать. А завтра Ирена скажет дяде Якову, что хочет вернуться к фрау Гертруде.

— Когда расстреливали моего дедушку и бабушку, — снова зашептала Майя, — у ямы был ксендз...

«Господи, прости, что приходится слушать такие речи! Буду стараться не слышать, не понимать. Думать о другом... Хвала тебе, Мария, матерь божия...»

— Ксендз предложил желающим креститься. Многие молодые согласились. Думали, что спасутся... Их отвели в сторону. Мужчин отдельно, женщин отдельно. Ксендз покрапал над головами святой водицей, издали осенил их крестным знамением и окрестил всех одним именем. Мужчин — Йонасами, женщин — Онами. А палачам велел расстрелять их у другой ямы. Чтобы не лежали вместе с евреями — ведь крещеные...

Ирене что-то хлынуло в голову. Сковало грудь. Она не может дышать. Не вдохнуть воздух. Это бог наказывает за то, что слушает такие речи. Она умирает!..

— Нет! Нет! — закричала она в ужасе.

Майя вскочила:

— Что с тобой? Приснилось?

...Не снится. Она задыхается!

— Господи!

...Почему в комнате такой шум? Чего они все засуетились? Плачут. Спешат одеваться. Что Майя им кричит? Ведь они все равно не слышат ее.

Услышали. Стали затихать. Укладываются. Только охают.

Вдохнуть все еще трудно. Она лишь губами хватает воздух.

Майя снова подсаживается к ней:

— Ты их напугала. Подумали, что это немцы.

...Не будет отвечать. Пусть Майя думает, что она спит.

Легла.

...Значит, немцы могут сейчас ворваться? И угнать ее вместе со всеми в Понары?! Как она докажет, что не еврейка?.. Зачем она сюда пришла? Надо было остаться у фрау Гертруды. В кладовке не нашли бы...

Но ведь фрау Гертруда велела уходить...

Валяется вот на полу. Одна, среди чужих.

За что бог так наказывает ее?..

7

Ирена чувствует, что кто-то стоит над нею. Открывает глаза.

Она в гетто!

Какая-то старушка старается переступить через ее ноги. Ирена быстро их подбирает под себя, и старушка, поблагодарив, ковыляет к двери.

Светло. Уже день. Там, где ночью спали люди, вдоль стен аккуратно составлены узлы. Комната кажется просторнее.

Оказывается, она здесь не одна. В углу мать пеленает ребенка. Наверно, будет кормить, и он опять будет плакать.

Ирена садится:

— Доброе утро.

— Здравствуй.

— Где все?

— На работе. Майя оставила тебе немного каши.

Действительно, рядом на полу стоит мисочка. Словно котенку.

Каша какая-то коричневая. И грубая. Но все равно приятно есть. Чувствовать, что рот полон. Проглотить — и снова набрать ложкой.

Только разохотилась, а ложка уже царапает дно. Когда женщина отвернется, Ирена лизнет мисочку.

Всю вылизала. Перекрестилась.

...Дальше что?

Надо ждать дядю Якова. Может, скажет, что уже можно вернуться к фрау Гертруде. Скорее бы вырваться отсюда! Но дядя Яков придет только вечером. Еще целый день ждать...

— Простите, который час?

— Не знаю, — грустно отвечает женщина. — Свои часы я уже давно проела. Да и запрещено нам иметь часы.

— Почему? — вырывается у Ирены.

— Почему? — повторяет женщина. — А почему нас вообще закрыли здесь?

...Что ответить? На самом деле, почему? Ведь здесь как тюрьма. Но в тюрьму сажают преступников. Так почему этих людей заточили всех? Только за то, что они другой веры?

— Девушка, ты не уйдешь?

— Что?

— Не пойдешь никуда?

— Нет...

— Может, присмотришь за моим Додиком? Я скоро вернусь. Только сбегаю за хлебной карточкой. Их выдают в подвале. Не хочу туда нести ребенка. Хватит того, что здесь сыро.

— Но я, наверно, не сумею...

— Ничего не надо. Он спит. А если проснется, намочи эту тряпочку водой и дай ему. Соски нет. Пососет и опять заснет. Он такой слабенький, что только спит да спит...

Женщина вздыхает, набрасывает платок и поспешно выходит.

Ирена остается стоять. Боится двинуться с места — там, дальше, уже место других людей. Их пол.

Где-то стукнула дверь. Ирена прислушивается. Тихо.

Не надо было соглашаться. Если малыш начнет плакать и она не сможет его успокоить? Или кто-нибудь зайдет, а она не будет знать, свой это или чужой. Лучше мать взяла бы его с собой, а Ирена подождала бы во дворе. Или, еще лучше, на улице. Может, увидела бы Рахиль.

Конечно, надо обязательно ее встретить. Хоть один знакомый человек.

Может, сбежать вниз? На минутку. Только взглянуть — и обратно. Ведь ребенок спит. А тряпочку можно ему заранее положить.

Ирена на цыпочках перебегает чужой кусок пола. Ребенок спит, раскинув худые ручонки, сжатые в кулачки. Она мочит тряпочку и осторожно, не дотрагиваясь, кладет ему у правого кулачка. Если проснется, сразу найдет.

Тихо, оглядываясь, выходит из комнаты. Спускается по лестнице.

Во дворе женщина под водопроводной колонкой полощет белье. Вокруг нее — заледеневшая лужа. Маленький мальчик пытается прокатиться по ней. Но «каток» слишком мал. И лед неровный, в мелких волночках. Будто вода, перед тем как замерзнуть, долго дрожала от холода и ветра.

Может, ребенок уже проснулся?

Ирена взлетает по лестнице.

Спит.

Она стоит. Смотрит. Какой он маленький! А когда-то и она была такая. Ничего не понимала, не знала. Только ела и спала. Мама ее пеленала...

Мама в тюрьме! И она об этом забыла... Вчера вечером и сегодня ни разу не вспомнила. А ведь мама страдает...

Господи, когда все это кончится? Чтобы снова все было как прежде. Нет... Совсем так уже, наверно, не будет. Но хоть бы жить без страха. Просто жить...

А может, пока она здесь стоит, Рахиль как раз проходит по этой улице? Ведь ребенок спит, можно посмотреть.

Ирена снова спускается по лестнице. Выходит на улицу.

Днем эта стена не кажется такой грозной. Может, потому, что светло и видно, что она из обыкновенных кирпичей?

Улочка пуста. Как в маленьком местечке в воскресенье во время обедни. Нет... Не местечко здесь. Эта стена... Женщина ведет по тротуару еле передвигающуюся старушку. А в другом конце улочки маленькая девочка тащит большое ведро воды. Поставит, отдохнет и тащит дальше.

Рахили, конечно, нет.

Надо вернуться к ребенку. Но он еще, наверно, не проснулся. Она постоит. Может, Рахиль все-таки появится?

Что это за крики? Выстрелы?!

Девчушка, бросив посередине улицы ведро, мчится в подворотню. Торопливо семенит и старушка, обеими руками держась за локоть женщины.

Ирена кидается во двор. Там тоже переполох. Из всех дверей выбегают испуганные женщины с детьми. Тащат узлы. Бегут к маленькой двери в углу двора. Видно, там подвал. Другие, наоборот, спешат мимо Ирены вверх по лестнице. Ирена тоже побежит с ними! Только посмотрит, не проснулся ли ребенок.

На лестнице ее догоняет запыхавшаяся толстуха. Что-то кричит. Но Ирена не понимает. Женщина хватает Ирену за руку, тащит за собой и снова что-то говорит. Ирена только понимает, что она говорит о немцах.

— Где немцы?

— Ты что, с неба свалилась? — накинулась на нее женщина.

...Боже, сейчас они ее поймают! Надо бежать!

...Ребенок!

Вместе с толстухой Ирена вбегает на кухню. Две вспотевшие, растрепанные женщины стараются отодвинуть плиту. С ума сошли, что ли? Но и Иренина попутчица бросается на помощь. И какой-то странный старик, похожий на Дон-Кихота. Еще две женщины, мужчина с перевязанной рукой. Даже дети.

Ирена тоже присоединяется. Толкает изо всех сил, даже в голове загудело от напряжения.

Плита шевельнулась. Движется! Оказывается, она не вмазана в стену, хотя настоящая, с конфорками.

Медленно отодвигается от стены.

Там — отверстие. Все кидаются к нему. Особенно рвутся те две растрепанные, которые первыми старались отодвинуть плиту. Их пытаются удержать, чтобы пропустили детей. Но они, кажется, ничего не слышат.

...Может, сбегать за ребенком? Но, наверно, уже вернулась его мать. Сама спрячет. А Ирена может не успеть. Немцы уже близко. Сейчас ворвутся во двор.

Пока их еще нет. Двор пуст. Только из колонки льется толстая струя воды на брошенное в тазу белье.

Господи, немцы сейчас будут здесь, а эти люди так медленно пролезают! Скорее! Зачем они толкаются, ведь только мешают друг другу. Ирена уперлась в стену, иначе ее оттолкнут, она останется здесь, ее схватят!

Наконец, оцарапав руки, она протискивается.

Темно. Что это — укрытие в стене или потайная каморка? Потолок, наверно, низкий. Не выпрямляясь, подталкиваемая входящими, Ирена нащупывает что-то вроде скамейки и садится.

Наконец влезли все.

Мужчина со стариком высовывают в отверстие какие-то кочерги или крюки. Шарят. Видно, хотят зацепить. Зацепили. Из темноты, со всех сторон, словно привидения, кидаются тянуть эти крюки. Тащат плиту на место. Ирена тоже хватает. Только бы скорее! Успеть! Закрыться!

Отверстие тускнеет, гаснет. Совсем темно. Плита на своем прежнем месте. Ощупью, задевая чьи-то лица, руки, Ирена находит место и снова садится. Старик с мужчиной еще возятся. Что-то закрывают, защелкивают.

Тихо. Только кто-то рядом очень громко дышит.

В углу зашептал ребенок. Со всех сторон на него испуганно шикают.

Значит, здесь не так уж безопасно, если могут услышать даже детский шепот. Боже, спаси и сохрани!

А тот ребенок? Куда мать с ним спряталась?

Кричат! По-немецки...

Гонятся за кем-то... Во дворе...

«Отче наш...»

Уводят... А те люди, наверно, тоже прятались. Значит, все равно могут найти...

Тихо.

Выстрел!

Кто это кричит по-литовски? Ругается... Погоняет... неужели и литовцы здесь? Не может быть, наверно померещилось. Но ведь мама говорила, что есть такие, которые им служат. Значит, и т а к служат...

Сколько времени она уже здесь? Надо было считать. С самого начала, как только вошли. Отсчитала шестьдесят — и прошла минута. Потом другая, третья.

Может, уже прошел час? Нет, наверно, меньше. Но кажется, что она здесь давно. А в гетто и вовсе целую вечность. На самом деле и суток нет...

Собаки лают! Немцы ищут с собаками! Тогда наверняка найдут...

Они уже близко.

Нет, она не пойдет. Объяснит, что не еврейка, что в гетто попала случайно, по недоразумению. Ее должны будут отпустить. За что ее брать?

А за что их берут?..

Идут... Сюда?!

Поднимаются по лестнице... Распахивают дверь. Это в комнату.

Ребенок плачет! Неужели мать не вернулась?!

Они уже совсем рядом, на кухне! Швыряют кастрюли... Отодвигают... Нет, не плиту... Видно, шкафчик. Выпала посуда. Сейчас возьмутся за плиту. Сейчас...

Свисток! Где это? На улице?

Чего они ржут?

— Heinrich! Feierabend. Alles.

Фейерабенд? Фейерн — праздновать, отдыхать. Абенд — вечер... Неужели кончили?

Нет. Бьют посуду. Топчут. Смеются.

Уходят?!

Спускаются по лестнице...

Сердце колотится, словно наверстывая то время, когда Ирена сидела, затаив дыхание.

Соседка радостно сжимает ей локоть.

Тихо.

Кто-то шепнул. Ему ответили. Не рано ли? Может, на кухне еще остался немец и ждет, чтобы они выдали себя?

Никому такое, видно, не приходит в голову. Каморка полна однообразного шуршанья. Будто летают маленькие шелковистые шмели, тихо шуршат крылышками... Они шепчут Ирене, чтобы она уснула... Спала...

Ирена вздрагивает. Может, она на самом деле задремала, и все это ей приснилось? Солдаты, плач, топот.

Нет, не приснилось. Она в каморке. Темно. Только никакие шмели не летают. Просто люди разговаривают шепотом. А ребенок там, в комнате, видно, снова уснул. Все равно мать будет ее ругать, что не взяла его с собой. Но все было так внезапно... Ведь если бы она замешкалась, ее наверняка поймали бы.

А может, схватили мать? Как такой малыш будет один?

Стук!.. На кухне кто-то есть...

Все обмерли. Поздно. Их, конечно, слышали... Опять постучали. Но очень тихо. Еще раз. Третий.

Все разом заговорили. Громко, стараясь перекричать друг друга. Будто боясь, что там, на кухне, их не услышат. Неужели не могут помолчать, пока выйдут отсюда?

Из-за шума Ирена и не расслышала, как отцепили крюки, оттащили плиту. Только почувствовала, что все кидаются к отверстию. Выползают, неуклюже согнувшись, стонут. Только дети вылезают проворно.

Ирена тоже выбирается. Прищуривается от неожиданно яркого света коптилки.

Уже вечер?

Значит, дядя Яков, наверно, вернулся с работы и скажет, когда ей можно будет уйти отсюда.

Ирена вбегает в комнату. Здесь тоже горит коптилка. А люди столпились там, возле ребенка.

Она кидается туда.

Пятна... Кровь?!

— Насквозь проткнули...

Зачем ей говорят это?

Пятна... Везде пятна... И на лицах людей. Только почему они этого не видят?

Ребенка надо скорее укрыть.

И дядя Яков здесь. Сейчас он узнает, что это по ее вине...

А может, этих пятен нет, только показалось?..

Есть...

Ирена вздрагивает — в дверях мать. Она еще ничего не знает... В страхе кидается к ребенку. Смотрит широко раскрытыми глазами. Хватает его на руки, прижимает к себе.

— Врача! Где врач?

Никто не отвечает....

Она хватает пеленку. Раздирает на полосы. Начинает перевязывать рану. Осторожно, чтобы не причинить боли.

Дядя Яков подходит, берет ее за руку. Она высвобождается и продолжает перевязывать. Он ей что-то говорит. А она смотрит, словно глухая, на его рот, но, кажется, ничего не понимает.

Оглядывается, будто ждет, чтобы кто-нибудь ей объяснил. Вдруг останавливает взгляд на Ирене.

— Это ты! Ты виновата!

— Она была с нами... — пытается кто-то защитить Ирену. Но мать не слышит.

— Убийца! Все вы такие! — Она поворачивается к дяде Якову. — Зачем ты ее привел? Пусть идет к своим! Пусть они ее кормят! И поят! Кровью моего ребенка! На! На!.. — Она кидает Ирене окровавленную подушечку. Уже охрипла, задыхается, но не может остановиться. Не замечает, что уже кричит по-еврейски и Ирена все равно не понимает. Ее пытаются успокоить. Но она не перестает. Плачет, показывает на Ирену, на тряпочку, оставленную вместо соски.

Дядя Яков подходит к Ирене.

— Тебе сейчас лучше уйти отсюда. Пусть она успокоится. Подожди меня внизу.

Не поднимая головы, Ирена выходит.

Во дворе темно. Может, ее здесь изобьют? За ребенка...

Она выбегает на улицу. Хоть быть среди людей.

Никто на нее не обращает внимания. Проходят мимо, как и вчера. Возвращаются с работы. Многие, наверно, и не знают, что здесь было. А придут домой и не найдут своих... Только что угнали...

Ребенок... Его нет...

Если бы можно было вернуть эти несколько часов! Она вбежала бы в комнату, схватила бы ребенка, спрятала бы в каморке и держала на коленях.

Подходит дядя Яков.

— Пошли, Ирена.

— К фрау Гертруде?

— Нет, к нам.

— А к ней нельзя?

— Пока нет. В окне висит знак, что ее нет дома.

...Значит, еще одна ночь здесь...

Дядя Яков, видно, угадал ее тревогу.

— Теперь, наверно, неделю будет спокойно.

Двор. Лестница. Комната. В ней все так же. Одни сидят на своих узлах. Другие уже укладываются спать. Тоже на полу.

Красивая женщина встречает их улыбкой. Дядя Яков целует ее в лоб.

— Познакомься, Ева. Это Ирена.

Ева подает ей руку. Другая рука — на плече дяди Якова.

А он заботливо, словно маленькую, спрашивает:

— Ты сегодня не очень устала?

— Ничего... А ты?

— Тоже ничего, — успокаивает он ее.

— Когда ты вернулся, солдат в гетто уже не было?

— Были. Поэтому нас долго не впускали. Держали за воротами.

— А я только что пришла.

— Знаю. Я заходил. Потом был у них, — он кивнул в сторону Ирены и сразу помрачнел. Видно, вспомнил...

Он берет шапку. Из-под подкладки вытаскивает ломтик хлеба. И еще один.

— О! — засияла Ева. Быстро снимает со стены кастрюльку и выбегает из комнаты.

А он вытаскивает еще один ломтик. И четвертый.

— Все.

Возвращается Ева. Приносит в кастрюльке воды. Мужу наливает в стакан, Ирене подает кружечку, а себе льет в тарелку. И грустно улыбается Ирене:

— Таков теперь мой сервиз.

Дядя Яков дает ей и Ирене по ломтику хлеба. Ева подсаживается к мужу и, прижавшись к его плечу, начинает есть, смакуя, оглядывая, прежде чем откусить, оставшийся кусочек. Даже воду и ту пьет с аппетитом, маленькими глотками. А дядя Яков любуется ее радостью.

Ирене неловко смотреть на них, и она глядит в свою кружку.

— Почему не ешь? — Ева придвигает ей ломтик хлеба.

— Спасибо, не хочу...

— В наше время людей с плохим аппетитом нет, — горько шутит дядя Яков и отдает жене второй ломтик.

Она не хочет брать, предлагает разделить пополам. Ирена понимает, что это из-за нее им приходится делить этот ломтик. Иначе каждому досталось бы по два.

Ева дотрагивается до Ирениного плеча:

— Ешь... Голодной еще труднее...

Ирена опускает голову, чтобы они не увидели вдруг набежавших слез.

— Трудно... — вздыхает дядя Яков. — Но пойми, ведь она мать, погиб ее ребенок. А с горя человек наговорит бог знает что. Иногда даже то, чего не думает.

— Но ведь я не хотела! — уже не пряча слез, говорит Ирена. — Не знала, что так будет. Почему винят меня?

— Никто, девочка, тебя не винит. Настоящие виновники слишком хорошо известны. А ты... Просто очень испугалась и в страхе думала только о себе...

— Но я не знала. Не представляла себе. Почему она меня так назвала? И еще сказала, что все мы такие...

— С горя. Все с горя... Ты потеряла голову со страха, она — с горя. А в том, что не все такие, она сама не раз убеждалась... Ведь даже немцы — и те не все такие. Хотя слишком многие... И ужасно обидно, что слово «немец» теперь значит то же самое, что убийца. Германия — наша с Евой родина, и мы знаем настоящих немцев. Многие из них теперь сами в концентрационных лагерях.

— Почему?

— Об этом поговорим завтра. А теперь пора спать.

Он стелет на полу потертую клеенку.

«...Ты в страхе думала только о себе... Только о себе...»

8

— Альгутис, поздравляю тебя с днем рождения.

— Спасибо.

...Надо бы матери поцеловать руку. Но он уже отвык. Это отец приучал в благодарность целовать руку.

— И будь счастлив. А это — наш с Эленуте подарок. Конечно, не слишком богатый. Но что поделаешь...

— Братик, я тебя тоже поздравляю.

...Ее поцеловать проще.

— Спасибо. Дай мордочку, чмокнемся.

...Мать довольна. Ладно, пусть радуется.

— Надень, сынок, наш подарок. Может, надо подправить. Так я сразу...

Это отцовская рубашка. Конечно, перешитая.

— Не надо поправлять. Хорошо.

— Какой ты уже большой. Увидел бы сейчас тебя отец...

— Отругал бы, что я надел его рубашку.

— Нет. Он по нас, наверно, очень стосковался. И любит.

...Любит. Один день. Вернувшись откуда-нибудь, он в первый день всегда был добрый. А потом все начиналось снова: этого нельзя, то запрещено.

— Альгутис, может, ты сегодня не пойдешь на улицу? Воскресенье, на работу не надо. А ты кашляешь. Посиди дома. И с нами побудешь. Ведь мы тебя так мало видим.

Эленуте уже тащит игрушки.

— Ты будешь продавцом, а я у тебя куплю много хлеба. И конфет. Ладно?

— Видишь, как обрадовалась. Поиграй с нею. И вообще не тяготись домом. Иметь дом — это большое счастье. Теперь столько людей лишены его...

...Началась проповедь!

Звонок! Слава богу, выручил — мать пошла открывать, Эленуте засеменила следом.

Может, это к нему пришли? Поздравить с днем рождения? Надо встать.

Нет. Это к Гроссу.

Кого интересует, что сегодня у него день рождения? На фабрике он кое-кому говорил. Но они, наверно, забыли. А может, даже не собирались помнить. Ведь он для них чужой. Не такой, как они. «Наш гимназистик». Хотя работает наравне со всеми. И курит не меньше других. Только о политике не говорит. И о барышнях. Потому что у него будет не такая, как у них.

...Она ждет его в красивой комнате. Стены обиты белым шелком. Уютный полумрак — в углу горит розовый торшер. Она сидит в кресле и, ожидая его, дремлет. Голова склонена. С плеч соскользнул халат из тонкого прозрачного шелка. Распустились локоны густых золотистых волос. А ресницы такие длинные, что от них даже тень падает на лицо.

Он тихо подходит, нагибается. Ресницы вздрагивают, она просыпается и с улыбкой тянет к нему руки...

— Альгутис, вставай, сынок!

...Эх, вечно мать не вовремя...

— О, ты еще спишь?

— Да.

— Тогда я Эленуте возьму с собой. Мне надо уйти, а в спальне топится печь. Ты ее закроешь? Минут через десять.

— Хорошо.

— И вставай, сынок. Пора. Может, зайдет кто-нибудь из школьных друзей. Извинись, что нечем угостить.

— Можете не беспокоиться. Не придут.

— А вдруг вспомнят? Ведь в прошлом году были.

— Так то был прошлый год.

Мать вышла.

...Слава богу.

...В прошлом году пришли, потому что их пригласили. И еще потому, что учились вместе. Дружили. А теперь? Если доведется случайно встретиться на улице, то и говорить не о чем. «Здравствуй». — «Привет». — «Как живешь?» — «Ничего». — «И я ничего». — «Почему не появляешься?» — «Работы много». — «А нам тоже задают много. Но ты заходи, не пропадай». — «Ладно». — «Привет». — «До свиданья».

Вот и весь разговор. А тогда... И в школе вместе, и из школы гурьбой. А вся забота — что бы такое позабавнее придумать.

До чего смешными были состязания, например кто больше съест пирожных. Все в кондитерской смотрели, как они пихают в рот одно пирожное за другим. Притом обязательно с кремом. Это Ричка придумал. Зато и платил за всех. Что́ ему, если отец дает сколько хочешь денег... Сам тогда и выиграл — двенадцать штук слопал. Зато назавтра, как раз в день рождения Альгиса, он ничего не мог взять в рот. А вкусный был торт. Большой, весь утыканный мерцающими свечками. Горело пятнадцать, зажгли шестнадцатую. Потом все погасили, мать их сняла и стала разрезать торт.

Теперь эти свечки лежат в буфете. Правда, уже мало осталось — мать иногда зажигает по одной, когда нет света. Но в одиночку эти свечки горят очень тускло. Словно сами боятся темноты...

Да. Этому Ричке везет. При всех властях хорошо живет. При Сметоне его отец был крупным чиновником. При советской власти, незадолго до войны, неожиданно выяснилось, что Ричкина бабушка немка, и вся семья уехала в Германию. Жили там в бабушкином поместье, у Рички даже была собственная двуколка, на которой его возили в школу.

Теперь они вернулись. Ричкин отец снова большой начальник, дружит с немцами. И они опять живут лучше всех.

Папа почему-то не любил ни Ричку, ни его отца. Однажды, как раз когда они собирались уезжать в Германию, папа сказал, что Ричкин отец, видно, едет занять должность палача. Ибо в газете писали, что в Германию

приглашают на работу исполнителя смертных приговоров. Оклад хороший.

Альгис опешил — неужели правда? Но отец больше ничего не сказал, и Альгис решил, что это просто была шутка. Но все же, когда Ричка вернулся в Вильнюс, Альгис как бы невзначай спросил его, что там делал его отец. Оказалось, был каким-то советником.

Да. Если Ричка пришел бы сегодня поздравить, то, конечно, принес бы какой-нибудь сногсшибательный подарок. И уж обязательно строил бы из себя святошу. В гостях он всегда так. Разговаривает тихо. Подарок подает, будто стесняясь. Здороваясь со старшими, скромно опускает глаза; вежливо ждет, пока взрослые первыми протянут руку. А матери обязательно скажет: «Мои родители просили передать вам свои поздравления по случаю дня рождения вашего сына». Даже с Эленуте поздоровается серьезно.

На это он мастер. Все церемонии назубок знает. И мамаши от него в восторге: «Какой Ричардас прекрасный мальчик», «Бери пример с Ричардаса», «Ричардас бы так не сделал».

Очень они знают, что Ричардас делает и чего не делает. Что они сказали бы, узнав, что Ричардас из офицерского казино пиво стащил? Не потому, что нет денег, чтобы купить, а так, из озорства. Чтобы порисоваться. Ведь и по краю крыши прошелся, чтобы всех поразить. Нравится ему, когда девчонки охают и даже пищат со страху. Хочет, чтобы все им восхищались. А главное — Ирена... Но она этой прогулки по крыше даже не видела. И вообще не хочет с ним дружить. А вот к Альгису пришла на настоящее свидание.

Но где она? Гросс обещал узнать, а молчит.

Странный он человек. То ничего — и понимает Альгиса, и сочувствует, что на фабрике такая работа. Даже жалеет его. То вдруг — наоборот. «Жалость — чувство слабых. В Германии от него отучают с самого детства». Оказывается, там в детских летних лагерях каждому малышу в день приезда дают кролика. Все лето он сам его кормит, растит. А осенью, перед отъездом, у детей спрашивают: «Готовы ли вы выполнить любой приказ фюрера?» — «Готовы!» — «Тогда зарежьте каждый своего кролика!»

— И они?.. — удивился Альгис.

— Конечно! — Гросс рассмеялся. — А чего ты так испугался? Ты ведь не кролик.

Альгису стало неловко за свой страх. А Гросс объяснил, что за сильными будущее. Им будут подчиняться все. Люди это начинают понимать. Ибо видят, что слабых — большевиков — уже добивают под их же Москвой.

...Значит, вся жизнь останется такой? Он всегда будет таскать доски?

И Гросс, словно угадав его мысли, сам заговорил о том, что нашел для него другую работу. Но пока не сказал, какую.

Когда Альгис рассказал об этом матери, она испугалась:

— Я знаю, какую они дают работу! Не надо, сынок. Не связывайся. Лучше последнюю рубашку продам.

Когда мать начинает его упрашивать, ему обязательно хочется перечить.

— А потом, когда и ее продадим?

— Пойду к людям полы мыть, белье стирать. Только не служи немцам.

— Теперь все им служат. Для кого, думаете, я таскаю на фабрике доски? Тоже для них. Потому что их власть. И еще потому, что сделанную мебель увозят в Германию.

— Но такой работой ты никому не причиняешь зла. А если там тебе трудно, поищем другую работу. Может, где-нибудь в поместье. Дядя Пятрас ведь уехал. Напишем, он и тебя устроит. В деревне и питание лучше.

Тут Альгиса окончательно прорвало:

— Навоз возить? И это предлагает родная мать!

Много лишнего он тогда наболтал — что уйдет из дому, не желает жить с матерью, которая своего сына готова превратить в батрака.

Мать заплакала. Она этого вовсе не хочет. Наоборот, они с отцом мечтали, что Альгис будет адвокатом. О поместье подумала только потому, что ему там, может, будет лучше. Какая мать не хочет для своего ребенка добра? Только дети этого не ценят. Начинают понимать слишком поздно, когда мать уже лежит в могиле.

Альгису стало страшно. А вдруг мать на самом деле умрет?..

...Она лежит в гробу со сложенными руками. А они с Эленуте стоят рядом и плачут.

Потом гроб заколачивают. На веревках опускают в могилу. Альгис должен бросить первую горсть земли. Эленуте тоже бросает. Потом могильщики начинают кидать землю лопатами. Комья гулко ударяют о крышку гроба... Это закапывают их маму!..

Могильщики насыпают надгробный холмик. Ручкой лопаты выдавливают в земле крест — и все. Мама там, внизу...

И ночью, и в дождь. Она теперь всегда там...

А что будет с ним и Эленуте?..

Альгис тогда так расстроился, что послал Эленуте сказать матери, что он не уйдет с фабрики. Пусть мать не плачет.

Теперь только надо придумать, что сказать Гроссу, если он сдержит слово и найдет Альгису другую работу.

— Альгис, иди сюда!

Гросс зовет! А он еще в кровати.

— Сейчас!

Где ботинки? Помыться можно потом, Гросс не заметит. Готово.

— Господин Гросс, можно?

— Входи, входи.

— Доброе утро.

— А по-моему, уже день. Неужели ты так долго спал?

— Нет, что вы...

— Кажется, сегодня твой день рождения?

...Вспомнил!

— Ага.

— Что ж, поздравляю.

— Спасибо!

— На диване лежит для тебя подарок. Можешь взять.

— Этот?

— Да. Разверни уж. Ведь вижу, что не терпится.

...Бумажник!

— Учти, настоящая кожа, не эрзац. Ваше собственное производство. Надо признать, что кожаные вещицы у вас делают неплохо. Ну что, доволен?

— Очень! Ведь почти новый. Я вам очень благодарен. И... за то, что вы вспомнили...

— О, это было совсем нетрудно. Правда, тому есть причина. Но о ней — позже. А теперь иди, скажи матери, что я скоро зайду к вам в гости.

— Пожалуйста. Но... мамы нет дома.

— А по-моему, только что стукнула дверь. Значит, она вернулась. Так что иди, предупреди.

— Хорошо.

— Бумажник можешь забрать. Я ведь подарил тебе.

— Спасибо.

Альгис тихо закрывает за собой дверь.

...Как сказать матери? И чем угостить? Не вареной же картошкой. Он тоже странный. «Зайду к вам в гости». Но ведь поздравил. И такой подарок...

— Мама...

— О, сынок, ты уже встал? Молодец. Отварю картошки, есть еще немного вчерашнего кофе. Я сахарин достала.

— Мама...

— Что?

— Смотрите, какой бумажник Гросс мне подарил.

— Не новый. Значит, отнял у кого-то...

— Н-нет.., Наверно, купил. Он собирается в гости.

— Пусть.

— Но он к нам собирается. Понимаете? К нам.

— Что?!

— Он просил вам сказать, что скоро зайдет к нам в гости.

— Что ты? Нет... Скажи... Скажи, мама себя плохо чувствует. Извиняется, но не может принять.

— А как я могу это сказать? Человек не забыл, поздравил, сделал такой подарок, а я ему вместо «спасибо» — «не приходите».

— И все-таки скажи.

— Не стану говорить.

— Как ты отвечаешь матери?

— Вы же сами учите быть вежливым. А тут... Ведь он единственный вспомнил, что сегодня мой день рождения.

Стучат!

— Мама, просите. Это Гросс.

— Входите...

— Добрый день, фрау хозяйка. Поздравляю вас с днем рождения вашего сына.

— Спасибо.

— Сегодня мне хочется провести день в домашней обстановке, поэтому решил зайти к вам. Но вы не беспокойтесь, я с собственным угощением. Альгис, выгружай!

...Вот это да! Колбаса! Ветчина! Вино! Масло!..

Гросс, видно, заметил мамино смущение.

— Вы не должны стесняться, фрау хозяйка. Война. Поэтому у нас уже давно принято, что каждый гость приносит сколько-нибудь еды. Или оставляет хозяевам купоны своих карточек.

— Мы... так не привыкли.

— Ничего, привыкнете. Это очень удобно. А теперь приглашайте к столу. Альгис, откупори вино. Ведь ты мужчина.

...Как он себя держит! Будто не в гостях! А мать так не умеет, хотя у себя дома. Сидит, потупив глаза, словно деревенская.

— Мама, позвать Эленуте?

— Да, да, обязательно.

— А мы, мадам, пока выпьем по рюмочке вина. Без тоста, для начала. Прóзит!

...Что это за слово?

Он выбегает из комнаты.

— Эленуте, где ты?

— Я здесь!

— Беги скорее есть колбасу!

— Много?

— Беги, беги. Только не забудь поздороваться. По-немецки.

Эленуте споткнулась на пороге.

— Guten... Альгис, а как «день»?

— Tag.

— ...Tag, господин Гросс.

— О, малышка тоже учится по-немецки? Похвально.

— Это Альгис ее учит.

— Молодец, Альгис. Выпьем и за твое здоровье. Но первый тост за фюрера.

— Спасибо. Мне хватит.

...Что мать делает?

— Мадам, от такого тоста отказываться нельзя.

— Хорошо...

— Это другой разговор. Прóзит!

...Что это за слово?

— Альгис, поухаживай за дамами. Кавалер должен это уметь. Сделай маме и сестренке по бутерброду.

— Эленуте, с чем тебе?

— С ветчиной и колбасой.

— Со всем сразу нельзя.

— Можно. Я разрешаю. Сегодня я все разрешаю. Потому что сегодня у меня праздник — день рождения моего сына Эрика.

— Вашего сына?

— Да. Так выпьем за будущее Германии — за моего сына Эрика. Ему сегодня исполнилось двенадцать лет. Прóзит. Почему вы не отвечаете?

— Прóзит...

— Знаете, мадам, мы, немцы, всегда очень торжественно отмечаем дни рождения. Собирается вся семья, с подарками. Главное — чтобы подарок был неожиданным. Сюрпризом. Неожиданности во время праздника — старая немецкая традиция. Иногда приходится хорошенько поломать голову, пока придумаешь что-нибудь необычное. В прошлом году на мамином дне рождения мой старший брат нас всех перещеголял. Он подарил маме квитанцию об оплате ее кремации.

— Боже!..

— Вас это смущает? А моя мама, представьте, была очень довольна. Во-первых потому, что предполагалось подорожание кремации. А раз заранее оплачено... Кроме того, не надо будет самой вносить каждый месяц плату. А она как раз собиралась сама заранее оплатить свою кремацию, чтобы потом ее смерть никому не причинила лишних хлопот и расходов.

...Он, видно, уже пьян.

— Ты, Альгис, наверно, думаешь, что я пьян?

...Опять угадал!

— Нет, что вы!

— Ты прав. Я совершенно трезв. И то, что я рассказываю, истинная правда. Но вам этого не понять. А мы, немцы, — смелый народ.

— Господин Гросс, может, кофе? Только, простите, не настоящий и с сахарином.

— Альгис, принеси из моей комнаты шоколад и дай своей сестренке. А мы еще выпьем вина. Мадам!..

— Спасибо, я больше не буду. И Альгису хватит.

— Слабые вы люди... Очень слабые. И что бы с вами стало, если б не мы?..

...Только бы мать не вздохнула!

Конечно, вздохнула. А он делает вид, что не замечает.

— Но будьте спокойны, мы очистим Европу от коммунистов и евреев.

— Очистите... Ведь о людях говорите, господин Гросс.

...Зачем мать спорит?

— Ошибаетесь, мадам. Это они себя считают людьми. На самом же деле это низшая раса, которая хотела захватить весь мир. Именно поэтому я сегодня, в день рождения своего сына, должен сидеть здесь, а не у себя дома, со своей семьей... — Он задумывается. — Все уже, наверно, собрались вокруг стола. Грета, рядом наши сыновья — Макс и Эрик. Моя мама, родители Греты, ее сестра. А мой стул пуст, хотя прибор, я знаю, по традиции поставлен.

— Там ваш стул пуст. Здесь — моего мужа...

...Только этого не хватало! Мать уже сморкается.

— А почему? Зачем это нужно было?

...Боже мой, что она говорит!

— Я уже объяснял. И очень досадно, что вы не поняли.

...Гросс начинает злиться! Что она делает?..

— Я поняла... Но поймите и вы. Мы же не просили... Не заставляли вас разлучаться с семьей... А у моих детей отца забрали... Насильно...

— Но я же говорил, что он в лагере.

— А почему? За что?

— Вы слишком много выпили, мадам. Не мешает знать меру. Особенно женщине. Наши женщины...

— Так и езжайте к ним. Зачем вы здесь?

— Мама!.. Господин Гросс, не слушайте ее! Элену-те, попроси маму, чтобы перестала.

— Мама, мамочка, не надо плакать! Не плачь...

— Альгис, уложи свою мать. Пусть выспится. И благодарите бога, что это я здесь живу, а не кто-нибудь другой! Хайль!

— Господин Гросс, извините, что мама вчера так... Молчит.

— Она больше не будет...

— А я был о вас другого мнения.

— И не меняйте его, пожалуйста! Ведь мама так не думает. Честное слово!

— Посмотрим...

— И... не говорите никому. Хорошо?

— Вот как? — Он подумал, но сказал то же самое: — Посмотрим...

Внезапно глянул на Альгиса и очень строго спросил:

— А ты сам так не думаешь?

— Что вы!

— Мать — это старое поколение. Притом женщина. Она не может все понять и оценить. А ты обязан. Потому что ты мужчина и, главное, потому что будешь жить уже в новой Европе. И ты должен быть ее патриотом.

— Хорошо...

— Если смогу в этом убедиться, может, и забуду услышанные здесь вчера слова.

— Пожалуйста. Я вас очень прошу.

...Больше он сегодня, видно, ничего не скажет. А может... Надо еще подождать.

— А ведь у меня был приготовлен для тебя сюрприз.

— Какой?

— На то и сюрприз, чтобы заранее не говорить о нем.

— Но я же не виноват, что мама...

— Конечно. И все же...

...Задумался! Может, еще и скажет?

— Я собирался сегодня свести тебя кое-куда.

...К Ирене?!

— Теперь сомневаюсь. Стоит ли?

— Стоит! Я вас очень прошу! Пожалуйста, пойдем. Я только предупрежу маму.

— О чем?

— Что иду с вами.

— А если она спросит — куда?

— Скажу, что не знаю.

— Это не ответ. Скажешь, что идем... Куда же мы идем? К примеру, в театр. Будем смотреть «Нору» Ибсена. Ты этот спектакль видел?

— Ага...

— Ответ нетвердый. Значит, врешь. Что ж, так даже лучше. Ладно, предупреди. Но учти, ждать не буду. На сборы — три минуты.

— Я сейчас!

— Да! Возьми с собой какой-нибудь портфель.

— Хорошо!

Альгис влетает на кухню.

— Мама!

Ее нет. И в спальне нет. Видно, ушла с Эленуте. Тем лучше, можно оставить записку: «Ушел в театр».

Рубашку надо надеть новую — ведь в театр. То есть не в театр, но все равно. Ботинки тоже не мешало бы почистить, но уже не успеть.

— Господин Гросс, я готов.

— Жди меня внизу. Сейчас спущусь.

На улице Гросс почему-то надулся. Будто втянул воздух, а выдохнуть боится, чтобы не впала грудь. Встречные военные, еще издали заметив его грозный вид, вытягиваются и, приблизившись, поспешно выбрасывают руку. А лица такие напряженные, такие строгие, словно боятся, чтобы Гросс их не заподозрил в умении улыбаться.

Интересно, что они думают об Альгисе? Наверно, завидуют. А что скажут, когда увидят, что Гросс с ним еще и разговаривает?

— Господин Гросс, куда мы идем?

— Мужчина не должен быть любопытным.

Дома он более разговорчив. Ну, не хочет говорить — не надо. Все равно видно, что они идут вместе. Даже в ногу.

— Альгис, сюда!

...В геспапо?! За маму..,

— Господин Гросс...

— Не устраивай истерики. Быстрей!

Он говорит что-то часовому. Их пропускают.

— Однако я не думал, что ты такой трус.

Коридор. Двери.

...Что так стучит? Это их собственные шаги... Хоть бы не в подвал. Там, говорят, очень страшно.

Гросс указывает на дверь.

— Входи!

...Письменный стол? Разве в камерах бывают столы?

И спать негде. Может, это еще не камера? Но на окнах решетка...

— Господин Гросс, за что?..

— Помолчи минуту. Сейчас тебе принесут одежду. Переоденешься и будешь меня здесь ждать.

...Какую одежду?.. Говорят, здесь есть подземелье. Глубоко и без окон, чтобы не слышно было криков. Пол забрызган кровью. А на стенах висят разные орудия пыток.

Может, и отца вначале привели сюда?

А Гросс, оказывается, гестаповец. Все они одинаковые...

Стук в дверь. Входит солдат.

— Хайль Гитлер!

Он кладет на стол немецкую форму. Щелкает каблуками. «Хайль Гитлер!» — и выходит.

...Переодеться в форму?

Возвращается Гросс.

— Ты еще не одет? Ну, живо!

...Зачем? Но не спрашивает, чтобы не разозлить Гросса.

— Покажись. Ничего... Только, штаны, конечно, надо застегнуть. А фуражку вот так. — Гросс посадил ее Альгису на голову так, что стало больно — словно обручем обхватило.

— Свою одежду сунь в портфель. Быстрее! Пошли!

...Куда?

Часовой отдает честь, открывает дверь. Альгис старается не отстать, чтобы его не схватили. Из двери выбегает почти бегом. Чуть Гроссу на ноги не наступил.

Улица!

Он снова на улице! Глупые люди, идут хмурые. Не понимают, как это хорошо — идти по улице. Просто идти, не быть там...

— Альгис, ты почему не отвечаешь на приветствия?

— Я... не знал.

— Это не ответ. И подтянись. Наши военные не такие рыхлые.

...Значит, его принимают за немца? Вот это да... А как подтянуться, если этот чертов китель так сдавил, что и вздохнуть как следует не дает.

— Между прочим, весьма возможно, что ты сегодня встретишь эту девушку.

— Ирену?!

— Не знаю — Ирена она или нет. Только ей незачем объяснять, как ты к ней попал. Понял?

— Насчет формы?

— Да.

...Зря он у гестапо так сдрейфил. Ведь Гросс зашел только за формой. Как Альгис мог подумать, что он его арестует? Еще хорошо, что не обиделся.

А Ирена, видно, не на свободе, раз надо было переодеться. Может, Гросс разрешит ее увести оттуда?

— Альгис, ты опять не здороваешься.

— Извините, я задумался.

— Когда носишь форму, надо меньше думать.

...Опять не в духе! Как быстро у него меняется настроение!

— А знаете, господин Гросс, я здесь недалеко работаю. Если идти по этой самой Субачаус, то там, дальше, есть улица Паупио, где наша фабрика.

— Но теперь мы идем не к тебе на работу, поэтому сворачивай направо. Мы пришли.

— Сюда?!

— Опять испугался?

Они входят в приемную. Сидящие там офицеры мгновенно вскакивают и, словно живые семафоры, выбрасывают вверх руки. Гросс небрежно отвечает и велит кого-то позвать.

Где-то рядом играет музыка.

...Здесь?! Ирена здесь?! Не может быть...

Гросс отворачивается от офицеров и раздраженно бормочет:

— Офицеры моего ранга сюда не ходят. Им приводят домой. Но из-за того, что я живу у вас...

В дверь вбегает какой-то штатский в черном костюме. Вытягивается перед Гроссом. А тот хмуро приказывает:

— Ужин в десятую комнату. Регину. И... позаботьтесь об этом молодом человеке.

— Слушаюсь! — Штатский щелкает каблуками. Услужливо помогает Гроссу раздеться, вешает его шинель и спешит распахнуть перед ним дверь. Альгис хочет идти вслед за Гроссом; но штатский вежливо преграждает ему рукой путь:

— Обождите минуточку! Я сейчас вернусь. — И спешит за Гроссом.

Офицеры снова садятся. Только один остается стоять и барабанит пальцами по пряжке ремня. Нетерпеливо поглядывает на дверь с надписью «Arzt». «Видно, давно здесь не был», — говорит о нем кто-то из сидящих, поднимается такой хохот, что и музыку заглушает.

Возвращается штатский. Даже не взглянув на других ожидающих, подходит к Альгису.

— Разрешите вашу шинель и фуражку. Пожалуйста, портфель тоже. — Он вешает все на вешалку. Альгис хочет попросить вернуть портфель, но не решается. А тот все так же почтительно улыбается: — Чтобы не скучать, пока освободится доктор, может, пройдем в зал?

...Зачем доктор?!

Служащий открывает дверь, пропускает Альгиса и следует рядом, рукой показывая, куда идти.

— Будьте любезны, налево.

Они входят в зал.

...Так вот откуда музыка! Здесь танцуют. Но как... И сидят за столиками. Одна девушка прямо у офицера на коленях. Нет, здесь Ирены не может быть!

Вежливый служащий подталкивает его под локоть:

— Прошу вас! — Он ведет его к стене, на которой висят большие фотографии. — Это наши барышни. Выбирайте.

Проталкиваясь между танцующими, служащий ведет его от одной фотографии к другой. Одинаково застывшие улыбки. Одинаково оголенные плечи. Ирены нет. Конечно. И слава богу.

— Это... все?

— Ни одна не понравилась? Что вы! Наверно, просто не разглядели. Смотрите. Зося. Восемнадцать лет.

...Она улыбается, а все равно грустная. И глаза будто неживые. Как у Эленутиной куклы.

— Значит, выбрали? Отлично! — И он кого-то невежливо поманил пальцем.

Между танцующими к ним пробирается девушка. Похожая на ту, которая на фотографии, но немножко другая.

— Добрый вечер, господин офицер, — и, как старая знакомая, берет Альгиса под руку. Даже жарко стало.

А предупредительный служащий уже кланяется:

— Желаю приятно провести время. Только попрошу не забыть, что вы еще не были у доктора.

Девушка этих слов, кажется, не слышала. Когда служащий отошел, она спросила Альгиса:

— Хотите потанцевать, или сразу пойдем наверх?

— Я хотел... Мне надо поговорить с вами.

Она кивает. Начинает пробираться к двери, так и не выпуская руку Альгиса. Танцующие прижимают их друг к другу, и Альгис боится шевельнуться.

Они поднимаются по лестнице и входят в маленькую комнатку. Кровать. Столик, уставленный флакончиками. Она подходит к окну, поправляет черную штору затемнения. Душится. Поворачивается к Альгису. А он все стоит у двери. И кажется, будто не он это, а кто-то другой, из когда-то читанной книги. Она приближается к нему.

— Я вам очень благодарна, что вы выбрали меня. Это для меня большая честь.

...Все-таки надо спросить.

— Вы не знаете — Ирена... Вайнаките здесь? Я... Мы... с ней знакомы.

...Почему она так испугалась?

— Нет! Прошу вас! Очень прошу!.. — в ужасе лепечет она, обнимая его. — Я страстная! Очень страстная! — Она так прижимается, что у Альгиса дух захватывает. Кажется, лампочка под потолком прыгает. А она вдруг схватила его руку и положила себе на грудь. Альгис отпрянул, словно ужаленный током. И сразу пожалел.

А она сникла. Села на краешек кровати и опустила голову. Он присел рядом.

...Может, самому положить ей руку на плечо? Просто так, чтобы успокоить.

— Почему вы так испугались?

Она долго не отвечает. Потом тихо говорит:

— Если вы попросите другую, значит, недовольны мной. За это нас наказывают. Или... еще хуже... Хотя, может, и не хуже. Ведь страшно только пока ведут. Потом — ничего. Не чувствуешь. Ты уже труп... Нет, нет! — Она вскакивает, начинает срывать с себя одежду. — Я не хочу быть трупом! Я жива! Жива! Иди ко мне!..

10

...Странно. Сегодня все как обычно. Ничто не изменилось.

Утром разбудила мать. Как всегда, торопила. И завтрак дала тот же — два ломтика сухого хлеба, сложенных как бутерброд, да чашку чая с сахарином.

Для матери это утро такое же. А Альгису казалось, что сегодня что-то должно быть иначе...

Но и на улице, когда он шел на работу, все выглядело как обычно. Люди спешили, съежившись — и от холода, и потому, что кажется — так безопаснее. Как всегда, уступали дорогу немецким офицерам. Но теперь офицеры уже не казались Альгису такими... такими строгими. Ведь он вчера видел, что они и танцуют, и пьют. Как все люди.

Зато на фабрике сегодня было нестерпимее обычного. И холоднее, и тоскливее. И уже до смерти надоели все те же разговоры — о карточках, нормах, да как бы не вывезли в Германию. Даже привычные шутки осточертели. Особенно глупая песенка: «Дядя, пришли ты нам сала, кошка всю норму сожрала». Еле дождался конца работы.

Теперь вот дома. И что из этого? Какой интерес? Лежать на диване и смотреть в потолок?

Зашел бы к Гроссу, так тот еще не вернулся с работы. Тоже странный — никто его не неволит, а сидит на работе допоздна.

Как хорошо, что Гросс вчера не оставил его там спящим. Ведь не почувствовал, что засыпает. Проснулся бы только утром. Что сказать матери? Как объяснить на работе, почему опоздал? Все узнали бы. Сколько у человека бывает неприятностей, когда о нем что-нибудь узнают. А не знают — и спокойно.

Да, Гросс молодец, что не ушел без него.

А ведь Зося поверила, что Гросс его дядя. И что он генерал. Как она обрадовалась! Как прижалась... «Попроси своего дядю, чтобы велел выпустить меня отсюда. Буду жить в городе, и ты сможешь приходить ко мне каждый день. Когда только захочешь. Не подумай, что я жалуюсь. Нет. Но я хочу любить только тебя одного. Милый ты мой!»

Так и сказала: «милый» и «мой».

Оказывается, у нее давно было предчувствие, что придет такой, которого она полюбит. Мечтала о нем. Даже представляла себе, как он выглядит. Высокий, светловолосый. Как Альгис.

А насчет Ирены Гросс его, наверно, разыграл. Не могла она там быть. Видно, вывезли на работы. И на нетяжелые, раз брали одних женщин. И Альгис тут совершенно не виноват. Кафе тоже ни при чем — берут отовсюду. Ведь отца взяли из дому. И Иренину мать — тоже из дому.

Интересно, что Ричка сказал бы, узнав о Зосе? Лопнул бы от зависти.

Хорошо бы его повести туда.

Служащий в черном костюме угодливо прыгает вокруг Альгиса, а Ричка только смотрит, вылупив глаза. И тогда Альгис небрежно бросает: «Позаботьтесь о моем приятеле. Он впервые». И выходит. А Ричка таращит глаза, словно первоклассник, да мнет шапку вспотевшими руками.

Альгис, конечно, поднимается к Зосе. Она ждет его...

А если она спросит, говорил ли он с дядей? Скажет... дядя уехал. Неожиданно вызвали в Берлин. На целый месяц.

Нет. Она может увидеть, как они приходят вместе. Лучше сказать, что дядя очень занят. «Знаешь, как много генералы работают!» А если она скажет: «Но ведь за обедом или ужином вы видитесь?» (Зачем он проговорился, что они живут вместе?) «Конечно, но беда, что мы никогда не ужинаем одни. Всегда бывает кто-нибудь из его друзей-генералов. Но я улучу момент, ты не беспокойся». — «А я и не беспокоюсь...» — и она обнимет его.

Они спустятся вниз, в зал, потанцевать. Потом снова вернутся в ее комнату...

А может, действительно попросить Гросса, чтобы Зосю оттуда выпустили? Тогда Альгис сможет к ней ходить, когда захочет. Не надо будет ждать, чтобы Гросс взял его с собой. И переодеваться не нужно будет.

Странно, что, надев ту одежду, он чувствовал себя совсем другим человеком. Словно не тот же, не Альгис он, а другой. Перед ним вытягиваются в струнку. Он может каждому прохожему что-то приказать. А в обыч-

ной одежде его слушается только Эленуте. И то не всегда...

Но все равно, лучше без формы. Хоть не надо бояться, что встретишь кого-нибудь с фабрики или из школы. Как он вчера, идя с Гроссом, не подумал об этом?

Надо попросить Гросса. Пусть Зосю выпустят. Нет, неудобно. Скажет: вечно ты о чем-нибудь просишь.

Ладно, он не станет. Но тогда Зося обидится. Придется выкручиваться. И ходить к ней только с Гроссом. Притом еще волноваться, чтобы не встретить знакомых.

Так, может, все-таки попросить?

Нет, неудобно.

Но Гросс может забыть взять его с собою. А если Зося будет жить в городе, Альгис не будет от него зависеть.

Знать бы, что Гросс не разозлится...

Ну и жизнь! Обязательно что-то решай, чего-то добивайся. Почему человек не может просто иметь то, что хочет? Без этих головоломок, забот.

Так все же — просить или нет?..

11

Чтобы не уснуть, Ирена в темноте водит пальцем по воздуху. Пишет свою фамилию. И разные слова.

Спать нельзя. Дежурный не имеет права заснуть. Немцы могут ворваться неожиданно. Тогда никто не успеет спрятаться. Ей нельзя спать.

Интересно, всех так клонит ко сну? Или другие уже привыкли? Ведь они здесь давно.

А это дежурство они хорошо придумали. Все могут спать спокойно. Если дежурный что-нибудь услышит, — разбудит. Плита ночью стоит отодвинутая, можно успеть спрятаться.

Когда ей вечером сказали, что этой ночью она будет дежурить, Ирена обрадовалась: значит, уже не считают чужой. Она этим дежурством отблагодарит за то, что ее здесь держат. Может, надо было с самого начала предложить дежурить каждую ночь — она может выспаться и днем.

Женщины постелили «постели», а Ирена завернулась

в пальто и поудобнее устроилась в углу. Ведь надо будет так просидеть всю ночь.

Понемногу в комнате стихали голоса. Слышался только шепот. Постепенно и он угас.

Тихо. Спят. Ничего не чувствуют. А если Ирена тоже не услышит, как придут немцы? Может, они нарочно подкрадываются тихо? Она стала так напряженно вслушиваться, что услышала звон тишины.

Надо было сегодня рискнуть и пойти к фрау Гертруде. Но дядя Яков говорит, что на окне все еще висит условный знак, который означает, что ее нет. Она наверно, забыла его снять. Не может же человек целую неделю не быть дома. А если ее на самом деле нет, а Ирена придет. Куда деться? Да и в городе, еще по дороге к фрау Гертруде, она может попасть в облаву.

Дядя Яков успокаивает: облавы не каждый день. И в городе убежать легче — там ведь нет этих каменных стен.

И все же Ирена не может решиться выйти отсюда.

Но с приближением ночи, когда в любой момент могут ворваться немцы, а выходить из гетто уже нельзя, она жалеет и упрекает себя. Молит бога, чтобы эта ночь прошла спокойно. Завтра она уже наверняка уйдет. Но назавтра снова то же самое...

Надо было уйти отсюда в самом начале, на второй день. Тогда она еще, кажется, не так боялась. Но осталась до похорон маленького Додика.

Никто ее больше не упрекает. И не говорят с нею об этом. Но сама... В мыслях все повторяется. И акция. И особенно похороны...

...Рано утром, еще до работы, дядя Яков уносит Додика, завернутого в одеяльце, в морг. Ирена тоже идет. Мать приведут позже, перед самыми похоронами.

В морге Ирену охватывает ужас — она никогда раньше не видела так много покойников. Они лежат двумя рядами. Не в гробах, а на узких скамейках или даже прямо на полу. Завернутые в полотно или закрытые простыней. Возле каждого стоят родные... Кто вполголоса рыдает, кто тихонько всхлипывает. У иных просто текут по щекам слезы. Даже с огарков свечей — и то, кажется, не воск капает, а слезы.

Только возле одного покойника никто не стоит. И свечки нет... Наверно, его душе очень горько... Ви-

тает она здесь над головами людей, жалуется... И тело под простыней маленькое. Не занимает даже всей скамьи. Видно, это молодая девушка.

Дядя Яков кладет у ее ног Додика.

Ирена хочет перекреститься, помолиться. Но не знает, можно ли молиться за некрещеных.

Дядя Яков открывает лицо маленькой покойницы. Старушка! Но такая высохшая! Если б не острый нос, голова казалась бы черепом, обтянутым кожей. Неужели бывают такие худые?

— Умерла от голода. — Дядя Яков накрывает ее. Теперь уже не кажется, что под простыней молодая девушка. Но что там взрослый человек, тоже трудно представить.

Мужской голос что-то громко выкрикивает. Что он делает? Здесь нельзя так громко.

Дядя Яков дотрагивается до ее локтя:

— Гробы привезли. — И выходит с другими мужчинами.

Вносят гробы. Простые, некрашеные, из нетесаных досок. И только большие. Маленьких нет?

А кто поможет дяде Якову уложить старушку в гроб? Только бы не попросил Ирену. Она очень боится мертвых. Когда отец лежал в гробу, мама подняла ее на руки и велела попрощаться, поцеловать отца. Но его щека была такая холодная, что до сих пор Ирена помнит этот мертвый холод.

Слава богу, дядя Яков не просит. Сам, почти обняв старушку, поднимает ее и кладет в гроб. Простыня соскальзывает с исхудалых ног... Ирена отворачивается.

Но кругом то же самое. Все кладут своих в гробы. Плачут, даже целуют или прямо ничком падают на покойных. В углу, у крайнего гроба, люди молятся. А какой-то старик надрезает лацканы их пиджаков.

— Почему? — шепчет Ирена дяде Якову.

— В знак траура.

Но больше лацканы не надрезают. И никто не молится. Неужели всех остальных будут хоронить без обрядов?

Дядя Яков кладет ребенка в гроб к старушке. Объясняет:

— Детских гробиков нет. Даже досок умершим жалеют.

Вдруг она замечает в дверях мать Додика. Ее ведут под руки две соседки. Ирена прячется за спины людей, а потом незаметно выбирается на улицу.

Худющая кобыла, запряженная в большой катафалк, ждет, дрожа впалыми боками. Как она потащит катафалк, если даже собственную голову держать не в силах? Голова склонена так низко, что кажется, будто она тянет шею вниз.

Из морга начинают выносить гробы. Женщины плачут перед последним расставанием во весь голос.

А Ирене очень страшно смотреть, как гробы, словно дрова, кладут штабелем один на другой. И все равно поместилось только шесть гробов. А из морга выносят еще и еще.

Мужской голос что-то громко говорит, и люди снова с плачем и причитаниями вносят гробы обратно в морг. Дядя Яков тоже.

Кобыла долго мучилась — и копыта поднимала, и головой мотала, и дергалась, пока наконец расшевелила катафалк и сдвинула его с места. Заковыляла, с трудом таща его за собой.

Ребенка и старушку похоронили на следующее утро. Теперь гроб стоял у самой двери, и его вынесли первым.

Странные это были похороны. Без обрядов, без молитв. И процессия была небольшая, хотя на катафалке опять стояло шесть гробов.

Недалеко от ворот гетто похоронная процессия остановилась. Охранник поднял шлагбаум и пропустил катафалк. Потом шлагбаум снова быстро опустил, отсекая провожающих.

Несколько охранников встали лицом к процессии, готовые ударить за любую попытку двинуться. Двое других медленно раскрыли ворота. Лошадь с трудом тронулась с места, и катафалк выехал за ворота.

Женщины громко зарыдали. Одна даже вскрикнула. А охранники уже спешили закрыть ворота. Еще мгновенье чернела щель, и всё — сомкнулись.

Провожавших погнали назад — здесь стоять запрещается.

Ирена тоже повернула. Дядя Яков догнал ее.

...Как трудно чувствовать свою вину. Иногда ей хочется самой умереть, только бы не чувствовать этой тяжести. Ничего не чувствовать.

Дядя Яков ее утешает. Пока он говорит, ей не так тяжело. Но как только он умолкает, снова то же самое: она виновата. Очень виновата.

Ее спасли. Фрау Гертруда ее вырвала из того дома, приютила. Дядя Яков взял сюда, делится каждым куском хлеба. А она? Что сделала она?

Но что она может? Жила бы дома, упросила бы маму спрятать и дядю Якова с женой, и мать Додика. Но ведь она сама ждет, когда уже наконец вернется к фрау Гертруде.

А если вместо нее в кладовке фрау Гертруды укроются дядя Яков с женой, а она останется здесь?.. Нет, нет! Одна? Здесь?

Они уместятся в кладовке втроем. Надо только вынести кровать и спать на полу. Здесь они же спят на полу.

А мать Додика?

Может, у фрау Гертруды есть знакомая, которая согласится ее приютить? Или... пусть она спрячется в колокольне костела. Ведь немцам и в голову не придет искать там. Звонарь будет приносить еду. И шубу даст — там холодно. Да, да, она попросит ксендза, чтобы он разрешил. Она ему все расскажет...

Как это она раньше не подумала, что надо им помочь спастись? За это время их могли угнать. Теперь они были бы мертвы. Как Додик...

Сегодня она уж обязательно выйдет из гетто. Ведь дядя Яков говорил, что зря она так боится. У ворот снова начнут толкаться, чтобы сбить полицейских со счета, а по городу она пойдет без звезд — сорвет их сразу за воротами.

Конечно. Она сегодня выйдет отсюда.

Скоро ли утро? Только бы теперь ничего не случилось! Еще хоть несколько часов. Боже, боженька, сотвори чудо!..

12

Фрау Гертруды нет...

Ирена звонит еще раз. Прислушивается, не раздастся ли за дверью хоть малейший шорох. Может, фрау Гертруда все же дома, только боится открыть? Надо было спросить у дяди Якова их условный звонок. Кажется,

два длинных, короткий и еще два. Только длинные или короткие?

Ирена нажимает на кнопку и держит. Но звонок трещит так громко, что, испугавшись, она отдергивает руку. Подождав, снова решается легко нажать. Звонок несмело звякает и умолкает. За дверью тихо...

То же самое было и утром...

Ирена дошла с бригадой дяди Якова почти до самого дома фрау Гертруды. Они пошли дальше, а она сорвала звезды и шагнула на тротуар. Оглянувшись, не следят ли, бросилась в дверь. Взбежала по лестнице, позвонила. Но было тихо. И дверь оставалась наглухо закрытой...

Что делать? Может, догнать бригаду и пойти с ними на работу? Но тогда пришлось бы вернуться в гетто. Нет, туда она не вернется.

Она подождет. Прямо здесь, на лестнице. Видно, фрау Гертруда еще не вернулась после ночного дежурства.

Нет, лучше пойдет в костел помолиться. Ведь давно не была. А за это время и фрау Гертруда вернется. Немцы в костел не заходят — они лютеране.

Ирена молилась долго. И «Отче наш», и «Хвала тебе, Мария», и «Верую». Потом еще шептала богу свои просьбы. Простить за смерть ребенка. Ведь бог видел, что она не знала, не понимала, что так будет... Еще молила, чтобы он ее спас. Не только ее — маму, дядю Якова, тетю Еву, мать Додика, Майю. Всех, всех... Хотела исповедаться, но не могла решиться. К счастью, вспомнила, что сегодня уже ела и причащаться нельзя. В другой раз она сделает все сразу — и исповедуется, и причастится.

Впрочем, только считается, что ела. А всего-то была вареная картофелина да половина сырой свеклы. Сначала Ирена решила сегодня у них ничего не брать — она ведь будет есть у фрау Гертруды. Но пока рот собирался произнести отказ, рука взяла то, что ей было протянуто.

Вспомнив об этом, Ирена стала молить бога простить и этот грех. Больше она никогда не будет людям такой обузой. Она и у фрау Гертруды отработает каждый кусок хлеба, каждую тарелку супа.

Выйдя из костела, Ирена снова заторопилась к фрау Гертруде. Было уже совсем светло. Удивляла ширина улиц. Неужели они всегда были такие широкие? И снег

здесь белее, не такой затоптанный, как в гетто. Людей меньше. И все без звезд.

Взбежав по лестнице, Ирена позвонила. Но в квартире было по-прежнему тихо. А дверь стояла такая же равнодушно неподвижная.

А что, если фрау Гертруда по дороге с работы стояла в очереди за хлебом, задержалась и теперь уже идет домой? Надо подождать.

Но время проходит, а фрау Гертруды нет. На лестнице все так же пусто.

А если сюда поднимется кто-нибудь и спросит, почему Ирена здесь так долго стоит? Или за нею наблюдают из соседней квартиры через замочную скважину?

Ирена боязливо оглядывается на дверь напротив, но замочная скважина кажется пустой. Надо вернуться в костел, там ждать спокойнее.

Нехотя, медленно, останавливаясь на каждой ступеньке, Ирена начинает спускаться.

Внизу хлопает дверь. Фрау Гертруда? Ирена перегибается через перила и смотрит. Это дворничиха.

Ирена быстро, на цыпочках взбегает наверх и становится лицом к двери. Если дворничиха поднимется сюда, Ирена сделает вид, будто только что пришла и звонит.

Поднимается... Уже, наверно, заметила ее. Ирена нажимает кнопку.

— Нет докторши, — слышит она за спиной голос. — В больнице, бедняжка... — И дворничиха начинает подметать лестницу. — Хотя врач, других лечит, но и сама человек, тоже болеет.

— Спасибо... — Ирена неизвестно за что благодарит и сбегает вниз.

На улице шагает быстро, не поднимая головы. Сворачивает с одной улочки на другую, почти бежит. И только начав задыхаться, замедляет шаг. Куда она спешит?

Никуда. Ей некуда идти...

Каждый человек идет куда-то. И эта женщина в синем пальто, и тот мальчик, и те две девушки. У каждого есть своя улица, свой дом. Они могут открыть дверь, войти в комнату. Ночью лечь в свою кровать.

А куда она денется ночью? На улице нельзя. Да и холодно. Хорошо бы спрятаться где-нибудь под лестницей. Или на чердаке... Словно бездомная кошка... Нет, кошке лучше — на нее не обратят внимания...

Господи, что же это стало? Будто не город, а огромная западня.

А она еще собиралась помочь другим... Да, в мыслях все выглядит намного проще...

Но если они теперь не убегут из гетто, их расстреляют. А потом... жалей не жалей, уже не вернуть...

Но ведь она ничего не может!

Господи, что делать? Что делать?..

Она пойдет в костел. Будет еще молиться. Просить бога, чтобы фрау Гертруда скорее выздоровела.

Ирена снова ускоряет шаг. Болят окоченевшие пальцы ног. Ничего, в костеле она согреется.

А что, если там и остаться? Каждый, зайдя помолиться, подумает, что она только что пришла. На ночь костел запирают. Надо будет только спрятаться, чтобы никто не заметил.

Войдя в костел, Ирена останавливается в изумлении. Пусто! И темно. Свет не горит, не мерцают свечи. И алтарь кажется будто меньше. Но ведь это тот же божий храм!

Ирена несмело делает несколько шагов. Крестится. Опускается на колени. Ей хочется ощутить тот волнующий трепет, который она обычно испытывает в костеле, но почему-то от этой мрачной пустоты только пробирает озноб.

Лицо Иисуса на кресте кажется каким-то незнакомым. Наверно, потому, что в тени. И матерь божия странно черная...

«Господи, прости за такие мысли».

Ирена снова крестится. Она будет молиться. Закрыв глаза.

Там бог. Сидит на троне среди ангелов и смотрит на землю. Видит Ирену, горячо молящуюся. Она в белом платье. А длинную фату держат маленькие девочки, только что принявшие первое причастие. Играет орган, поет хор. Сверкают люстры. А вокруг алтаря горят огромные свечи. И пламя на каждой колышется. Словно маленькая балерина — изящно, легко.

Что-то стукнуло.

Ирена с трудом размыкает веки. А где большие свечи? И нет белого платья. Она в пальто фрау Гертруды. И она пришла из гетто...

Что там шевелится в углу? «Во имя отца и сына и святого духа, аминь». Там человек. Женщина. Снимает салфеточки, вытирает пыль и снова стелет. Подходит к распятию, крестится и... проводит тряпкой по голове Иисуса! По рукам... Ногам... Ирена в ужасе зажмуривается и прячет голову в воротник.

— В божьем храме спать не следует, — раздается над нею голос.

Ирена поднимает голову. Рядом стоит эта женщина с тряпкой в руках.

— Я не сплю...

— Молись, молись. — Женщина поворачивается, чтобы уйти. Ирене вдруг становится страшно снова остаться одной.

— Я уже помолилась! — Она сразу же хочет признаться, что соврала, но не решается. Только склоняет голову.

— Еще молись. Молитв никогда не бывает слишком много.

— Я тут жду...

...Зачем проговорилась?

— Не стыдно в костеле назначать свидания?

— Не свидание.

— Все равно.

...Эта женщина может ее выгнать!

— Мне некуда идти.

— Домой иди.

— У меня нет дома.

Женщина пристально смотрит на нее и тихо спрашивает:

— От немцев убежала?

Ирена кивает.

— Хотели в Германию вывезти?

Ирена не отвечает, только еще ниже опускает голову.

Женщина подсаживается к ней.

— Так что делать будешь?

— Не знаю...

— Родители есть или сирота?

— Отец умер, а маму забрали... — Она умолкла, не договорив двух самых страшных слов: «за меня»...

— Молись, — вздыхает женщина. — Молись, чтобы мать вернулась живой. — Она поднимается и собирается отойти.

— Мне можно здесь остаться?

Женщина пожимает плечами. Видно, не поняла ее.

— Можно остаться? На ночь тоже...

— У тебя что — родных нет или хоть подруги?

— Родных нет, а подругам... их мамы не разрешают.

— Так что же с тобой делать?

...Она хочет помочь!

— Экономке ксендза, кажется, нужна помощница. А работать сумеешь?

— Я буду очень стараться! — (...Надо еще что-то сказать, чтобы поверила. Но что?) — Я вас очень прошу!

— Подожди тут. — И женщина выходит в маленькую боковую дверцу.

Ирене вдруг становится страшно ждать в костеле одной. Она подождет на улице. Надо только подняться с колен.

Она с трудом встает на онемевшие ноги и, прихрамывая, идет к двери. Открывает ее и замирает. Вся паперть покрыта нетронутым пухлым снегом. Ветки деревьев словно двойные — внизу тоненькая черная полоска, и на ней узкая снежная перинка. А с неба, покачиваясь, сыплются снежинки. Будто спешат застелить все на земле белым.

Или эта красота опять снится? Нет, это она видит. Но моргнуть боится — вдруг все-таки исчезнет...

Ведь каждую зиму бывает так красиво. Просто Ирена забыла. А в последнее время вообще ничего такого не замечала.

— Экономка просит зайти.

Ирена радостно оборачивается на голос.

— Иди на кухню. Туда... — И, показав рукой на дом, добрая женщина возвращается в костел.

— Спасибо! — Ирена спешит к указанному двухэтажному домику. На крыльцо подняться стесняется — там, видно, дверь в комнаты ксендза. Обходит кругом, ищет другой вход.

У двери долго вытирает ноги. Надо подумать, что сказать. Но кроме «Слава Иисусу Христу» ничего не приходит на ум. Так и не решив, что скажет, тихо стучится.

— Кто там?

— Свои... — Ирена открывает дверь и еще с порога произносит приготовленное:

— Слава Иисусу Христу... — И снова трет ноги об дорожку.

— Во веки веков. — Толстая женщина, совсем не похожая на ту, которая в костеле вытирала пыль, наблюдает, как Ирена старательно протирает дорожку.

— Это тебя прислала Марцийона?

— Да...

(...Надо было спросить у нее имя.)

— Работать умеешь?

— Буду стараться.

— Ладно, посмотрим. Сними пальто и садись чистить картошку. А вечером спрошу у пана ксендза.

Ирена спешит раздеться, но рука, как нарочно, зацепилась за порванную подкладку. Даже жарко стало. Экономка подумает, что она неряха, и не возьмет.

Экономка ставит ведро картошки.

— Вот картошка. Сюда будешь кидать очищенные. — Она подает большую кастрюлю. — Только сперва налей воды. А очистки — в ту кошелку. Когда очистишь, хорошенько вымой и натри. Будем «цеппелины» готовить. Ксендз их очень любит.

Ирена старается снимать кожуру очень тонко, чтобы меньше пропадало. В гетто картошку вообще не чистят, только вымывают. Там такого ведра хватило бы на всю комнату. Может, даже каждому досталось бы по две картофелины.

— Не возись. Пусть будет толстая кожура.

— Ведь жалко...

— Ничего, очистки свиньям скармливаем. А картошки полный подвал, хватит до новой.

...Какие счастливые!

— А у кого ты раньше служила?

...Ее принимают за прислугу.

— Я... не служила. Училась.

— Значит, грамотная. Хорошо. Отпишешь письмо моей сестре. А то каждый раз кланяюсь пономарю.

Экономка умолкла. Смотрит, как Ирена работает. А Ирене от этого взгляда очень неуютно. Да еще, как нарочно, большая картофелина выскальзывает из рук и бухается в кастрюлю. Вода выплескивается на пол. Брызнуло и Ирене в лицо, но вытереть она стесняется.

— А сны объяснять умеешь?

— Нет.

— Ничего, дам тебе сонник. Очень правильный. И свои сны сможешь растолковать.

Экономка снова умолкает. Только слышно, как она дышит с каким-то хриплым свистом в груди.

— Может, ты не обедала?

— Нет. Но спасибо, я... не голодна.

— Откуда ж сыта, раз не ела?

Экономка встает, подходит к шкафу. Ирена не решается поднять глаза, хотя очень хочется посмотреть, что она там делает.

Экономка кладет на стол кусок хлеба и ломоть сала.

— Почистишь — закуси.

...Как много сала!

— Спасибо. Но ведь я еще так мало работала.

— Думаешь, платить буду отдельно за каждую работу? Ты должна делать все, что надо, и есть будешь тоже как положено — три раза в день.

...Неужели они едят как раньше? Ирена не будет всего съедать. Отложит и понесет в гетто.

От этой мысли стало так весело, что, кажется, вскочила бы, обняла экономку, сказала бы, какая она добрая. И о дяде Якове рассказала бы. А может, экономка, узнав обо всем, и от себя добавила бы какой-нибудь еды...

Но Ирена сидит как сидела и чистит картошку. Экономка, конечно, и представить себе не может, о чем она теперь думает. Ведь мысли невидимы. Всегда так. И во всем. О человеке судят не по тому, что он хотел бы сделать, а по тому, что он сделал.

— Чего вздыхаешь? Если голодная, то сперва закуси, потом кончишь чистить.

...Вот и не поняла...

— Нет, спасибо.

— Как хочешь.

Экономка поворачивается к окну. Смотрит в пустой двор. Гладит влезшего на подоконник кота. Ирена отщипывает хлеб и быстро сует в рот.

— Умывается. Значит, гости будут. Кого это бог пошлет? — зевает экономка.

— Ирена, вставай.

— Сейчас, мама...

— Не мама. Это я.

...Экономка.

— По мне, могла бы еще поспать, но ведь сама просила разбудить пораньше.

— Да, спасибо... — Ирена еще плохо соображает. Неужели ей только приснилось, что будит мама? Да, это кухня. И стоит экономка ксендза. Ирена вчера просила пораньше разбудить. Конечно, не сказала — зачем. Она хочет побежать к воротам гетто, когда оттуда выпускают на работу, и подкараулить дядю Якова. Узнать, было ли ночью спокойно, и передать оставленный для них ломтик сала.

Ирена садится, начинает одеваться. Дрожит — то ли от холода, то ли потому, что не выспалась. Экономка тоже зевает, но не возвращается в свою комнату. Стоит, укутавшись в платок. Может, заметила в Иренином кармане сало и думает, что Ирена его взяла сама? Как объяснить? Ирена лишь произносит:

— Я скоро вернусь.

— Можешь не торопиться. — И экономка почему-то вздыхает. — Я тебе вчера не хотела говорить... Думаю, куда денешься на ночь глядя. Но ксендз не разрешает...

Ирена старается понять, о чем она говорит.

— ...чтобы ты здесь служила. Говорит, слишком молода.

— Но ведь я буду стараться! Святое честное слово!

— Не поэтому. Говорю ж, потому что слишком молода. Еще какой-нибудь безбожник сплетню пустит. У ксендза, мол, молодая девушка. Сама понимаешь. Так что поищи себе другое место. До вечера, наверно, найдешь...

«...Поищи другое место... Другое место...»

Ирена от волнения еще больше спешит. А экономка, словно облегчив душу тем, что уже сказала, идет к шкафу. Достает буханку хлеба. Отрезает два ломтя. Толсто мажет маслом и, провожая Ирену, сует ей в руки бутерброд. Осеняет крестным знамением. Но как только Ирена переступает порог, быстро захлопывает за нею дверь и поворачивает ключ.

Темно. На небе полно звезд. Может, еще вообще ночь и нельзя ходить? Надо здесь постоять в тени дома, пока по улице пройдет хоть один человек.

Мороз щиплет уши, щеки. Коченеют пальцы ног. Ветер пробирается сквозь пальто и студит тело.

Как хорошо тем, кто теперь спит на кровати! Тепло укрывшись, уткнувшись в мягкую подушку.

Но ведь в гетто тоже не спят на кроватях. И сейчас, наверно, уже встали, Может, даже выходят на работу, и она опоздала встретить дядю Якова.

Ирена выбегает на улицу, Пусто. Понуро стоят застывшие в темноте дома. Страшно одной идти по такой темной пустой улице, Но Ирена поворачивает в сторону гетто. Сердце пугливо трепещет, глаза напряженно глядят по сторонам, Каждая тень кажется затаившимся человеком. Ирена бежит по середине дороги, подальше от домов, подворотен. Оглядывается, не бежит ли кто сзади. Стало жарко, она задыхается, но все равно спешит. А в висках стучат слова хозяйки: «Поищи себе другое место. Другое... Слишком молодая»...

Господи! Ирена даже приостановилась, пронзенная страшной мыслью. Но сразу же заспешила дальше, словно стараясь убежать от нее. Но мысль не отстает. «Слишком молода... Слишком молода...» Неужели и ксендз думает об этом?..

«Боже, прости за такие грешные мысли!» Наверно, не простит. Накажет. Уже и теперь ноги заплетаются. Нет, нет, она должна бежать дальше!

Вдали что-то чернеет. Человек. Чистит снег. Ирене хлынуло в грудь тепло. Стало не так страшно. Она замедляет шаг. Идет, не спуская глаз с дворника.

По мостовой движется толпа. Значит, из гетто уже выпускают на работу. Может, это бригада дяди Якова? Ирена заходит на тротуар и ждет, чтобы они приблизились. Когда колонна идет мимо нее, Ирена старается разглядеть лица. Но очень темно. Она несмело шепчет:

— Где вы работаете?

— В авторемонтных мастерских. А кто нужен?

Ответить Ирена не успевает — спрашивающий уже прошел, а другие не слышали вопроса.

Пропустив бригаду, она идет дальше. Приближается еще одна колонна.

— Откуда вы?

— Разве не видно, что из королевского дворца?

Ирена так поражена, что не успевает объяснить. Только у самых последних, спохватившись, спрашивает:

— Где вы работаете?

— На мебельной фабрике.

— Спасибо.

Она ждет следующую колонну. Идти навстречу дальше нельзя — за углом ворота гетто, охрана может ее заметить.

Бригады идут одна за другой. Будто это одни и те же люди ходят по кругу — проходят мимо нее, сворачивают на боковую улочку, обходят кругом и снова возвращаются с этой стороны.

— Ирена?!

Дядя Яков! Задумавшись, она чуть не прозевала его колонну.

— Почему ты здесь? Что с фрау Гертрудой?

— Она больна. Лежит в больнице.

— Что с нею?

— Не знаю.

— А где ты была?

Ирена идет рядом с дядей Яковом. Но по тротуару.

— У одного ксендза. Вчера меня взяли там на работу, а сегодня велели искать другое место.

— Почему?

Ирена не решается сказать. Вдруг вспоминает, что хотела узнать, было ли ночью спокойно.

— А у вас... ничего не было?

— Нет.

— Слава богу.

...Уже десятый день без акции.

— Теперь, может, некоторое время будет сравнительно спокойно. Пока не кончится срок действия наших рабочих удостоверений. А потом...

Ирена понимает, что значит это «потом». Но ведь мать Додика и такого удостоверения не имеет. Нерешительно, боясь услышать что-нибудь плохое, она снова спрашивает:

— А как мама Додика?

— Зарегистрировалась в отделе труда, чтобы получить работу.

...Теперь она уже может работать...

— Но пока ее никуда не посылают. А без рабочего удостоверения... разве что убежище поможет.

Ирена не заметила, как, разговаривая, сошла с тротуара и идет рядом с ним. Но вернуться на тротуар не решается — это может обидеть дядю Якова.

Бутерброд! О, Ирена чуть не забыла его отдать. Вытаскивает из кармана, сверху кладет вчерашний ломтик сала и несмело протягивает:

— Пожалуйста.

Но он, вместо того чтобы взять, внезапно толкает ее в середину колонны. Хорошо, что люди подхватили, иначе и сама упала бы, и хлеб бы выронила.

— Ведь ты без звезд! — шепчет дядя Яков.

Только теперь Ирена замечает, что по тротуару, совсем рядом с ними, шагает конвоир. Видно, он раньше шел в конце колонны, а теперь неслышно приблизился.

— Где твои звезды? — тихо спрашивает дядя Яков.

— В кармане.

— Дай.

Ирена нащупывает скомканные тряпочки, о которых она за вчерашний день уже забыла, и подает дяде Якову. Он из-под воротника своего пальто вытаскивает булавку, берет у Ирены одну звезду и, делая вид, что кладет ей руку на плечо, прикалывает. Переднюю она прикрепляет сама.

Снова меченая...

— Теперь ты должна будешь пойти с нами. Но не огорчайся. Мы перед работой счищаем около фабрики снег. Поработаешь, а потом как-нибудь ускользнешь.

...А как?

Конвоир подбегает к передним рядам и кого-то там избивает. Но дядя Яков, хотя с тревогой смотрит туда, спрашивает:

— Откуда ты знаешь, что фрау Гертруда в больнице?

— Дворничиха сказала.

— А в какой?

— Не знаю.

— Узнай и проведай ее.

Ирена даже съежилась. Идти к дворничихе, которая знает, что она скрывалась. А потом еще в больницу, где тоже могут задержать! Неужели дядя Яков не понимает, как это опасно?

Видно, понял. Вздыхает:

— Боишься?

Ирена кивает.

— А ты постарайся прогнать от себя этот страх. Человек тем и отличается от всех других созданий, что у него есть воля, он может не поддаваться инстинктам... В общем, ты должна стараться не думать, что тебя задержат. Или даже убедить себя, что не задержат. Если бы дворничиха хотела тебя выдать, она могла это сделать тогда. А больница, наверно, вообще самое безопасное место. Не думай, что я тебя убеждаю только для того, чтобы ты пошла туда. Тебе самой обязательно надо избавиться от страха. Подумай: ведь документы проверяют не на каждом шагу. Кроме того, ты еще ученица, тем более не вызываешь подозрения. И на еврейку не похожа. И не дочь русского офицера. За что тебя могут задержать?

...За побег о т т у д а. Или просто чтобы вывезти в Германию на работу. Но когда дядя Яков так говорит, на самом деле кажется, что не задержат.

Они проходят мимо дома фрау Гертруды. Дом напротив еще спит...

— Если все время будешь бояться, больше ни о чем не сможешь думать. На каждого немца будешь смотреть глазами напуганного кролика. Боязнь притягивает, словно магнит. Ведь даже в школе драчуны пристают только к тем, кто их боится. Правда? А уж гитлеровцы...

Ирена шагает, опустив голову, стараясь разглядеть неровности и бугорки мостовой. На них больно подворачиваются ноги. Дядя Яков оглядывается. Не видя вблизи конвоира, снова заговаривает:

— Я понимаю, ты напугана. Поэтому тебе кажется, что все немцы думают только о том, чтобы тебя задержать. Но ты не поддавайся этому страху.

...Хорошо. Она не будет. Но что из этого?

— А куда мне деться?

Как раз теперь, когда Ирена так ждала спасительного ответа, колонна остановилась.

— Сейчас принесут лопаты, — только и сказал дядя Яков.

Конвоир уводит нескольких мужчин. Видно, это они принесут лопаты. Остальные остаются в строю. Топчутся на месте, постукивая деревянными подошвами ботинок, дыша в ладони, греют руки. Но это не помогает.

Люди так замерзли, что даже выдыхают холодный воздух. Почему-то поглядывают на окна противоположного дома. Ждут оттуда чего-нибудь? Но затемненные окна, словно слепые, смотрят куда-то вдаль и ничего не видят.

Может, немцы велят затемнять окна не только потому, что боятся советских самолетов, но для того, чтобы люди меньше видели?..

Вдоль строя несут лопаты. Дядя Яков берет две, одну отдает Ирене.

— Сейчас конвоиры начнут нас избивать. Это будет означать, что мы должны разойтись — от того угла до этого. Нужно очистить от снега всю улицу. Ты постарайся остаться на месте. Двор напротив — проходной. Сейчас ворота заперты, а когда рассветет, их откроют. Тогда и убежишь. Но с лопатой, потому что, увидев валяющуюся лопату, конвоиры... Работай! — прерывает он себя и, отскочив от Ирены, начинает сгребать снег. Остальные тоже в одно мгновенье словно рассыпались и стали работать. Пока Ирена успела сообразить, что и ей надо что-то делать с этой лопатой, она почувствовала сильный пинок и упала. Дядя Яков бросился ей помочь. Конвоир ударил и его.

Ирена поднялась. С трудом начала скрести снег. Не выдержала и, сгорбившись над лопатой, заплакала.

— Если я буду тебя утешать, ты еще больше расплачешься. Поэтому постарайся сама успокоиться, — вполголоса говорит дядя Яков.

Но Ирена не может успокоиться.

— За что?..

— Не за что, а зачем? Чтобы силой внушить человеку, что он лишь ничтожное существо, которое должно перед ними трепетать.

— Почему?

— Работай! — Дядя Яков начинает прилежно сгребать снег.

На этот раз конвоир проходит, не ударив никого.

— Потому, — переждав, продолжает дядя Яков, — что напуганный человек не сопротивляется. Не надо их бояться. Не такие уж они всемогущие. И не вечно они здесь будут. От Москвы их уже отогнали.

— Правда? А отсюда?

— Видно, еще нескоро. Но... Работай! — вдруг шепчет дядя Яков, увидев приближающегося конвоира.

Ирена чуть поворачивает голову туда. Конвоир кого-то избивает, размахивая кулаками. Словно чучело в огороде. Только страшнее.

— Не смотри... — Дядя Яков, работая, старается заслонить ее. — Так будет весь день. Холодно. Конвоиры таким способом греются.

...Господи, значит, это не наказание за плохую работу, а просто так, чтобы было теплее...

— Видите, все их боятся.

— Не дают сдачи? Бывает, что дают. Но такого смельчака укладывают на месте. А семью расстреливают. Слишком дорогая цена за одну пощечину. Если уж умереть... — Дядя Яков почему-то умолкает, недосказав, хотя конвоира рядом нет.

...Опять чего-то недоговаривает.

Она очень хочет, чтобы дядя Яков продолжил разговор.

— Господи, как я их ненавижу!

— Твоя ненависть пока что личная, — очень спокойно отвечает дядя Яков. — Потому что они забрали твою маму, потому что из-за них ты осталась без крова, не можешь учиться. Но если бы ты не пострадала?.. Ненавидеть и даже любить надо не за зло или добро к тебе одной, а ко всем людям.

Услышав крик конвоира: «Шнеллер, шнеллер!», дядя Яков снова сгибается над лопатой. Но ненадолго.

— Наверное, то, о чем я говорю, тебе кажется не совсем понятным.

Ирена не решается отрицать.

— Не умею я объяснять. Но присмотришься, подумаешь и сама поймешь. Сама, — повторяет он. — Конечно, не сразу. Может, меня тогда уже не будет в живых...

— Что вы!

— А что в этом невероятного? Тем более в такое время. Могу не успеть... — И опять недоговаривает. — Но не хочу думать об этом. И ты не думай. Смотри, отпирают ворота. Скоро сможешь убежать.

Ирена даже задрожала оттого, что уже сейчас надо будет решиться.

— Пойдешь к фрау Гертруде. Может, она уже дома. Если ее еще нет, — вернись к ксендзу. Или иди к какимнибудь знакомым. Попроси, чтобы взяли. А когда устроишься, обязательно проведай фрау Гертруду... — Неза-

метно оглянувшись, он шепчет: — Скажи, что очень ждем ответа.

— Какого?

— Она знает.

— Хорошо.

— И постарайся как можно скорее передать мне то, что она скажет.

— Хорошо.

— Не откладывай. В наших условиях ждать нельзя.

— Понимаю. — Она вдруг почувствовала что-то новое. Будто и не так страшно стало. — Я, может, уже сегодня вечером буду вас здесь ждать с ответом.

— Как сумеешь.

— Молчать, грязная свинья! Работать! — Конвоир ударяет дядю Якова. Даже шапка слетает. Поднять дядя Яков не решается, продолжает работать с непокрытой головой. Только когда конвоир отходит, работавший рядом мужчина подбрасывает ему лопатой шапку, и дядя Яков надевает ее, не переставая скрести снег.

— Беги сейчас, пока еще не совсем рассвело, — тихо говорит он, словно ничего не случилось. — И не думай, что поймают. Верь, что убежишь. Во дворе, налево, есть туалет. Зайдешь и сразу сорвешь звезды. Если охранники погонятся за тобой, не признавайся, что из нашей бригады. Ведь в списках тебя нет. Если звезды отстегнуть не успеешь, скажи, невтерпеж было ждать, пока поведут в туалет группу. Видишь ли, нас по одному не пускают. Туда тоже ведут под конвоем... Немного подождешь и, как ни в чем не бывало, выйдешь оттуда. Конечно, на соседнюю улицу. Лопату оставь в туалете, мы ее потом заберем. Все поняла?

— Да.

— Ну, беги, конвоир отвернулся. Быстро! — И он неожиданно толкает ее в спину.

14

— Ирена, вот твоя получка за первый месяц. — Пани протягивает ей деньги. — Возьмешь или хочешь хранить у меня, пока соберется больше?

— Если можно, я хотела бы взять. — Ирене немного стыдно, что ей дают деньги. Она быстро сует их в карман. — Спасибо.

— Только не трать на ерунду. Лучше накопи, и потом купишь себе платье.

— Хорошо.

— До вечера ты свободна. Пан придет только к ужину, у него сегодня в городском управлении важное заседание, а я тоже не буду обедать дома. — Взглянув на себя в зеркало, пани выходит из кухни.

...Уж лучше велела бы что-нибудь сделать. И день прошел бы быстрее, и, главное, ни о чем другом не думаешь. Будто вся забота, чтобы лучше блестел пол или не осталось в углу пылинки. А когда не работаешь...

Дядя Яков велит гнать от себя грустные мысли. Ирена старается. Реже думает о том, что с нею произошло. Но как не волноваться? Ее могут забрать в тот дом, вывезти в Германию на работу, в лучшем случае она останется прислугой... Значит, всю жизнь прислугой? И ничего другого?.. А учиться?..

— Ирена! — Хозяйка возвращается на кухню.

— Слушаю, пани.

— Раз ты все равно ничего не делаешь, может, пойдешь с песиком погулять? Лишний раз ему будет только полезно.

— Хорошо.

— Но если ты собиралась куда-нибудь пойти, то иди. Пан вечером все равно выведет Принцика.

— Нет, нет, я никуда не собиралась.

Хозяйка пожимает плечами.

— Странная ты, Ирена. До тебя была девушка, так только и знала что отпрашиваться, а ты все дома. Только рано по утрам и убегаешь. В костел, наверно?

Ирена не отвечает.

— У тебя что — подруг нет или знакомых?

— Нет...

— Попроси дворничиху, познакомит. В шестой квартире, кажется, недавно наняли молодую няню. И в восьмой служит довольно приличная девушка.

— Спасибо...

Ирена начинает одеваться. Только платок не решается повязать в присутствии хозяйки — он очень рваный. А Принцик, видно, поняв, что это его поведут гулять, сам прибегает на кухню, радостно подрагивая хвостиком.

— Далеко не уходите.

— Хорошо... Только до базара.

...Может, не надо было говорить? Если хозяйка спросит, что ей там нужно?

К счастью, хозяйка не спрашивает. Она выходит из кухни.

Ирена повязывает платок. Надевает собственноручно сшитые из двух лоскутков варежки. В одну сует свою получку, и, держа Принцика за поводок, выходит.

Сколько хлеба дадут за ее получку? Может, не покупать на всю сразу? Ведь дядя Яков не сможет внести в гетто. Она купит буханку или, лучше, даже половину. Дядя Яков свою долю съест на работе, а в гетто внесет, спрятав в шапке, для Евы и Додикиной мамы. А может, она не возьмет, узнав, что хлеб от Ирены? Пусть дядя Яков не говорит. Надо бы послать хоть по ломтику Майе и Лизочке. Как она тогда прижимала к себе мешочек с хлебом!..

Интересно, кто может на базаре продавать хлеб? Ведь все получают по карточкам. Неужели у кого-то остается?..

А сколько она перед войной съедала хлеба? Бог знает; она на еду вообще не обращала внимания. Мама подает, она быстро проглатывает и бежит куда-то.

— Ирена?!

...Милда!

— Господи, Ирена, что за маскарад? Я тебя еле узнала.

Ирена от неожиданности ни шевельнуться, ни слова вымолвить не может. А Милда смеется:

— Откуда такой платок?

Принцик рвется бежать, тянет поводок. Ирена идет за ним.

— Что за собачка? Как ее зовут?

— Принцик.

...Сейчас начнет расспрашивать. Надо первой спросить.

— Ну, что нового в школе?

— Ничего. А ты, оказывается, здесь? Почему же Альгис сказал...

— Что он сказал? — в испуге прерывает ее Ирена.

— Что тебя вывезли в Германию. Вот врун!

— Где ты... его видела?

— На улице встретила. Как тебя сейчас. Он так изменился, огрубел. Неинтересный стал. Теперь бы он тебе не понравился.

Ирена идет, глядя под ноги на грязный снег. Уже в глазах рябит, но она не поднимает головы. А Милда говорит без умолку:

— Как-то странно он вел себя. Словно ему неловко, что мы встретились. Я уж хотела попрощаться и уйти. Очень он мне нужен! Но он спросил, что нового в классе. Пожалуйста, могу рассказать. Есть один новичок. А вообще класс стал меньше. Стасе уехала в деревню. Отца забрали, мать больна. Люда тоже бросила школу; влюбилась в какого-то немца и уехала с ним. Ирена, то есть ты, говорю, тоже куда-то исчезла. «Знаю, — пробурчал он. — В Германию увезли...» Я так переживала за тебя, даже плакала. А ты, оказывается, здесь. Ну и достанется этому вруну, если опять встречу.

— Не надо ему ничего говорить.

— Вы что, поссорились?

— Да...

— Тем более. Зачем он мне наврал, что был у тебя дома, относил какую-то книжку? А соседка ему сказала, что вас с матерью нет, обеих вывезли в Германию.

...Значит, о кафе ничего не сказал.

— Если снова встречу, уж я разыграю его. Скажу, дай мне книгу, которую должен был вернуть Ирене. Сама отнесу.

— Не надо, не говори... И вообще никому не рассказывай.

Базар они уже прошли, и Ирена повернула обратно.

— Прости, Милда, мне надо туда.

— Я тебя провожу.

...Что делать?

— Ирена, ты в школу больше не будешь ходить?

— Нет...

— Жалко. Не из-за уроков, конечно. Но там хоть не слышишь этих вечных вздохов, что война, что трудно. А главное, вокруг нас теперь вертятся выпускники. Это тебе не молокососы из нашего класса. Люкс парни. Веселые. Говорят все равно возьмут в армию, погонят за немцев воевать, так надо хоть пока повеселиться. Урвать

от жизни что можно. Поэтому каждую субботу и воскресенье устраивают танцы.

...Танцы?!

— Хотя ты, наверно, все равно не ходила бы. Ведь ты святая. А может, уже не такая святая?..

Базар они снова прошли. Видно, хлеба уже сегодня не удастся купить, базар скоро закроется. Надо идти домой. Но что делать с Милдой?

— ...Если уж провожает домой, так и знай: обязательно поцелует. А ты знаешь, как влюбленные целуются? Вовсе не так, как...

...Все-таки надо было зайти на базар. До вечера еще успела бы этот хлеб снести дяде Якову. Ведь они там такие голодные...

— ...Но что это я одна говорю? Почему ты ничего не рассказываешь о себе?

— Нечего... Извини, Милда, но дальше меня не провожай. Тороплюсь. До свиданья. И... никому не говори, что встретила меня... — Ирена хватает Принцика на руки и убегает, оставив изумленную Милду.

Завернув за угол, оглядывается. Милды не видно. Ирена замедляет шаг. Но сердце все равно колотится.

Что теперь будет? Милда, конечно, разболтает, что встретила ее. Если начнут искать? Тогда все выяснится...

Как ей не приходило в голову, что она может встретить кого-нибудь из школы? Казалось, что та, бывшая жизнь и старые знакомые теперь где-то далеко. А ведь они все здесь, в Вильнюсе! И уже давно могли ее встретить. Даже Альгис...

Она еще больше закутывается в платок и ускоряет шаг. Сердце ежеминутно замирает — каждый прохожий кажется то учителем, то Альгисом.

Ирена спешит. Принцик теперь уже не бежит впереди, а еле поспевает за натянутым поводком, время от времени жалобно попискивая.

Прибежав домой, Ирена быстро запирает за собой дверь. Принцика впускает в комнату, даже не вытерев ему мокрые от снега лапы. Не снимая пальто, идет за занавеску, отделяющую ее угол от кухни, и бросается на кровать.

Что теперь будет?

Вдруг учителя вздумают выяснить, почему она не ходит в школу? Или кто-нибудь из девчонок решит ее проведать. Будут искать, где теперь живет Ирена Вайнаките. Узнают, что была зарегистрирована в том доме. Но убежала. Наверно, ее и в городе нет. «Как? — удивятся девушки. — Наша подруга видела ее». — «Где?» — «На Кальварийской улице».

Начнут следить. Придут сюда. И тут выяснится, что у нее чужой документ. Господи!

Ирена вскакивает. Лежать нельзя. Когда лежишь, больше обступают страшные мысли. Надо что-то делать.

Она начинает подметать кухню, хотя нет ни одной пылинки.

Как успокоиться? Дядя Яков учил самой себе повторять: «Я спокойна».

«Я спокойна... Спокойна...»

Кончила подметать. Села.

Ведь не украла она этот документ!

К ксендзу на работу не приняли, хотя, убежав тогда с уборки снега, она вернулась к экономке ксендза и попросила принять ее снова. К счастью, экономка вспомнила, что знакомые ксендза, кажется, ищут прислугу.

Ирена пришла сюда. Пани стала расспрашивать, у кого она раньше служила, кто мог бы ее порекомендовать. Никто. Не больна ли, что такая бледная? Нет... А готовить, убирать умеет? Нет, но будет очень стараться. Эх, все обещают. А потом...

Ирена поняла, что больше нечего надеяться и надо уходить. Но почему-то не решалась, медлила.

Пани попросила показать документы.

— У меня их нет.

Пани даже застонала.

— Так откуда я знаю, кто ты такая?

Ирена молчала.

— А куда ты их дела?! Дома оставила? Ты из деревни?

Ирена кивнула.

— И сколько ты хочешь получать в месяц? — уже совсем без интереса спросила хозяйка.

— Не знаю. Сколько можно.

Это удивило хозяйку. Она пристально оглядела Ирену и совсем спокойно сказала:

— Хорошо, я тебя возьму. Но сразу же напиши

домой, чтобы прислали твои бумаги. Ведь паспорта еще нет?

— Нет...

— Непрописанную я держать не могу. Кроме того... Ты уж не обижайся, но каждый раз перед уходом из дому ты должна будешь мне показать сумку, не выносишь ли чего-нибудь...

...Господи!

— Может, ты и честная. Но ведь я этого не знаю. Бывает и так, что девушки нанимаются на работу, документа не отдают, а потом исчезают вместе с лучшими платьями хозяйки.

— Я не исчезну...

— Дай бог. — Хозяйка помолчала. — Если будешь прилежная и честная, тебе у меня будет неплохо.

...Значит, только одну неделю. Пока выяснится, что никакого документа нет.

Но она осталась. Хоть на неделю будет пристанище.

Когда на следующее утро Ирена побежала к гетто, чтобы отнести сэкономленный за ужином кусок хлеба, и рассказала обо всем дяде Якову, он посоветовал самой о документах не напоминать. А когда хозяйка спросит, ответить, что не было денег на почтовую марку. Ведь это правда. Хозяйка даст марку и опять будет ждать неделю. А тем временем, может быть, фрау Гертруда выздоровеет.

К фрау Гертруде Ирена собралась в первое же воскресенье после обеда. Но ее все еще не было дома. Пришлось зайти к дворничихе.

То ли она не узнала Ирену, то ли сделала вид, что не узнает. Долго рассказывала, как докторша, бедняжка, ночью заболела. А ведь она одна в квартире. К счастью, дворничиха рано утром вышла чистить снег — она всегда чистит раньше других. Докторша открыла форточку и позвала ее. Но таким слабым голоском, что дворничиха не сразу расслышала. В больницу бедняжку увезли почти совсем в бреду. Может, ее уже и в живых нет.

Фрау Гертруды нет в живых?!

Этого дворничиха не знает. А чего не знает, о том говорить не любит, не так, как другие, которым лишь бы языком молоть. Дай бог, чтобы докторша выздоровела. Очень сердечный человек, хотя и ученая. Но слаба была, ох как слаба.

— А в какой она больнице?

Этого дворничиха не знает. Увезли — и все.

Как узнать?

Наверное, надо идти по больницам и спрашивать. В регистратуре скажут.

Ирена выходит на улицу.

Бросает взгляд на дом напротив. Там тихо, гости еще не собираются.

В больнице за железнодорожным мостом она фрау Гертруды не нашла. Ни среди больных, ни среди умерших. А список умерших такой длинный! . .

Ирена побежала в больницу святого Йокубаса. Слава богу, фрау Гертруда здесь! Второе отделение, восьмая палата. Сейчас как раз впускное время, можно пройти.

В дверях Ирена остановилась, обвела взглядом все кровати, а фрау Гертруды не увидела. Но на последней кровати кто-то слабо поднял руку. Ирена стала нерешительно приближаться.

Фрау Гертруда... Но такая похудевшая, постаревшая, что Ирене в первое мгновенье показалось, будто это не она.

— Добрый вечер.

— Здравствуй, Ирена. Как ты меня нашла?

— Дворничиха сказала, что вы больны. Что с вами?

— Теперь уже ничего. — Она помолчала, отдыхая. — А было совсем плохо. Воспаление легких.

Ирена смотрит на соседнюю постель. Там лежит на спине девушка. Какая молодая! А дышит странно, похрапывая. Толстая растрепанная коса свисает с кровати до самого пола. Надо бы поднять. Наверно, тянет голову.

— Слишком поздно привезли, — говорит фрау Гертруда.

Ирена шепотом спрашивает:

— Может, положить косу на подушку? Чтобы не тянула. . .

— Она этого не чувствует. Без сознания уже вторые сутки. А сердце крепкое, не сдается. . .

— Может, еще поправится? — все так же шепотом продолжает Ирена. Она не решается говорить громче — а вдруг девушка все же слышит?

— Вряд ли.

. . .Умрет... Все это знают и ничего не делают?!

— Почему ее не лечат?

— Лечили, пока была надежда.

— Но ведь она еще дышит. А потом будет поздно! — Ирене вдруг померещилась на шее девушки рана. Как у Додика...

Она быстро отворачивается. Старается слушать фрау Гертруду и забыть о слабом хрипении за спиной.

— Знаешь, когда я была в бреду, мне все казалось, что Альберт здесь сидит и гладит мою руку. А проснувшись, увидела, что это сестра. — Фрау Гертруда умолкает, закрывает глаза, и из-под ресниц медленно вытекают две слезинки.

Ирена отворачивается, чтобы самой не расплакаться. Но там девушка... Господи, хоть бы открыла глаза! Шевельнулась бы! Но она лежит как лежала, тяжело хрипя, втянув нижнюю губу. И так же свисает коса. Может, все-таки поднять?

— Не смотри, — говорит фрау Гертруда. — Ты к этому не привыкла.

— Я ко многому не привыкла.

— Да... — Фрау Гертруда снова умолкает. Кладет руку Ирене на колено. — Ну, а ты сама где теперь живешь?

Но Ирена хочет сперва передать то, что просил дядя Яков: они ждут ответа.

— Скоро, — отвечает фрау Гертруда и делает Ирене знак, чтобы нагнулась. — Когда я там была перед болезнью, все уже было почти готово. Убежище и... остальное. Как только выздоровею, пойду узнаю, можно ли им уже приходить. Пусть еще немножечко потерпят.

— Так им больше не надо будет жить в гетто?!

Фрау Гертруда чуть заметно кивает. Ирена так рада, что, схватив руку фрау Гертруды, целует ее.

— Что ты! — Фрау Гертруда выдергивает руку.

— Я завтра скажу дяде Якову! — счастливо шепчет Ирена. И неожиданно предлагает: — А может, я бы могла их туда проводить? Вы только скажите — куда.

— Куда — дядя Яков сам знает. Вопрос, готово ли все?

...Опять ждать.

— Скоро я уж, наверно, поправлюсь, — утешает себя и Ирену фрау Гертруда. — Но ты не ответила, где сама живешь.

Ирена не будет жаловаться. Пусть дядя Яков не говорит, что она принадлежит к тем людям, которые не умеют переживать горе молча. Ирена не хочет, чтобы ее считали плаксой. Она расскажет коротко.

— Сначала я была в гетто. Потом один день у экономки ксендза. Теперь прислугой у одних господ...

— Хорошие?

— Ничего. Только долго они не будут меня держать — у меня ведь нет удостоверения. — Ирена почувствовала, что начинает жаловаться, но удержаться уже не могла. — Пока что хозяйка думает, что я его оставила в деревне и мне пришлют. А потом, наверное, велит уйти...

Фрау Гертруда, кажется, хотела еще о чем-то спросить, но в это время подошла сестра со шприцем и сказала, что время посещения истекло. Ирена неохотно попрощалась. Проходя мимо, взглянула на соседнюю кровать. Девушка еще дышала...

В следующее воскресенье, придя навестить фрау Гертруду, Ирена первым делом бросила взгляд на соседнюю постель. Там сидела полная женщина.

Ирена шепотом спросила фрау Гертруду, знает ли эта женщина, на какой кровати она лежит?

— Но ведь здесь на каждой кровати кто-то умер...

...Как спокойно она об этом говорит. Ирене было бы страшно лечь на такую кровать.

Фрау Гертруда выглядела лучше. С помощью Ирены даже села. И голос не такой слабый. Расспрашивала подробно о дяде Якове, о хозяйке, не злая ли, не грозится ли, как другие, высчитать из получки за разбитый стакан... А насчет документов не напоминала?

— Спросила. Но дядя Яков посоветовал сказать, что я еще не написала в деревню, потому что не было денег на марку.

Фрау Гертруда вытащила из-под подушки сложенную бумагу:

— Бери... Удостоверение... Вы однолетки и обе светловолосые.

— Что вы... — Ирена быстро отдернула руку.

— Ей уже не нужно. А тебе пригодится.

— Но как же?

Фрау Гертруда не настаивала. Положила удостоверение на тумбочку.

Разговор не клеился. Ирена отвечала на вопросы, сама что-то рассказывала, но эта сложенная розовая бумага будто мешала. Притягивала взгляд, путала мысли. Фрау Гертруда это заметила:

— Не думай ни о чем и бери. Я специально попросила нашего врача. Знакомый, не выдаст.

— Я не поэтому... Ведь чужое... Другая фамилия.

— Теперь, наверно, многие живут по чужим документам. Догадайся мы с Альбертом раньше...

Фрау Гертруда умолкла, тяжело вздохнула и, больше ничего не говоря, засунула удостоверение Ирене в карман.

Всю дорогу из больницы Ирена чувствовала эту жесткую, чужую бумагу.

Как только пришла домой, вбежала в свой угол и вытащила ее из кармана. Развернула. Улийона Бернотайте.

На снимке она совершенно не похожа на ту, в кровати. Глаза открыты, косы красиво сплетены.

Все-таки тогда надо было поднять косу...

Господи!..

Ирена закажет молебен за упокой ее души.

Но если спросят, кто заказывает? Тоже Улийона Бернотайте?.. Может, умершую назвать своей фамилией? Словно они поменялись. Нет, не может она заказать молебен за упокой собственной души.

И жить под чужой фамилией тоже не сможет. Она вернет фрау Гертруде удостоверение.

Ирена сложила его и сунула под сенник. Но ночью не могла уснуть. Вытащила. Положить на полку? Там хозяйка тоже найдет. Засунула за зеркальце. Опять нехорошо. Наконец спрятала в посудном шкафчике. Только до воскресенья, потом отнесет фрау Гертруде и скажет, что не может его оставить себе.

Но хозяйка сама нашла... Она здесь часто роется. Видно, все-таки не доверяет.

— Почему ты не сказала, что прислали удостоверение? — встретила она Ирену, возвращавшуюся из подвала с охапкой дров.

Ирена чуть не споткнулась о порог. Но хозяйка, кажется, не сердится.

— Оказывается, ты Улийона? А Ирена — это второе имя?

— Да...

— Мне тоже больше нравится Ирена. Улийона — какое-то старомодное, деревенское имя. И снимок очень неудачный, ты выглядишь на нем старше. Видно, нефотогеничная. — И хозяйка вышла, унося удостоверение.

Почти каждое утро, убирая комнаты, Ирена вспоминала, что здесь в каком-то ящике лежит эта розовая сложенная бумага. Чужая фамилия. Чужой снимок...

Но прошли почти две недели, ничего не изменилось, и Ирена успокоилась. Иногда даже начинало казаться, что нет никакого чужого документа. А теперь, после встречи с Милдой... Если начнут ее искать, все это выяснится...

Что делать? Куда деваться?

Фрау Гертруда все еще в больнице. Опять пойти в гетто? Нет, нет! Признаться хозяйке? Рассказать всю правду? Выгонит. А может, не только выгонит?.. Ведь ее муж работает в городском управлении. И он очень злой.

Что делать?

Звонок!

Уже?!

Опять звонок. Стучат.

— Ирена!

Это хозяйка. Слава богу.

Дрожащими руками Ирена открывает дверь.

— Хорошо, что ты дома. Я оставила ключ в другой сумочке.

Вместе с хозяйкой входит какой-то мужчина. Кажется, он уже был здесь раньше, на именинах хозяйки.

— Свари нам кофе. Только побыстрее, пожалуйста. Мой гость торопится.

Иренины руки все еще дрожат. Еле зажигает спичку.

...Конечно, зря она так испугалась. Ведь Милда еще, наверно, не вернулась домой. Да и домашним она, может быть, не расскажет о встрече.

А завтра в школе...

— Ирена!

— Иду.

Вода для кофе еще не вскипела, но, чтобы хозяйка не злилась, надо начать накрывать на стол. Ирена вносит в гостиную скатерть.

Хозяйка и гость курят, беседуют. Что это? Гость произнес слово «гетто». Он что-то знает о гетто! Надо подо-

ждать, может он еще что-нибудь скажет. Но больше здесь нечего делать — скатерть постлана.

Ирена выходит и сразу возвращается — с сахарницей. К сожалению, теперь говорит хозяйка.

Кофе еще не готов, печенье закрыто в буфете, больше нечего подать. А из-за двери ничего не слышно.

Но он что-то знает о гетто!

Хоть бы скорее закипел кофе!

Говорит гость!..

Ирена хватает неотстоявшийся кофе и спешит в гостиную.

— ...Конечно, бывают и осложнения. Они сопротивляются. Из-за этого акции часто затягиваются. Думаю, что и сегодня ночью так будет. А не выспавшись, знаете, я чувствую себя словно после новогоднего бала.

...Только бы руки не задрожали!..

— Ирена, что ты делаешь?

Она цепенеет с кофейником в руке.

— Разве можно разливать неотстоявшийся кофе?

— Извините...

— Поставь. Я сама налью.

Ирена возвращается на кухню.

...Акция. Сегодня ночью. А они не знают. Не знают...

Ирена вдруг вбегает в гостиную:

— Пани... извините... Мне надо уйти...

— Как ты меня напугала!

— Скоро вернусь! — И, не дожидаясь разрешения хозяйки, спешит обратно в кухню.

Хватает пальто. Звезды в кармане.

Ирена выбегает на улицу. Слава богу, идет какая-то колонна. Но слишком медленно. Может, догнать другую?

Ирена спешит, обгоняет прохожих. По мосту она почти бежит. Но впереди, до самой улицы Гедиминаса, желтозвездной толпы не видно.

Однако она не замедляет шага. Пересекает улицу Гедиминаса, поворачивает на Йогайлос. Но и здесь не видно колонны.

Ее обгоняет грузовик с солдатами. В гетто?!

Ирена бежит, стараясь не отставать. Солдат это смешит. Они машут ей, что-то кричат.

Еще один грузовик. Тоже с солдатами. Эти поют. За ними Ирена уже не бежит...

Опоздала...

А ноги все равно идут. Но вдруг она останавливается — грузовик поворачивает вправо! Второй тоже! Значит, они ехали не в гетто?!

Ирена снова бежит. Только бы успеть!

«Господи, помоги успеть!»

Вдали на мостовой чернеет толпа.

Уже совсем задыхаясь, Ирена догоняет ее. Но то конвоир близко, то прохожие мешают нырнуть в толпу. Она шагает рядом. Только у самой улицы Руднинку, уже совсем недалеко от гетто, она делает вид, что переходит на другую сторону, и шмыгает в толпу. Быстро пристегивает к пальто одну звезду, просит кого-то прицепить другую, на спину.

Люди удивлены. То ли таким внезапным вторжением, то ли тем, что не своя, а пристегивает звезды. Словно оправдываясь, Ирена тихо говорит:

— Ночью будет акция.

Из ряда в ряд перекатывается испуганный шепот. Одни в растерянности останавливаются, другие, наоборот, напирают, торопят — скорее в гетто, там остались дети. Ряды расстраиваются. Конвоир орет, избивает тех, кто попадает под руку. А фонарь над воротами гетто уже совсем близко...

Внезапно мужчина, шедший рядом с Иреной, выходит из колонны, идет на тротуар и стремительно шагает прочь. Он забыл сорвать звезды! Ему вполголоса кричат, напоминают, но он не слышит.

...Поймают.

...Если у ворот гетто будут считать, теперь счет сойдется — ведь один убежал.

Полицейский велит Ирене расстегнуть пальто. Она вздрагивает от прикосновения — ее обыскивают.

Пропустили.

Ирена снова бежит. Людей много, она проталкивается, обгоняет. Ей с готовностью уступают дорогу. Видно, думают, что за ней гонятся.

Взбегает по лестнице и, не постучав, открывает дверь.

Слава богу, дядя Яков здесь.

— Ночью будет акция! — Ирена сама пугается своего голоса.

Все глядят на нее, словно не понимая.

— Сегодня будет акция, — повторяет она тише.

В комнате поднимается крик, плач. Но почему-то

никто не спешит в убежище. Дядя Яков тоже не трогается с места.

— Ничего. Ничего..,— успокаивает он Еву, а сам стоит бледный, только покусывает губу.

— Я сестру предупрежу,— вдруг спохватывается он и выбегает. Ирена хочет крикнуть вдогонку, чтобы сказал матери Додика, но не успевает.

В комнате паника, суета. Женщины запихивают в наволочки одежду, обувь. Мужчины привязывают к наволочкам веревки, превращая их в рюкзаки. Дети натягивают на себя еще по нескольку платьев, кофт.

Ева стоит, словно окаменевшая, смотрит в одну точку.

— Тетя Ева...

Не отвечает.

— Тетя Ева, может, мне помочь отодвинуть плиту?

— Ни к чему... Наше убежище разрушено. Хотели провести воду. И свет.

...Так что же они будут делать?

Но вслух Ирена не решается спросить. Вместо этого почему-то успокаивает:

— Фрау Гертруда уже поправляется. Скоро выздоровеет. Надо только сегодня как-нибудь...

— А как? Как?!— с болью вскрикивает Ева и начинает плакать. Совсем как ребенок, тихо всхлипывая.

Соседи — все три семьи — куда-то уходят, нагруженные узлами. В комнате становится непривычно тихо. И пусто. Только в углу шепчет молитву худой старик, укутавшись в странное полосатое покрывало, обмотав голову и руку кожаными ремешками с маленькими колодочками. Его жена согласно кивает головой — она просит у бога о том же...

...Поможет ли? Ирена быстро отгоняет эту богохульную мысль.

Вдруг Ева поднимает на Ирену заплаканные глаза и, глядя сквозь слезы, тихо просит:

— Спаси нас...

— Я?!

Ева кивает.

— Но как? Где?

— Где-нибудь...

...Но ведь негде. Хозяйка не позволит, а больше Ирена никого не знает. Хоть бы фрау Гертруда скорее выздоровела...

Ева молчит.

— Может, дядя Яков пошел искать другое убежище?

— Нет у нас другого убежища...

Но вдруг Ева перестает плакать.

— Все равно выйдем из гетто. Вместе с ночными сменами, будто на работу. А потом? Не знаю. Но не будем здесь сидеть и ждать смерти. Пусть поймают на улице, застрелят, когда будем убегать от них!.. А может, не поймают? — с надеждой спрашивает она Ирену. — Может, найдем какой-нибудь незапертый чердак или подвал?..

— Там холодно, — невпопад говорит Ирена и, смутившись, что сказала глупость, умолкает.

— Голой стоять у ямы и ждать, когда расстреляют, еще холоднее...

Возвращается дядя Яков. Он удивляется, что Ирена еще здесь.

— Поторопись. Скоро может начаться. Спасибо, что предупредила.

— До свиданья... — шепчет Ирена и, не поднимая глаз, выходит.

«До свиданья... До свиданья...» — спускаясь по лестнице, она слышит свой собственный голос.

Она идет быстро. Скорее к хозяйке. Накормить Принцика и лечь спать. Хозяева тоже будут спать. Там спокойно.

А здесь?..

Утром она побежит встречать бригаду дяди Якова. А его не будет. Уже никогда не будет. Он будет лежать мертвый в глубокой яме.

Нет, нет!

И Майина сестренка, Лизочка, тоже будет там?

Господи!

Она останавливается.

Тетя Ева сказала:

«Все равно выйдем из гетто... Может, найдем чердак... подвал...»

...Ведь хозяйка в подвал не ходит!

Ирена вдруг поворачивается и бегом мчится обратно.

Они будут жить! И дядя Яков, и Ева, и мать Додика — все, все!..

— Альгис, спроси на работе, может, кто-нибудь хочет купить дамское осеннее пальто?

— Что вы, мама, нет у наших денег.

Мать, конечно, вздыхает.

— Да... Продающих, к сожалению, больше, чем покупающих. Разве что съездить в деревню выменять. Но как получить разрешение на поездку?

...Висят в шкафу три костюма отца — так ни одного не трогает. А свое пальто... Но попробуй сказать, придется выслушать целую проповедь о верности, долге и любви.

— Если бы вы тогда Гроссу не так... можно было бы его попросить помочь...

Мать не отвечает. Потом неохотно цедит сквозь зубы:

— Спрашивал он тебя. Куда-то поедете.

...К Зосе!

Альгис вскакивает.

— Чего так обрадовался?

— Я? Ничего... Зайду к нему, раз звал.

...Как переодеться, чтобы мать не видела? Что сказать Зосе? Может, по дороге поговорить с Гроссом?

Альгис стучит..

— Herein!

— Добрый вечер.

Гросс кивает.

— Одевайся, поедем.

Форма здесь, Гросс ее еще не вернул. Но ведь мать дома.

— А... без формы нельзя? Мама...

— Что? Да, да. Лучше без формы.

— Я сейчас. Только пальто надену.

— Предупреди мать, что вернемся поздно.

— Хорошо!

Альгис выбегает. Хватает щетку, быстро проводит по носкам ботинок. Смачивает волосы, чтобы не торчали. Срывает с вешалки пальто, шапку. Открывает дверь спальни.

— Мама, я вернусь поздно!

Не ожидая ее недовольного ответа, закрывает дверь. Возвращается к Гроссу.

— Посмотри, машина уже подъехала?

Альгис хочет выбежать на улицу, но Гросс вдруг кричит:

— Zurück! Назад!

Альгис столбенеет.

— В окно выгляни, — говорит Гросс уже спокойным, обычным голосом.

Альгис подходит к окну. В ушах все еще звучит это грозное «Zurück!».

Гросс одевается. Медленно, спокойно. Снимает домашнюю куртку, надевает форменный китель. Застегивает его, как всегда начиная с нижней пуговицы. Так же не спеша облачается в шинель. Теперь черед фуражки. Ее Гросс прилаживает на голове очень долго, будто насаживает на невидимые болтики.

Под окнами останавливается военная машина.

— Подъехала.

— Иди скажи, что я сейчас спущусь.

Шофер услужливо, как перед Гроссом, открыл перед Альгисом дверцу машины.

Наконец Гросс вышел.

Ехать в машине, конечно, приятно. Но сегодня было бы лучше идти пешком. Альгис поговорил бы насчет Зоси. А при шофере.

Хотя можно говорить так, чтобы шофер не понял. Альгис однажды уже заговаривал об этом, но Гросс обратил его слова в шутку. «Это намек, что опять хочешь пойти туда? Ничего удивительного». И заговорил о чем-то другом. Альгис тогда не осмелился продолжить разговор. Но сейчас... Зося ведь спросит...

— Господин Гросс... Помните, я вам говорил о Зосе?

— Какой Зосе?

— Той... Ну, что тогда... когда я был в военной форме.

Гросс молчит. Видно, понял.

— Нельзя ли... чтобы она жила в городе?

— Нет.

...Все.

Но Гросс вдруг спрашивает:

— Она тебя об этом просила?

— Да.

— А если в следующий раз попадешь к другой и она тоже попросит?

— Как это к другой?

— Просто. Потому что твоя Зося будет занята.

— Занята?

Гросс не отвечает.

...Нет, это невозможно!.. Но ведь там каждый вечер бывают офицеры. А на стене висят снимки. «Прошу выбрать».

Почему машина свернула на Антакальнис? Разве они не едут к Зосе?

Гросс ему даже не сказал куда. «Одевайся, поедем».

Альгис тоже больше не будет заговаривать.

Он отворачивается, смотрит в окно.

Куда это они едут? Ведь уже кончается город.

Домики маленькие. Со ставнями. Вокруг ни единого человека. Будто не настоящая это улица, а нарисованная. Заснеженные крыши, луна. Ночь.

— Она что, жаловалась?

Альгис нарочно прикидывается непонимающим.

— Кто?

— Эта твоя Зося?

— Нет.

— Еще бы. Живет безо всяких забот. Хорошо кормят, одевают. Даже наряжают. Каждый вечер танцы. А женщинам вообще нравится, когда их желают.

— Но она просила...

— Мало ли что могла наболтать пьяная женщина.

...Если не хочет помочь, зачем эти разговоры? Да еще в присутствии шофера. До чего все любят читать проповеди!

— У них все хорошо организовано.

...Неужели не перестанет?

— И с гигиенической точки зрения так целесообразнее. Их постоянно проверяют. А одна, без присмотра, быстро заболеет и других заразит.

...Слава богу, замолчал. Нет, опять.

— И вообще меньше обращай внимания на то, кто о чем просит. Зачем морочить себе голову чужими заботами? Тебя совершенно не должны интересовать те, кто ниже тебя. Тем более какая-то девка. Ты ее хозяин. И она должна тебя слушаться.

— Но она сказала, что любит меня. — Альгис сразу пожалел, что проговорился. Тем более при шофере.

— Любит... Слово, которое кажется магическим в устах даже такой женщины. Нельзя любить каждый ве-

чер другого. И мужчина, — Гросс особенно подчеркнул это слово, — не может любить ту, которая принадлежит всем.

...Принадлежит всем?..

Теперь там танцуют. Потом... Не думать. Смотреть на дорогу. На зимний лес.

Заиндевевшие наши зимы,
Белым-бело, куда ни поглядишь...

А снег все еще сыплет. И маленькие снежинки, словно бабочки, притягиваемые светом, летят прямо на фары. Вот ветер поднимает с земли снежную пыль и вихрем — наверно, чтобы не рассыпались, — несет с одной обочины дороги на другую. А на ветвях деревьев снег лежит неподвижно.

Выйти бы сейчас из машины, побрести по снегу и, встав под елью, потрясти ветку, чтобы посыпались снежные хлопья. А ель еще долго махала бы этой ветвью.

А может, ему все это снится? Лес, снег, дорога... Нет.

Они сворачивают с шоссе на узкую ухабистую дорогу. Машину трясет так, словно она не едет, а прыгает с выступа на выступ. И смотреть уже надоело — все деревья да деревья.

Альгис откидывается на спинку сиденья и закрывает глаза.

Вскоре машина останавливается. Но ему лень шевельнуться. Шофер выпрыгивает, открывает перед Гроссом дверцу, а Альгис все еще не разомкнул век.

— Пойдешь со мной, — говорит Гросс.

Альгис нехотя вылезает. Кажется, недолго ехали, а ноги онемели. Лес. Темно. Мрачно. Где они? Тут всего один маленький домик. Возле него стоят солдаты.

К ним спешит огромный мужчина в тулупе — словно дрессированный медведь, переступающий на задних лапах.

— Хайль Гитлер, господин старший следователь!

...Гросс — следователь?!

— Все задержанные здесь. — И он начинает что-то быстро рассказывать. Но на таком ломаном немецком языке, что Альгис ничего не понимает. Видно, и Гросс тоже.

— Говорите через переводчика. — Гросс кивает на Альгиса.

...Он — переводчик?!

— Господин переводчик, скажите, пожалуйста, господину старшему следователю, что партизаны отказываются говорить. Мы уже и так и сяк пробовали.

...Партизаны?

Альгис молчит.

— Что он сказал?

— Что... отказываются говорить, — переводит Альгис.

— Где они?

— Там... — «Медведь» показывает в сторону домика и уступает Гроссу с Альгисом дорогу.

Стоящие у крыльца солдаты вытягиваются.

В сенях, прямо на полу, лежат мужчины со связанными руками и ногами. Их шестеро. Над ними стоят солдаты. Дула автоматов направлены в головы лежащих.

Гросс проходит, даже не взглянув.

— По одному ко мне. — И он входит в дверь, которую услужливо открыл все тот же «медведь». — Альгис, ты тоже иди сюда.

Гросс снимает шинель. «Медведь» не расстается со своим тулупом. Вертится возле Гросса.

— Извините, что здесь так просто, — угодливо объясняет он. — Это домик лесничего. Но мы хорошо вытопили.

— А сам лесничий где?

— Лежит... Там. Мы их здесь и поймали. Так сказать, на месте преступления. Четверых. А остальных двоих — невдалеке. Видно, тоже шли сюда. Хотя не признаются.

— Ввести.

— Которого?

— Все равно.

Два солдата вводят обросшего бородой человека. Его руки стянуты толстой веревкой и так посинели, что кажутся выкрашенными.

— Фамилия?

Молчит.

— Имя?

Только зубы стучат. Видно, замерз, лежа в сенях.

— Где находится ваш отряд?

Человек даже не поднимает глаз.

— Думаю, вам не надо объяснять, что единственная возможность остаться в живых — это признаться во всем.

Альгис переводит.

Все то же молчание.

— Что ж, даю вам возможность хладнокровно обдумать свое положение. — И велит солдатам: — Связать ноги и положить в снег. Ему нужен холодный компресс. Следующего!

...В снег?!

Солдаты вводят второго.

Альгис и ему повторяет вопросы Гросса, но они также остаются без ответа.

Гросс все еще спокоен.

— В снег.

Вводят третьего.

Альгиса сковывает странное оцепенение. Он видит, слышит, говорит, но ничего не чувствует, будто здесь, рядом с Гроссом, сидит другой человек, а Альгис откуда-то наблюдает за ним.

Четвертый тоже молчит. Неужели они не понимают, что́ им грозит?

Приводят старика.

— Фамилия?

— Томашаускас.

...Слава богу, хоть один.

— Имя?

— Повилас.

— Родился?

— Простите?

— Сколько вам лет?

— Семидесятый. Аккурат будет на первый день пасхи.

Но о партизанах он тоже ничего не говорит. Не знает. Не видел. Откуда ему, старому человеку, знать о таких вещах? Что делал в лесу? Проверял капканы. Поставил, чтобы поймать зайца. У зайцев и мясо вкусное, и шкурка теплая.

Гросса старик почему-то злит больше тех, молчавших.

Последним приводят еще одного — молодого парня.

Оказывается, ровесник Альгиса. И отвечает не Гроссу, а ему, Альгису. Словно товарищу. Мол, ты-то поймешь меня. Поверишь, что о партизанах ничего не знаю, шел с вечеринки, а через лес дорога короче.

Гросс велит положить его рядом с остальными, а сюда опять привести первого.

Все начинается сначала. Человек этот по-прежнему молчит. Гросс велит его снова положить в снег, но снять ботинки и забрать шапку.

Альгис сам начинает ощущать холод в затылке и ногах. Будто это он лежит на снегу босой и с непокрытой головой.

Второго тоже уводят обратно.

...Сколько времени они уже здесь? Когда это кончится?

И третий не заговорил.

...Даже трудно поверить, что всего несколько часов тому назад он был дома.

— ...Томашаускас... Повилас... Семидесятый... Не знаю... Капканы проверял.

— Увести!

— ...Я шел с вечеринки... Через лес дорога короче.

И снова все сначала. В третий раз.

...Снег в их волосах тает, стекает за воротник. Но руки связаны, вытереть нельзя. Только головой ворочают. И все-таки молчат. Неужели не понимают, что замерзнут? Даже старик — и тот упрямо не признается.

А может, он и на самом деле ничего не знает?

Когда его выводят, Альгис пытается сказать это Гроссу.

Гросс только пожимает плечами.

— Как он докажет? А чего нельзя доказать, тому я не верю.

Снова вводят молодого парня.

...А ведь могло быть наоборот. Этот парень — на месте Альгиса, а Альгис — по ту сторону стола. Уверяет, божится, что говорит правду, а Гросс не верит...

— Альгис, ты что, спишь с открытыми глазами? Переведи, что он сказал?

— Извините... — И Альгис переводит все те же слова. А голос дрожит, словно это он сам не может доказать Гроссу, что все было именно так.

Парня уводят.

Гросс встает, потягивается.

— Который час? — спрашивает Альгис. Может, этот вопрос напомнит Гроссу, что пора ехать домой.

Гросс не отвечает. Надевает шинель, застегивает, поднимает воротник.

— Поедем домой?

— Не спеши. — И выходит.

Альгис остается один.

Комната пуста. Окна не затемнены, — видно, потому что в лесу. Сквозь них на Альгиса глядит ночная тьма. А солдаты там, во дворе, видят его. Он ставит стул в угол, садится.

За окном слышен голос Гросса. И смех солдат. Может, Гросс сказал что-нибудь смешное об Альгисе?

Топот ног.

...Уезжают?! А его оставят здесь одного, в лесу? Альгис выбегает во двор.

...Что они делают?!

Топчут людей. Накрыли брезентом и прыгают по ним. Какой-то танец привидений...

Почему Гросс их не останавливает? Ведь это люди!

Из-под брезента доносятся приглушенные стоны, обрывки слов.

— Не... вин... По... верьте...

...Кажется, это старик. Неужели они не слышат?

— Стой! — Гросс все-таки их останавливает. — Кто там обрел дар речи?

Один солдат нагибается, приподнимает край брезента.

— Что хочешь?

— Не пар... тиза...

Гросс машет рукой. Край брезента снова опускается, и солдаты продолжают свою дикую пляску.

...Как они могут? Гросс должен их остановить!

Альгис подбегает к Гроссу. Но не успевает ничего сказать. Гросс указывает ему на брезент.

— Ну, Альгис, попрыгай и ты.

— Что вы!..

— Жалеешь? — Гросс мгновенно рассвирепел. — Может, ты такой же, как они? А ну!

Альгис отпрянул. А Гросс ждет. И Альгис делает шаг к брезенту. Какой-то развеселившийся солдат хватает его за руку и толкает в середину. Под ногами мягко, неровно. Он пятится назад, но нога соскальзывает. Под каблуком что-то хрустнуло.

Альгис цепенеет. Под ним зашевелилось. А солдаты

его толкают — он мешает прыгать. Как перебежать до края брезента? Он осторожно ставит ногу, но внезапно снизу получает удар и падает. А лежащий под ним пинает его связанными ногами. Цепляясь за чужие тела под брезентом, Альгис быстро сползает.

Его начинает рвать. Тут же, в снег. Но никто не обращает внимания — заняты. Хоть бы голову поддержали. Мать всегда держит за голову, когда его рвет.

Во рту противно, горько. Альгис отползает в сторону и начинает руками хватать снег.

Потом, держась за ствол дерева, встает. Земля какая-то мягкая, словно студень. И кажется, что она шевелится. Альгис боится двинуться, чтобы под ногами снова не хрустнуло.

Солдаты больше не прыгают. Гросс идет к машине.

— Альгис, ты где?

...Пусть себе едет.

Но как потом отсюда выбраться?..

Он плетется к машине. Мимо брезента проходит отвернувшись. Там тихо.

Мотор уже заведен. Шофер захлопывает дверцу, машина трогается и выезжает на дорогу.

— К черту, Курт, — Гросс все еще зол, — осторожнее. Душу можно вытрясти, мотаясь по этим бандитским дорогам.

Умолкает. Но ненадолго.

— Ничего, в тюрьме они заговорят!

— Если еще живы... — впервые за весь вечер заговаривает шофер.

— Почему... неживые? — испугался Альгис.

Ему не отвечают.

— А кто... их убил? — уже в ужасе спрашивает он.

Гросс хмыкает:

— Трудно сказать, под брезентом не видно...

Альгис чувствует, что холодеет. А в теле такая слабость, будто оно вдруг стало пустым. Словно очень издалека доносится голос Гросса:

— Не за тем мотался я по такой дороге, чтобы констатировать смерть этих бандитов. Здесь они мне нужны были живыми! Чтобы показали дорогу к своему гнезду.

Альгис сидит откинувшись, не шевелится. Только чуть приоткрывает глаза. Где они? Еще в лесу, но уже едут по шоссе.

Он снова закрывает глаза.

«...Господин старший следователь... Не признаются... Томашаускас... Повилас.. Семидесятый...» Снег в их волосах тает, стекает за воротник. А руки связанные, фиолетовые.

— Альгис, спишь?

Он не станет отвечать.

...Гросс — следователь! Вот почему он так просто зашел в гестапо взять для Альгиса форму. Гестаповец!..

«...Жалеешь? Может, такой же, как они?»

Машину сильно тряхнуло. Альгис в испуге открывает глаза.

— Проснулся? Как раз вовремя.

...Их дом? Слава богу!

Машина останавливается. Альгис не ждет, пока шофер откроет дверцу, вылезает. Ворота заперты. Он звонит дворнику. Гросс стоит рядом.

...Скорее бы подальше от него! Чего это дворник так долго не появляется?

Наконец-то!

Альгис мчится по лестнице. Быстро открывает дверь в кухню.

Гросс еще только входит, идет к себе.

Альгис зажигает свет. Кажется, что он здесь уже очень давно не был. И вернулся издалека.

А все как обычно. На столе оставлен ужин — три картофелины и пол-луковицы. Еще записка: «Луковицу обязательно съешь. Мама».

Альгису что-то сжимает горло. Буквы начинают двоиться, расплываться... Он кусает губы, сдерживается, но рыдание само вырывается из груди.

...Страшно! Очень страшно!

Вдруг он вздрагивает. Гросс идет сюда! Нет, в ванную.

Альгис быстро снимает ботинки и тихо, чтобы Гросс не услышал, бежит в свою комнату. Но нет, Гросс может и туда прийти, а дверь не запирается. Альгис рывком открывает дверь спальни.

Эленуте зашевелилась. Проснулась? Нет, только переворачивается на другой бок. А мать спит.

Альгис присаживается на край ее кровати.

— Кто? — Мать, испугавшись, садится.

— Я.

— Что случилось?

Он молчит.

Мать зажигает ночную лампочку.

— Что с тобой, Альгутис? Ты заболел?

— Нет...

— Так что случилось? Где ты был? Куда он возил тебя? Скажи мне, сыночек, правду!

От этого «сыночек» снова сдавило горло. И Альгис больше не сдерживается.

— Мне страшно, мама! Мне очень страшно!..

— Успокойся. Ну, успокойся и расскажи мне.

— Не могу... Но вы напишите... туда, в поместье, дяде Пятрасу. Пусть попросит, чтобы меня приняли. Не хочу здесь быть! Не могу!..

16

— Девушка!

Ирена оглядывается. Да, это ее зовет соседская няня, она развешивает во дворе белье.

— Мне кажется, что из вашего подвала воруют дрова.

— Из подвала?!

— Ага. Сегодня утром, когда я бежала в магазин, в окошке кто-то мелькнул. Я хотела сразу забежать сказать, но очень торопилась — ребенок остался дома один. ...И хозяйка послала бы мужа проверить...

— Скажи своей пани.

— Хорошо. Спасибо. — Ирена идет в дом. — Но замок в порядке! — почему-то кричит она уже в дверях.

Слава богу, хозяйки на кухне нет. Значит, не слышала.

«...За окошком кто-то мелькнул...» Наверное, дядя Яков.

Может, не только эта няня видела? Надо предупредить!

Ирена отрывает угол старой газеты, чтобы написать записку. Разговаривать в подвале нельзя, могут услышать. Они объясняются только с помощью записок.

«Не подходите к окну. Вас видели».

Нет, они очень испугаются. Ирена вычеркивает и пишет: «Вас могут заметить». Но тогда они подумают, что она предупреждает просто так, на всякий случай, и не

очень будут остерегаться. Она опять вычеркивает и все-таки пишет: «Вас заметила соседская няня».

А как теперь отнести эту записку? Дрова уже давно принесены, печи вытоплены. И хозяйка дома.

Надо придумать повод. Если хозяйка спросит, она скажет, что в одном углу обвалились дрова и она ходила складывать.

Ирена накидывает платок, берет записку и бежит в подвал.

Там кашляют!.. Господи, что же это, ведь могут услышать!

Ирена легонько стучит в стену — условный знак, что это она, и отпирает замок. Из угла снова доносится приглушенный кашель.

— Тс-с-с...

Ирена жмурит глаза, чтобы они скорее привыкли к темноте. Картина все та же — на дровах, съежившись, сидят люди. Семеро взрослых и Лизочка. Каждый раз, входя в подвал, Ирена их почему-то считает. А они сидят как сидели. Уже третьи сутки.

Ирена подает дяде Якову свою записку. Он поворачивается к свету, читает.

В углу опять кашляют. Господи!

Дядя Яков вдруг нагибается к самому ее уху:

— Пой!

Ей, наверно, послышалось.

Он хватает карандаш и пишет: «Пой!»

Ирена смотрит, ничего не понимая. А он быстро пишет: «Пой, чтоб не слышно было кашля. Старушка заболела. Видно, воспаление легких».

...Воспаление легких!

Но Ирена не может вспомнить ни одной песни. Словно и не знала их никогда.

Дядя Яков теребит за руку, торопит. И она начинает:

В лес по грибы папаша ушел,
В лес по грибы и мамаша ушла...

Голос не слушается, песня звучит странно непохожей, но Ирена все равно продолжает:

В лес пошел папаша,
В лес пошла мамаша...

Старушка кашляет, будто хочет выкашляться на все время. И другие ожили — зашевелились, задвигались. Мать Додика растирает ноги. А Ирена стоит посередине подвала и тянет, не спуская с дяди Якова глаз, — когда наконец он даст знак, что можно умолкнуть.

Дядя Яков пишет: «Няня, которая нас видела, сейчас во дворе?»

Не переставая петь, Ирена бросает взгляд на окошко и кивает.

Дядя Яков снова пишет: «Открой окошко».

Она медлит — ведь и так холодно. А старушка больна.

Дядя Яков подчеркивает свои слова и приписывает: «Встань у открытого окна и постарайся, чтобы она тебя увидела. Пусть думает, что и утром это была ты».

Ирена подходит к окошку. Но створка примерзла. С трудом, обдирая пальцы, она ее открывает и снова затягивает свою «В лес по грибы...».

Соседская няня, конечно, оглядывается. Даже машет Ирене.

Теперь можно закрыть окошко.

Дядя Яков все это время писал. Ирена берет его записку и выходит. Запирает подвал и спешит наверх.

На кухне сразу подбегает к плите греться. Как они там выдерживают третьи сутки, если она, побыв совсем мало, окоченела? А они и без движения, и ничего теплого не едят. Только один раз, когда хозяйки не было дома, Ирене удалось снести им чайник горячего чая. И то боялась кого-нибудь встретить на лестнице. На хлеб дядя Яков сам установил норму — буханку в день для всех восьмерых. Сложил их деньги, сколько у кого было, да Иренину получку, и вышло, что хватит на девять буханок. На девять дней. Конечно, если вместо хлеба покупать картошку, вышло бы больше и дешевле, но картошку надо варить. Разве что купить тыкву или свеклу?

Ирена вытаскивает «письмо» дяди Якова — исписанный кусок газеты. Читать трудно. Дядя Яков, конечно, старается писать на полях и между печатными строками. Но в подвале темно, и строчки лезут одна на другую.

«Оставь нас незапертыми. Замок пусть висит только для виду, на одной скобе. Если нас найдут, скажем, что сами открыли. Ты ничего не знаешь и с нами не знакома. Когда ты утром брала дрова, нас еще не было. Скоро, когда начнет темнеть, я выйду отсюда. Пока один. Узнаю,

можно ли перейти к тем людям, с которыми договаривалась фрау Гертруда. Знак, что кругом спокойно и можно выйти, подай мне, вытряхивая что-нибудь во дворе. Буду наготове».

...Он уйдет? Но ведь его могут поймать! Пусть идет кто-нибудь другой.

А кто?..

Может, не подавать условленного знака? Мол, нельзя выходить — и все.

А если здесь они простудятся? Все начнут кашлять, и их найдут?.. А у тех людей было бы безопаснее и теплее?

Она сама пойдет! Ирена быстро пишет: «Пойду я. Скажите адрес. Что спросить?»

Снова надо бежать в подвал. Сегодня уже в третий раз. Только бы хозяйка не заметила!

Ирена на цыпочках подходит к двери гостиной. Нагибается к замочной скважине. Хозяйка лежит на диване. Спит. Книжка валяется на полу. Ее листает мордочкой Принцик.

Ирена бежит вниз. В подвале ее встречают испуганно — что случилось? Она подает дяде Якову записку. Он быстро пробегает глазами и мотает головой — нет. Протягивает руку, прося карандаш для ответа. Но Ирена второпях забыла взять.

Дядя Яков наклоняется к ее уху так близко, что, разговаривая, щекочет губами.

— Я должен идти сам. Но если ты можешь и не боишься...

...Боишься... А она совсем и забыла об этом!

— ...вместе со мной. Вдвоем, конечно, безопаснее.

Дядя Яков умолкает, но не отодвигается. Ирена тоже не шевелится. Ей странно приятно так стоять.

— Выйдешь на улицу и подождешь на углу. Хорошо?

Он напоминает, чтобы не запирала подвал, и Ирена выходит.

Хозяйка еще спит. Ирена одевается. Рваный платок не повяжет, стыдно перед дядей Яковом. Надо взять с собой Принцика. Если хозяйка спросит, куда уходила, скажет, что повела Принцика погулять. Ирена тихо приоткрывает дверь гостиной и зовет собаку.

Во дворе Ирена дает ей побегать без поводка. И сама

вертится здесь же, чтобы дядя Яков мог увидеть. А выходя на улицу, нарочно громко зовет: «Принцик, пошли!» Если из подвала ее не видели, пусть услышат.

За воротами Ирена начинает медленно прогуливаться.

Вот и дядя Яков! Без желтых звезд на пальто он выглядит так же, как и другие прохожие. Только воротник пальто поднят. Но ведь не обязательно думать, что человек прячет лицо или скрывает, что с воротника содран мех, а вместо него нашит кусок материала. Просто холодно, и все.

Подойдя, он неожиданно берет Ирену под руку. Она очень смущается, но не показывает виду и старается шагать в ногу. Хорошо так идти.

— Правильно, что ты взяла собачку, — тихо хвалит ее дядя Яков. И добавляет с горечью: — Со временем станешь настоящим конспиратором.

Они опять идут молча. Ирена чувствует, что рука дяди Якова уже не так напряжена. Видно, он успокоился.

— Давно так не ходил. По тротуару, без звезд. А мы с Евой очень любили вечерние прогулки по городу. И дома, в Мюнхене, и потом здесь, в Вильнюсе... Да. Не думали мы, что господин фюрер догонит нас... — Дядя Яков вдруг умолкает. Навстречу идут два немецких офицера. Он глубже прячет лицо в воротник и еще придерживает его рукой, будто зубы болят. Офицеры проходят, не обращая на него внимания. Только на Принцика взглянули.

Дядя Яков опять заговаривает:

— Полюбили мы Вильнюс. Хотя первое впечатление было очень странным — нас удивили эти маленькие улочки старого города. Ева смеялась — смотри, какие узенькие, даже тень не вмещается, лезет на противоположный дом. Но неожиданно одна такая улочка вывела нас на другую, более широкую. Ева даже крикнула: «Готика! Наша готика!» Так мы костел Анны и называли «Наша готика». А Немецкую улицу Ева окрестила «перчаточной». Помнишь, чуть не у каждой подворотни стояли лотки с разноцветными кожаными перчатками. Кто их покупал? Зачем нужно было так много? — Дядя Яков помолчал. — Теперь, конечно, пригодились бы. Выменять на хлеб...

Теперь... Ирена вдруг словно вернулась издалека. Из бывшего Вильнюса...

— Пришли.

— Здесь?

— Нет, следующий дом.

Дядя Яков замедляет шаг. Явно хочет что-то сказать, но не решается. Может, ей не надо туда заходить? Ирена спрашивает:

— Мне подождать вас здесь?

— Нет, что ты!.. Но я тебя хочу предупредить. Мы шли сюда вместе не только ради моей безопасности. Я уже давно думал познакомить тебя с этими товарищами.

...Товарищами... Это слово тоже из тех времен.

— ...Когда человек начинает видеть больше того, что случилось с ним самим, он взрослеет. Лучше понимает, что происходит. Видишь ли, каждое насилие порождает сопротивление... Гм... Оратор я неважный. В общем, сама поймешь. — Он снова зашагал быстрее. — Главное, ничему не удивляйся.

Они входят в обыкновенный дом. Дядя Яков стучит в дверь на первом этаже.

Никто не отвечает. Значит, зря шли...

Дядя Яков еще раз стучит. За дверью слышатся шаги.

— Кто там? — спрашивает женский голос.

— Хотел ботинки починить. Единственная пара и та порвалась.

— Какое мне дело, что единственная? Поздно уже. Человеку и отдохнуть не дадут.

Ирена уже хочет повернуть назад, но дверь все-таки открывается, и худая женщина впускает их в прихожую. Закрывает дверь и открывает другую, в комнату.

— Собачку оставьте здесь, — говорит она.

Ирена вслед за нею и дядей Яковом переступает порог комнаты. Здесь на низком стульчике сидит сапожник.

— Добрый вечер, — здоровается дядя Яков.

Сапожник равнодушно взглядывает на них и, не раскрывая рта, чтобы не выпали зажатые между губами деревянные гвоздики, кивает. Краем кожаного фартука смахивает пыль с другого такого же низкого стульчика, пододвигает его. И снова вбивает свои гвоздики, не обращая на дядю Якова никакого внимания.

— Вот вам клиентка, — говорит дядя Яков.

Сапожник бросает взгляд на Иренины ботинки.

— Снимай.

Ирена в нерешительности.

— Ничего не поделаешь, — говорит дядя Яков. — Придется снять. Я же тебя предупреждал, чтоб не удивлялась.

— Но... ведь мастеру надо отдохнуть. И жена недовольна.

Дядя Яков улыбается.

— Запомнила? — Он вдруг становится серьезным. — Очень хорошо. Запомни и то, что я сказал: «Единственная пара и та порвалась». Эти слова тебе пригодятся, если самой надо будет сюда прийти. Это условные фразы. Пароль. Не забудь. Но, кроме этого дома, нигде и никогда его не произноси. Поняла?

Ирена кивает.

А сапожник хмурится: недоволен, видно, что дядя Яков выдал секрет.

— Не волнуйтесь, товарищ Пукис. — Дядя Яков подходит к нему. — Эта девушка своя. Она нас спасла...

...Зачем он так говорит?

— И теперь прячет в подвале.

Продолжая вбивать гвоздики, мастер снова повторяет:

— Пусть снимает ботинки.

Дядя Яков опять поворачивается к ней.

— Садись, Ирочка...

...Ирочка!..

Она послушно садится. Но все равно ей стыдно — ботинки очень уж рваные, да и чулки старые, штопаные.

А дядя Яков объясняет:

— Если войдет посторонний, все должно выглядеть естественно. Мы пришли чинить ботинки. А я тем временем поговорю с товарищами. — И дядя Яков выходит.

Ирена расшнуровывает ботинки. Они насквозь промокли, и чулки тоже. Ирена хочет спрятать ноги под стульчик, но он слишком низкий. Наконец кое-как это ей удается.

— Давай. — Сапожник протягивает руку за ботинками.

Ирене неловко.

— Старые, — говорит она, оправдываясь.

— А кто же несет сапожнику новые?

...Ведь нечем заплатить!

— Не надо чинить. Я так посижу.

Не отвечает.

— В самом деле не нужно... Я... деньги забыла.

— В немецком банке?

— Нет...

— Так я и думал.

Он неожиданно протягивает ей молоток.

— На, стучи.

...Зачем?

— Вот так, — и он ударяет о край стола.

Ирена берет молоток, слабо и неумело опускает обушок на стол.

— Так и муху не убьешь. Сильнее надо, чтобы там, — он показывает на пол, — слышали. Тишина — знак опасности.

Сапожник роется в куче обрезков, холявок, ремней. Видно, ищет кусок на подметки. А Ирена бьет молотком, сама боясь и стесняясь этого шума. Но сапожник, кажется, все равно недоволен:

— Ты, наверно, сидишь только на немецком рационе?

В комнату входит девушка, очень похожая на впустившую их женщину. И такая же худая.

— Отвернись, — просит она. — И не смотри на меня.

— Я?

— Ты. — И ждет. А Ирене мешают подогнутые под стульчик ноги. Еле разворачивается, продолжая постукивать молотком. Теперь уже по подоконнику.

Слышно, как девушка вытаскивает что-то из-под кровати.

Скрипит дверь. Вышла?

Ирена оборачивается.

Входит дядя Яков. А девушка сидит на полу возле ящика с каким-то тряпьем и держит большую безногую и оборванную куклу. Еще играет в куклы?! Вот, оказывается, чего стеснялась!..

Дядя Яков тоже немножко удивлен. А девушка ножиком аккуратно распарывает кукле спину. Высыпает опилки и вытаскивает какой-то сверток. Разворачивает... Ирена от неожиданности даже забыла, как это называется, то, что она увидела. Ну, то, из чего стреляют. Дядя Яков берет эту блестящую черную вещь в руки, вертит, осматривает. Но зачем он держит ее так близко? Да еще дулом в лицо!

Сапожник тянет из рук Ирены молоток и принимается стучать сам. Но она не отрывает глаз от дяди Якова.

— Теперь ты понимаешь? — спрашивает он.

— Зачем это? . .

— На елку в рождество повесим, — отвечает за дядю Якова сапожник.

Ирена пропускает шутку мимо ушей.

— Ведь такие только у немцев. . . — говорит она.

. . .Опять, кажется, не то сказала.

— Было бы очень печально, если бы только у немцев. . . — И дядя Яков снова выходит. Девушка идет за ним следом.

«. . .Теперь ты все понимаешь?» Что она должна понимать? Что у дяди Якова есть этот... револьвер? Ну и что же? Ирена силится понять, что тут происходит, но мысли не дают себя поймать — мелькнут и исчезнут.

— Надевай, один готов. — Сапожник подает ей ботинок.

— Спасибо. А второй, может, не надо? Мы скоро пойдем.

Но сапожник не обращает на ее слова внимания и принимается за другой ботинок. Стучит. Молчит. Конечно, о чем ему с нею говорить? Наверно, считает дурочкой. Ведь она все время говорит невпопад. Хоть бы напоследок сказать что-нибудь умное, серьезное. Но что?

И она вдруг говорит:

— Извините, что я так... глупо спросила. Но мне казалось, что оружие могут иметь только немцы. . . — Она с досадой умолкла — ведь повторила ту же глупость.

— А с чем против них идти? С метлами?

. . .Против них?!

— Неужели дядя Яков будет стрелять?

Сапожник смотрит на нее зло и непонимающе.

— Он же не умеет. . . — пытается объяснить Ирена. — И. . . его могут убить.

— Могут.

. . .Как спокойно он говорит об этом!

— Ведь дядя Яков не солдат.

Сапожник рассердился:

— Теперь все должны быть солдатами. Иначе от немцев никогда не избавиться! Перебьют они тут всех! — И начинает бить молотком с таким остервенением, будто держит не Иренин ботинок, а какого-нибудь эсэсовца.

Возвращается дядя Яков. Подает ей свой свитер.

— Надень. Отнесешь в подвал. Пусть по очереди греются. И скажи тете Еве, чтобы пришла сюда завтра рано утром, пока темно. Адрес и пароль она знает. Вечером приведешь стариков. А сестре с девочками и их соседке... (Дядя Яков никогда не называет ее матерью Додика, чтобы не напоминать)... еще одну ночь. Потом их тоже приведешь. Только не сразу, по очереди. Поняла?

Ирена кивает. Сапожник подает ей второй ботинок.

— Спасибо.

— Носи на здоровье, — неожиданно мягко отвечает он.

Ирена выходит. Дядя Яков провожает ее в прихожую. Подбегает Принцик, волоча поводок.

— Ну, счастливо, Ирочка. Не скоро увидимся.

— Почему? Я же завтра приведу стариков.

— Вечером. А утром, как только придет тетя Ева, мы отсюда уйдем.

...Уйдут?! А она?

— Здесь вам оставаться нельзя?

Он мотает головой.

— И не хотим. Тут останутся только старики, сестра с девочками и еще несколько женщин, тоже с детьми. Они уже здесь, в подвале.

— А... мать Додика?

— Пока тоже будет здесь.

Ирена хочет еще о чем-то спросить. Или сказать что-то...

— Спасибо тебе, Ирочка. За все спасибо.

— Что вы, это вам спасибо...

Она понимает, что надо уходить. Но не может.

— Это вам большое спасибо...

Дядя Яков обнимает ее за плечи.

— До свиданья, девочка. До встречи после войны. А пока держись! Хорошо?

Она кивает. И очень старается не расплакаться.

Принцик дергает поводок, тянет ее.

Дверь закрылась. Дядя Яков остался там, в прихожей. А ей кажется, что он идет рядом. И она с ним разговаривает.

«Я тоже ненавижу гитлеровцев...»

Он улыбается. Ирена понимает почему.

«Нет, не только за себя! И за вас! За всех!.. За то, что они убивают и мучают людей. Угоняют в Германию, запирают в т а к и е дома. За то, что все несчастны».

«Только ненавидеть мало».

«А что я могу делать?»

«То, что делаем мы».

«Стрелять?!».

От страха, что надо будет стрелять, Ирена словно пробуждается и видит, что идет по улице, одна. Дядя Яков остался там...

Завтра он совсем уйдет, а она будет здесь. Может, лучше и ей уйти вместе с ними?

Почему она не может, как другие, решать сама?

Фрау Гертруда велела ей убежать о т т у д а — она убежала. А если бы на месте фрау Гертруды была другая?..

Потом фрау Гертруда оставила жить у себя — осталась. Дядя Яков повел прятаться в гетто — пошла в гетто. А сама? Почему она сама ничего за себя не решала? Ведь и в подвале она спрятала этих людей только потому, что тетя Ева навела ее на эту мысль.

Почему другие знают, что надо делать, а она не знает? Даже тетя Ева, такая хрупкая, а уходит в лес. И эта девушка — видно, дочь сапожника — тоже с револьвером.

Гитлеровцев Ирена ненавидит. Но стрелять...

«Теперь все должны быть солдатами. Иначе перебьют они тут всех!»

Да. Они каждый день расстреливают. И вешают. Или... штыком, как маленького Додика...

Но как стрелять? Как видеть падающего от твоего выстрела человека? Знать, что это ты убила!.. Это же такой грех!

А почему бог не наказывает их за убийства?

И все равно она не сможет стрелять. Если бы можно было делать что-нибудь другое...

Но что?

Надо было спросить у дяди Якова. Теперь уже поздно. Правда, она еще может спросить через тетю Еву.

Но ведь опять будет то, что скажет другой.

Ничего. Она научится решать сама потом, когда станет старше. А сейчас пусть дядя Яков посоветует. Она все сделает, как он скажет. Все. Но пусть только скажет...

17

Альгис смотрит на часы, висящие на стене, и откровенно зевает. В первые дни он еще отворачивался или старался зевать, не раскрывая рта. Хоть и знал, что старый хозяин поместья — слепой, но никак не мог представить себе, что человек совсем-совсем ничего не видит.

Половина двенадцатого, а старый пан все еще не отпускает его.

— На что ты сейчас смотришь?

— На рога.

— Большие или маленькие?

— Большие.

— Их обладателя я убил в тридцать втором году.

...Неужели опять начнет рассказывать всю эту историю?

И Альгис спешит опередить его:

— Да. Вы говорили.

— Ага... Метким я был стрелком. Ох, метким!.. Однажды мы с графом Тышкевичем...

...Сейчас начнет рассказывать о пари, которое выиграл, попав в водяную лилию в графском пруду.

— ...А граф и гораздо ближе не попал.

Это Альгис тоже знает.

— Что молчишь? Дремлешь?

— Нет.

— А о чем я только что говорил?

— Что граф промахнулся.

— Ага... А ты попал бы?

— Нет.

...Угодил.

— Теперь уж и я бы не попал... — Старик вздыхает. — А еще позапрошлым летом хорошо видел. Тогда Советы свои порядки вводили. Приехал их начальник с землемером. Мою землю голодранцам делили. Я стоял у окна и все видел, хотя далеко были. Да. Тогда еще и глаза видели, и ноги держали. Когда мы в Германию уезжали, я в поезд сам влез. А обратно... хотя и рад был, что прогнали Советы и поместье вернули, — а все-таки на носилках...

Альгису строго наказано не давать пану грустить. Как только заметит, что настроение портится, сразу должен заговорить с ним о чем-нибудь приятном.

Но о чем? Старик веселеет только при воспоминаниях об охоте, балах, картах. И Альгис заводит давно надоевший разговор.

— Скажите, пожалуйста, в карты играть очень интересно?

— Разве ты не играл? А, да, да, говорил: отец не позволял. И не тянуло?

— Нет.

— Зря. А мы, бывало, сядем вечером, так и не заметим, как рассветет. Не удивляешься?

— Удивляюсь.

— А почему не спрашиваешь, везло ли мне?

— Я уверен, что очень везло.

— Правильно. Все мне завидовали. Только не думай, что я вел нечестную игру. Впрочем, один раз я проиграл крупно. Но нарочно. Понимаешь? Нарочно просадил десять тысяч литов.

— Десять тысяч?!

— Президентше...

...Она играла в карты?

— Тебе неинтересно — почему?

— Очень интересно! — На этот раз Альгис искренен.

— Был у меня приятель, подрядчик. Умер уже, хотя и моложе меня. А подрядчик он был солидный, делами ворочал большими...

Неожиданно пан смолк и закрыл глаза. Задремал, наверное.

Теперь Альгису тоже можно идти спать. Историю с картами он дослушает завтра. Если ночью не заберут... Опять это страшное «если»! Ведь твердо решил не думать об этом, но думается само...

Он неслышно встает, осторожно делает шаг, потом другой. Скрипнул пол. Эх, черт!

Старый пан открывает невидящие глаза.

— Куда ты?

— Никуда. Просто ногу отсидел... — Альгис возвращается на место.

— Не уходи. Рано еще.

...Рано! Сам-то спит до полудня, а Альгиса поднимают затемно. И, будто нарочно, как раз, когда снится Зося...

— О чем мы говорили?

— Вы рассказывали, что проиграли президентше.

— Ага... Десять тысяч литов тогда проиграл. В один вечер. Правда, не свои. А почему не спрашиваешь, для чего?

— Для чего?

— Мой приятель-подрядчик хотел получить большой государственный заказ. Понял?

Альгис кивает, опять забыв, что пан не видит.

— А почему он не мог сам?

— Самому неудобно. А я, так сказать, лицо незаинтересованное. Только невзначай во время игры замолвил словечко, когда к нам подсел президент.

— И ваш приятель получил этот заказ?

— А как же! Потом мне, в знак благодарности, бал закатил. Три дня мы тогда гуляли...

Старик откидывается на подушки, с улыбкой закрывает глаза. Видно, вспоминает бал.

— А какие там были гимназисточки! — говорит мечтательно.

Улыбка на лице медленно гаснет. Он засыпает. Но надо подождать, пока заснет крепко.

Согнувшись, Альгис снимает ботинки и тихо крадется к двери. Осторожно открывает, оглядывается назад: хозяин спит.

По лестнице Альгис спускается, выделывая акробатические фигуры, — на каждую ступеньку надо ступить так, чтобы не скрипнула. Вот наконец его комнатка. Хозяева ее называют лакейской. Будто по привычке, потому что когда-то там спал лакей. Но Альгис думает, что это нарочно, чтобы унизить его.

Днем, когда ему здесь находиться нельзя, эта комнатка кажется единственным прибежищем. Он с нетерпением ждет вечера, когда сможет закрыться в ней, зная, что больше никто его никуда не пошлет, не прикажет что-нибудь сделать. Но вечером он здесь уже не испытывает этого чувства. Наоборот, его сразу обступают тревожные мысли, которых днем обычно нет, или они не кажутся такими страшными. Например, что его могут вывезти в Германию.

Что тогда делать?

В первые дни он об этом не думал. Даже радовался, что приехал. Словно совсем в другой мир попал. Ни немцев, ни вообще военных. Даже ни одного полицейского.

Работы тоже почти никакой. Молодые хозяева с детьми где-то гостили, старый пан лежал в больнице.

По вечерам в его комнатку приходил дядя Пятрас. Для всех он был садовник, а для Альгиса — все тот же прежний дядя Пятрас, адвокат, товарищ отца. И вовсе ничего не было страшного в том, что им обоим приходится здесь служить.

Дядя Пятрас рассказывал о том времени, когда они с отцом были студентами. Оказывается, бабушка хотела, чтобы отец стал ксендзом. А он не послушался и поступил на юридический факультет. Бабушка, разгневанная непослушанием, отказалась ему помогать. И отец зарабатывал на жизнь уроками или по ночам разгружал суда в порту.

Отец добился своего, стал юристом. Бабушка с этим в конце концов примирилась, но он так и остался хмурым и замкнутым. Обиды юности, особенно от близких, не проходят бесследно...

Тогда почему он был так суров с Альгисом, если раньше сам страдал от строгостей бабушки?

Но интереснее всего Альгису бывало слушать о себе. Оказывается, что маленьким он боялся ванны. Не только купанья, но даже просто ее вида. И гусей очень боялся, потому что однажды летом в деревне Альгиса больно ущипнул сильный и злой гусак.

Альгису было интересно слушать эти рассказы, и он очень жалел, что ни отец, ни мать никогда ему ничего такого не рассказывали. И вообще так не разговаривали с ним.

Но однажды, когда дядя Пятрас сидел у Альгиса в комнате, они вдруг услышали, что где-то далеко в деревне остервенело лают собаки.

— Немцы! Одевайся и жди меня у двери! — сказал вдруг дядя Пятрас и выбежал.

Альгис со страху стал натягивать на себя все, что оказалось под руками: свитер, куртку, перчатки. А дядя Пятрас уже снова в дверях:

— Быстрей!

Альгис выбежал за ним, успев схватить пальто.

Дядя Пятрас, Альгис, оба батрака, кучер, кухарка, горничная и няня побежали в кладбищенскую часовенку. Все-таки храм, может быть немцы не осмелятся нарушить его неприкосновенность.

В часовенке было очень холодно. И страшно. Казалось, никогда еще Альгис так не боялся. Он даже забыл, что горничная ему приглянулась и что она очень напоминает Зосю...

Собаки лаяли, надрываясь. Дядя Пятрас сказал:

— В древности люди предупреждали друг друга об опасности, зажигая на башнях костры. Теперь об облавах оповещают собаки.

— Они тоже ненавидят фашистов, — ответил из угла батрак Казис.

В часовенке они проторчали всю ночь. И хотя слышали, что в поместье облавы не было, вернуться туда решились только поутру, совсем закоченев.

С этой ночи Альгиса снова мучает страх — схватят, вывезут...

Он стал присматриваться к другим: неужели им не страшно? Или не показывают вида? Но ведь и по Альгису, со стороны глядя, наверно, ничего не заметно.

Теперь и дядя Пятрас, словно нарочно, перестал рассказывать веселое, приятное. Говорит только о гитлеровцах. О том, что они творят. Будто Альгис сам не знает. И что человек не должен быть равнодушен к злу. И что гитлеровцы не такие непобедимые, какими себя выставляют. И что если трезво подумать, шансов выиграть войну у них не очень-то много. На фронте их бьют. От Москвы отогнали. И отсюда выгонят. Правда, еще не так скоро. Это зависит от многого. Ведь само собою ничего не бывает...

Альгис не любил таких разговоров. Казалось, дядя Пятрас чего-то ждет. Но Альгис молчал: он-то знал, что нельзя, ничего нельзя против немцев сделать. Они очень сильные. А дядя Пятрас... Альгис уже не раз замечал, что он как-то по-особенному шепчется с батраком Казисом; а второго — Игнаса — они избегают. Когда однажды к дяде Пятрасу пришел какой-то человек, Казис нарочно увел Игнаса в деревню. Говорил, на танцы, хотя никаких танцев там не было. Дядя Пятрас тогда попросил Альгиса ненадолго уступить свою комнатку: давно, мол, не виделись, хотят поговорить, чтобы никто не мешал. Но Альгис чувствовал, что это не простые разговоры... Да и дядя Пятрас сам уже дважды исчезал куда-то на всю ночь. Все это неспроста... И Альгис очень боялся, что дядя Пятрас велит ему что-нибудь сделать.

Что именно — он не совсем представлял себе, но ведь все равно, теперь все опасно.

Когда из больницы привезли старого пана и он стал отпускать Альгиса только после полуночи, Альгис был даже доволен — не надо будет слушать опасные разговоры дядя Пятраса.

А вскоре после этого дядю Пятраса арестовали. Ночью. На этот раз собаки не лаяли — гестаповцы приехали тихо, только на одной машине, и, видно, прямо сюда, в поместье. Альгис проснулся, услышав, что на лестнице говорят по-немецки, и выпрыгнул в окно. Но луна, будто издеваясь, так осветила сад, что дальше бежать Альгис не решился. Прижался к стене — может, так, в тени, останется незамеченным. Вдруг мимо него пробежал, белея рубашкой, Казис. В правой руке он что-то держал... Нет, наверно, Альгису померещилось. Он хотел тихонько окликнуть Казиса, но тот уже был у забора. Перемахнул. Альгис хотел прыгнуть за ним, но в это время из дома вышел немец с автоматом. За ним шагал дядя Пятрас со связанными назад руками и еще два конвоира. Последним появился офицер.

Сейчас они пройдут мимо Альгиса. Совсем близко...

Первым прошел немец. Потом дядя Пятрас. Как он изменился! Даже в темноте видно, как осунулось его лицо. А всегда казался таким бодрым, бесстрашным. Видно, только казался. Боятся все...

Дядю Пятраса толкают в машину. Он уже заносит ногу, но вдруг останавливается. За садом будто доски бросают. Стреляют? Гестаповец быстро вталкивает дядю Пятраса в машину, а остальные направляют автоматы туда, откуда стреляли, и тоже начинают палить. Даже офицер садится в машину отстреливаясь. Но там, за садом, уже тихо. Автоматчики быстро влезают в машину, и она уезжает.

Альгису так страшно, что он даже с места тронуться боится. Но стоять здесь одному еще страшнее. И он заставляет себя, не выходя из тени, боком сделать шаг. Второй. Третий. Снова замирает. Кругом тихо. Он делает еще несколько шагов. Вдруг решается рывком открыть дверь и вбегает в дом.

В холле собрались все обитатели дома: хозяин, хозяйка в шелковом халате с крупными цветами, горнич-

ная, няня, кухарка. Даже батрак Игнас здесь, хотя обычно батракам входить в дом запрещено.

Все нетерпеливо уставились на Альгиса, словно только и ждали его.

— Кто там стрелял? — спрашивает хозяин.

— Не знаю... — О том, что видел пробегавшего с пистолетом Казиса, Альгис молчит.

Хозяин больше ни о чем расспрашивать не стал, считая, видимо, что толку от Альгиса все равно не добиться.

На следующее утро Казис появился с перевязанной рукой. Сказал, что вывихнул, выпрыгивая из окна. Но Игнас ухмыльнулся: «Получил, чего добивался... Освободитель».

Значит, Казис хотел освободить дядю Пятраса? Стрелял, и его тоже ранили? ..

Альгису после ареста дяди Пятраса стало совсем плохо. Все время он чувствовал себя, как той ночью в саду, — одиноким и беззащитным. Захотят немцы — и заберут, никто не заступится. Ведь и за дядю Пятраса хозяева не заступились. Им что? Наняли другого садовника. А сами, да и все остальные, даже Казис, живут по-прежнему. С ними-то ведь ничего не произошло. Так же все будет, если заберут и его, Альгиса. Другие останутся и будут дальше жить. Плохо тому, кому плохо. Вместо него никто не пойдет...

Надо спасаться. Но как?

Альгис попросил как-то старого пана, чтобы в случае чего заступился, не дал увести. Но тот ответил, что ему неудобно вступать в конфликт с немецкой властью.

Неудобно... А что человека заберут, ему удобно?

Написать матери? Но что она может? Да и в письме не напишешь всего, что чувствуешь, — цензура. А еще пока письмо дойдет до города, пока придет ответ. Ведь забрать могут каждую ночь. Даже сегодня...

Что делать?

Хоть бы скорее утро. Днем не так страшно. Когда светло, вообще спокойнее. И рядом с хозяевами, которым даже в голову не приходит бояться, Альгису кажется, что его страхи преувеличены. Он решает больше не думать об этом. Но вот приходит ночь, и страх возвращается. Ну да, его могут забрать. И заберут. Может, даже этой ночью.

Кажется, лают собаки! .. Нет, послышалось...

Но раздеваться он не станет. И не ляжет. Чтобы не уснуть крепко и услышать, когда они приедут. А что дальше? Выпрыгнуть в сад? Найдут. Что им стоило тогда забрать его? И он ничего не смог бы сделать. Правильно Гросс говорил — сила на их стороне. А дядя Пятрас зря надеялся, что на фронте их победят. Могли бы — так давно бы победили...

Опять лает собака. Нет, теперь уже воет.

Говорят, собаки воем предсказывают смерть. Кому?

Господи, что за ужасы лезут в голову! Ведь если немцы даже и заберут, то всего только вывезут на работы. Но в лагерях, говорят, работа очень тяжелая. Хорошо, отцу повезло: Гросс говорил, что он там на легкой работе. А Альгис должен будет работать наравне со всеми. Рассказывают, что надзиратели все время погоняют, даже передохнуть не дают. Поэтому люди там долго не выдерживают — худеют, слабеют и умирают.

А ему-то казалось, что на фабрике работа тяжелая. Подумаешь, доски носить или шкаф чуть ли не вшестером на машину поднять.

Может, и вправду директор собирался выхлопотать какие-то особые удостоверения, которые освобождают от вывоза в Германию? Альгис мог бы спокойно работать. Так нет, уехал сюда...

И что он тогда так испугался Гросса? Ну, следователь. Партизаны убивают немцев, немцы убивают партизан. Арестовав, конечно, допрашивают. До войны ведь тоже были и допросы и следователи.

Зато уж Гросс наверняка не дал бы его забрать.

А теперь сиди тут и бойся каждого гавканья собаки.

А если Гросс спросит, почему вернулся?.. Да и уехал-то Альгис не попрощавшись, только промямлил, что с легкими не в порядке. В детстве болел плевритом. Врач велит, дескать, пожить на свежем воздухе...

Мать, конечно, обрадовалась бы его приезду. Он бы работал, как прежде, на фабрике. И по ночам дома не так страшно.

Лает!

Ничего, только одна. Это просто так.

Надо не думать. Совсем ни о чем не думать. Лечь, хоть одетым, и считать до тысячи. Говорят, так легче заснуть.

Раз, два, три...

Ирена подсаживается к верстаку. Когда ни Пукиса, ни его жены нет дома, Ирена должна время от времени ударять молотком об пол, чтобы живущие в убежище знали, что все спокойно. А ей неловко стучать, когда рядом, на кухне, лежит покойница.

Бедная старушка: воспаление легких в таком возрасте. Да вдобавок изголодавшаяся, слабая, и с температурой должна была идти в такую погоду из подвала сюда. Фрау Гертруда сразу сказала, что она безнадежна, хотя очень старалась вылечить. Сама из-за этого раньше времени выписалась из больницы: врача сюда не позовешь... И все равно не смогла спасти.

А старушка понимала, что умирает, и только молила бога, чтобы не сейчас, чтобы еще хоть раз увидеть сына.

А сын на фронте, наверно, и не подозревает, что здесь, на этой кухне, под скамьей, спрятанная, как вещь, за ведрами и кастрюлями, лежит его мать. И похоронить-то ее по-человечески нельзя. Просто положат в яму, вырытую Иреной под полом в кладовке, засыплют землей и снова настелют пол.

Так велел Пукис. Когда они с женой собирались в деревню, больная была уже совсем плоха. И Пукис, уходя, разобрал в кладовке пол. Ирене велел потом выкопать яму. Женщинам в убежище об этом говорить не надо. Но другого выхода нет. Вынести покойницу нельзя — сососеди заметят.

Соседи и так, кажется, что-то подозревают. А может, просто напуганы. И на Ирену, когда она сюда перебралась от прежних хозяев, вначале косились. Дворник сразу прибежал справляться, кто такая. Пукис ответил, что родственница жены из деревни. И удостоверение показал. Ирена в это время отвернулась — ведь на снимке другая...

Теперь соседи к ней уже привыкли. Даже довольны, что вместо сапожничихи Ирена приходит к ним полы мыть и белье стирать. Хвалят, что трудолюбива — и у людей подрабатывает, и еще дома красивые бумажные розы делает. Сапожничиха их на базаре продает и у крестьян меняет на картошку.

Ирене неловко слушать незаслуженные похвалы. Но не может же она признаться, что эти розы делают жен-

щины в убежище. Это и лишний заработок, а главное, удобный предлог для Пукисов ездить в деревню. Ездим, мол, менять эти цветы на продукты. Хотя это тоже запрещено. Но если патруль окажется сговорчивым, да еще любящим сало — можно откупиться. А если заподозрили бы настоящую причину похода...

Ирену кольнуло беспокойство. Пукисы должны были вернуться еще вчера вечером. Самое позднее — сегодня утром. А сейчас уже темнеет.

Но они придут. Должны прийти. Как всегда, довольные. Расскажут, что нового на фронте. И от дяди Якова новости принесут. И еще обязательно скажут, что́ он просил передать ей, Ирене.

А пока что она наведет порядок на верстаке Пукиса.

Она вычищает из углов грязь, вытирает запачканные варом доски, переставляет жестянки с гвоздями. Их — в один ряд. Инструменты — плоскогубцы, молотки и ножи — в другой. Аккуратно, по размеру.

Чисто. Но совсем не похоже на верстак настоящего сапожника. Пукис будет недоволен. Может, опять все смешать?

Пора снова подать знак в убежище. Взяв молоток, Ирена ударяет им об пол.

Стучат в дверь. Наверное, вернулись Пукисы.

Ирена вскакивает. Но идти открывать еще нельзя — надо подождать, пока постучат второй раз. Хоть бы скорее!

Стучат. Они! Но все-таки надо ждать. Если постучат в третий раз, значит, чужие. Ирена переминается с ноги на ногу от нетерпения.

Тихо.

Она выбегает в переднюю. Нетерпеливо исполняет последние требования неприятного ритуала:

— Кто там?

— Я хотела починить...

Фрау Гертруда!

— ...Единственная пара и та порвалась.

— Какое мне дело, что единственная? — скороговоркой бормочет Ирена — ей всегда неудобно так грубо отвечать — и отпирает.

— Здравствуй. Как больная?

Ирена молчит.

— Очень плохо?

— Ее уже нет...

Фрау Гертруда отворачивается к окну.

— Похоронили?

— Я одна...

— Они еще не вернулись?!

...Фрау Гертруда тоже испугалась. Значит, плохо.

— Нет.

— Наверно, задержались.

...Она на самом деле так думает или только успокаивает?

— Вернутся. — Фрау Гертруда явно старается казаться бодрой. — Но что будем делать со старушкой?

— Пукис сказал, что похоронит здесь же, в кладовке. Под полом. Яму я уже выкопала.

— А где старушка?

— На кухне.

Фрау Гертруда входит туда. Оглядывается.

— Где же?

— Под скамьей. Женщины ее ночью вынесли и спрятали тут. В убежище держать не могли, дети боятся. Да и душно.

— Давай похороним. Только надо позвать старика.

— А если кто-нибудь зайдет? Ведь раньше ночи никому из подвала выходить нельзя.

— Теперь им вообще ничего нельзя. Но жестоко лишать старика последнего прощания...

...Вспомнила своего мужа...

Ирена проверяет, хорошо ли закрыт черный ход, идет к плите, вытаскивает спрятанный под дровами ключик и открывает кухонный шкаф. С нижних полок начинает быстро снимать глиняные горшки, миски, стеклянные банки, мешочки с крупой. Вынимает и сами полки. Под ними зияет дыра.

— Если кто-нибудь постучится, заприте шкаф на ключ. Когда можно будет выходить, стукните три раза.

Пятясь, Ирена влезает в дыру. Нащупав ногами лестницу, спускается вниз. Фрау Гертруда закрывает дверь шкафа. Ирена остается в полной темноте. Ощупью найдя бочку, с трудом отодвигает ее и влезает в убежище.

Здесь — как обычно. Душно и сумеречно. Лампочка под потолком светит так слабо, что, кажется, сейчас погаснет. Но пока еще позволяет видеть сидящих на нарах женщин. Мать Додика. Майя, ее мама. Лизочка. Малень-

кий Осик. Он тоже понимает, что разговаривать нельзя. И двигаться нельзя. Да и негде. Только болтает ножками в одних чулках. Ботинки здесь не нужны, поэтому давно выменяны на еду.

Какое множество искусственных цветов! Они везде — на нарах, на полу, в руках у женщин. Они их делают для продажи. С утра до ночи.

Женщины поднимают на Ирену испуганно-вопросительные взгляды. Дети тоже смотрят. Но только на ее руки — не принесла ли чего-нибудь поесть. Ирена, натянуто улыбаясь детям, идет к старику.

Он тоже работает — худыми жилистыми руками выпрямляет проволоку для стебельков. Ирена показывает ему, чтобы шел наверх.

Старик понимает, для чего. Еще ниже склоняет голову, тяжело встает.

Лизочка протягивает ему белую розу.

— Бабушке... — шепчет она и испуганно взглядывает на мать — не будет ли ругать, что заговорила.

Старик не смотрит на розу. Он берет с нар простыню, сует ее под мышку и, сгорбившись, плетется к выходу. Женщины провожают его грустными взглядами. А Лизочка все еще держит розу. Ирена берет ее.

Когда они поднимаются в кухню, покойница уже лежит на скамье.

Старик наклоняется над женой. Две одинокие слезы падают на ее мертвое лицо и скатываются... Теперь кажется, что мертвая тоже плачет.

Ирена быстро складывает в шкаф полки, посуду. Запирает. Возвращается к скамье и кладет покойной к ногам белую розу.

— Не надо, — тихо просит старик. — У нас хоронят без цветов. И без одежды. Все нагими пришли на этот свет, нагими должны и уйти... — Он протягивает Ирене простыню. — Разденьте ее и заверните... — Плечи старика дрожат, и он отворачивается.

...Раздеть покойницу?!

— Дай. — Фрау Гертруда берет простыню и совсем просто, будто живой, начинает расстегивать старушке платье.

А тело под ним худое-худое, как у той старушки из гетто, с которой похоронили Додика.

Ирену начинает знобить. Дрожащими руками хватает она коптилку, зажигает ее и идет к кладовке. Войти туда нельзя — вместо пола яма. У стен насыпана вырытая земля. Сколько могла, Ирена вынесла — высыпала в помои, добавила в цветочные горшки. Но все равно осталось много.

Подходит старик. Увидев яму, пугается. Он не ожидал, что здесь... Кажется, хочет о чем-то спросить, но только губы трясутся, а выговорить ничего не может.

— Вынести нельзя, — объясняет Ирена. — Соседи увидят.

Старик кивает.

— Ирена... — Фрау Гертруда зовет ее.

Ирена быстро подходит. Хоть не будет видеть плачущего старика. Но он идет следом.

— Помоги. — Фрау Гертруда берет покойницу за плечи и показывает Ирене на ноги.

Стараясь унять дрожь, Ирена осторожно приподнимает завернутые в простыню ноги и идет к кладовке. Какой жалкий последний путь старушки — несколько шагов по тесной кухне, среди ведер, кастрюль и корзинок с очистками...

Подойдя к порогу кладовки, Ирена опускает ноги покойной, а сама влезает в яму. Вместе с фрау Гертрудой они опускают туда тело старой женщины. Но когда худые, окоченело неподвижные ноги ложатся на ногу Ирены, она, вдруг испугавшись, хватается за край ямы и спешит вылезти. Кажется, будто мертвая держит ее, не хочет выпускать...

Фрау Гертруда берет лопату...

Старик вздрагивает от каждого комка земли, падающего с глухим стуком.

Ирена отворачивается. Скамья на кухне пуста... А когда на нее снова поставят ведра с водой, все будет выглядеть по-старому. Только эта белая роза... Но и ее Пукене завтра отнесет на базар.

«Пукисы не вернулись!» — вдруг опять пронзает Ирену. Она заставляет себя сделать шаг и подойти к фрау Гертруде.

— Дайте я закончу. Вы, наверно, устали.

Фрау Гертруда в самом деле тяжело дышит.

— Земли слишком много. Пукис не сможет настелить доски.

...Они сейчас прислонены к стене, словно крышка гроба...

Губы Ирены сами произносят:

— Если он вернется...

Фрау Гертруда молчит. Делает из старой газеты кулек и сыплет туда землю.

— Вынесу немного в сумке. Не заметят... Хочешь, я останусь ночевать? — неожиданно предлагает она.

— Спасибо, не надо.

...Зачем отказалась?

Фрау Гертруда больше не предлагает. Она уже моет руки, тщательно, как все врачи, обмывая каждый палец в отдельности. И так же медленно, по одному, вытирает их.

— До свиданья, — говорит она сидящему в дверях кладовки старику.

— С богом. Спасибо вам.

Фрау Гертруда идет в комнату. Одевается. Выходит в прихожую. Ирена неотступно следует за ней.

...Может, попросить, чтобы осталась?

Но не решается. Отпирает дверь.

— Спокойной ночи, Ирена.

— Спокойной ночи.

Ирена запирает дверь. Возвращается в комнату. Стучит молотком в пол. Ведь спокойно...

Снова идет на кухню. Старик все сидит на пороге кладовки. Кажется, молится. А сама она уже так давно не молилась. Мама была бы недовольна...

Ирена оглядывается. Скамейка пуста...

Ставит на нее ведра с водой, вниз засовывает кошелку с очистками и тазы. Розу прячет в шкаф.

Теперь все по-старому... Вещи на месте.

За стеной — могила, под полом — тоже что-то вроде большой могилы для живых. Хозяев нет. Но вещи на месте, и все кажется обычным.

В комнате бьют часы.

Десять. Комендантский час. Значит, Пукисы уже наверняка не придут...

А женщины внизу ждут, когда их позовут мыться. Чья сегодня очередь? Все равно. Надо согреть воду... Пусть они пока ничего не знают о хозяевах. Пусть, как всегда, кто-нибудь поднимется сюда, помоется, а уходя,

возьмет кастрюлю крупянки на завтра. Все, как каждую ночь.

Ирена достает из духовки просушенные щепки для растопки. Зажигает, ждет, пока разгорятся, и сует под сложенные в плите дрова. А они, конечно, сырые. Пламя от щепок только прыгает вокруг них, лижет, но соскальзывает, не зацепившись, и само начинает гаснуть. Ирена подкладывает бересты.

Выпрямившись, она видит старика. Все еще сидит.

Как ему сказать, чтобы он вернулся в убежище? Ведь сейчас придут умываться, а нескольким сразу здесь находиться нельзя.

Но старик сам догадывается. Услышав, что Ирена наливает в кастрюли воду, встает. Осторожно, чтобы не скрипнула, притворяет дверь кладовки. И так же тихо, на цыпочках, словно боясь разбудить жену, идет к шкафу.

Ирена привычно быстро вынимает из него посуду, полки. Старик старательно помогает.

Влезая в подполье, последний раз поднимает глаза на кладовку.

— Не говорите им, что здесь... — просит Ирена.

Старик кивает.

Ирена еще раз проверяет, хорошо ли заперт черный ход, нет ли щелочки в затемнении на окне. Ставит на табуретку таз. Стучит, что можно вылезать.

В отверстии появляется Майя. За нею вылезает Лизочка, все с той же торбочкой для хлеба на шее. Торбочка пуста... Лизочка протягивает Ирене руку, здоровается, словно пришла издалека, и сразу же начинает раздеваться.

Ирена с Майей вслушиваются. Кругом тихо. Они быстро складывают в шкаф полки, ставят посуду.

Закрыв шкаф, Майя тоже раздевается, а Ирена наливает воду. Лизочка в нетерпении подставляет под струю ладошки и счастливо улыбается.

— Вода ведь живая, правда? — шепчет она.

Ирена кивает.

Вдруг они цепенеют... Стучат! В ту дверь, с улицы!

Майя быстро закрывает Лизочке рот ладонью. Обе испуганно смотрят на Ирену. А она на них — голых, дрожащих.

В дверь снова барабанят.

Что делать? Назад в убежище не успеть. Куда их девать? Ирена оглядывает кухню. Плита. Дверь в комнату. Кладовка. Дверь во двор.

Она внезапно сталкивает с табуретки таз с водой и, прикрываясь этим шумом, отпирает черный ход.

— Бегите в дровяной сарайчик! Третий слева.

Она поддает ногой миску, катает ее по полу, чтобы гремело, а сама тем временем сует Майе в руки ключи и одежду.

— Быстрей!

Вытолкнув их, запирает дверь.

А в уличную дверь барабанят все сильнее.

Сейчас...

Ирена быстро сбрасывает с себя одежду. Это она мылась, она! А почему сухая? Ирена быстро окунает голову в ведро с холодной водой. Ей перехватывает дух. Но надо еще раз — не вся голова мокрая.

С волос бегут холодные струйки. Текут по шее, по спине, по рукам. Но вытирать некогда — там уже ломают дверь. Она торопится открыть...

19

Глупо было надеяться, что она здесь встретит маму. Тюрьма большая, камер множество. В которой мама? Может, где-нибудь далеко, в другом конце, или даже на другом этаже, а может, совсем рядом, в соседней камере. И не чувствует, что Ирена здесь, близко...

Надо было ночью, когда ее вели по коридору, нарочно кричать. Мама узнала бы ее голос, отозвалась бы. Но Ирена не догадалась. Она была словно неживая. Даже не попрощалась с теми, из убежища. Не поняла, что разлучают. Только тогда сообразила, когда мать Майи сунула ей в руки горбушку хлеба... «Нам больше не понадобится...» Охранник отогнал их. Они шли и все оглядывались на Ирену, словно желая ее запомнить. А она и слова вымолвить не могла. Потом и ее увели.

Где они? Из гетто тоже сперва угоняли в тюрьму. А уже оттуда...

— Нет, нет!

— Что нет? — Сидящая рядом седая женщина удивленно смотрит на Ирену.

...Неужели вслух кричала?

— Ничего, извините...

— Если здесь за все извиняться... — Седая женщина вздыхает и обводит взглядом камеру.

Ирена тоже смотрит. Теперь окончательно рассвело, и все хорошо видно.

Двухэтажные нары. Кто сидит, кто лежит. Иные что-то ищут в своей одежде. Какая-то женщина направляется к ведру в углу и некрасиво садится на него. Как она может? Неужели Ирене тоже надо будет так? Она отворачивается.

...Эта седая здесь, наверно, давно. Может, встречала маму?

— Простите, вы здесь давно?

— Давно... Хотя прошло только три дня.

— Не знаете, где держат тех, кого взяли раньше?

— Держат? — Женщина удивленно смотрит на Ирену, но, будто спохватившись, отвечает: — Не знаю... Кого-нибудь из своих ищешь?

— Маму.

Женщина покачивает седой головой.

...Почему она удивилась? Неужели мама не здесь? А где же? Что с ней?

Ирене стало страшно. Она закусила губы, чтобы не расплакаться.

— Не спеши оплакивать, — говорит седая. — Пока собственными глазами не увидела, еще можешь надеяться.

...Чего не увидела? На что надеяться?..

— Дай руку, погадаю, где твоя мама, — неожиданно предлагает сидящая напротив цыганка. — Правду скажу, сердце успокою.

Но Ирена сидит понурив голову и молчит.

— Не бойся, сестрица, ничего за это не попрошу. По глазам вижу, что забота большая тебя гнетет. И о себе, и о ближних своих думаешь. Сердце у тебя доброе... — И, взяв Ирену за руку, поворачивает ладонь вверх, смотрит, сгибает и снова разгибает. — Линия жизни длинная, видишь аж докуда. Долго жить будешь. И счастливая будешь. Только не сразу, еще потерпеть придется. И дорога длинная тебя ждет. Значит, недолго здесь будешь, выпустят тебя. А на свободе много дорог. Какую захочешь, такую и выберешь...

— Не слушай ты ее! — кричит кто-то с соседних нар. — Она всем то же самое говорит.

— А тебе какое дело? Что вижу, то и говорю. — Цыганка снова нагибается к ладони Ирены. — И способности у тебя вижу. Только не разберу, к чему: к рукоделию или к учению...

— Не морочь ты девушке голову, пусть знает, что ее ждет, — снова говорит эта злая с соседних нар.

— А ты не каркай, как ворона, — огрызается цыганка.

— Господи! — раздается вдруг еще один голос с верхних нар. — Хоть бы действительно каркнула ворона. Все-таки живое существо. Оттуда, где нет этих проклятых стен!

Ей не отвечают. Будто ждут, чтобы за оконцем действительно закаркала ворона. Даже повернулись к нему. Но там тихо, мертво. Словно этот кусочек неба, разделенный решеткой на маленькие квадратики, не настоящий, а нарисованный.

...Может, мама сейчас тоже смотрит на такое же оконце? И женщины из убежища. А где Майя с Лизочкой? Может, фрау Гертруда взяла их к себе? Наверно, ведь обещала назавтра прийти. Но если Лизочка спросит, что это за дом напротив? Пусть спрашивает. Лишь бы они действительно были там. О, если бы Ирена теперь могла быть с ними!

Надо было ночью, когда вели, пытаться бежать. А она шла словно окаменевшая, будто не понимала, куда ведут. Ведь знала, что в тюрьму. Знала, но как-то не представляла себе. Даже не думала. Просто шла, будто даже не она сама, а кто-то другой за нее переставлял ноги.

— А я бы препочла услышать музыку. Патефон... — вдруг заговаривает до тех пор молчавшая очень красивая девушка. Она здесь самая красивая, но почему-то сидит на нарах одна, а на других очень тесно. И никто ей не отвечает.

— Молчите? Презираете? Что ж, обойдусь и без вас.

...За что ее презирают?

— Не надо так, Нийоле, — тихо говорит седая. — Ведь мы хотим помочь тебе.

— Мне такая помощь не нужна!.. — Она чуть не плачет. — Вольфганг меня любит. Слышите?!

— И поэтому он запер тебя здесь? — спрашивает цыганка.

— Не он запер! Это недоразумение. Он приедет, увидит, что меня нет, и начнет искать...

Все молчат.

— Не верите? Увидите! Он меня любит.

— Не надо, Нийоле, себя убеждать, — снова говорит седая. — Конечно, тебе очень трудно поверить в такую правду, но ты хоть теперь должна правильно понять, что произошло.

Она умолкает, поднимает глаза на Нийоле. Кажется, ждет, чтобы та возразила. Но Нийоле молчит. И седая продолжает:

— Представь себе, что немецкому офицеру приглянулась красивая литовка. Может быть, даже очень понравилась. Возможно, что он не хочет любви по принуждению и разыгрывает влюбленного. Он красив, умеет ухаживать, и доверчивая девушка, не подозревая, что это игра, действительно влюбляется в него. Даже несмотря на все то зло, — голос седой звучит сурово, — которое он и его товарищи причиняют ее соотечественникам.

— Он не причинял зла... — страстно возражает Нийоле.

— Девушка и в это верит, — обрывает ее седая. — Или, быть может, хочет верить. Но это неправда.

— Откуда вы знаете?

— Скажу... Но вот ему наскучило играть. А может, девушка больше не нравится... Или еще какая-нибудь причина. Словом, он хочет вернуть себе свободу. Но понимает, что девушка его любит и добровольно не оставит. Поэтому он находит простой — конечно, с его точки зрения — выход. Делает вид, будто уезжает. А в тот же вечер к нему на квартиру — не удивительно ли, что именно в тот же вечер и именно к нему на квартиру, хотя официально она там не проживает? — приходят другие немцы, хватают девушку и уводят ее в тюрьму. Ведь так было?

— Не мог он так поступить... Не мог... Это слишком страшно. Это недоразумение. Он в самом деле уехал...

— Так чего ж ты вчера орала и стучала в дверь, когда услышала в коридоре его голос? — вдруг вмешивается цыганка.

— Мне, наверно, показалось, что это его голос...

— Показалось... — Седая женщина вздыхает. — Голос любимого отличишь от тысячи других. Нет, тебе не показалось, я его видела, когда ты уже была здесь...

— Вы?! Откуда вы его знаете?

— Знаю.

— Нет, вы, наверно, ошиблись.

— Не ошиблась. Знаю. И его, и тебя. Я вас часто видела на улице Калинаускo. Жила неподалеку. Мы были почти соседи.

— А я вас никогда не видела.

— Не замечала, когда шла с ним. А я старалась таким, как он, не попадаться на глаза. И все-таки пришлось встретиться.

— Где?

— В гестапо.

— Не может быть!

— Было. Четыре дня тому назад. Ты уже была здесь. А он...

— Нет, нет! — прерывает ее Нийоле, судорожно рыдая. — Не могу я в это поверить, не могу! Он мне каждый палец целовал. Невестой называл. Родителям написал... Не мог он пойти на такое, поймите, не мог...

Седая молчит, не утешает. Дает выплакаться.

Молчат все.

Нийоле всхлипывает реже, и седая снова заговаривает:

— Пойми и ты. Я это рассказала не для того, чтобы сделать тебе больно. Просто ты должна все знать.

— Зачем? Зачем мне это знать?!

— Потому что ты, кажется, все-таки выйдешь отсюда. Может, единственная... Конечно, не на свободу. Наверно, вывезут в Германию, а это еще не конец... Поэтому тебе надо знать все, чтобы вести себя иначе, чем до сих пор...

Тишина...

— Неправда все это! — Нийоле вдруг вскакивает и обводит всех безумным взглядом. — Вы нарочно так говорите! Нарочно! Завидуете, что я выйду отсюда. Ведь

сами говорите, что выйду. И не в Германию вывезут, а просто выпустят. Вольфганг меня освободит. Увидите! И мы поженимся! Он обещал...

— Обещания денег не стоят, — холодно бросает цыганка. Седая попыталась было удержать ее от этих слов, но не успела.

Нийоле немеет от ярости. Но почти сразу же ее вновь прорывает:

— Он сдержит свое обещание! Сдержит! А вы завидуете. Обе! Одна косая, другая седая...

— Я?! Седая?! — изумляется седая и поворачивается к Ирене. — Я седая?

...Неужели она этого не знает?

Женщина запускает пальцы в волосы, перебирает их, словно на ощупь стараясь определить цвет. Потом, спохватившись, берет прядь волос и тянет их к глазам.

— Белые... Не мои...

— Эх, красавица, — обращается к Нийоле цыганка, — я хоть и косая, но боль человека вижу. А ты... — И, махнув рукой, начинает утешать седую: — Не переживай, все равно видно, что молодая. Лицо — как молоко. И ровное, ни одной морщинки...

— Спасибо тебе... — Седая тяжело встает, пробирается между нарами к оконцу. И тянет пряди волос к глазам.

— В гестапо ей показали мужа, — шепчет Ирене цыганка, — избитого, слепого, с выжженной на лбу звездой. Он был коммунист...

Вдруг она умолкает. Прислушивается. В коридоре слышны шаги. Сюда... Гремят ключи. Отпирают дверь.

Охранник вталкивает окровавленную женщину и снова захлопывает дверь.

— Надя! — вскрикивает седая и спешит навстречу. — Идем, садись. — Седая, поддерживая, ведет ее к нарам. Просит Ирену подвинуться. — Ты давно здесь, Надюша? Тебя допрашивали? Может, хочешь лечь?

Надя качает головой:

— Лучше сидеть. Лежать страшно...

— Надя — жена русского офицера, — шепотом объясняет седая, покосившись на Нийолины нары. — Была в лагере. Ты убежала? — снова поворачивается она к Наде.

— Да... Но не оттуда.

Седая глядит вопросительно. И Надя снова шевелит губами:

— Из ямы. Нас расстреляли...

...Расстреляли?!

Ирене вдруг почудилось, что она одна, — так тихо в камере.

— Сперва ребятишек... На наших глазах...

— О, господи!

Все, словно разбуженные, подняли глаза на верхние нары. Это вскрикнула та женщина, которая раньше мечтала хоть о вороньем карканье. Но она уже умолкла, только голову обхватила руками.

А седая сидела ссутулившись, ожидая, словно удара следующих Надиных слов.

— Потом взрослых... Я оказалась... почти последней... Поэтому лежала сверху. Раненая. В плечо. Ночью вылезла... Голая. Расстреливают голыми... Я пряталась в кустах... Потом одна крестьянка принесла платье.

Седая поднимает глаза наверх — слушает ли Нийоле. Но та лежит, отвернувшись к стене. Только плечи вздрагивают. Седая спрашивает Надю шепотом:

— И она отпустила тебя такую?

— Я не могла у нее оставаться... — И Надя стала шептать еще тише. Ирена слышала только отдельные слова: — Раз жива... Предупредить... Оборвалась бы связь...

— И тебя там поймали?

Надя кивает.

— Засада... Ждали других... Я пела. Чтобы предупредить. Фашисты догадались.

Снова открылась дверь камеры.

— Бернотайте!

Тишина...

— Эй, бабы, завтра будут глухих расстреливать!

...Господи, ведь это ее зовут!

Ирена встает.

— Я...

— Сразу уши откупорились. Пошли!

Она медленно встает.

— Девушка, как твое имя? — хватает ее за руку цыганка.

— Ирена... — И выходит.

Коридор. Теперь он не кажется таким широким, как ночью. За какой из этих дверей мама? Может, все-таки крикнуть?

— Мама!

— Заткнись, дура! — Охранник тычет автоматом в бок.

...Слишком тихо крикну.

— Ма-ма!

— Ты замолчишь или нет? — Он замахивается, но она успевает увернуться.

Еще раз крикнуть она не решается.

Охранник выводит Ирену во двор. Боже, сколько здесь людей! Сидят, съежившись, на своих узлах. На спинах желтеют звезды.

Может, женщины из убежища тоже здесь? Ирена оглядывается.

— Иди, иди! — торопит охранник.

Трудно в такой толпе найти кого-нибудь. Да и, видно, этих, из гетто, пригнали позже, под утро. Ведь ночью двор был пуст.

Неужели в камерах нет места, что людей держат здесь, во дворе? Или это потому, что им недолго уже осталось мучиться?

— Что вздыхаешь? Евреев жалко? — Охранник снова тычет Ирену автоматом и показывает, чтобы шла к воротам.

Они, конечно, заперты. Но все равно стоят два охранника. Провожатый Ирены что-то им говорит. Один начинает ее обыскивать — так грубо, что она вся съеживается. А второй, отпирая тяжелую чугунную створку, смеется:

— Нравится?

Наконец обыск окончен. Ирена и ее конвоир выходят. Но оказалось, что только на другой двор, тоже огороженный высоким забором...

Охранник ведет ее к продолговатому одноэтажному дому. И здесь на окнах решетки.

Опять коридор. С дальнего конца два охранника ведут какого-то мужчину. Конвоир велит Ирене остановиться и отвернуться к стене — чтобы не видела, кого проводят мимо. Она только слышит шаги и разговор охранников:

— Черт побери, как день тянется. Уже есть охота.

— Не торопись. Обед еще не скоро.

...Обед. Они говорят об обеде. Для них все обычно... Вчера так же вели одного, сегодня — другого... Для них это просто рабочий день.

— Ну, пошли, красотка, пошевеливайся! — Охранник гонит ее дальше.

Здесь тоже по обеим сторонам коридора двери.

Охранник стучится в крайнюю. Никто не отвечает. Он приоткрывает дверь. Обычная комната. Письменный стол, табуретка. Охранник закрывает дверь. Чертыхается. Оглядывается.

— Иди сюда! — Он открывает дверцу в стене. Ирена ее и не заметила. Там узкий, без полок, стенной шкаф.

— Залезай! — Охранник толкает ее, быстро закрывает дверь и задвигает щеколду.

Ирена в темноте, втиснутая между четырьями стенками.

Зачем ее здесь закрыли? Ведь она задохнется!

Ирена стучит. Никто не отвечает. Она стучит сильнее.

— Я тебе постучу! — Это ее охранник.

— Выпустите!

Он не отвечает.

Тихо. Она в стене. Одна. Никто не услышит ее крика, не выпустит. И она задохнется...

Ирена стучит еще сильнее...

— Выпустите!

Тишина.

Она опять стучит.

Напрасно...

Нет, она не поддастся страху. Нарочно закрыли, чтобы напугать. Дядя Яков говорил, что они любят запугивать.

Дядя Яков... Ирена вздохнула, забыв, что дышать надо неглубоко — беречь воздух.

Зря она не пошла с дядей Яковом и тетей Евой...

Но стрелять? Нет, стрелять она бы ни за что не могла. И ведь кто-то все равно должен был остаться помогать Пукисам.

А они где? Может, тоже здесь, в тюрьме? Ведь офицер, который делал обыск, говорил, что их поймали. По-

этому гестаповцы и пришли «разорить это партизанское гнездо».

Но об убежище они, видно, ничего не знали. И если бы не заплакал ребенок, который проснулся от шума, поднятого немцами, так бы и не узнали. На ребенка накинули подушку, но поздно, немцы услышали плач. И кинулись ломать пол.

Вытащили всех и погнали. Ирену тоже. Уходя, она видела, как один немец вылез из подвала с розой в петлице...

Могилу в кладовке, наверно, тоже обнаружили. Ведь часть гестаповцев еще оставалась хозяйничать... Но дровяные сарайчики во дворе вряд ли обыскивали. А утром Майя с Лизочкой, наверно, побежали к фрау Гертруде. Или дождались, пока она придет.

Шаги. Ирена стучит. Но вместо ответа кто-то зло ударяет в дверь ногой.

Шаги удаляются.

Сколько времени она здесь?

Опять идут. Но Ирена уже не решается стучать. Да и не так страшно, когда там все-таки кто-то ходит.

Отодвигают щеколду.

Свет! Но Ирена ничего не видит. Только цветные круги мелькают перед глазами.

— Вылезай!

Она стоит. Охранник хватает ее за руку и, протащив несколько шагов по коридору, вталкивает в какую-то комнату. Здесь светло и можно сколько угодно дышать.

Цветные круги в глазах понемногу бледнеют, и Ирена снова начинает хорошо видеть.

Письменный стол. Чернильница, зачем-то прибитая к столу. А сам стол прибит к полу. И табуретка, к которой охранник толкнул ее, тоже прибита. Охранник стоит совсем близко, стволом автомата касаясь ее спины. Ведь может случайно выстрелить! Ирена отодвигается.

— Ни с места!

Она замирает. Слышит, как открывается дверь. Охранник вытягивается, и ствол автомата упирается ей в плечо. Хоть бы не выстрелил!..

К столу подходит немецкий офицер, а за ним... Ирена быстро закрывает глаза — померещилось после темноты.

Она слышит, как офицер садится. И тот, другой... Они шелестят бумагами.

Охранник щелкает каблуками. Поворачиваясь, больно задевает ее автоматом и сразу выходит. Но ей кажется, он стоит за дверью.

— Name? — сухо спрашивает офицер.

— Фамилия? — переводит тот.

Альгис! Она быстро открывает глаза, поднимает голову. Да, Альгис. Но тут же он бросает взгляд на офицера — не заметил ли — и, потупив глаза, повторяет вопрос:

— Фамилия?

...Как ответить? Бернотайте? А если Альгис удивится и немец это заметит? Конечно, сразу поймет. Вайнаките? Но в удостоверении Бернотайте.

Она молчит.

Офицер заметно сердится:

— Name?

— Фамилия?

...Как ответить?

— Фамилия?

— Бернотайте.

Альгис удивлен.

...Господи, хоть бы не спросил! Но он делает вид, что не знаком с Иреной.

— Vorname? — продолжает офицер.

— Имя? — Альгис не смотрит на нее, но напряженно ждет, что она ответит.

— Улийона.

Альгис закусывает губу, медленно записывает ответ.

— Партизанка?

...Как Альгис оказался здесь?..

— Партизанка?

— Нет.

— Здесь надо говорить правду.

...Как Альгис оказался здесь?

— Когда ее приходится извлекать по частям, это всегда бывает хуже. Для допрашиваемого.

...Он и это переводит.

— Почему ты... вы укрывали евреев?

...Испугался, что выдал себя! Но ведь и офицер говорит ей «ты». Нет, Альгис здесь не как арестованный...

— Почему ты укрывала евреев?

— Чтобы их не расстреляли.

— Sie ist zu frech! — бросает офицер Альгису.

Находит ее дерзкой. С Альгисом говорит, как с равным.

Этих слов Альгис не переводит, только краешком глаза смотрит на Ирену.

...Нет, он здесь не как арестованный. Но неужели он им помогает?

— Известно ли тебе, что для тех, кто укрывает коммунистов и евреев, есть только одна кара?

...Последнего слова Альгис не переводит. А немец сказал «Tod» — смерть.

— Расстрел. Вместе с укрываемыми или позднее. Это уже деталь исполнения. Правда, в данном случае очень существенная, потому что твои подопечные уже расстреляны...

.Расстреляны...

— А ты еще... имеешь возможность...

...Старик. И Лизочка. Она дала ей розу...

— Если все откровенно...

...И Майина мама. И Додикина...

— Кто приходил к Пукисам?

— Люди.

— Точнее?

— Все, у кого рвалась обувь. Даже немецкие офицеры.

...Немец улыбается? Нет, злится.

— Господин офицер советует не строить из себя дурочку. Кто приходил чаще всего и не ради починки ботинок?

— Не знаю.

— Точнее?

— Я не знаю.

— Это не ответ.

— А как я должна отвечать?

— Кто приходил?

— Я никого из его клиентов не знаю. Недавно там... — Этого не надо было говорить.

— А раньше где жила?

— У референта городского управления.

— Что делала?

...Сейчас Альгис опять удивится.

— Жила в прислугах.

...Застеснялся. Опустил голову, словно близорукий. Даже сощурился, записывая ответ.

— А у Пукисов что делала?

— То же самое.

— Сапожник держит прислугу? Хотя... Ведь надо было евреям готовить обед!

...Господи, когда это кончится?

— Может, он вообще не сапожник? Только прикрывается?

— Он чинил ботинки.

— До войны тоже?

— Не знаю.

— Это он сам расскажет. И остальное тоже. А тебя...

...Почему он не договорил? Что он с нею сделает? Читает какие-то бумаги. Что там написано?

...Нет, он только делает вид, что читает. Неужели следит за нею и Альгисом? Вот это нюх! Альгис тоже забеспокоился. Заерзал.

— Оказывается, вы знакомы? — злорадно спрашивает офицер.

Альгис молчит.

— Может, и у тебя часто рвались ботинки?

— Нет, что вы! Мы только учились вместе. В школе. Еще в прошлом году.

— А потом не встречались?

— Нет. С тех пор как я бросил учиться...

— Ну, раз вы одноклассники, то и объясни ей, — голос немца звучит угрозой, — что помогать нам полезнее, чем сопротивляться. — Он встает. — И сам продолжай допрос, пока я не вернусь. Привыкай к самостоятельной работе.

— Не хочу! — помимо воли вырывается у Ирены. — Я не хочу, чтобы он...

Офицер даже не смотрит на нее и выходит.

Альгис молчит. Потом поднимает голову и спрашивает:

— Слышала?

Ирена не отвечает.

— Не хочешь говорить? Зря.

...По виду такой же, как в школе. Интересно, как бы он теперь выглядел у доски?

— Я тебя тогда искал.

— Очень благородно.

— Ты стала язвительной. Теперь такой тон не в моде.

...Не надо смотреть на него. Надо представить себе, что это чужой. Охранник. Просто охранник.

— И зря запираешься. Ведь и так все известно, всех твоих поймали.

— Кого? — Ирена вскакивает с места.

— Сиди, сиди.

— Кого поймали? — повторяет она, садясь. — Кого поймали?

— Всех. Этого... — он заглядывает в бумаги, — Пукиса и тех, к кому он шел.

— Фамилий не знаешь?

Он листает бумаги.

— Антанас Шпокайтис...

Кто это?

— Яков Нойман...

— Кто?! — Ирена опять вскакивает.

Неужели?!

— Яков Нойман. Ева Нойман.

— Что с ними?! Где они?

— Где... Будто не знаешь, что делают с такими... А ты еще упираешься.

...Уходя, дядя Яков улыбался: «Увидимся после войны».

Альгис, кажется, говорит дальше. Губы шевелятся, но слов она не слышит. Как в немом кино...

Наконец губы смыкаются. Тишина.

Ирена спрашивает:

— Он тоже был здесь?

— Кто?

— Дядя... То есть Нойман. Ты его видел?

— Нет. Он сам говорит по-немецки.

— А... Да, да.

...Может быть, сидел на этой же табуретке, видел этот же стол, чернильницу, решетку на окне. Конечно, ничего им не сказал. Поэтому теперь ее спрашивают. Думают — разболтает.

— Ты ведь знаешь, что закон запрещает...

— А почему закон не запрещает расстреливать людей?

— Но ведь тебя-то никто не расстреливает. Зачем сама подставляешь голову? Зачем ты делаешь то, что запрещено?

...Не надо слушать его! Не надо!

— Сказала бы, кто приходил к этим... Пукисам — и опять жила бы себе спокойно.

...Спокойно! После того, как по твоей вине кого-то расстреляли?

Ирена отворачивается, чтобы Альгис не увидел ее слез.

— Что молчишь?

— Отстань! Я ничего не знаю.

— Брось эту игру, все равно никто не поверит. Ведь ты там жила.

— Ну и что? Господа (...Пукисы — господа?) не рассказывают прислугам о своих делах.

— Может, не знала и того, что в доме убежище для евреев?

Ирена не отвечает.

— Зря упрямишься.

Она молчит.

— Не капризничай. Ведь не дома.

— Знаю, что не дома! — Ирену вдруг захлестывает страшная злость. — И кому я за это должна быть благодарна, тоже знаю.

— Не ори.

— Запретишь? А я тебя не боюсь, хоть и служишь у них!

...Может, тогда нарочно пригласил ее в кафе? Знал, что будет облава. Разыгрывал влюбленного, как тот немец с Нийоле?

— Я бы тебе посоветовал...

— А мне твои советы не нужны! — Ирена задыхается от ярости. — Я тебя ненавижу! Не хочу разговаривать. — Ирена чувствует, что сейчас расплачется. — И не думай, что я в школе хотела с тобой дружить! Ты... ты продажная шкура!

— Заткнись! — Он прикусывает губу. Ему все-таки стыдно кричать на нее.

...Пусть только попробует еще что-нибудь сказать!

Молчит. Притворяется спокойным.

— Так что же мне все-таки записать в протокол?

...Она не ответит.

— Сейчас вернется офицер.

...Пусть.

— Значит, немая. А если офицер спросит, почему другая фамилия?

...Выдаст?

Ей даже жарко стало от злости.

— Что ты тогда ответишь? Куда ты дела свою настоящую фамилию?

— Оставила там, куда ты хотел впихнуть меня. Но не вышло. Я убежала! (...Ага, удивился!) А если донесешь, что у меня другая фамилия, расскажу о кафе. Ведь ты наврал немцу, что после школы мы не встречались. А я скажу, что встречались. И что ты даже к Пукису приходил... И что ты знал об убежище. Видишь, я тебя не боюсь!

— Молчи! — Альгис бледнеет, увидев входящего в дверь офицера.

— Ну как? — спрашивает тот, направляясь к столу, с усмешкой поглядывая на обоих.

— Я бы отправил ее в карцер! — неожиданно выпалил Альгис.

— Что ж, можно и в карцер, — снисходительно улыбается офицер.

20

...Одному ходить по улицам гетто намного интереснее, чем с Гроссом.

Зачем Гросс требует, чтобы к его приходу в гетто улицы были пусты? Полицейские загоняют всех во дворы и следят, чтобы даже в окнах никто не появлялся. Так должно быть все время, пока Гросс в гетто. Неужели он боится?

А какой интерес идти по совершенно пустой улице и видеть только грязную мостовую да стоящих возле домов полицейских?

Хорошо, что Гросс послал в гетто с приказом его. Правда, обратно, к воротам, Альгиса провожает не сам комендант, как Гросса, а динстлейтер. Но это ничего. Комендант стал бы выпрашивать каких-то ходатайств перед Гроссом, а динстлейтер не осмеливается. И он более почтителен. Кричит что-то этим желтозвездным, запрудившим всю улицу. Они быстро отступают с дороги,

на ходу стаскивая шапки и держа головы опущенными все то время, пока они с Альгисом не пройдут.

Приятно.

Как хорошо, что Альгис не еврей! Жить так, как они здесь живут... Да еще знать, что и это временно, что все равно расстреляют. Бр-р-р...

Вот и ворота. Сейчас охрана вытянется, отдаст ему честь. А он может сделать вид, что не замечает. Гросс говорил, что им отвечать не надо.

Как они спешат открыть ворота!

Альгис выходит из гетто.

Здесь совсем другое.

Улица почти пуста: несколько прохожих на одной стороне, несколько — на другой. И никто не обращает на Альгиса внимания. Никому нет дела, проходит он или нет.

Хоть бы подвернулся извозчик. Когда нужен, никогда нет. Где их черти носят? Плетись теперь такую даль пешком.

Вот один появился, на тощей кляче. Таким одрам на живодерню давно пора, а не людей возить.

— Стой!

— Слушаюсь.

Альгис влезает.

— На улицу Гедиминаса!

— Можно.

Сиденья обшарпаны. Разве нельзя обтянуть чем-нибудь поновее? Убожество. В какой-нибудь европейской стране извозчик не посмел бы так разъезжать.

— Быстрей нельзя?

— Лошадка слаба... Сами видите.

Спешить, конечно, некуда. Еще насидится в кабинете. Но все равно такая езда только раздражает.

— Ничего я не вижу. Кнут ей нужен.

— За что? Разве животное виновато, что оно голодает?

— Не тащит ног, пусть в сарае стоит.

— Тогда оба подохнем. Да и господам придется пешком ходить.

...Дразнит? Сейчас Альгис покажет ему, как дразниться. Но чем припугнуть?

Альгис осматривается.

— Почему нет таблички, что евреев не обслуживаете?

— Висела. Наверно, упала... Да они и сами не садятся.

— Садятся не садятся, а табличка должна висеть. Приказ пока не отменен.

— Хорошо, повешу.

— И езжайте быстрее!

— Слушаюсь.

...Это другой разговор.

А зачем, собственно, быстрее? Не успеет на службу, что ли? Велико удовольствие...

Хорошо извозчику. Разъезжай себе целый день — и никаких хлопот. А тут волнуйся, дрожи.

«Если донесешь, что у меня другая фамилия, расскажу о кафе... И что ты даже к Пукису приходил.. И что об убежище знал...» Тогда он, Альгис, конечно, пропал.

Скорее бы вечер. Можно будет сходить к Зосе. Да ведь и там покоя нет. Каждый раз одно и то же: забери да забери меня отсюда. Не спрашивает, может ли он. Ей, видите ли, так было бы лучше. А у него кто-нибудь спрашивает, как ему лучше? Мать — и та порвала с ним и уехала к своей сестре. Будто было бы лучше, если б его вывезли в Германию...

— Куда теперь?

— Что? — Он непонимающе смотрит на извозчика: этому чего еще нужно?

— Дальше куда? Мы уже на Гедиминаса.

— Налево...

И что торопился? Опять сиди целый день и повторяй за Гроссом одни и те же вопросы. Или смотри, как этих окровавленных упрямцев приволакивают на повторный допрос.

Хоть бы заболеть. Так тоже, будто нарочно, никакая хвороба не пристает. В детстве всякие ангины да кори цеплялись одна за другой, а теперь, когда нужно, даже обычной простуды нет.

— Стоп! Приехали.

Извозчик вздрагивает. Все они так, когда им велят тут остановиться. Готовы уехать, не взяв денег, лишь бы не стоять здесь. И этот смотрит на руки Альгиса, будто поторапливая. Пусть благодарит, что Альгис платит. Немец похлопал бы по плечу: «Gut, Vater, gut!» — и ушел

бы, смеясь. Гросс, конечно, и вообще офицеры этого не делают. Но солдаты — сплошь и рядом.

Получив плату, извозчик снимает шапку и торопливо отъезжает.

Альгис никогда не ходит через главный подъезд; есть еще вход за углом, с пустынной улочки. Оттуда входишь спокойно, никто тебя не видит.

Охранники его уже знают, здороваются, но пропуск все-таки проверяют тщательно, словно он пришел впервые.

В коридоре ему попадается дежурный.

— Вас искал гауптштурмфюрер Гросс. Приказал, как только придете, явиться.

— Слушаюсь.

...Всегда так. Не успевает человек переступить порог, а уже нужен. Как обходились, пока его не было?

Альгис стучится к Гроссу.

— Herein!

Гросс не в настроении.

— Я был в гетто... По вашему приказанию, — говорит Альгис.

— Об этом потом. А сейчас поехали...

Спрашивать куда — бесполезно. Надо просто следовать за ним.

Шофер, видно тоже заметив, что Гросс злой, открывает дверцу с особой почтительностью.

Машина трогается.

...Куда они едут? Наверно, недалеко. Гросс не любит отдаляться от города. И правильно. Зачем самим лезть в пекло?

А вообще-то хорошо, что они уехали. По крайней мере, сегодня Гросс не будет допрашивать Ирену.

Скажет она что-нибудь ему об Альгисе или только грозится? Сам-то он, Альгис, не выдаст, что у Ирены фамилия другая. Но зачем ей выдумывать, будто он ходил к Пукисам? Просто так, конечно, со злости. Сама попалась, пусть и другим будет плохо. Нет. Этого она не сделает... А все-таки... Может, пойти к ней в тюрьму и поговорить?

Приехали? Нет. Это их встречает полицейский. Объясняет шоферу, как ехать дальше.

Что, если это не полицейский, а переодетый партизан и нарочно заманивает?

Слава богу, сворачивают в сторону от дороги, в конце которой виднеется лес. Тут место открытое, никто не посмеет на них напасть. Еще почти город, женщины отсюда пешком носят на базар овощи и молоко. И военные машины проезжают.

Вот еще один полицейский, с велосипедом. Тоже их ждет. Показывает на стоящий поодаль, в конце улицы, дом. Там.

У калитки их встречают. Этот высокий, наверно, начальник полиции. А толстяк, как видно, староста. Старосты почему-то всегда толстые.

— Хайль Гитлер!

Как складно, вместе, словно заранее отрепетировали.

— Хайль!

Выйдя из машины, Гросс направляется в дом. Эти двое — по бокам, что-то объясняют. У двери Гросс поворачивается к Альгису:

— Оставайся тут! — И скрывается. Начальник полиции останавливается на минуту, оглядывает охрану. Все в порядке: по одному полицейскому у каждого угла, двое — у двери, один — у калитки. Начальник тоже входит в дом.

Куда деваться? Неужели бродить под окнами, чтобы эти полицаи поняли, что его, как лакея, оставили за дверью?

Если он не нужен, зачем его Гросс тащил? Может быть, не взял в дом, чтобы выразить недоверие? Неужели Ирена успела все-таки что-нибудь наболтать?

Вряд ли. Ведь она в карцере. Гросс ее не видел. Разве что сегодня утром, пока Альгис был в гетто.

Нет, не мог успеть. Да и Альгис не признается. В конце концов кому Гросс должен больше верить — ему или какой-то Ирене, которая была связана с партизанами? Конечно, ему.

Но все-таки надо ее как можно дольше держать в карцере. Хотя Гросс может и оттуда вызвать на допрос.

Что они там, в доме, делают?

Может, войти под каким-нибудь предлогом? Нет. Гросс разозлится.

Открывается дверь. Выходит полицейский. Какая у него таинственная мина! Чувствует себя важной персоной. Куда это он идет?

Тьфу ты, дьявол, — в уборную!

Альгис отворачивается.

Почему он, в конце концов, должен ломать себе голову, что они там, в доме, делают? Пусть хоть повесятся. Его не зовут, и слава богу. Можно пойти прогуляться...

Что за треск? Заводят машину? Должно быть, где-то за домом. Кто же это уезжает?

Альгис обходит полицейского. (Не задерживает, видел, с кем он приехал.)

Через заднюю дверь полицейские выгоняют арестованных. Двое... Четверо... Ну и обработаны! Среди синяков глаз не видно. Вот и пятый. Этот, видно, без сознания — полицейские тащат его в машину за руки. Голова болтается, ноги волочатся по земле. Видно, молчал упрямее других.

На крыльце Гросс. Он заметно повеселел, чем-то очень доволен. В ответ на какие-то объяснения старосты он согласно кивает.

Полицейские подсаживают арестованных в кузов, погружают неходячего и влезают сами. Арестованным велят лечь — чтобы не пытались бежать и чтобы люди не видели, кого везут.

Машина трогается. Гросс провожает ее все тем же довольным взглядом и вдруг видит Альгиса.

— Все уже в порядке. Мы могли и не ехать.

Староста крякает от удовольствия и поворачивается к начальнику полиции, со смехом повторяя похвалу немца.

— Может быть, и ваш помощник не откажется пообедать у меня? — говорит начальник Гроссу.

...Это было бы неплохо.

Вдруг из-за угла выбегает растрепанная женщина с обезумевшим лицом и, шатаясь, останавливается перед ними.

— Где мой муж? — задыхаясь, выкрикивает она.

— Иди, иди! — нервно отвечает начальник полиции.

Женщина не трогается с места.

— Пошла отсюда!

Стоит.

— Где мой муж?

— Кто такая? — брезгливо морщится Гросс.

— Жена одного из них. — Начальник полиции кивает в ту сторону, куда уехала машина.

— А-а... — произносит Гросс.

Женщина, конечно, поняла, что он тут главный, и уже обращается к нему:

— Где мой муж? Что вы хотите с ним сделать? Пустите меня к нему!

Гросс спрашивает у начальника полиции:

— Почему ее не взяли? Если в семье хоть один коммунист, значит, все заражены.

Женщина начинает чувствовать неладное. Пятится. Но неожиданно Гросс очень вежливо говорит:

— Ваш муж уже уехал... Альгис, переведи, — велит он и, подождав, продолжает: — Отвезти вас к нему в своей машине я, к сожалению, не могу. Придется идти пешком. Но это недалеко, и вас проводят. — Оборачивается к Альгису: — Иди с ней. А завтра заполнишь карточку, daß sie ist besonders bearbeitet worden.

...Особо обработана? Ведь это — расстрел!

Однако Гросс действительно так сказал. А женщина ждет, чтобы ее проводили.

— Но ведь я... — запинаясь, говорит Альгис. Он хочет возразить, напомнить, что он — только переводчик.

— Ты что, боишься пойти с женщиной в лес? — насмешливо спрашивает Гросс и легонько ударяет его перчаткой по плечу. — Ну, иди. Иди же. Только не задерживайся. Обед стынет.

— Ничего, жена согреет, — говорит начальник полиции. — Вот мой дом, — указывает он Альгису на соседний двухэтажный домик и, перейдя на литовский, приказывает женщине: — Ну! Марш!

Женщина идет. Альгис плетется сзади.

— Оружие с собой? — бросает ему вдогонку Гросс.

Альгис нерешительно вытаскивает из кармана пистолет.

...А ведь Гросс говорил, что оружие ему дается на всякий случай, для самообороны. Потому что они имеют дело с бандитами. Альгис все равно не хотел брать. Но разве Гроссу возразишь? Еще хорошо, что не заставляет форму носить. А теперь вот — приказал «особо обработать».

Женщина идет. Она, конечно, не поняла слов Гросса.

...Особо обработать... Записывают эти два слова в карточку — и все. Нет человека. И никаких следов. Только карточка в архиве.

А что, если... Альгис даже приостановился от кольнувшей вдруг мысли. Что, если и на Ирену так?.. Заполнить карточку, что особо обработана, а потом с каким-нибудь транспортом — в Германию... И ей лучше. Ведь Гросс все равно не выпустит — связь с партизанами, помощь евреям... И на Альгиса она тогда не сможет донести. А Гроссу Альгис скажет, что в тюрьме перепутали.

Да, он завтра же заполнит на Ирену такую карточку. Когда будет заполнять на эту женщину.

Но как ее фамилия, этой-то? Потом спросит.

Куда она так торопится? Неужели поняла, что сказал Гросс, и хочет убежать?

— Только не вздумайте бежать!

Женщина поворачивается к Альгису. Удивленно смотрит. Увидев направленный на нее пистолет, вздрагивает.

— Ну! — Альгис машет рукой, чтобы она шла. Но женщина почему-то медлит, едва переступает ногами. Видно, поняла, что не к мужу.

...Нет, наверно, не поняла. Не может человек перед смертью быть так спокоен.

Перед смертью... Значит, он, Альгис, все-таки должен ее убить?..

Хоть бы побежала, дура. Неужели верит, что Гросс велел отвести ее к мужу?

А если Альгис промахнется? Ведь Гросс не станет проверять. Можно вообще не стрелять...

Нет, Гросс узнает. Скажет, не слышал выстрела.

Почему она не бежит? Может, нарочно? Хочет заманить поглубже в лес, а там уже ждут ее дружки. Окружат. Альгиса привяжут к дереву, будут пытать. Потом, конечно, расстреляют.

Нет, дальше он не пойдет.

— Эй, вы!

Она останавливается. Втягивает голову в плечи. Ждет выстрела. Господи, догадалась бы бежать! Ведь видит, что он не стреляет. Но она стоит...

— Эй!

Вздрогнула.

— Вы можете убраться отсюда?

Стоит.

— Бегите, вам говорят!

Не бежит. Ошалела, что ли?

Женщина медленно поворачивается. Удивленно смотрит на него. Но вот, кажется, начинает соображать. Господи, ну что она все еще стоит? Наконец-то! Побежала. Избавился все-таки...

Альгис поворачивает назад.

...А что, если ее поймают? Или... Ведь она вернется назад. Расскажет, что ее отпустили. Это дойдет до Гросса.

Нет, этого Гросс ему не простит.

Альгис бросается догонять.

— Стойте!

Бежит.

— Стойте, вам говорят!

Она останавливается. Поворачивается. Спокойно, доверчиво. Но, увидев его лицо, снова пускается бежать. Быстрее прежнего.

— Стойте!

Теперь уж она не остановится. А Гросс его за это...

— Стойте! Стойте!

Выстрел! Еще выстрел! Еще...

Альгис останавливается. Смотрит на пистолет. Да, это он стрелял. Когда она мелькнула среди деревьев. Потом еще нажал. И еще.

...Где она? Неужели?..

А может, все-таки убежала? Вернется в деревню. Расскажет...

Надо ее опередить. Сказать, что партизаны напали. Сам еле вырвался. Отстреливался.

Он пускается бежать.

...А если Гросс спросит, сколько было партизан? Много. Двадцать. Или даже больше.

Еще ветки, как нарочно, мешают бежать, цепляются.

А вдруг партизаны на самом деле его окружают? Хоть бы скорее выбежать на дорогу.

Уже скоро. Только лужайку пробежать. Господи, еще эти чертовы одуванчики путаются под ногами. Красуются, будто теперь до них.

Наконец дорога. Теперь можно идти по-человечески. Отдышаться. Нет, он должен прийти запыхавшись — ведь партизаны напали.

А может, не торопиться рассказывать про партизан?

Кажется, начальник полиции показывал на тот дом. Да, уже машут из окна. Ого, сам выходит встречать. Пусть подождет. В конце концов, Альгис имеет право не торопиться. Это они ничего не делали. Пили и жрали. Так нажрались, что начальник уже мундир расстегнул.

— Прошу, прошу.

Он вводит Альгиса в дом.

...Ого, сколько бутылок!

— Пожалуйста, сюда! — Староста отодвигается, освобождая ему место рядом с собой.

Альгис собирается сесть, но вмешивается Гросс:

— Возвращаясь с задания, первым делом докладывают, что оно выполнено.

— Уж конечно, выполнено, — заступается за Альгиса начальник полиции. — Такие парни свое дело знают.

...Свое дело...

Но Гросс — аккуратный немец.

— Во-вторых, перед тем как сесть за стол, надо мыть руки.

...Нарочно. Чтобы унизить Альгиса, показать, что он еще мальчишка, которому можно делать даже такие замечания.

Альгис нехотя встает.

Хозяйка ведет его на кухню.

...Не вернется он к столу. Не нужен ему ни их обед, ни выпивка. Вечером у Зоси выпьет. И без таких замечаний...

Хозяйка подает полотенце. Он вытирает руки.

— Прошу вас.

И он возвращается за хозяйкой в столовую. Слава богу, теперь никто не обращает на него внимания.

Хозяйка кладет на тарелку кусок студня с желтым яичным глазом. В большой бокал — мать говорила, что из таких пьют только вино, — наливает самогону.

Самогон крепкий. Тем лучше. Сейчас он все забудет — и лес, и эту... К черту! Всех к черту! Гросса тоже. Это из-за него все...

Хозяйка беспрерывно и подобострастно угощает то Гросса, то Альгиса: подкладывает лучшие куски, подливает в бокалы самогон.

Альгис приятно отяжелел и захмелел. Сейчас он возьмет вон ту ножку жареного гуся.

Гросс снимает лежащую на коленях салфетку. Встает, благодарит.

— Нам пора, Альгис!

Начальник полиции со старостой провожают до самой машины.

— Счастливого пути. Приезжайте еще. Хайль Гитлер!

— Хайль!

...Ехать хорошо. И хорошо, что подальше от этого леса...

Как красиво кругом! Он и не заметил, когда зазеленело.

Так же с ним было один раз в детстве: он болел ветрянкой, и мать занавесила окно чем-то черным. Альгис лежал в темноте — так велел доктор. А когда выздоровел и мать отодвинула шторы, он увидел, что кругом зелено. Из их окна видны были далекие поля, огороды...

Да. Тогда было хорошо. Он был маленький...

А теперь...

Зачем Гросс послал его с этой женщиной? Ведь мог же приказать кому-нибудь другому.

Не надо было Альгису идти. Сказал бы «не могу» или «не хочу». «А сам на ее месте быть хочешь?» — обязательно спросил бы Гросс. И не только спросил бы...

Никто этого не понимает. Мать от него отказалась. Даже Ирена, хотя сама в тюрьме, накричала. Какое она имеет право кричать на него?

Как это она не побоялась связаться с этими... партизанами? Ведь знала, что за это будет.

Почему шофер поворачивает направо? Ведь уже вечер. И ему, Альгису, надо к Зосе.

Кого интересует, куда ему нужно? Гросс хочет в отдел — значит, в отдел. Шофер уже сигналит, чтобы открыли ворота.

Господи, и как этим часовым не надоест проверять удостоверения? Десять раз в день пройди — десять раз проверят, двадцать — так двадцать. До чего дотошные.

Опять тот же двор, словно они и не выезжали из него. Но выезжали. Он был в лесу... вел эту женщину...

И лестница та же, только свежевымытая, — уборщицы из гетто стараются.

Гросс идет к себе в кабинет, ни слова не говоря Альгису о том, понадобится он или нет. Сиди и жди. А может, он совсем не понадобится и мог бы идти домой. То есть к Зосе.

В комнате переводчиков, конечно, уже никого нет. Да и следователи давно ушли. Только Гросс такой. Словно ничего более интересного, чем служба, для него нет. Сиди тут из-за него один и гляди в потолок. Или на портрет Гитлера. Альгис уже видит его с закрытыми глазами. Даже нарисовать по памяти мог бы. Но, конечно, не будет.

От скуки Альгис выдвигает ящик. Снова задвигает. ...Да, ведь надо заполнить карточку!

Сперва на Ирену. А на какую фамилию? Он заполнит на обе. Одна карточка будет относиться к самой Ирене, а вторая — к той женщине...

Но если та убежала? Пусть. Он ничего не знает. Карточка на нее есть — значит, ее нет.

Вайнаките. Ирена.

Готово. А как вторая фамилия? Кажется, Бернотайте. Да. А имя какое старомодное — Улийона.

Все. Теперь только поскорее отправить ее. С первым же транспортом. Завтра надо будет прийти пораньше и узнать.

Если не проспит у Зоси...

Эх, отпустил бы его Гросс, он был бы уже там! Так нет, сиди тут. Хоть дверь приоткрыть, что ли? Может, кто-нибудь, проходя мимо, заглянет поболтать. Все-таки не так скучно.

В коридоре пусто. Молодая еврейка моет пол. Увидев Альгиса, вздрагивает и снова нагибается... Ага, боится. А он нарочно будет стоять и смотреть... Какая у нее белая грудь...

— Эй, иди-ка сюда!

Девушка выпрямляется. Испуганно дрожат темные ресницы.

Альгис подходит к ней.

— Иди сюда, говорю.

— Я в вашем кабинете уже убирала. И ничего не трогала. Честное слово! Охранник стоял.

...Надо ей что-то сказать, приказать. Но что?

— Зайди. На минуточку. Я тебе что-то скажу...

Девушка дрожит.

Он хватает ее за руку:

— Идем...

Девушка упирается. Но он втягивает ее в комнату и поворачивает ключ.

— Пустите!

— Молчи! — Он хочет расстегнуть кофточку, но она не дает.

— Нет, нет!

— Тише...

— Мама!

— Я только посмотрю... Посмотрю... — бессвязно лепечет Альгис, разрывая неподатливую ткань.

— Пустите!

— Тише. — Он ладонью зажимает ей рот и теснит к дивану.

Она вырывается, отбивается, толкает его в грудь, в живот, в бедра.

— Пус... с...

Альгис со злобой изо всех сил стискивает ей горло.

— Да не ори ты! — тяжело хрипит в ухо.

— Вставай! — Альгис поднимается и, не глядя на девушку, отходит к окну.

Девушка не отвечает.

— Слышала, что я сказал? Вставай и уходи отсюда. Да держи язык за зубами...

...Не встает. Не отвечает. С гонором...

— Ты что, глухая? — уже взбешенный, поворачивается к дивану Альгис.

...Что это? Она лежит неподвижно, даже не прикрыв голые ноги.

Но, черт возьми, должна же она домыть полы! Ведь не кончила.

Может, с нею обморок? Непохоже: глаза хоть и открыты, но как стеклянные. И кровь на губах.

Надо бы дать ей воды, да нет здесь. А в коридоре могут встретить и спросить: кому несешь? И все откроется.

Надо вынести ее в коридор. Мыла, дескать, пол и упала.

Альгис подходит к девушке, легонько трогает.

Брезгливо, двумя пальцами, берет край юбки и накрывает белеющие выше чулок ноги.

Дрожа от страха и напряжения, Альгис стаскивает девушку на пол и волочит к двери. Щелкнув ключом, приоткрывает дверь, но, услышав, что где-то стукнуло, снова закрывает.

Но стук не повторяется.

Альгис, уже смелее, приоткрывает дверь и выволакивает мертвую. Кто-то идет! Перепрыгнув через труп, он вбегает назад в комнату. Но дверь закрыть не может — голова мертвой осталась на пороге.

Альгис прислушивается с бьющимся сердцем. Но никто в коридоре не появляется. Ему показалось.

Он снова подходит.

Теперь он оттаскивает труп от двери и укладывает у самого ведра. В коченеющую, но еще теплую руку, отогнув пальцы, всовывает тряпку.

Устало возвращается в комнату. Здесь все как было. И Гитлер все так же смотрит в сторону окна. (Почему он почти всегда снимается в профиль?)

...Хоть бы руки перестали дрожать. Ведь Гросс поймет.

Надо смотреть в окно. Скажет, что все время так стоит.

Проехал извозчик. Не тот ли, который привез его утром?

Идут!.. Сюда... Он не оглянется.

— Альгис!

...Что было бы, если бы Гросс пришел на пять минут раньше?!

— Слушаюсь!

— Пошли!

У Альгиса стучит в висках. Сейчас Гросс все поймет...

— Она мыла полы... Видно, упала.. — обреченно лепечет он.

Гросс, не взглянув в ее сторону, отвечает на ходу:

— Пришлют другую...

ЭПИЛОГ

«Дорогая Ирена!

Поздравляем тебя со вторым днем рождения — 23-й годовщиной освобождения из концлагеря.

Мама Гертруда,
Майя и Алик, Лиза».

...Какие красивые тюльпаны! И как их много!

Их уже очень много. Двадцать три...

Двадцать три года с того утра, когда появились советские танки...

«...Со вторым днем рождения...» Костас так назвал этот день. Хотел, чтобы и поженились они именно в этот день. Но она не хотела...

Они — и он, и сын — из этой, новой жизни. А та... Только назвала сына Йокубасом, в честь дяди Якова. Как она хочет, чтобы он вырос таким же человеком! Он это знает. И пошучивает над ее чрезмерными стараниями: «Не волнуйтесь, мамочка, я даже влюблюсь только в такую девушку, которую зовут Евой».

«Влюблюсь...» Взрослый уже.

Наверно, со своей практики пришлет телеграмму. Или позвонит. А Костас наверняка позвонит. И скажет что-нибудь очень хорошее. День рождения... Как Лизочка говорит: «Признавай только этот».

Невозможно...

Иногда ей вообще кажется, что она живет уже очень, очень давно. Что теперешняя, послевоенная жизнь — вторая. Может, потому, что уже была у самой своей смерти? Или потому, что там, в лагере, жизнь вообще казалась прошедшей, а остался только самый ее остаточек, только до новой селекции, когда погонят в крематорий...

Да, мысли не слишком праздничные. Но ведь и праздник не очень обычный — в честь того, что ее не успели убить. И не может она радоваться только тому, что ее не убили. Ведь других... Маму. Дядю Якова. Тетю Еву. Пукисов. Майину маму. Всех тех женщин, с которыми ее везли, с которыми она простаивала на «аппеллях», лежала на нарах. Их же нет! И она это помнит. Она все помнит. Внешне это, наверно, и незаметно — она живет, работает. Улыбается. Даже сама шутит.

— Ирена, обед стынет!

— Иду.

...Сегодня мама Гертруда ей даже обед готовить не дала. Праздник так праздник.

И накрыто не на кухне, а в столовой.

— Мама Гертруда, спасибо за цветы.

— Красивые, правда? Лизочка выбирала.

— Она была? Почему меня не подождала?

— Торопилась на дежурство.

Ирена быстро нагибается к тарелке, чтобы скрыть улыбку. Но мама Гертруда заметила.

— Она говорила, кто-то просил поменяться.

— А завтра окажется, что это она просила кого-то поменяться с вашим будущим дежурством, и значит, вам уже не надо.

— Но я же просила ее больше этого не делать.

Ирену смешит растерянность мамы Гертруды.

— А не лучше ли не заставлять ее каждый раз хитрить и смириться с тем, что по ночам она дежурит за вас? Мне не позволяете, но ей ведь можно, она моложе.

...Этого не надо было говорить.

— Я и сама еще вполне могу.

...Наверно, все так — чем ближе к старости, тем больше не хочется в этом признаваться...

И она спешит переменить тему:

— А мясо очень вкусное.

Но мама Гертруда молчит.

— Майя не звонила?

— Алик звонил. Встретимся на концерте.

— На каком концерте? Ведь могут позвонить мои скитальцы.

— Поймут, что мы в такой день кутим, и позвонят попозже.

Совсем не хочется никуда идти...

— Где же мы «кутим»?

— В филармонии. Приехал оркестр с моей бывшей родины.

...Ни разу ФРГ не назвала Германией.

— Верно, я видела афиши. Но ведь билетов нет.

— Это уж Лизочка в твою честь постаралась. Еще сетовала, что в разных местах. Один даже на балконе.

— Туда я пойду.

— Зачем? У нас же есть кавалер.

— Пусть уж сидит со своей женой. А мне даже хочется послушать с балкона.

— Как знаешь.

Ирена встает из-за стола, начинает собирать посуду.

— Нет, нет, — мама Гертруда возражает. — Сегодня это моя работа. А ты пока переоденься.

— В чем желаете меня видеть?

— Конечно, в новом платье.

Ирена идет в свою комнату. Достает из шкафа платье.

...А может, хорошо, что они идут на концерт. Там музыка. Можно не думать ни о чем другом... После концерта, наверно, позвонит Костас. Скажет, когда возвращается. А завтра она опять пойдет на работу. И снова потекут обычные дни...

— Ирена, ты готова?

— Сейчас!

Она стала быстро переодеваться. Самой захотелось скорее туда, в зал, где люди. Сегодняшние. И оркестр. И звуки, одни только звуки, которым можно про себя вторить. А как терпеливо мама Гертруда их приучала к симфонической музыке! Делала вид, будто не понимает, что они ходят с нею только из вежливости, что просто отсиживают два долгих отделения. Пока... Ирене кажется, что это пришло внезапно. Играли Неоконченную симфонию Шуберта. И вдруг что-то случилось. Она стала слышать. Не просто наборы звуков, а музыку. Мелодию, инструменты.

— Ирена!

— Иду.

Выйдя из подъезда, Ирена привычно бросает взгляд на дом напротив. Мама Гертруда, конечно, заметила, но ничего не говорит. Это раньше, в первые годы, она все упрашивала Ирену отвыкнуть от этого — ведь там уже ничего такого нет. Дом как дом. Обычные квартиры, люди живут. Она это знает. А все равно, как только выходит на улицу, глаза сами туда смотрят...

— Хорошо жить по соседству с филармонией. — Мама Гертруда явно старается ее отвлечь. — Ни в транспорте толкаться, ни волноваться, что опаздываешь. Вышла из дому — и сразу на месте. Смотри, Майя с Аликом уже ждут нас.

— Поздравляем, — Майя чмокает ее в щеку. И, конечно, замечает новое платье. — Какая ты сегодня нарядная!

— Наша Ирена начала следить за модой, — поддерживает ее мама Гертруда.

— Не совсем... — Майя окидывает критическим взглядом рукава.

— Ну что за человек? — смеется Алик. — Никак не может без критики.

— На сей раз я говорю не как человек, а как модельер.

...Длинные рукава сейчас, конечно, не в моде. Но освенцимский номер на руке — тоже не украшение...

Звонок!

— Ну, пока!

— Куда ты? — удивляется Майя. — Алик пойдет на балкон.

— Спасибо. Я очень хочу послушать оттуда.

— Честное слово?

Ирена кивает.

— В антракте спустишься?

— Обязательно. — И поднимается наверх.

Публики очень много. Люди рассаживаются. Нарядные, оживленные. Она очень любит это общее приподнятое настроение. Хотя, казалось бы, привычно все это — и зал, и люди, и концерты, а все равно ее каждый раз охватывает приятное волнение. Ожидание предстоящего. Словно она тоже будет участвовать в чем-то. Музыканты настраивают инструменты, а она — себя. Слушать, воспринимать...

...Как много в оркестре пожилых!

...Это они теперь пожилые. А тогда?

...Не надо думать об этом. И смотреть на них. Лучше на дирижера. Он молодой.

...А что они делали т о г д а? Может, кто-нибудь из них был здесь? Арестовывал, гнал на расстрел...

...Надо слушать. Только слушать.

...Днем убивали, а по вечерам приходили в т о т дом. Который из них? Может, седой виолончелист? Или второй флейтист. Он убивал?

...Да нет же, они только музыканты.

...А лагерный унтершарфюрер, говорили, тоже бывший музыкант. И часто не выходил на «аппелль» их пересчитывать, заставлял мерзнуть, потому что слушал музыку. А от этого стояния на морозе, вконец истощенные, каждый раз падали замертво несколько человек.

...Но это было. Больше такого нет. Она на концерте. И все кругом слушают музыку.

...Во фраках, с инструментами, у них очень благородный вид. А сосредоточенность при игре придает лицам мягкость. Как будто жестокости на таких лицах и быть не могло.

...Но первый кларнетист похож на унтершарфюрера! Тоже рыжий. Правда, унтершарфюрер никогда не ходил без своей высокой фуражки. Но под козырьком рыжели такие же брови. И когда он нас избивал, так же краснел и надувался, как этот сейчас.

...Играют они отлично.

...Нет, это не унтершарфюрер — слишком молод. Может быть, сын.

...При чем тут сын?

..Какое мощное форте! Еще бы, сто десять хороших музыкантов.

...А может, они и тогда были только музыканты? Но они же не только музыканты. Они ведь люди. Спрятал ли хоть один из них антифашиста, пленного, еврея? Бросил ли кто-нибудь из них плетущимся мимо узникам хотя бы кусок черствого хлеба?

...А какие они теперь?

...И если опять позовут сына унтершарфюрера? Неужели он наденет форму отца? Уйдет из сверкающего концертного зала в ночь и там, за колючей проволокой, будет ходить вдоль строя трясущихся от холода и ветра, освещенных прожекторами со сторожевых вышек существ в полосатой одежде, будет тыкать плеткой — кому выйти вперед. А это значит — их уведут в крематорий.

...Нет, этого не может быть. Больше такого не может быть!

...А если не такое, но все же зло?

...Господи, она же на концерте!

...Это виноват сегодняшний день.

...Нет, он ни при чем. Он хороший. День освобождения. Дарования жизни. Теперь все дни хорошие. Она работает, у нее есть дом, муж, сын. «Электронно-вычислительный». Это он сам так назвал себя, когда поступил в институт.

...Сын. Он есть, потому что она есть, потому что осталась жива.

...А в ту селекцию ее уже отобрали. И вернули обратно только потому, что пригнали целый транспорт пленных...

...Аплодируют?! Ах да, ведь это концерт.

...Сейчас будет антракт. Оркестр уйдет. И люди выйдут в фойе. Она останется одна. Почти одна. Мама Гертруда с Майей, наверно, будут искать ее. Но ничего. Она немножко посидит. Пока все пройдет. Эти мысли...

— Добрый вечер.

...Это не ей.

— Если не ошибаюсь, Ирена... Вайнаките?

...Кто ее так назвал? Она поднимает голову.

...Альгис?!

Бросает взгляд на дверь — там охранник?

...Нет, конечно. Здесь же филармония, концерт. Сейчас антракт, публика выходит из зала. А он... улыбается.

— Неожиданная встреча, правда?

...Седой.

— Я тоже решил приобщиться к культуре.

...Надо встать и выйти.

— А то долго был лишен этой возможности.

...Надо встать. Подняться.

— Хорошо, дьяволы, играют, верно?

Она почему-то кивает.

...Сейчас встанет. Выйдет. Но если он увяжется? А там мама Гертруда, Майя...

— Как живешь? Выглядишь ты очень хорошо.

...И разговаривает как ни в чем не бывало.

— Кого-нибудь из нашего класса встречаешь?

— Только тех, кто в оккупации оставался человеком.

— Зачем ты так? Я же искренне рад нашей встрече.

— А я — нет.

Старается сдержаться.

— Думала — сгнил Альгис?

— Нет. Удрал с гитлеровцами.

— На что они мне? Я же литовец.

— Какой ты литовец?..

Он опять улыбается:

— Чистокровный.

— По признакам расовой теории проверял?

— Ну что ты ершишься? Встретились два старых товарища, уцелели в этой кутерьме...

— Мы не товарищи.

Наконец перестал улыбаться.

— Конечно... Я ведь «сидевший». Еще и ссылку отбывал... Не поверили, что я был только переводчиком, и то по принуждению.

...Надо говорить спокойно. Ведь кругом люди.

— В гестапо нельзя было оставаться только переводчиком. Я их слишком близко видела. И гестапо, и эсэс.

— Зачем такой прокурорский тон? Теперь он, между прочим, не моден и у самих прокуроров. А в отношении меня даже они не смогли ничего доказать. Нет свидетелей.

Кровь прихлынула к лицу. Она больше не могла сдерживаться:

— Потому что они мертвы!

— Но есть же и живые.

— Кто?

— Ты, например.

— Я?!

— Почему же нет? Неужели ты никогда не задумывалась — кто тебе помог, почему тебя только вывезли в Освенцим?

— «Только»? Это было все равно что смерть.

— Как видишь, не совсем.

— Редчайшая случайность. А скольких ты помог отправить на расстрел? И сам отправил? Ведь ты допрашивал. Сам допрашивал. Или уже забыл? Могу напомнить.

— Ну и злопамятна. А какой психолог! Впрочем, ты и раньше этим отличалась. Или кто-то помог тогда догадаться, что Советская Армия сильнее и надо потерпеть, может, даже рискнуть чуточку, кому-то помочь. Зато потом за все это польются такие блага...

— Молчи!

— Почему же? Я просто восхищаюсь твоей прозорливостью. И теперь, наверно, катаешься как сыр в масле. А я вот, хотя все положенное отбыл и документы в порядке, устроиться на приличную работу не могу.

— Ты... ты остался таким же! Не смей больше никогда ко мне подходить. Слышишь? Никогда!

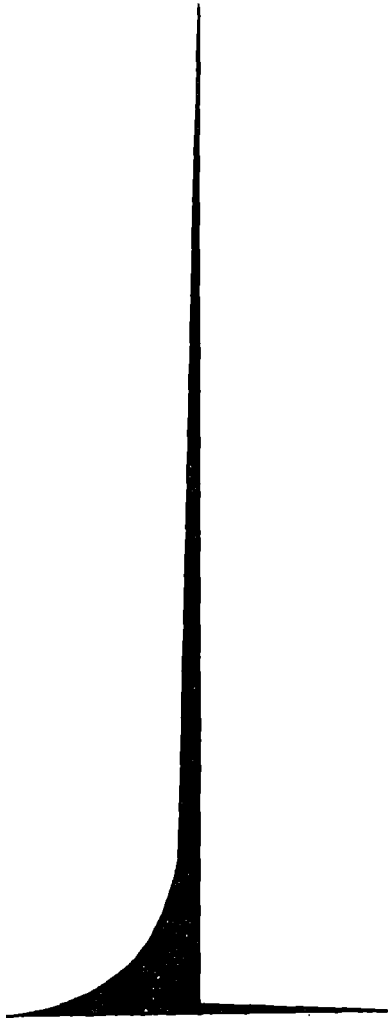
Она быстро идет к двери.

В фойе публика гуляет по кругу. И никто не знает, никому даже в голову не приходит, что здесь, совсем рядом, — бывший гестаповец. Что, быть может, это он отправил на расстрел или в лагерь кого-нибудь из их близких, которых больше нет. А он есть. Здесь. И вместе с ними слушает музыку!

Она уйдет отсюда. Пойдет домой. Она не может здесь остаться.

Ирена стала пробираться сквозь гуляющую толпу. Туда, к лестнице.

А навстречу ей поднимаются Майя с Аликом. Они улыбаются. И Майя машет ей пестрой шоколадкой.



ПРИВЫКНИ К СВЕТУ


DUONA

ГЛАВА I

Осторожно, чтобы не зашуршало сено, Нора выпрямляет затекшую ногу и поворачивается на правый бок. Снова приникает к щели.

Конечно, это русские! Вот те, что соскочили с танков, — в красноармейских гимнастерках. Один усатый, а у немцев таких усов не бывает. И солдат, который показывает, чтобы машины съезжали к озеру, размахивает красным флажком. С такими их класс перед войной ходил на первомайскую демонстрацию.

В деревне уже русские! Можно вылезать!

Нора убеждает себя, а все равно не трогается с места. Лежит в своем укрытии на сеновале, смотрит в щель и рассказывает себе, что видит.

Говорить с собою так, будто есть и вторая Нора, она привыкла уже давно. С тех пор, как маму с бабушкой забрали и она стала скрываться. Даже когда у людей — все равно одна. Чтобы не было так страшно, она сама успокаивала себя, что не надо бояться. Утешала, что не найдут.

Теперь она уверяет себя, что свободна! Немцев нет, можно выйти!

Но медлит.

Почему дедок и Алдона не возвращаются из леса? Не знают, что здесь русские? А может, боятся, что немцы вернутся обратно?

Она тоже подождет...

Когда дедок сказал, что они все уходят, Норе стало страшно: она остается совсем одна! Но уйти вместе со всеми ей нельзя было — никто, кроме старого дедка Апутиса и его дочери Алдоны, не знает, что она здесь. Уйти после них? Где она там спрячется? Тут, в сарае, хоть есть укрытие.

Чтобы никто не мог подступиться к сеновалу, дедок у двери нагромоздил сбрую, мешки, корзины. Тачку притащил. Даже косы с вилами сюда перенес.

И попросил — раз она все равно остается — сторожить дом. Сверху хорошо видно. Если фашисты, отступая, подожгут его, то, как только они отъедут, Нора быстро слезет и станет гасить. Дедок и воды во все бочки налил, и полные ведра поставил на каждом углу. Но в спешке забыл принести ей крынку с питьем. Хлеба и кусок сушеного тминного сыра подал, а воду забыл.

Норе уже много раз приходилось терпеть. То без еды, то без питья, иногда без того и другого. Она знает: если очень хочется пить, так, что вода даже мерещится, — ни за что нельзя думать о ней — ни как она расплескивается, когда из колодца тащишь полное ведро, ни как течет в реке, ни как дождевые капли стучат о подоконник.

Нора старалась не думать о воде. Выискивала в сене вокруг себя цветки клевера и сосала их. Но это не помогало — они сочные только в поле. А от засохших першит в горле. Спуститься за водой она боялась. Хотя знала, что в деревне никого нет. Днем ни дымка над крышей, ни человека во дворе; даже случайно забытой несушки не осталось. Но сойти было страшно — каждую минуту могли появиться немцы.

И они появились.

Нора испугалась, что они остановятся, спрыгнут с машин и начнут все подряд поджигать. Но они пронеслись мимо. Следующие — тоже. Потом стали проезжать почти беспрерывно — машины, танки, опять машины. И не останавливались. Только сидевшие на них солдаты иногда стреляли по придорожному кустарнику, по закрытым ставням домов. А под вечер уже и стрелять перестали. Мчались с такой скоростью, что пыль за ними не поспевала — завихрившись, отставала и тут же попадала под колеса следующей машины.

Но и ночью, когда танки грохотали реже, и на рассвете, когда больше никто не проезжал — в деревне стало совсем тихо, — слезть за водой Нора все не решалась.

Уговаривала себя еще немножко потерпеть.

Но ведь больше терпеть не надо! В деревне русские!

Вдруг Нора окаменела — тот, усатый красноармеец влез в танк. Уезжают?!

Она хочет с ними!

Нора быстро выбралась из ямы в сене, соскользнула вниз, наступила на грабли. Чуть не наткнулась на косу.

Выбежала во двор.

Пусто. И танков отсюда не видно. Никого нет. А пионы, сверху казавшиеся живыми — так они кивали друг дружке головками, — теперь стоят неподвижно.

Нора нерешительно делает шаг. Еще один. Осторожно подкрадывается к углу. Есть! И танки, и красноармейцы!

Она хочет подбежать к ним, послушать, как они разговаривают. Но не может двинуться с места — ноги дрожат. И руки тоже. Она только повторяет себе, что пришла Красная Армия. И теперь ее уже не убьют!

Два красноармейца идут сюда! Тянут какой-то провод.

— Смотри! — восклицает один. — А ты говорил, нет ни души. Вот одна. Только очень маленькая.

Они ей улыбаются...

А Норе странно, что люди в военной форме ей улыбаются.

— Девочка, ты здесь живешь? — спрашивает черноволосый. Он и сам смуглый, и глаза черные. А брови почти срослись — на переносице кисточка.

— Там... — показывает Нора.

— В сарае? — смеется чернобровый. — А почему не в доме?

— Не кричи, Илико. Ты же ее пугаешь.

Второй говорит потише. И волосы у него светлые. А глаза голубые. На гимнастерке три полоски — две красные и одна желтая.

— А кто живет в доме?

— Они ушли в лес. Прятаться.

— А ты почему осталась?

— Мне с ними нельзя.

Он не понимает.

— Чтобы их за меня не убили, — объясняет Нора.

Оба удивлены. Не верят?

— Честное слово! Если немцы находят кого-нибудь, кто прячется, забирают и того, кто прячет.

— Ты пряталась? — удивился голубоглазый.

— Я...

— А сколько тебе лет?

— Тринадцать. — И, спохватившись, добавляет: — Было тринадцать. Теперь уже шестнадцать.

— Видал личного врага фюрера? — опять удивился голубоглазый.

— Слушай, — неожиданно тихо, почти хрипло спрашивает Илико, — может, ты есть хочешь?

Пить, только пить! Но губы такие сухие, что сказать это очень трудно.

— Понимаешь, нам сейчас некогда, — будто извиняется голубоглазый и начинает разматывать свой провод. Нашивки на его гимнастерке шевелятся. — Но мы тебе принесем. Потерпи немного.

— Зачем терпеть?! — восклицает Илико. — Сходи к нашему повару. Скажи — Илико и Витя просили накормить.

— Верно, сходи. Кухня там, у озера. Любого спросишь, покажет, — обрадовался Витя.

— Зачем спрашивать?! По запаху узнаешь. И ешь. Потом мы принесем — опять есть будешь. Поправиться надо. Невеста, а такая худая.

— Не стесняйся, — советует и Витя. И убегает, на ходу разматывая провод.

Илико спешит за ним. Вдруг оборачивается:

— Слушай, ты не грузинка?

— Нет...

Они уходят за изгородь. Машут ей оттуда и убегают под гору.

Она опять одна...

Вдруг замечает у крыльца ведро. С водой! В ней солнце блестит. Как золотой цветок...

Пить неудобно, она не умеет пить из ведра. Вода лезет в нос. И дышать трудно. Нора отрывается на миг, переводит дух и снова пьет. Захлебывается, задыхается. Пробует пить из пригоршни, но так не напиться.

Устала. И, кажется, напилась. Но уйти от воды не решается.

Нора сидит, опустив руку в ведро, и шевелит пальцами. Солнечный отблеск сверкает, слепит.

Внезапно она вздрагивает — ее могут увидеть! И сразу вспоминает — теперь это уже не страшно! Не надо бояться. И прятаться больше не надо.

Нора смотрит вокруг. До чего просторно! Над головой до самого неба — ничего! Ни потолка подвала, ни

ската крыши. Она может встать во весь рост. И стоять. Или подойти к скамейке. К колодцу. Даже к березам.

Но она сидит. Рука в ведре, голова прислонена к стене.

А кажется ей, будто идет. По самой середине дороги, не таясь — хотя теперь день и ярко светит солнце.

До чего хорошо так шагать! Легко! И ветерок подгоняет. Вот он прошелся по полю широким арпеджио, и рожь волнами стала кланяться, будто здороваясь. «Здравствуйте, здравствуйте, — отвечает Нора колосьям. — Я тоже очень рада, что могу так идти...»

— Нора!

Откуда они знают ее имя?

— Ты что, спишь?

Она открывает глаза. Алдона! Дедок! Вернулись!

— Думала, танцуешь, а ты, вижу, спишь...

— Жива? — спрашивает дедок.

Нора кивает.

Больше он ничего не говорит. А глаза улыбаются. Старые, выцветшие глаза. Раньше Нора их ни разу не видела. Ночью ее сюда привезли. По ночам он приносил ей поесть. Иногда, как теперь, скажет два слова шепотом, а иногда только кашлянет — мол, пришел, поесть принес.

Теперь тоже, называется, поговорил. И ушел к выбитым окнам. Пробует, крепко ли сидят осколки стекла.

— Это они стреляли, — объясняет Нора. — Когда удирали.

А у хлева Тадас, Алдонин муж, распрягает лошадей. Сейчас он ее увидит, спросит...

Увидел!

— А это кто?

Дедок не отвечает. Будто и не слышал. Тадас смотрит на нее. Кажется, догадался...

— Прятали?

— Она недавно... В сарае... А теперь дом сторожила, — объясняет Алдона.

— А если бы нашли? Веревка на шею кому? Тадасу?

— Почему тебе одному? — спокойно спрашивает дедок.

Больше он ничего не говорит и уходит в дом.

— Не нашли же! — пытается успокоить мужа Алдона.

Тадас все равно злится. Хватает с телеги корзину.

— Осторожно! — вскрикивает Алдона.

Но он назло ей швыряет. В корзине, завязанной платком, слышится тревожное кудахтанье.

Тадас пинает корзину ногой.

Алдона подбегает, хочет развязать платок. От волнения пальцы неуклюже дергают узлы, еще туже их затягивают. Нора хочет помочь, но не смеет.

Наконец Алдона снимает платок. Куры бьются испуганно, опрокидывают на себя корзину. Только одна успела выскочить и теперь убегает без оглядки. Остальные беспомощно топчутся под этим плетеным колпаком.

— Меня вы спрашивали, хочу ли я умереть из-за этой?.. — сердится Тадас.

Нора уходит в свой сарай.

Она опять здесь. В том же полумраке, с тем же столбом посередине. Наверху, на сене, ямка, в которой она лежала. Отсюда, снизу, и правда ничего не видно. А когда Нора там лежала, казалось — как только войдут, заметят. Не только немцы или полицаи, но и Тадас. Когда он входил, Нора боялась даже дышать.

«...Меня вы спрашивали, хочу ли я умереть из-за этой?..»

А разве она хотела, чтобы из-за нее умирали? Сперва и не знала ничего. Думала, что ее не впускают в дом, потому что она незнакомая, чужая, а они не понимают, что ей совсем некуда деться и что ее могут схватить. Правда, один — потом Нора узнала, что он полицай, — понял. Даже крикнул: «Правильно делают, что вас расстреливают. Давно пора!»

Только потом, на мельнице, когда старый Даугела, который обещал держать ее до конца войны, вдруг прибежал испуганный и попросил, чтобы она ушла, ушла сегодня же ночью, Нора узнала. Увидела...

Они висели с завязанными назад руками. От ветра разворачивались то к дороге, то к реке, будто во все стороны показывая дощечки с надписью: «Я помогал врагу — большевистскому солдату», «Я прятал евреев». Третьей надписи Нора не разглядела — луна зашла за облака. Да и на те глянула только мельком, пробегая.

Постучаться к другим людям она не решилась. Ни в ту ночь, ни в другую, ни в третью. Спряталась в лесу, в большой яме, накрыв ее хворостом и листьями. Уговаривала себя потерпеть. Старалась не думать о том, что

будет дальше. Не было этого «дальше», было только «теперь».

Надо еще потерпеть...

Потом все меньше приходилось себя уговаривать. И это «что дальше?» стало отодвигаться. Пóка совсем не исчезло. И ничего бóльше не было: она только помнила, что лежит в яме.

А потом на нее упала Петронеле. Не заметила под листьями ямы и провалилась. Испуганно крестилась и долго не могла поверить, что Нора не лесной дух. Только узнав, почему Нора здесь прячется, поверила...

Привела ее к себе. Устроила на печи укрытие. Поила горькими настойками из трав, чтобы Нора скорее поправилась, окрепла.

А Нора все время помнила о тех троих. Но рассказать не решалась.

Однажды ей это приснилось... Немцы врываются, хватают ее. Петронеле тоже выгоняют. Связывают руки. Вешают дощечку...

Нора проснулась. Хотела сразу разбудить Петронеле, рассказать ей все и уйти...

Но Петронеле спала. Голова на подушке казалась маленькой — наверно, потому, что без платка.

Было очень тихо. Даже стены, уставшие за день смотреть на комнату, теперь, казалось, стоят, углубившись в сон. И забытая на столе чашка. И вода в кадке. Столетник, сняв с тесного подоконника свои тени и причудливо расстелив их на полу, дремлет.

И Нора не стала будить Петронеле.

Что же делать? Нора уставилась в темноту, будто именно оттуда должен возникнуть ответ. Только другой, не тот, который неясно мелькал в голове.

Нет, уйти она не может.

Но и здесь оставаться нельзя.

А ведь кто бы ее ни впустил, каждому грозит то же самое...

Что же ей все-таки делать?

И так всю ночь. Нора порывалась разбудить Петронеле и продолжала лежать... Обвиняла себя и оправдывалась.

Утром все-таки рассказала. Сбивчиво, не очень внятно, но рассказала.

Петронеле ничуть не испугалась, не попросила уйти. Сняла с огня картошку, налила простокваши и спросила, подать ли на печь или Нора слезет поесть.

Выходит, Петронеле знала! Не о тех трех у мельницы, а вообще знала. Еще до того, как нашла Нору в лесу.

И все равно привела ее...

А Тадас сердится. Но что ж ей было делать? Она понимала, как им страшно — и дедку с Алдоной, и Петронеле, и Стролисам...

Она вернется к Стролисам! Нора вспомнила маленького Винцукаса. Как он приносил ей в погреб еду. Садился рядом и шепотом утешал: «Я никому, никому не скажу, что ты здесь. А когда вырасту, выгоню всех фашистов, и ты больше не будешь спать в погребе».

Она поедет к Стролисам! Ведь теперь уже можно!

Нора выбегает из сарая.

Тадаса не видно. Алдона в огороде. Дедок возится с оконной рамой. Вынул ее и аккуратно отковыривает замазку.

— Может... мне вернуться к Стролисам?

— Проведаешь. Пока поживи тут, привыкни к свету.

И все. Нора тоже не знает, что сказать. Просто так они никогда не разговаривали.

Она смотрит, как дедок, отковырнув замазку, осторожно вынимает уцелевшие куски стекла и складывает их на скамейке. Больше, наверно, ничего не скажет.

Она идет к Алдоне.

— Можно, я вам помогу?

— А что тут помогать? Я только для свекольника нарвала на ужин.

Сама все же идет вдоль грядки — то сорняк выдернет, то еще свеклину вытянет.

— Может, огурцы прополоть? Я умею.

— Чего ж тут не уметь? Только не надо, я недавно полола. Тадас говорил — все равно немцы истопчут. А вот не успели. Зачем думать, что будет плохо?

А Нора думала. Даже представляла себе... Но больше не будет — ведь гитлеровцев уже нет!

Алдона уходит.

Нора наклоняется над грядкой. Под листьями огурчики. Крохотные, с не опавшими еще цветочками на конце. Тоже таятся...

И Нора переходит к другой грядке. С морковью.

Маленькие травинки выдергиваются легко, а высокие, с твердыми стебельками — Нора забыла их название — не поддаются. Обрываются, корень норовит остаться в земле. Нора все равно выдирает.

Неожиданно что-то мелькает в голове. Странное, непривычное. Она не боится! Сидит у всех на виду, полет огород и совсем ни о чем не думает. Даже о том, что уже свободна!

Как долго она этого ждала! Про себя даже умоляла советских бойцов — приходите скорее! Но к а к они придут, не представляла себе...

Сперва это казалось очень далеким. Потом, когда фронт стал приближаться, она пыталась — чтобы легче было ждать — представить себе, как это будет, когда освободят. И что она будет делать.

Теперь ее уже освободили. А она в огороде полет морковь...

Но что еще делать?

И Нора продолжает выдергивать сорняки.

Морковины очень похорошели. Стоят ровными рядами, топорща зелень над взрыхленной землей.

— Нора, бросай работу. К тебе гости пришли.

Алдона ждет ее у колодца.

— Давай полью. — Она зачерпывает воду узким жестяным литром. Точно такой был у молочницы, которая до войны приходила к ним по утрам. Но этот, видно, протекает.

Нора идет следом за Алдоной в дом. В первый раз поднимается на крыльцо.

Красноармейцы! За столом сидят Илико, голубоглазый Витя и другие, незнакомые. Дедок тоже с ними. И Тадас. Теперь он, кажется, не злится.

— Ты почему не пошла к нашему повару? — спрашивает Илико. — Видишь, обиделся.

Но его сосед улыбается.

— Садись с нами!

— Смотри, что они тебе принесли, — шепчет Алдона, показывая два котелка с перловой кашей.

— Почему только мне...

— А я свекольник сварить не успела. Только вот, картошка.

На столе много хлеба! Целая коврига Алдониного, круглого, и еще две непривычные, прямоугольные.

Наверно, тоже они принесли. От картошки поднимаются струйки вкусного пара.

Нора очень хочет взять горячую картошину, но не решается. Ей должны дать...

Дедок разливает в чашки «что бог послал».

— А как же, был и я солдатом...

Дедок — солдат?! Нора смотрит на его костистые пальцы, обхватившие бутылку, на худые щеки под седой щетиной и не может себе представить его молодым, чубатым, в солдатской форме.

— ...еще при вашем царе Николае.

— Почему же он наш? — смеется Витя. — Мы его...

При царе?! Это ж было так давно, в учебнике истории! Может, он даже был книгоношей?

И Нора вдруг вспоминает, как учительница истории рассказывала, что царь в 1864 году запретил преподавать в школах литовский язык и печатать литовские книги. Печатали за границей, и книгоноши тайком приносили в Литву. Но их ловили и ссылали...

— Как тебя зовут? — спрашивает красноармеец, который сидит с ней рядом.

— Нора.

— А меня Коля. То есть Николай. — И, помолчав, спрашивает: — Родители есть?

— Есть. Но маму с бабушкой эсэсовцы увели. А папа на фронте. Он майор.

— Пишет? Ах да, некуда было. Но ничего. Скоро война кончится, отыщет он тебя, заживете, как прежде.

Нора кивает. Она хочет, чтобы он еще говорил об этом.

Но сосед вдруг погрустнел.

— Я тоже ищу своих. Сестренка у меня такая, как ты, Оля. И родители. В деревне они, тоже под оккупацией были... Я уже шесть писем написал. Вчера седьмое отправил, в сельсовет. Может, хоть оттуда ответят...

— Конечно, ответят! — Нора хочет, чтобы он опять улыбался.

Неожиданно двое, которые сидят рядом с дедком, затягивают:

На позиции девушка
Провожала бойца.
Темной ночью простлася
На ступеньках крыльца...

И Нора видит: ночь... крыльцо... Двое прощаются...

И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Все горел огонек.

Нора представляет себе и этот огонек. Он отдаляется, уменьшается. Стал только светящейся точкой. То пропадает, то, как уголек, на который подул ветер, — снова оживает. Мерцает вдали.

— А ты небось настрадалась? — тихо, чтобы не мешать поющим, спрашивает Николай. — Но сперва поешь, поешь! — Видно, заметил, что она смотрит на сковороду с подогретой кашей. — Бери, еще бери!

Нора отвыкла есть на людях. Ложка дрожит, каша вываливается. Неловко проглотив две полные ложки, спешит ответить Николаю:

— Я пряталась. То есть меня прятали.

— Где?

— Везде. Сперва, когда немцы ночью пришли за нами, мама меня затолкнула в ванную, забросала грязным бельем. Но я все слышала. Солдаты кричали, что мы большевички. Ходили по комнатам. А мама твердила, что больше тут никого нет, они живут только вдвоем с бабушкой... Солдаты их увели...

— А тебя не нашли?

— Нет. Под бельем не искали. Только дверь в ванную открыли.

— А потом?

— Я долго не вылезала. Потом... Уже было утро. Я слышала, как к двери подошла молочница. Спросила кого-то, почему опечатано... Больше никто не приходил. Я съела все, что у мамы было. Даже сухое какао. И макароны все сгрызла. Плиту растопить боялась. И свет не зажигала. А мимо окон ползала по полу.

— Долго так?

Нора вдруг замечает, что за столом тихо. Все слушают ее.

— Долго. А однажды пришел немецкий офицер. Но я услышала, что возятся у двери, и опять спряталась в ванной под бельем.

— И он тебя не нашел?

— Нет. Не искал. Только велел женщине, которую привел, проветрить квартиру и убрать ее. Он сюда вселится. В ванную тоже заглянул. Открыл кран, течет ли вода... Потом ушел... А эта женщина испугалась, когда нашла меня. Сказала: «Уходи, пока он не вернулся». И я ушла...

— Да, — неожиданно говорит Тадас. — Натерпелись от них. Все натерпелись. И страху, и... — он машет рукой.

— Батя у нее воюет, — говорит дедок, с укоризной глянув на Тадаса. — Военврач он, майор.

— В какой части? Как зовут? — спрашивают несколько голосов.

— Маркельскис. Может, знаете?

Витя пожимает плечами. И Николай не знает. Даже Илико улыбается, как бы извиняясь.

— Ничего, — спокойно, будто и не было этого неловкого молчания, говорит Николай, — отыщется твой батя.

— Конечно, отыщется! — восклицает Илико. — Не надо грустить. Витя, давай.

И Витя тихо затягивает:

Эх, махорочка, махорка,
Подружились мы с тобой...

Илико подхватывает:

Вдаль глядят дозоры зорко,
Мы готовы в бой!
Мы готовы в бой!

— Хорошо поют, верно? — спрашивает Николай. — Витя и на гармошке играет.

«А я играла на рояле», — хотела сказать Нора. Но промолчала. Это было так давно...

Первое время она и в укрытиях пыталась «играть» — на коленях, на доске. Повторяла гаммы, этюды, сонатину Моцарта. Потом перестала. Хотя знала — мама будет недовольна.

Мама очень хотела, чтобы она стала пианисткой. Когда Нора долго засиживалась у Юдиты или после школы рассказывала что-нибудь «пустенькое», мама сперва слушала. Будто невзначай подкладывала еще котлетку. Потом начинала улыбаться: «Пустяки у тебя в голове: какой торт испекла Юдитина мама или какие новые ленты

был у Иоанны. А ведь этюд Рахманинова еще не разобрала».

Стучат в дверь! Нора вздрагивает.

— Не бойся... — тихо говорит Николай.

Входят два красноармейца. Один очень высокий.

Алдона вскакивает, уступает место. Нора тоже встает.

— Сиди. — Николай с Витей пытаются еще потесниться.

— Ничего, мы сядем на кровать, — объясняет Алдона.

— Ребята, — сразу спрашивает Николай у вошедших, — вы майора... — и он оборачивается к Норе: — Как звать твоего батю?

— Маркельскис.

— Майора Маркельскиса не знаете? Военврач он.

— Бог от встречи уберег, — улыбается высокий. Второй тоже не знает.

Нора перебирается на кровать.

— Положи голову, — шепчет Алдона. — И ноги вытяни.

Нора не решается. Хотя очень хочет прикоснуться к этой настоящей, в белой наволочке, подушке.

— Ложись, ложись, — говорит Алдона, и голова Норы сама уходит в забытую пуховую благодать.

Нора закрывает глаза.

...Она на кровати. Настоящей. На такой спят раздевшись. И мягко как — голове, плечам, всему телу...

— Нет, дедушка, не скоро домой, — доплывает голос Вити, — война еще. Нам идти да идти. До самого Берлина. — И он неожиданно затягивает:

Утро зовет снова в поход...

Несколько голосов продолжают в унисон:

Покидая ваш маленький город,
Я пройду мимо ваших ворот...

Тоже незнакомая песня... Для них она — своя. И сами они друг другу — свои. Завтра уйдут. А она останется...

Но ведь немцев больше нет!

Может, ей это снится? Что лежит на кровати. В комнате красноармейцы. Может, даже песня снится?

Нора быстро открывает глаза. Нет, они здесь.

Опять закрывает глаза. Все равно видит их. Они есть! Пришли! И теперь уже не надо будет умирать...

ГЛАВА II

«Какая тебе у нас жизнь, тебе в город надо».

Нора это понимает. Она и сама очень хочет домой. Но вчера уехать не могла. Витя забежал попрощаться — получен приказ, через час снимаются. Предложил поехать с ними — как раз в ту сторону. Нора от неожиданности вздрогнула. Почти как раньше, когда надо было вдруг убегать от облавы.

Витя не понял, почему она так медлит. А дедок, пожав плечами, сказал:

— Какая тебе у нас жизнь, тебе в город надо.

Конечно, надо. И она поедет. Только не знала, как объяснить, что теперь, когда больше не страшно, она не может так, сразу... И если бы не домой, она бы совсем не уезжала. Ведь так хорошо все время быть на одном месте.

Витя уехал. Дедок больше об этом не говорит. И Алдона не напоминает. Наверно, чтобы Нора не подумала, будто они ее выпроваживают. Она и не думает. Сама убеждает себя, что поедет. Домой ведь!

Они тут живут своей всегдашней жизнью, работают. А она только плетется за Алдоной, неумело стараясь помочь. То унести подойник, то начистить картошки. Алдона посмеивается: «Хватит тебе, помощница, работать. Иди посиди».

Сейчас тоже отправила. И Нора сидит на крыльце, смотрит.

Здесь хорошо. Маргис дремлет у своей будки. Приоткроет один глаз и, увидев, что все в порядке, снова зажмурится. А куры расхаживают по двору с таким важным видом, будто только они тут без устали следят за порядком. Заметив что лишнее, склевывают и вышагивают дальше, расписывая землю тонким узором следов.

Вдруг Маргис вскакивает. Поднимает морду — не то принюхивается, не то выть собирается. Убегает.

А когда она снова приедет сюда, потом, из города, он ее узнает?

Маргис прибегает, вертится вокруг нее, тычет мордой, куда-то зовет. Нора встает.

Оказывается, он выбежал встречать дедка. Но почему-то не радуется, не забегает вперед. Даже ни разу не тявкнул. Плетется сзади, понурив голову, будто прощения просит. А дедок его и вовсе не замечает, тащится усталый.

— Скажи Тадасу, — говорит он Норе, глядя куда-то в сторону, — чтобы лошадь запряг. Поедем. — И тихо, странным голосом добавляет: — Стролисов хоронить.

Нора не понимает. То есть она понимает, но не может...

— Пусть Алдона тоже собирается. За скотиной присмотрит кто-нибудь. Попросите соседку, Лапене. — Он идет к сараю.

— А мне... можно с вами?

Дедок кивает.

Алдона тоже не сразу понимает. Даже слезы в глазах собираются медленно, нерешительно.

— А кого... хоронить? — спрашивает она.

— Не знаю...

Слезы дрожат, но не скатываются.

— Спрошу. — Нора хочет выйти, но дедок сам входит.

— Кого... — она запинается и все-таки произносит, только очень тихо: — хоронить?..

— Всех.

Нора смотрит на Алдону — она тоже так слышала?

— Всех, — угрюмо повторяет дедок. — Убили их.

— Но теперь же не убивают! — вырывается у Норы.

Дедок молчит.

— За что? — Алдона закрывает лицо ладонями и бросается поперек кровати. — За что? Кому они сделали плохое? Ведь только добро, одно только добро!.. — Она задыхается от рыданий. — А ребенка за что?.. За что невинную душу Винцукаса погубили?..

И Нора будто опять услышала голос Винцукаса: «Не бойся, я никому, никому не скажу, что ты здесь. А когда вырасту...»

Вдруг Алдона садится.

— Кто?

— Фашистские последыши, — мрачно отвечает дедок. Поворачивается к Норе: — Ты тут посиди... Винцукас ее крестник. Потом, когда она... того... соберетесь. — И выходит.

Нора видит в окно, как дедок берет у Тадаса сбрую и сам принимается запрягать. А Тадаса куда-то посылает.

Запряг. Сена в телегу набросал. Идет в свою каморку.

Только они с Алдоной не трогаются с места. Алдона тихо плачет на кровати, а она... Она твердит себе, что это правда. Они едут хоронить Стролисов.

Хоронить Стролисов...

Дедок выходит из своей каморки совсем другим — в сапогах и выходной, из беленого льна, рубашке.

В калитку входит Тадас с соседкой.

— Тадас Лапене привел.

Алдона тяжело встает. По-старушечьи шаркая ногами, выходит. Ведет соседку в хлев, в погреб, показывает, где подойник.

Лапене подоит корову, постелет чистой соломы. Соберет в курятнике яички. Только Стасе этого больше никогда не будет делать. Ее нет. И Антанаса, и Винцукаса... Однажды он принес в погреб снимок. Там Стасе в фате. Антанас тоже нарядный. «Это мама с папой на свадьбе. А это бабушка с дедушкой». Теперь их тоже... Всех пятерых...

— Повяжи, — Алдона протягивает ей черный платок.

Траур по Винцукасу. По Стасе...

— Еще наревешься, — говорит Алдона. — Сходи забери свое пальтишко. Оттуда, наверно, уже домой поедешь. А новое еще когда справишь.

Нора идет в сарай — пальто осталось там, на сеновале.

С того первого дня она ни разу не была здесь. Теперь ей кажется, будто что-то изменилось — то ли ямка в сене стала меньше, то ли скат крыши ниже. И все выглядит чужим...

Нора хватает пальто и поспешно выходит.

— Хорошо, что лето и его не надо надевать. — Алдона встряхивает пальто.

На свету оно очень неприглядное. Нора его давно не видела со стороны. Совсем не такое, как было. Мятое, выгоревшее, с большой серой заплатой спереди. Эту дыру

Нора прожгла позапрошлой зимой. Долго тогда блуждала, закоченела, и, когда наконец лесник впустил ее, она прижалась к печке и не заметила, как начала тлеть правая пола. По запаху почуяла. Но уже была дыра. Большая, с горелыми краями.

— И платье надо бы другое, — вздыхает Алдона. — Но нет у меня, сама обносилась.

— Не на свадьбу едем, — говорит дедок.

Это платье ей дала Стасе, когда Норино, домашнее, совсем расползлось. А теперь Нора в нем едет хоронить Стасе...

Глаза уже устали смотреть по сторонам. И все равно Нора вглядывается в каждое придорожное дерево, в каждый куст — может, увидит что-нибудь знакомое. Иногда даже мерещится, что узнает — поворот дороги, высохшую березу. Хотя понимает, что это невозможно: не видела она этого. Зимой, когда Антанас вез ее к дедку, она лежала на дне саней спрятанная. Если бы их остановили и проверили, что́ в санях, Антанас сказал бы, что везет больную племянницу в город, к врачу.

К счастью, тогда не остановили. Но тащились они очень долго.

И теперь уже едут давно. Сперва солнце стояло над самой головой. Потом стало очень медленно подкатывать к верхушкам деревьев. А зайдя за них, еще долго мелькало: то скрывалось, то вдруг появлялось, ослепляюще сверкая. Теперь оно только изредка появляется между стволами. На мгновение заливает все яркими медными бликами и тут же снова их гасит, исчезая.

Нора очень хочет спросить, доедут ли они дотемна. Но не решается — все молчат. За всю дорогу никто не вымолвил ни слова.

Дедок останавливает лошадь. Слезает. Тадас тоже нехотя спрыгивает. Ворчит:

— Может, живой.

Немец!..

— Погоди, — Алдона держит ее за руку. — Погоди, лежит ведь. Наверно, мертвый.

И правда, лежит. Ничком. Одна рука подвернута, другая выброшена вперед, будто он до чего-то дотягивался. Без сапог, в носках. На пятках — дыры.

Дедок нагибается. Переворачивает его на спину. Левая рука остается на ремне, а правая снова валится наземь. Только теперь ладонью вверх. И пальцы полусогнуты.

— Отвоевался... — Тадас сплевывает и возвращается к телеге. А дедок, наоборот, уходит в глубь леса.

А если там другие, живые?

Норе не терпится — скорее бы вернулся! Надо уехать подальше отсюда!

Наконец дедок появляется из-за деревьев. Тащит большую ветвь. Достает из кармана свой складной нож и принимается обрезать ветки. Аккуратно, не спеша.

А Нора боится, чтобы тот, лежащий, не зашевелился.

Ветвь дедок затесал и воткнул в землю. Не возле немца, а у самой дороги. Тут виднее.

— Пусть похоронят. А то жара... — Дедок забирается на телегу.

И опять едут молча.

Лес давно остался позади. А у Норы все еще перед глазами этот немец в зеленой форме. Лежит. И носки дырявые... Когда дедок его переворачивал на спину, волосы соскользнули со лба. А рукав был грязный. И пальцы в земле. Он лежал ничком. Как обыкновенный человек. И рука обычная, и пальцы согнуты. Даже носки в дырах, совсем обыкновенные.

Хоть в немецкой форме, но совсем как человек...

— Может, подвезете?

Нора вздрагивает — откуда взялся этот старик? Босой, а ботинки связаны шнурками и перекинуты через плечо. В руках корзина с плетеной крышкой. В таких до войны гусей на рынок привозили.

— Далеко? — спрашивает дедок.

— Близко. В Соднинкай.

— Садитесь.

Старик залезает. Пристраивает возле ног свою корзину, ботинки и только тогда поднимает глаза на Нору с Алдоной.

— Добрый день, барышни.

— Здравствуйте.

Снова едут молча.

Старику это молчание, видно, не под силу. Он поглядывает на спины мужчин, на Алдону, Нору — будто

ждет, чтобы кто-нибудь заговорил с ним. Первому начать неудобно.

Но никто не обращает на него внимания.

Наконец Нора сжалилась над ним:

— Мы тоже едем в Содниикай.

— Ага, я так и подумал. А то зачем бы в такую жару черные платки повязали.

Он учтиво ждет — может, Нора еще что-нибудь скажет. Не дождавшись, сочувственно осведомляется:

— Стролисов хоронить?

Нора кивает.

— А я Буткусов. — И крестится: — Вечный покой даруй им, господи.

Дедок чуть не подпрыгивает.

— Буткусов?!

— Ага. Их. По ошибке. Мстили Стролису, но перепутали хаты. Когда уже всех, кроме старухи — она мне двоюродной сестрой приходится, — когда всех уже... один бандит и говорит: «А ведь мы, кажись, не тех. Там один пацан должен быть, а тут их трое». — Старик опять перекрестился. — Пошли к Стролисам. И уже не ошиблись...

— А за что... мстили? — еле выговаривает Алдона.

— Какая разница? — Дедок недоволен ее вопросом.

— За то мстили, — объясняет старик, — что при немцах партизанам помогали. Тогда, разумеется, никто не знал, а теперь... Повременить бы признаваться. Не такое еще время... — И, вздохнув, он продолжает: — Пошли слухи, что у Стролисов при немцах тайный погреб был и они там партизан — особенно которые раненые — прятали.

«Меня тоже!» — хотела крикнуть Нора. Но голоса не было.

— Там немец мертвый лежит. Похоронить бы, жара... — Дедок явно не хочет, чтобы он рассказывал.

— Какой он немец! Из нашей деревни, Пулокас. Родителям уже сказали. — Помолчал. — Его-то за дело. Много, мерзавец, людей погубил, ой много. Только вот дружки его, тоже полицаи, в лесах ведь попрятались. И при оружии... — Старик сокрушенно качает головой.

Тадас, кажется, вздрогнул. А может, просто так пошевелился — сидеть неудобно.

— Он в немецкой форме, — говорит Нора.

— Сам напялил. Чтобы люди пуще боялись. А теперь, говорят, немцы этих полицаев вместо себя оставили. Чтобы против большевиков воевали. И против тех, кто с большевиками заодно. Пока, мол, сами не вернутся. Не слыхали? — поворачивается он к дедку. — Сказывали, Америка теперь на их сторону переходит.

— Не слыхал.

Старик нерешительно пожимает плечами.

— Может, и не переходит. Кто ее разберет, Америку. Далеко ведь...

Выходит, дедок знал, за что убили Стролисов... С самого начала знал, еще когда запрягать шел. Только ей не говорил. И этому старику не давал.

Свернули на боковую дорогу. Нора узнала эти тополя! И крест-часовенку! Тогда, ночью, приняла его за человека. Долго стояла, боясь шевельнуться.

А теперь подъезжает засветло. Только на похороны. Тех самых Стролисов, к которым тогда постучалась...

Хоть бы лошадь куда-нибудь свернула. Или шла бы медленнее...

Уже виден дом. Плетень. Журавль у колодца.

Почему все во дворе, а не в доме?

Когда они слезли с телеги, Нора поняла. Увидела. На земле, в один ряд — закрытые гробы. Четыре больших и один маленький. Винцукаса...

— Конечно, некрашеные. Откуда теперь краска, — шепчет женщина рядом.

— Но ребенку-то могли из целых досок сколотить, а не из обрезков, — отвечает другая.

И правда, для Винцукаса сколотили из кусков. Только на крышке одна доска сплошная. И на ней углем начертан крест. На больших гробах тоже кресты.

А может... Может, Стасе сейчас выйдет за порог, крикнет Винцукаса ужинать. А он отзовется и выбежит из-за угла...

— Говорят, не только партизан прятали, — вздыхает первый голос.

Да, не только! Норе вдруг захотелось втиснуться между гробами, быть с ними! Но живые туда не ложатся. А она живая... Она теперь живая, потому что тогда они ее впустили. Прятали, чтобы ее не расстреляли. И за это их убили. Конечно, не только за нее, но и за нее тоже. А она ничего не может сделать! Уже ничего!..

Что им от ее слез? Они должны были жить. Ходить по этому двору, черпать из колодца воду, видеть, говорить. Чувствовать, что они живые! А не лежать в этих заколоченных гробах...

— Как раз в эту самую ночь мне снилось, — опять шепчет тот же назойливый голос, — что сено возим. И Стасе нам помогает. Я на возу, а она мне подает. Так ловко, быстро. Только нагрузили мы, я, значит, еду, смотрю — Стасе бежит сзади и протягивает мне Винцукаса, совсем маленького. «Возьми, — умоляет, — а то его убьют». Я хочу взять, но лошади вдруг понесли, будто порожняком едем. Стасе бежит, подняв ребеночка, хочет догнать, и он ручонками тянется ко мне, и я к нему, а взять его — никак... Утром и говорю невестке: «Сбегайка к Стролисам, не случилось ли чего. Уж очень мне плохой сон приснился».

Нора отходит.

Алдоны не видно. А возле дедка стоят два старика.

— Шяуляй уже не сегодня-завтра возьмут. Хорошо бы. Сестра у меня там.

— А у Риги Гитлер что-то крепко засел.

— Ничего, выкурят.

Нора возвращается к гробам. Там Винцукас, Стасе. Во дворе, где живые, их нет... Нет!

Вдруг в голове мелькнула какая-то мысль. Нора старается ее поймать. Это очень важно!

Стролисов нет. Но ведь не совсем нет! То есть их не будет потом. Но что они были — это есть. Осталось. И как партизанам помогали — осталось. И сами партизаны, которых они прятали, — теперь, наверно, опять воюют. Может, у Шяуляя — освобождают сестру этого старика. И ведь ее, Нору, тоже они оставили! Нора хочет сказать это всем, громко. Что Стролисы ее спасли, не дали убить! Что она будет такая, как они. Будто они и сами живы!

Но если спросят, кто еще ее прятал? Узнают про дедка. А потом его тоже... Нора быстро глянула туда, где его только что оставила. Стоит.

— ...Ксендз приехал...

— ...А могила вырыта?

Это для них могила. Для Винцукаса. Для Стасе...

— ...Может, родня, что так плачет?

Родня она им! Родня!

ГЛАВА III

Дедок с Алдоной и Тадасом уехали на рассвете.

Ночью Нора представляла себе, как она их просит не возвращаться домой. Объясняет, что это опасно — все ведь знают, что они ее прятали. Поэтому они должны ехать с нею в город. Дедок будет жить в ее комнате, Алдона с Тадасом — в папином кабинете. А сама она может на кухне.

Когда начало светать, дедок вышел запрягать лошадь. Нора поспешила за ним.

— Не езжайте домой. Поедем вместе, в город.

— Ничего, будешь приезжать в гости.

— Я не поэтому... — И Нора стала объяснять. Не так складно, как ночью, в воображении, но все-таки сказала про бандитов. А дедок даже не дослушал.

— Думаешь, одних убили, так уж всех.

Нора не отставала. Топталась вокруг него по сырой от росы траве.

— Что ты ходишь за мной, как телка за... — Дедок не договорил.

— Вы будете жить в моей комнате. Алдона с Тадасом...

— А эта, — перебил он, показывая на лошадь, — в ванной?

— Поедемте в город, — не унималась Нора.

— Сходи разбуди Алдону, — сказал дедок. Но, видно, самому стало неловко за свою строгость. И он добавил: — Не думай ты об этом. Выловят их.

— Но пока...

— Говорю же — не думай больше о смерти.

— Как это?

Дедок пожал плечами.

— Время научит.

Нора не поняла. А дедок был недоволен. Он всегда недоволен, когда надо много говорить.

— Жить будешь, а не прятаться. Война в прошлое уйдет, и смерть с нею. Вот и старайся не думать.

Больше он ничего не сказал. Хлопотал вокруг телеги. Ворчал, что Алдона с Тадасом не идут. И будто невзначай поглядывал на Нору. Ей казалось — он хочет что-то сказать...

Когда она прощалась с Алдоной и обе плакали, дедок отвернулся. А когда с ним... Если бы Нора не стеснялась, она обхватила бы его худую шею и поцеловала бы эту небритую щеку. Пусть бы разревелась, зато сказала бы ему много, много... Но она только стояла и слушала, как дедок объясняет, чтобы не уходила отсюда. Придет русский офицер. Он хочет, чтобы Нора ему рассказала о Стролисах.

И вот она ждет.

В дом не заходит — там чужие. То есть они, наверно, родственники Стролисов, только она их не знает.

Из дому выходит толстуха — та самая, в короткой блузе, которая вчера всем рассказывала свой сон. Под мышкой, еле обхватив — швы на спине сейчас лопнут, — несет две подушки. А в правой тащит ведро, в него напихана кухонная утварь. Торчит бок мисочки. Ручка сковороды покачивается на ходу, будто кивая Норе.

Это же Стасино!

В этой мисочке Стасе приносила ей в погреб горячий суп. Или картошку, посыпанную укропом...

Норе кажется, она только теперь что-то видит. А все утро не замечала. То есть не понимала. Ни то, зачем мужчины осматривают хлев, ни ради чего спускаются в погреб. О чем спорят...

Но дедок же не осматривал! И Алдона не ловила кур, как вот эта голосистая женщина. И рыжий усач, который нес гроб Винцукаса, ничего не взял. Уехал рано, вслед за дедком.

А эти...

Нора хочет что-то понять. Очень важное. Главное. Она силится объяснить себе.

Дедок и тот, рыжий, ничего не взяли. А эти берут. Растаскивают. Нора сама испугалась этого слова. Даже совестно стало. Может, она зря...

Но берут же. Не свое, а берут!

Раньше она знала: плохие люди — те, которые ее прогоняют. Не просят, чтобы она ушла, потому что боятся, а прогоняют. Потому что они злые, почти такие же, как гитлеровцы.

Но эти люди, здесь, ведь не злые. И вчера плакали...

Так почему берут чужое? Жила же эта толстуха без Стасиной сковороды.

А если все эти вещи останутся здесь? Одни, без людей. Покроются пылью...

И все равно больно смотреть, как из дому уносят то, что недавно было Стасино...

Наконец офицер пришел за ней и повел в соседний двор.

Там красноармейцы мыли машины. Плеснут ведро воды, и она быстро, широкими струями стекает в песок. Только внизу, по краю, остается бисерная бахрома прозрачных капелек. Но и они, немного повисев, прыгают вниз. А солдат уже тащит другое ведро, снова льет, и в мокрый песок опять стекают струи воды.

Офицер позвал ее в дом. Хозяев не было.

Может, здесь жили Буткусы, которых убили «по ошибке»?.. Может, даже в этой самой комнате... Нора быстро пересела на другой конец стола, лишь бы не спиной к двери. Она, конечно, понимала, что теперь бандиты не ворвутся. Но все-таки...

Офицер положил перед собой три листа чистой бумаги, достал ручку с вечным пером. Совсем такую, как папина. «Паркер».

— Как твоя фамилия?

— Маркельските.

Он написал букву «М» и переспросил:

— Как?

—Маркельските.

— Странно. А тот дедушка назвал мне вчера другую фамилию.

— Как это другую?

— Спрашивал, не знаю ли твоего отца, и назвал фамилию. Но как-то иначе.

— Мой папа и правда Маркельскис!

— Вот-вот.

— А я Маркельските.

Он улыбнулся.

— Мама тоже?

— Нет. Она — Маркельскене.

Он записал все три фамилии столбиком и, как на письменной по грамматике, подчеркнул — корень слова прямой линией, окончание — волнистой.

— Правильно?

— Да.

— Что у отца мужская фамилия — понятно. Но почему у вас с матерью разные?

— Потому что она жена, значит, фамилия кончается на «ене».

— Понятно. А если без этих сложностей, ты просто Маркельская. Так и запишем.

А Норе казалось, что на этом листе бумаги стоит не ее, а чужая фамилия.

— Как тебя зовут?

— Нора.

Он отложил ручку, скрестил над листом пальцы, будто приготовился к долгому и терпеливому объяснению.

— Наверно, Элеонора.

— Нет, Нора.

— Так тебя звали дома отец с матерью. Но записана-то ты иначе?

— Нет.

— Вспомни, пожалуйста. В школе, когда тебе выдавали табель, как там было написано?

— Маркельските Нора.

Он помолчал.

— Другие свои документы ты когда-нибудь видела?

— Метрики. Там тоже было — Нора.

Он вздохнул.

— Ладно. — И попросил ее совсем как взрослую: — Теперь расскажи мне о Стролисах. Только постарайся подробно, ничего не пропуская.

Она начала рассказывать. Как той ночью, устав даже бояться, поскреблась к ним. Еще не успела попросить, а дверь раскрылась, и ее впустили. Повели на чердак, дали тулуп. Еще горячего супа туда принесли. И хлеба. Да, первые три дня и ночи она лежала на чердаке. Потом Стасе сказала, что в погребе теплее. Нет, вместе с нею там никого не было. И сенник в углу лежал только один. Кто там был до нее, она не знает. И кто после нее — тоже не знает. Просто однажды Антанас сказал, что погреб им срочно нужен. А ее он отвезет в другое место. И отвез к дедку. Тому самому, который тут вчера был.

Офицер удивился.

— Он мне не говорил, что ты у него тоже была.

Конечно, не говорил...

И Нора стала рассказывать о дедке. Как он устроил ей на сеновале укрытие. Как приносил еду. Как Алдона на вилах протягивала чистую рубашку.

Офицер и это записал. Потом подал Норе руку.

— Спасибо тебе, Нора-Элеонора.

Нора встала.

— Торопишься?

— Нет...

— Тогда подожди немного. — И он поспешно вышел.

Машины во дворе стоят уже чистые. Но оттого, что сухие и не блестят, кажутся опять запыленными. Теперь солдаты сами, голые до пояса, моются.

— Поешь. — Офицер ставит на стол котелок.

— Спасибо.

— Вот ложка. А я пока... тут недалеко... — Он выходит. Наверно, чтобы она не стеснялась при нем есть.

Перловая каша. Совсем такая, какую приносил Илико. И тоже очень вкусная.

Если было бы во что переложить, Нора оставила бы половину на завтра. Ведь теперь уже до самого дома ничего не будет есть. Но переложить не во что, и она съест все. Зато после такой каши можно несколько дней потерпеть совсем без еды.

Она увидела в окно, что офицер возвращается, и не успела вылизать котелок.

— Поела?

— Да, спасибо. Можно, я пойду?

— Иди, иди. Домой ведь направляешься, верно?

Она кивает. И спешит добавить:

— Только сперва еще на кладбище.

— Подожди, — просит он тихо. — Понимаешь, время теперь сложное, война. У тебя могут попросить документы.

— Но у меня же нет!

— Да-да... Жаль, что ты не попросила у воинской части, которая тебя освободила, справку. — Он молчит. О чем-то думает. Неожиданно спрашивает: — Ты здорова?

— Да. Только раньше болела, дома... — И Нора вспомнила, как мама ей делала компрессы и поила лимонной водой. А Нора морщилась, что больно глотать.

— Расстегнись, — вдруг слышит она голос офицера. — Понимаешь, я врач, как и твой отец. А то, что я тут записал, — это для газеты. Чтобы о таких людях, как Стролисы и тот дедушка, знали все.

— Не надо! — встрепенулась Нора. — Не надо. Ведь еще бандиты...

Он вздохнул.

— О дедушке, пожалуй, писать рано. Но Стролисам уже ничто не грозит... Пусть о них знают.

— Спасибо.

— А сейчас я тебя послушаю и выдам справку, что ты здорова. Больше, к сожалению, ничем помочь не могу.

Офицер достает докторскую трубочку и начинает выслушивать легкие. Потом выстукивает. Как папа, когда она простужалась. И совсем как маленькой говорит:

— Покажи язык. Скажи «а-а-а-а»...

Оттягивает нижнее веко.

— Ладно, застегивайся.

А сам садится писать. Торопливо, будто волнуясь. Наконец подает ей сложенный пополам листок.

— Может, все-таки лучше, чем ничего.

— Спасибо.

Нора берет свое пальто.

— Минуточку... — Офицер догоняет ее. — Возьми, пригодится... — и сует ей в ладонь какую-то сложенную бумажку.

— Большое спасибо... — И Нора поспешно выходит.

Уже за деревней, почти у самого кладбища, она разжимает ладонь. Там деньги, три червонца. А что он написал в той бумаге?

«В/ч номер... августа 1944 г. Справка. Дана гражданке... которая во время оккупации жила нелегально (со слов)... что мною подверглась медицинскому осмотру... По пути следования к прежнему месту жительства... карантину не подлежит. Врач...»

Нора входит на кладбище. Здесь пусто. Одни кресты у могил. Вчера она и не видела, что их так много... А ведь под каждым бугорком — человек. Это все были люди. И ни один не хотел умереть!

А все равно пришлось...

Даже Винцукасу! И Нора вдруг почувствовала, как ему было страшно, когда ворвались бандиты. И Антанасу, и Стасе... На них наставили автоматы...

Нора ускоряет шаг. Скорее туда, к ним.

Но тут не они, а лишь большой бугор свеженасыпанной земли. И увядающие цветы. Только три бумажные лилии гордо держат свои навощенные головки на проволочных стеблях...

ГЛАВА IV

Вначале в теплушке было много свободного места. Но на каждой станции влезали новые люди. Слева сидящие теснились молча. Потом стали ворчать. Даже те, кто недавно сами были без места и просили других подвинуться.

— Не могли прицепить еще один вагон, — забрюзжала пучеглазая женщина, вынужденная взять свой узел на колени.

— Распорядились бы, — ехидно ответила другая. — Говорят, теперь таких, как вы, слушаются.

— Это моя нога! — послышалось у двери.

— Так и держите ее при себе! — ответил недовольный бас. Но рюкзак все-таки отодвинул.

Норе было странно, что люди сердятся только из-за того, что не очень удобно сидеть. Ведь можно потерпеть.

Больше никто не залезает — совсем некуда. И так уж все сидят прижатые друг к другу.

У Нориных ног дремлет сухонький старик, сидя на своем деревянном ящике. Ей смешно, что такой маленький самодельный чемодан заперт на огромный, почти амбарный замок.

Стало темнеть. Стихли разговоры. Будто в сумерках каждому хочется отделиться, думать о своем. А может, просто, как этому старику, подремать...

Норе в темноте тоже привычнее. Она закрыла глаза и слушает перестук колес. Синкопами. То на две четверти, то, словно споткнувшись, перескакивают на три. Нора подхватывает новый ритм и снова вторит.

Вдруг ее кто-то толкает. Она испуганно открывает глаза.

Неужели уснула?

Поезд стоит. Все поднимаются с мест, пробираются к двери. Куда они? Там же ночь. Ни платформы, ни вокзальных окон.

— Поезд дальше не пойдет? — спрашивает она кого-то рядом.

— Зачем дальше? Приехали.

Нора спрыгивает.

Город! Конечно он, только затемненный.

А где вокзал? Здесь же был вокзал!

Развалины...

Но шпиль костела вдали тот же. Она его узнает!

Это город! Она приехала!

— Куда ты? Нельзя.

Солдаты не пускают. Других тоже.

— Мне недалеко. Я бегом!

— Кончится война, отменят комендантский час, тогда хоть бегом, хоть пешком, — острит солдат. — Даже всю ночь ходите.

Зачем ночью ходить, если можно быть дома...

Второй солдат — строгий.

— Прошу всех следовать за мной в помещение временного вокзала!

— Можно, я вам помогу? — Нора берет у идущей рядом старушки тяжелую корзину. Старушка поспешно цепляется за ее платье.

Солдаты приводят их в пустой барак. Голые дощатые стены. Грязный пол. И ни одной скамьи. Только черное сукно затемнения на окнах и две лампочки под потолком.

— Располагайтесь! — весело предлагает первый солдат. — Спокойной ночи.

Все стоят. Будто ждут еще чего-то...

Наконец старичок смущенно присаживается на свой деревянный чемодан с амбарным замком. Другие тоже начинают устраиваться. Кто на своих вещах, кто на полу. Даже растягиваются, подложив что-нибудь под голову.

Норе подкладывать нечего. Она надевает пальто и сворачивается калачиком.

Закрывает глаза. Чтобы не видеть, где она, представить себе дом...

О доме Нора думала всю дорогу. И о маме. Может, она уже там? И папа, и бабушка... Они укладываются

спать. Мама гасит ночничок. И не знает, что Нора уже здесь.

Сколько раз она представляла себе это. Они укладываются спать. Мама гасит ночничок...

А сегодня это видение не приходит... Спальня пустая. И на кухне никого нет. И в кабинете...

Нора еще крепче зажмуривается. Она должна, обязательно должна их увидеть. Маму, папу! Они в столовой, ужинают. Мама разливает чай. Подает папе варенье.

Это было. Т о г д а. А теперь?

Нора быстро садится. С открытыми глазами лучше. Она видит, что уже здесь. Вернулась!

Наконец их выпускают в яркое солнечное утро.

Нора спешит. Обгоняет тех, с кем ехала в теплушке, лежала ночью в бараке. Она торопится домой!

Сколько развалин... А раньше это были красивые дома — с витринами магазинов, балконами...

Но, может, так только здесь, потому что рядом вокзал и метили в него? А там, дальше, не будет?..

Нора сворачивает за угол.

То же самое... Между уцелевшими домами стоят безоконные — словно каменные слепцы с пустыми глазницами. Неужели и на их улице такое?!

Нора бежит. Сейчас она увидит! Сейчас!

Останавливается. Может, это... не их улица?

Она... По левой стороне дома остались.

Аптека. И та же чаша со змеей на вывеске. Парикмахерская. Даже та самая картинка в окне — красивый напомаженный мужчина улыбается прохожим... Когда-то Нора думала, что ночью это, наверно, выглядит очень странно — на улице никого нет, а он все равно улыбается. В темноту.

И теперь он так же радостно смотрит на эти груды развалин напротив.

Даже не узнать, где стоял их дом. Одни горы битого кирпича и гнутого железа. Вдоль всей улицы, до самого поворота.

Но она найдет! Хотя бы место.

Раньше эта парикмахерская была наискосок от окна ее комнаты.

Нора поворачивается лицом к парикмахерской, отходит немного вправо. Еще. Кажется, здесь.

Конечно! Эти две трещины на тротуаре были как раз перед подъездом. Нора их прозвала реками. Потому что большая, петляющая, похожа на Немунас, а вторая, «впадающая» в нее, — на Нерис.

Они не изменились...

Нора быстро поворачивается — а вдруг и подъезд тут? Нет...

Она всматривается в эти обломки рассыпавшихся стен. Может, найдет хоть что-нибудь знакомое...

Увидела! Этот кусок — из ее комнаты. Те же синие цветочки. Только на стенах их было очень много. Однажды, когда болела, Нора пыталась сосчитать. Но все сбивалась — начинало рябить в глазах, будто цветочки прыгают туда-сюда.

Теперь их всего восемь...

И больше ничего знакомого. Обломки, железо. Наверно, под ними...

Нора силится представить, что там. Но не может. Она забыла! Совсем забыла, как выглядели их комнаты...

Она закрывает глаза. Чтобы вспомнить. Ведь все время — и в деревне, и по дороге, даже ночью, в этом вокзальном бараке — помнила. Почти видела. А теперь... И с закрытыми глазами видит только эти развалины.

Разжимает веки. Опять они... Дома нет...

«А школа?» Ей почудилось, что кто-то спросил это вслух. Но никого нет. Люди только на той, уцелевшей стороне. На этой, неживой — она одна.

И все равно Нора повернула к школе. Привычной своей дорогой. Но не мимо булочной, откуда бабушка по утрам приносила хрустящие «кайзерки». И не мимо мехового магазина с выставленными в витрине манекенами в дорогих шубах, а мимо одинаково серых развалин. Солнце отыскивает в них осколки стекла и заставляет сверкать. Наверно, чтобы здесь не было так мертво...

А люди? Где люди, которые здесь жили? Неужели под этими развалинами?

Стролисы под земляным холмом, здешние люди — под каменными буграми. А дедок говорил — не надо думать о смерти...

Каштаны! Это уже школьный переулок. А там, в конце — школа!

Но... никто туда не идет. Не обгоняет, размахивая портфелем. Она одна...

Окна школы закрыты. И дверь заперта. Может, кто-нибудь есть во дворе? Нора быстро огибает угол.

Тоже пусто. Только у стены много сломанных парт. На спортплощадке одиноко свисают с ободков баскетбольные сетки.

Никого нет.

Нора медленно поворачивает назад.

Очень странно так идти — никуда и ни за чем...

Даже теперь, когда она уже лежит, Норе кажется, что все еще ходит, Бредет с пальто в руках по городу. С одной улицы на другую. Целый долгий день.

Сперва не думала, куда идет. Просто переставляла ноги.

Одни улицы выглядели почти как раньше, другие казались совсем непохожими, будто чужими.

Внезапно Нора остановилась. Она пришла к Юдите! И дом остался таким же, как был! Знакомый, прежний. Но что-то и здесь изменилось.

Окна целы. И двери есть. Подворотня та же...

Нет вывески! Белой с черными буквами вывески Юдиного отца: «ЗУБНОЙ ВРАЧ... ПРИНИМАЕТ с... до...» Остался только светлый, будто вылинявший квадратик. И четыре дырочки от шурупов. Уже затянутые паутинкой.

Нора вошла во двор. Там, в углу, их подъезд.

Но приблизиться не решалась. Вывески ведь нет...

Она спохватилась, что стоит возле небольшой коричневой двери с табличкой: «ДВОРНИК». Дядя Ян!

Быстро нажала на звонок.

Дядя Ян ее не узнал. Буркнул: «Подожди!» — и захлопнул дверь. Потом дверь немного приоткрылась, и тетя Янова — та самая, совсем прежняя — высунула ломоть хлеба.

Ее приняли за нищенку!

А дверь снова закрыта. Нора нажимает на звонок.

Не открывают.

Но она же ничего не просит! Хочет только узнать про Юдиту.

Еще звонит. Как Юдите, три раза — до, ре, ми.

— Чего трезвонишь? Нет больше ничего.

— Я не поэтому... — Нора боится, что дверь опять закроется. — Я подруга Юдиты, Нора Маркельските.

— Господи! — Тетя Янова отпускает дверь, чтобы перекреститься, и та медленно уплывает к стене, раскрываясь.

Нора входит.

Наверно, надо вернуть хлеб. Но рука с ломтем опущена и никак не поднимается. А дядя Ян — такой же, только усы теперь совсем седые — смотрит удивленно.

— Юдита дома? — Нора сама еле слышит свой голос.

Они переглядываются. И ей хочется повернуться, выбежать, только не слышать ответа!

— Нет Юдиты. Забрали.

Забрали...

— Да ты садись! — всполошилась тетя Янова, будто главное теперь — чтобы Нора села.

Она послушно опускается в плетеное кресло. Оно знакомо скрипнуло. Рядом еще одно такое кресло. И круглый плетеный столик. А это чернильное пятно Нора уже видела... Конечно. Они с Юдитой опрокинули чернильницу. Испугались и сверху накидали газет. Пятно расползлось и стало похожим на ежа.

Этот столик и кресла раньше стояли в приемной Юдитиного отца...

— Не думай, что мы сами... — Дядя Ян, видно, понял, что она узнала. — Пан доктор отдал. Еще когда дома был.

— Нам чужого, боже упаси, не надо! — спешит подтвердить и жена. — Наш Яцек на фронте. Согрешим, не дай бог, с ним что случится. И не только поэтому. Мы вообще чужого...

Норе неловко, что они перед нею оправдываются.

— А нашего дома совсем нет...

— Да, много хороших домов погубили, — сетует дядя Ян. — Еще могли бы стоять и стоять...

— Что дома, — вздыхает тетя Янова, — людей сколько... ни за что ни про что... — И она сочувственно смотрит на Нору. — А твои где?

— Папа на фронте. А маму с бабушкой немцы забрали.

Тетя Янова опять вздыхает.

— Хорошие были женщины. И другие тоже... Люди как люди. Только немец разве смотрел? Бывало, увижу, как гонят, да с малыми ребятишками... И так мне их жалко, так жалко... — Тыльной стороной ладони она проводит по глазам.

— Хорошо, что хоть ты осталась, — говорит дядя Ян.

— Хорошо... — соглашается Нора.

Стало совсем тихо. И Нора поднялась. Опять знакомо скрипнуло кресло.

— До свиданья.

— С богом.

Она вздрогнула от звука захлопнувшейся за спиной двери. Но сразу вспомнила, что теперь это не страшно...

А хлеб так и не вернула...

Нора зашла в соседнюю подворотню и стала есть. Только теперь почувствовала, как проголодалась. И вспомнила про деньги — от тех трех червонцев, которые дал офицер, остался один. А там, за углом, рынок.

Нора заспешила туда.

Рынок она узнала сразу. Такой же, как раньше. Только много пустых прилавков. Зато на тех, где торгуют...

Пирамиды бело-красных редисок. Маленькие штабеля зеленого лука. Островки яичек, по десять. Только хлеб почему-то несмело, будто тайком, выглядывает из-под тряпичных прикрытий. Зато сало, настоящее толстое сало, лежит распеленатым.

Норе очень хотелось купить яичек. И Стасе, и Алдона собирали их для продажи. Но на яички ей не хватит денег. И хлеба никто на червонец не давал.

Неожиданно она заметила, что женщина с мальчиком на руках покупает три яичка. Раскручивает — не сырые ли? Значит, можно купить и одно?

Нора подала свой червонец, и худая рука протянула ей яйцо. А деньги спрятала за пазуху.

Она отошла к забору и принялась нетерпеливо чистить яйцо. Хотела есть медленно, долго. Но оно такое маленькое...

И снова побрела домой.

Ничего не изменилось. Те же руины вдоль улицы. Только теперь более знакомые.

Нора повернула обратно.

Шла медленно, опустив голову, и только видела, как

чередуются носки ботинок — то появляется левый, стертый почти добела, то правый, с черной заплатой. Стертый — с заплатой — опять стертый... Будто они сами, отдельно от нее, меняются местами — то один опережает, то другой выступает вперед.

Зарябило в глазах. Нора стала смотреть чуть дальше — на ноги прохожих. У всех обувь, даже босоножки, на деревянных подошвах.

Вдруг она вздрогнула: мама! Побежала. Но сразу поняла: не мама. Просто платье у той женщины такое же.

Все равно шла за ней. Смотрела, как шевелятся на ходу знакомые бело-синие полоски.

Женщина вошла в подъезд, и Нора снова осталась одна. Но не уходила — может, женщина сейчас выйдет, и на улице снова будет мамино платье.

Мама сшила его, когда они собирались в Бирштонас на дачу. Нора ходила с нею на примерки. Она всегда ходила с мамой к портнихе. Там много лоскутков — красивых, разноцветных. Норе хотелось их собрать, сшить, чтобы получился большой ковер — пестрый и «непонятный».

Женщина не выходила. Наверно, осталась дома. Платье повесила в шкаф, и висит оно там в темноте, среди других, чужих.

Да если бы и вышла? Ведь только платье у нее такое, как у мамы...

Нора опять пошла. По улице вверх. Там, на горке — театр. Есть ли хоть он?

Она ускорила шаг.

Цел! И балкон над входом тот же. И колонны. Только рекламные витрины пусты, стекла выбиты. Но это ничего. Ничего...

А там, за театром, должен быть костел. Небольшой и очень красивый, из светлого кирпича.

Нора опять заспешила.

Стоит. Только белокирпичные стены забрызганы грязью.

Подошла поближе. Не забрызганы они. И не грязь это. Выбоины. Множество мелких выбоинок. От пуль, от осколков.

Сюда они тоже летели. Со злым свистом — в эти светлые кирпичики. Быстро выклюнув такую оспину, отскакивали. Но летели новые, другие. Кругом грохотало.

Нору охватил прежний ужас — маленькая свинцовая пуля летит ей в затылок! Она резко обернулась. Никто в нее не целится. Даже не стоит сзади. Здесь улица. Идут обычные люди. Нет ни одного в гитлеровской форме

И все равно она заспешила прочь.

Только начав задыхаться, замедлила шаг.

Проходил страх. Чтобы совсем избавиться от него, Нора стала смотреть на дома. Хотелось с ними здороваться, сказать им, что вернулась!

В памяти что-то мелькнуло. Какое-то воспоминание. Но она не успела ухватиться, оно исчезло, почти не возникнув.

Нора силилась вернуть это мгновение. Напряженно всматривалась в улицу, в каждый дом. Что они должны напомнить?

...Она однажды уже проходила так мимо них... Тоже медленно. Только, кажется, не одна. С классом? Нет, их было много.

Шла вся школа! Несли саженцы лип. Это было в праздник посадки деревьев. И посадили их там, на той аллее — Нора от волнения забыла ее название, — которая вьется по склону горы вниз.

Повернула туда.

Как они выросли! Стоят вдоль всей аллеи, будто шеренга заколдованных стражников в огромных зеленых папахах. Охраняют подступы к горе. Но это, конечно, не стражники. Деревья. Те самые деревья, которые посадила ее школа.

Какие они тогда, саженцы, были тонкие! Юдита все боялась покалечить корни. Она держала, а Нора окапывала. Потом поставили палку для опоры.

Теперь этих подпорок, конечно, нет. И не нужны они — стволы толстые, крепкие.

Дерево осталось, стоит. А Юдиты нет...

Какое из этих посадили они? Кажется, где-то недалеко от края.

Нора обошла каждое, осмотрела. Все они одинаковые. Жаль, что тогда не догадалась сделать знак. Только, помнится, веревка, которой привязывали подпорку, была очень лохматой. Нора глянула на землю — может, валяется?

А ведь это дерево тоже видит ее. И тоже не узнает...

Пусть растет!

Вдруг Нора вспомнила — это же сказала Юдита. Когда они окопали и полили дерево.

Потом они ушли. Не домой еще. Всем классом полезли на гору — смотреть, строится ли дом пионеров. Что творилось! Мальчишки заявили, что они смельчаки из рассказа Билюнаса «Огонь счастья» и лезут на заколдованную гору за волшебным огнем, который должен принести людям счастье. Кругом выли «злые духи», смельчаки падали, «превращаясь в камни». Но, совсем не как в сказке, сразу вскакивали и лезли дальше, разом изображая и злых духов и смельчаков. Даже учитель не мог их утихомирить.

А когда поднялись на гору, сами перестали дурачиться. Уже вырыт котлован! Большой, квадратный. Значит, и дворец будет такой большой. Гадали, сколько построят этажей, какие там будут комнаты.

И Норе захотелось опять увидеть этот котлован. Она стала подниматься. Как тогда, прямо по склону. Но теперь одна. И было очень тихо.

На горе — ничего. А вместо котлована — обычная яма. Неглубокая, заросшая. Можжевельник тут выглядит уже старожилом. Даже щавель растет. Только мелкий, не такой, как на лесных полянах.

Все равно Нора спрыгнула вниз и стала его рвать. Жевала быстро, по целой горсти сразу. Не успев проглотить, уже пихала в рот еще — только бы он не был пустым. Только бы есть!

Заныли скулы. От кислоты начало сводить язык. Даже слюна стала нестерпимо кислой. И все равно Нора не могла оторваться.

Она понимала, что надо уходить, — этим щавелем не насытиться. Но руки сами продолжали отщипывать листья и подносить их ко рту.

Неожиданно она резко выпрямилась, выбралась из ямы и стала быстро, не оглядываясь, спускаться.

Опять пошла. Прямо, к реке.

Моста нет. Только огромные искореженные железины торчат из воды. А она бурлит, недовольная тем, что ей мешают течь. Кажется, даже силится их сдвинуть, снести. Но они стоят. Будто терпеливо ждут, что люди их выпрямят и снова превратят в прежний красавец мост. И опять поедут по нему машины, заспешат пешеходы. А вода внизу потечет спокойно, послушно...

Нора побрела по набережной. К дому, где жила учительница музыки, Статкувене.

От этого дома осталась только одна стена. И свисающие с балки четыре ступеньки. В никуда...

А учительница?

Нора смотрела на окна соседних домов. Будто надеялась, что учительница где-то тут, рядом. Сейчас выглянет, позовет.

Но никто не звал.

Она поплелась дальше. К переулку, по которому всегда возвращалась от учительницы домой. Он был такой узкий, что хозяйки переговаривались друг с другом, не выходя из дому. Норе бывало очень смешно слушать, как одна жалуется, что рыба пригорела, а четыре-пять голосов из разных окон дают советы, что с ней делать.

Теперь здесь было безжизненно-тихо, одни руины. Даже мостовую завалило. Только узкая извилистая тропинка виднелась между камнями. Но ноги больше не шли...

Она опустилась на обломок стены.

Кирпичная глыба напротив казалась похожей на медведя. Железо рядом с ней было изогнуто, будто приподнявшаяся змея. Настоящая бы давно уползла. А эта торчала не двигаясь.

Нора заставила себя подняться. Побрела на вокзал.

Еще издали она заметила, что там много людей. Уезжают?!

Почему? Она подбежала, вмешалась в толпу. Хотела услышать, о чем говорят, почему уезжают. Но говорили совсем о другом.

Она спросит! Нора стала протискиваться к краснощекой деревенской тетке, восседавшей на своих узлах, словно вышитая «баба» на чайнике. Но та подозрительно покосилась и, проворно схватив стоявшую у ног корзину, быстро водворила ее к себе на колени.

Нора прошла мимо. Не станет у нее спрашивать. И у других не будет. Сама поймет.

Эти люди ждут поезда. Они уезжают. Каждый — куда ему нужно. Ведь раньше, до войны, тоже уезжали.

Или, может, они тут не живут?

Конечно. Потому и уезжают. Нечего пугаться.

Она уже собиралась уходить, но остановилась, пора-

женная: а сама она где живет? Ведь дома нет... Ей же негде жить.

И мамы нет, и бабушки. И папы... Она совсем одна!

Нет, нет! Только не надо представлять себе этого! Она п о к а одна. Пока. А потом...

Она уже давно научилась этому. Как только становится особенно страшно, надо сразу подумать, что так только сейчас, пока. Чтобы казалось — это теперешнее плохое пройдет, надо только потерпеть. Потом будет иначе, лучше. А главное — нельзя признаваться, что и правда очень плохо. Что невыносимо плохо. Потому что когда плачешь...

Нет, она не будет думать об этом. Просто ей сегодня негде ночевать. Но теперь это совсем не страшно — никто ее не схватит, не погонит.

Но оставаться на улице ведь нельзя — комендантский час. А сараев и хлевов в городе нет.

Зато есть чердаки! В каждом доме. В их доме тоже был. Там белье сушили. В углу стояли ее саночки и старые кресла из папиного кабинета. Если их сдвинуть — можно на них лежать.

Нора спохватилась, что снова идет к дому.

А его ведь нет. И чердака тоже...

Она повернула назад. Шла и убеждала себя, что надо найти чердак. Но сразу решиться не могла...

Нора уже знает: если она чего-нибудь не может сделать, то должна себе строго сказать, что надо. Обязательно надо. Никто другой за нее этого не сделает. Сперва кажется, что она все равно не сможет. Но потом привыкает к этому «надо», уже почти перестает себя уговаривать, и тогда...

Нора завернула в подъезд. Стала подниматься по лестнице — неслышно, осторожно. Прошла один этаж. Второй. Уже была на самом верху, остались последние, предчердачные ступеньки. Но неожиданно за спиной открылась дверь.

— Вам кого? — спросил женский голос. — Выше никто не живет.

— Простите... — Нора побежала вниз. Мимо удивленной женщины, мимо закрытых дверей других квартир. Только когда снова вышла на улицу, там, наверху, хлопнула дверь.

Опять побрела. Но в подъезды не входила. Одни стоя-

ли плотно сомкнувшись, а вычурная резьба на дверях словно подчеркивала их неприступность. Другие, хотя и обыкновенные, и даже настежь открытые, зиянием черной пустоты тоже будто прогоняли — проходи, ты чужая! И только обшарпанным подворотням, казалось, было все равно — войдет в них кто-нибудь, не войдет...

И Нора вошла. Отыскала лестницу черного хода. Тихо поднялась. Но чердак был заперт. Она спустилась вниз.

Зашла в соседний двор. И там на чердачной двери висел замок. Большой, черный.

Завернула еще в один двор. Потом еще... Поднималась, дергала дверь и спускалась. Поднималась, спускалась...

Много лестниц исходила — темных, крутых, винтовых, с поломанными перилами и с отколотыми ступеньками. Но чердаки везде были заперты...

Уже совсем усталая, она мимо какой-то подворотни прошла не сворачивая. Вторую тоже миновала. И третью... Просто брела по улице.

Больше не высматривала, что уцелело. Не радовалась узнаванию. Ей даже казалось, что она здесь чужая, приезжая. По улицам ходить может, но зайти некуда.

А ночью?

Чтобы ее впустили, она опять должна постучаться в чужую дверь...

Но облав же больше нет. Просить только ночлега? Его она должна найти сама.

Ведь искала. Везде заперто.

Все равно Нора не могла себе представить, как она опять стучится и просит, чтобы впустили...

Но т о г д а ведь просила.

То было тогда. А теперь... Теперь она не может постучаться к незнакомым людям. А знакомых нет.

«Дядя Ян!» — вспомнила она Юдитиного дворника.

Зашагала быстрее. Не смотрела на подъезды, не думала о чердаках. Даже не волновалась, что на улице мало прохожих и, наверно, скоро комендантский час.

Дядя Ян очень удивился. Но пригласил войти. Тетя Янова опять предложила сесть. Только они явно ждали, чтобы Нора объяснила, зачем пришла.

Она объяснила. То есть спросила, можно ли ей остаться у них на ночь. Хоть в кухне, на полу.

Они молчали. Нора уже хотела встать и уйти. Но дядя Ян неожиданно сказал:

— Зачем на кухню... — Он посмотрел на жену. — Может, впустить к студенту?

— А чего ж нет? — с готовностью согласилась она. — Пусть живет.

— Пойди отведи.

Тетя Янова повела ее через двор.

— Я только на одну ночь, — повторила Нора.

— По мне хоть на десять. Комнатка хорошая, солнечная. А что небольшая — так убирать меньше. Студент был очень доволен. — И объяснила: — Это мы его по привычке все студентом называли. А он уже учителем был.

— Когда он вернется, я уйду, — пообещала Нора.

— Не вернется, — вздохнула тетя Янова. — Оттуда не возвращаются.

— Его тоже? ..

— Гестапо. Говорят, партизанам помогал.

Тетя Янова дышала тяжело — они поднимались по лестнице.

— А обыск какой был! И вывезли все до ниточки. Бумаги, книги. Даже на кальсоны, прости господи, польстились. — Она устало перевела дух. — Но дверь все равно опечатали.

И правда, между двумя сургучными нашлепками протянута веревочка. Тетя Янова ее сорвала и толкнула дверь. Даже не заперта...

Вошли в маленькую мансардную комнатку со скошенным потолком и крохотным, будто в домике гномов, оконцем. Тетя Янова распахнула его, и в застойную затхлость стали вплывать волны теплого уличного воздуха.

— Вот и живи.

— Спасибо! Большое вам спасибо!

— Чего уж...

Тетя Янова вышла. Стих на лестнице стук ее деревянных подошв. А Нора все еще стояла у порога.

Плюш кушетки исполосован ножом. Разворочена набивка, торчат пружины. Ящики комода выдвинуты. А этажерка стоит совсем пустая, будто нагишом. Только стол накрыт старой коричневой скатертью. С бахромой. Видно, забыли. Но она выглядит странно одинокой в этой голой пустоте...

Нора закрыла дверь. Осторожно ступая, подошла

к комоду. Стала бесшумно задвигать его пустые ящики. Только в последнем, нижнем лежал рукав мужской рубашки с накрахмаленным, но потертым манжетом. И очки. Металлическая оправа с одним стеклом. Второй ободок пустой... В углы ящика набились табачные крошки.

Нора задвинула и его. Поднимаясь, чуть не стукнулась головой о скат потолка — он тут был почти над самым комодом. Зато увидела три гвоздя. На один повесила свое пальто. Теперь комнатка стала казаться почти своей.

Над кушеткой в обои воткнута иголка с белой ниткой. Можно будет зашить кушетку. Но потом, завтра. Теперь — лечь. Только лечь!

Еще больше заныли усталые ноги. Будто в них заработало множество крохотных бормашинок. И все они сверлят, буравят.

Она закрыла глаза.

Лежит... И может так лежать долго. Всю ночь.

Нора понимает, что она здесь, на кушетке. А кажется, будто все еще ходит. Бредет с пальто в руках по городу. С одной улицы на другую...

ГЛАВА V

— Хватит тебе, сам кончу. — Дядя Ян забрал у Норы метлу. Он вообще недоволен, что жена позволяет ей подметать двор. Но иначе Норе было бы неловко к ним заходить — будто только для того, чтобы ей налили тарелку супа.

Она подошла к тете Яновой и тихо, чтобы дядя Ян не услышал, спросила:

— Когда пойдем мыть окна?

— Позже.

— Можно, я пока поднимусь наверх? Только вы меня обязательно позовите, хорошо?

— Ладно, позову.

Норе не терпится продолжить письмо. Дедок, конечно, будет ухмыляться — не письмо, а целый дневник. Но пока нет марки, а рассказать им хочется все. Она и описывает каждый день.

Открыв дверь, Нора не сразу поняла, что́ тут изменилось. Темнее стало, или... Скатерти нет!

Стол совсем голый. И в пятнах. Видно, ставили горячее. Фанера по краям совсем облуплена.

А пальто? Нора испуганно глянула в угол. Висит, повернувшись серым блином заплаты.

Ящики комода задвинуты. Плюш кушетки тоже не вспорот — белые стежки на старых порезах целы.

А письмо?

Нора подбегает к комоду, выдвигает верхний ящик. Лежит.

А стол голый. Скатерти нет...

Значит, здесь кто-то был! В этой комнате. Был...

Вошел. Осмотрелся. Поспешно стянул со стола скатерть. Может, сунул ее под мышку. И выбежал.

Почему ей не приходило в голову, что сюда могут войти? Ведь днем ее нет. А дверь не заперта. Только на ночь вместо крючка она привязывает к скобам шнурок от ботинка. А у всех людей двери заперты. Даже чердачные.

Ей тоже нужен ключ... Может, дядя Ян даст? Ведь когда не заперто, могут подумать, будто здесь никто не живет.

А она здесь ж и в е т!

Норе очень нравится это повторять — живет! Не прячется у чужих, а живет, у себя. Немножечко странно, даже почти смешно от этого непривычного «у себя».

Она смотрит на голый стол, пустую этажерку. И очень хочется, чтобы здесь все выглядело как в настоящей комнате.

Надо положить салфетки!

Нора быстро достает из комода свою бухгалтерскую книгу. На днях нашла ее, почти новую, у мусорного ящика. Вырывает два листка и кладет их на комод. Он сразу стал другим, почти нарядным. Нора вырывает еще четыре — по одному на каждую полку этажерки. Они тоже забелели. В комнатке даже стало светлее. Были бы ножницы, Нора вырезала бы узоры. И на стол положила бы такую салфетку. Но больше вырывать нельзя — не останется для писем. Зато из этих твердых обложек можно сделать бювар и закрыть самые большие пятна.

Нора вырывает еще одну страницу и садится писать письмо.

В верхнем углу листка перечеркивает слово «дебет» и под ним красиво выводит:

«Дорогая Алдона!»

А глаза уставились в эти пятна на столе. Когда лежала скатерть, Нора и не знала, что их тут так много.

Господи, почему она столько думает об этой скатерти! Ведь это только кусок материи, и даже не ее, а того человека, который тут жил раньше. И своих вещей тоже нет. Ни платьев, ни нот. И пианино нет...

«Дорогая Алдона!»

Нора смотрит на маленькую шеренгу букв на чистом разграфленном листе из бухгалтерской книги.

Достает другие исписанные листки и принимается перечитывать — уже в который раз — то, что писала вчера, позавчера...

И кажется, будто снова едет в теплушке... Бродит по городу... Ложится на эту изрезанную кушетку...

Наутро идет, как велел дядя Ян, в милицию просить паспорт.

«Тогда он меня здесь пропишет, и я смогу пойти работать. А тем, кто работает, дают хлебную карточку».

Зря только написала, что паспорт ей дадут не совсем настоящий, а временный, на три месяца. Он так и называется: «Временное удостоверение». Потому что у нее нет никаких документов.

Чтобы дедок с Алдоной не расстроились, Нора дописывает: «Но на работу берут и с таким удостоверением. Хлебную карточку тоже выдают. А три месяца — это же долго. Дядя Ян говорит, что за три месяца, может, и война уже кончится. Его сын Яцек, который на фронте, пишет, что они фашистов сильно бьют».

Нора еще раз перечитывает последние слова — что фашистов бьют — и начинает сегодняшнее письмо.

«Вчера я повесила объявление, что ищу маму, папу и бабушку. Тут есть такое место» — она перечеркивает последнее слово и пишет: «помещение бывшего магазина, где прямо на стене каждый может повесить объявление, кого он ищет. Там уже очень много таких объявлений. И я повесила свое. А сегодня вечером пойду посмотреть, может...» Нора закрывает глаза. Представляет себе, что на ее листке — тоже из этой бухгалтерской книги, — под строчками с маминой, папиной и бабушкиной фамилиями, написано...

— Нора!

Это тетя Янова зовет мыть окна.

— Иду!

Нора вскакивает и поспешно сует странички в ящик комода, задвигает его. Края «салфеток» от дуновения чуть приподнимаются и сразу опять припадают к потрескавшейся фанере.

Нора сбегает вниз.

«Фройляйн». Пленный немец ее так назвал, и теперь это слово не отстает. Будто идет вместе, даже в ногу. Тоже спешит туда, где висит ее объявление.

Фройляйн... Фройляйн.

Сперва Нора даже не поняла, что это ее окликают. Усердно терла стекло, чтобы оно стало таким чистым и прозрачным, будто его вовсе нет. А вниз, где пленные немцы почти у ее ног разбирали развалины, старалась не смотреть. Она их не боялась — рядом красноармейцы. И такие — без оружия, в блеклых гимнастерках и расстегнутых мундирах — немцы совсем не страшны. Она просто не хотела смотреть на них.

Но это назойливое «фройляйн» заставило взглянуть. Внизу стоял немец и в вытянутых руках держал пилотку, полную самодельных алюминиевых расчесок.

— Табак, хлеб, — заискивающе улыбался он.

— Аллишно, — хвалил второй, видно компаньон. Растопыренными пальцами он показывал Норе, как эти расчески хорошо причесывают.

Нора мотнула головой и опять принялась тереть стекла. Но пленный не отставал. Говорил, что скоро ее волосы будут такие вот длинные, поэтому расческа обязательно нужна. Непричесанных кавалеры не любят.

Кругом засмеялись. Но он снова стал серьезным и сказал просящим голосом:

— Мошшет, вирд эйне другая фрау купить? За табак, хлеб.

Нора слезла с подоконника и пошла на кухню. Там хозяйка гадала тете Яновой на картах.

— Немец пленный расчески за табак предлагает.

— Пускай ими чертям хвосты расчесывает, — буркнула тетя Янова и сразу перекрестилась: — Прости, господи!

— Чего мужик не сделает за лишнюю самокрутку, — не то с осуждением, не то с удивлением сказала хозяйка.

Не вставая, она заглянула в кастрюлю. Так же сидя достала мисочку, вспугнув рой дремавших на плите мух, и налила два полных черпака густого, пахнущего шкварками картофельного супа.

— Снеси. А расчески пусть оставит себе.

— Не голодные они... — снова сказала тетя Янова. — Кормят их.

— Люди все ж таки... Хоть и нелюди...

Нора еще не успела понять, что это ее посылают нести немцу суп, как тетя Янова выхватила мисочку.

— Нечего тебе, сама снесу.

Нора вернулась мыть окна. Видела, как тетя Янова выходит из подворотни. Мисочка полная, и весь ноготь большого пальца окунут в суп. К ней спешит, перепрыгивая с выступа на выступ, продавец расчесок. На ходу протягивает свой товар. Тетя Янова машет рукой — не надо ей этого, суп так, задаром.

А он даже не подзывает своего компаньона, который помогал хвалить товар. Садится в сторонке на обломок стены, достает завернутую в тряпочку ложку и принимается есть.

— Приятного аппетита, — раздаются кругом голоса.

Норе кажется — они подшучивают, чтобы скрыть зависть. Только один бритоголовый и длинный, как жираф, пленный бросает полные ненависти и презрения взгляды. Злится, что тот унизил высшую расу простой тарелкой супа?

Другие даже голов не поднимают. Не им дали, нечего глазеть. Работают. Кирками дробят большие глыбы, таскают носилки.

Тогда своими бомбами превратили дома в руины. Теперь эти руины убирают. Старательно, спокойно. Будто не они этому виной... И улыбаются. Тете Яновой за тарелку супа, ей — чтобы купила расческу.

А если бы они тогда нашли ее? У дедка, Стролисов. Или у Петронеле?

Вытолкнули бы с криком и пинками. Погнали бы к лесу... И заставили бы себе вырыть могилу.

Они?! Эти самые, которые здесь — в блеклых гимнастерках без ремней?

Нора даже зажмурилась, чтобы представить себе их прежними. В высоких фуражках. С автоматами, пистолетами. Они ходят по квартире, кричат на маму. Торопят бабушку — если она сразу не выйдет, пристрелят на месте. Бабушка так и ушла неодетая — у кровати остались ее чулки, кофта.

Нора быстро открыла глаза. Пленные немцы убирают развалины.

А который тогда выгонял бабушку? Как теперь узнать? Как отличить?

Нора стала торопливо протирать два последних стекла. Чтобы скорее кончить, уйти отсюда. Не слышать их голосов. А главное — побежать туда, где висит ее объявление. Может, его уже прочли...

Нора кончила мыть.

На кухне хозяйка, только уже одна, все раскладывала карты. Гадала сама себе. Велела Норе сполоснуть мисочку, ту самую, из которой ел немец. Так же не вставая и опять вспугнув рой мух, налила два полных черпака супа.

Всем одинаково. Что ей, что пленному...

— А это за работу. — Она придвинула Норе полбуханки хлеба. Сверху маленьким квадратиком розовел кусочек сала. Добавила еще и луковицу.

— Спасибо.

— Заверни. — Хозяйка протянула Норе белую тряпку. — Бумагой не богата. Газет не читаю, а в магазинах теперь не заворачивают.

— Я вам завтра верну.

— Не велико добро, можешь выбросить.

Она не выбросит. Обметает, и получится маленькое полотенце.

— Большое спасибо!

Нора не стала это заносить домой. Сразу заспешила туда, где на стенах, словно большие одноцветные бабочки, — бумажки. Ее листок тоже там. С тремя фамилиями.

Вдруг Нора замедляет шаг. Может, не стоит туда идти? Ее объявления еще не прочитали...

Но тот дом будто сам приближается. Уже совсем близко... А там, за дверью...

Нора входит.

Сегодня здесь как-то темнее. Может, потому, что очень много людей. К стенам не подступиться. Одни

читают объявления, другие прикалывают новые, свои. Но самая толчея в середине. Все двигаются, переходят с места на место, будто переплетаются между собой. И расспрашивают. Друг друга. Нескольких сразу. С беспокойством, упованием, мольбою. Но в ответ только сожалеющее качание головой. И такой же вопрос. Тоже безответный... А все равно не уходят, спрашивают. Других, тех же самых. Ничего, что во второй раз. Лишь бы не пропустить кого-нибудь, опросить каждого — всех. С упорством, с неистовой надеждой. Как будто им кажется невероятным, чтобы именно здесь, где сразу так много людей, не нашлось хоть одного, хоть кого-нибудь, кто знает о его близком.

Нора проталкивается в левый угол, куда вчера повесила свое объявление. Ее тоже спрашивают. Дергают за руку, заглядывают в лицо. Называют имена, фамилии, возрасты, адреса, приметы. А она только мотает головой. Нет, не знает. Сама ищет.

Еще издали она замечает, что под ее тремя строками ничего... Белеет бумага...

Никто из этих людей не знает. Ни о маме, ни о папе...

А может, не прочли ее объявления?

Она тоже будет спрашивать! Каждого, всех.

Но она стоит. Так сразу заговорить с незнакомыми людьми она не может. Даже вздохнула — почему всегда надо делать то, чего не можешь?.. Но одернула себя. Она будет спрашивать! Будет!

Только, может, не всех? Тех, кто проходит, не читая ее объявление?

Нора встает у стены. Люди подходят, взглядом скользят по ее листку, по другим — верхнему, нижнему — и переходят к соседним. Тут приостанавливаются другие, тоже пробегают глазами и тоже отодвигаются дальше.

Нора не видит, какие они. Не следит, откуда подходят, куда уходят. Она смотрит только на их глаза — как прочитывают ее строчки. Может, затеплятся...

Так много глаз, и ни одни не останавливаются. Неужели никто даже фамилию не узнает? Ведь у папы с мамой было столько знакомых.

Вдруг Нора замечает, как худая старушечья рука с красной шерстяной ниткой на запястье (это от хворей — мелькнуло в голове) потянулась к ее объявлению.

Снимает его. Приближает к своим близоруким глазам в пенсне. Будто изучает почерк. Кто она? Раньше такие были только на портретах. Волосы седые, а все равно в букольках. С пенсне свисает серебряная цепочка. Худую шею облегают ряды кружевных рюшечек.

Листок в ее руке задрожал. Она знает?! Нора уже порывается спросить, но старушка прикалывает объявление на место. Той же Норкиной иглой...

Приближается военный. Тоже майор, как папа. Может, он знает?

Проходит...

— Кто ищет доктора Маркельскиса?

Нора вздрагивает, услышав свою фамилию. Ее, кажется, произнесла та самая седая старушка в пенсне!

— Я...

Старушка не расслышала — стало еще шумнее: все повторяют фамилию. У окна, в том углу, совсем рядом, у двери. Будто ищут сразу много Маркельскисов. Нора даже боится, что сейчас кто-нибудь опередит ее, скажет, что это он ищет. И она повторяет громче:

— Я!

Даже сама не почувствовала, что дернула старушку за руку.

Та оборачивается.

— Извините..., — Нора застыдилась, что держит ее. — Это я ищу доктора Маркельскиса. Он мой папа.

Старушка так удивляется, что морщинки словно перепрыгивают на лоб и ложатся там пятью нотными линиями.

— Это я ищу доктора Маркельскиса, — повторяет Нора. — Он мой папа.

Старушка, кажется, хочет перекреститься. Но не решается. Или не может поднять руку.

— Вы знаете моего папу?

Старушка наклоняет голову, и Норе на миг мерещится, что это ее бабушка. Такой же пробор в седых волосах, и такая же по-детски розовая кожа под ними.

— Боюсь, что мы с вами ошиблись, милая девушка. — Старушка опять поднимает на нее свое пенсне. И пытается улыбнуться. Будто извиняясь за надежду.

— Почему? — Нора испугалась, что она сейчас уйдет. — Вы же читали мое объявление. Это я его повесила!

— Верю вам, верю. Но... видите ли... видите ли... — повторяет она. И опять молчит. А Нора так хочет, чтобы она говорила. Если бы не стеснялась, даже попросила бы. Старушка, наверно, почувствовала это. Вздохнула. — К сожалению, у того человека, с которым я знакома... дочь... Нору... немцы...

— Это я Нора! Я! — прерывает она. — Меня прятали. В деревне. Теперь я вернулась, ищу папу! — Нора захлебывается от волнения. Не знает, что еще сказать, чтобы ей поверили. — Я маму тоже ищу! И бабушку!

Худенькая рука наконец поднимается ко лбу. Дрожа, опускается. Приподнимается к левому плечу, к правому... Но глаза за пенсне смотрят на Нору все так же испуганно.

— Меня прятали. — Нора не знает, как ее убедить. — Я живая!

Наконец старушка растерянно улыбнулась Только в глазах заблестели маленькие капельки.

— Где он? — не выдерживает Нора.

— Здесь... Недалеко.

— Можно, я пойду к нему?

— Конечно, можно... — Губы старушки это шепчут, но думает она о чем-то своем. — Мы вместе пойдем...

— Спасибо!

Теперь уже проталкиваться не надо. Люди сами расступаются, дают дорогу. Кто-то вздыхает: «Счастливая женщина, нашла свою дочь!» — «Видно, не ее это дочь, даже не расцеловались». — «Какая разница — расцеловались, не расцеловались, — важно, что нашлась».

Это о ней. Это она «нашлась».

Норе не терпится. Она бы шла быстрее, даже побежала бы. Но старается не опережать свою спутницу, чтобы та не задыхалась.

— Я сюда хожу часто. — Среди уличного шума старушкин голос кажется совсем тихим. — Нет, сама никого не жду, — отвечает она, хотя Нора ничего не спросила. — Сына убили на фронте. Еще в тридцать девятом, у Гданьска. Муж умер. Сестра с семьей в Польше...

Норе жаль ее. Даже неловко, что у самой так гулко бьется сердце и так не терпится скорее к папе.

— Мне уже встречать некого... — повторяет старушка. — Но сюда хожу. Может, кому-нибудь смогу помочь. И радуюсь, что хоть другие находят своих. Чужая ра-

дость — все равно радость... Сколько было горя, сколько слез. Нельзя больше...

Дедок тоже так говорил...

— Человеку нужны улыбки. А в старости особенно.

Нора кивает. Конечно! Но сама бы не сумела так сказать. Может быть, сыграла бы...

— Вы не виделись с отцом три года. Оба изменились... Но это неважно, — прерывает она себя. — Главное, что оба живы.

— Конечно!

Норе кажется, что и кругом все радуется. В окнах сверкают отблески солнца. Будто нарочно, чтобы слепить ее, заставить жмуриться, улыбаться. Она идет к папе!

«К па-пе!» — просигналила машина.

Как хорошо, что дядя Ян ей сказал про эти объявления! И что туда пришла эта добрая старушка. Теперь она ведет ее к папе! Нора крепче прижимает к себе завернутый к тряпочку хлеб с салом.

— Вам нельзя сразу показаться отцу. — Старушка тоже волнуется. Даже голос дрожит. — Он ведь не знает, что вы... живы...

— Подумает — я привидение? — спрашивает Нора.

— Теперь в привидения не верят, — то ли с сожалением, то ли с одобрением говорит старушка. — Но подготовить его к такой встрече надо. Сперва я зайду сама, потом позову вас.

— Хорошо... — Хотя ждать Норе совсем не хочется.

Старушка молчит, и Нора не решается спросить, далеко ли еще идти.

— Да... — Будто не Норе, а самой себе говорит она. — Трудно человеку жить одному. Очень трудно. Особенно если у него уже была семья...

Норе опять становится жаль ее. Она хочет пообещать, что будет приходить. Но худые старушкины пальцы дотрагиваются до нее.

— Здесь... — Она останавливается у кирпичного дома на углу.

Дом совсем чужой. С магазином. Только окна магазина закрыты железными ставнями. И на двери решетка.

— С правой ноги надо, с правой, — шепчет старушка. И сосредоточенно переступает порог подъезда.

Лестница очень широкая. Но поднимаются они медленно. Старушка все оборачивается, будто хочет Норе что-то сказать. А может, это только кажется..,

Наконец они останавливаются у коричневой двери. Еле слышным шепотом — даже сердце у Норы бьется громче — старушка говорит:

— Станьте в самый угол. Чтобы вас не увидели, когда откроют.

Нора так прижимается к стене, будто хочет вдавиться в нее. Старушка поднимает дрожащую руку с красной ниткой на запястье к звонку.

Зашлепали шаги.

— Это пани Броня, моя приятельница. Ее дом разбомбили.

— Кто там? — спрашивают из-за двери.

— Это я, пани Броня. — Старушка очень старается, чтобы голос казался спокойным.

Ее впускают.

Дверь опять закрыта. Большая, обитая дерматином. Над ручкой дыра, круглая. Это от вынутого французского замка.

Нора осторожно, на цыпочках подходит и заглядывает в нее.

Передняя. Вешалка. Какие-то пальто. Шинель! Это папина!.. Нора уставилась, будто ждет, что шинель сейчас зашевелится, обернется...

А за какой из этих дверей он сам?

Что-то стукнуло. Нора отскакивает от двери и снова прижимается к стене.

— Где она?!

Папин голос! А ведь не помнила... Лицо, руки помнила, а голоса...

Дверь открыта.

Стоит. Это папа. «Мой папа», — твердит она себе, глядя на костыли.

— Норенька! — Он заковылял к ней.

Она бросилась к нему. Ткнулась в его щеку. Он! Так всегда пахла его кожа!

А руки крепко обхватили ее и дрожат.

— Норенька, дочуля!.. — Он ее никогда так не называл, и Норе хочется плакать. Она кусает губы, чтобы сдержаться. И не шевелится. Хотя костыль больно вдавился в плечо.

— До свиданья, пан доктор, — раздается за его спиной дрожащий голос.

— Куда вы, Ядвига Стефановна? — Отец поворачивается и отпускает Нору. Только рука на плече. Будто он боится, чтобы Нора тоже не ушла. — Куда вы? Побудьте с нами.

Как странно просительно он говорит. Но это он, папа.

— И я говорю, посидела бы.

Только теперь Нора замечает вторую старушку. Наверно, она и есть пани Броня.

— Не могу, пан доктор. Извините. — И протягивает свою худую руку.

Отец целует ее.

— Спасибо вам, Ядвига Стефановна. Большое спасибо.

— Ничего, пожалуйста, до свиданья, — смущенно говорит она все подряд. Повернувшись к Норе, поспешно бормочет: — Пусть ничто не омрачает... — и торопливо выходит.

— Спасибо! — кричит Нора вдогонку. — Большое спасибо!

Ядвига Стефановна уже спустилась по лестнице... И пани Брони в передней нет. Здесь она и папа. Ее папа!

На костылях...

— Что же мы стоим? — спохватывается он. — Идем в комнату.

Он неуклюже поворачивается. Сперва выступают костыли. Потом к ним переносится нога. Она одна. И брючина одна. Вторая наверху приколота булавками. Тапка тоже одна. Нора даже не сразу понимает, что она правая... Хочется зажмуриться, не видеть! Но глаза открыты. И смотрят, как нога, словно боясь отстать от костылей, спешит перепрыгнуть к ним.

Комната совсем непохожа на их столовую. Стол другой. И буфет дома был меньше. Тахты не было. А здесь стоит даже детская кроватка, доверху напиханная подушками и одеялами. Санитарные носилки зачем-то прислонены к стене.

— Садись... Сюда, здесь мягче, — показывает он на тахту.

Но ей неловко садиться на чужую тахту, и она опускается на краешек стула. Зря. Папа сел на тахту. Если бы она была рядом, он опять положил бы руку ей на

плечо. Хотя раньше, дома, не умел «показывать чувства». И над мамой подтрунивал, что она с Норой нежничает, как с маленькой...

Очень жаль, что в передней, когда они стояли обнявшись, Ядвига Стефановна так быстро окликнула его. Теперь он сидит напротив. Смотрит на нее и улыбается растерянно-счастливый.

Он тот же. Папа. Ее папа.

Но костыли...

— Садись сюда.

Она быстро пересаживается на тахту.

Его лицо... Только темнее стало или, может, осунулось? И мешки под глазами. Такие были у дедушки. Но папа же еще совсем не старый. Хотя уже немножко седой...

— Как же ты... — И голос раньше не дрожал. — Как ты спаслась?

Она хочет рассказать ему все-все. Как было страшно, когда не впускали, как она лежала в лесу, как бежала мимо тех трех повешенных. Но говорит совсем другое:

— Меня прятали. А маму с бабушкой...

Отец прижимает ее к себе.

— Мама меня тогда спрятала в ванной. Потом, когда к нам должен был вселиться немецкий офицер, я ушла. Была у разных людей... — Она умолкает. Так рассказывала чужим. А ему...

Он тоже молчит.

— Я очень надеялся, что вас спасут... А когда вернулся... говорят — никого... Нельзя было.

— Немцы устраивали облавы.

— Мы это знали. Но я все равно не мог поверить. Когда освободили город, я еще лежал в госпитале, после ампутации. Написал вам... Потом писал маме на работу, тебе в школу. Каждый день отправлял письма. К твоей подруге Юдите...

— Ее нет...

— Знаю. Теперь я это уже знаю... А тогда ждал. Каждое утро. Почему-то казалось, что письмо принесут именно утром. К приходу почты брился. А в тумбочке лежал НЗ...

Нора не знает, что такое НЗ, но не хочет его прерывать.

— ...чтобы угостить товарищей по палате, когда получу от вас письмо. — Он умолкает. — Угостить не пришлось... Ответ получил от маминой сотрудницы. — Он теребит бахрому скатерти. — И если бы не... — отец осекается. И очень странно, даже почти испуганно смотрит на Нору.

Она хочет погладить его руку, успокоить, но стесняется.

— А меня сперва прятал мельник. Потом я лежала в лесу, в яме. Зато у Петронеле и у Стролисов было тепло...

Он сжимает пальцы в кулак. Они, как и раньше, длинные, красивые. Мама говорила, что они как у прирожденного пианиста. А он шутил: «И хирургу такие не помешают».

— И ты все это вынесла!

— Иначе немцы бы расстреляли...

— Да, да, понимаю. Но теперь это уже прошло. Мы тебя вылечим, откормим.

— Меня лечить не надо! Я здорова.

Он еле заметно улыбнулся. Наверно, вспомнил, как очень давно, когда Нора была маленькая, мама должна была первой попробовать Норины лекарства — не горькие ли. Только потом уж она... И то морщилась, хныкала... А папе ведь ногу!

— Тебе было очень больно, когда... — и Нора показывает на его ногу.

— Было. И не только больно...

— Теперь больше не болит?

— Нет. Только хирургом я уже не могу... Стоять надо.

— Будешь детским врачом! Меня ведь лечил.

Он опять старается улыбнуться.

— Спасибо. Пока работаю терапевтом. А когда сделают протез, попытаюсь...

Нора хочет ему сказать, что он опять будет таким, как раньше, и она тоже... Но молчит. Смотрит на его руки. На папины руки...

— Нашего дома нет.

— Даже не узнать...

— А я узнала кусок стены из моей комнаты. С синими цветочками.

— Ты их помнишь?

— Конечно. Я и трещину на тротуаре узнала.

— Какую трещину?

— Извилистую. Как Немунас на карте. И парикмахерская напротив осталась.

— Знаю. Это жена парикмахера мне говорила, что вас... всех. Сама видела, как ночью... погнали...

— Она, наверно, видела маму с бабушкой. И подумала, что я тоже с ними...

Он молчит. Только пальцы дрожат.

— Ты же знаешь, как мы жили с твоей мамой... — зачем-то говорит он. — Пятнадцать лет. Почти шестнадцать...

Он сжимает и разжимает пальцы. Опять сжимает. Нора хочет положить на них руку. Сказать: «Папа». Чтобы он поднял голову, посмотрел на нее. Она о чем-нибудь спросит, будет с ним говорить. Чтобы часто повторять это слово — «папа». И сама будет слышать, как произносит его. Совсем как раньше, дома.

— Мы с твоей мамой поженились еще студентами... И все пятнадцать лет... Почти шестнадцать...

Это он от волнения не знает, о чем говорить.

Послышался резкий звонок.

Отец почему-то растерялся. Она вскочила. Может, нехорошо, что они сидят в чужой комнате, а теперь пришли хозяева.

— Сиди, сиди... — Он хочет еще что-то сказать. — Видишь ли...

— Может, мне открыть?

— Нет-нет, я сам... — Он поспешно разворачивается на костылях и с деревянным постукиванием выходит.

— Мы колбасы принесли! — врывается звонкий детский голосок.

— По мясным талонам давали. Шестьсот граммов колбасы за кило мяса, — рассказывает грудной, женский.

— А у нас... — говорит папа.

— Кто?! — В дверях появляется женщина. Высокая, в плаще. По голосу Нора думала — она ниже и полная...

— Люба, — улыбается ей папа, — это Нора... Вернулась...

Женщина смотрит на нее, будто не веря.

— Пряталась... И вот...

Она подходит. Берет ладонями Норину голову и целует в глаза. Улыбается.

— Дети, поздоровайтесь! — Она быстро отворачивается к ним. Норе кажется — потому, что в глазах заблестели слезы.

— Здравствуйте, тетя. — К Норе подходит маленькая девочка. А сзади стоит мальчик. Он старше. Почти такой, как Винцукас...

— Здравствуйте, — говорит он совсем другим, чем у Винцукаса, голосом.

— Добрый день, — отвечает им Нора.

Все молчат. Смотрят на нее. Наконец хозяйка поворачивается к папе.

— Совсем такая, как ты рассказывал.

«Ты»! У Норы внутри екнуло.

— Но она же очень худая! — сокрушается папа.

— Ничего, поправится! Главное, что жива!

Все удивляются, что она жива...

А ведь правда — жива! Норе опять стало весело.

— Что ж, — улыбается хозяйка, — давайте на радостях ужинать. С колбасой и настоящим чаем! Сейчас поставлю.

— Да-да, надо ужинать, — засуетился отец. Достал из буфета буханку хлеба. Даже не начатую! Норе странно, что в чужом доме, а знает, где что лежит, сам берет.

Поставил на стол сахарницу. Дома была другая, с серебряным ободочком. В этой лежит пачка сахарина.

Печенье! Настоящее печенье! А она совсем забыла, что оно есть...

— Мы это выменяли на табак. — Отец, видно, заметил, что она удивилась. — Был день рождения...

Даже очень голодная, когда представляла себе всякую еду — хлеб, котлеты, огурцы, — она про печенье ни разу не вспомнила. А оно было. Все время было: и когда она лежала в лесной яме, и когда, убежав от облавы, влетела в какую-то рощицу и всю ночь простояла, обняв ствол дерева, чтобы слиться с ним — может, так не заметят... Замерзла до боли в пальцах, в спине. А потом и сама одеревенела, будто срослась с этим деревом. Даже казалось, что на ней такая же кора... Лишь изредка она осторожно, словно втайне даже от самой себя,

проверяла — действительно ли она тут стоит и еще живая...

— Жаль, масла нет.

Нора радостно вздрогнула, услышав папин голос.

— Зачем? Не нужно!

— Тебе жиры необходимы. Ты должна поправиться.

Норе странно, даже чуточку смешно, что он говорит совсем как мама. А ведь раньше подшучивал, когда мама это говорила... И на стол никогда не накрывал. Выходил из кабинета, когда все уже стояло.

— Алик, Тата, идите руки мыть! — кричит из-за двери их мама.

Они выбегают. Но Тата сразу возвращается.

— Мама сказала — всем надо мыть руки.

— Да-да, сейчас.

В ванной пол скользкий, и Нора боится, чтобы костыли у него не выскользнули, пока он моет руки. Она напряженно смотрит, чтобы успеть подхватить его, если...

За столом их уже ждут. Хозяйка первому наливает чай папе. Как дома. А он этого, кажется, не замечает. Придвигает Норе хлеб, сахарницу.

— Ешь. И колбасу бери.

Нора уже так давно не пила из стакана! Кажется, слишком звонко стучит ложечкой. И вилку держать отвыкла. Она какая-то неудобная, тяжелая.

— И мы хотим колбасы! — заявляет Алик.

— Да-да, сейчас. — Папа спешит им нарезать.

— У меня тоже есть хлеб! — Нора выбегает в переднюю, приносит заработанный сегодня хлеб. И кусочек сала. И луковицу.

— Угощайтесь. — Она сама удивилась, что вспомнила это слово.

— Чай стынет. — Хозяйка дотрагивается до папиной руки. — Ты же любишь горячий.

— Да-да, сейчас.

Нора опускает глаза. И все равно видит их руки. Папа своей не отнимает...

Но это ее папа! Вот он ей кладет еще ломтик хлеба.

— А мы видели немцев! — сообщает Тата. — И они совсем не страшные!

— Это они теперь не страшные, — по-взрослому объясняет ей брат, — потому что в плену.

— А колбасу им дают?

— Нет.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

— Ничего ты не знаешь. Папа, им дают колбасу?

«Папа». Нора сильно сжимает вилку. И губы. Боится моргнуть. Она смотрит в стакан. Там отражается люстра.

Как это она сразу не догадалась! Ведь здесь всего одна комната. И тахта одна. Широкая...

Видно, он хотел ей объяснить: «Ты же знаешь, как мы жили с твоей мамой...»

И Ядвига Стефановна пыталась: «Трудно человеку жить одному...» Потом, прощаясь: «Пусть ничто не омрачает...»

— Дети, вы поели? — хрипло говорит отец. — Идите во двор поиграть.

— Хочу еще чаю, — заявляет Алик. Норе кажется — нарочно, чтобы не уходить.

— Я тоже хочу чаю! — подражает ему Тата.

Мать им наливает прямо в блюдца, чтобы скорее остыл.

Нора тоже не хочет, чтобы они ушли. Но чай в блюдцах убывает. Уже остался только влажный блеск на донышках. Алик все равно еще тянет губами и косится на Татино блюдце — может, хоть там есть?

— Все, все, — торопит их мать.

— Спасибо. Можно встать из-за стола? — скороговоркой спрашивает Тата, слезая со стула.

— Можно.

— Спасибо, — бормочет и Алик. — Пошли, Татка.

— Не шалите, — предупреждает их мать.

Хлопает входная дверь.

Звук давно замер, а они тут все еще прислушиваются к нему.

— Ты знаешь, как меня зовут? — почему-то спрашивает она.

Может быть, хочет, чтобы ее называли нашей фамилией? Нора молчит.

— Любой, тетей Любой, Любовью Яковлевной — как сама захочешь...

— Я вас искал... — напоминает отец. — Писал. Объявление повесил, расспрашивал... Потом Януйтене, жена парикмахера...

— Да, ты говорил...

Но он все равно повторяет:

— Она сказала, что сама видела, как вас... ночью... всех...

— Меня мама спрятала.

— Да-да...

— Видно, поняла, куда ведут, — вздыхает она.

А Норе не хочется, чтобы она говорила про маму.

— Ты пережила так много, — тихо говорит отец. — И вот...

— Меня впустил дядя Ян! — перебивает его Нора. — Это в том доме, где жила Юдита. Там в мансарде комнатка... С окном... — и умолкла, не знает, что еще сказать.

Наконец заговаривает она:

— Человек, как бы молод ни был... — она умолкает, глядя в свой даже неотпитый чай, — должен стараться понимать... даже то, что сначала может показаться...

Зачем она это говорит?

— Видишь ли, Норенька, — говорит папа, — мы... не только ради себя... Хотя... Когда я лежал после ампутации... Если бы не тетя Люба... А вас я не нашел... Алику и Тате нужен был...

— Они ничего не знают, — подхватывает тетя Люба. — Своего отца не помнят, он ушел на войну давно, еще на финскую. И сразу погиб... Алику тогда было неполных три года, а Тате — один месяц...

Норе стало жаль ее. Она хочет сказать, что понимает. Но выговорить это не может.

— Я им ничего не говорила. У всех отцы на фронте, все ждут, пусть и они... А когда мы с твоим отцом решили... словом, я им тогда сказала, что вернулся с фронта их отец.

Она умолкает. Папа тоже молчит. Они, кажется, ждут, чтобы Нора что-нибудь сказала.

— Надо будет им объяснить, — так и не дождавшись, устало говорит тетя Люба, — почему ты его тоже называешь отцом.

«Но он же и есть мой отец!» — хотела крикнуть Нора. А вслух сказала:

— Хорошо.

— Насчет фамилии им раньше объяснили... — голос отца дрожит. — Сказали, что в эвакуации у матери не

было с собой документов, поэтому их записали на ее фамилию.

— Твой отец их усыновил.

Пусть они больше ничего не говорят...

Нора вздрогнула. Снова резкий звонок.

Тетя Люба, кажется, тоже довольна, что их прервали. Поспешила открыть.

— Татка упала, — сообщает Алик. — Я говорил, чтобы не лезла, а она...

Тетя Люба бежит вниз. И отец спешит за ней. Костыли стучат по лестнице.

Алик заглядывает в комнату.

— Она очень ушиблась? — спрашивает Нора.

— Нет. Только ревет, чтобы мама ее подняла.

Нора смотрит на него. На уши, волосы, глаза. Этот мальчик теперь папин сын...

— А почему папа сказал, что вы прятались?

Опять резануло это «папа».

— Чтобы фашисты не расстреляли.

Он так широко раскрывает глаза, что они становятся круглыми.

— А где вы прятались?

— Везде. — Но ему, кажется, такого ответа мало. И Нора поясняет: — В сараях, на чердаках. Иногда в лесу.

— Одна?

Нора кивает.

— Ночью тоже одна?

— Да.

Нахмурив лоб, Алик спрашивает очень по-деловому:

— Там не очень страшно одному?

— Очень...

— А партизан вы видели?

— Нет.

Он разочарован.

— Они были далеко. А я не знала где... — И Нора вспоминает, как Петронеле, когда Нора уходила, заклинала не искать их: говорят, переодетые немцы тоже прикидываются партизанами. Потом расстреливают. Если уж кто-нибудь точно скажет, тогда...

Алик, кажется, не знает, о чем еще спросить. Но уходить явно не хочет.

— А Татка все еще ревет.

— Может, больно ушиблась.

— Нет. Только она маленькая еще, поэтому плачет.

— А ты никогда не плачешь?

— Нет. Я буду как мой папа. Он герой!

— А...

— Как мой настоящий папа! — вдруг выпаливает он. И спохватившись, что проговорился, снова, теперь уже от испуга, округляет глаза. — Но вы этого никому не говорите, хорошо? — просит он.

— Хорошо... — И все-таки Нора заставляет себя спросить: — А почему ты... так думаешь?

Алик угрюмо молчит.

— Я же никому не скажу...

Он колеблется. И она повторяет:

— Я, честное слово, никому не скажу.

— Честное красноармейское?

— Да.

Он неохотно бормочет:

— Этот папа не наш настоящий...

Наверно, надо ему сказать то же самое, что говорят они. Но она только спрашивает:

— Почему... ты так думаешь?

— Мне одна тетя во дворе сказала. Наш папа погиб на фронте, когда мы еще были совсем маленькими. А этот — мамин муж.

— Он хороший... — говорит Нора.

Алик молчит. И Нора опять удивляется, что этот чужой мальчик с короткой челкой и торчащими ушами теперь будет называться ее братом.

— Все равно он не мой настоящий папа.

«А мой настоящий!» Только вслух она этого не сказала.

Наконец послышался стук костылей.

Тетя Люба вносит Тату на руках. Отец идет следом. Норе кажется — он теперь другой. Не такой, как вначале, когда их не было.

— Алик, принеси, пожалуйста, тазик с водой.

А тетя Люба успокаивает Тату:

— Сейчас перестанет болеть. Приложим холодную тряпочку.

— Я пойду... — тихо говорит Нора.

— Куда? — Отец даже испугался. Тетя Люба тоже очень удивилась.

— Домой...

— А разве ты... не останешься с нами?

— Я пойду... — повторяет Нора еще тише.

Отец совсем растерян:

— Почему? Ты же вернулась... Мы будем вместе... Все...

— Алика положим с нами, на тахту, — спешит ее уверить тетя Люба. — А тебе постелим на носилках.

— Нет, нет!

— Болит... Ножка болит... — хнычет Тата.

— Сейчас, сейчас. — Отец виновато взглядывает на Нору и наклоняется к Татиной ноге.

Но он же все равно ее, Норин, папа!

По-докторски ловко обмывает он Тате колено.

— Надо помазать йодом.

— Не хочу! — взвизгивает Тата и снова плачет.

— Хорошо-хорошо, не будем, — сразу соглашается тетя Люба. Отец ей ничего не говорит. А маме сказал бы, что нечего потакать детским капризам, и обязательно помазал бы йодом.

Тетя Люба отжимает тряпочку, прикладывает к колену. Меняет. Опять прикладывает холодную.

— Я пойду... — напоминает Нора. Когда они стоят отвернувшись, ей легче это говорить. — Скоро комендантский час.

Отец крепко сжимает костыль. Даже пальцы побелели. И смотрит на нее недоуменно-просяще.

— Я завтра опять приду! — спешит уверить Нора.

Он опускает голову.

— Скоро комендантский час, — убеждает она его и себя.

И все-таки медлит.

— Но как же...

— Я завтра приду! Утром.

Тетя Люба выпрямляется.

— Ты не думай, что я... что мы не хотим, чтобы ты была с нами...

Наконец она идет по улице. К себе. В ту комнатку наверху, откуда утром вышла мыть окна. Это было сегодня. Все еще тот самый день...

Тетя Люба сказала: «Не думай, что я... что мы не хотим...»

Нора и не думает. Сама же сказала: «Я пойду».

А как она могла остаться?

Им все время было бы неловко. «Я вас искал... Мне сказали, что всех...» «Ты же знаешь, как мы с твоей мамой жили...»

И тетя Люба бы объясняла. А Нора ведь понимает. Только вначале не догадалась.

Теперь она понимает! Понимает! Норе от этого хочется плакать, но она все равно объясняет себе: отцу было трудно одному, без мамы...

Ее словно ударяет. Она даже останавливается. Кажется, только теперь, когда на мамином месте есть другая женщина, Нора поняла, что мамы нет совсем... Не будет...

Нора спохватилась, что стоит. Прохожие ее обгоняют.

Она снова начала переставлять ноги...

Тетя Люба сказала — уже потом, когда перевязала Тате колено и опять отправила их во двор: «Я хочу, чтобы ты знала. Когда мы с твоим отцом решили...— она запнулась, но все-таки произнесла: — быть вместе, я его предупредила: если все же вернется твоя мама, мы... я... словом, он будет с вами».

Нора подумала — разве можно так: то он с ними, то обратно к маме. Но вслух этого не сказала. Только повторила свое: «Я пойду...»

Отец молчал. Нора хотела его попросить, чтобы он не смотрел на нее так... ну, будто она... будто он виноват. Чтобы лучше сказал что-нибудь. Но вместо него опять заговорила тетя Люба: «Что ж, ты уже взрослая, поступай как хочешь...»

Это она взрослая? И хочет?.. Она же не может остаться!

А все-таки стало жаль, что ее больше не уговаривают... И что папа теперь не такой, как раньше, когда обязательно надо было его слушаться. Он лишь повторял: «Нас же осталось только двое». А Нора его убеждала: «Я завтра приду».

Тетя Люба положила на ее хлеб все три оставшихся ломтика колбасы.

«Приходи к нам завтра обедать. И вообще приходи. Каждый день. Отец тебя очень любит».

Нора очень старалась не расплакаться. И боялась посмотреть на папу...

«Может, тебе чего-нибудь нужно? — спросил он опять задрожавшим голосом. — Деньги у тебя есть?»

«Нет...»

Отец заковылял к буфету. Нора слышала, как скрипнула дверца.

«Отдай все», — сказала тетя Люба.

Можно будет купить яичек...

«Может, еще чего-нибудь надо? У тебя же ничего нет».

Нора вспомнила про письмо Алдоне.

«Конверт! Если можно, конверт с маркой».

Отец ей дал три конверта. Из толстой серой бумаги. Совсем не такие, какие были до войны. И марки незнакомые.

Теперь она их несет домой. Вместе со своим хлебом, колбасой, луковицей и деньгами.

Дядя Ян стоит в подворотне. Значит, скоро комендантский час, и он вышел запереть ворота.

— Мы уже думали, не придешь. Может, лучшую комнату нашла.

— Что вы! Я и не искала.

— Тогда бери ключ. Я там запер, чтобы последнее не унесли.

— Спасибо! Большое вам спасибо!

Теперь у нее есть ключ...

— Дядя Ян, я нашла папу!

Он удивлен.

— Правда, правда, нашла! Только... можно, я буду жить здесь, у вас? — Испугавшись, что он начнет расспрашивать почему, она быстро говорит: — Спокойной ночи! — и вбегает во двор.

По лестнице тоже поднимается торопливо, хотя и старается ступать неслышно.

Отпирает дверь. Своим ключом. И входит в свою комнату.

ГЛАВА VI

Норе кажется, что она здесь сидит уже давно. И хорошо знает эту комнату. Шкаф, окно, оба письменных стола с одинаковыми чернильницами. Только в одной чернила с утонувшей мухой давно высохли, а в другую их, наверно, налили недавно. Перестук обеих машинок, сперт-

ва казавшийся очень громким, теперь почти привычен. И папка, которую дал товарищ Астраускас, тоже кажется давней знакомой.

Она здесь работает. Работает. Нора все утро повторяет это слово. Она работает! Вместе с этими машинистками и товарищем Астраускасом.

Он ушел, а Норе велел складывать в папку корешки хлебных карточек, которые ей будут приносить. Потому что она не только курьер, но и уполномоченная по хлебным карточкам.

Вчера это непонятное слово ее испугало. Когда начальник отдела кадров сказал: «Ладненько, возьмем вас в АХО курьером и уполномоченным по хлебным карточкам», — Нора оробела: она не знает, что такое АХО и что должен делать уполномоченный. Но не призналась, чтобы начальник не велел уйти. И сегодня утром, когда шла сюда, очень волновалась: только бы не заметили, что она не поняла.

Никто не заметил. Правда, что такое АХО, она сама поняла. Когда товарищ Астраускас привел ее из отдела кадров сюда, она успела прочесть на двери табличку: «Административно-хозяйственный отдел». И догадалась. А что она должна будет делать, товарищ Астраускас сам объяснил. Оказывается, только название такое непривычное, а работа очень обыкновенная. Сегодня, например, она должна складывать в папку корешки хлебных карточек.

Жаль только, что их не несут. Всего два человека, и то потому, что зашли к машинисткам, оставили ей.

Теперь она уже знает и что такое корешок. Просто широкая полоска бумаги под карточкой. Каждый должен отрезать корешок, вписать туда свою фамилию, имя, год рождения, адрес и заверить в домоуправлении.

Когда все принесут ей эти корешки, она по ним получит карточки на следующий месяц. Для всех. И у всех, кто здесь работает, целый месяц будет хлеб, крупа, соль! И это она, Нора, им принесет карточки!

И сама будет иметь карточку. Получать по ней хлеб. Свой собственный. Каждый день.

Нора забеспокоилась: почему больше никто не приносит? Скоро вернется товарищ Астраускас и будет недоволен, что в папке всего два корешка.

Он и так был не очень доволен, что ее сюда приняли. Когда начальник отдела кадров сказал ему: «Познакомьтесь, это ваш курьер и уполномоченный по хлебным карточкам», — он улыбнулся, будто шутке. «Не лучше ли тебе, девонька, сидеть за школьной партой?» Она не ответила. Только очень боялась, чтобы и начальник не передумал. Но товарищ Астраускас сразу перестал улыбаться. Покачал головой и совсем серьезно сказал: «Ну что ж, пошли, будем работать». И, как взрослую, пропустил вперед.

Здесь, когда знакомил с машинистками, назвал ее «товарищ Маркельските». Стал объяснять, что она должна будет делать. Правда, очень удивился, что она не знает, какая разница между «рабочей» карточкой, «служащей» и «иждивенческой». Даже спросил: «Откуда же вы приехали»? Нора ответила, что из деревни. Хотела сразу добавить, что она не вообще из деревни, а только теперь. Но товарищ Астраускас начал терпеливо, будто она и правда ничего не понимает, разъяснять про карточки, про нормы. Потом дал папку, в которую она должна складывать корешки, и ушел.

Нора хотела про деревню объяснить машинисткам, но они работают. Иногда перекинутся между собой несколькими словами. И еще с теми, кто им приносит работу. Они же все друг с другом знакомы.

Она старается запомнить, как кого зовут. Та, которая первая принесла корешок, — Лаукайте. Это секретарша. А другая, в очках, — Ванагене. Высокий седой мужчина — Рагенас. Когда он вошел, Нора подумала — может, артист. Вместо галстука — бабочка. И такая же шелковая «фантазия» торчит из кармашка. Только потом заметила на локте маленькую штопку... Он поздоровался не только с машинистками. Ей тоже улыбнулся. Спросил, почему его не представляют «нашей новой сотруднице». А узнав, что Нора уполномоченная по хлебным карточкам, опять улыбнулся: «Значит, наша кормилица».

Машинисток она, конечно, тоже знает. Молодую зовут Марите. Она красивая, и волосы вьются. Только брови подрисованы черным карандашом. А пальцы длинные, красивые. Ей, наверно, легко брать любые аккорды. Вторая, пожилая, которая печатает на русской машинке, —

Людмила Афанасьевна. Она худая и очень смуглая, будто навек загоревшая. На лацкане темно-синего пиджачка большая красная звезда. Орден. Как у военных. Жаль только, что она курит...

Печатают они по-разному, будто различная у них постановка рук. Марите их держит над самой клавиатурой. И не ударяет по буквам, а только надавливает беглым прикосновением. Как будто разминает перед игрой пальцы. Но каретка движется быстро, отвозя влево заполняющуюся строчку. Марите плавным движением возвращает ее назад, одновременно переводя напечатанное чуть выше, и сразу начинает выстраивать новую строчку. Тем же легким касанием пальцев.

У Людмилы Афанасьевны, наоборот, пальцы словно прыгают по ступенчатым рядам букв. Ударяют и отскакивают. Клюют и подлетают. Кисти еле поспевают кивать друг другу. Иногда даже кажется, что они изображают двух раненых птиц, которые растопырили крылья и силятся взлететь. Взметнутся вверх и падают. Взмахнут и сразу валятся.

Но если не смотреть, а только слушать этот перестук, может показаться, что Марите и Людмила Афанасьевна соревнуются в выстукивании чего-то. И каждая старается попасть в паузу другой. Но паузы эти секундные, даже еще меньше, и стуки то не могут догнать, то перегоняют друг друга.

Нора спохватывается, что в папке все еще те самые два корешка. А она ведь должна работать!

Может, надо самой попросить?

Она мысленно встает, подходит к машинисткам. Они достают из сумок свои корешки...

И Нора на самом деле встает.

— Можно вас попросить?

— О чем? — не переставая печатать, спрашивает Марите.

— Корешки ваших карточек.

— Завтра принесу.

Людмила Афанасьевна тоже продолжает работать.

— Ведь есть еще три дня.

Нора возвращается к своему стулу. Опять сидит.

Но она же должна работать!

Снова подходит к машинисткам.

— Дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь работу.

Марите поднимает удивленный взгляд. Оказывается, на ее красивых голубых глазах по коричневой точечке. Будто веснушки.

— Нечего делать? Так радуйся!

«Ра-дуй-ся! Ра-дуй-ся!» — выстукивает и ее машинка. Это Марите ритмично забивает иксами немецкое название какого-то департамента. А сверху быстро выстраивает новую строчку — название их управления. Но немецкое все равно выступает.

— Можно, я буду зачеркивать чернилами?

— Не стоит, уже последние. Завтра привезут новые бланки, свои.

Нора все равно стоит. Когда просишь, надо ждать. Даже если сперва отказывают...

Людмила Афанасьевна тоже поднимает голову.

— Еще набегаешься. Отдыхай пока.

— Мне не надо отдыхать, я хочу работать... Чтобы не велели уйти.

— Господи, кто тебя так напугал?

Нора не успевает ответить, Марите опережает:

— Не твоя вина, что нет работы. Читай книжку.

Книжку?! Это же было раньше, дома...

Нора вспомнила, как хорошо было идти из библиотеки с не читанной еще книжкой. Ждать вечера, когда, сделав уроки и поиграв, можно будет лечь в постель и читать. Мама сердилась, что она портит глаза, и Нора забиралась с ночником под одеяло.

Но это ж было тогда, дома!

— Я должна работать, — повторяет она.

Марите пожимает плечами.

— Делай что-нибудь свое.

А ей нечего делать!

Тетя Люба, правда, велела записать, где и у кого она пряталась. Пока еще свежо в памяти. Список. Хоть коротко: дата, место пребывания и фамилия хозяина, который ее прятал.

Дата... Неужели тетя Люба не понимает, что тогда Нора совсем не думала об этом? И не знает, какое число было в ту первую ночь, когда она вышла из города. Шла... На дороге послышался рев машин. Она побежала. А гул приближался. Сейчас гитлеровцы ее заметят,

настигнут. Она помчалась к чему-то чернеющему невдалеке. Юркнула в темноту. Наткнулась на лестницу — и подлезла под нее.

Машины проехали мимо. Но вылезти все равно было страшно. Темно. Каждый куст издали кажется немцем...

А утром ее нашел мельник. Не выгнал. Даже закидал укрытие досками, только узкий лаз оставил. И тот заслонил трехпудовым мешком. По вечерам, когда все засыпали, выпускал Нору немного походить в тени мельницы, размяться. Еду приносил. И каждый раз, впуская обратно в укрытие, шепотом напоминал: если найдут, пусть скажет, что сама сюда забралась.

Но когда повесили тех троих...

И Нору внезапно поразило: тогда, той ночью, на календаре стояло обыкновенное число! Только она не знала какое. Не думала. В страхе пробежала мимо них, покачивающихся на ветру с завязанными назад руками. И у каждого на груди надпись: «Я помогал...»

А в лесу? Сколько дней она там лежала в яме — сперва скользкой от дождей, потом твердой и заиндевевшей от заморозков? И в какую ночь ей вдруг показалось, что она онемела? Ведь давно не разговаривала, не слышала своего голоса! В испуге Нора стала очень тихо — только чтобы самой слышать — произносить слова. Разные. Просто чтобы их вспомнить. Как что называется, как выглядит.

И если бы Петронеле тогда не упала к ней в яму...

Неужели Петронеле — Нора даже опешила от такой мысли, — неужели Петронеле только «фамилия хозяина, который ее прятал»?!

А в какую графу этого списка вписать, как Петронеле вела ее из леса?

Нора от долгого лежания совсем не могла стоять. И переставлять свои очень тяжелые и непослушные ноги разучилась. Петронеле опустилась на корточки и стала их растирать, «чтобы кровь разошлась». А растерев, уговаривала: «Теперь осторожненько дойдем до той большой ели». Там опять растирала их, «чтобы до тех двух сосен дошли».

И потом, дома, лечила ее своими травками, настойками. Тоже объясняя: «чтобы жар через поры вышел» и «чтобы кашель ночью не душил». Еще «от боли в суставах» и «для крепости в ногах».

А по вечерам, перед сном, Петронеле становилась перед распятием на колени и долго упрашивала Иисуса, чтобы Нора не умерла. Нора лежала на печи и слушала, как Петронеле шепчет богу о ней.

Но если бы в это время ворвались гитлеровцы? Или полицаи? И нашли бы Нору...

А ведь Петронеле знала, что ее за это... И все равно привела из леса, прятала.

Нет, нельзя из э т о г о составить список!

Нора вздрогнула — неужели она это сказала вслух? Видно, нет — Марите и Людмила Афанасьевна печатают. А сама она сидит с папкой на коленях.

И сразу вспомнила: она здесь работает! Работает! Вместе со всеми. И теперь каждое утро будет сюда приходить. Работать. Слушать, как говорят о фронте. Людмила Афанасьевна сегодня рассказала, что армия, в которой она воевала, уже пересекла румыно-болгарскую границу!

Как это хорошо! Нора еле удержалась, чтобы не сказать вслух — хорошо! Что скоро кончится война, что она осталась жива, что она здесь, все видит, слышит этот перестук машинок! Хорошо!

Марите ушла последней — она живет рядом. Нора осталась одна. Пока одна. Скоро все вернутся. Они пошли домой только переодеться к субботнику.

Нора будет работать в этом же, тети Любином платье. Потому что старое, в котором приехала, тетя Люба велела при людях больше никогда не надевать. И отдала свое, еще совсем хорошее — ничуть не линялое и без единой заплаты. Показала, как подкоротить, а из отрезанной полоски посоветовала сшить кушачок.

Жаль только, что она думает, будто Нора неблагодарна. И отец расстроен.

Но ведь поблагодарила — и когда тетя Люба сказала, что даст ей это платье, и позавчера, когда дала.

А вчера Нора просто пришла к ним сказать, что ее приняли на работу. Еще хотела спросить, что такое АХО и что должен делать уполномоченный. Но не успела: как только тетя Люба увидела, что она в этом платье, — обрадовалась. Будто так уж важно, как оно на Норе сидит, как ей идет. Заставила поворачиваться то лицом, то

спиной. Призывала и папу любоваться. Он, конечно, был доволен. Даже Тата радовалась.

Тетя Люба еще послала ее к пани Броне, посмотреть на себя в большое зеркало. Когда Нора, постучавшись, открыла дверь, она увидела в трюмо напротив, как в комнату входит высокая и очень худая девушка.

Приблизилась к ней — той, в зеркале — и удивленно смотрела на непривычную долговязость, короткий ежик волос, худую шею. На взрослое, тети Любино платье. Только ссадины на ногах были те же. И носок ботинка с той самой черной заплатой. И руки — Нора пошевелила перед зеркалом пальцами — ее. Обмороженные, синеватые даже летом.

У пани Брони сидела Ядвига Стефановна. Как она обрадовалась Нориному платью! Начала советовать сузить его в талии, сделать более открытым. «Конечно, ведь шея молодая, без морщин», — поддержала пани Броня.

А Норе было очень странно это слушать. Ядвига Стефановна осталась совсем одна, у пани Брони разбомбили дом, а говорят про наряды...

Отец, видно, нарочно поджидал ее в передней. Шепнул: «Поблагодари за платье».

Но она же благодарила! Как всегда, всех. И тех, которые ее впускали — даже если ненадолго, только погреться. И тех, кто хотя бы выносил кусок хлеба. Сейчас тоже понимает, что тетя Люба отдала свое платье, которое еще сама могла носить. Но почему надо говорить особенные слова или даже, как маму, поцеловать?

Папу она могла бы, даже хотела бы поцеловать. Но он же никогда не любил «показывать чувства». А тетю Любу... И Нора только повторила: «Большое спасибо».

Отец, кажется, остался недоволен. Тетя Люба тоже...

Может, даже хорошо, что она сегодня не пойдет к ним. Субботник, говорят, кончится поздно. Каждый должен отработать на восстановлении города девяносто часов, поэтому, пока еще не очень рано темнеет, работают почти до самого комендантского часа.

Вдруг Нора спохватывается, что она стоит и ничего не делает. А ведь сама просила, пока их нет, дать ей какую-нибудь работу. И товарищ Астраускас велел перенести из этого шкафа в большой коридорный «все бумажное наследие бывшего немецкого департамента».

Марите пожала плечами: «Немецкий-то немецкий, только на весь департамент один и был немец — шеф. Да и тот «фольксдойче». Хотя выглядеть старался настоящим. Даже усики под своего кумира отпустил».

Нора опешила: неужели Марите была тут все время? Когда Нора боялась, чтобы не нашли, не расстреляли — Марите просто печатала на машинке...

«...А чуть что грозил выслать в Германию».

«Вас?!» — Нора не заметила, как это вырвалось у нее.

«А что я за барыня?»

Конечно... Норе стало стыдно за свои мысли. И она поспешила исправиться:

«Как хорошо, что не вывезли!»

«Да, неплохо».

«Вас прятали?»

Марите мотнула головой.

«А как же...»

Нора умолкла. Не спрашивать же так, как ее спрашивают, — к а к вы остались живы?

«За деньги».

Нора опять удивилась. И Марите объяснила, хмыкнув:

«Добрые дяди удостоверение продали».

Норе было стыдно, что она не понимает. Но все-таки спросила:

«Какое удостоверение?»

«Липовое, конечно. Что работаю, и на фабрике».

«Разве оттуда не брали?»

«Официально — нет. А так...» — она махнула рукой.

«А меня прятали без денег! Еще и кормили. А одна, Стасе, даже свое платье отдала».

Людмила Афанасьевна почему-то удивилась:

«Разве ты все время была здесь, не в эвакуации?»

«Здесь. Но меня прятали...»

«Кто?»

«Разные люди. В деревне...» — И Нора стала рассказывать. О Петронеле, Стролисах. Об Алдоне и старом дедке. Они слушали, расспрашивали. И совсем не заметили, что кончился рабочий день. Спохватились, когда из отдела кадров пришли спросить, почему не несут машинки — опечатать надо. Быстро убрали столы и поспешили домой переодеться к субботнику. А Нора осталась переносить из шкафа бумаги.

Он и правда переполнен. На верхних полках выстроены ровные ряды одинаковых скоросшивателей с большими черными номерами на корешках. Средние полки заполнены таким же аккуратным строем папок. Тоже нумерованных. Только в самом низу бумаги навалены как попало, россыпью. Будто их сюда запихивали в спешке и суете.

Нора начинает с этой, нижней полки. Достает по одной бумажке. Распрямляет ее, отгибает углы и складывает в стопку. Берет, выравнивает, кладет.

Инструкция. На немецком языке.

Письмо. Тоже на немецком.

Копия счета за машинку «Ремингтон». Это та, на которой печатает Марите? А в школе, кажется, была «Континенталь».

Удостоверение. «Настоящим удостоверяется... бухгалтер Жемгулис сдал... медных изделий 3,23 кг». А Нора не знала, что оккупанты и это забирали.

Еще одно такое же удостоверение. «Пакштас... сдал 7,05 кг».

Список сотрудников. Нора встрепенулась — три фамилии вычеркнуты. Скабейкис... Ракаускайте... Гедвилас.. Что с ними сделали?

Три линии синими чернилами. Перечеркнуты фамилии. Скабейкис. Ракаускайте. Гедвилас. Их забрали? Может, за то, что кого-нибудь прятали?..

Нора осторожно опускает листок.

В руках другой. Разделенный пополам. Слева немецкий текст, справа — литовский. «Свидетельство». Нора смотрит на него. Читает. Опять сначала... «Свидетельствую... после тщательной проверки... что мои родители, бабушка и дедушка не еврейского происхождения. Знаю.. за ошибочные сведения могу быть уволен... или против меня может быть возбуждено... уголовное дело».

«Свидетельствую... после тщательной проверки...» — еще раз те же слова, только о жене. Даже будущей жене. Будущем муже. И та же мера наказания...

Готовый бланк. На двух языках. Только сверху оставлены пустые строчки для фамилии и места работы. А внизу дата. Тоже вписана от руки. 10 июля 1942 года. И подпись. Рагенас.

Рагенас?! Тот самый, который выглядит как артист?! Он же улыбался!..

Нора опять смотрит на свидетельство. Рагенас.

Она хватает сложенные бумаги. Сейчас сунет их в шкаф и убежит. Пока он не вернулся.

Внизу стукнула дверь. Он?!

Поднимается сюда. Сейчас войдет...

Марите!

— Здравствуйте! — крикнула Нора.

— Добрый вечер. Но мы уже, кажется, виделись.

Нора хочет объяснить, сказать, но Марите опередила:

— Я тебе халат принесла.

— Большое спасибо!

Сейчас она Марите покажет свидетельство. Пусть тоже знает.

Марите переобувается. Силится втиснуть ногу в старый мальчишеский ботинок. Второй стоит рядом.

— Смотрите... — Нора протягивает листок.

— Что это? — Марите поднимает голову. — А... — И снова нагибается к ботинку.

— Прочтите, пожалуйста.

— Да знаю я эти...

Почему Марите так спокойна?

— Но он же... как немец!

— Ого, какая ты строгая! — наконец нога влезла. — Прямо прокурор.

— Я не строгая. Но если он подписал, значит, заодно...

— А по-моему, это значит только то, что он спасался. И семью спасал. Жену, невестку, внука. Сын пропал в первый же день войны. Вышел из дому и — нет... Даже неизвестно, чья пуля угодила.

— Но почему он семью спасал т а к?

— Если бы отказался подписать, фашисты решили бы — есть что скрывать. А дальше — сама знаешь. Средь ночи стук прикладами в дверь. Девять километров до леса... Назад бандюги возвращаются одни. И диски в автоматах пусты...

Нора молчит. Об этом она не подумала...

А все-таки это свидетельство...

Марите обула и вторую ногу. Распрямляется.

— А кому хуже оттого, что он подписал?

Нора не знает, что ответить.

— Не он один подписал. Все, кому велели, подмахнули. Но это вовсе не значит, что все они были согласны с этим бредом.

И все-таки он теперь кажется Норе не таким, как утром, когда улыбался: «Значит, вы наша кормилица».

Марите достает из сумки халат.

— Переоденься. Платья для такой работы жалко. Небось единственное.

— Да... Большое спасибо.

— И не смотри на всех, кому было не так плохо, как тебе, волком.

— Я и не смотрю...

Нора хотела работать рядом с Марите. Но по дороге сюда девушка в клетчатом плаще их нагнала, взяла Марите под руку и увела вперед. Грузить носилки тоже осталась в паре с нею. А Нора работает с какой-то незнакомой и, кажется, даже недовольной Нориным соседством женщиной.

Еще хорошо, что Марите недалеко. Нора слышит ее голос. Видит, как руки Марите в серых перчатках кладут на носилки обломки бывших стен. А может, потолков, лестниц. Теперь не узнать, что чем было... Теперь все это — обломки, которые надо грузить на носилки.

Норе не терпится грузить быстрее — чтобы уменьшились груды этих кирпичей, железяк. Надо, чтобы на других улицах тоже скорее убрали. Ведь людей в городе много. Если каждый, проходя мимо развалин, унесет с собой хоть по одному кирпичику...

— Дайте я вам помогу. — Нора заметила, что соседка силится поднять большую глыбу.

Вместе поднимают, взваливают на носилки. И снова грузят молча.

Прошел Рагенас. Он все время проходит мимо. Когда с полными носилками идет вниз, к машинам, и когда порожняком возвращается назад. Нора старается видеть его. И повернуться так, чтобы он не был у нее за спиной.

«Он только спасался...»

Даже здесь он одет иначе, чем все. Брюки-галифе, высокие клетчатые гольфы. Теперь он выглядит не как артист, а как пожилой барин, который собрался погарцевать верхом на лошади. Еще бы только хлыстик в руки.

Но хлыстика нет. Есть носилки. И он, крепко вцепившись, будто впрягшись в передние ручки, носит вместе со своим, тоже седым, напарником эти глыбы все еще скрепленных цементом кирпичей.

«Он только спасался. И спасал свою семью...»

Улыбается. Тем двум женщинам, возле которых ставит носилки. И не дает им нагружать. Сам нагибается. Джентльмен.

Но ведь немцы со своими женщинами тоже были вежливы.

«...А кому хуже оттого, что он подписал?»

Наверно, никому...

И все-таки он подписал.

Внезапно Нору обжигает мысль: а если бы она т о г д а постучалась к нему?..

Она смотрит на его обтянутые гольфами мускулистые ноги. На галифе, прямую осанку. И никак не может представить его в низкой деревенской избе, куда она бы постучалась...

«Не смотри на всех, кому было не так плохо, как тебе, волком».

Она и не смотрит. А на Рагенаса вообще не будет смотреть. И думать о нем больше не будет.

Нора распрямляется.

— Устала? — кричит Марите.

— Нет! — Нора быстро нагибается, взваливает на носилки большую глыбину. Еще одну.

— Хватит, куда вы!

Ничего, что Марите не рядом. Нора ее видит. И голос слышит. А соседка пусть себе молчит. Она ведь не только с Норой — ни с кем не разговаривает. И работает так, будто у нее тут есть свои обломки, которые она и должна переложить на носилки. Остальное ее не касается.

И пусть.

А все-таки если бы вместо нее тут работала Алдона... Они бы, конечно, разговаривали. Алдона бы что-нибудь рассказывала. Может, о Тадасе. Какой он до прихода гитлеровцев был хороший, спокойный. И обязательно вспомнила бы, как он приезжал свататься. «Он мне так понравился, что я начала бояться — не женится. Я всегда так: если чего-нибудь очень хочу; пугаюсь — не исполнится. Иногда даже себе не признаюсь, что хочу. Чтобы не вспугнуть...»

Но Алдоны нет. Есть только эта женщина с тонкими губами и выражением недовольства на лице.

Опять прошел Рагенас...

А его напарник похож на старика Стролиса. Такая же белая голова.

Нора вспомнила гробы. Четыре больших и один маленький...

Она силится вспомнить Стролисов живыми. Представить себе, как Винцукас сбегает с крыльца. Как Стасе идет с подойником в хлев. Даже зажмуривается, чтобы это увидеть. Но гробы во дворе все равно стоят. И Стасе по дороге в хлев их обходит. Даже Винцукас пробегает мимо своего...

— Стасе!

Нора вздрагивает, открывает глаза. Она здесь, на субботнике.

— Стасе, ты что, не слышишь?

Это Марите зовет ее напарницу. Она тоже Стасе?

— Слышу... — откликается та неохотно.

Марите подходит к ним.

— Ты, кажется, хотела купить белый шелк.

— Продаешь?

— Не я, тип один. Но у него на две кофточки, и не хочет, черт, резать. Давай пополам.

— А что за шелк? — все такая же недовольная, допытывается Норина напарница.

— Парашютный, из трофеев.

— Говорят, он сыпучий.

— Как знаешь. — И Марите поворачивается.

— Мне... можно этот шелк? — неожиданно выпаливает Нора.

— Отчего ж нет, были бы деньги, — бросает Марите на ходу.

Если бы Нора знала, что Марите все равно отойдет...

И тетя Люба будет недовольна. Говорила, в первую очередь нужно пальто.

А как объяснить? Очень уговаривали, и неудобно было отказаться? Велели всем ходить на работу в белых кофточках? Но ведь не школа, чтобы всем в одинаковом, как в форме.

«Лучшая ложь — это правда».

Это говорила бабушка, когда чувствовала, что Нора собирается «сочинять».

В памяти стало медленно всплывать что-то очень хорошее. Давнее.

...Нора хотела надеть новую форму, которую накануне принесла от портнихи. А бабушка говорила, что обнову положено надевать на Новый год.

Но так не терпелось показаться в новой форме! И она надела.

Девочки, конечно, сразу заметили. И самой нравилось — плиссе новое, упругое. Когда, садясь, приподнимала его, оно так и оставалось вздыбленным. Как кринолин.

Но на последней перемене, когда она мчалась по лестнице вниз, на повороте вдруг зацепилась, и...

Как она тогда плакала! Корила себя, зачем надела, зачем бежала по лестнице. Могла остаться в классе. Форма была бы по-прежнему новой. И так хотелось, чтобы опять была та же перемена! Она бы никуда не побежала, даже в коридор не вышла бы. И форма осталась бы целой.

Девочки весь урок присылали записки: «Скажи, что мальчишка толкнул», «Не твоя вина — в парте был гвоздь!», «Хочешь, скажи, что я тоже порвала», «Жалуйся! Упала и ушибла руку. Очень болит. Мама начнет прикладывать компресс (а ты стони!), и ей некогда будет ругать».

А когда Нора пришла домой и бабушка увидела этот свисающий плиссированный клок, сразу предупредила: «Лучшая ложь — это правда».

Потом зашивала. Долго, старательно.

Норе опять, как тогда, стало жаль форму. Где она теперь?

Наверно, под такими же руинами. Только на их улице, там, где лежит обломок стены со знакомыми синими цветочками. Форма где-то внизу, совсем изодранная, похожая на тряпку...

А пианино? Его, наверно, и совсем раздавило. Найти бы хоть одну клавишу. Хоть костяшку. Белую. Она положила бы ее на этажерку...

Нора ударилась рукой о какую-то блестящую палку. Попробовала вытащить. Хоть расшатать. Но не могла даже сдвинуть с места. А рядом, оказывается, вторая

такая же. Они что-то напоминают... Ножки никелированной кровати.

Нора начинает разгребать все вокруг, откатывать в сторону.

— Помогите мне, пожалуйста.

Соседка берется за вторую ножку.

Вытащили. Это спинка. То есть изголовье никелированной кровати. Нора счищает с нее каменную пыль.

— А где человек, который на ней спал?

Норе казалось, что она об этом только подумала. Но, видно, сказала вслух. Соседка вздыхает:

— Кто может знать...

Нора держит этот погнутый, поцарапанный, но все еще блестящий остаток кровати.

Раньше эта кровать стояла в комнате. У стены. Наверно, висел коврик. И тот, кто спал на ней, каждое утро и каждый вечер, или когда болел, видел его — знакомый, всегда одинаковый. Может, на нем был изображен за́мок, луна, трубадур.

Вдруг Нора обмерла. Стрекот...

Стреляют?! Бежать!

— Хоть бы предупредили.

Это голос ее соседки. Она здесь. Никто не бежит.

— Так плохо одетых — и для кино... — ворчит она.

Кино?!

Правда. На соседнем пригорке стоит человек с большой, как огромный фотоаппарат, камерой.

Это она стрекочет! Камера! Конечно же, ведь у автомата и звук совсем другой.

Нору трясет. Она хочет рассмеяться, заплакать — что-нибудь! Но только дрожит. Трясутся плечи, руки. Она не может их унять. Ухватить эти щербатые кирпичины и положить на носилки. Она же здесь, на субботнике!

— Товарищи, не смотрите в объектив. Продолжайте, пожалуйста, работать! — кричит в жестяной рупор женщина в гимнастерке. А юбка почему-то штатская, серая.

И правда — никто не работает. Кто шел с носилками — стоят. Кто грузил — распрямились. И все смотрят туда, где камера.

— Товарищи! — умоляет женщина в рупор. — Мы же снимаем ваш трудовой процесс. Работайте, пожалуйста, как раньше. С энтузиазмом, с огоньком.

Послушались. Опять двинулись носильщики. Натянулись и те, кто грузил.

Камера снова застрекотала. А к Норе вернулась дрожь. Мелкая, в унисон с этим стрекотанием.

— Не обращайте внимания на съемки, не смотрите в объектив, — размеренно, будто учительница диктовку, повторяет женщина в рупор. Она, видно, поворачивается во все стороны. То ее голос звучит рядом, то ветер уносит его влево. Опять возвращает.

И все равно теперь работают иначе. Носильщики просят грузить побольше. И норовят пройти мимо камеры. Да еще будто ненароком повернуть к ней лицо. Подтрунивают друг над другом — кто лучше всех выйдет, получит приглашение в Голливуд.

Даже Норина соседка, недовольная этой «пустой возней», незаметно засунула под косынку клок волос, торчавший жесткой метелкой. И тоже старается, будто для того, чтобы сподручней было, поворачиваться в ту сторону, откуда стрекотня. Даже почти улыбается!

А Марите?

Нора приподнимает голову, но женщина с рупором машет ей, и Нора снова нагибается. Только успела заметить, что теперь Марите без косынки и даже распустила волосы. А руки не в перчатках.

Нора приглаживает свой ежик волос. Чтобы не топорщился.

ГЛАВА VII

Нора еще не совсем поняла, что просыпается, когда вспомнила: сегодня воскресенье. Сразу стало жалко — она не пойдет на работу и целый день будет скучно.

Она уговаривала себя еще не пробуждаться, спать. Чтобы день потом не тянулся так долго.

Но спать совсем не хотелось. Значит, день будет длинным, как и прошлое воскресенье. Она, конечно, пойдет к отцу. Погуляет с Татой. Будет у них обедать. Но все равно до следующего утра еще останется много времени.

Вдруг она вспомнила: сегодня должна им рассказать об Алике, о том, что он знает о своем отце. Что хочет убежать.

Сон совсем исчез. Будто и не спала она вовсе, а так лежит со вчерашнего вечера и думает. Надо им рассказать.

Нора уже давно собирается сказать. Но не знает — как. И кому — отцу или тете Любе.

Вчера решила посоветоваться с Марите. После работы пошла проводить и все рассказала. Но Марите только усмехнулась:

«Напрасные страхи. Никуда он не денется».

«А если?»

«На первой же незнакомой улице испугается. И вся храбрость вытечет слезами. А какая-нибудь сердобольная тетенька приведет его домой еще до того, как мать хватится, что он исчез».

У Марите все так просто, рассудительно. Будто ничего плохого не может случиться, нечего тревожиться. А Норе, наоборот, все время кажется, что должно случиться что-то плохое. И она повторила:

«А все-таки надо их предупредить».

«Предупредят. Без тебя найдется кто-нибудь другой. . .»

Нору будто ударило. Внутри, у самого сердца. Она даже приостановилась.

«Ты что?» — удивилась Марите.

Нора не могла ответить. Казалось, все еще звучит: «Кто-нибудь другой. . .»

«Обиделась?» — спросила Марите.

«Нет. Но. . .»

Она не могла объяснить. Марите тоже не спрашивала. Шли молча.

Неожиданно — Нора даже сама удивилась, услышав свои слова, — заговорила.

. . .Это было еще в первую зиму. Ночью. . . Она так закоченела, что уже еле передвигалась. Но с вечера ее в одну усадьбу не впустили даже погреться, еще пригрозили немцами, и она боялась куда-нибудь постучаться. А холод совсем сковал. Казалось, сейчас она упадет и замерзнет. Утром ее найдут мертвой, запорошенной снегом. . .

И она стала сама себе твердить, что надо постучаться. Обязательно! Сейчас, пока еще не упала.

Но мимо ближайшего дома прошла, не завернув, — большой, в таком, наверно, живет староста. И второй ми-

новала — очень зло заливалась собака. Два соседних стояли наглухо заколоченные.

Наконец доплелась до крайнего домика, у самого леса. Постучалась. Открыла женщина. А в сенях было так тепло... Но вышел мужчина и не разрешил впустить ее.

Всего и было тепла, пока стояла на пороге. А тот мужчина, задвигая за нею засов, — Нора долго не уходила, может, передумает? — бормотал, недовольный: «Мы что, единственные? Пусть другие впускают, кто подальше от дороги».

А пока она искала этих «других», чуть не замерзла. И еле спряталась от пьяного полицая — он орал, что видел человека...

Не только в ту ночь она слышала или чувствовала это «пусть другие». Люди не оправдывались, что боятся. Даже сочувствовали. Но... пусть другие.

Нора и тогда не понимала, и теперь, рассказывая Марите, не может понять — неужели этим людям и правда казалось, что другим легче, не так опасно? Однажды, у Стролисов, когда Стасе предложила ей перейти с чердака в погреб — там теплее, — Нора сказала, что это опаснее для них. Если ее найдут на чердаке, она будет говорить, что сама туда забралась, а если в погребе... Но Стасе не дослушала, взяла тулуп, мисочку и повела вниз... Тогда Нора и рассказала про это «пусть другие». Стасе пожала плечами. А ее отец, дедушка Стролис, почему-то рассердился: «Если еще успокоить себя, что ничего плохого оттого, что ты не помог, не случится — кто-нибудь другой наверняка поможет, — то и вовсе можно себя считать хорошим человеком».

Марите молчала.

Наконец она сказала тусклым, будто чужим голосом: «Но это совсем другое — что было тогда и что теперь».

Нора кивнула. «Конечно. А все равно нельзя так: знать, что н а д о что-то сделать, и не сделать этого».

Марите не ответила. Молчала. Только не так, как молчат, когда согласны.

«Я должна их предупредить», — повторила Нора.

«Предупреждай. Только не обижайся, если тебе скажут, что это ты сама ему и проболталась. Из ревности».

Нора опешила:

«Что вы?! Папа не подумает! И... тетя Люба тоже».

Марите молчала.

«Больше некому их предупредить. Никто же не знает, что он хочет убежать».

«Сомневаюсь. Дети не умеют хранить тайны. Особенно те, которые их волнуют».

Марите остановилась. Они подошли к ее дому. Протянула Норе руку.

«А все-таки не встревай ты в их дела. Пусть живут как понимают. И выбрось это из головы. Не убежит он».

А Норе кажется — убежит! Будет один в лесу...

Она скажет. Завтра обязательно скажет!

Теперь это завтра уже наступило...

Она старается представить себе. Входит. Здоровается. Отец подает газеты: «Еще два города освободили!» Конечно, с чуть заметной грустью: без него это. Или даже с завистью: «Мои уже у Вислы...» А Нора первым делом смотрит на напечатанные жирным шрифтом названия городов — какие освобождены. Потом уже читает всю сводку.

Прочла. Села рядом. Теперь должна сказать.

А как?

Начинает с начала. Мама тоже так учила — если на рояле не получается какое-нибудь трудное место, даже один пассаж, надо начинать с самого начала. И повторять, повторять, пока не получится.

Но то было на рояле. И по написанным нотам. Не надо было самой придумывать.

Она закрывает глаза. Силится представить себе.

Входит. Здоровается. Отец подает газету. Она читает сводку. Садится.

А дальше?..

Входит... Читает газету...

Нора открывает глаза. Она всегда так делает: если думает о чем-нибудь с закрытыми глазами и хочет перестать, быстро их открывает. И уже думает о том, что видит.

Еще очень рано. Солнце только у края комода. Если даже на работу, и то должна была бы встать, когда солнце доберется до середины листка и разделит его, как костюм паяца, на светлую и темную половины.

А сегодня надо ждать, пока оно ляжет на весь комод.

Это будет еще не скоро...

Может, считать? До трех тысяч шестисот. Будет час.

Нет. Это там, в укрытиях, она так «толкала время». Теперь не надо. Она вернулась в город. Здесь папа. И не надо больше бояться, что убьют!

Нора очень любит повторять это. Особенно когда лежит на кушетке. Скат крыши здесь низко, над самой головой, и вдруг начинает казаться — она на чердаке! Могут найти!

Все ей говорят, чтобы не думала так много о том, что было. Это прошло, больше не будет. Теперь надо жить настоящим, тем, что сегодня, сейчас.

Но что делать, если само вспоминается. Даже не вспоминается, а будто еще есть — страх, укрытия. И это ее, Норино. А все теперешнее — чужое, непривычное. И еще ей иногда кажется, что эта комната, папа, работа — не насовсем. Только пока. А потом...

Что будет потом — она не знает. Но хочет себе представить. И все видится опять таким, как было. Прежние комнаты, пианино. Мама, бабушка.

Но от таких мечтаний становится очень грустно. Не будет этого... Мамы с бабушкой нет. Вместо дома — развалины. И город совсем другой.

Так, как было, уже не будет. И все это знают. Живут по-новому.

Нора тоже... Утром идет на работу. Составляет ведомости на хлебные карточки, разносит бумаги. После работы идет к отцу. А все равно помнит. Высокие фуражки... Автоматы... Облавы...

Но этого же нет! И больше нечего бояться!

Она это знает.

А все-таки спохватывается, что, поднимаясь по лестнице, старается ступать неслышно. И довольна, если никто не видел, как она вошла в подъезд.

Бояться не надо. Она здесь, в своей комнате. На этажерке портфель, который ей дали «для служебного пользования». Марите пошутила: видно, Нору готовят в начальники — эти казенные портфели выдали только начальникам отделов и ей. Но товарищ Астраускас объяснил, что ей портфель положен как курьеру.

Вчера она помогла принести из банка деньги. Полный портфель, для всех.

Сама тоже получила. Две большие купюры по десять червонцев, одну поменьше — пять червонцев и одну еще

меньше — три. Двести восемьдесят рублей. У нее никогда не было столько денег. Мама давала мелочь — на завтрак, кино. Такие, бумажные, деньги были только у взрослых.

Нора тихо, чтобы не заскрипели пружины, повернулась на бок.

Солнце добралось почти до середины комода.

А небо там, за окном, очень блеклое. Будто за лето вылиняло. Или ранние осенние дожди смыли с него все краски, а теперь оно расстелено, как загрунтованный художником серый холст, и ждет, чтобы на него наложили новые краски — то ли светлых облаков золотой осени, то ли хмурых туч, нагруженных долгими дождями.

Нора смотрит на небо. Давно не видела его. Здесь, в городе, кажется, ни разу не подняла к нему голову. А ведь даже в укрытиях, хоть в щель, смотрела. На узкую полоску неба, куски облаков, на деревья. Придумывала, на что похожи их ветви. Если торчит одна голая сосновая ветвь, то это протянутая рука. Две, друг против друга, ветки молодой березы — руки дирижера. Только неумелого — ветер все время сбивает его с такта. А мерно покачивающаяся вершина сосны — это метелка, которая сметает с поднебесья пыль.

Там, в деревне, вообще казалось, что мир очень, очень большой. Столько в нем долин, полей, лугов. Столько лесов, перелесков, озер.

Здесь, в городе, Нора совсем забыла об этом: о полях, солнце, деревьях. И о траве — настоящей, густой. Тут все каменное: улицы, дома, руины. Даже пыль — каменная... И еще толкучка! Нора вдруг вспомнила удивившее ее вчера слово. Это Марите сказала, что пойдет сегодня на толкучку покупать белую кофту. С парашютным шелком ничего не вышло: тот тип продал кому-то другому.

Нора тоже пойдет туда! Встретит там Марите...

Она вскочила. Быстро натянула платье. Сжевала оставленный с вечера кусок хлеба. Взяла в комоде свои деньги и выбежала.

На лестнице пусто.

Стали бить башенные часы на площади. Каждые две ступеньки — удар.

Пробило восемь.

Теперь Нора и сама удивляется, что купила эту щетку. И тетя Люба недовольна:

— Зачем она тебе? Ведь еще чистить нечего.

Нора это понимает. Но так получилось.

— Ничего, — примирительно говорит отец. — Щетка тоже нужна.

— Будет нужна, — поправляет его тетя Люба. И не удерживается, вздыхает: — Хоть бы купила что-нибудь другое.

— Другое было очень дорого.

Тетя Люба выходит из комнаты. Она всегда выходит, когда раздосадована и не хочет этого показать. Нора начала было объяснять отцу, что не собиралась ничего покупать, пошла только поискать Марите, но замолчала. А если отец спросит, почему же взяла с собою деньги?

Она и сама не понимает почему. Ведь правда, не думала ничего покупать.

И когда пришла на эту самую толкучку — не думала. Только удивилась, что тут очень много людей. Ее толкали, обходили, будто она всем мешает. А она, привстав на цыпочки, высматривала Марите. Но видела одни головы. Простоволосые и в платках. Они двигались, перемещались, но никуда не уходили. Казалось, даже наоборот — потому и не стоят на месте, что норовят быть в самой гуще.

Знакомой головы Марите не было видно.

Нора решила посмотреть, кто продает кофточки, — может, так легче найдет. И опять удивилась: сколько продают разных юбок, платьев, пиджаков. Не новые, как в магазине, с красивыми бирками, а ношеные. Некоторые совсем старые. Только тщательно выглаженные, даже приукрашенные. Из кармана лоснящегося пиджака торчит белоснежный платочек — «фантазия». А к зеленому платью совсем некстати пришит красный бант. Каждый хвалит свой товар. Если все это слушать, получится настоящая ода старью. «В такой юбке и на бал не стыдно пойти». («А мне не на бал, на работу», — это уже ответ.) «Девушка, шелк на это платье мне из Парижа привезли».

Высокая, в серьгах, женщина держала фрак. Но никто не обращал на него внимания. И фрак очень грустно свисал с рук своей хозяйки. Некогда нарядный, надеваемый для выхода на сцену, под свет прожекторов,

он теперь был вынесен в эту шумную толкотню. И казалось, он нарочно сутулится, чтобы его не купили чужие люди, чтобы не унесли в чужой дом. Уж лучше висеть в шкафу на своем привычном месте, даже ненужным, забытым. А что хозяйке нужно на полученные за него деньги купить хлеб — откуда фраку это знать.

Нора выбралась из толпы.

Вдоль всего рыночного забора, прямо на земле, на подстилках, был очень непривычный товар — кучки ржавых гвоздей, старые дверные петли. Иголки для примусов. Даже клубки веревок. Возвышался голый, без абажура, остов настольной лампы. Парами лежали резиновые набойки. Рубчатые, видно из покрышек велосипедных колес. Еще дверные ручки, связки старых ключей. Бисеринки. Они лежали маленькими разноцветными щепотками на клочках бумаги. Опять гвозди — тоже старые и ржавые, но старик выравнивал каждый молотком. Никто их не покупал. Однако стояли и смотрели, как он их старательно выпрямляет.

Нора снова вернулась в середину толпы, где, казалось, стало еще теснее. Вертелась в этом движущемся человеческом лабиринте, даже забыла, зачем сюда пришла. Глазела, как примеряют юбки, кофты. Рассматривают на свет — придирчиво, долго. С недовольным видом спрашивают цену. Уходят. Снова возвращаются. Опять разглядывают.

Норе тоже хотелось бы примерить или хотя бы потрогать какое-нибудь платье, кофту. Но ведь сразу станут уговаривать, чтобы купила. Она и цену спрашивать стеснялась. Ждала, когда спросит кто-нибудь рядом. Но все было так дорого... И собственных червонцев, которых утром казалось так много, теперь не хватило бы ни на что.

Нора опять выбралась из толпы. Пошла смотреть на бисеринки. Когда еще была маленькая, очень любила нанизывать их на нитки.

Неожиданно рыжеусый дяденька с деревяшкой вместо левой ноги (Нора даже вздрогнула: неужели и у папы будет такая?..) протянул ей щетку:

«Бери, доченька, всего пять червонцев прошу».

Щетка совсем такая, как та, что дома лежала в передней на полочке. Только эта темная.

«Бери, доченька...»

Он, кажется, удивился, когда Нора развернула свои сложенные в квадратик деньги и достала пять червонцев.

«Дай тебе бог счастья», — сказал дяденька, пряча ее деньги между культей и деревяшкой. И сразу же забыл о ней. Опять стал выкрикивать: «Берите гвозди. Бабоньки, кому гвозди? После Гитлера надо отстраиваться. Вернутся с фронта мужики, спасибо скажут, что заготовили. Покупайте гвозди. Пока еще война — недорого прошу!»

Нору потянуло уйти отсюда — от этого шума, толкотни. Марите все равно нет.

На улице опять посмотрела на щетку. Она уже не казалась похожей на ту, что лежала в передней. Эта черная, стертая. Она чужая...

И тетя Люба недовольна. Вышла из комнаты, чтобы не сделать замечания. Нора однажды слышала, как она сказала папе: «Я не могу ей делать замечания, она обидится. А ты отец».

Нора вдруг вспомнила: она ведь должна предупредить об Алике! Уже теперь, сейчас. Пока не вернулась тетя Люба, надо папе сказать, что Алик знает правду о своем отце. Собирается убежать.

Норе даже кажется, что она уже говорит это. Но в комнате тихо.

— Алик знает...

Отец сидит задумавшись и, кажется, не расслышал. Она повторяет громче:

— Алик знает...

— Что-что?

— Он знает... — Нора смотрит на пол и на стоптанный, как набойка, кончик костыля. — Что ты... что его отец погиб на фронте...

Папа молчит. Тоже уставился в пол.

— Одна женщина во дворе ему сказала.

— А мы думали — так будет лучше...

— Конечно, лучше! — Ей очень страшно, что отец такой бледный. И в руках — его красивых руках с длинными пальцами — ни кровинки. Нора погладила бы эту, правую, которая поближе. Но только повторяет: — Конечно, лучше. Но Алик этого не понимает и хочет убежать.

Отец не шевельнулся. Может, не расслышал. Нора хочет повторить, но он, не поднимая головы, спрашивает:

— Алик тебе это сказал?

— Да. То есть... что он убежит на фронт. Что хочет быть, как его... — и она не докончила.

Отец молчит.

— Хочешь, я поговорю с ним? — вдруг предлагает Нора.

Отец удивлен:

— О чем?

Нора пожимает плечами.

Может, о том, что тетя Люба ей тоже не мама. Но сказать это вслух, отцу, она не может...

— Если уж говорить с ним, то надо бы мне самому... Объяснить. Хотя он вряд ли все поймет. — И, глядя на свою единственную ногу, с тихой горечью добавляет: — Дети очень категоричны.

«Я не категорична!» — хотела сказать Нора. Но промолчала. Она всегда молчит, когда отец говорит с ней об этом — очень смущаясь, начинает объяснять, как искал их, как надеялся... Но соседка сказала, что сама видела... А если бы не тетя Люба... Особенно после ампутации...

Каждый раз, когда он начинает так говорить, Нора хочет попросить: не надо! Она ведь понимает.

Но сегодня он, кажется, и сам не будет продолжать. И она тихо просит:

— Не говори, пожалуйста, Алику, что это я тебе сказала.

— Наверно, вообще не буду говорить об этом.

— Почему?

— Так будет лучше... Пусть все остается по-прежнему. — Отец, кажется, сам прислушивается к своим словам — правильные ли. Немного подумав, добавляет совсем так, как говорил раньше, дома: — Нет, не буду. Пусть хотя бы подрастет для такого разговора.

— Но если... — Нора все же решается напомнить: — Если он убежит?

— Не думаю.

— Он же говорил...

— Говорить он мастер. — Отец, кажется, доволен, что Алик говорун. — И фантазия у него богатая. Но только

пока он дома. А убежать, думаю, не решится. — Помолчав, объясняет: — Он очень напуган. Когда эвакуировались, их эшелон разбомбили. И он потерялся. Только на второй день тетя Люба нашла его, с вывихнутой ручкой, совсем обессилевшего от плача. Он это, видно, помнит. И по ночам иногда кричит.

Норе кажется, что отец говорит совсем о другом Алике — маленьком, заплаканном. А этот, который теперь играет во дворе...

— Ты тете Любе ничего не говори, — просит отец.

— Я бы и тебе не сказала. Но боялась...

— Пусть все остается по-прежнему...

Тетя Люба тоже удивилась, что Нора так быстро уходит. Даже спросила — не заболела ли. Нет, она здорова. Но почему уходит — объяснить не могла.

За обедом было больно смотреть, как отец украдкой поглядывает на Алика. Норе казалось — то с жалостью, что Алику не по детским силам знать свою тайну, то, наоборот, будто сам пугался, когда Алик начинал говорить. Словно ждал недоброго.

Нет, не осталось по-прежнему... И все потому, что она рассказала.

Но ведь боялась, что Алик убежит! И не ждала, что предупредит кто-нибудь другой.

А выходит — только расстроила отца.

Но предупредить же надо! В деревне всегда так делали, если узнавали, что будет облава.

Нора брела по улице. Смотрела на встречных прохожих. Откуда они, все другие люди, знают, как правильно поступить?

Отец с тетей Любой знают, что лучше Алику правды не говорить. Ядвига Стефановна знала, что папу надо подготовить к их встрече. И ее готовила — объясняла, что человеку трудно жить одному... А самой — чтобы радоваться хоть чужой радостью — надо ходить туда, к объявлениям.

Нора чуть не споткнулась, пораженная: забыла! Совсем, ни разу не вспомнила о тех листках, бабочками приколотых к стене. Там же висит ее объявление! Может, кто-нибудь прочел и написал под ее строчками, что знает...

Она побежала туда.

Она маму не забыла! Очень ждет, чтобы вернулась. И не потому туда не ходила, что нашла папу. Она маму ждет, ищет! И бабушку тоже!

Стало перед ними совестно. Жалко их. Нора хотела, чтобы мама видела, знала, как без нее плохо, как Нора хочет, чтобы мама вернулась!

Сердце билось гулко, нетерпеливо. Тоже рвалось туда.

Добежала уже запыхавшись и рывком открыла дверь.

Все так же, как тогда. Очень много людей. Будто те самые все еще здесь. Расспрашивают друг друга...

Она стала проталкиваться в левый угол, к своему объявлению.

Висит. Тот же листок из бухгалтерской книги. С теми же тремя фамилиями. Но оттого, что давно его не видела, он кажется чуть другим, непривычным.

Нора нарочно рассматривает его, чтобы еще не признаться самой себе — под фамилиями ничего не написано.

Никто не знает, где ее мама. Мама Ида, как Нора ее иногда называла...

Здесь только строчка. Ида Маркельскене. Это мамина фамилия...

Норе кажется, что буквы погрустнели — жаль им Нору. Они просительно смотрят со стены, будто хотят, чтобы их прочли. И чтобы Норе сказали...

Что-то больно падает на ногу. Щетка. Та самая, которую она сегодня зря купила.

Потом напрасно рассказала отцу об Алике...

Вдруг где-то рядом послышался знакомый звук. На миг рассек этот гул и снова исчез.

Нора стала прислушиваться — может, повторится. Тогда она обязательно узнает, вспомнит. Ведь где-то слышала...

— Пожалуйссста, есссли сссможете.

Иоанна! Ее «ссс». «Пожалуйссста подвиньссся» — это в классе, на письменных по математике, чтобы увидеть, какой у Норы ответ.

Нора быстро повернулась на голос.

Это она, Иоанна! Только какая-то другая...

Без кос. И высокая, худая. Разговаривает с военным. Прощается. Сейчас уйдет!

— Иоанна! — Норе показалось, что она крикнула, но Иоанна даже не повернулась.

— Иоанна! — теперь уже и правда позвала очень громко.

Услышала. Но смотрит на Нору удивленно... испуганно... Будто не верит.

Думала, что ее нет?

— Нора?! — наконец Иоанна ее узнала. Или, может быть, поверила. — Ты?!

Они обнялись. Хотя никогда не делали этого раньше. Иоанна, видно, тоже подумала об этом — они отпустили друг друга. Но стоят близко, рядом. И Нора смотрит на нее — пусть без кос, худую, не похожую на ту школьную красавицу, но все равно Иоанну!

— Как математичка? — Нора и сама не понимает, зачем ляпнула это. И все же продолжает: — Больше не придирается к тебе?

Иоанна мотнула головой.

— А химичка?

— Не знаю... — тихо отвечает Иоанна. — Я не хожу в школу.

— Я тоже... — Нора опять возвращается сюда, к этим объявлениям. К пустоте под ее строчками. И слышит, как Иоанна говорит:

— Я брата ищу, Мику...

— Мику?!

Его прозвали «образцовый брат». За то, что в школу ходил только с ней, Иоанной. И благовоспитанно нес ее портфель.

— Мику...— И Иоанна показывает приколотое четырьмя довоенными кнопками объявление. На куске ватмана рейсфедером выведено: «Кто знает о судьбе Миколаса Контримаса, 1925 года рождения, вывезенного в Германию 27 апреля 1942 года, просим сообщить по адресу...»

Улица та же. И дом. Значит, уцелел.

— А я ищу маму, — говорит Нора. — И бабушку.

— Их тоже вывезли?

— Нет, здесь забрали. В самом начале...

— А... — сочувственно протягивает Иоанна. И опускает глаза.

Она тоже думает, что те, кого тогда забрали, не вернутся?

— А твоя мама где? — стараясь, чтобы голос не дрожал, спрашивает Нора.

— Дома.

— Значит, у вас все как раньше? — и осекается. Ведь Мики нет...

— Мама дома...— повторяет Иоанна и еле заметно вздыхает.

— Мой папа тоже здесь.

— Да? — Иоанна обрадовалась, но лицо все равно грустно-неподвижное. — Разве он не на фронте?

— Нет, демобилизовали. — Про ногу Нора не может сказать.

— Хорошо, что ты не одна.

— Хорошо... — повторяет Нора.

— Девушки! — К ним пробирается военный. — Вы не знаете Лавриновича? Владика Лавриновича?

— Нет. — Норе кажется, что ответила как-то безжалостно, и она спешит поправиться: — К сожалению, не знаем...

— Он учился в восьмом классе, — все еще с надеждой говорит военный. — В восьмом классе первой средней школы.

— А мы учились во второй, — словно извиняясь, отвечает Иоанна.

Военный отходит.

Они молчат.

— В наш дом попала бомба, — наконец заговаривает Нора.

— Знаю. Я там часто прохожу.

И снова молчат.

— А где вы теперь живете? — догадывается спросить Иоанна.

— Я тут, недалеко, а папа... — заметив ее удивление, Нора умолкает. Но сразу спешит объяснить: — Он же не знал, что я осталась... И был ранен... в ногу...

— Лавриновича... Владика Лавриновича... — снова слышится голос военного.

— На фронте многих ранили... — говорит Иоанна.

— Он не знал, что я осталась, — повторяет Нора. — Искал нас. Потом ему сказали — нас нет, никого... А эта женщина, тетя Люба, тоже была одна, с детьми... Ее муж погиб на фронте. Она очень хорошая.

Иоанна молчит.

— Детям нужен отец... — доказывает Нора.

— А тебе?

— Он ведь и мой тоже!

— Тоже...

Нора не знает, о чем еще говорить.

— Я пойду...

— И мне пора...

Они пробираются к выходу.

— Лавриновича... Владика Лавриновича, ученика восьмого класса... — Умоляющий бас провожает их до самой двери.

Выходят на улицу. И обе останавливаются. Только теперь Нора замечает, что у Иоанны в сумке полбуханки хлеба и белый матерчатый мешочек, завязанный лентой. Нора узнала — Иоанна ее вплетала в косу. В мешочке, наверно, крупа. Значит, у них больше нет Иоанниной няни Каете и Иоанна сама отоваривает карточки. А раньше ничего не делала. Даже своей комнаты не подметала.

— Мне туда...

— А мне в ту сторону, — показывает Иоанна.

Нора кивает. Она помнит, где Иоанна живет.

И обе продолжают стоять.

— Никуда не торопишься? — нерешительно спрашивает Иоанна.

— Нет...

— Может, зайдем к нам?

— Хорошо. — И, вспомнив, что мама Иоанны учительница, поспешно добавляет: — Если можно.

— Да, да, конечно.

Пошли. Только молча.

— На днях уже, наверно, освободят Таллин, — наконец заговаривает Нора.

— И Пярну. Там тоже идут бои.

— Да, я читала.

Опять молчат. Нора никак не может вспомнить, о чем они разговаривали раньше в школе. Иногда и перемен не хватало, на уроках передавали друг другу записки.

На мгновенье Норе даже показалось, что, может, не с Иоанной идет она теперь по улице. Украдкой взглянула. Иоанна. Только не та, не школьная.

Нора хочет вспомнить тогдашнюю, как мальчишки ее прозвали — «принцессу». Это они нарочно, чтобы сделать вид, будто она им вовсе не нравится. А на самом

деле... Вырезáли на своих партах ее монограмму «И. К.» — Иоанна Контримайте. Или одну букву «И». И над Микой подтрунивали, что он «образцовый брат» только из зависти, что не они, а он идет с ней в школу.

Девочкам Иоанна тоже нравилась. Особенно ее косы — самые длинные и толстые во всей школе. Альда пустила слух, будто она их моет каким-то специальным мылом. Иоанна, конечно, смеялась. Но Альда уверяла — это нарочно, чтобы не делиться секретом. Сама, между прочим, во всем подражала Иоанне. Даже «ссс» старалась произносить похоже.

— Ты у нас дома не говори, — тихо просит Иоанна, — что встретила меня там, у объявлений.

— Хорошо.

— Мама... нездорова. — Она умолкает. И ресницы вздрагивают. — Она не верит... что Мику вывезли.

— Как это — не верит?

— Ей кажется, будто Микас только куда-то вышел и скоро вернется... Или что он спит в своей комнате... И что... — Иоанна чуть запинается, — ...вообще ничего не изменилось. Все так, как было раньше...

Нора не может уразуметь, как это Иоаннина мама, их красивая учительница немецкого языка, не понимает, что Мику вывезли. И что теперь совсем не так, как раньше. Она же видит!

Нора вспоминает ее — высокую, стройную. И одевалась всегда красивее других учительниц. Сколько у нее было платьев! И к каждому в тон — туфли. Тоже красивые, на высоких каблуках. Благодаря этим каблукам все знали, что́ будет на уроке. Если немецкий утром — первый или второй урок, — учительница вызывает кого-нибудь к доске, дает книгу — не учебник, а свою, для чтения, и говорит: «Lesen Sie, bitte, und übersetzen Sie». Пока тот, запинаясь и мыча, читает и переводит, она вышагивает на своих высоких каблуках от двери к окну и обратно к двери. Приостановится возле читающего, бросит слово помощи и снова продолжает свой путь. Теперь по проходу вдоль парт и опять: к окну — к двери. К окну — к двери. Но если немецкий бывал последним или даже предпоследним уроком, она, уже усталая, сидела за столом. Объясняла что-нибудь новое и никого не вызывала.

— Ты и о гитлеровцах не упоминай, — слышит Нора теперешний, грустный голос Иоанны.

— Хорошо.

— И что твоей мамы нет, тоже не говори...

Нора вздрагивает от этого «мамы нет», но кивает.

— А может, мне... лучше не заходить к вам?

— Нет-нет, что ты! — Иоанна, кажется, даже испугалась. — Идем. Мама будет очень рада. Ты ведь была у нее отличницей.

Отличницей... Норе странно слышать это забытое слово. Внутри даже знакомо задрожало. Как раньше, когда они всем классом, волнуясь, шли к Иоанне на день рождения. Бывало очень неловко, что учительница им подает чай, сама нарезает торт. Старались есть особенно аккуратно, но, как нарочно, кто-нибудь обязательно ронял кусок торта — конечно, кремом вниз, себе на платье или, еще хуже, на ковер.

— Куда ты? — удивилась Иоанна. Оказывается, Нора, задумавшись, не заметила, что они уже пришли, и чуть не прошагала мимо.

В передней Нора все узнает — вешалку из оленьих рогов и черную подставку для зонтиков. И зеркало в широкой с резьбою раме. Но оно, кажется, висит чуть ниже — теперь не надо вставать на цыпочки, чтобы увидеть себя. И портьеры на окне те же самые.

Иоанна почему-то распахивает первую, «запретную» дверь — в отцовский кабинет.

— Заходи, теперь это моя комната.

— А твой отец?

— Он не работает. Сидит возле мамы.

— Иоанна, это ты? — доносится из соседней комнаты — там столовая, вспоминает Нора, — старческий голос.

— Я, папа.

Папа? Но у ее папы ведь был совсем другой голос. Нора хорошо помнит его — звучный, баритональный. И всегда, здороваясь, он отвечал двойным: «Здравствуй, здравствуй».

Иоанна вынимает из сумки хлеб, белый мешочек с крупой.

— Посиди, я сейчас.

Кабинет такой же, как раньше. Те же самые книжные полки почти до потолка. Только книг в них теперь мало. Две полки даже совсем пустые, лишь стекло блестит.

Письменный стол тоже прежний, на львиных лапах. И маленькие львиные морды на подлокотниках кресла. Норе кажется — сейчас войдет Иоаннин отец в своей домашней «профессорской» куртке и, как обычно, скажет: «А, Маркельските! Здравствуй, здравствуй. Что хорошего в твоей жизни?» А Нора всегда боялась, чтобы он не спросил о чем-нибудь, чего она не знает.

Но теперь он, может, не войдет, если сидит возле больной жены. И Норе опять трудно представить себе, что их красивая учительница больна, что лежит, как другие, в кровати, а старческий голос, который спросил: «Иоанна, это ты?» — действительно голос ее отца.

Правда, девочки рассказывали, что он намного старше учительницы. Она была его студенткой, а он уже был женатый. И, чтобы развестись, должен был писать папе римскому. Но не захотел и просто принял другую веру, перешел в лютеранство. Учительница тоже стала лютеранкой, и они поженились.

Нора это знала. Но ей никогда не казалось, что отец Иоанны старый. Он такой красивый, в очках. А что волосы немного седые — так у профессора они и должны быть седыми. Он всем девочкам нравился. Даже Вите, которая говорила, что замуж выйдет только за военного.

Чуть скрипнув дверью, возвращается Иоанна.

— Я маме сказала, что ты здесь, и она хочет, чтобы ты зашла к ней. Только... — Иоанна запинается, — ты не обижайся, если она... скажет что-нибудь не так... Я ж тебе говорила...

Они входят в столовую. Ту самую... Только теперь здесь непривычный полумрак — опущены шторы. А в углу, в кресле-качалке... Нора даже не сразу понимает, что это сидит их учительница — такая худая, сморщенная, совсем старушка. Только платье знакомое — зеленое. На голове — маленькой, будто тоже высохшей, — топорщатся жидкие клочки волос. Вместо прежней красивой прически... А сидящий рядом очень сухой, сутулый старик, может, и правда отец Иоанны. Те же очки...

— Мама, вот пришла Нора.

— Здравствуйте... — Нора от растерянности сначала даже забыла поздороваться.

— Здравствуй, Маркельските, — отвечает голосом учительницы старушка. Профессор тоже кивает. Только грустно, молча.

— Садись, пожалуйста.

У Норы трепыхнулось сердце — так учительница говорила, когда ставила пятерку. Или четверку. А если произносила только: «Садись», — значит, тройка...

Нора опускается на стул. А пол под ногами кажется незнакомым. «Ковра нет!» — догадывается она.

— Что у тебя хорошего? Как ты провела каникулы? — совсем как прежде, спрашивает учительница.

Иоанна сзади больно сжимает локоть. И Нора поспешно отвечает:

— Спасибо, хорошо.

— Нора была в деревне, — выручает Иоанна.

— Это очень хорошо. Ты купалась?

— Д-д-д-а...

— А немецкий язык за лето не выветрился из головы? — Учительница хочет спросить строго. — Я ведь проверю.

Иоанна опять сдавливает локоть.

— Я... повторяла..

— Это хорошо. Иоанночка тоже занималась. Я хочу, чтобы вы знали больше, чем проходите по школьной программе.

— Спасибо...

Норе кажется, что она здесь уже давно. И теперь всегда должна будет сидеть в этой полутемной комнате напротив обоих стариков и отвечать на вопросы. А шевельнуться нельзя — локоть будто в тисках.

— Как поживает твоя мама? — слышит она.

Тиски сильно сжимают локоть. И все равно Нора не может ничего выговорить.

— Твоя мама все еще обижается на меня, что я тебе вывела в прошлом семестре четверку?

— Нет...

— Мы с Норой пойдем ко мне, хорошо? — Иоанна спешит опередить новый вопрос.

— Чем меньше учитель балует пятерками, — продолжает ее мама, — тем усерднее ученики занимаются и, следовательно, больше знают.

Это она говорила и раньше, в школе.

— Мы пойдем, — опять выручает Иоанна.

— Ты пригласи Нору поужинать с нами, — говорит учительница. — Пусть Касте сделает шарлотку...

Иоанна все не отпускает локоть.

— ...придет Микас, и мы будем ужинать.

Локтю стало очень больно.

— Он... сегодня вернется поздно, — говорит муж своим теперешним, старческим голосом, легонько поглаживая ей руку.

— Тогда пусть Каете оставит ему ужин в духовке.

— Хорошо, — покорно отвечает Иоанна.

— И не забудь ей сказать, чтобы хлеб покупала в другой булочной. К обеду опять был невкусный.

— Хорошо, мамочка, я скажу.

А старик все так же успокаивающе гладит ей руку.

— Пусть девочки идут, — говорит он. — Им надо поговорить, почитать.

— Да-да, идите, — разрешает учительница. — Но обязательно повторите текст. Я потом проверю.

Они возвращаются в кабинет. Теперь он Норе кажется больше и просторнее. Может, потому, что светло? Только маленькие львиные морды на подлокотниках кресла злобно скалят свои деревянные пасти.

Иоанна сидит понурив голову. И Нора ей тихо говорит:

— Все равно хорошо, что у тебя есть мама...

— Конечно, хорошо! — И неожиданно заговаривает совсем о другом: — Кого-нибудь из нашего класса видела?

— Нет.

— Юргиса вывезли. Вместе с Микой они попали в одну облаву.

— Юдиту тоже забрали.

— Знаю. Мне рассказали... И что среди тех, кто ее гнал на расстрел, был Пранас.

— Пранас?! Он же играл на аккордеоне! — И самой стало стыдно своих слов. Но она правда никак не могла себе представить, что Пранас, который на школьных вечерах стоял на освещенной сцене и играл, потом — с винтовкой... как гитлеровец.

— ...и, конечно, удрал в Германию, — доносится голос Иоанны. — После того, что натворил, ничего другого ему не оставалось.

Пранас... С винтовкой... Гитлеровец...

В комнате тихо. Очень тихо.

— Еще Раймонду иногда видела, — прерывает тиши-

ну Иоанна. — Она приходила со своим отцом. Он папины книги покупал.

Нора чуть не спросила, зачем их продавали. Но вовремя спохватилась.

— А что... в школе? — решается она спросить.

— Не знаю. Я ведь училась только первый год. А когда вывезли Мику и мама... — Внезапно Иоанна начинает уверять: — Не думай, мама не совсем больная. Ты же видишь, она узнает, помнит. И читает. Одевается тоже, как раньше.

— Да... — соглашается Нора. И снова видит это обвислое зеленое платье и поредевшие волосы, по-прежнему зачесанные вверх.

— Она только не понимает, что нет Мики... — объясняет Иоанна. — И что мы Касте давно отпустили. И еще... что вещей уже осталось совсем мало. Правда, ее платья папа не разрешает продавать. Хотя они ей теперь очень широки. Продаем его костюмы. Шубу продали. Ковер. И мои косы... Но главное — книги.

— А твоя мама... этого не замечает?

— Мы ей говорим, что отдали в переплет.

— И она верит?

— Верит. Потому что сразу забывает. Потом опять спрашивает. И мы снова говорим то же самое.

— А разве отец не работает?

— Нет. Во время оккупации университет был закрыт. А теперь... нельзя оставить маму. Да и если она поймет, что папа работает, сама тоже захочет пойти в школу. А так мы ей говорим, что каникулы.

— Она и в это... верит?

Иоанна кивает:

— Может, потому что мы с папой тоже дома.

— А зимой?

— Она, кажется, не совсем понимала, что зима. Мы же ее прятали. Гитлеровцы таких больных не лечили. И... забирали. Было очень страшно. Особенно когда над нами, в шестой квартире, жил гестаповский офицер.

— Но теперь ведь можно... — Нора решилась вслух произнести это слово: — ...лечить.

— Мы и лечим. Только дома. Папа не хочет отдавать ее в больницу. К нам ходит его друг, профессор. — Иоанна помолчала. — Все надеемся — когда Микас вернется и она его увидит, — может, начнет поправляться.

Иоанна вздыхает. Теперь уже не стесняясь.

— Вот я и хожу каждый день к этим объявлениям. Хотя... если Микас вернется, ведь сам придет домой.

— Конечно, придет! — спешит заверить Нора. И, помолчав, добавляет: — А мой отец на фронте потерял ногу...

ГЛАВА VIII

Нора старается уснуть.

Она знает, что не надо бояться. И вслушиваться в тишину не надо. Можно спать. А все равно привычно ждет предутренних часов, когда можно быть совсем спокойной.

Но она же спокойна! Нора начинает, как каждой ночью, убеждать себя, что она здесь, в городе. Вспоминает прошедший день, будто повторяет его.

...Она снова ходит по толкучке. Смотрит, как люди торгуются, как примеряют. Сама отдает дяденьке с култышкой пять червонцев за щетку. А тетя Люба недовольна, выходит из комнаты... И Нора рассказывает отцу об Алике. Отец сидит бледный, понурив голову... «Дети категоричны...»

Потом Нора спешит туда, к объявлениям. Укоряет себя, что давно туда не ходила.

На объявлении под ее строчками — пусто...

Иоанна...

Нора испугалась, что сейчас вспомнит и про кресло-качалку, про учительницу, и сразу «перепрыгнула» к прощанию. Иоанна проводила до дверей.

На улице у нее было такое чувство, будто уже давно не видела всего этого — людей, домов, неба. Как здесь хорошо! Люди спешат, обгоняют друг друга. Даже машины катят особенно лихо.

Нора шла быстро, широко размахивая руками. Она идет! Шагает по улице, а не сидит в полутемной комнате, где с кресла-качалки на нее смотрит старая высохшая женщина, совсем непохожая на учительницу. А рядом старик в очках успокоительно поглаживает ей руку.

Нора шла и считала шаги — бодрые, легкие. А ветерок слегка подталкивал.

Она идет по улице. Здесь много людей. И она вместе с ними!

Но когда завернула в свой двор — опять оказалась одна. И на лестнице никого не было. Нора открыла дверь комнаты, и в уши ударила тишина. Застоявшаяся, неживая, как у Контримасов. Ей даже почудилось, что здесь такой же, как у них, полумрак. Будто он всю дорогу следовал за ней невидимый, а теперь выполз из-за спины и уже расплылся по углам.

Ее сковало то же оцепенение, которое было там, когда она сидела напротив кресла-качалки и отвечала, что мама не обижается за четверку.

Вдруг ее пронзил ужас — неужели?! Она боялась даже самой себе признаться в этом. Неужели она... хоть в чем-то такая же? Ведь тоже ждет маму!

Нет, нет! Нора силилась не задрожать. Она не т а к ждет. Она помнит ту ночь. И голос солдата, который кричал на бабушку. И как душно было в ванной под бельем. Она знает, что маму забрали. И что никто из тех, кого забрали, не вернулся. Но... — Нора поспешно искала правильное слово — она н а д е е т с я.

Все равно было жутко. Будто перепуталось все — эта комната, полумрак у Контримасов, вопросы учительницы, здешняя тишина. Тяжелая, как в укрытии.

Захотелось убежать. Вырваться из этой тишины.

И Нора метнулась назад. Сбежала по лестнице.

Во дворе две маленькие девочки, присев на корточки, деловито пересыпают песок. Набирают в совочек и медленно, будто просеивая на ветру, высыпают. Опять набирают — наверно, даже тот самый — и снова высыпают.

К подъезду напротив устало тащится женщина с двумя полными ведрами картошки. Видно, за городом у нее огород и по воскресеньям она туда ходит накопать картошки.

На втором этаже, над самой Норино́й головой, женский голос, сильно фальшивя и поэтому, конечно, очень громко, запел:

В Паланге, в море,
Любовь моя утонула,
И холодные волны
Ее не отдадут.

И опять сначала:

В Паланге, в море
Любовь моя утонула...

Мама от такой фальши заткнула бы уши. А Норе хочется, чтобы эта женщина вышла сюда, во двор. И Нора стала бы ее учить петь эту мелодию правильно. Долго бы учила, весь вечер...

Но женщина не выходит. Продолжает оглашать двор все тем же единственным куплетом, каждый раз фальшивя по-иному...

И Нора побрела к подворотне, где у коричневой двери есть маленькая кнопка звонка и табличка: «К дворнику».

Оказывается, почтальон принес письмо, тетя Янова уже дважды поднималась к ней.

Письмо? Нора обрадовалась, оно, конечно, от Алдоны. Но очень непривычно, что на конверте написано «Н. Маркельските». Раньше письма получали только отец и мама. Теперь она. От Алдоны.

И все словно куда-то уплыло. Отдалилось. Разговор с отцом, Иоанна, учительница. Был только этот серый конверт...

Стало спокойно. Как там, в деревне, после освобождения, когда она была с Алдоной. Помогала ей ухаживать за скотом, готовить еду. Вместе пропалывали огород.

— Почитай, что пишут, — вернул ее сюда голос тети Яновой.

Нора разорвала конверт.

В первое мгновенье показалось — не Алдона это пишет. Слова чужие, будто списанные откуда-то. «Шлю привет от себя, мужа своего Тадаса и отца нашего Йонаса Апутиса». Нора еще раз пробежала глазами эти строчки. И фамилию. Казалось, вовсе не от дедка этот привет, а от кого-то другого, чужого.

Но дальше Алдона уже писала обычно. Что недавно забор починили, что огурцов в этом году было много — и продала, и засолила. А белую курицу, несушку, задавило машиной. «Но главную нашу новость я тебе придержала напоследок — отца нашего Йонаса Апутиса... — и опять Нора приостановилась взглядом на фамилии, чтобы привыкнуть — это и есть дедок, — ...отца нашего Йонаса Апутиса хотят сделать председателем сельсовета. Тадас говорит — не надо, стар уже, да и бандиты кругом. Еще убьют за это и его и нас. А отец, сама знаешь, больше молчит. Только раз, когда спросила, ответил: «Не ре-

шил еще». А я не знаю, как лучше, — и хочу, чтобы отец к старости уважение людей видел, и беды боюсь. Да и нехорошо, что Тадас недоволен. Как ты думаешь? Что говорят у вас в городе? Верно ли, что теперь советская власть уже навсегда и гитлеровцы не вернутся вместе с американцами, как тут ходят всякие слухи. Рассказывали, даже назначен срок высадки американцев около Швентойи».

— Это кто так говорит? — недовольно спросил дядя Ян.

Внезапно погасло электричество. В темноте снова раздался недовольный голос дяди Яна:

— Это кто ж так говорит насчет американцев?

— Не знаю.

Посидели в темноте, помолчали. Когда лампочка снова стала накаляться, Нора глянула, что в письме дальше, но Алдона уже писала о другом. «Что вы там в городе едите? Говорят, у вас ничего нет. Ведь и правда — ни своей картошки, ни молока. Если тебе плохо или еще что не так, приезжай обратно. Тадас тоже говорит: «Если хочет, по мне — пусть живет». Я ж тебе говорила — он только с виду строгий. Потому что был напуган. А если достанешь керосина — купи. Скоро зима, а Шельма, сама знаешь, не любит, чтобы ее доили в темноте. На то и Шельма». Последняя строчка опять будто чужая: «Жду ответа, остаюсь с приветом и уважением. Алдона».

— Думают, здесь керосин из крана наливают, — почему-то недовольна тетя Янова.

— Дядя Ян, — спросила Нора, — а как вы думаете... надо дедку быть председателем?

Он молчал.

Нора знала — надо ждать. Он всегда так — сперва как бы не хочет ответить, а потом начинает. И он действительно заговорил. Медленно, будто прилаживая, подгоняя каждое слово к уже сказанному.

— Кто его знает... Если человек старательный — не для себя одного, для других тоже — то хорошо бы. А что бандиты за это могут... тут уж сам должен выбирать. Если так за новую власть и за людей, что головы не жалко, — почему бы и нет. А коль страшно — то без председательства, конечно, спокойнее. Но ежели подумать, что бандиты не везде и не так уж их много... И что в конце концов их выловят...

Так Нора и не поняла — надо дедку идти в председатели или не надо.

Ей бы тоже очень хотелось, чтобы дедка уважали, чтобы все знали, какой он хороший. Но...

Она поднялась к себе. Опять развернула письмо. Но глаза смотрели только на одну строчку. «Тадас говорит — не надо, стар уже, да и бандиты кругом». Могут убить...

Нет, нет! Нельзя, чтобы дедка.. как Стролисов. Она напишет, чтобы не шел в председатели.

Она быстро выдвинула ящик комода, взяла листок — из той самой бухгалтерской книги, но обмерла: когда дедка могли убить за нее, она же не говорила: «Не надо!»

Нора опустила листок. Значит, и теперь не должна.

Но если дедка...

Тогда тоже могли. Как тех, у мельницы...

Но она же надеялась, что ее не найдут.

Теперь тем более можно надеяться, что не убьют. Дедок же сам говорил, что их выловят. И дядя Ян.

А все-таки...

Нора легла. Закрыла глаза. Что написать? Она очень хочет, чтобы дедок был председателем. Но не решается написать. А вдруг...

И чтобы отказался — не может... Ведь она сама сейчас жива только потому, что дедок не боялся. То есть, наверно, боялся, даже очень. Но... он же сказал: «Гитлеру все равно свернут шею, а кого не дашь убить — тот останется».

Она осталась.

Так что же написать Алдоне?

Нора лежала, уставясь в темноту, будто оттуда ждала ответа. Но его не было.

Внезапно появилось другое: а сама? Как бы она сама?

Нора понимала, что это глупо. Никто ей не предложит стать председателем сельсовета. Она даже не знает, что председатель должен делать.

Но вопрос не исчезал. А если не председателем, кем-нибудь другим? Только тоже там, где бандиты за это могут...

Было бы очень страшно...

Но ведь дедку, Петронеле, Стролисам, даже тем, кто пускал ее на одну ночь, тоже было страшно. А все-таки...

Нора так поразилась новой мысли, что чуть не произнесла ее вслух — значит, ей тоже *нельзя бояться*?! То есть не то чтобы совсем не бояться, но не надо думать об одной себе, а быть такой, как они, которые ее прятали. Ведь если чувствовать только страх...

Нет, нет! Она не хочет быть как те, которые закрывали перед ней дверь, хотя было темно, холодно и ее могли схватить... Она не хочет быть такой!

На работу Нора пришла очень рано — дверь на их этаж была заперта и уборщица, Стефания Раковска, еще убирала. Нора сквозь стекло видела, как она, опустившись на корточки, усердно трет в коридоре пол. Чтобы стуком в дверь не напугать ее, Нора прислонилась к стене и стала ждать.

Теперь она уже привыкла, что старушке говорят просто Стефания Раковска. А вначале очень удивилась, что старого человека называют так невежливо. Но Марите объяснила, что иначе она не откликается и сама настаивает, чтобы ее называли только так.

Нора ее впервые увидела, когда раздавала карточки. В конце дня, уже оставались всего четыре карточки, в дверь тихо постучали. Вошла старушка. Такая же сухонькая, как Петронеле, и даже в таком же черном платке. «Естем Стефания Раковска», — сказала она. Когда Нора подала ей ручку, чтобы расписалась, она долго и старательно прилаживалась. Даже уши зачем-то высвободила из-под платка, будто они тоже понадобятся. Наконец медленно и очень большими, почти печатными буквами, залезая на верхнюю строчку и заняв половину нижней, вывела целиком имя и фамилию. Взяла свою карточку, поклонилась, тихо пробормотала: «Бог заплац» — и вышла.

Марите с Людмилой Афанасьевной улыбались. Нора думала — потому что старушка перепоручила богу отплатить ей добром за хлебную карточку. Но, оказывается, они просто вспомнили, почему она не хочет, чтобы ее называли ни по-новому — «товарищ» или по имени-отчеству, ни по старинке — «пани». Если по-новому — будет недоволен ксендз, потому что все «товарищи» не верят

в «пана бога». Если по старинке — «пани», — будут недовольны теперешние начальники. А она никому не хочет перечить. Поэтому пусть ее лучше называют так, как нарекли при крещении и как «пан бог», когда придет час, призовет ее...

А теперь Нора стояла и смотрела сквозь стеклянную дверь, как она, эта сухонькая старушка, трет мокрой тряпкой в коридоре пол.

Может, помочь ей? Нора тихо, одними ногтями, поскреблась в стекло. Старушка вздрогнула и испуганно подняла голову. Потом привычно, как Петронеле после молитвы, встала и поспешила открыть дверь.

— Доброе утро... — Нора хотела добавить «тетя Раковска», но не решилась.

— Дзень добры, млода начальничка.

«Начальничка». Других она тоже не называет ни товарищами, ни панами. Все у нее начальники. Даже Нора, которая в ведомости на зарплату и карточки стоит всего на строчку впереди нее, предпоследней...

— Можно, я вам помогу?

Старушка так удивилась, что, кажется, даже испугалась.

— Мне все равно нечего делать... — пыталась объяснить Нора. — Никого еще нет. — И взяла ведро. — Я вам принесу воды.

Когда она вернулась обратно, старушка шепнула свое: «Бог заплац», — и несмело, будто в чужое, макнула в ведро тряпку и опять стала тереть этот некогда крашеный пол. А Нора ждала, когда вода снова станет грязной.

Но в кабинет начальника старушка ведра не взяла.

— Там мыть не будете? — спросила Нора.

— Там паркет, — с гордостью за тот пол ответила старушка.

Все равно Нора последовала за ней. И сразу увидела. Пианино. Такое же, как было дома...

Нора знала, что оно здесь стоит, видела, когда заносила начальнику его карточки. Тогда от неожиданности чуть не споткнулась о край ковра. Неловко задела стул, стукнулась о кресло. А когда шла назад, старалась не смотреть на этот знакомый черный блеск, на изгиб крышки. Только на дверь.

Потом спросила Марите, кто на нем играет. «Никто.

Просто так стоит». И все равно Нора прислушивалась — не донесутся ли оттуда звуки музыки.

Теперь она стоит рядом. Совсем близко, может коснуться. Педали тоже немножко стертые. И изгиб крышки точно такой, как у ее пианино. И гнездышки для свечей. Только давно не чищенные. А мама их чистила часто, чтобы блестели.

Нора любила представлять себе, как в старину, когда еще не было электричества, музицировали. Свечи в канделябрах, свечи на камине. И в этих гнездышках, по обеим сторонам нотного листа, мерцают, колышутся огоньки свечей.

Тогда и оркестры играли при свечах.

Мама рассказывала, что Гайдн даже написал симфонию, которую назвал «Прощальной». Когда исполняют финал, валторнист и гобоист, сыграв грустную прощальную тему, гасят на пюпитрах свечи и, взяв инструменты, тихо выходят. Музыка продолжает звучать. Затем играет свою прощальную фразу фаготист и, погасив свечу, тоже уходит. За ним покидает оркестр один из скрипачей. Музыка звучит еще тише. Смолкает мелодия флейтиста, и гаснет на его пюпитре свеча. На просцениуме уже полумрак. И грустные, постепенно стихающие звуки. Уже осталась только одна скрипка. Но замирает и ее последняя нота. Гаснет последняя свеча...

Нора вздрагивает — старушка нечаянно задела ее, вытирая с пианино пыль.

— Можно, я буду? — Нора начинает тряпкой водить, будто гладить знакомую черную крышку, бока. И дерево, словно тоже довольное этим прикосновением, блестит.

Стукнула входная дверь. И этот стук вспугнул их — ее и пианино. Оно опять стало чужим, здешним...

Уже приходят на работу. Надо выйти отсюда.

Но она стоит. И все водит мягкой тряпкой по знакомой поверхности пианино.

Раздается мужской голос. Может, это начальник? А если спросит, почему она здесь? Нора отрывается от пианино и выбегает в коридор.

В дверь входит секретарша Лаукайте в красивом синем пальто. Рагенас. Людмила Афанасьевна в своей шинели. Кассирша. Вторая девушка из бухгалтерии, Юля, с косами вокруг головы. Начальник отдела кадров Мотылев, тоже в шинели. Товарищ Астраускас, Марите.

Можно подумать, что все они собирались внизу, у подъезда, чтобы вместе подняться по лестнице. А прямо от двери снова расходятся. Будто разветвляются — каждый в свою комнату.

— Ты что здесь делаешь так рано? — удивляется Марите.

— Пыль вытирала...

Марите поднимает вверх подкрашенные брови. Водворяет их на место, но вокруг глаз собирает гармошку морщинок. Улыбается и Людмила Афанасьевна. Даже товарищ Астраускас. Неужели она так смешно ответила?

Сегодня она, кажется, все утро говорила невпопад.

Когда еще улыбались ее ответу: «Пыль вытирала», — Нора почему-то рассказала, как вчера купила совсем ненужную щетку.

Тут уж засмеялись вслух. А Нора еще стала изображать, как шла по городу, гордо размахивая этой старой потертой щеткой. И всем опять было смешно. Ей самой тоже. Даже недовольство тети Любы, что нечего еще чистить, казалось очень потешным.

Но вдруг Нора вспомнила, что забыла эту щетку у Иоанны. А там в кресле-качалке ее мама... Рассказала им.

Стало еще грустнее. Вернулись и ночные раздумья. Что написать Алдоне?

И Нора им рассказала про вчерашнее письмо, про то, что дедка хотят сделать председателем.

— Очень хорошо, — обрадовалась Людмила Афанасьевна. — Только такому человеку и быть председателем.

— Но там же бандиты... И Алдона не знает, что делать.

— Советуется с тобой? — подозрительно серьезно спросила Марите.

— Почему бы и нет? — заступился за нее товарищ Астраускас. — Наша Нора вполне взрослый человек.

Он сказал «наша». Но почему-то думает, что она взрослая... А Людмила Афанасьевна, закладывая в машинку новый лист, тихо вздохнула:

— По-моему, в таких делах не спрашивают совета. Тут уж как совесть подскажет...

Норе показалось — она вспомнила о своем сыне. Добровольно ушел на фронт и погиб в свой день рождения — исполнилось восемнадцать лет... Получив похоронную, Людмила Афанасьевна тоже попросилась на фронт. Демобилизовали ее недавно, по состоянию здоровья: она дважды была ранена.

В комнате очень тихо.

Щелкнул портсигар — это Людмила Афанасьевна вынула папиросу. Курить она тоже начала после гибели сына...

И опять тишина.

Марите начала печатать. Будто силясь раздолбить эту тишину, расколоть ее. Но она все равно оставалась — сверху, рядом. Вклинивалась в паузы.

Нора очень хотела стряхнуть ее, услышать хотя бы свой голос.

— Извините, пожалуйста...

Людмила Афанасьевна вопросительно посмотрела на нее.

— ...что я рассказала... как учительница ждет сына.

Людмила Афанасьевна вздохнула:

— Ничего... Я ведь тоже жду. Не так, как она... Но все равно еще не могу поверить, что его нет.

Значит, это ничего! Можно ждать, даже если знаешь?.. А вчера она этого так испугалась. Подумала, что и она как учительница.

И Норе очень захотелось сказать Людмиле Афанасьевне что-нибудь хорошее.

— Может быть, ваш Игорь правда вернется...

— Нет... Муж его сам хоронил. Они в одном полку воевали...

И Норе стало стыдно, что она сегодня все говорит невпопад. Хоть бы товарищ Астраускас скорее послал в город разносить бумаги. Но, как назло, идти никуда не надо было. Лежало только одно письмо, и то не срочное, можно отнести завтра, вместе с другими.

Нора принялась расчерчивать журнал. Тот, в котором расписываются, когда приходят на работу и когда уходят.

Она старалась ни о чем не думать. Только выстраивать эти ровные линии через каждые шесть клеточек.

Она и геометрию любила только потому, что можно чертить. Красиво, разноцветными карандашами. Тре-

угольник или квадрат — синим, пересекающую линию — красным. Пунктиры — черным. Здесь разноцветных карандашей нет. Только фиолетовые чернила и огрызок химического карандаша. Вот Нора ими и «забавляется», как Марите это называет.

Она вообще говорит, что Нора зря делает все то, что каждый велит. Журнал — дело секретарши, заметки в стенгазету наклеивать — есть редколлегия. Надо уметь себя поставить. А то всякий норовит спихнуть ей то, что самому делать неохота.

Но другое, то, что они делают, она ведь не умеет...

Марите советует учиться печатать на машинке — это всегда верный кусок хлеба. И чтобы заработать его, не надо быть у всех на побегушках.

А Норе кажется — все равно, как его заработать. Главное, что сама зарабатываешь, что тебе его не дают другие. Да и разносить бумаги или чертить совсем нетрудно. Будто даже не настоящая это работа, а так...

И Нора чертит. По пять линий на странице. А переворачивая, украдкой поглядывает на Людмилу Афанасьевну — очень она грустная?

Раньше, до войны, наверно, была такая же, как все мамы. Спрашивала про отметки, накрывала на стол. И улыбалась. Не курила. А каким был ее сын, Игорь? Может, такой, как Микас? Красивый, воспитанный. А может, как Йонас, на которого его мама вечно жаловалась: не слушается, не хочет заниматься. Нет, Игорь, наверно, был хорошим. Учился хорошо. И за обедом рассказывал про свои пятерки. А Людмила Афанасьевна, будто невзначай, подкладывала ему еще одну котлету.

Теперь этого уже никогда не будет. И его самого Людмила Афанасьевна больше не увидит. И она это знает. А вот сидит, печатает. Но ей же плохо. Очень плохо!

Неожиданно — Нора даже вздрагивает, и линия на странице сбивается вкривь — открывается дверь. В комнату входит товарищ Мотылев, тот самый начальник отдела кадров, который ее сюда принимал.

— Людмила Афанасьевна, — говорит он под скрип своих сапог, — к сожалению, вам сегодня ночью придется дежурить.

— Почему сегодня? — Она, кажется, огорчена. — Мне же завтра.

— Заболела Руткуте, и график передвигается на день вперед.

— А я как раз на сегодня договорилась...

— Можно мне? — вызывается Нора. — Я могу!

Людмила Афанасьевна, кажется, не верит.

— Честное слово, могу! Мне все равно. Поменяемся. — Нора очень хочет, чтобы Людмила Афанасьевна согласилась.

— Ладно, договоритесь, потом мне скажете, кто будет. — И Мотылев выходит.

Нора уже дважды проверила, хорошо ли заперта входная дверь. Подходила к отделу кадров. Сургучная печать смотрела на нее круглым коричневым глазом. Обошла комнаты. Никого. Лишь письменные столы, будто застывшие безглавые мамонты, стоят, упершись в пол.

Вернулась в комнату секретарши. Телефон молчит.

Марите, уходя, пошутила: «Будет скучно, позвони кому-нибудь». Некому. Это раньше она звонила Юдите, другим девочкам. Папа сердился — даже задачи по телефону решают. А теперь ни Юдиты, ни уроков, ни задач...

И сюда никто не звонит. Тихо.

Дома у них аппарат был совсем другой. Высокий рычажок для трубки и ручка. Надо было покрутить, чтобы телефонистка ответила. А этот без ручки. Достаточно снять трубку. Правда, товарищ Астраускас жалуется, что иногда приходится долго ждать, пока телефонистка отзовется. Только «восьмая» быстрая. И голос у нее веселый. Едва успеваешь снять трубку, а она уже, будто здороваясь: «Восьмая!»

Говорят, после войны телефонисток не будет. Поставят автоматические станции, и каждый сам сможет набрать номер. Нора очень удивилась — как же это? Товарищ Астраускас стал объяснять. (Он всегда ей все объясняет, как учитель.) Но она ничего не поняла и только краснела — опять не знает того, что другим понятно. А в анкете написано: «незаконченное среднее». Она всем, наверно, кажется похожей на Пране-молочницу, которая вместо подписи ставила три крестика.

Об этом Нора думает каждый раз, когда говорят о книгах, истории, политике, а она стыдливо молчит.

Когда-то мама в шутку такое предсказывала: «Представь, тебя пригласили в гости. С тобой, конечно, говорят о музыке, композиторах. Но неожиданно заходит разговор о положении на Дарданеллах. И ты хлопаешь глазами — даже не знаешь, где они. Потому что в таком-то классе не подготовила урока по географии».

Тогда Нора улыбалась. Думала — не будет такого...

Вдруг она вздрогнула — показалось, что в кабинете начальника зазвонил телефон. Наверно, тот, прямой. Нора быстро открыла дверь. Распахнула вторую. Тихо...

А в тамбурчике между обеими дверьми можно было бы сделать укрытие. Только если ненадолго, потому что надо стоять. Или сидеть на полу, поджав ноги. Как в шкафу.

Чтобы не смотреть на пианино, Нора отворачивается. Вот ковер, за который тогда зацепилась. Кресла. Диван. Письменный стол. Чернильный прибор — очень красивый. Это резьба по дереву. На подставке дубовые листья. Чернильницы в виде маленьких пеньков с желудями на крышках. И на пресс-папье большой желудь.

Все равно она видит пианино. Круглый вертящийся стульчик. Тоже такой, как дома.

Нора робко приближается. Несмело коснувшись, крутит. Он стал выше. Теперь бы сесть... И она садится. Рука сама поднимается открыть крышку.

Клавиши! На «фа» первой октавы отломан уголок костяшки. На других они целы, но желтоваты. На ее «Беккере» были белее.

Нора не моргая смотрит на эти знакомо-незнакомые клавиши. От напряжения начинает мерещиться, будто не клавиатура это, а распиленная на ровные полоски белая поверхность. И в нее вставлены черные костяшки.

Господи, что ей лезет в голову! Это же клавиши! Можно нажать на любую, и раздастся звук. «Ля». «До». «Си-бемоль». Надо только поднять руки. Но они лежат на коленях неподвижно. А глаза смотрят. Чтобы привыкнуть, поверить. Раньше, когда садилась, сразу ставила ноты и начинала играть. Тогда это не были черно-белые клавиши, по которым пальцы бегают, берут аккорды, мчатся в пассажах. Были только звуки, мелодия! В ней самой, вокруг. Везде одна только музыка!

А здесь тишина. Тяжелая, глухая тишина. И неподвижно-немая клавиатура...

Рука поднялась, и палец несмело надавил на «до». Раздался короткий глухой стон, совсем непохожий на звук. «Ре», «ми». Они тоже другие! «Фа», «соль», «ля-диез». Не они, совсем не они! И рука от напряжения дрожит.

Нора старательно растопыривает пальцы и берет аккорд. Но они испуганно отскакивают — не так! Звучит не так!

И снова тишина... А Норе очень хочется разорвать ее, услышать прежние звуки. Хоть гамму, самую простую гамму! Она быстро поднимает отяжелевшие руки. Но пальцы совсем неуклюжие. Даже мешают друг другу. Только очень хотят чувствовать клавиши. Может, еще раз попробовать?

Аккорд. Секстаккорд. «Ми-соль-до».

Пальцы не слушаются. Но она все равно повторяет: «ми-соль-до», «ми-соль-до».

Нет... И руки сами легли на колени. А глаза смотрят на клавиши. Чужие, будто нарисованные...

В школе, когда их только начали знакомить с нотами, учительница велела нарисовать на бумаге клавиатуру и под каждой клавишей карандашом написать название ноты. И так «играть» на бумаге. Потом, когда запомнили, где какая нота, названия стерли.

Здесь названий тоже нет. Нора их помнит. И может сыграть. Даже начинает казаться, что она играет. В уме, про себя. Ту самую хроматическую до-минорную гамму.

Еще раз ту же самую.

Прелюд Груодиса. Та-та, та-та-та-та-та... Нора нажимает на педаль. Другой ногой отбивает такт. Только руки лежат неподвижно... И в комнате та же нестерпимая тишина.

Клавиши молчат. Потому что пальцы не могут забегать по ним. Они отморожены! И все эти годы Нора их не разминала...

Но она же не могла!

Конечно, не могла... И Нора смотрит на свои пальцы, красно-синие даже в тепле, виновато поджавшиеся на коленях.

А мама говорила: «Представь себе, ты пианистка. Объявлен твой концерт...» Не будет этого, мама! Не будет! Нора хочет бить по клавишам, колотить. Не будет этого!

Хоть бы скорее прошла ночь. Придет Марите, Людмила Афанасьевна. Будет как каждый день... А еще... днем не так холодно.

Вечером, когда она выбежала в коридор, даже не закрыв крышку, ее очень трясло. Она шагала по коридору, чтобы эта дрожь прошла. Старалась не думать о пианино. Помнить только, что она живая, осталась. И папа есть. Она здесь работает. Это же очень хорошо! Завтра пойдет к папе. Посоветуется с ним, что написать Алдоне. А летом, когда дадут отпуск, они поедут к ней. И Петронеле навестят. Жаль, что Петронеле не умеет читать — Нора бы и ей написала письмо. Еще на могилу Стролисов обязательно поедут. Посадят цветы. И мельника разыщут. Правда, она не знает названия деревни, но найдет. Мельниц ведь немного.

Нора старалась думать только об этом. Представлять себе, как поедет. Мельник ее, наверно, не узнает. А доски, за которыми пряталась под лестницей, еще лежат?

Внезапно она спохватилась, что в кабинете может зазвонить телефон. Вернулась. Опустила крышку пианино...

Дрожь не проходила. И Нора наконец поняла — это не только из-за пианино. Здесь холодно. Она села в кресло и поджала под себя ноги. Не помогло. Свернулась на диване. Все равно было зябко. Плечам, спине, коленям. Только теперь она вспомнила, что все приносят на дежурство пледы или пальто. Людмила Афанасьевна — свою шинель. Нора тоже могла бы принести. Не пальто — тетя Люба его перешивает в жакет, чтобы отрезать заплату на месте выжженной дыры. Но папино солдатское одеяло, которое они ей отдали. Теперь закуталась бы в него... А здесь закутаться не во что. Тут только шторы затемнения и ковер. Но он на полу.

Чем больше Нора дрожала, тем неотступнее представляла себе, как ложится на пол, а краем ковра — толстым, тяжелым — накрывается.

Наконец не выдержала. Слезла с дивана, тихо переставила с ковра на пол кресла и легла. Натянула на себя край ковра. Очень знакомо запахло старым чердаком.

И опять накинулось недавнее...

Она понимала, что лежит на полу. Чувствовала шершавость ковра, в носу першило от чердачного запаха. Но

чудилось, будто все еще сидит за пианино. И пытается играть. Гаммы, упражнения. Прелюд Грудиса. Ноктюрн Шопена — тот, что играла на последнем экзамене. Она его помнит!

Но пальцы... И снова пронзила мысль: они теперь всегда будут такие — негибкие, отмороженные. И уже никогда не смогут ловко бегать по клавишам. Она не сможет играть! Никогда!

Нора будто только теперь поняла, какое это безжалостное слово н и к о г д а!

Она до боли мяла свои пальцы, сжимала их в кулак, опять распрямляла. Только бы почувствовать, что они могут стать прежними, легкими.

Но они были все такие же — одеревенелые, неуклюжие. Такие не могут играть...

Не думать об этом! Хоть немного не думать. Помнить, чувствовать, что она теперешняя. Работает. Это ведь хорошо! Есть отец, тетя Люба, Марите, тетя Янова. И не надо бояться, что расстреляют, не надо прятаться. Это же так хорошо!

Но как без музыки?..

Выходит, она давно, все время хотела играть. Только не понимала этого. И может быть, поэтому казалось, что все теперешнее — работа, хлебные карточки, расчерчивание журналов — не навсегда. Будет другое...

А другого не будет. Никогда. Таких пальцев не размять. Не разыграть...

Она быстро открыла глаза, чтобы не застонать.

Она здесь, в кабинете. Все еще не рассвело.

Нора хочет заставить себя думать только об этом. О рассвете...

Серая пелена за окном, кажется, чуть посветлела. Но утро все равно еще не скоро. Это летом ночь переходит в день почти сразу. Только зарозовеет на востоке небо, пробежится по верхушкам деревьев предутренний ветерок, и листочки начинают оживленно шелестеть — разминаются после ночной неподвижности. Просыпаются птицы и поднимают такой щебет, такое чириканье, будто соревнуются, чьи трели звонче, кто голосистее. Или, может, кто радостней встречает утро...

Но это летом. И не здесь, а в деревне. Тут от размытой черноты за окном только виднее стали ножки ме-

бели на полу. У самой ее головы ножки кресла, низкие, похожие на продолговатые колодки. Чуть дальше, квадратные — письменного стола. Четыре высокие журавлиные ноги за столом — стула. А маленькие, будто вдавленные в пол кругляшки у самой стены — книжного шкафа.

Чтобы не смотреть влево, где пианино, Нора крепко зажмуривает глаза. Старается помнить, представлять себе только эти ножки — кресла, стула. Только эти. Стола... Шкафа...

Внезапно Нора начинает понимать, что уже светло. Неужели задремала?

И правда, светло. Сейчас придет уборщица, Стефания Раковска. А она тут лежит.

Нора вскакивает. Край ковра словно с облегчением шлепается на свое привычное место. А Нора удивленно оглядывает платье — оно стало странно другим, тусклым. Это от пыли! Ковер, видно, очень пыльный. Так вот почему пахло старым чердаком...

Она начинает поспешно стряхивать пыль с боков, живота, рукавов. Но это не помогает — на платье следы ее рук и пыльные разводы. Нора быстро стаскивает его и начинает выбивать — о край кресла, стула, стола.

Стукнула входная дверь. Это Стефания Раковска! Нора спешит натянуть платье.

Товарищ Астраускас очень удивился, что она здесь.

— Можешь идти домой, после дежурства положен выходной день.

— Спасибо. Я не хочу... — Нора чуть запнулась и вместо «домой» добавила: — спать. Я ведь привыкла...

— Невеселая привычка, — еле заметно вздохнул товарищ Астраускас и, взяв со стола какие-то бумаги, вышел. Наверно, к начальнику. Туда, где пианино...

— А я во время дежурства прекрасно высыпаюсь, — поспешила заговорить Марите. Норе показалось — нарочно, чтобы не дать ей продолжить о деревне, о том, что там ночью не спала, боялась облав.

Она уже не раз замечала: Марите, отец, даже тетя Янова стараются прервать ее, когда она начинает вспоминать, что было. И Нора зареклась говорить с кем-либо об этом. Но вот не получается...

— Я здесь тоже не сплю. — Людмила Афанасьевна хочет загладить Маритину поспешность. — Даже не ложусь. Иначе засну и не услышу телефонного звонка. Фронтовая привычка — спать даже при канонаде. Было бы время.

— Я сперва тоже не ложилась. — И Нора сама не заметила, как сказала: — Хотела играть.

Людмила Афанасьевна смотрела на нее, будто проверяя — не ослышалась ли. У Марите рука замерла, не дотронувшись до буквы.

— Ты играешь?! — удивилась она.

— Я училась. Мама хотела, чтобы я была пианисткой.

Нет, не только мама. Она сама тоже очень хотела. И заниматься нравилось. Но мама часто говорила об этом, а Нора про себя думала. И играла. Каждый день играла...

— Так какого лешего, — вспылила Марите, — возишься тут с этими дурацкими бумажками?

— Тебе надо в музыкальное училище, — посоветовала Людмила Афанасьевна.

— Я не могу туда! Не могу! — Нора старалась удержаться, не расплакаться. — Я играть не могу. Пальцы отморожены.

Вслух это было еще страшнее. Будто приговор, после которого уже ничего нельзя изменить.

Они молчали. Значит, тоже понимают...

— Что ж, — с деланным спокойствием заговорила Марите, — непианисты тоже живут.

— Будешь учиться чему-нибудь другому, — поддержала ее Людмила Афанасьевна.

— А я не хочу другому! — Нора понимала, что опять говорит слишком громко, резко, но не могла сдержаться. — Я не хочу другому.

Людмила Афанасьевна покачала головой.

— Все-таки попробуй. В первую очередь тебе надо кончить среднюю школу.

— Не могу... — Нора старалась говорить тихо, но от этого голос только больше дрожал. — Отец тоже говорит про школу. И тетя Люба,

— Если не хочешь в обычную, пойди в вечернюю.

— Я ни в какую не могу! — Норе обидно, что они не понимают. — Зачем туда идти? Чтобы знать, сколько

«а» плюс «b» в квадрате? Что из того, что моя мама кончила консерваторию, знала французский и немецкий языки. А тот, который ее угнал, может, еле умел расписаться. Но у него в руках был автомат. И это все! Автомат! — Ей вдруг стало неловко за свой крик. Будто услышала его со стороны. — Извините...

Людмила Афанасьевна, кажется, не расслышала. Уставилась на какую-то букву на машинке. А Марите казалась даже довольной:

— Наконец заговорила как живая. Хоть неумные слова, зато нормальным голосом. А то всегда покорно, тихо.

Людмила Афанасьевна вздохнула:

— Жизнь научила.

— Не жизнь, а Гитлер. Теперь надо отвыкать от такого унизительного тона.

— Отвыкнет. Когда совсем вернется к жизни.

Говорят о ней, будто ее самой тут нет...

Опять принялись печатать. А Нора как раз хотела, чтобы еще говорили об этом. Она бы им рассказала, как ей стыдно, что знает меньше всех. А слова «незаконченное среднее» в анкете все время помнит, даже видит эту строчку. Но пойти в школу, опять только учиться, будто ничего не было...

— Научись печатать на машинке, — снова заговорила Марите.

Людмила Афанасьевна возразила:

— Зачем ей машинка, если она музыкант?

— Хотела быть музыкантом. А раз не может — должна приобрести другую специальность.

— А я не хочу другую!

Марите хмыкнула:

— Думаешь, я так уж мечтала быть машинисткой? Но когда отец туберкулезник, а есть еще три едока, которых надо накормить, и шесть пар рук и ног, которые надо одеть и обуть, — выбирать не приходится. А вздохи о неосуществленной мечте — это только в восемнадцать лет. Потом проходит.

— Мне еще нет восемнадцати...

Марите улыбнулась:

— Значит, ты этим переболеешь в шестнадцать. Ты же у нас вообще ранняя.

Нора молчала. И Марите услышала эту тишину.

— Если я сейчас заохаю: бедняжка, какая ты несчастная, — будет лучше?

Нора пожала плечами.

— Нет, хуже. И теперь, и, главное, потом. Когда жизнь у тебя наладится и про сегодняшний наш разговор даже думать забудешь, эти мои слова: «Какая ты несчастная», — запомнишь. На всю жизнь. И чуть какая неприятность — вспомнишь. И жалеть себя будешь — какая несчастная! Даже Марите вот говорила. А ты счастливая. Понимаешь, с ч а с т л и в а я, что в этом пекле жива осталась.

Нора хотела сказать, что другие же остались живы и не побывав в таком пекле, но промолчала. Чтобы Марите не подумала, будто это упрек.

Да и правда ведь — она осталась. А мама, бабушка, Юдита и еще очень много других... Конечно, она счастливая!

Но почему не чувствует этого? Ведь счастливый человек должен радоваться, а она вот... И Нора хотела вспомнить, как было до войны, когда она жила дома. Конечно, была счастливая, а кажется, ничего особенного не чувствовала. Ходила в школу, на уроки музыки. И совсем не понимала, что счастливая. Даже не думала об этом.

— И все-таки тебе надо учиться музыке, — опять заговорила Людмила Афанасьевна. — Не сможешь выступать, будешь учительницей музыки.

— Я?! — Норе показалось, что Людмила Афанасьевна это сказала о ком-то другом, кто может, как учительница Статкувене, как мама, учить других.

Нора покачала головой.

Вернулся товарищ Астраускас.

— Это надо срочно отнести в Народный Комиссариат просвещения. — Он протянул ей две бумаги.

Марите с Людмилой Афанасьевной опять принялись стучать на своих машинках. Будто и не было только что разговора о музыке, будто эти металлические дятлы тут долбят беспрерывно. Все клюют, клюют.

Даже на лестнице Нора еще слышала их быстрый перестук.

ГЛАВА IX

Сегодня она идет в кино.

Нора весь день помнит об этом. Словно боится отпустить от себя это необычное: она идет в кино! Она, та самая, которая пряталась в погребах, лежала в лесной яме, боялась, чтобы не убили. А теперь — в кино!

Утром, когда Марите, снимая с машинки колпак, неожиданно предложила: «Пойдем сегодня в кино», — Нора даже не сразу поняла. Но Марите продолжала, как о совсем обычном: «Фильм трофейный, «Девушка моей мечты», с Марикой Рокк».

«Нет-нет, что вы», — тихо ответила Нора.

«И денег не будет стоить. Знакомая кассирша там работает».

«Я не поэтому...»

Но Марите, кажется, не слушала.

«В журнале показывают наш субботник. Представляешь, пойдет какой-нибудь кавалер посмотреть, что эта за девушка его мечты, а увидит нас с тобой».

И все равно Нора не могла понять, как это она пойдет в кино. Сидеть в кинозале, конечно, хорошо. Медленно гаснет свет. Оживает экран. Звучит музыка. Красивые артисты. Но как это... пойти в кино?

Может, посмотреть только журнал, где показывают их субботник?

Нора хотела, чтобы день еще тянулся дольше. Чтобы Марите сама сказала — они не пойдут. Но Марите молчала. И Нора уговаривала себя, что посмотрит только журнал.

Все равно было неловко перед мамой. Отец — с тетей Любой, а сама она идет в кино. И Нора это сказала Марите.

«А кто, по-твоему, те, что ходят? — спросила Марите. — В кино же каждый день бывают люди».

Нора пожала плечами.

«Они тоже потеряли своих близких — на фронте, здесь. Но помнить и даже скорбеть еще не значит самой не жить. И люди ходят в кино. Потому что они живые! И ты тоже должна быть как все».

«Хорошо...»

И все-таки Норе было очень странно, что она пойдет в кино...

— Давай съедим по коммерческому пирожку, — предложила Марите у кинотеатра и подала продавщице червонец. — Два, пожалуйста.

— Я вам завтра верну. — Нора покраснела, что у нее нет денег. Но после истории со щеткой тетя Люба велела денег с собой не носить.

Нора жевала вкусный, с ливером, пирожок. А с нарисованной афиши в витрине ей улыбались огромные коричневые губы с присохшим поперек волосом от кисти и непомерно большие глаза. Это и есть Марика Рокк?

В кассовом вестибюле Марите не стала в очередь, а сказала что-то контролерше и прошла. Нора поспешила за ней.

Марите постучалась в маленькую дверь кассы.

— Аня, это я.

Дверь приоткрылась, и в ней показалась седая голова.

— Здравствуй. Как видишь, я явилась.

Нора удивилась, что Марите говорит этой седой женщине «ты». Но женщина, кажется, не обиделась. Устало спросила:

— Одна?

— Нет, вдвоем.

Седая протянула Марите бумажку, на которой было написано: «8 ряд, 3, 4 места».

— Спасибо. — И Марите закрыла дверь.

— А если на эти места кто-нибудь купит билеты? — забеспокоилась Нора.

— Раз Аня их дала нам, то не продаст. Да и, кажется, их вообще не продают. Они директорские или отдела культуры.

Лестницу Нора сразу узнала. Но теперь она казалась ниже. А в фойе вместо портретов артистов висели большие плакаты: «Все для фронта», «Родина зовет».

Зал тот самый. Только потолок в сырых потеках. И на стенах краска лупится.

— Крыша прохудилась, — объяснила Марите. — В последних рядах в дождь надо сидеть под зонтиком. Между прочим, — продолжала она, — эта Аня была в концлагере. Только бежала.

— Из концлагеря?! — Нору поразило это слово здесь, в кино.

— Когда перевозили в другой лагерь. Умудрилась в полу теплушки вырвать несколько досок и прыгнуть вниз.

— Она?! — Нора не могла себе представить, что эта седая голова в двери кассы и худая рука, протянувшая Марите бумажку... что они кинулись вниз, на шпалы... под грохот колес...

В зале стал медленно гаснуть свет. Как обычно... Она же в кино...

На экране появились солдаты. Бегом перетаскивают орудия. Стреляют. И в небе рядом с фашистскими самолетами рвутся белые комки дыма. От одного самолета потянулся черный шлейф. Самолет стал падать, растягивая этот шлейф. До самой земли тянул, пока не скрылся за лесом. Взрыв! В зале зааплодировали. Нора удивилась: раньше в кино не хлопали, только на концертах и в театре.

Окопы. Солдаты выпрыгивают, бегут. Рядом рвутся снаряды, земля выбрасывает огромные черные фонтаны комьев. Одни солдаты падают, другие все равно бегут, что-то кричат. А музыка громкая, полна драматизма.

Вдруг стало очень тихо. Небо чистое-чистое. Ивы, склонившись над прудом, смотрят в него, будто силятся что-то увидеть на дне. Поле. Колышутся ромашки. На одну села бабочка. Снова вспорхнула.

И опять грохот. Едут танки, пообтыканные ветками, молодыми березками. А на танках солдаты. Сидят, стоят.

Вдруг Норе почудилось, что проехал Илико. Но пока она спохватилась разглядеть, уже двигались другие танки, с другими солдатами. Нора старалась узнать их лица, искала Витю, Николая. Других, которые приходили в первый вечер к дедку. Но все были незнакомые...

Марите толкнула ее в бок. Уже показывают город. Развалины. Кто-то на них копошится. Проходят с носилками. Это же их субботник! Но откуда песня? Они ведь не пели. И никого нельзя разглядеть. Только место похожее...

Нора даже не успела сообразить, где же она сама, как стали показывать другую улицу. Тоже в развалинах. Но там работают солдаты. И поют. То есть теперь Нора догадалась, что это поет мужской хор.

Песня оборвалась на крещендо. Загорелся свет. И все исчезло: улица, развалины, песня.

— Да... — протянула Марите. — В Голливуд после такого дебюта не пригласят.

— Я никого не успела увидеть, — призналась Нора.

— Я тоже.

А все старались улыбаться. Марите сняла перчатки. Распустила волосы...

— Ладно. — Она вовсе не огорчена. — Себя не увидели, будем смотреть Марику Рокк. Она хорошо танцует.

И правда, как только погас свет, появилась живая Марика Рокк. Совсем не похожая на ту, что нарисована на афише. Красивая, весело поет. И ссорится смешно. Даже платье в порыве капризного гнева забыла надеть — влезла в шубу в одном белье. А на вокзале, ожидая носильщика, подбоченилась, шуба распахнулась, и носильщик стал в удивлении пялить на нее глаза.

А в зале засмеялись.

Когда Нора увидела ее в поезде в запахнутой уже шубе, вдруг вспомнила седую кассиршу. Стала представлять себе, как она вместе с другими, которых везли в теплушке, ночью, в темноте силится выдрать в полу доску. Наконец снизу врывается ветер. Громче становится стук колес. Шпалы мелькают совсем близко. А они выдирают еще одну доску. И третью. Чтобы пролезть. Броситься вниз. Иначе... Их же везут в концлагерь. Даже стук предупреждает: «В конц-ла-герь. Конц-лагерь...»

Шпалы совсем рядом. И колеса. А все равно эта седая женщина легла у самого отверстия. Зажмурилась и... выпала. Крепко прижалась к шпалам. Вагоны грохотали над самой головой. Только бы не задели. Она почти втиснулась в шпалы. А колеса рядом, совсем рядом...

Зрители засмеялись. И Нора очнулась — она же в кино!

Марика Рокк уже в маленьком домике, в горах. Там живут двое мужчин. Она опять весело поет.

А у Норы все еще колотится сердце.

Но Марика непонятно почему удирает из этого хорошего, далекого от дороги и опасности домика. В мужском костюме, на чужом мотоцикле.

Раздается взрыв. Нора вздрагивает, и ей вовсе не смешно, что Марику взрывной волной бросает далеко в снег. Она проваливается, только ноги торчат. Наконец выкарабкивается и пешком, в разорванном костюме воз-

вращается назад. Лезет в окно. А Петер думает, что это вор, и хватает пистолет. Только бы не выстрелил!

Слава богу! И Норе стало спокойно. Теперь ей уже все нравится: как Марика танцует, как поет — то в японском костюме, то в цыганском.

Неожиданно зажегся свет. Исчезла музыка, стихло веселье. Опять был только белый немой квадрат экрана, обычное полотно со швом посередине.

— Что ж, — с горькой усмешкой говорит Марите. — Кино окончено. Вернемся к реальной жизни и пойдем отоваривать карточки.

— А в кассу разве не зайдем? — И быстро придумала: — Надо же поблагодарить за места.

— Зайди одна. Я в магазин опоздаю.

Нора постучала, и дверь кассы приоткрылась. Увидев ее, кассирша задвинула ящик с деньгами.

— Большое спасибо за места.

— Пожалуйста, не за что.

Нора заранее не придумала, что еще скажет, и теперь молчала. Смотрела на эти седые волосы, грустные, очень усталые глаза. На родинку. И тихо повторила:

— Большое спасибо. От Марите тоже.

— Да не за что. Я ж ей говорила — пусть приходит.

— А когда? — ухватилась Нора.

— Когда хочет.

— А мне... можно с ней? Мы вместе работаем.

Кассирша посмотрела на нее. Будто только теперь увидела.

— Так это она о тебе рассказывала, что ты пряталась?

Нора кивнула.

— Да... Досталось тебе...

— Но вам же было страшнее! — вырвалось у Норы.

Тетя Аня не спросила, откуда она знает. Только вздохнула:

— Не то слово...

— А вам тоже говорят, что надо забыть? — неожиданно спросила Нора.

— Забыть?!

— Да... — Нора спохватилась, что она уже внутри, в кассе. А даже не заметила, как вошла. — Мне говорят, что не надо все время помнить, говорить...

— Забыть могут только те, кому нечего помнить. Или не хотят. Живут прежней жизнью. А у кого жизнь осталась там...

— Где?

— В лесу... Где расстреливали. Когда я туда приезжаю...

— Вы туда ездите? — Нора так удивилась, что даже перебила ее.

— Конечно.

Норе послышался упрек. Она вот в кино ходила...

— Я тоже хочу туда. Можно?

— Почему ж нет... Туда пропуска не нужны, не кино. Всего лишь лес. Но лес мертвых, — она вздохнула, — которых теперь больше, чем живых.

Норе это однажды и самой показалось. Когда она стала вспоминать всех своих довоенных знакомых...

— Закрой дверь, — попросила тетя Аня. — Сквозняк.

Нора закрыла, и ей показалось, что они в маленьком укрытии. Лежать тут можно будет только свернувшись.

Тетя Аня выдвинула ящик с деньгами. Там стопками были сложены червонцы, рубли.

— Еще эти рапортички заполняй, — сказала она недовольно и стала что-то писать. Наверно, сколько каких билетов продано.

Норе бы нравилось так писать. Потом умножить, сложить. Совсем как школьная задача, только для маленьких.

— Можно, я вам помогу?

— Тут помогать нечего. — И тетя Аня принялась умножать. Только не как их кассирша, на счетах, а на бумажке. Даже вслух. — Восемью три — двадцать четыре... Восемью девять...

Нора тоже умножала. Но про себя, в уме.

Она не спит. Сидит, даже полулежит в высоком кресле-качалке, вытянув ноги на приставленный стул, накрытая большим тулупом, который тетя Аня принесла от соседей. Спать совсем не хочется, хотя тетя Аня давно похрапывает на своем матрасе в углу. Такая, спящая, с этим громким храпом, она кажется Норе совсем другой. И Нора старается не слышать этого храпа, чтобы тетя Аня была такой, как весь вечер, когда слушала, сама рассказывала...

Сперва, когда они вышли из кассы, Нора хотела ее только проводить, но тетя Аня предложила зайти.

Комната Норе показалась очень большой. Наверно, потому, что почти пустая — только старый матрас на полу, стол, один стул и кресло-качалка. Тетя Аня принесла чайник, две чашки (они так и остались стоять на столе рядом, как две подружки), начатую пачечку сахарина.

Нора не помнит, когда начала рассказывать. Как увели маму с бабушкой. Как она пряталась у мельника, как ночью пробежала мимо тех трех повешенных... И о лесной яме рассказала.

Тетя Аня ни разу не удивилась, как другие: «Как ты могла это вынести?» Не заохала. Просто слушала. Только когда Нора, рассказав о Петронеле, сразу начала о Стролисах, спросила:

— А почему ты от нее ушла?

И Нора впервые ответила не то, что другим: «Там больше нельзя было оставаться», — а объяснила:

— Петронеле на исповеди призналась ксендзу, что прячет меня. А он... Нет, не выдал немцам, а то бы и Петронеле забрали. Он подослал соседку, чтобы та велела мне убраться. Иначе они сами... староста, полицаи...

Тетя Аня молчала.

— Но Петронеле не виновата! Она же не знала, что ксендз такой... Не понимала, почему я так внезапно ухожу. Уговаривала остаться.

Тетя Аня кивнула. И Нора дальше рассказывала. Как опять искала пристанища. Как ее долго не впускали. Пока не постучалась к Стролисам... И о Винцукасе рассказала. И о Стасе. И как Антанас вез ее в санях к дедку.

Тетя Аня все слушала. Ни разу не напомнила, что чай остыл, что, наверно, скоро уже комендантский час. Нора это сама понимала, но не могла остановиться. Казалось, она все это рассказывает в первый раз...

Тетя Аня даже не подняла головы, когда за стеной по радио стали бить кремлевские куранты. Двенадцать.

А Нора теперь рассказывала, как вернулась. Как встретилась с отцом. И про костыли сказала. И про тетю Любу. Даже про свое ночное дежурство — как сидела у пианино...

Тетя Аня молчала. Смотрела на крохотные таблеточки сахарина и даже не моргала. Наконец произнесла:

— Я ведь тоже не всегда была кассиршей...

Нора ждала, чтобы она продолжила.

— Акушеркой была. Принимала детей, новорожденных.

— Так почему вы теперь?.. — Нора не знала, можно ли сказать «не принимаете».

Тетя Аня долго молчала. Потом подняла голову, посмотрела на нее, будто раздумывая, поймет ли. И заговорила:

— Когда я вернулась сюда, немцев уже не было. В первое утро даже не знала, куда идти. Как будто в другой город попала. Знакомый, но чужой — зайти некуда... И я побрела к лесу. Где их расстреляли. Но... живые там не остаются. И я вернулась в город. Побрела по улицам. Сама не заметила, как оказалась на набережной, где до войны работала в родильном доме. Здание осталось таким же. Но... — тетя Аня помолчала. — Сперва я подумала — мне это снится. Из двери вышли двое — женщина и военный. У него на руках лежал завернутый в одеяло... Так всегда заворачивают при выписке. Я остолбенела — рожают?! Опять, все равно рожают? Они прошли мимо меня, улыбаясь...

— Наверно, были рады.

— А ты знаешь, что детей увозили в крематорий в первую очередь? Плачущих, кричащих бросали в кузова машин. — Помолчав, тетя Аня устало продолжала: — Каждый раз, на каждой детской акции — так это называли — мне казалось, что их вырывают не только у матерей. У меня тоже... Я же их принимала, вызывала первый крик. Чтобы в легкие попал воздух. Чтобы они жили! А теперь они кричали в ужасе, что их убивают. Они знали, что убивают... И может, в этом крике был не только страх, но и тщетная надежда, что, если они будут надрывно кричать, их вернут матерям...

Тетя Аня умолкла. И низко, очень низко наклонила голову.

— Однажды во время детской акции забрали двойню... — Она снова помолчала, будто вспоминая. — А я как раз в свое последнее дежурство, это было в последнюю предвоенную ночь, тоже приняла двойню. Мальчишек. Обработала их, запеленала, хочу отправить в детскую, а они плачут. Даже заходятся, синеют. Собрались врачи, сестры. Осматриваем — ничего. А кричат. И тут санитарка, старенькая такая у нас была, догадалась:

«А вы попробуйте их запеленать вместе. Они ж привыкли чувствовать друг друга». — У тети Ани глаза от воспоминаний чуть потеплели. — И правда, сразу умолкли.

И Нора представила себе две крохотные головки в одинаковых чепчиках совсем рядом. Но тетя Аня продолжала:

— В лагере тоже была двойня. Не они, другие — Миша и Гриша. Когда их забирали, они уцепились за мать: «Мамочка, не отдавай нас! Мы будем хорошими, только не отдавай!» И она не отдавала... Силой вырвали. Мишу один эсэсовец. Гришеньку — другой. И потащили. Они отбивались, вырывались, тоже посинели от крика... И вдруг я вспомнила нашу санитарку, ее совет. Хотела детям показать, чтобы они были вместе, рядом. Может, будет не так страшно. Но не могла поднять руки... Еще долго потом была как парализованная. И словно глухая — не слышу, что говорят, как бьют в лагерный гонг. Все время в ушах этот детский крик. Даже ночью, во сне. И теперь иногда тоже... Крик и шум моторов. Их запускали, чтобы заглушить плач ребят, крики матерей... Иногда музыка играла...

— А этих... Гришу с Мишей... увезли?

— Не только их... Сколько матерей тогда лишились рассудка. Такая Ася была. Молодая, красивая. Увидела дым из трубы крематория и как закричит: «Это от моей Адочки!..» А Лиза — ее совсем недавно привезли в лагерь — вдруг подошла к нам, стала обводить всех взглядом и каждому повторять: «Это Боренька. Они жгут моего Бореньку...» Ждала, что мы, может, скажем что-нибудь другое. Но никто не мог этого... сказать другое... Она выбежала из барака и бросилась на проволоку...

Нору зазнобило. А тетя Аня все равно продолжала:

— Теперь вот опять рожают... Нет, я в этом помогать не могу. Лучше буду кассиршей. Мне протягивают деньги. я даю билет. Идите, смотрите и, если можете, отвлекайтесь.

— А вы можете... отвлечься?

— Нет.

Тетя Аня это сказала очень сурово, и Нора опять почувствовала себя виноватой, что пошла сегодня в кино.

Больше тетя Аня ничего не говорила. Спохватилась, что уже поздно, пора спать. Принесла Норе соседский тулуп, придвинула ей к креслу-качалке стул.

— Другого у меня ничего нет.

— Спасибо, ничего не нужно.

Сама она ушла в угол, где на полу ее матрас, и легла. Долго ворочалась, не засыпала, но больше не заговаривала.

Теперь спит. Похрапывает. Только иногда внезапно умолкает, чтобы глубоко, будто выталкивая всю скопившуюся боль, вздохнуть. И снова дышит ровно, с тем же незнакомым похрапыванием.

ГЛАВА X

Когда издали завиднелся лес, Нора совсем не обратила на него внимания — они все время шли вдоль холмистых, густо заросших деревьями и кустами склонов, вдоль перелесков. Но тетя Аня вдруг сказала:

— Это там...

Нора вздрогнула. Будто только теперь поняла, что она и правда идет туда, в тот самый лес...

— Их вели по этой дороге... — продолжала тетя Аня. — Они смотрели на эти же кусты... И на тот придорожный столбик. Он отсчитал самый последний их километр...

По этой дороге... И Нора стала чувствовать каждый свой шаг, каждое прикосновение ноги к гравию, которого тогда касалась мамина нога. Чудилось, она ступает след в след...

Тетя Аня тихо вздохнула.

— Иногда хочется попросить — закройте эту дорогу. Пусть по ней не ходят, не ездят... Чтобы колеса машин не вдавливали в землю, не увозили отсюда и не распыляли следы последних их шагов. Пусть хоть это останется. Ведь ничего другого нет. Даже могил. Одни пустые ямы...

— Как это... пустые?

— Перед отступлением оккупанты успели почти всех сжечь.

— Кого?! — Нора с трудом заставила себя вымолвить это слово: — Сжечь?

— Расстрелянных... Разрыли все ямы и оттуда — в костер...

Норе казалось, что это какая-то другая, чужая женщина пугает ее. Но голос был тети Ани.

— Боялись оставить даже мертвых свидетелей... Пригнали заключенных, и те под дулами автоматов целыми днями перетаскивали на носилках мертвецов. Из ямы — в костер.

Нора это словно увидела. Как несут... Свисает, будто размахивая на ходу, мертвая рука. Торчат худые босые ноги. Несут... Такие же люди, только живые... Пока живые... И за то, чтобы пока ходить, видеть, чтобы еще не лежать такими вот на носилках, они несут к костру... А огонь обхватывает, взвивается. Ему все равно, что сжигать...

— Говорят, один узнал свою мать, — безжалостно продолжала тетя Аня. — Так закричал, что охранник его сразу пристрелил.

Нора сама хотела закричать. Зажмуриться, заткнуть уши, только не слышать больше, не видеть.

— Как они могли?..

— Кто не мог, сам получал пулю в затылок. И тут же оказывался в костре. И каждый это знал...

— Все равно...

— Как видно, не все равно... — Тетя Аня умолкла. Нора очень хотела, чтобы она больше ничего не говорила. Но она продолжала: — Особенно, если надеялись убежать. Они по ночам копали подземный лаз из бункера, в котором их держали.

— И убежали?

Тетя Аня кивнула.

— Значит, сейчас живут?! — изумилась Нора.

— Те, кого не поймали, остались живы.

— Но они же помнят!

— Такого, конечно, не забудешь...

Тетя Аня не поняла. Нора не это хотела сказать.

— Как они могут... теперь, когда больше ничего такого... помнить, что они тогда... Как они теперь м о г у т жить?

— Одного таки недавно нашли в петле. А другие... Не думаю, что это можно назвать жизнью...

Они шли молча. Только мокрый гравий шуршал под ногами.

— А мы с тобой разве живем? Только с виду кажется,

что мы, как все — работаем, ходим, едим. Но сами все время там — я в лагере, ты — в своих подвалах.

Это Нора знает.

— Но мы же ничего т а к о г о, что они, не делали.

— А ты уверена, что тогда — только хорошенько вспомни, как было жутко, что сейчас эсэсовец нацелит на тебя автомат, выстрелит! — ты уверена, что будь ты тогда на их месте, не делала бы того же? Ведь главное было, чтобы в тебя не выстрелили. Сейчас, сию минуту! Пусть потом, позже, когда-нибудь. Только не сейчас! К тому же не забывай: они сжигали трупы тех, кого уже не вернуть...

Нору трясло. Вернулся тогдашний страх. Она быстро оглянулась.

Дорога пуста. Только две крестьянки, обычные, в платках, идут сзади. Разговаривают.

— ...конечно, гнилая. Кто ж так поздно копает.

Говорят о картошке! Обычной картошке, которую осенью копают. Алдона тоже писала об этом. Они уже выкопали.

— А раньше не позволяли, — объясняет другая. — Говорили, немцы там своих мин понатыкали. Мы ее даже не окапывали.

— Какая уж она выросла...

— Никудышная. А что делать? Хоть какая, а копать надо. Сперва солдаты все поле исходили, проверили. Все равно страшно было — чуть какую кругляшку увидишь, и спина со страху мокрая.

Нора хотела слушать этих женщин, идти с ними. Но тетя Аня повернула налево.

Вошли в лес. Это уже т о т лес... А сосны такие же, как в других. С толстой корой. Мальчишки из такой любят вырезать лодочки. И корни обычные — будто огромные бугристые клешни. И шишек много. Уже по-осеннему отсыревших.

Неожиданно Нора под елью увидела детский сандалик. Один. Расстегнутый. Тоже потемневший от сырости. Только пуговка красная. Будто земляничка.

Нора стояла и пристально смотрела на этот сандалик. Она знала, что не поднимет его, не отнесет ребенку, который раньше в нем бегал... Пришел в нем сюда...

— Ты чего остановилась? — спросила тетя Аня.

— Там... сандалик.

— Первое время тут много чего находили... — И она пошла дальше.

А сандалик остался под елью. Расстегнутый, с красной, как земляничка, пуговкой.

Нора увидела за деревьями яму. Большую, как котлован. А вокруг редкой, словно разорванной цепочкой стоят люди.

— Из этой успели сжечь всех, — тихо сказала тетя Аня.

Яма совсем пустая. Местами пробиваются травинки. Это здесь! Вот так же у края ямы стояла... Нет, про маму она боялась так подумать. И все-таки представила себе... Неужели мама, ее мама Ида — красивая, улыбающаяся, которая играла на рояле, — упала сюда, в этот песок?

Нора больно сжала кулаки — только бы не закричать, не броситься вниз.

— Эта еще небольшая, — обычным голосом объяснял сзади какой-то мужчина. — Есть и другие, куда они по десять тысяч...

— Пошли! — Тетя Аня дернула ее за рукав. И зло бросила в сторону объясняющего: — Нельзя об этом одними цифрами.

Нора побрела за тетей Аней. И все равно казалось, что стоит там, у ямы. Она понимала, что идет. Вот наступила на ветку. Обычную, набрякшую от сырости ветку. Она идет по лесу. Но по э т о м у лесу...

Из-за дерева вышел мужчина. Он еще издали протягивал им что-то на ладони.

— Вот что осталось от моей доченьки...

Нора не сразу догадалась, что меховой комок, который он держал, — это помпон от детской меховой шапочки.

Мех на ладони дрожал. Рука тоже.

— Это все, что осталось от моей Танечки... — Он смотрел то на тетю Аню, то на Нору. Будто ждал, даже просил, чтобы они что-нибудь сказали. Чтобы поняли.

Они понимали. Но что сказать? И он опять повторил:

— Все, что осталось...

И побрел. С детским помпоном на ладони, низко опустив голову. Будто искал еще чего-нибудь.

Они тоже пошли. Теперь и Нора смотрела себе под ноги...

— Там вот моих... — тихо сказала тетя Аня.

Опять яма. Очень большая. И глубже той, первой.

— Откуда вы знаете?

— Еще когда в первый раз пришла сюда... У этой вот ямы сердце будто подсказало. Чудилось, тут что-то осталось от них. В воздухе, на этих деревьях. Может, их взгляд... Но было! Еще и теперь иногда это чувствую...

А Нора ничего не чувствовала. У той ямы казалось — может, мама там... У этой — может, здесь... Как это почувствовать?

Ее стало лихорадить. Глаза смотрели на яму, а руки тряслись. И ноги. И все внутри. Она никак не могла унять эту дрожь, остановить ее.

Тетя Аня легонько дотронулась до ее плеча:

— Иди. В первый раз всегда так. Уходи отсюда.

Нора послушно побрела. За женщиной, которая, казалось, тоже что-то ищет. Вдали, между деревьями, мелькнул мужчина. Может, тот самый, с меховым помпоном в руке?

И опять цепочка людей. Вокруг другой ямы. Вымощенной.

— В этом бункере держали заключенных, которые жгли трупы. — Нора снова услышала тот самый голос. — До войны он был предназначен для хранения горючего.

Почему он все время говорит о другом? Ведь здесь стреляли в людей! Их убили! Потом откопали эти огромные могилы и всех сожгли. Чтобы совсем ничего не осталось...

Но они же были! Были! Нора хотела кричать об этом. Ему, всем. Они были! Только теперь этого не видно. Потому что ямы совсем пустые...

И ее пронзило: а ведь и от нее так — могло ничего не остаться... Пустая яма... Ничего...

— Ей плохо! — Нора почувствовала, как кто-то больно обхватил ее за плечи. Мелькнуло: значит, живая, если больно.

— Ничего... — она старалась устоять. Напрягла ноги. Чтобы держали.

— Вам помочь? — Кажется, это все тот же голос.

— Спасибо... Я сама... — И Нора шагнула. Казалось, сейчас упадет, ноги не слушаются, норовят ступать

куда-то в сторону. И деревья качаются. Но она заставляла себя идти прямо.

И шла. Сперва ноги заплетались, потом стали послушнее. Но лес все равно не кончался.

Опять яма. И люди вокруг нее.

Нора быстро свернула в сторону. Старалась не смотреть туда, не думать. Видеть только стволы деревьев, кору, сучья.

Но вдали опять люди... в большом кругу. Значит, и там яма...

Нора метнулась в другую сторону. Побежала. Казалось, эти ямы везде. Окружают ее, обступают. Она побежала, не разбирая дороги, спотыкаясь. Ветки елей цепляли, будто хотели задержать ее, не выпустить. Она отбивалась, вырывалась, и бежала, бежала...

— Больно ушиблись?

Нора ничего не понимала. Падая, успела подумать, что это от пули. Она уже убита. Все... Темно... А теперь опять светло. И она вовсе не в яме, а на земле. Над ней стоит... Витя? Нет, не в красноармейской форме. Но глаза тоже голубые.

— Больно ушиблись?

Нора мотнула головой.

— Тогда вставайте.

Нора посмотрела на свои разодранные на коленях чулки, и ей стало стыдно.

— Больно? — Он неожиданно дернул ее ногу так, что Нора вскрикнула. — Потерпите немного. — Он еще раз дернул. Она хотела терпеть, но слезы сами выступили на глазах.

Он отвернулся. Будто не замечает.

— А теперь постарайтесь встать. — Он это сказал совсем как Петронеле. Взял ее под руку и стал приподнимать. Нора чувствовала его руку, плечо — напряженные, сильные. — Обопритесь, не бойтесь.

Она посмотрела на свои измазанные ладони, грязный жакет.

— Вы же испачкаетесь.

— Ничего, вода не по карточкам. — И он опять заговорил заботливо, как тогда Петронеле: — Давайте доберемся до той вон сосны. Постарайтесь, пожалуйста.

И Нора старалась, хотя было очень больно.

— Теперь отдохнем. Потом опять пойдем. Надо выбраться на дорогу. А там остановим машину, и она вас отвезет в город.

— Да-да, в город! — обрадовалась Нора. — Там все живые!

Он посмотрел на нее, но ничего не сказал. Только стал еще крепче держать.

— Дорога уже недалеко, потерпите.

Нора терпела, хотя уже совсем не могла ступить на больную ногу. Он это понимал. Вел, где ровнее, раздвигая ветки. Теперь они были добрые, легко расступались. Даже помахивали ей вслед.

— Уже осталось совсем немного...

И правда, послышался шум машин. Вскоре появилась и сама дорога. Будто деревьям надоело оттеснять ее от леса, и они оставили ее тут. Только сами остались сторожить. По обеим сторонам.

— Вы посидите. — Он помог Норе сесть на пень, а сам ловко перепрыгнул через кювет и вышел на дорогу. Нора смотрела, как он стоит. Ветер теребит его волосы, а он время от времени поворачивается к ней и ободряюще улыбается. Мимо едут грузовики, тяжело урча. Но он их не останавливает.

Наконец поднял руку — из-за поворота появилась военная легковушка. Но она промчалась мимо, не останавливаясь. Брезентовая крыша трепыхалась на ветру, будто показывая, что очень спешат.

Он опустил руку, грузовики пропускал мимо. Нора хотела ему сказать, что может поехать на чем угодно, но ей было хорошо так сидеть и смотреть, как ветер теребит его волосы, и ждать, когда он обернется.

Из-за поворота опять выехала военная легковушка. Остановилась. Парень что-то сказал шоферу и сразу заспешил к ней.

— Вы сможете встать?

Ступать стало еще больней. У самого кювета — только Нора хотела спуститься, чтобы потом выкарабкаться, — он подхватил ее на руки и перенес. Она еле успела ухватиться за его упругую шею.

Стало совсем стыдно — и что шофер видит, как парень держит ее на руках, и что она обхватила его шею...

— Сперва больную ногу... — Он так и донес Нору до машины.

Шофер неожиданно дернул с места, и она едва успела, высунувшись, крикнуть:

— Большое спасибо!

Он помахал рукой и сразу повернул обратно. Будто и не нес ее только что на руках...

А машина ехала быстро. И Норе казалось — не она отдаляется от этих огромных ям, а они отстают. Остаются там, в лесу... А она опять едет в город, где папа, тетя Люба, Марите. Где все, все!

ГЛАВА XI

Теперь Нора и сама понимает, что зря так испугалась. Это же померещилось со страху, что ямы обступают. А уж ветки, конечно, ее не хватали — сама влетела в густой ельник. Она об этом никому не расскажет. Совсем никому... Тетя Люба и так говорит, что она слишком откровенна со всеми. Зачем чужим людям все знать о ней? А Нора не понимает, почему им нельзя знать.

Отец ее оправдывает — теперешняя разговорчивость, видно, результат долгого молчания в укрытиях. Она никогда, даже в детстве, не была болтуньей. А Норе кажется, что она всегда была такой. И маме все рассказывала, и Юдите. Правда, папе меньше. Потому что он вечно был занят.

Теперь тетя Люба уже не сможет упрекнуть ее. Почему упала, никому не проговорится. Если бы знала, что они с отцом так расстроятся, ничего бы им не сказала. Но само так получилось.

Когда вошла и отец увидел, как она хромает, он очень испугался. Стал осматривать ногу. Тоже дернул, только еще больнее, чем тот парень в лесу. Тетя Люба смыла с коленок грязь, и он по-докторски безжалостно помазал их йодом. Так жгло, что Нора хотела кричать, но стеснялась Алика с Татой. Они стояли рядом и очень сочувственно глазели. После каждого мазка йодом изо всех сил дули на колено и, переводя дыхание, участливо справлялись:

— Уже не так больно?

Нора отворачивалась, чтобы они не видели, как слезы сами выступают. А когда отец спросил, где она упала, Нора ответила:

— В лесу. Где расстреливали.

Сперва, кажется, ни отец, ни тетя Люба на это не обратили внимания. Молча бинтовали ногу. Тетя Люба ей постелила на носилках (Алик радовался, что будет спать по-солдатски, на полу), сделала противостолбнячный укол, унесла на кухню сушить жакет. Нора легла.

Она лежала с закрытыми глазами, удобно вытянув ногу. Было хорошо чувствовать, что она больше не болит.

Но неожиданно показалось, что в комнате слишком тихо. Будто никого нет. Открывать глаза не хотелось. Она только чуть приподняла веки.

Алика с Татой и правда нет. Тетя Люба сидит на диване и молча перебирает чулки. Наверно, ищет для нее другую пару вместо порванной. Отец тоже молчит. Курит.

Раньше, дома, он не курил. И Нора все еще не может привыкнуть к этому. Каждый раз, когда он достает папиросу, она хочет попросить, чтобы не закуривал, чтобы был такой, как раньше, дома.

Сейчас он тоже курит. И хмуро молчит.

Она помнит такое его молчание! Мама это называла: «Папа расстроен». А бабушка говорила: «Сердится». Норе становилось не по себе — может, на нее? Старалась тихо сидеть в своей комнате. А мама, наоборот, заходила к нему в кабинет, разговаривала с ним. Или звонила кому-нибудь из знакомых, приглашала в гости. И папа опять становился обычным, разговорчивым.

Но то было раньше, дома. А здесь Нора его ни разу таким не видела. Она и забыла об этом его хмуром молчании. Тетя Люба, может, даже не знает, что он бывает таким. Потому что никогда, придя домой, не улыбается ему первой, как мама. Наоборот, это он улыбается и смотрит, не грустная ли тетя Люба.

Нора снова глянула. Да, хмурый. На кого он сердится?

Когда она пришла, он не был таким. И когда ногу осматривал, и когда бинтовал. Волновался. Спрашивал, где упала.

Неужели из-за того, что она была в т о м лесу?

Нора быстро глянула на тетю Любу. Сидит на диване. Неподвижно застыв с чулком в руке. Уставилась в пол и смотрит не моргая. Думает о чем-то. И даже, кажется, забыла, не чувствует, что и они с папой тут, в комнате.

Папа тоже будто один. Отгородился дымком папиросы и, видно, мыслями далеко отсюда...

Вдруг Норе почудилось, что они... совсем чужие — отец и тетя Люба. Каждый сам, отдельно. И у каждого, когда они вот так молчат, в мыслях что-то свое... Ей даже захотелось, чтобы они заговорили. Сейчас, сразу. Чтобы были обычными, как каждый день.

Но они молчали.

Может... Догадка мелькнула и сразу скрылась. Нора еле успела ухватить ее. Может, они... вспоминают? Каждый свою прежнюю жизнь. Даже показалось, что отец стал более похожим на того, прежнего. Может быть, правда, вспоминает? Дом, свой кабинет. Или столовую. Мама наливает ему кофе. А напротив сидит бабушка. И она, Нора. Тогдашняя...

Но мамы нет! Нора вдруг вспомнила лес, пустые ямы. Мамы н и г д е, с о в с е м нет!

Она быстро, хотя от этого опять заболела нога, отвернулась к стене. Натянула на голову одеяло. Чтобы они ничего не услышали.

Мамы нет! Н е т!..

— Оставь... Пусть... — Отец, видно, хотел к ней подойти, но тетя Люба его остановила. Он что-то ответил, но слишком тихо.

— Ничего... — опять сказала тетя Люба. — Она должна была туда поехать. Там убили ее мать...

— Но ведь совсем не окрепла еще. А это может...

Что это может, Нора не расслышала: по улице загрохотали танки, а отец с тетей Любой говорили тихо. Нора старалась прислушаться, даже край одеяла над ухом приподняла, но танки очень гремели, и она не уловила ни одного слова. Только когда громыхание наконец стало отдаляться, услышала голос тети Любы:

— Свою мать она должна помнить...

Отец молчал. Норе показалось, что это молчание тянется очень долго. Но она боялась шевельнуться, чтобы они не вспомнили о ней.

Щелкнула зажигалка. Значит, опять закурил.

— Разве я говорю, что не должна. Я бы сам ее туда повез. Но пока... Она и так еще вся в прошлом.

— Все мы еще в прошлом...

Снова стало тихо.

А Нора думала... Ей казалось, что они... Раз поженились... Она же не знала, что тоже все помнят...

И Марите ей вчера сказала: «Да, в людях ты не очень разбираешься. Испытав то, что ты...»

Но тогда же было совсем другое! Тогда Нора знала: те, кто ее впускают, хоть ненадолго, хотя бы погреться, — хорошие. А те, которые прогоняют, — плохие. Теперь, когда говорят, что человек хороший или плохой, — то ведь совсем не поэтому. Правда, иногда Нора еще так думает — только, конечно, совсем о чужих — т о г д а они спрятали бы ее?

Но кроме этого? Какой, например, Рагенас, Нора так и не знает. Все его хвалят, что добрый, справедливый. И правда, он первый сказал, что ордера на платки местком должен дать тем, у кого вообще ничего нет. И глазами показал на Нору. Всегда ей улыбается. Недавно советовал проверить у врача здоровье — столько пережила. Спросил, есть ли у нее дрова на зиму. А вчера специально зашел сказать, что освобождены его родные мажейкяйские места. И Тельшяй, и Плунге, Тиркшляй — всего семь городов. А там, не указанная в сводке, его родная деревня Теркучяй. «Поехал бы туда помочь им восстанавливаться...»

Нора, конечно, могла бы спросить у кого-нибудь, какой он. Но каждый ведь ответит по-своему. Марите скажет, что он хороший. Тетя Аня, как только узнает про подпись на том документе, больше и слушать не станет. А отец объяснит, что о человеке надо иметь собственное мнение, а не чужое. Хотя сам о тете Любе говорит — и что хорошая, и что заботится о ней.

Это все правда. Но... Почему она все-таки... так сразу... вышла за папу замуж? Ведь у нее был другой муж. Наверно, хороший, красивый. Любил ее.

Но маму тетя Люба очень жалеет. Сегодня вот сказала, что Нора должна помнить.

Может, ей неловко, что заняла мамино место?

Так ведь она не виновата, что мамы нет. И отцу с ней, наверно, лучше, чем одному. И даже если бы они жили вдвоем. А про маму она часто спрашивает. Однажды,

когда отца не было дома и дети играли во дворе, стала расспрашивать, какие у мамы были волосы, какие глаза. Что она любила играть.

Сперва Нора отвечала неохотно. Но потом стала рассказывать. Как однажды их остановил на улице какой-то толстый дяденька и спросил, не согласится ли мама сняться для рекламы. А она только рассмеялась: «Снимайте мою дочь, она моложе». Дяденька очень удивился, что Нора ее дочь. Думал, сестренка.

Мама иногда и правда была будто сестра. Дурачилась вместе с Норой, помогала придумывать для всего класса первоапрельские шутки. И никогда не ругала. Даже за тройку.

И еще Нора тогда рассказала тете Любе, как мама помогала устраивать школьные вечера и сама на них играла. На последнем, в Майский праздник, играла Листа... А накануне бабушка опять начала приставать, чтобы мама пошла в парикмахерскую и сделала «настоящую прическу». У мамы волосы сами вились. Она говорила: «Я сама себе парикмахер». Но на этот раз почему-то послушалась бабушку и пошла. Вернулась совсем непохожей на себя. Будто даже не она это, а тетя с обложки журнала. Постояла у зеркала, повернула голову в одну сторону, в другую и сказала: «А теперь ликвидируем следы легкомыслия», — и полезла под душ. Вечером, в школе, была причесана как обычно.

Нора опять вспомнила тот вечер... Она знала, что лежит здесь, на этих носилках, даже чувствовала забинтованную ногу, но казалось, будто она снова там, в школе.

...Коридоры и классы пусты — все в зале. А на сцене, за роялем — мама... В своем длинном креп-жоржетовом черном платье, с бантом сзади. Чуть наклонив голову, играет. «Ракоци-марш» Листа. А Норе кажется, что она играет вместе с мамой. И пальцы так же ловко бегают по клавишам. Когда она слушает маму, ей не терпится играть так же. Сама себе обещает заниматься много, очень много. Чтобы техника была такая же. И репертуар. Тогда они для школьного вечера подготовят фортепианный дуэт. И выступят вместе...

После «Ракоци-марша» маме долго аплодировали. И директор, и учителя. А когда они с мамой после концерта стояли в зале, директор подошел к ним, поблагодарил маму и пригласил на первый вальс. Учитель исто-

рии пригласил Нору. Ей было очень неловко танцевать с ним. Ноги, казалось, сами норовят ступить не туда, куда надо. Она их переставляла напряженно, все время боясь сбиться. И еще было жарко, оттого что весь класс, конечно, смотрит на них, а завтра мальчишки будут ее дразнить.

И правда, только она утром вошла в класс, уже издали увидела на своей парте бумажку. Большими буквами было написано: «Учительская невеста». Но на первом уроке, когда учительница литовского «Мадам Грамотейка» устроила диктант с ударениями на дифтонгах, Нора получила записку SOS с самыми трудными словами. Она быстро проставила ударения и отправила записку обратно. После урока больше никто не вспомнил про «учительскую невесту».

Резко зазвонили. Нора вздрогнула, открыла глаза. Она здесь, в этой комнате, лежит на носилках. Тетя Люба пошла открывать дверь.

А Норе так не хотелось отпускать воспоминания. Она снова закрыла глаза. Пыталась вернуться в школу. Где их класс, учительская, зал. Но все исчезло.

— Опять мокрые ноги?

Это тетя Люба говорит ребятам каждый раз.

— Я по лужам не прыгала! — сообщает Тата.

Нора все еще силится вернуться в школу. Крепче зажмурилась.

— Давай играть, — просит Алик. — Ты раненая, а я врач.

— Хорошо... — И она окончательно открывает глаза.

Когда Нора наконец пришла на работу — с перевязанной еще ногой, даже чуть прихрамывая, — ей показалось, что она тут не была очень давно. А здесь так хорошо! Может быть, что-то изменилось?

Нет. Столы те же. И шкаф, и столики. Просто Марите с Людмилой Афанасьевной ей очень обрадовались. Расспрашивали. И она им рассказывала. Неудачно подвернула ногу, упала (только бы не спросили где!). Но ничего. Лежала у отца. Они ее не отпустили домой, да и ходить было очень больно. Конечно, ухаживали. И тетя Люба тоже. Спрашивала, как у маленькой, что она хочет есть. Даже перед Татой было неловко. А отец по утрам

первой давал читать газеты ей. Чтобы радовалась — еще один город освободили.

Марите и Людмила Афанасьевна слушали, улыбались и тоже спросили (в один голос): «Больше не болит?»

Потом было как каждое утро. Они принесли из отдела кадров свои машинки. Сняли чехлы. Людмила Афанасьевна свой сложила аккуратно, а Марите просто пихнула за шкаф. Сели печатать. И Нора им не рассказала, какой сильный парень нес ее на руках и как приходила ее проведать Ядвига Стефановна. Никого не было дома, она сидела возле Норы долго. Рассказывала о сыне. Как он, маленький еще, на даче, полез на дерево и порвал матроску. Сам пришел к отцу, стянул штанишки и серьезно сказал: «Меня надо наказать». Нора хотела рассказать Ядвиге Стефановне, что Винцукас тоже был очень серьезный, но вместо этого почему-то начала о похоронах. Что его гробик был из обрезков.

Ядвига Стефановна сама стала расспрашивать о Стролисах: как они ее впустили, как приносили в погреб еду. И Нора поняла — Ядвига Стефановна хочет, чтобы Нора их вспоминала живыми. Только живыми.

Потом Ядвига Стефановна «сбросила с себя пять десятков» и стала изображать, какие они, молодые студентки учительской семинарии, были чинные. Но тайком читали романы о любви, пряча их под учебниками латыни. И про экзамены рассказала, и про выпускной вечер. Даже вздохнула — как жаль, что время проходит так безвозвратно. Но хорошо, что это хоть было... И обязательно надо, чтобы у каждого человека это было: юность, учеба, экзамены, мечты, цель.

Еще Ядвига Стефановна расспрашивала Нору про школу. И про музыку. Что она играла, что мама любила играть. И про учительницу музыки Статкувене. И про школьных учительниц.

Норе было так хорошо это рассказывать! Будто она снова там.

Когда Ядвига Стефановна ушла, она сама думала о школе, вспоминала. И неожиданно поразилась: там и теперь так! Классы, уроки, перемены. Хоть бы взглянуть...

Очень не терпелось, чтобы нога скорее перестала болеть. Пойдет на работу, товарищ Астраускас пошлет с бумагами, и тогда...

Вошел товарищ Астраускас, и Нора словно очнулась — она уже здесь! Сейчас он скажет, что надо пойти... Нора поспешно сунула в ящик папки, ручку.

Но он только кивком поздоровался и сел за свой стол. Обхватил голову растопыренными пальцами. Они напряжены, будто им очень трудно держать голову.

Марите переглянулась с Людмилой Афанасьевной. Пожала плечами.

Наконец он поднял голову:

— Рагенаса убили. Бандиты.

Нора не ослышалась. Он это сказал.

Но... ведь не может быть!

— Где? — глухо спросила Марите.

— В Теркучяе. Поехал на хлебозаготовки. Когда из райкома позвонили, что от нас надо послать одного человека, сам вызвался. Говорит — достаточно насиделись при оккупантах в страхе. Теперь надо делом заняться. А Теркучяй — его родина, и он знает, кто из тамошних хлеб скорее в земле сгноит, но не сдаст государству. За это самое знание его и убили.

Почему так тихо? Неужели они не понимают, как это страшно? В него выстрелили! Он мертвый... Уже мертвый...

А все равно Нора ждала — сейчас он откроет дверь, войдет.

Но дверь оставалась закрытой. И в комнате было тихо. Так тихо, будто не они, живые люди, тут сидят, а застывшие манекены. Сейчас все покроется пылью... Как в спящем царстве...

Нора хотела шевельнуться. Разбудить их...

— А жена... знает?

Разбудила. Товарищ Астраускас вздохнул. Людмила Афанасьевна протянула руку за портсигаром. Алюминиевым, самодельным, с пятиконечной звездой и уходящими от нее пунктирными лучами. А Марите резко встала и, ни на кого не глядя, выбежала из комнаты.

— Уже пошли к жене... — устало ответил товарищ Астраускас. — Вот в похоронное бюро... — Он глянул на Нору и перебил себя: — Но тебе не надо, сам пойду. А ты, если нога не болит, разнеси вот эти... — И протянул ей курьерскую тетрадь, разбухшую от бумаг. Видно, пока она болела, никто не разносил.

Нора поспешно сунула их в портфель.

— Они не вписаны, — предупредил товарищ Астраускас.

— Ничего, я там... — И она поспешила выйти.

Только на улице вспомнила, что не разложила по адресам, даже не знает, куда нести.

Все равно шла. Смотрела на людей, старалась слышать их голоса. Неважно, о чем говорят. Только бы думать о них, идущих здесь. Только бы не о Рагенасе. Не представлять себе, как бандиты...

Вот навстречу идет женщина. Сворачивает в подворотню. А там стоит старик. Видно, отдыхает, потом будет подниматься по лестнице. Как хорошо, что живой!

И Нора вспомнила, как она, когда была маленькая, просила маму никогда не быть такой старой, как бабушка...

Идут два солдата. Может, Илико с Витей? Нет, незнакомые...

А Рагенаса убили...

Нора заспешила. Чтобы не думать, не представлять себе. Только идти. Считать шаги.

Вдруг она увидела что-то знакомое. Каштаны! Это их каштаны! По-прежнему стоят вдоль всего переулка. А там, в конце — школа.

Нора смотрела на знакомые, только совсем голые ветки. По забытой уже привычке глянула на землю. Но там не было ни одного коричневого каштаника.

Раньше они с девочками их собирали. Нора очень любила вылущивать из лопнувшей уже оболочки блестящий, еще чуть влажный каштаник. И потереть о пальто, чтобы еще больше заблестел. Потом, дома, он уже не блестел, высыхал. И бабушка ворчала, что Нора ими «засоряет все углы». А все равно, увидев их бархатный блеск, Нора опять собирала...

Теперь тоже смотрела под ноги — может, найдет хотя бы один. Возьмет его с собой...

Она шла от дерева к дереву, но видела только плиты тротуара и прислонившиеся к ним, втиснутые в землю камни мостовой.

Нора остановилась. Школа уже совсем близко, через три дома. Или через семь деревьев. Дверь та же. Даже ручка знакомая — массивная, старинная, будто из дворца.

Надо уйти отсюда. Сейчас дверь откроется, кто-нибудь выйдет...

А ноги продолжали стоять. После того первого утра, летом, она еще ни разу здесь не была. Даже обходила стороной, чтобы никого не встретить. Чтобы ее не спросили, почему не ходит в школу...

Дверь открылась. Нора метнулась в подворотню. Спряталась за железными воротами. Через маленькое решетчатое оконце в них увидела кусок улицы. И двух девушек.

Незнакомые. Та, что слева, высокая. И с косами. Только не такая красивая, как Иоанна.

— ...зато весь урок дрожала, чтобы не вызвал.

— А я боялась на алгебре.

Раньше Нора тоже так говорила. Чтобы девочки не думали, будто она зубрила. Иногда и правда боялась. Молила бога, чтобы взгляд учительницы скользнул мимо буквы «М».

Из школы опять кто-то вышел. Приближаются.

Это же Настя! С Яней. Какие они теперь... Нора даже не знала, как это назвать. Лица такие же, но сами они другие, высокие. Настя не размахивает, как раньше, портфелем, не крутит им в воздухе. Несет его чинно, почти как ридикюль.

— Я обязательно попрошу, чтобы меня пересадили.

А голос совсем такой же.

— Не хочу сидеть с такой сплетницей.

Она же сидела с Региной. Неужели поссорились? А были такие закадычные подруги. Как они с Юдитой...

Еще идут. С шумом. Это мальчишки, маленькие. Наверно, третьеклассники. Они ее не узнают — тогда еще не учились. Но все равно она не трогается с места.

— Больше историю учить не буду, — заявляет один. — Вчера столько учил, а все равно тройка.

— Говорят, учитель при немцах был партизаном.

— Партизаны справедливые. А он из-за одной даты, из-за...

Какая это дата, Нора уже не расслышала — прошли.

— Нет-нет, и не проси. — (Нора опять вздрогнула — знакомый голос, но не успела вспомнить чей.) — Я же сама читаю тайком, когда мамы нет дома.

Вита! Как это она сразу не узнала Витиного голоса. Наверно, опять тайно читает что-нибудь про любовь. Она

и «Прокаженную» первая читала, и «Монáха белого ужаса». Еще до того, как «Мадам Грамотейка» предупредила, чтобы этих книг никто не читал, они только для взрослых. Значит, Вита все такая же... И, может, по-прежнему уверяет, что замуж выйдет только за офицера. А учиться должна хорошо, чтобы муж ею гордился. Они же будут вращаться в интеллигентном обществе.

Снова шаги. Опять голоса. Из школы стали выходить потоком, непрерывно.

— ...попросим, чтобы в воскресенье разрешили устроить танцы...

— ...ну и что, спишу у кого-нибудь...

— ...а я на завтра уже почти все уроки сделала...

Прошли.

Нора ждала — может, еще кто-нибудь появится.

Тихо. И она осторожно выглянула на улицу.

Пусто. Только две женщины идут. И то по другой стороне.

Нора побрела обратно. Разносить бумаги... А школа осталась. Те, кто сейчас прошел мимо, завтра опять придут сюда. Войдут в класс, сядут за парту. Достанут тетради. Будут слушать учительницу. А на переменах говорить о географии, ботанике. Они не знают, что убили Рагенаса. И что в т о м л е с у пустые ямы. И про тетю Аню не знают. «Это только кажется, что мы как все...» А папа говорит: «Ты спаслась, чтобы жить. Настоящей жизнью».

Настоящей...

Тетя Янова не волновалась, что ее нет, — отец заходил предупредить. Поэтому Нора хотела по дороге к себе только поздороваться, сказать, что уже пришла. Но тетя Янова стала расспрашивать про ногу: как Нора ее подвернула и как нога болела — будто мышь изнутри зубами грызет или как будто в нее острыми ножами колют? И хорошо ли ухаживала тетя Люба. Потом тетя Янова долго рассказывала, как сама давно, еще в деревне, упала. Так ушибла ногу, что подняться не могла. Чужие люди домой принесли. Долго она тогда лежала, думали — калекой останется. Но ничего, прошло. Только иногда, перед дождем, очень ноет.

Нора слушала, кивала, хотя очень не терпелось подняться к себе. Там, наверно, лежит под дверью письмо от

Алдоны. Даже уверена, что оно там лежит. Она всегда знает, когда получит. Высчитывает. И вообще думает об Алдоне все время. Не только когда одна. И когда разговаривает с Марите и Людмилой Афанасьевной и когда сидит у отца. Даже когда слушает тетю Аню.

Они все хорошие. Но каждый почему-то хочет, чтобы Нора была именно такой, какой, по их понятию, она должна быть. А Алдона ничего не хочет. Она просто пишет. Рассказывает, как дедок председательствует — где был, что делал. О Тадасе пишет. И обязательно хорошее. О хозяйственных делах — сколько картошки накопали, какие куры перестали нестись. А в последнем письме успокаивала: «Тебе потому не по себе, что жить отвыкла. Все пряталась да только страх и знала. А еще, может, потому тебе непривычно, что город и семья отца чужими кажутся. Когда в другую деревню замуж выдают — тоже сначала так. И земля, по которой ступаешь, вроде не такая, и стол, за которым сидишь, — не свой. А уж люди кругом — и не так вроде работают, и не то говорят. Каждый свой шаг чувствуешь, каждое свое слово слышишь. Но потом и сама не замечаешь, как начинаешь привыкать. И уже не чужбина тут. Работаешь ведь, не гостюешь. А что своими руками сделано — то свое. Гость потому и гость, что в стороне от хлопот. Так что привыкнешь и ты».

И так в каждом письме. Объяснения, примеры. И Норе, когда это читает, кажется, что она уже и правда привыкла. И сразу садится писать Алдоне ответ. Что ей хорошо, лучше. Что летом с отцом приедут к ним — отец хочет познакомиться и побывать везде, где Нора пряталась. О новостях на фронте пишет. И о Марите, Людмиле Афанасьевне. В последнем письме написала, как в кино пошла и как потом с тетей Аней до полуночи проговорила. И еще Нора написала, что получила ордер на платок и что в комнате пока не очень холодно. Нора всегда старается рассказывать Алдоне только про хорошее. Но его не хватает, и Нора пишет о другом тоже...

Опустив письмо в ящик, Нора в тот же вечер начинает представлять себе, как его оттуда вынимают, везут на почту. Но там писем целые горы, поэтому не могут все сразу рассортировать. Два дня она старается не думать об этом. Конечно, не выдерживает... Зато на третий уже точно представляет себе, как ее письмо едет. В темном

закутке вагона, в мешке с другими конвертами колыше
ся в такт колесам и подрагивает на стыке рельсов.

Потом Нора представляет себе, как письмо уже і
той, маленькой почте. Дедок получает его. Или какой-н
будь сосед, поехав на базар, заходит на почту справит
ся, нет ли чего-нибудь в их деревню. Ему подают Нори
письмо. И он, возвращаясь, останавливает лошадь воз
их калитки. Алдона выбегает за письмом.

А вечером уже пишет ей ответ.

И Нора начинает его ждать. Опять представляет себ
как оно к ней едет.

Теперь письмо уже наверняка есть. Почтальон, ка
всегда, подсунул под дверь. И оно там лежит. Белеет кв
дратом на полу. Но тетя Янова не отпускает ее. Подро
но рассказывает, как перед самой войной такое же сл
чилось с офицершей, которая жила в доме напроти
Упала-то всего в комнате. А что-то сломала, даже в бол
ницу отвезли.

Норе так не терпелось подняться к себе...

Как только тетя Янова кончила про офицершу, он
поспешно сказала:

— Извините, тетя Янова, я пойду. Нога болит...
неожиданно соврала она.

— Иди-иди, — отпустила тетя Янова. — Только т
перь с этой ногой надо осторожно. Она часто будет по
ворачиваться.

— Хорошо... Спокойной ночи! — и вышла.

Письмо лежит. Нора его схватила. Разорвала ко
верт. Она, конечно, знает, что положено отрезать сбо
узенькую полосочку, но очень хочется скорее прочита
«Здравствуй, дорогая Нора. К тебе с приветом..
Глаза забегали вдоль строчек, будто силились сра
узнать все, что тут написано. Потом она прочтет еще ра
уже медленнее. И даже третий. Но теперь торопилас
Вдруг глаза остановились. Впились в одно слов
«Петронеле». Норе показалось, что она не поняла. Нач
ла еще раз: «К Микутисам приезжала на крестины с
стра Дарата из Ужкуляя. Она рассказала, что Петрон
ле, у которой ты пряталась, арестована. Говорят, за свя
с бандитами». Нора опять не поняла. Еще раз прочл
Здесь и правда так написано: «арестована за связь с ба
дитами». Нора заставила глаза оторваться от этих слов
читать дальше: «Но Дарата говорит, что это не она,

ксендз помогал бандитам. Петронеле только делала то, что ксендз велел — кормила, обстирывала. А суд будет у вас, не простой — показательный. Уже и свидетелей вызвали. На понедельник».

Ведь вчера был понедельник! Нора ужаснулась. Вчера!..

Петронеле уже судили... Вместе с бандитами, которые убили Стролисов. Она — с ними?! Но этого же не может быть! Не может!

Нора прихрамывая выбежала из комнаты. Вниз по лестнице. Она расскажет! Все расскажет! Как Петронеле тащила ее на себе из лесу, как поила травками, как молилась богу, чтобы Нора не умерла.

— Куда ты? Скоро комендантский час.

Дядя Ян уже вышел запирать ворота — поздно.

Повернула назад. Опять поднялась по лестнице. Выбегая, не закрыла дверь, и теперь она распахнулась, показывая пустоту комнаты.

Нора вошла. Села на кушетку.

Но она же должна рассказать про Петронеле! Неправда, что Петронеле заодно с бандитами! Они убивают, а она добрая. Очень добрая. Она не может быть с ними!

«...Это чтобы жар из тела вышел...», «...А это чтобы крепость в ногах была...» Когда Нора уходила, Петронеле ее перекрестила. И завернула в платочек вместе с хлебом два яичка, которые берегла на пасху...

Может, надо было рассказать, что это ксендз выгоняет?

Не поверила бы.

А если? Она бы поняла, что не все ксендзы хорошие, что этот вот плохой. Ослушалась бы его. И не было бы никакого суда. Теперь спала бы у себя на кровати. Вокруг печи на веревках сушатся травки, грибы на зиму. И столетник дремлет на подоконнике...

Но она в тюрьме, в камере. Лежит на дощатых нарах. Вчера ее судили. Потому что Нора опоздала!

А это письмо ждало ее, чтобы пришла, прочла, чтобы узнала! А она лежала у папы и думала о себе...

Даже сегодня днем, когда шла к школе и, будто маленькая, искала каштаны, письмо ее так ждало! Еще могла бы успеть в суд. А вместо этого стояла в подво-

ротне и смотрела, как выходят из школы Настя, Вита, Завидовала им, хотела быть такой же...

Не может она быть такой, как они. Не может!

Но это неважно. Петронеле в тюрьме! В камере с маленьким оконцем. За ним — стена. Высокая, толстая. И Петронеле, наверно, страшно. Она не знает, что с нею будет. Это решат другие люди.

Может, она думает, что Нора нарочно не пришла в суд — ведь самой теперь ничто не грозит.

Но она же не знала!

А теперь знает. И все равно сидит.

Потому что ночь. Если бы даже побежала тайком, прячась в тени стен, чтобы патрули не увидели, то куда? В тюрьму не впустят. А в суде ночью никого нет.

Как передать Петронеле — через эту темноту над крышами, через тюремную стену, решетчатое оконце, — что Нора завтра прибежит? Может, суд еще не кончился. Она расскажет, будет просить, умолять, чтобы Петронеле выпустили. Она же хорошая, очень хорошая!

Ударили башенные часы.

Три... Четыре..

Как долго еще ждать утра!

Когда Нора попросила товарища Астраускаса отпустить ее с работы и объяснила про Петронеле и суд, он очень удивился.

— Я потом все сделаю! — поспешила она заверить.

— Не поэтому... — И посмотрел на нее особенно пристально. — Ты понимаешь, что будешь заступаться за человека, который связан с бандитами?

— Но она же спасла меня!

Он побарабанил пальцами по столу.

— Да...

— Как это она оказалась соучастницей бандитов? — удивилась Людмила Афанасьевна.

— Это все ксендз...

Марите почему-то молчала.

Товарищ Астраускас опять посмотрел на нее очень пристально. Будто хотел понять что-то.

— А твой отец знает?

— Конечно. Он тоже пойдет!

— Сперва все-таки выясни... — начала было советовать Людмила Афанасьевна.

— Она же не выясняла, когда вела меня из леса!

— Тоже верно...

— Так мне... можно?

— Срочных бумаг пока нет, — будто совсем о другом заговорил товарищ Астраускас. — И если у тебя свои дела...

— Спасибо!

На лестнице догнала ее Марите. Сунула в карман яблоко.

— Съешь. Из деревни привезли. — И поспешила наверх.

В суд, то есть в театр, где шел суд, их не хотели впускать. Нужны пригласительные билеты. Отец стал объяснять милиционеру, что они пришли не слушать, а его дочь хочет дать свидетельские показания.

— Где ее повестка?

— Дело в том, что нас не вызвали, мы сами пришли.

Милиционер и слушать перестал.

— Но если нас, то есть хотя бы дочь, не выслушают, — настаивал отец, — могут неверно засудить человека.

— Гражданин, отойдите. И вы, гражданка, тоже.

Но они не могли отойти! Отец просил понять — там судят старушку, которая во время оккупации спасла... А никто этого не знает...

Милиционер махнул рукой.

— Там судят бандитов.

— Но она не такая! — крикнула Нора.

— Разберутся.

Отец, волнуясь и оттого неуклюже подпрыгивая на костылях, заспешил к другой двери, где вход на балкон. Опять стал объяснять. Но милиционер сразу перебил его:

— Без пригласительных не имею права.

— А где их взять?

Он пожал плечами.

— По месту работы. Или, может, в райкоме.

— Но мы можем опоздать! — не отставала Нора.

— Мне приказано не впускать.

— А где начальник охраны? — строго спросил отец.

Милиционер спокойно, будто давая понять, что это все равно не поможет, сказал:

— Наверно, внутри.

Отец велел ей ждать, а сам («Хоть бы не выскользнули костыли!» — испугалась Нора) заспешил к дальней небольшой двери с надписью «Служебный вход». Что-то сердито сказал милиционеру, и тот его впустил!

Нора ждала долго. Наконец отец вышел вместе с милицейским офицером, который велел их пропустить.

В фойе отец опять ушел — искать Петронелиного адвоката. Нору впустили в зал.

Она удивилась, что здесь непривычно светло, совсем не как на спектакле. И зал выглядит иначе — первые ряды стульев сняты. А сбоку отгорожено. Там они! И Петронеле. Забилась в самый угол, опустила голову. В своем всегдашнем черном платке. Ее тоже охраняют...

Хоть бы посмотрела сюда!

Но она не смотрит. Ни на сцену, где судья, заседатели, ни в зал. Только себе под ноги. И, кажется, даже не слушает. Это ж ее судят! И тех, кто рядом...

Они совсем обычные. У крайнего уши большие, оттопыренные. А его сосед потирает небритый подбородок. Но они же убивали! Это только теперь они выглядят... как все... В старых пиджаках, сутулятся. Будто им даже неловко, что на них смотрят.

Но у них же были автоматы. И они убивали! Тот, крайний, с торчащими ушами. И второй, что трет подбородок. Той же рукой он нажимал на гашетку... Даже этот белобрысый недоросль в сером домотканом пиджачке, который теперь отвечает.

— Не... не заставляли. Говорили, кто хочет.

— И вы хотели? — Голос судьи был строгий.

— Не... Только другие шли, так и я...

— А что оккупанты вам за это давали?

Значит, он и тогда!.. Нора вздрогнула. Он, который тут стоит, — с автоматом... в т о м лесу... И если нашел бы ее у Стролисов или у дедка...

— Не... Сами-то они ничего не давали...

Было тихо. Судья ждал, чтобы он продолжил. И он неохотно пояснил:

— Они только позволяли брать.

— Что именно?

— Одежонку. Брюки там или пиджак. Может, пальто. Уже не помню.

— Значит, вам разрешали брать одежду расстрелянных?

— Не... Не всю. — И опять пояснил: — Это кто половчее, две пары на себя натягивали. Или по карманам лазили — может, там часы иль деньги.

— А вы?

— Я не...

— Почему?

— Медлительный я. Да и на что мне много? Себе, тестю. Еще иногда детишкам. Иль жене.

Нет, ей это не снится. Она слышит. И другие тоже слышат.

— А почему вы пошли к оккупантам на службу?

— Так я ж не знал, что будет такая.

Судья полистал на столе бумаги.

— Вы поступили в январе сорок второго. Тогда уже было известно, что это за служба.

Молчит.

— Вы не ответили, почему пошли к оккупантам на службу. Заставили?

— Не... Только люди говорили — кто не с ними, в Германию вывезут. Кому ж охота...

— А тем, кого вы расстреливали, охота была умереть?

— Не...

Норе казалось, сейчас что-нибудь случится — лопнет, разорвется эта тишина. Грохнутся наземь люстры. Но было тихо, и люстры висели неподвижно. Только голос судьи казался слишком громким:

— Но теперь, когда ваших бывших хозяев уже нет, почему вы теперь продолжали убивать?

— Я не убивал.

Судья опять полистал свои бумаги.

— На предварительном следствии второго октября вы сознались, что выстрелили в председателя сельсовета Витенаса.

— Так я ж не один.

— Но вы, почему вы выстрелили?

— Приказали... — уже совсем неохотно ответил он.

— Кто приказал?

Он нерешительно глянул на большеухого с краю. Но тот, брезгливо поморщившись, отвернулся. Даже отодвинулся.

— Шимонис велел?

— Не... — Он, кажется, испугался. — Другие. Фамилий не помню. Говорили, немцы скоро вернутся. И кто не слушается...

Вдруг умолк. Будто устал говорить. Или подумал, что все равно не поможет.

Судья ждал. Потом задал еще один вопрос:

— В убийстве бывшего малоземельного крестьянина Тишкуса, получившего от советской власти землю, а также в убийстве его жены и двух малолетних детей вы участвовали?

— Не... — И все-таки, помолчав, добавил: — Только на часах стоял.

В зале кто-то заплакал. Все повернулись туда. Плакала старушка в таком же, как у Петронеле, черном платке. А молодая обнимала ее...

Судья назвал еще одну фамилию. Еще. Но он упрямо твердил свое:

— Не... Только на часах стоял.

А Петронеле так ни разу и не подняла головы. Даже не шевельнулась. Будто не слышала ничего, не понимала. Сидела в углу сухонькая, маленькая, в черном платке, черной кофте.

Когда судья объявил перерыв, Нора заспешила к Петронеле. Но люди выходили из зала, и, пока она пробиралась, из-за перегородки всех вывели в заднюю дверь. Петронеле шла последней, и Нора увидела только ее спину, заложенные назад руки. Знакомые, худые... Хотела хотя бы крикнуть, чтобы Петронеле знала — она здесь. Но не успела — дверь закрылась. За перегородкой было пусто. Только две обыкновенные скамьи. А сзади, на двери, в которую их вывели, нарядные бархатные портьеры. Конечно, ведь здесь театр...

Подошел отец.

— На сегодня все свидетели уже вызваны, иди на работу. Попроси, чтобы завтра отпустили. Повестку мне позже дадут.

— А Петронеле? Она же не знает, что я здесь.

Отец сочувственно покачал головой.

— Говорить все равно не разрешат.

— Но пусть хоть увидит, что мы здесь!

Он тоже остался ждать. Смотрел в зал. Остановился взглядом на середине какого-то ряда. Будто там стулья знакомые.

— В последний раз я... мы с твоей мамой здесь были за три дня до войны... Потом, на фронте, я часто вспоминал тот вечер...

Она, кажется, тоже помнит... Папа с мамой пришли поздно. Она уже лежала в постели. А мама стала рассказывать бабушке... На мгновенье Норе показалось — рядом стоит совсем, совсем прежний папа.

Внезапно мужской голос у самого уха строго сказал:

— Здесь стоять нельзя. Прошу отойти.

Милиционер.

Нора неохотно отодвинулась. Но совсем немного.

— Еще отойдите.

Звонок. И сразу второй. Люди входят во все двери, рассаживаются. А портьеры за перегородкой висят неподвижно.

В зале зажгли боковой свет. Но та дверь все еще закрыта.

Идут! Нет, только милиционер. Второй. Становятся по углам.

Они! Большеухий. Его сосед. Тот, отвечавший...

— Петронеле!

Норе показалось, что она позвала очень тихо, но милиционер строго сказал:

— Отойдите. Разговаривать запрещено.

— Петронеле... — все равно позвала Нора.

Петронеле подняла голову. Встрепенулась. Испугалась. И очень знакомо, по-воробьиному быстро повернула голову к сцене, опять к Норе. Снова к сцене. И махнула Норе, чтобы ушла отсюда. Скорее!

— Разговаривать нельзя. Прошу отойти.

Но она же не разговаривает. Только смотрит.

А Петронеле опять махнула рукой. Чтобы Нора скорее ушла. Кажется, боится за нее.

— Идем... — Отец погладил Норино плечо. — Идем.

Но она не могла двинуться.

— Прошу встать. Суд идет!

Захлопали стулья. И Петронеле снова опустила голову.

Нора вышла.

Там, в зале, люди опять садились. Отец тихо прикрыл дверь.

Все было совсем не так...

Ночью, в своей комнатке, Нора очень ясно представляла себе и этот зал, и сцену. Видела, как стоит там, как рассказывает. Петронеле вовсе не заодно с этими. Она спасла ее. Иначе Нора так и замерзла бы тогда в лесу, в яме...

«...Я совсем не могла ступить. Она нагибалась и растирала мне ноги».

«...Я хотела лежать на чердаке или в сарае. Тогда, если меня найдут, скажу, что сама туда залезла, она ничего не знает. Но Петронеле даже испугалась: «Как это человека, да еще больного, — в сарай!»

И про еду Нора рассказывает: «...Мне она всегда наливала больше, чем себе. Я просила, чтобы хоть поровну, а она объясняла: «Я же все время ела, а тебе надо отъесться и за то время, что лежала в лесу голодная».

И как Петронеле ее лечила, Нора рассказывает. И как уговаривала не уходить — ведь еще холодно, хоть бы настоящей весны дождалась. А на дорогу отдала единственные два яичка, которые берегла на пасху...

А кончив про все это, добавляет то, что сказала тетя Люба: «Нельзя человека судить, если он не понимал, что делает. Это не соучастие».

Всю ночь это вертелось в голове: она говорит, судья и заседатели слушают. Петронеле тоже довольна. А после суда Нора ее приводит к отцу. Потом они приходят сюда. Петронеле будет спать на кушетке...

Утром все было иначе.

Когда она у входа показала милиционеру повестку, он велел пройти в комнату для свидетелей. Нора сказала, что хочет в зал. Но милиционер объяснил, что в зале она сможет остаться только после дачи показаний. А теперь должна пройти за кулисы. Вторая дверь направо.

В театре кулисы совсем другие, чем за школьной сценой. Длинный коридор, много дверей. И на каждой карточка с фамилией артиста.

Нора постучалась во вторую дверь.

— Войдите.

Гримировочная... Вдоль обеих стен — зеркала, тумбочки. Сидят трое мужчин, каждый перед отдельным зеркалом. Деревенские — сразу узнала Нора. Двое пожилых. У крайнего бумажная полоска на подбородке — видно, порезался, когда брился. А третий, который ближе к двери, — совсем молодой. Только старается казаться взрослым. И немножечко похож на того, голубоглазого, который нес ее из леса...

Старики сидят прямо, напряженно и, кажется, боятся шевельнуться, чтобы не шевельнулось и там, в зеркале. А парень, наоборот, то как бы ненароком поправляет волосы, то просто руку приподнимает. И следит, как это отражается.

— Здравствуйте... — Засмотревшись, Нора забыла поздороваться.

Старики кивнули и сразу снова застыли — такие же чинно-неподвижные. А молодой, следя, как в зеркале шевелятся его губы, сказал:

— Садитесь. Неизвестно, сколько ждать придется.

Она присела на четвертый стул. Тоже перед зеркалом. Над ним лампочка.

Казалось, она тоже, как эти старики, боится шевельнуться. Но, правда, очень неловко было сидеть перед своим отражением, лицом к лицу с собой. И еще видеть в зеркале напротив свой затылок, спину.

В коридоре послышались шаги. Все четверо напряглись в ожидании... Нет, прошли мимо.

Парень вздохнул. Видно, долго еще ждать... А Нора, кажется, только теперь вспомнила, зачем она здесь. Ее же могут вызвать. И надо будет говорить. Уже теперь, сейчас, в том большом зале!

В зеркале были очень испуганные глаза — она забыла! Забыла все, что ночью собиралась сказать — складно, убедительно. Это осталось там, в ее комнате.

Она быстро зажмурилась. Чтобы вспомнить.

Петронеле добрая. Спасла ее... Вела из леса... Нельзя человека судить за то, что он не понимал. это не соучастие...

Вызвали Нору самой последней.

Первым позвали молодого парня. Услышав свою фамилию, он заволновался. Подскочил, потер о пиджак

руки, будто ему сейчас здороваться, а они не очень чистые, и вышел.

Они остались втроем. Ждали его возвращения. Тот, с бумажкой на подбородке, так и сказал:

— Вернется, хоть расскажет...

— Скорее бы... — вздохнул его сосед.

И опять замолчали. Сидели перед своими отражениями в закупоренной тут тишине...

Когда дверь наконец открылась и громко позвали: «Приглашается свидетель Вайткус», — тот, с порезанным подбородком, кажется, не сразу понял, что это его зовут. Потом суетливо вскочил, на ходу бросил: «До свиданья», — и поспешно заскрипел сапогами к двери.

Его сосед остался сидеть в явном нетерпении, готовый каждую минуту вскочить. Наконец не выдержал, поднялся.

— Наверно, уже скоро позовут.

Пригладил на макушке волосы и встал у двери. Так и стоял, видимый в зеркале без головы, долго, переминаясь с ноги на ногу, поминутно одергивая пиджачок.

Наконец его тоже позвали. Нора осталась одна. Одна с зеркалами, в которых было много Нор. Только одни сидели к ней спиной, другие — боком. И поворачивались вместе с нею, смотрели друг на друга.

Может, судьи забыли о ней? Она достала повестку, положила перед собой.

Повестку никто не проверял. Так и осталась там лежать раскрытая, когда Нору внезапно позвали.

В зале после блеска зеркал казалось тускло. Нора никуда не смотрела. Встала, куда ей показали. Слушала предупреждение судьи, что за ложные показания может быть привлечена... по статье...

— Конечно, скажу правду! — воскликнула она.

Судья еле заметно улыбнулся, и Нора смутилась — наверно, не надо было этого говорить, да еще так громко.

Она увидела рояль! Сзади, за судейским столом, в самом углу сцены стоял концертный рояль. И Нора уставилась на него. Отвечала, как фамилия, имя, отчество. Год рождения. Национальность. Только услышав вопрос: «Образование?» — испуганно глянула на судью — это тоже надо говорить? Но он не понял и повторил:

— Образование?

— Незаконченное среднее...

Судья, кажется, удивился. А один заседатель — тот, в очках — неодобрительно покачал головой.

— Расскажите суду, как и при каких обстоятельствах вы познакомились с подсудимой Петронеле Куршите.

— Я с ней не знакомилась. Она меня прятала.

— Когда и сколько времени?

— Во время оккупации... Всю зиму.

— А точнее? Постарайтесь вспомнить, сколько времени вы у нее находились.

Тетя Люба говорила — надо составить список...

— С осени... с поздней осени, уже были заморозки, сорок первого года, до... до... — Нора вспомнила стаявший снег, лужи и два яичка, которые Петронеле ей отдала... — почти до пасхи, то есть до весны сорок второго...

— Знаете ли вы еще кого-нибудь из подсудимых?

— Нет...

— Вспомните, может, приходил кто-нибудь из них к Петронеле Куршите?

Но судья же спрашивает совсем не о том! Она должна рассказать, какая Петронеле хорошая. Как ее прятала.

— Постарайтесь вспомнить... — начал было повторять судья.

— Что вы! — поспешила его заверить Нора. — Она их даже не знала раньше. И вовсе не заодно с ними!

— Отвечайте только на вопросы, — напомнил судья. — Приходил ли к Петронеле Куршите кто-нибудь из сидящих тут подсудимых?

— Нет. Не приходил. — И Нора беспомощно умолкла. Но вдруг услышала свое молчание. Ведь так судья вовсе ничего не узнает. И она добавила: — К ней вообще никто не приходил. Только иногда соседки. Но меня они не видели...

— А почему подсудимая вас не укрывала до конца, то есть до прихода Советской Армии?

Отец говорил, что об этом могут спросить...

— Ведь знала, что для вас это смертельная опасность.

— Я сама... — Норе показалось, что судья не расслышал, и повторила громче: — Я сама ушла.

— Напоминаю, что суду надо говорить только правду.

— Правда, я сама ушла...

— У вас было более надежное укрытие?

— Нет...

— Тогда почему же вы ушли? Она вас вынудила?

— Что вы! Она не хотела, чтобы я уходила. Потом дала на дорогу хлеба и единственные два яичка, которые берегла на пасху. — Услышав свой голос, Нора поняла, что это совсем не важно, про яички.

— Она не хотела, вам некуда было, а все-таки вы ушли. В чем же причина?

Нора молчала.

Но если не скажет, судья и правда подумает, что Петронеле велела уйти. А если скажет... Нора посмотрела на Петронеле. Она сидела все так же опустив голову. Если скажет, то Петронеле будет очень больно — будто сама выдала. Да и судья может не поверить, что Петронеле не по злой воле. Она очень набожная... И на исповеди...

Судья ждал. И сзади, в зале, было очень тихо.

— Потому... что на исповеди она призналась ксендзу...

У Петронеле мелко задрожали руки. А может, она мысленно перебирает четки?

— И что же?

— Ксендз прислал соседку — когда Петронеле не было дома, — и она велела мне уйти. Иначе ксендз...

— Неправда!

Это крикнул большеухий. Неужели он ксендз? Но ведь совсем непохож. Без сутаны, в обычном пиджаке.

— Я вам слова не давал, — сказал ему судья и опять обратился к Норе: — Какую соседку?

— Фамилии не знаю. А имя Агота.

Петронеле вздрогнула.

— И что вам эта Агота сказала?

— Чтобы я немедленно ушла. А то...

— Выдумки! — опять пробасил большеухий.

Судья посмотрел на него очень строго.

— Не выдумки! — Нора больше не могла говорить тихо. — Петронеле правда не знала, почему я ухожу. Просила остаться. Дала на дорогу хлеба, единственные два яичка... — Нора помнила, что об этом уже говорила, но все равно продолжала: — ...которые берегла на пасху. И не виновата она! Ни в чем не виновата! Это ксендз велел... А она его слушается... Он же ксендз! —

И Нора вспомнила тети Любины слова: — Нельзя человека судить за то.

Но судья не дал ей закончить. Опять стал задавать вопросы. А Норе казалось — все не о том, не о главном.

Прокурор тоже спрашивал. Говорила ли Петронеле, что боится прихода Советской Армии? И почему Нора все-таки тогда не сказала о причине своего ухода. (Если она действительно настоящая и единственная, подчеркнул он.) Нора смотрела на него — неужели не верит?

И только адвокат, кажется, верил. Нора хотела, чтобы он ее спрашивал много. Чтобы она могла рассказать все, все. Но адвокат только хотел знать, просила ли Нора у Петронеле, когда та нашла ее в лесу, чтобы спрятала, или Петронеле сама предложила. И хотя Петронеле тогда ничего не предлагала, просто вела ее, Нора ответила, что да, сама предложила. Еще адвокат спросил, знала ли Петронеле, что за укрытие Норы гитлеровцы ее могут... И Нора, даже не дослушав, поспешила уверить:

— Конечно, знала!

Когда судья сказал, что она свободна, Нора не сразу поняла, что это уже все, больше ее спрашивать не будут. А ведь еще ничего не рассказала! Но судья повторил:

— Вы свободны. Можете, если хотите, остаться в зале.

Нора повернулась уходить. Не решилась взглянуть на Петронеле. Ведь не помогла ей... Оставила с этими...

А ноги двинулись с места. Пошли туда, к рядам стульев. Глаза увидели свободное место у края.

Нора села.

— Хорошо говорила девушка... — услышала она за спиной шепот.

— Про ксендза могла бы не болтать, — зло ответил другой голос.

И Петронеле не смотрит сюда...

Что они с нею сделают? Эти строгие люди, сидящие на сцене? Они же ничего не знают! Нора не сумела рассказать.

Кого попросить, чтобы завтра ее опять вызвали?

Отец сказал, что это было глупым ребячеством на суде крикнуть: «Петронеле, я поеду с тобой!»

Но у Норы это само вырвалось. После речи адвоката она вообще надеялась, что Петронеле сразу выпустят.

Он же доказал очень правильно, убедительно, что Петронеле совсем не виновата. И просил освободить ее из-под стражи. Норе показалось, что судья кивнул.

Она уже представляла себе, как после суда приведет Петронеле к папе. Потом к себе... Даже просила тетю Янову одолжить крестик, чтобы повесить на стене, пока Петронеле будет у нее жить. Но когда судья в самом конце приговора прочел: «...Петронеле Куршите — три года лишения свободы» и Петронеле, будто только теперь поняв, что это на самом деле о ней, стала беспомощно озираться то на адвоката, то в зал, на Нору, у нее и вырвалось: «Я поеду с тобой!»

Отец уверяет, что она помогла. И адвокат это сказал. Если бы не ее показания, Петронеле осудили бы по меньшей мере на восемь, а то и на все десять лет. Ведь все-таки бандиты находили у нее приют. Но именно потому, что она спасла Нору и Нора рассказала о ее фанатической вере в бога и в ксендза, ей дали всего три года.

Тетя Люба сказала, что, конечно, можно писать в высшие инстанции, просить еще больше смягчить приговор, можно и даже нужно ей помогать теплыми вещами, продуктами. Но поехать...

И все-таки Нора думала об этом...

...Петронеле выпускают из лагеря. Где бы она ни поселилась потом, Нора приезжает к ней. Они живут вдвоем в маленьком домике. Петронеле спит на кровати, а Нора на печи. Только, конечно, не прячась. По вечерам пишет письма. И совсем не чувствует, что должна быть другой. Там нет пианино. И переулка с каштанами, где школа...

А здесь все это есть. Даже снится. Как только она закрывает глаза, кажется, еще не засыпает, уже видит это. Каждую ночь то же самое. Будто идет по коридору, бесконечно длинному, со множеством дверей... За одной стучат машинки. Там Марите и Людмила Афанасьевна. За другой — она знает — отец. Теперешний, с тетей Любой, Аликом, Татой. А дверь напротив — прозрачная. Виден т о т лес. И огромные пустые ямы...

На соседней двери белеет листок. То самое удостоверение, которое Рагенас подписал во время оккупации. А за дверью — сам Рагенас. Мертвый, в черном гробу, со сложенными на груди руками.

В двери направо — окошечко. Это касса тети Ани.

Только Нора все равно проходит мимо. Она спешит. Отец велел зайти в вечернюю школу. Но здесь очень много дверей. И Нора проходит мимо них, все повторяющихся. Опять слышен стук машинок. Белеет листок Рагенаса. Виднеются ямы в лесу. Окошечко в кассе тети Ани. А Нора все идет по этому бесконечно длинному коридору, идет...

Утром встает усталая, будто и правда всю ночь шла...

Недавно рассказала об этом тете Ане. Но она ничуть не удивилась.

— Потому и снится, что днем об этом думаешь.

— А вы разве не думаете?

— Нет. Жизнь вспять не повернешь.

Нора хотела спросить — неужели тетя Аня никогда не вспоминает свою прежнюю работу и ей не хочется опять держать в руках новорожденного малыша, вызвать его первый крик, сказать: «Живи, малыш!» Но промолчала. Тетя Аня не любит, когда ей напоминают об этом.

— Нас из жизни выбросило, — продолжала тетя Аня. — И вернулись мы уже не в свою, прежнюю жизнь, а в их — тех, кто жил беспрерывно.

— Но папу ведь тоже «выбросило». И тетю Любу, и других. А они не только помнят...

— Значит, могут. А я не могу. Помню, что было... Да и кажется мне, что и теперь мы еще временные. Хоть немцы далеко — в Польше, Чехословакии, но могут прорваться их самолеты, сбросить бомбы... А сколько людей погибло от этого недавнего взрыва на станции. Говорят — саботаж, дело рук гитлеровских последышей. Какая разница, чьих рук... — Тетя Аня опустила голову, белую, поседевшую в лагере. — Война еще идет...

Нора это знает. Слушает сводки Совинформбюро, собирает газетные вырезки с приказами Главнокомандующего, считает, сколько уже освобожденных городов. Читает тете Яновой письма ее Яцека с фронта. И везде — о боях. Идут бои. Она понимает, что там каждый день, даже каждый час, за взятие любого города, за освобождение каждой деревни многие падают мертвыми. Или их ранят... А все равно кажется, что это далеко — фронт, стрельба, взрывы. И поэтому она думает: а что будет потом, после войны?

Отец уже столько раз убеждал, что она должна учиться дальше. И на работе, будто сговорившись, все твердят

то же самое. Она не спорит. Даже понимает. Но все равно повторяет: «Не могу».

Тетя Аня это понимает. А те, кто уговаривает... Им, наверно, трудно постичь, что она не может опять стать ученицей. Думать только об уроках, отметках. Будто ничего не было...

Но ведь было! Б ы л о!

Да и теперь все совсем иначе...

Если бы она уже была в школе... Но пойти... Опять постучать в незнакомую дверь. Попросить, чтобы впустили. То есть приняли. Она сразу начинает чувствовать старый страх — что скажут: «Нельзя, уходи...»

Нет, она не может...

ГЛАВА XII

Нора помнила, что приближается ее день рождения. И раньше, дома, ей казалось, что 5 января — особый день. Даже в календаре это число ей сразу бросалось в глаза. А в школьном дневнике Нора в первый же день учебы проставляла даты далеко вперед — до 5 января. И чем ближе к нему, тем нетерпеливее ждала — будет день рождения! Придут девочки, мальчики. Почти весь класс. Мама испечет торты, сделает желе, придумает веселые игры.

В самый последний перед войной день рождения устроили маскарад. Что творилось! Даже бабушку уговорили стать старой графиней, обмахиваться веером, а мама за ширмой пела вместо нее французский романс из «Пиковой дамы».

Теперь, в этот день рождения, конечно, ничего не будет. Но все равно ждала его. Даже нетерпеливо.

Накануне вымыла пол. Тетя Янова, узнав, зачем Нора берет у нее ведро и тряпку, принесла две вязанки дров. «Чтобы не устраивать в комнате каток» и как подарок Норе ко дню рождения, а заодно уже и в честь послезавтрашнего «праздника трех королей». Затопили печку. До чего хорошо было! Пахло свежевымытым полом, трещали поленья. Тетя Янова рассказывала, как в деревне парни, нарядившись королями, ходили по хатам колядовать.

В комнате стало тепло. Нора начала «наводить красоту». Сменила на комоде и этажерке бумажные салфет-

ки. Положила не простые белые листки, а вырезала узоры. Чтобы выглядели как настоящие салфетки.

И в комоде перевернула бумагу чистой стороной вверх. Теперь ящики уже вообще не такие пустые, как раньше. В верхнем лежат две рубашки, которые дала тетя Люба. Простыня. Во втором ящике — Алдонины письма. А на этажерке — посуда и, главное, вырезки из газет. У Норы их уже много — с сообщениями Совинформбюро и приказами Главнокомандующего. Нора еще раньше решила, что на первой полке будут стоять тарелки, на второй — чашки, на третьей — хлеб и крупа, а на самой нижней — газеты. Пока, правда, у нее есть только мисочка и чашка. Но все равно они стоят каждая на своей полке.

Утром Нора по детской привычке выглянула в окно. Ей всегда казалось, что в день ее рождения будет солнечно. И снег будет сверкать особенной белизной.

Но было пасмурно.

Когда она пришла на работу, Марите, Людмила Афанасьевна и товарищ Астраускас уже сидели. Нора даже испугалась — неужели опоздала?

— Сегодня тебя, кажется, положено поздравить, — и Марите подала ей вазочку. Настоящую маленькую вазочку для цветов. Почти такая же, только чуть больше, стояла у мамы на ночном столике.

Нора так обрадовалась, что даже не знала, как это объяснить: и что дома была похожая, и что у нее еще никогда не было своей вазочки.

— Я поставлю ее на стол!

— Я тоже надеюсь, что не на пол, — улыбнулась Марите.

Товарищ Астраускас неожиданно встал. Пожал руку и протянул что-то свернутое в трубочку.

— Для практического применения.

Нотная тетрадь! — изумилась Нора. Совсем новая! Страницы чистые, белые. Даже блестят.

— Спасибо! Большое спасибо! — В голове мелькнуло, что она ведь не нужна теперь, но очень не хотелось думать об этом. Нора листала тетрадь, смотрела на знакомые линии...

— А у меня ничего памятного нет, — оторвал ее от этих линий голос Людмилы Афанасьевны. — Но хоть отметим. — И она достала из сумки завернутый в шарф

солдатский котелок, полный картошки, мисочку с квашеной капустой и целую банку винегрета. Даже вилки принесла.

Норе было неловко, что в свой день рождения не она угощает, а сама будто гость. И, похрустывая очень вкусной, совсем как у Алдоны, капустой, решила, что в следующем году она на свой день рождения тоже сделает винегрет, отварит картошку и пригласит всех к себе.

После работы она побежала показывать подарки отцу. Там ее тоже поздравили. Тата протянула шарфик. Алик сунул в руку карандаш. Тетя Люба подала варежки. А отец... У него в руках был билет!

— На вечер фортепианной музыки.

— Мне?!

Билет такой же, как до войны, только из толстой, серо-голубой бумаги. Но совсем прежними буквами напечатано: «Партер. 15 ряд. 18 место». Это с левой стороны, будут видны руки пианиста.

— Концерт завтра. — Отец улыбался. И тетя Люба.

— Спасибо... Большое спасибо...

Она пойдет на концерт! Только... сидеть там будет одна...

— Почему не спрашиваешь, кто будет играть? — не вытерпел Алик.

— Роза Тамаркина, — пояснила тетя Люба. — Говорят, очень талантливая.

Это же совсем не важно, кто будет играть. Главное, что будет концерт. Вечер фортепианной музыки. Но вслух она только повторила:

— Большое спасибо!

Нора посмотрела на отца. Он ждет... Ждет, чтобы она поблагодарила за подарки как раньше, дома. Она быстро поцеловала его в щеку. И почувствовала, как он напряжен, даже мышцы лица упруги. Она повернулась к тете Любе и легонько прикоснулась к ее щеке.

— Дети, идите руки мыть! — слишком громко, явно скрывая волнение, сказала тетя Люба. — Ужин, правда, не праздничный, но что поделаешь.

— Зато в следующий твой день рождения, — обещал отец, — войны уже не будет, и тогда...

Норе почудилось — сейчас он скажет: «Вернется мама!» Но он только сказал:

— ...Тогда, конечно, отметим как следует.

Тетя Люба принесла глиняную миску горячей, дымящейся картошки. Мама в такой миске растирала желтки для торта. Потом давала Норе вылизать.

— Селедка! — сообщил Алик.

И правда, в другой руке тетя Люба держала блюдце с пятью кусочками селедки. Настоящей селедки!

— Давайте пировать. За именинницу!

Отец ее поджидал в явном нетерпении.

— Ну как концерт? Понравился?

— Очень!

Хорошо, что он торопился на дежурство и больше ничего не спросил. А тети Любы не было дома. Как бы Нора им рассказала, что солистка играла мамину любимую Вторую сонату Шопена? И вообще, как рассказать о концерте? Ночью, когда она вернулась к себе и вспоминала его, хотелось об этом сыграть.

...Как подошла к Филармонии. Огромная входная дверь была заперта. Нора даже испугалась — может, отменили концерт. Но большой рекламный щит с синими в потеках словами стоял прислоненный к стене. И Нора перечитывала знакомые названия произведений: Шопен — Вторая соната, Чайковский — «Времена года».

Пошел снег — густой, хлопьями. Такой она представляла себе когда-то давно, когда слушала первую пьесу из «Времен года» — «Январь». Но тогда казалось, что снежинки под эту музыку танцуют в воздухе, резвятся. И на землю опускаются уже усталые. Стремятся скорее отдохнуть, чтобы снова подняться, теперь уже в вихре. А эти, настоящие снежинки опускались медленно, плавно. Скользили вдоль щита. Будто хотели все закрыть — и название программы, и фамилию солистки. Нора незаметно, когда близко не было прохожих, сметала своей новой варежкой снег.

А в вестибюле был полумрак, горели только две боковые лампочки. Лестница казалась непривычно голой. Наверно, потому, что без прежней ковровой дорожки. Гардероб задернут черным в заплатах занавесом. Никто туда и не подходил — в пальто, даже в валенках поднимались сразу наверх. А там на окнах такие же черные шторы затемнения. Прежде нарядная анфилада колонн теперь выглядела как обычные, поставленные в ряд

столбы. Нора все равно шла вдоль них, притрагиваясь к каждой. Здоровалась.

Зазвенел звонок. Тот самый! Только, казалось, теперь он звенит слишком громко.

Как и раньше, широко распахнулись двери в зал. Нора вошла. Зал выглядел очень просторным. Наверно, оттого, что много мест пустовало.

Лепные амуры над сценой те же. И арфы в их ангельски пухлых руках. Сцена тоже совсем прежняя. И у рояля также поднята для концерта крышка. Только электрические обогреватели по обеим сторонам стула для солистки очень непривычны...

А потом... Она вздрогнула — балкон стали заполнять... немцы. Пленные. Конечно, пленные. Те самые, которых часто ведут по улице на работу. Но зал сразу перестал казаться прежним. И сцена, и рояль. Здесь были о н и. Наверху, над нею, были их голоса, зеленая форма. Конечно, безвредная уже, без погон, без оружия...

Нора съежилась, втянула голову. А они на балконе как ни в чем не бывало рассаживались. Разговаривали. Они же пришли на концерт!

Двое мужчин, сидевших перед Норой, тоже смотрят на балкон.

— Даже на концерты водят. А они с нашими ребятами что делали...

— То они, а то мы.

В зале зааплодировали. Это вышла на сцену солистка. Конечно, в длинном платье. Кланяясь, глянула на балкон. Норе показалось, что она вздрогнула. А может, это ей только померещилось...

Пианистка заиграла. Разорвала тишину. Звала все забыть. Только слушать! Но музыка была очень тревожная. С первых же аккордов. И Нора опять подумала — может, тревога только ей одной слышится? Потому что в зале о н и...

Нет. В звуках и правда что-то борется — взволнованное, беспокойное и хорошее, светлое. Ей даже почудилось — она узнает! Вот эта первая, тревожная тема — это ее страх. Тогдашний. Когда она пряталась и боялась, что найдут, расстреляют. А вторая, спокойная тема — ее надежда, что не убьют. Она будет жить. Долго. Станет совсем взрослой. И будет учить детей играть на рояле...

И она напряженно вслушивалась — какая тема победит. Очень хотелось, чтобы та, светлая...

Но когда в третьей части зазвучал знаменитый похоронный марш, она будто очнулась. Совсем не об этом соната, не о ней. И словно издалека всплыло, как мама объясняла, что в этом марше — шествие целого народа, убитого горем. Слышен перезвон колоколов. Безотрадный свист и вой ветра над могилой.

Она только теперь поняла, какое шествие... Тех, кого вели на расстрел... И маму тоже... По той самой дороге... А ветер воет в т о м лесу, над огромными могилами, теперь совсем пустыми...

Нора почувствовала, что из глаз медленно текут слезы. Катятся по щекам, капают на руки.

Это похоронный марш. Плач по ее маме. По всем, кого угнали... В ту ночь, в другие... По тем, кого выстрелами в затылок валили в яму. И по трем повешенным у мельницы. И по Винцукасу. И по Стасе, и по Антанасу...

А о н и наверху тоже слушают этот траурный марш. Неужели он для них только музыка?

Очень захотелось, чтобы солистка при них не играла этот марш, чтобы скорее кончила его и заиграла Чайковского. Или что-нибудь другое. Только не это!..

Больше солистка на аплодисменты не выходила. Ведущая закрыла рояль, выключила обогреватели и с той же, как весь вечер, улыбкой объявила:

— Концерт окончен!

А Норе не хотелось уходить отсюда, возвращаться в свою комнатку — холодную и очень, очень тихую. Как укрытие. А завтра на работе снова составлять отчет по выданным карточкам. Расчерчивать курьерскую тетрадь. И опять ничего такого не слышать. Жить без этих звуков, которые только что здесь витали...

Она спохватилась, что осталась одна. На сцене свет уже погасили. Две билетерши, те самые, которые у входа проверяли билеты, набрасывают на рояль черный чехол. И балкон уже пуст...

Она поднялась.

На улице пленные выстраивались в колонну. Нора осталась в тени здания ждать. А они строились неторопливо, даже лениво. Потом их увели.

Нора тоже пошла. В варежке сжимала ночной пропуск, который ей дали при выходе, и билет. Эту необычную бумажку, по которой впускают в филармонию, чтобы весь вечер слушать музыку.

На улице было пусто. Только дома. И те лишь по одной стороне. Казалось, они с грустью смотрят на противоположную сторону, где грудами заснеженных развалин лежат их бывшие соседи, которые еще совсем недавно тоже были домами.

А Нора сейчас так не хотела думать об этом! Она зажмурилась, оставила только маленькие щелочки между ресницами, чтобы различать дорогу и больше ничего не видеть. Идти и вспоминать концерт.

...Когда началось второе отделение и солистка заиграла «Январь» Чайковского, Нору охватило нетерпение, хотелось скорее услышать четвертую пьесу — «Апрель», которую она тоже играла. Давно, в пятом классе.

...Долго у нее ничего не получалось. Учительница сердилась: «Играешь формально, только то, что написано в нотах. Одни звуки. А эта пьеса называется «Подснежник». Понимаешь?» Нора кивала, старалась, но учительница все равно была недовольна. Однажды стала объяснять: «Представь себе подснежник. На вид он хрупкий, нежный. А ведь сам выбивается из-под снега. Еще холодно, дуют ветры, не балует его скупое апрельское солнце. А он все равно выбивается. И расцветает! Чтобы первым принести людям весну...»

Нора вспомнила эти слова учительницы, когда услышала знакомую нежную мелодию на фоне трепещущих аккордов. На миг даже показалось, что и она играла похоже...

Тамаркина исполнила все двенадцать пьес. «Белые ночи» и «Баркаролу», которые мама играла. И «Осеннюю песню». И «Тройку». Нора их узнавала, и ей было очень, совсем непривычно хорошо. Они казались такими своими... Нора старалась не думать, что сама уже не будет их играть. Теперь это казалось не таким страшным. Только бы они были, только бы их слышать, быть с ними вместе!

Даже здесь, на этой пустой черно-белой улице, они были с нею. И Нора им вторила. Чтобы не исчезли. Не оставили ее опять в этой очень долго длившейся немой глухоте...

ГЛАВА XIII

Тетя Янова вошла запыхавшись.

— Мой Яцек в Варшаве! — И протянула Норе письмо. — Он этого, конечно, не пишет. Но я же сама понимаю. «Скоро, наверно, увижу кузину Барбару». А Барбара живет в Варшаве! — Тетя Янова перевела дух. Села на кушетку. — Но ты читай, читай!

Нора стала читать. Как всегда — медленно, отчетливо. Тетя Янова — тоже как всегда — согласно кивала головой. Будто подтверждала, что Нора и правда читает то, что там написано. Первое время Нора удивлялась — тетя Янова совсем так же кивает и когда слушает в первый раз только что вскрытое письмо. Будто заранее знала, что там будет написано. Неужели сердце матери действительно все чувствует? А может, она потому кивает, что письма Яцека очень похожи друг на друга? «Мы бьем врага...», «Обо мне не беспокойтесь, я здоров...», «Шлю привет...»

И это письмо было таким же. Только длиннее других. После приветов, «бьем врага» и «я здоров» было еще очень много строк. И Нора их читала в большом нетерпении. «Сегодня под утро мы взяли деревню, в которой было много концлагерников — гитлеровцы их пригнали сюда рыть окопы. Потом, чтобы не везти обратно в лагерь, гитлеровцы собирались расстрелять их. И люди это знали...»

Тетя Янова вздохнула.

«Дорогие родители, вам было бы очень страшно это видеть — до чего враги довели людей. Молодые, а выглядят стариками. Худоба такая — один скелет и кожа. Как они работали, если на ногах еле стоят?! Мы отправили всех в госпиталь. Есть и наши земляки».

У Норы затрепыхалось сердце — земляки! Правда, мужчины. Но... может, там хоть Микас? Надо рассказать Иоанне!

— Тетя Янова, извините, я побегу. У моей подруги брата вывезли. Может, это его ваш Яцек освободил... А они не знают...

— Беги, почему ж нет... — Тетя Янова взяла письмо обратно. — Если и не его, все равно радость. Другой матери...

А Нора хотела, чтобы это Микаса освободили! Его вылечат, он вернется сюда, и учительница опять будет такая же, как раньше.

— Взяла бы мой тулупчик, — сказала тетя Янова, увидев, что Нора под жакет натягивает старую кофту тети Любы. — Замерзнешь. А мне он до вечера не нужен, буду дома.

— Спасибо. Не замерзну. Я быстро...

В тулупе, конечно, было бы теплее. Но он такой длинный, широкий. Стыдно в нем идти по улице. Уж лучше потерпеть.

— Хоть бы не зря бежала по такому морозу, — вздохнула тетя Янова.

— Не зря! — Нора быстро сбежала по лестнице, оставив Янову спускаться медленно, держась за перила.

Хорошо, что перед домом Иоанны она долго не могла перейти улицу — ехала колонна военных грузовиков. А то влетела бы к Иоанне с теми же словами, которые повторяла, пока бежала по улице: «Мику освободили!» Но пока стояла, услышала, как рядом сказали:

— Может, и вернется. Но говорят, много в лагерях повымерло.

— Где ж такое выдержать...

Это они не про Мику! Про кого-то другого. Они ж его не знают. А Микас живой! Обязательно живой!

И все-таки, когда проехала последняя машина, она улицу перешла медленно. Но, увидев в дверях Иоанну, теперешнюю, худую, не удержалась:

— Я с доброй вестью!

Иоанна чуть улыбнулась и пригласила войти. Не в отцовский кабинет, как тогда, а в столовую. Тут было светло — шторы раздвинуты. И кресло-качалка пустая. Только плед, тот самый, в красно-черную клетку, которым тогда были накрыты ноги учительницы, лежал на подлокотнике.

— Мама в больнице, — объяснила Иоанна.

— Ей лучше? — Нора спросила совсем как бабушка. «Когда спрашиваешь о здоровье, — учила бабушка, — уже в вопросе должна слышаться надежда».

— Да, немного...

— А я пришла вам сказать, что взяли деревню,

где было много вывезенных отсюда... Они там рыли окопы...

Иоанна обрадовалась, но сразу опять погрустнела.

— Микас написал бы...

— Так его ж освободили совсем недавно! Мы только сегодня получили письмо. От того, который освобождал. Он пишет, что всех положили в госпиталь. Потому что они очень худые. Да и письмо идет долго! — Нора не знала, что еще сказать, чтобы Иоанна поверила. Старалась не помнить, как тетя Янова вздохнула: «Если и не его освободили, все равно радость. Другой матери...» Она хотела, чтобы радость была учительнице!

— Ты расскажи это маме! — И Нора замялась. — Она все еще не понимает?

— Теперь уже понимает. Ее же лечат.

— Так ты расскажи! Что освободили. В деревне. Гитлеровцы их туда пригнали рыть окопы. Хочешь, я тебе и письмо принесу!

— Спасибо. Конечно, расскажу. Мы стараемся в ней поддержать надежду. Пока она совсем не поправится. Потом, если даже Микас... — Иоанна осеклась. — Может, иначе перенесет это...

— Он вернется! Обязательно вернется! — Нора хотела, чтобы и Иоанна поверила. Чтобы хоть улыбнулась. — Хочешь, я пойду с тобой к твоей маме и сама ей расскажу?

— Спасибо. — Иоанна все-таки улыбнулась. — Сегодня у нее папа. И завтра пойдет он, мне вечером в школу. А во вторник, если сможешь...

— Конечно, смогу. — А в ушах звучали ее слова: «в школу».

— В какую... школу?

— Вечернюю, конечно. Для восьмого класса дневной я уже стара... Я ж два года не училась.

— А я три.

— Разве ты не учишься? — удивилась Иоанна.

Нора покачала головой.

— Почему?

Нора молчала. Привычное «не могу» перед Иоанной застряло...

— Папа тоже говорит, что надо учиться. И на работе...

— Так пошли!

У Норы екнуло сердце. Будто Иоанна сказала что-то очень необычное.

— Отнесем заявление. Возьмем в своей школе справку, что ты кончила шесть классов. Дневника у тебя ведь нет?

— Нет. Остался дома...

— Ничего. В школе есть наши классные журналы. Выпишут.

Значит, все это время — и когда она по ночам стучалась в чужую дверь, чтобы впустили, и когда пряталась у мельника, у Стролисов, лежала в лесу — ее отметки все равно были. Тут, в школе. Все, все красивые пятерки. И похожие на перевернутый стул четверки!

— Так пойдем! — повторила Иоанна.

Нора кивнула. И самой стало странно, что она не сказала «нет»...

Класс был почти такой же, как в их школе. Тоже три ряда парт. Только на окнах теперешние шторы затемнения. И очень непривычно, что за партами взрослые. Двенадцать человек. Неужели это весь класс?

— Товарищи, кто решил вторую задачу по алгебре? — прямо с порога спросила грузная женщина в синем платке.

Неужели ей тоже могут поставить двойку?

— Я и первой не решил, — признался седоватый мужчина в железнодорожной форме, еле втискиваясь за парту. — Дежурил. Дайте хоть первую списать.

Нора чуть не рассмеялась — такой взрослый, а будет списывать. Боится, чтобы учитель не вызвал? Но он же сам как учитель. Почти седой.

Она старалась не смотреть, как этот железнодорожник надевает очки, как принимается переписывать задачу. На парте вырезаны буквы «А. К.». Наверно, какой-нибудь мальчишка из дневной школы решил себя увековечить.

Вошла еще одна женщина. (Теперь вместе с Норой уже четырнадцать человек.) Очень высокая, худая. За парту села боком — ноги не вмещались.

— Думала, не приду сегодня, — пожаловалась она своей соседке. — Столько работы, ужас. Еще и ревизию провести надо. Но не хотела пропускать алгебру.

— Надо было прийти сразу на второй урок.

Иоанна тоже говорила, что в этой школе можно пропускать. И сама сегодня не придет — должна быть в больнице. Нора из-за этого даже хотела начать учиться с завтрашнего дня. Но отец сказал — нельзя в первый же день не явиться. Да и сама не вытерпела бы дома. Даже не может вспомнить, что делала каждый вечер после работы.

Вчера ходила проведать Марите, она болела. А раньше?

Марите совсем не удивилась, когда Нора ей сказала про школу.

— Правильно делаешь. — И сразу спросила: — О Петронеле больше ничего нового?

— Нет. Мы посылку уже приготовили. Как только узнаем адрес...

Зато Людмила Афанасьевна весь день говорила о школе. Вспоминала ту, в которой сама училась, а потом учился ее Игорь.

Отец с тетей Любой тоже были довольны. Отец все время улыбался, а когда она уходила, стоял в дверях, пока не сбежала по лестнице. Только тетя Аня — Нора и к ней заглянула по дороге, чтобы сказать, — не улыбнулась.

— Что ж... раз ты решила...

— Но не оставаться же на всю жизнь малограмотной из-за того, что Гитлер...

— Я ж тебя не осуждаю. Если только можешь...

— А вы? Может, вы... тоже?

— Что, учиться?

— Нет. Но работать... Как раньше...

Тетя Аня не ответила. Спросила Нору, в какой класс она пойдет.

Наконец железнодорожник переписал. Вернул тетрадь.

— Спасибо, хоть одна будет. Закурить бы теперь после трудов праведных.

Резко зазвенело. Сейчас будет урок! Нора поспешно достала тетрадь, карандаш и стала поглядывать на дверь.

Вошел учитель. Нора и сама не заметила, как вскочила. Спохватилась, что стоит одна, остальные сидят. Разве во взрослой школе не надо вставать, когда входит учитель? Она смущенно села. А учитель, опираясь на

палку (ноги у него целы, успела заметить Нора, только одна не гнется), подошел к столу. Конечно, сразу увидел ее.

— Вы впервые?

Она опять хотела встать, но только чуть приподнялась.

— Да.

— Поздновато собрались, — сказал он. Совсем нестрого. И раскрыл журнал. Наверно, чтобы посмотреть, как ее фамилия.

— Маркельските! — громко сказала она.

Учитель удивился. Наверно, он вовсе не за этим раскрыл журнал. Но улыбнулся.

— Спасибо.

Все равно уши у нее горели.

— Итак... — это он уже сказал всему классу, — сегодня мы в порядке повторения совершим краткую экскурсию в прошлое. Вспомним князя Миндаугаса.

Значит, будет урок истории.

Учитель прислонил свою палку к столу. Сел.

— Миндаугас правил с тысяча двести тридцать шестого года до тысяча двести шестьдесят третьего года. Он объединил под свое начало многие княжества, силой действуя против непослушных феодальных князей...

Она в школе. Это урок истории. Учитель рассказывает о Миндаугасе. Том самом Миндаугасе из учебника истории. Но тот же казался героем — объединил, создал единое государство. А выходит — тоже силой...

— ...Однако объединение литовских земель не устранило междоусобиц между феодалами. Они продолжали борьбу с Миндаугасом за власть. Для этого заключили союз с Ливонским орденом, который воспользовался междоусобицей, чтобы поработить Литву.

«Поработить». Значит, и тогда...

— ...В тысяча двести шестьдесят втором году Миндаугас заключил союз с владимиро-суздальским князем Александром Невским для похода против крестоносцев.

Крестоносцев?! Ведь крестоносцы... Нора хотела попросить учителя остановиться, повторить. Ей очень надо было что-то понять. Но учитель все говорил, говорил. Губы шевелились, произносили слова. Нора такие уже слышала. Когда-то, в школе. Так ведь здесь школа. Она учится. Учится...

Зазвенел звонок. Перемена? Тоже как раньше. Но она же ничего не запомнила! И книги нет. Если учитель завтра спросит...

Вторым уроком была алгебра. Учительница что-то объясняла. Писала на доске иксы, игреки, зеты. Закрывала их в скобки. Умножала. Складывала. Нора старалась следить, понять. Мгновеньями даже казалось, что она начинает что-то улавливать. Но учительница уже писала новую строчку, потом еще одну. И эти знакомые буквы, цифры, скобки стали просто белыми шеренгами на черной доске. Нора торопилась хоть переписать в тетрадь.

Когда на перемене железнодорожник их стирал, Нора с облегчением смотрела, как они исчезают. Будто и не было их вовсе...

Опять резко зазвенело. Почему-то теперь звонки очень громкие. И в квартирах, и здесь. Даже в филармонии.

Железнодорожник положил на парту учебник. «Français».

— Вы учите французский? — изумилась Нора.

Он не успел ответить — вошла учительница. Совсем старенькая. И, как Ядвига Стефановна, тоже в пенсне. Но, видно, все равно близорукая — не заметила, что в классе новенькая, то есть она, Нора.

Что-то сказала. Все раскрыли тетради. Стали записывать — учительница что-то произносила. Конечно, по-французски. Много слов подряд, наверно, целые фразы. Нора силилась уловить хоть что-то знакомое, похожее на немецкий. Но учительница, казалось, произносит только длиннющие вереницы непривычных звуков.

Железнодорожник их понимает. И его соседка в синем платке. И высокая, чьи ноги не помещаются под партой. Все понимают, записывают. А она...

Неожиданно учительница сказала по-литовски: «Глагол». Нора поспешно записала в тетрадь. Но уже опять звучала непонятная речь.

Нора слушала. Но почему-то вспоминала свою комнатку. Там на этажерке лежит оставленный на вечер ломтик хлеба. А у тети Яновой тепло... Они, наверно, ужинают. Может, получили от Яцека письмо... После урока она подойдет к последней парте. Там сложены все пальто. Она возьмет свой жакет, платок...

Но на перемене не решилась — никто туда не подходил.

Снова зазвенел звонок. Железнодорожник достал учебник физики. Вошла другая учительница, молодая. Но ведь учитель физики старый, с бородкой. И сразу спохватилась — это было там, в их школе. А здесь другая. И все-таки было странно смотреть на эту очень молодую, с пухлыми, как у ребенка, губами и ямочкой на подбородке женщину. Она учительница физики. Учительница.

Вызвала кого-то к доске. Пошла высокая, у которой ноги не помещаются под партой. Стала отвечать. Опять непонятное. И на доске рисовала совсем незнакомое...

Учительница ей поставила отметку и стала смотреть в журнал — кого еще вызвать. Нора встрепенулась — только бы не ее! Только бы... Зря она после французского не ушла.

К доске пошел железнодорожник. Он отвечал хуже, сбивался. Даже вспотел от волнения. Учительница ему помогала, подсказывала. Но все равно он хоть что-то знал! Хоть понимал вопросы. А она...

И Нора стала нетерпеливо ждать звонка. Были бы часы, поглядывала бы, как когда-то, в той школе, сколько осталось до перемены.

Нора старается не думать о школе. Чтобы было как каждый вечер. Она ест оставленный на ужин хлеб. Чувствует во рту знакомый вкус. Сидит у себя в комнате, на кушетке. Может пойти к тете Яновой.

Она привычно убеждает себя, доказывает, что ничего не изменилось. Все как каждый вечер. Надо только не думать о школе. Не помнить, что была там.

Но она помнит. Как сидела за партой и ничего не понимала. Ни алгебры, ни физики, ни французского...

Нора встает. Подходит к окну. На улице от снега и луны светло. Она привычно пересчитывает окна соседних домов. Семнадцать. И четыре крыши. А это не проходит. Парты, алгебра, физика.

Может, спуститься к тете Яновой? Там будут говорить о фронте, о письмах Яцека. Но если дядя Ян спросит, как было в школе? Ведь похвасталась, что идет. Всем расхвасталась. И очень хотела встретить на улице того пар-

ня, который нес ее из леса. Она бы ему тоже рассказала, что пойдет учиться! Хорошо, что не встретила...

А как размечталась!

...Она, уже совсем взрослая, сидит у рояля рядом с ученицей, маленькой, в кудряшках, как соседская Рута. Нора ей объясняет, показывает. И Рута старательно вторит, чтобы сыграть так, как Нора ей показала. Та-та, та-та-та-та.

...Потом концерт. Зал полон. Сквозь дырочку в занавесе она видит отца, тетю Любу. Рядом седую голову Ядвиги Стефановны. И очень волнуется: Рута играет первой.

Уже дали третий звонок. В зале гаснет свет. Нора улыбается Руте и выходит в полутемный зал. Замечает с края свободное место, садится.

Сейчас раздвинется занавес. За ним — рояль. И сердце вдруг вздрагивает — она, кажется, забыла Руте что-то сказать. Очень важное, главное. А Рута — вот она — уже вышла. Сделала книксен. Усаживается. Почему так долго, разве ей неудобно? Неужели стул слишком низкий? Они же перед концертом еще раз пробовали его.

Начала...

Молодец. Хорошо. Очень хорошо. Норе хочется, как на уроке, сказать это вслух. Чтобы Рута не волновалась, играла спокойно. Хотя дети перед публикой волнуются меньше, чем взрослые. Это, кажется, говорила мама. Давно, очень давно. Когда Нора была такой, как Рута.

Рута споткнулась! У Норы внутри что-то провалилось.

Умница, не растерялась. Пошла дальше. Ничего. Ничего. Взрослые иногда тоже «мажут». Главное, что не остановилась. Что играет дальше. Хорошо. Молодец. А ведь раньше этот пассаж не получался. И эти тремоло не звучали. Сколько с ними намучились! Зато теперь хорошо, все хорошо... Сейчас будет кода...

Аплодируют?! Да, да, конечно. Она ведь хорошо сыграла. Правда, хорошо? Нора хочет оглянуться назад. Как отец, доволен? Но, чуть повернув голову, застывает. Рядом парень, который нес ее из леса.

Он узнал ее... Наклонился к самому уху:

— Как нога?

Нора смутилась. Помнит...

— Поздравляю... — И он осторожно притрагивается к ее руке. — Хорошо ваша девочка играла.

Откуда он знал, что будет играть ее ученица? Но спросить Нора не решается. Только почему-то бросает взгляд на его волосы. Тогда, на дороге, ветер их сильно теребил, Теперь они лежат гладко причесанные. А сам он ей улыбается, как тогда, в лесу.

Вдруг Нора открывает глаза. Не будет концерта, учениц! Ничего этого не будет!

«Нас из жизни выбросило».

«Тетя Аня, но мы же вернулись!»

«Конечно...»

Вернулась! Вернулась! И больше не надо бояться, что убьют, не надо прятаться. Она может ходить куда хочет. А ведь уже так привыкла к этому, что даже забывает радоваться. Нет-нет, она радуется! Но она хочет и музыки. Хочет учить детей. И чтобы в школе был концерт... И чтобы в зале сидел отец...

Но этого не будет. Она смотрит на потолок. Там отсвет окна. Ее окна. И комната эта ее. И хлебные карточки у нее есть.

«В тысяча двести шестьдесят втором году Миндаугас заключил союз с владимиро-суздальским князем Александром Невским для похода против крестоносцев».

Она запомнила!

Но алгебра... «Не зная предыдущего, нельзя понять дальнейшее». Кто это говорил? Кажется, в той школе, до войны. Там она и физику понимала.

«Нас из жизни выбросило...»

Норе казалось, что она совсем не спала. Утром, когда собиралась на работу, ей уже не так тяжело было, что она не пойдет больше в школу.

Людмиле Афанасьевне и Марите она ничего не скажет. Отцу тоже. А тетя Аня, наверно, даже не удивится, когда Нора после работы опять зайдет к ней в кассу. Как всегда, поможет сосчитать выручку. Тетя Аня заполнит рапортичку. На улицу тоже выйдут вместе.

Дома у тети Ани растопят печь. На столе всегдашняя коробочка с сахарином. Будут пить чай, разговаривать...

Нора мысленно повторяла это. Будто репетировала. Чтобы вечером было совсем так же. Как всегда.

Но когда пришла на работу...

Сперва не поняла, что за гора высится на столе товарища Астраускаса. Книги! Три стопки книг. Задачник по

геометрии для седьмого класса. Хрестоматия. Учебник алгебры. Литовская грамматика.

Так это же... Нора стала быстро перебирать книги. Еще один задачник по геометрии, тоже для седьмого класса. Зачем два одинаковых? Учебник французского. Ботаника. Атлас! Настоящий атлас, совсем такой, как был у нее. Только этот с кляксой.

Скрипнула дверь.

— Марите, сколько книг!

— Да, унести будет нелегко, — буднично ответила Марите.

И Нора вдруг вспомнила...

— Но... они мне...

Марите не обратила внимания.

— Перестарались. Те, что по две, отдай кому-нибудь.

— Я... не смогу... Не пойду больше в школу, — наконец произнесла она. — Не понимаю там ничего...

— А ты хотела после трех лет перерыва, да еще начав со второго семестра, сразу понять?

— Нет. Но...

— А раз нет, значит, понимала, что придется догонять?

Не очень. То есть не подумала... Если начать по всем учебникам с первой страницы...

— Они учат французский, — еще пробовала она возразить.

— Сдашь в другой школе немецкий и принесешь им справку.

У Марите всегда все просто.

— Удивляюсь тебе. Сколько всего преодолела, а теперь чуть какая трудность — и уже готова отступить.

— Тогда было другое...

— Конечно. Тогда нельзя было отступить — грозило слишком страшное. А теперь можно. Трудно учиться — не буду. Мало зарабатываю — могу поголодать.

— Я не голодаю... Я у папы...

Марите не слушала.

— Словом, бери книжки и говори спасибо.

— Спасибо. — И, глянув на Марите, повторила: — Большое спасибо!

Марите улыбалась. И Нора еле удержалась, чтобы не подбежать к ней и не чмокнуть в щеку. Как раньше, дома, когда благодарила за подарок.

ГЛАВА XIV

Нора понимала, что так радоваться пятерке неприлично — она же не маленькая. Но все-таки не удержалась, сбежала с последнего урока, чтобы заскочить к отцу. По дороге представляла себе, как вбегает: «Угадайте, что я получила? И по какому предмету?» Все гадают: «По литовскому», «По истории», «По русской грамматике». Она мотает головой. «По ге-о-гра-фи-и!»

А завтра забежит к тете Ане. Тоже расскажет. Она теперь будет тете Ане рассказывать только хорошее! И папу попросит, чтобы он ей объяснил... Про прежнюю работу...

Но это завтра, потом. А сегодня пусть он угадает, что она получила.

Но когда он открыл дверь, Нора сразу выпалила:

— Я получила пятерку!

— Люба, слышишь? — Отец всегда старается показать тете Любе — вот какая она, Нора!

Алик высунул голову из-под одеяла.

— Я тоже получил пятерку!

— По физкультуре, — уточнила тетя Люба.

— Все равно!

— Конечно, конечно,— поспешил его заверить отец.— А теперь спи.

Тетя Люба шепотом попросила:

— Перейдем на кухню. А то и сам не уснет, и Тату разбудит.

На кухне она стала подогревать чай, поставила Норе тарелку, отрезала хлеба. А про пятерку больше не спросила.

Нора тоже молчала. Только вспомнила, что на перемене ее вызывали к директору.

— Вместо французского мне разрешили сдать немецкий. Экстерном, в другой школе.

— Очень хорошо! — обрадовалась тетя Люба.

— Старайся не помнить, что на этом языке кричал солдат, который выгонял твою маму... бабушку...— И, видно, чтобы сразу переменить разговор, отец спросил: — А что на работе?

— Ничего... — Но вдруг Нора вспомнила! И сразу стало тяжело. Как было весь день, до пятерки...

— Из-за меня... сегодня... — Она не знала, как это назвать. То, что было сегодня...

Отец не расспрашивал. Но тетя Люба не удержалась:

— Что-нибудь серьезное?

— Да... Может, даже придется оттуда уйти.

— Почему? Что случилось?

Нора начала рассказывать. Она очень хотела, чтобы они поняли. Чтобы объяснили — неужели она и правда виновата?

Утром они с Климчене оформляли стенгазету. Климчене спросила, правда ли, что вместо четырех ордеров на чулки дают только два. И кого вычеркнут — ведь список уже есть. Нора ответила, что в списке их четверо: Климчене, секретарша, то есть Лаукайте, Сонгайлене и она, Нора. Но кого вычеркнут, она не знает, это решит месткомом.

— Тебе, конечно, должны дать, — сразу сказала Климчене. — Но тем двум, особенно секретарше! Она во время оккупации знаешь как жила. Мать в магазине работала, и они за водку вещи расстрелянных скупали. Думаешь, откуда это синее пальто с лисицей?

У Норы задрожали руки. Даже кисточка с клеем запрыгала.

— Я с себя все продавала, чтобы детей прокормить, а они, видишь ли, лисиц покупали. — И, вздохнув, добавила: — Говорят, среди тех, кто расстреливал, был какой-то капитан Лаукас. Не родня ли?

Слушая Климчене, Нора представила себе т о т лес. Туда пригнали маму, бабушку, Юдиту. И еще много других. Велят раздеться. Гонят к краю ямы. А там... из автоматов... Они падают... А у горы с одеждой раздеваются новые... Их тоже — к яме...

Потом, когда стрелять больше не в кого, — те, с автоматами, роются в этой горе вещей. Один вытаскивает синее пальто с лисицей... Теперь Нора это пальто видит каждое утро, когда Лаукайте приходит на работу. И днем, когда оно висит...

Нора бросила стенгазету и побежала предупредить Марите — она же в месткоме, а в обеденный перерыв местком собирался распределять ордера.

Марите выслушала ее очень спокойно.

— Да... Климчене знала, чем тебя пронять.

— Зачем меня пронимать, я же не в месткоме.

Марите ухмыльнулась:

— Чтобы ты растрогала членов месткома.

Нора не понимала, почему Марите так спокойно говорит об этом. Неужели знала и... ничего?

— Вы... это знали?

— Что знала? — неожиданно вспылила Марите. — Что она тогда купила пальто? Да, знала. Так что из этого?

— Но Климчене говорит...

— А откуда она знает? Кто это вообще может знать? — Марите, кажется, не спрашивала, а упрекала. — Откуда вам с Климчене известно, что Лаукайте знала, у кого покупает?

Отец закурил. Зажигалка дрожала в его руке. Наверно, он тоже подумал, что и мамины вещи, может, так продали. Теперь их кто-то носит... Тетя Люба, кажется, поняла. Тихо сказала:

— В основном эту одежду увозили...

Марите тоже говорила об этом. Но потом, в конце. А тогда она почти кричала:

— Ты вот недавно ходила на толкучку. Даже хотела что-то купить. Но ведь не спрашивала, чье это было раньше. Даже не подумала спросить. Так и Лаукайте могла не знать, чье покупает. — И сразу, Нора даже не успела рта раскрыть, добавила уже тише: — Но, конечно, могла и делать вид, что не понимает... Потому что мерзла и пальто ей очень нужно было.

Нора так и не поняла — Марите защищает секретаршу или наоборот...

— Климчене говорит, что ее мать работала в магазине, — вспомнила Нора.

Марите опять взорвалась:

— Скажи своей Климчене, что хватит! Хватит топить друг друга! Травить, сводить счеты, завидовать. Не надо больше! Иначе погибнем! Превратимся в мелкие и злобные ничтожества. Ведь фашисты как раз этого хотели — натравить всех друг на друга, и пусть эти «низшие расы» сами себя и одна другую уничтожат.

Нора испугалась. Она никогда не видела Марите такой. Не знала, как ее успокоить. И Людмила Афанасьевна как нарочно не возвращалась. А Марите не унималась:

— Это что же такое! Наушничество, травля, чуть ли не донос. И все из-за одной пары чулок!

— Я же ничего... — оправдывалась Нора.

И Марите продолжала уже обычным своим голосом, только очень грустно:

— И я не знаю, что хуже — купить какую-то тряпку, не выясняя, чья она, или из-за пары чулок поссорить людей. Может, даже оклеветать их...

Нора обомлела — в дверях стояла секретарша, Лаукайте. Бледная. Значит, давно тут, слышала... И бумаги в руке мелко дрожат. А губы сжаты. Кажется, она хочет что-то сказать, но не может их разомкнуть.

— Ничего... — глухо сказала ей Марите. — Это мы так... Вообще...

Секретарша ничего не ответила. И вышла. Но потом, в своей комнате, очень плакала. Каждому объясняла, что пальто не сама купила, а подруга принесла его. И ей даже в голову не пришло, что оно принадлежало тому, кого убили. Можно у подруги узнать, кто продавал. А с тем Лаукасом, который был при расстрелах, они не родственники, даже не земляки.

Ей сочувствовали. Успокаивали. Конечно, почему она должна была об этом подумать? Мало ли кто продавал. Чтобы не подохнуть с голоду, люди все продавали. Да и разве она виновата, что фашисты убивали.

Правда, Нора слышала, как Стасе, ее ворчливая напарница по первому субботнику, все-таки буркнула:

— И все же купила она его за водку. А хорошие люди за водку не продают.

Весь день говорили только об этом. Заседания месткома не было. А Нора хотела им сказать, чтобы ей ордера не давали. Пусть дают Климчене, секретарше, кому хотят. Ей не нужно. Она будет ходить в чулках тети Любы, старых. Только пусть больше не говорят об этом. Ей казалось, что все недовольны ею. Сердятся. А Климчене даже вслух сказала:

— Чего она тут целыми днями торчит? Разносила бы свои бумаги, вместо того чтобы сплетнями заниматься.

Теперь, когда Нора их повторила, эти слова звучали еще безжалостнее. Но это несправедливо, она не разводила сплетен!

Тетя Люба молчала. Отец тоже. Наконец он поднял голову:

— Я же тебя еще маленькую учил: не повторяй всего, что слышишь.

— Но это же не просто, что слышала. Это про расстрелянных!

— Ладно... — сказала тетя Люба. — Не надо больше об этом. И не переживай. Но принимать на веру все, что кто-то говорит, тоже не надо. К сожалению, этому научишься только после того, как несколько раз обожжешься.

А она не хочет больше обжигаться. Она и так поняла...

В то, что она потеряла хлебную карточку, Нора поверила не сразу. Перелистала весь учебник. Встряхнула его. Схватила задачник по алгебре. Русскую хрестоматию. Карточки не было. Конечно, она хорошо помнит, что вложила ее в учебник географии.

И все-таки еще раз проверила. Хрестоматию. Задачник. Географию. Чтобы оттянуть. Не признаваться.

Потеряла! Это слово само возникло... Жестокое, непоправимое.

Нора стала перетряхивать другие книжки, которые на этажерке. Знала, что в них карточки не может быть — они же все время лежали здесь, она их не брала с собой. А все-таки искала. Перелистывала. Страницу за страницей.

Карточки нет. Потеряла... И теперь опять не будет ни хлеба, ни крупы. Как все эти годы, когда она ела только чужое, то, что ей давали...

А как хорошо стоять в булочной в очереди! Пахнет хлебом. Его много, на всех полках. Она подает карточку продавщице в странных, с половинками пальцев перчатках. Продавщица вырезает два купона и взвешивает хлеб. Довесок Нора съедает сразу...

И сегодня перед школой так было. Нора хорошо помнит, как вложила карточку в учебник географии. Еще какая-то картинка мелькнула на левой странице.

Где же она могла выронить? Неужели по дороге в школу, когда на ходу отламывала хлеб и незаметно для прохожих совала в рот? Или, может, уже в школе? Нора силилась вспомнить, видела ли она карточку на уроке географии, когда открыла книжку. Но она ж ее не листала, открыла сразу на сто первой странице. Потом учи-

тель ее вызвал. А когда вернулась с пятеркой, на радостях книжку сунула в парту.

Может, когда торопилась к отцу. «Угадайте, что я получила?» Книги, кажется, держала на весу, даже размахивала ими. И о карточке совсем не помнила. «Угадайте, что я получила?»

А теперь у нее ничего не будет. До самого конца месяца, двадцать дней.

Нора потрогала мешочек с перловой крупой. Очень мало. Но если налить полкастрюли воды и долго варить, чтобы суп стал клейким, тогда хватит на три дня... А еще семнадцать? ..

Но это же не так долго. Можно потерпеть. Все эти годы у нее ведь совсем не было карточек.

Тогда ей давали...

А теперь не надо, чтобы давали. Она даже никому не скажет. Будет молчать. И у отца, и на работе. В обеденный перерыв, когда Людмила Афанасьевна и Марите будут есть, она выйдет. Будет сидеть на чердачной лестнице. Чтобы никто не видел...

Ночью очень захотелось есть. И Нора вспомнила, что совсем без еды человек не может жить долго.

Но она же ходит к отцу! И тетя Люба ее обязательно сажает за стол. Значит, после работы она будет есть у них. А утром и вечером можно потерпеть.

Так всю ночь. То она представляла себе, как молчит, хотя есть очень хочется. То видела, как тетя Люба ей подает глубокую тарелку манной каши. С клубничным вареньем. Она понимала, что это снится. Манной кашей с вареньем кормила мама. Раньше, давно. Когда Нора болела. Но все равно не отпускала этого видения — смотрела на полную тарелку белой каши и крупные красные клубничины.

А может, найдет карточку? Если выронила ее на улице... И Нора представляла себе — уже не во сне, а глядя на низкий скат потолка над головой, — как она рано утром ищет на улице карточку. Старается в предрассветной темноте увидеть белеющий на талом снегу знакомый продолговатый листок.

Утром, когда дядя Ян вышел отпирать ворота, Нора уже стояла там. Он очень удивился:

— Куда это ты собралась?

И Нора, совсем забыв о своей решимости молчать, ляпнула:

— Искать свою карточку. Вчера потеряла...

Дядя Ян покачал головой.

— Кто-нибудь ее уже давно поднял. И жует твой хлеб.

Все равно Нора пошла. Казалось, теперь она въявь повторяет то, что ночью представляла себе. Старательно всматривается в каждое белеющее пятнышко, поднимает каждую бумажку.

Дошла до самого отцовского дома. Наверх не поднялась, чтобы их не всполошить. Она хорошо помнит, что там книг не открывала. Положила в передней на подоконник, а когда уходила — забрала. И ничего из них не выпадало.

Повернула к школе. Так же внимательно глядела себе под ноги и так же поднимала каждую бумажку. Но это были другие — обрывки газет, скомканные папиросные коробки.

В школе уборщица сочувственно вздыхала, помогла ей обыскать парту, даже в другие заглянула, опрокинула корзину для мусора. И все утешала, что, может, кто честный поднял, отнес в магазин. Есть же и честные люди, их даже больше, чем нечестных. Понимают ведь, что теперь без карточки совсем худо.

Пока искали, совсем рассвело. По дороге к магазину Нора уже разглядывала бумажки на земле не поднимая. Но карточки не нашла.

На работе старалась молчать. Совсем не разговаривать, чтобы само не вырвалось. Она же все время помнит, чувствует, что потеряла хлебную карточку.

Но неожиданно Марите громко сказала:

— Что-то наша Нора сегодня не в духе. Не выспалась?

— Да, — поспешно подтвердила она.

— Все зубришь?

— Ага. И получила пятерку.

Стих стук машинок. Товарищ Астраускас тоже поднял голову. Улыбнулся. А Марите пожала плечами.

— Тогда почему такая кислая?

Норе показалось, что очень тихо, все ждут ее ответа.

— Я потеряла хлебную карточку.

Все трое смотрели на нее, будто ждали, что она ска-

жет еще что-нибудь. Но теперь она уже молчала не нарочно.

Первой, как всегда, очнулась Марите:

— Где это тебя угораздило?

— Не знаю. Может, в магазине. Или по дороге...

— Но где она лежала?

— В учебнике географии.

Марите посмотрела на нее так свирепо, будто Нора не свою, а ее карточку потеряла.

— Кто это держит карточку в учебнике географии?

— Я всегда держу в книге. А вчера торопилась...

— Зато теперь у тебя будет много свободного времени. До самого конца месяца.

Нора кивнула:

— Двадцать дней.

— Уже и сосчитала?

— Может, еще найдешь? — Людмила Афанасьевна всегда старается ее утешить.

— Нет. Я уже искала.

— У тебя же есть портфель! — с досадой сказал товарищ Астраускас.

— Он ведь не мой. Только чтобы разносить бумаги.

Марите шепнула:

— Дурочка!

А товарищ Астраускас, еле сдерживая улыбку, серьезно сказал:

— Можешь с ним ходить и в школу.

— Большое спасибо!

— А корешок? — сразу прервала ее радость Людмила Афанасьевна.

— Тоже... Он был с карточкой, я еще не отрезала.

Марите сжала руками голову. А может, только закрыла ладонями уши, чтобы больше ничего не слышать.

— Но он заполнен! — поспешила Нора объяснить. — Фамилия вписана. И адрес.

Марите отняла руки от ушей. А товарищ Астраускас сказал:

— Сходи в бюро и сразу заяви о потере. Чтобы какой-нибудь делец не попытался получить по твоему корешку на следующий месяц.

— Хорошо, пойду.

И сразу отлегло: через двадцать дней она опять получит карточку. Будет хлеб, крупа. Надо только потерпеть.

Она же будет ходить к папе. А с каждым из этих двадцати дней ближе к концу войны. Когда можно будет покупать хлеб без карточек.

— Это ж совсем не страшно!

— Что? — удивилась Марите.

— Что я потеряла карточку. — Вслух она это сказала не так уверенно, как думала про себя.

— Ты кого утешаешь — себя или нас?

— Наверно, все-таки себя, — ответила за нее Людмила Афанасьевна.

— Не пойму, — пожала Марите плечами, — характер у тебя такой или жизнь научила?

Ответил товарищ Астраускас:

— Наверно, жизнь.

Опять они о ней говорят так, будто ее тут нет.

— Никто не учил. Сама понимаю.

Они почему-то рассмеялись. Конечно, смешно. Только она улыбаться не может.

Людмила Афанасьевна это поняла... Перестала смеяться и достала из сумки газету. Подала ее так, чтобы сразу виден был приказ Главнокомандующего. Нора привычно бросила взгляд на напечатанные крупными буквами названия освобожденных городов. ЛАУЕНБУРГ и КАРТУЗЫ (КАРТХАУЗ).

«Войска 2-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление на Данцигском направлении... овладели важными узлами... дорог — городами ЛАУЕНБУРГ и КАРТУЗЫ (КАРТХАУЗ).

В боях за овладение... отличились войска...»

— Газета мне?

— Да-да, бери.

— Если она вам нужна, я только вырежу приказ и сводку.

— Бери всю.

— Спасибо.

Марите хмыкнула:

— Все еще собираешь?

— Да.

Марите это считает запоздалым проявлением детства. Вместо почтовых марок или монет коллекционировать сводки о положении на фронте. А Нора их собирает вовсе не так, как собирают марки. Она любит их перечи-

тывать все вместе. И считать, сколько уже освобождено городов.

Марите это знает. И все равно подтрунивает над ней. Сейчас, конечно, тоже не удержалась:

— А сколько еще осталось неосвобожденных, тоже знаешь?

— Нет... — Нора ничуть не обижается.

— Тогда какой толк от твоего собирания?

— Мы с Иоанной их носим ее маме в больницу. Читаем ей.

Только сказала и сразу вспомнила, что ведь решила никому не рассказывать об этом. Отцу — потому что он недоволен: «Единственный свободный вечер проводить в больнице неразумно». А Марите... Она опять скажет что-нибудь насмешливое. И, конечно, не преминула:

— Наша Нора теперь решила стать всеобщей спасительницей.

Товарищ Астраускас даже не улыбнулся. Только спросил:

— Не слишком ли обнадеживаете?

Нора пожала плечами. Ответить «нет» она не решается. Врач тоже сказал это, когда узнал, что они с Иоанной каждый раз приносят в больницу письма. То якобы от сына тети Яновой, Яцека, то еще от кого-нибудь. И во всех, конечно, писалось об освобождении лагерей. Учительница Контримене очень внимательно их слушала. Даже улыбалась! Но стала требовать, чтобы ее выписали, — она не хочет, чтобы Микас, когда вернется, застал ее здесь. Иногда даже начинала уверять, что Микас уже дома, но от нее это скрывают. Она так убедительно, совсем как здоровая, говорила о предчувствии материнского сердца, что Нора с Иоанной каждый раз были готовы бежать домой, смотреть — а вдруг он на самом деле приехал. Сейчас, только что.

Так врач узнал про письма... И тоже сказал: «Нельзя слишком обнадеживать». Запретил вообще приносить письма, даже настоящие, не ими самими сочиненные. Разрешил только газеты. Но учительница сердится, требует писем. Чего только они с Иоанной не придумывают! Сперва говорили, что писем нет. Потом стали уверять, что Яцек ранен, лежит в госпитале. В последний четверг сказали, что его перевели на другой фронт. Но она все равно требует — пусть пишет с другого фронта.

— Отнеси эту телеграмму.

Нора будто очнулась, услышав голос товарища Астраускаса.

— Заодно зайдешь насчет своей карточки.

— Хорошо...

Нора отмечает в журнале время ухода: 13.10.

Значит, полдня уже прошло. Теперь до получения новой карточки осталось девятнадцать с половиной...

Всего три дня...

Нора взяла с этажерки свой самодельный календарик и перечеркнула сегодняшнее число. Теперь до получения новой карточки осталось еще три дня. То есть получит она уже завтра, но отоварить сможет только первого.

Побежит в булочную с самого утра, как только откроют. И на работу придет уже с хлебом! Если, конечно, удержится и не съест по дороге. Удержится. И больше ничего не возьмет ни у товарища Астраускаса, ни у Марите, ни у Людмилы Афанасьевны.

Нора начала — уже в который раз — представлять себе, как она подает продавщице карточку. Та берет ее посиневшими от холода пальцами, хотя на руках смешные, с половинками пальцев перчатки. Вырезает два купона и взвешивает Норе хлеб. Горбушку, с довеском. Его Нора сразу кладет в рот...

Вдруг погас свет. Будто прервал видение. И Нора снова вернулась сюда — к темноте, этажерке и чуть белеющим на комоде бумажным салфеткам.

Ей же надо готовить уроки. И, главное, написать к завтрашнему дню сочинение: «Как я себе представляю жизнь после войны». Учительница задала еще на прошлой неделе, а Нора все откладывала. Сколько ни думала, что написать, перед глазами все то же — школьный концерт, играет ее ученица. В зале отец. И тот, кто вынес ее из леса.

Но надо же написать о другом, обо всех. Может, о тете Яновой? Как она бережет бутылочку красных чернил, чтобы перекрасить старый, полинявший флаг и в самый последний день войны вывесить его.

Это будет в день, когда кончится война. Скоро она уже совсем кончится. «Гитлеру все равно свернут шею, а кого не дашь убить — тот останется». Это сказал де-

док. Он не дал ее убить. И Стролисы не дали. И мельник. Может, написать о них? Но это же о том, что было. А надо о том, что будет. Потом, после войны.

Нора зажмурилась. Чтобы представить себе. Город, наверно, опять будет выглядеть так, как раньше. Вместо развалин везде дома. На улицах много света, людей. И Нора вместе с ними. Она спешит в музыкальную школу. Играют ее ученики. Пришли в школу несмышленышами, а теперь играют. Это она их научила. Потому что кончила консерваторию. Нет, потому что она е с т ь!

Вдруг зажегся свет. Только бы не погас!

Нора села готовить уроки. И, главное, писать сочинение: «Как я себе представляю жизнь после войны»...

СОДЕРЖАНИЕ

Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ 3
ТРИ ВСТРЕЧИ 175
ПРИВЫКНИ К СВЕТУ 361

Рольникайте Мария Григорьевна
Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ

Л., О., изд-ва «Советский писатель», 1976, 560 стр.
План выпуска 1976, № 109.
Редактор Ф. Г. Кацас. Художник О. В. Титов.
Худож. редактор М. Е. Новиков. Техн. редактор
В. Г. Комм. Корректор И. Г. Клейнер.
Сдано в набор 17/XII 1975 г. Подписано в печать 23/VI
1976 г. М 19147. Бумага 84×108¹/₃₂, типогр. № 2. Печ. л. 17¹/₂
(29,4). Уч.-изд. л. 30,29. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2008.
Цена 1 р. 03 к.
Издательство «Советский писатель», Ленинградское от-
деление. Ленинград, Невский пр., 28.
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская ти-
пография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном
комитете Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр,
Красная ул., 1/3.

1р. 08к.